ДЕТИ БОЖИИ

МЭРИ ДОРИА РАССЕЛЛ

FANTZON

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Номинация на премию «Хьюго».

Финалист премии Джеймса Типтри-младшего.

Номинация на премию Британской ассоциации научной фантастики.

Отец Эмилио Сандос, единственный выживший и вернувшийся на Землю участник первой межзвездной экспедиции на планету Ракхат, постепенно приходит в себя от пережитых испытаний. Общество иезуитов готовит вторую миссию на альфу Центавра, и ему нужна помощь

Сандоса в подготовке. Отца Эмилио ждут старые друзья и новые открытия. Ему предстоит решить сложные вопросы о своем месте во Вселенной, границы которой уже вышли за пределы Солнечной системы. У Сандоса нет возможности сбежать от прошлого, но есть шанс изменить будущее. А будущее теперь – за детьми, которые рождены в далеком космосе.

Поражающий воображение богатым, насыщенным сюжетом и запоминающимися персонажами, наполненный человечностью и юмором, «Дети Божии» – незабываемый и вдохновляющий роман, который стал прекрасным преемником «Птицы малой».

«Роман, наполненный прекрасными мыслями и сюжетами. От книги практически невозможно оторваться. С первых слов она стремительно обгоняет "Птицу малую", и это уже чудо само по себе. Остальное же – просто роскошная история». – Sci Fi Weekly

«Еще более амбициозная и масштабная работа, чем "Птица малая". Роман затрагивает проблемы мира, справедливости и веры, давая честные и вдумчивые ответы на сложные духовные и моральные вопросы». – USA Today

«Продолжение высоко оцененной "Птицы малой" Расселл, прочно опирающееся на науку. Но в тоже время эта книга наполнена духовностью, проницательностью и рассматривает проблемы угрозы вере. Сильная проза и запоминающиеся персонажи». —Library Journal

«Этот захватывающий драматичный сюжет является основой для интеллектуального исследования масштабных жизненных тем. Дар Расселл к ведению диалога и задаваемых в романе вопросах о наших душах придает "Детям Божиим" качество, выходящее за рамки жанра. Это настоящая жемчужина». – Toronto Globe and Mail

«Как и в первой книге дилогии, Расселл использует захватывающий сюжет для исследования социальных, духовных, религиозных, научных и исторических вопросов. Неоднозначная

фигура Сандоса, вокруг которой вращаются разнообразные межпланетные события, а именно интеллектуальная, эмоциональная и очень личная вражда между отцом Сандосом и его Богом, дают энергию этой книге». – Publishers Weekly

«Жестокий и продуманный рассказ, который заставит читателя усомниться в своих предубеждениях, а, возможно, и разрушит их». – Kirkus

«Роман, как и его предшественник, сочетает в себе захватывающий сюжет с интеллектом и глубоким исследованием… Расселл исследует психологический кризис и его разрешение, освещая все темные уголки разума в великолепном романтическом стиле». – Cleveland Free Times

«Это Бог Иова, и его мир – это моральные джунгли, долина слез, место ужасов и чудес, почти не поддающихся человеческому пониманию. Не обязательно быть верующим, чтобы найти у Рассел портрет мужества, стойкости и человечности… трогательный и захватывающий». – Locus

«История, которую Расселл начала в своей первой книге, получает удовлетворяющее завершение. Писательница имеет докторскую степень по антропологии и поэтому понимает, с какими проблемами связано столкновение культур. Но именно ее писательское мастерство позволяет сделать эти вопросы живыми. "Дети Божии" – прекрасный роман с захватывающим сюжетом, интригующими многогранными персонажами и поэтичностью, которая передает душераздирающую трагедию, которая может произойти даже из самых благих намерений». – Cleveland Plain Dealer

«История, рассказанная на этих страницах, не только невероятно увлекательна и фантастична, но и провокационна с моральной точки зрения». – Book Page

- Мэри Дориа Расселл
  -
  - Прелюдия
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
  - Глава 10

- Глава 11
- Глава 12
- Глава 13
- Глава 14
- Глава 15
- Глава 16
- Глава 17
- Глава 18
- Глава 19
- Глава 20
- Глава 21
- Глава 22
- Глава 23
- Глава 24
- Глава 25
- Глава 26
- Глава 28
- Глава 29
- Глава 30
- Глава 31
- Глава 32
- Глава 33
- Глава 34
- Глава 35
- Глава 36
- Глава 37
- Глава 38
- Глава 39
- Кода
- Благодарности

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13

- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57

- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76

Мэри Дориа Расселл
Дети Божии

Кейт Суини и Дженнифер Такер –
сестрам души моей

Mary Doria Russell
CHILDREN OF GOD
Copyright © 1998 by Mary Doria Russell
This translation published by arrangement with Villard Books, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC
Fanzon Publishers An imprint of Eksmo Publishing House

Перевод *Юрия Соколова*

© Ю. Соколов, перевод на русский язык, 2024
© Издание на русском языке, оформление. «Издательство «Эксмо», 2024

Прелюдия

Взмокнув, подавляя очередной приступ дурноты, падре Эмилио Сандос сидел на краю постели, пряча лицо в том, что осталось от его ладоней.

Многие моменты жизни давались ему сложнее, чем он ожидал. Например, он не сумел сойти с ума. Или умереть. «Как я еще способен жить», – удивлялся он – не столько из философских соображений, сколько из глубочайшего негодования, вызванного состоянием собственного организма и исключительной цепью неудач, поддерживавших в нем жизнь, хотя на самом деле он желал одного – смерти.

– Что-то должно уйти из моего тела, – шептал он по ночам в тихой келье, – или рассудок, или душа…

Поднявшись на ноги, он заходил по своей каморке, засунув искалеченные руки под мышки, чтобы на ходу не ушибить пальцы. Не имея более сил терпеть эту тьму, не имея возможности изгнать из памяти кошмарные воспоминания, он тронул локтем выключатель и наконец-то увидел перед собой предметы реальные: кровать, скомканные и пропитанные потом простыни; деревянное кресло; небольшой простой комод с ящиками. Пять шагов, поворот, пять шагов в обратную сторону. Почти такая же, как его каморка на Ракхате…

В дверь постучали, он услышал голос брата Эдварда Бера, спальня которого находилась за стенкой, и он всегда слышал полуночные прогулки Сандоса.

– С тобой все в порядке, патер? – негромко спросил Эдвард.

«Это со мной-то? – Сандосу хотелось заорать. – Иисусе! Я в ужасе… я калека… все те, кого я любил, погибли…»

Однако Эдвард Бер, стоявший в коридоре у двери Сандоса, услышал другое:

– Со мной все в порядке, Эд. Успокоиться не могу. Все в порядке.

Брат Эдвард вздохнул, не испытывая удивления. Уже почти год, днем и ночью, он исполнял обязанности сиделки при Эмилио Сандосе. Он ходил за его изувеченным телом, молился за него, не веря своим глазам, и со страхом наблюдал за тем, как подопечный мучительно продвигался от полной беспомощности к элементарному владению собственным телом. И посему, топая вперевалку по коридору в сторону кельи Сандоса, он заранее знал, что услышит только обычный успокоительный ответ на бесполезный вопрос.

– Прошлое покинет тебя не сразу. – Брат Эдвард предупредил

Сандоса еще несколько дней назад, сразу же после кошмарного признания. – Ты не сможешь быстро изжить из себя все, что было.

И Эмилио согласился с ним.

Возвратившись в свою постель, Эдвард взбил подушку и скользнул под покрывало, прислушиваясь к шагам за стенкой. Одно дело – знать правду, подумал он… а вот жить, зная ее, – дело совсем другое.

Отец-генерал Общества Иисуса, обитавший в комнате, расположенной в точности под каморкой Сандоса, также слышал внезапный сдавленный крик, оповещавший о прибытии инкуба, властвовавшего над ночами Эмилио. В отличие от брата Эдварда, Винченцо Джулиани более не вставал по ночам для того, чтобы предложить Сандосу не приветствовавшуюся им помощь, однако память его сохранила те возбуждение и ужас, ту безмолвную мольбу за власть над самим собой.

Месяц за месяцем, председательствуя над предпринятым Обществом расследованием причин неудачи первой посланной иезуитами миссии на Ракхат, Винченцо Джулиани сохранял уверенность в том, что, если вынудить Эмилио Сандоса рассказать о том, что именно и как произошло с людьми на чужой планете, вопрос так или иначе сам собой разрешится и Эмилио обретет хотя бы какое-то душевное спокойствие. Отец-генерал, как администратор и как священник, полагал, что Обществу Иисуса и самому Сандосу необходимо обратиться к фактам. И посему, методами прямыми и косвенными, средствами добрыми и жестокими, лично и с помощью братии, он привел Эмилио Сандоса к тому мгновению, когда произнесенная истина могла освободить его.

Сандос сопротивлялся на всех этапах этого пути: ни один священник, какова ни была бы нужда, не готов покуситься на чужую веру. Однако Винченцо Джулиани питал искреннюю уверенность в том, что способен найти ошибку и исправить ее, понять и простить неудачу, услышать признание в грехе и отпустить его.

Не был готов он лишь к одному: к полной невиновности Сандоса.

– Знаете, что я думал перед тем, как меня поимели в первый раз? Что я в руках Бога, – сказал Эмилио в тот золотой августовский день, когда сопротивление его разлетелось вдребезги. – Я любил Бога и верил в Его любовь. Правда, забавно… Я отбросил всяческую защиту. Между мной и происходящим не было ничего, кроме любви Бога. И меня изнасиловали. Я был наг перед Богом, и меня изнасиловали.

«Что же такое сгнило в нас, людях, что мы с готовностью верим всему плохому, что слышим от других? – думал Джулиани в ту ночь. – Что заставляет нас с такой жадностью впитывать хулу?»

«Прорехи собственного идеализма, – подозревал он. – Мы разочаровываемся в себе и ищем по сторонам других неудачников для того лишь, чтобы убедиться в том, что не одни».

Эмилио Сандос не был безгрешен; он сам признавал, что виновен во многих грехах, и все же…

– Если Бог вел меня шаг за шагом по дороге любви к Нему и если признать, что все красоты и восторги были подлинными и реальными, тогда и все прочее происходило по воле Бога, и это, господа, весьма прискорбно, – сказал тогда им Сандос. – Но если я всего лишь обманувшаяся обезьяна, слишком серьезно воспринявшая сборник старинных сказок, тогда я сам навлек все эти горести на себя и своих спутников. Проблема с атеизмом в данной ситуации заключается в том, что мне некого презирать в этой ситуации, кроме себя самого. Однако если я приму сторону тех, кто считает, что Бог зол, то могу утешиться праведной ненавистью к Нему.

«Если Сандос был сбит с толку, – думал Винченцо Джулиани под звук не прекращавшейся наверху ходьбы, – то что есть я? А если нет, что есть Бог?»

Глава 1
Неаполь

Сентябрь 2060 года

Селестина Джулиани узнала, что значит слово «клевета», на крещении своего кузена. Именно это слово запомнилось ей на празднике, ну и мужчина, который плакал.

В церкви было хорошо, пение ей нравилось, но младенца самым нечестным образом нарядили в платьице самой Селестины, и это было несправедливо. Никто не спросил у нее разрешения, хотя ей самой не разрешалось брать вещи без спроса.

Мама объяснила ей, что всех младенцев семьи Джулиани крестят в этом платьице, и указала на каемку, на которой уже было вышито имя Селестины.

– Вот, смотри, дорогая! Вот твое имя, вот имя твоего папы, вот имя тети Кармеллы, а вот имена твоих кузенов – Роберто, Анамарии, Стефано. Теперь настала очередь нового младенца.

Селестина находилась не в том настроении, чтобы ее можно было уговорить. «Этот младенец похож на дедушку в платье невесты», – рассердилась она.

Соскучившись во время обряда, Селестина начала махать руками, кивать головой, смотреть, как будет выглядеть ее платье, если юбку закрутить с одной стороны на другую, время от времени поглядывая на человека с машинками на руках, одиноко стоявшего в уголке.

– Он тоже священник, как и Дон Винченцо, он – американский кузен дедушки Джулиани, – объяснила ей утром *мамма*, перед тем как они отправились в церковь. – Он болел очень долго, пальцы плохо слушаются его, и эти машинки помогают им двигаться. Только не надо глазеть на него, *carissima*[1].

И Селестина не глазела. Только часто поглядывала.

Мужчина не слишком интересовался младенцем, как все остальные, и, когда она однажды посмотрела в его сторону, заметил ее взгляд. Машинки на его руках были очень страшными, но человек – нет. Большинство взрослых улыбались – одними лицами, но глаза их говорили: иди, девочка, подальше, играть. Непонятный человек тоже улыбался, но не лицом, а глазами.

Младенец надрывался и надрывался, а потом Селестина почувствовала запашок.

– *Мамма!* – вскричала девочка в ужасе. – Этот младенец обкакался…

– Тише, *cara!* – громко прошептала ее мать, и все взрослые рассмеялись, даже Дон Винченцо, так же как и человек с машинками, облаченный в длинное черное одеяние и поливавший младенца водой.

Наконец обряд закончился, и все вышли из темной церкви на яркий солнечный свет.

– Но, *мамма*, младенец действительно обкакался! – настаивала на своем Селестина, пока они спускались по лестнице и ждали, чтобы шофер подал машину. – Прямо в моем платье! Теперь оно будет грязным!

– Селестина, – укорила ее мать, – с тобой тоже случались подобные вещи! К тому же на младенце подгузник, как и тогда на тебе.

Селестина в недоумении открыла рот. Все взрослые вокруг хохотали, кроме человека с машинками, остановившегося возле нее и присевшего, отражая на лице ее недоумение и возмущение.

– Это клевета! – воскликнула она, повторяя подсказанные им на ухо слова.

– Чудовищная напраслина! – полным негодования тоном подтвердил он, вновь вставая, и пусть Селестина не поняла ни одного слова, то все же ощутила, что он на ее стороне, единственный среди хохочущих взрослых.

После этого все они отправились к тете Кармелле. Селестина съела пирожное, попросила, чтобы дядя Паоло покачал ее на качелях, и выпила газировки, что было вообще уже роскошью, потому что газировка не укрепляет кости и ей разрешали пить ее только на семейных праздниках. Потом подумала, не стоит ли поиграть с кузинами, однако все они были старше и Анамария всегда хотела быть мамой, так что Селестине всегда доставалась роль младенца, а это было скучно. Так что она попробовала потанцевать на кухне, пока бабуля не похвалила ее, а *мамма* не посоветовала девочке навестить морских свинок.

Когда она начала капризничать, *мамма* отвела ее в заднюю спальню и посидела с ней, что-то напевая. Селестина почти уснула, когда ее мать достала платок и сморкнулась.

– А почему не приехал папа? – спросила она.

– Он занят делами, *cara,* – объяснила дочери Джина Джулиани. – Спи.

* * *

Разбудили ее звуки прощания: кузены и кузины, дяди и тети, бабушки и дедушки и друзья расходились, обмениваясь друг с

другом и родителями малыша *ciaos* и *buonafortunas*[2]. Селестина встала, сходила на горшок, что напомнило ей о клевете, и направилась в сторону лоджии, надеясь на то, что ей разрешат взять несколько воздушных шариков домой. Новокрещеный младенец Стефано старательно голосил.

– Понимаю, понимаю тебя, – говорила ему тетя Кармелла. – Трудно не попрощаться со всеми родными после такого замечательного дня, но праздник заканчивается.

Понимая неотложность ситуации, дядя Паоло просто с улыбкой взял Стефано на руки.

И посреди всего шума и суеты никто из взрослых не заметил, что Селестина стоит в дверях. Ее мать помогала тете Кармелле убирать посуду. Ее дед и бабушка во дворе прощались с гостями. Внимание всех прочих было обращено на Стефано, заливавшегося плачем и мужественно сопротивлявшегося чужой воле, но полностью бессильного в руках отца, извинившегося за поднятый шум. Одна только Селестина заметила, что выражение лица дона Винченцо переменилось. Это произошло, когда она посмотрела на мужчину с машинками на руках и заметила, что он плачет.

Селестина видела, как плачет мать, но она не знала, что мужчины тоже плачут. Это испугало девочку, во-первых, потому что она еще не видела ничего подобного, а еще потому что она проголодалась и, в-третьих, потому что ей нравился этот человек, ставший на ее сторону, а кроме того, потому что даже плакал он не так, как остальные, – с открытыми глазами и спокойным лицом, и только слезы текли по коже.

Хлопнули дверцы автомобиля, Селестина услышала, как захрустел гравий под колесами, и в этот момент ее мать отвернулась от стола. Улыбка на лице Джины померкла, когда она проследила за направлением взгляда дочери. Посмотрев в сторону двоих священников, Джина что-то негромко сказала своей золовке. Кивнув ей, Кармелла на пути в кухню подошла к дону Винченцо со стопкой тарелок.

– В спальню в конце коридора, наверное? – предложила она. – Вас там никто не потревожит.

Селестина отступила в сторону, позволяя пройти дону Винченцо, взявшему за руку плачущего человека и поведшего его к двери лоджии и в сторону комнаты Кармеллы.

– Значит, так оно и было? – Селестина услышала голос дона Винченцо, проходившего мимо нее. – Они развлекались, а вы страдали?

Селестина последовала за ними, вышитые носочки шелестели при каждом ее шаге, и заглянула в оставшуюся приоткрытой щелку. Мужчина с машинками сидел в кресле в углу.

Дон Винченцо стоял неподалеку и, ни слова не говоря, смотрел в окно – в сторону вольера Сесе. А вот это нехорошо, подумала Селестина. Значит, дон Винченцо – нехороший! Ей было неприятно, и она заплакала, но никто не обратил внимания, потому что они сказали, что она глупенькая.

Мужчина заметил ее сразу же, как только она вошла в комнату, и вытер лицо рукавом.

– Что случилось? – проговорила она, подходя ближе. – Почему ты плачешь?

Дон Винченцо начал что-то говорить, но мужчина качнул головой:

– Ничего не случилось, *cara*. Просто… просто я вспомнил… вспомнил, как некоторые люди очень плохо обошлись со мной.

– А что случилось?

– Они… сделали мне больно… Но это произошло очень давно, – успокоил он девочку, уже смотревшую на него круглыми от страха глазами: неужели такие плохие люди находятся сейчас в доме, – когда ты была совсем маленькой, но иногда я вспоминаю это.

– А тебя потом поцеловали?

– *Mi scuzi*[3]. — Мужчина заморгал, услышав эти слова, и дон Винченцо на мгновение напрягся.

– Чтобы у тебя больше ничего не болело? – пояснила она.

Человек с машинками на руках улыбнулся и посмотрел на девочку очень ласковыми глазами.

– Нет, *cara*. Никто не поцеловал меня, чтобы у меня ничего больше не болело.

– Я могу тебя поцеловать.

– Это было бы очень хорошо, – ответил он самым серьезным тоном. – Думаю, что твой поцелуй поможет мне.

Потянувшись, она поцеловала его в щеку. Роберто, кузен Селестины, которому уже исполнилось девять, говорил, что целоваться глупо, но Селестина знала лучше.

– Это новое платье, – сказала она мужчине. – Я пролила на него какао.

– Оно все равно хорошенькое. И ты тоже.

– У Сесе малыши. Хочешь посмотреть на них?

Мужчина посмотрел на дона Винченцо, который пояснил:

– Сесе – это морская свинка, и рожать малышей – их основное занятие.

– Ах так. Хочу.

Он встал, и она протянула руку к его руке, чтобы повести наружу, но вовремя вспомнила про машинки.

– А что случилось с твоими руками? – спросила она, потянув

мужчину за рукав.

– Такой вот несчастный случай, *cara.* Но не волнуйся. С тобой ничего похожего случиться не может.

– А тебе больно? – Винченцо Джулиани услышал голос девочки, вместе с Эмилио Сандосом направлявшейся по коридору в сторону двери на задний двор.

– Иногда больно, – бесхитростно ответил Сандос. – Но не сегодня.

Голоса их исчезли за захлопнувшейся дверью.

Винченцо Джулиани подошел к окну, прислушиваясь к вечерней песне цикад, и проводил взглядом Селестину, увлекавшую Эмилио к вольеру с морскими свинками. Наконец, блеснув попкой в кружевных трусиках, ребенок перегнулся в вольер и выудил оттуда маленькую свинку для Эмилио, сидевшего улыбаясь на земле… Черные с серебром волосы ниспадали на высокие скулы индейца таино, восхищавшегося крохотным животным, которое Селестина выгрузила на его колени.

Четырем священникам пришлось восемь месяцев безжалостно давить на Эмилио Сандоса, чтобы добиться от него признания, которое Селестина получила через две минуты. Возможно, сухо отметил про себя отец-генерал, подчас для такой работы более всего подходит четырехлетняя девочка.

И он пожалел о том, что Эдвард Бер не задержался для того, чтобы лично увидеть эту сценку.

Брат Эдвард в данный момент находился в отведенной ему комнате неаполитанского приюта, принадлежавшего ордену иезуитов, примерно в четырех километрах от отца-генерала, и еще удивлялся тому, что отец-генерал выбрал крещение для первого выхода Эмилио Сандоса из затвора.

– Вы шутите! – утром воскликнул Эдвард. – Крещение? Отец-генерал, в чем в чем, а в крещении Эмилио Сандос нуждается теперь в самую последнюю очередь!

– Семейное мероприятие, Эд. Никакой шумихи, никакого давления, – заявил Винченцо Джулиани. – Присутствие на службе и пирушке пойдет ему на пользу! Он уже достаточно окреп…

– Физически да, – согласился Эдвард. – Однако эмоционально он еще далек от любой степени готовности. Ему нужно время! – настаивал Эдвард. – Время гневу. Время слезам! Отец-генерал, нельзя так торопить…

– Благодарю вас, Эдвард, подайте завтра автомобиль к дому в десять часов утра, – ответил отец-генерал с кроткой улыбкой. И все было исполнено.

Высадив обоих священников возле церкви, брат Эдвард вернулся в иезуитский приют, где и провел остаток дня, погрузившись в волнение. И к трем часам дня он уже убедил себя в том, что лучше все-таки выехать пораньше, чтобы забрать обоих с праздника. Надо только учесть время на проверки службы безопасности, сказал он себе. Вне зависимости от того, насколько известен обществу был водитель, ни один автомобиль не подъезжал к владениям Джулиани без того, чтобы его несколько раз внимательно проверили крепкие, склонные к подозрительности мужчины и громадные задумчивые псы, натренированные на поиск взрывчатки и злоумышленников. Поэтому Эдвард отвел на путешествие сорок пять минут, хотя в других обстоятельствах на дорогу хватило бы десяти, и при этом неоднократно был остановлен, опрошен и проверен на всех перекрестках шедшей вдоль берега дороги. Ушедшее на это время нельзя было назвать бесполезно потраченным, отметил он, когда перед воротами резиденции шасси автомобиля и его документы проверили в четвертый раз. Например, он узнал от нескольких псов, в каких областях своего тела человек его комплекции может теоретически спрятать оружие.

При любых возможных сомнениях в благонадежности неаполитанских родственников отца-генерала было приятно осознавать, что предпринятые ими предосторожности идут на пользу Сандосу, и Эдварду наконец позволили въехать на подъездную дорожку, шедшую к самому большому во всем имении зданию, лоджия которого была украшена воздушными шариками и цветами. Эмилио нигде не было видно, но уже вскоре отец-генерал отделился от небольшой группы вместе с молодой светловолосой женщиной. Джулиани помахал рукой Беру, а потом обратился к кому-то из находившихся в доме.

Эмилио появился несколько мгновений спустя, надменный и утомленный, являя собой смуглый сплав индейской стойкости и испанской гордости. Рядом с ним находилась маленькая девочка в помятом праздничном платьице.

– Так я и знал! – с гневом буркнул себе под нос Эдвард. – Это уже слишком!

Укрепив свои силы таким глубоким вздохом, какой может позволить себе астматик, брат Эдвард извлек свое объемистое тело из автомобиля и обошел его, открывая двери для отца-генерала и Сандоса, в то время как Джулиани прощался с хозяйкой дома и гостями. Маленькая девочка что-то сказала ему, и Эдвард застонал, когда Эмилио нагнулся, чтобы в ответ обнять ее. Невзирая на это, а может быть, благодаря взаимной нежности прощания, брат Эдвард даже на йоту не был удивлен негромким

окончанием разговора, который происходил между обоими священниками, вдвоем подходившими к автомобилю.

– …Если ты, сукин сын, попробуешь еще раз учинить надо мной подобный фокус…

– Черт побери, Эд, не виси надо мной, – отрезал Сандос, забираясь на заднее сиденье. – Я сам способен захлопнуть дверь.

– Да, отче, виноват, отче, – ответил Эдвард, пятясь, на самом деле с неким удовлетворением. Приятно быть правым, подумал он.

– Иисусе, Винс! Дети и младенцы! – проворчал Сандос, когда они выезжали из имения Джулиани. – И ты решил, что это будет полезно мне?

– Это было тебе полезно, – настоятельно произнес отец-генерал. – Эмилио, ты отлично держался до самого конца…

– Мало мне было кошмаров? Зачем же добавлять к ним воспоминания?

– Ты говорил, что хочешь жить самостоятельно, – терпеливо промолвил отец-генерал. – С тобой будут происходить подобные встречи. Тебе нужно научиться вести себя…

– С какого хрена ты решил, что можешь указывать мне? Если такое дерьмо начнет происходить всякий раз, когда я бодрствую…

Эдвард, кривясь по поводу используемого лексикона, посмотрел в зеркало заднего вида, когда голос Эмилио надломился. «Поплачь, поплачь, – подумал он. – Слезы лучше головной боли». Однако разъяренный Сандос умолк и, не намереваясь плакать, уставился в окно на ландшафт снаружи.

– В настоящее время в мире проживает примерно шесть миллиардов молодых людей в возрасте до пятнадцати лет, – мирным тоном произнес отец-генерал. – От встречи с одним из них уклониться будет сложно. Если только ты не живешь в охраняемом поместье, как Кармелла…

– *Quod erat demonstrandum*[4], — с горечью в голосе промолвил Сандос.

– …Тогда, быть может, ты решишь остаться у нас. В качестве лингвиста хотя бы.

– Ты – коварный, тупой и старый сукин сын. – Сандос жестко и коротко усмехнулся. – И ты подсунул мне этого ребенка.

– Ну, обыкновенные тупые сукины дети отцами-генералами Общества Иисуса не становятся, – полным кротости голосом возразил Винс Джулиани и продолжил с непроницаемым выражением на лице: – А вот выдающиеся тупостью сукины дети становятся известными лингвистами. И их имеют туземцы на других планетах.

– Ты завидуешь. И когда тебя натягивали в последний раз?

Понимая отчаянный блеф Эмилио, брат Эдвард свернул налево, на береговую дорогу, удивляясь отношениям, сложившимся между двумя этими людьми.

С одной стороны – рожденный для богатства и привилегий Винченцо Джулиани, уважаемый во всем мире историк и политик, сохранивший телесные силы и здравый ум в свои семьдесят девять лет. И с другой стороны – Эмилио Сандос, побочный сын какой-то там пуэрториканки, затеявшей интрижку, пока муж ее сидел в тюрьме за перевозку того же самого вещества, которое обогатило более раннее поколение *La Famiglia* Джулиани. Они познакомились более шестидесяти лет назад во время обучения в иезуитской академии. И вот, Сандосу теперь всего сорок шесть лет с какой-нибудь там разницей туда или сюда. Одной из многих причудливых сторон ситуации, в которой находился Эмилио, являлся тот факт, что тридцать четыре года из этих сорока шести лет он летел на околосветовой скорости в космосе, направляясь к звезде Альфа Центавра и в обратную сторону. Для Сандоса прошло всего шесть лет после того, как он оставил Землю, – трудных, конечно, лет, но таких немногочисленных по сравнению с теми, которые выпали на долю Винса Джулиани, теперь на десятки лет старше Эмилио и превосходящего на несколько уровней в иерархии ордена.

– Эмилио, сейчас я прошу тебя только об одном: поработать с нами, – говорил Джулиани.

– Ладно, ладно! – воскликнул слишком уставший для спора Эмилио. Что, по мнению скептически настроенного брата Эдварда, являлось желанным результатом всей сегодняшней бурной деятельности. – Но на моих условиях, черт побери.

– А именно?

– Полностью интегрированный звукоанализатор, соединенный с процессором. С голосовым управлением. – Посмотрев в зеркало, Эдвард заметил, что Джулиани кивнул. – И личный кабинет, – продолжил Эмилио. – Я больше не способен пользоваться клавиатурой, и я не могу работать, когда меня могут слышать другие.

– Что еще? – продолжил Джулиани.

– Сбросить в мою систему все перехваченные после 2019 года фрагменты ракхатских песен… все, что подслушали за это время радиотелескопы, так? Загрузить все, что радировал на Землю экипаж «*Стеллы Марис*» с Ракхата.

Снова согласие.

– Помощника. Носителя языка дене[5] или мадьярского. Или эускары – баскского, так? Непринужденно владеющего латынью,

английским или испанским. Мне все равно, каким языком.

– Что еще?

– Я хочу жить в одиночестве. Поставьте мне кровать под навесом рядом с мусорными баками. В гараже. Мне все равно где. Я не рвусь отсюда, Винс. Мне нужно всего лишь место, где я могу побыть один. Где нет никаких детей и младенцев.

– Что еще?

– Публикацию. Всего… всего того, что мы послали на Землю.

– Только не лингвистики, – ответил Джулиани. – Социологии, биологии, да. Но лингвистики – нет.

– Тогда какой всему смысл? – воскликнул Эмилио. – Какого тогда черта ради буду я делать эту работу?

Отец-генерал не смотрел на него. Рассматривая архипелаг Кампано, он видел лодки каморры, рыболовные конечно, патрулировавшие Неаполитанский залив, благодарный им за защиту от медиахищников, готовых пойти на любые средства ради того, чтобы с пристрастием расспросить маленького, тощего, невзрачного человечка, находившегося рядом с ним, – священника, блудника и детоубийцу, Эмилио Сандоса.

– Насколько мне известно, ты работаешь *ad majorem Dei gloriam*[6], — непринужденно проговорил Джулиани. – И если прибавление Господней славы больше не увлекает тебя, можешь считать, что будешь работать в уплату за кров и стол, предоставленные тебе Обществом Иисуса, вкупе с круглосуточной безопасностью, звукоанализаторами и помощью в исследованиях. Труды инженеров, создавших твои протезы, тоже обошлись нам недешево, Эмилио. Мы заплатили больше миллиона по счетам врачей и госпиталей. Таких денег у нас больше нет. С практической точки зрения Общество Иисуса является банкротом. Я старался оградить тебя от подобных тревог, но после вашего отлета положение дел изменилось к худшему.

– Так почему же ты еще не выставил меня пинком под такую дорогостоящую задницу? Я же с самого начала сказал тебе, Винс, – ничего хорошего от меня ждать не приходится…

– Ерунда, – отрезал Джулиани, на какой-то миг соприкоснувшись взглядом с Эдвардом Бером в зеркале заднего вида. – Ты представляешь собой актив, который я намереваюсь капитализировать.

– О, чудесно. И что же ты хочешь купить на меня?

– Проезд на Ракхат на коммерческом судне для четверых священников, обученных по программам Сандоса и Мендес, являющимся эксклюзивной собственностью Общества Иисуса.

Винченцо Джулиани посмотрел на Сандоса, зажмурившего глаза от яркого света.

– Ты можешь оставить нас в любое время, Эмилио. Но пока ты пребываешь с нами, живешь за наш счет, под нашей защитой…

– Общество обладает монополией на два ракхатских языка. Ты хочешь, чтобы я обучал переводчиков?

– Которых мы предоставим бизнесу, академическим или дипломатическим кругам, до тех пор пока будет сохраняться монополия. Это поможет нам возместить расходы за первоначальный полет на Ракхат и позволит продолжить работы, начатые вашим экипажем, *requiescant in pace*[7]. Пожалуйста, остановитесь, брат Эдвард.

Эдвард Бер остановил автомобиль, полез в бардачок за шприцем и проверил дозировку, прежде чем выбраться из машины. К этому времени Джулиани уже склонялся на краю мостовой над Сандосом, которого неудержимо рвало на грубые придорожные травы. Эдвард приставил шприц к шее Сандоса.

– Еще минуточку, отец мой.

Невдалеке находилась пара вооруженных членов каморры. Один из них сделал шаг в сторону автомобиля, но, заметив это, отец-генерал отрицательно качнул головой, и человек возвратился на пост. Эмилио еще раз вывернуло наизнанку, прежде чем он сел на пятки, растрепанный и несчастный, закрыв глаза, так как мигрень искажала его зрение.

– А как звали эту девочку, Винс?

– Селестина.

– Я не вернусь. – Он уже засыпал. Инъекция транквилизатора всегда вырубала его. Причины не знал никто; очевидно, физиологическое состояние его организма еще не пришло в норму.

– Боже, – пробормотал он, – не… надо больше так поступать со мной. Дети… младенцы. Не делай этого снова…

Брат Эдвард посмотрел в глаза отцу-генералу.

– Это была молитва, – уверенным тоном произнес он через несколько минут.

– Да, – согласился Винченцо Джулиани. Он поманил к автомобилю обоих каморристов и отступил в сторону, когда один из них, разобравшись с конечностями, поднял легкое и обмякшее тело Сандоса и отнес обратно в машину.

– Да, – признал он, – увы, это так.

Брат Эдвард позвонил привратнику, чтобы известить его о ситуации.

И когда по круглой подъездной дороге он подъехал к передней двери практичного и внушительного каменного здания, не казавшегося чрезмерно строгим лишь благодаря окружавшим

его пышным садам, их уже ожидали носилки.

– Слишком рано, – проговорил брат Эдвард, пока они с отцом-генералом наблюдали за тем, как Эмилио уносят в постель. – Он еще не готов для таких ситуаций. Вы слишком торопите его.

– Я тороплю, он отбрыкивается. – Джулиани поднес ладони к голове, приглаживая волосы, десятилетия назад покинувшие его макушку. – Мне не хватает времени, Эд. Я буду удерживать их столько, сколько смогу, но я хочу, чтобы на этом корабле были наши люди. – Уронив руки, он посмотрел на запад, на горы. – Мы никаким другим образом не сможем позволить себе новую миссию.

Поджав губы, Эдвард покачал головой, легкие его чуть посвистывали на каждом вдохе. Астма всегда разыгрывалась в конце лета.

– Нехорошее решение, отец-генерал.

На какое-то время Джулиани как будто бы забыл о том, что находится не в одиночестве. А затем, сохраняя внешнее спокойствие, посмотрел на невысокого толстячка, пыхтевшего рядом с ним в пятнистой тени древней оливы.

– Благодарю вас, брат Эдвард, – произнес отец-генерал сухо и четко, – за высказанное мнение.

Поставленный на место Эдвард Бер проводил Джулиани взглядом и только потом забрался в автомобиль, чтобы отвести его в гараж, где подключил машину к зарядке и, вопреки привычке, забыл запереть, хотя всякий сумевший пройти мимо охранник из каморры интересовался бы Эмилио Сандосом, а не автомобилем, настолько древним, что его приходилось подзаряжать каждую ночь.

Пока Эдвард, задрав голову, смотрел вверх на окно спальни, которое только что задернули занавеской, потягиваясь и мурлыча, явился один из местных котов. И хотя Эдвард всегда восхищался красотой кошек, он привык видеть в них источник всякого рода заразы.

– Брысь, – сказал он животному, которое тем не менее продолжило тереться о ноги Эдварда, считаясь с его тревогами не более, чем только что отец-генерал.

Через несколько минут после этого Винченцо Джулиани вошел в свой кабинет, затворил дверь с тихим, отмеренным щелчком и, невзирая на это, не столько сел в кресло, сколько рухнул в него. Упершись локтями в широкую, безупречно отполированную блестящую поверхность каштановой крышки стола, он прикрыл лицо ладонями и зажмурился, чтобы не видеть

собственное отражение. «Торговать с Ракхатом неизбежно придется, – сказал он себе. – Карло намеревается торговать, поможем мы ему или нет. Однако таким образом мы можем оказать смягчающее влияние…»

Подняв голову, он протянул руку к своему ноутбуку; открыв его, Джулиани нашел письмо, которое безуспешно пытался закончить все предыдущие три дня.

Оно начиналось с обращения «Ваше святейшество…», однако отец-генерал писал не одному Папе. Этому письму предстояло войти в историю, стать частью первого контакта человечества с инопланетными разумными существами.

«Благодарю вас, – писал он, – за любезно проявленный интерес к состоянию и здоровью Эмилио Сандоса. За год, прошедший после его возвращения на Землю с Ракхата в сентябре 2059 года, отец Сандос вылечился от цинги и анемии, однако до сих пор находится в состоянии хрупком и эмоционально нестойком. Как вам известно из сообщений медиа в прошлом году, составленных на основании утечки информации от персонала римского госпиталя «Салватор Мунди», мускулатура пальцев обеих кистей его была иссечена на Ракхате, удвоив длину его пальцев и сделав их бесполезными. Сандос до сих пор не совсем понимает, почему его преднамеренно подвергли такому увечью, которое явно не рассматривалось как пытка, хотя, по сути дела, именно пытку и представляло. Он полагает, что процедура эта отмечала его зависимость или принадлежность некоему ракхатцу по имени Супаари ВаГайжур, о коем ниже. Отцу Сандосу были предоставлены биоактивные экзопротезы; он с большим усердием трудился, осваивая их, чтобы достичь ограниченной сноровки, и в настоящее время способен почти полностью обслуживать себя…»

Пора отнимать его от Эда Бера, решил отец-генерал и отметил в памяти: откомандировать брата Эдварда. Возможно, в новый лагерь беженцев в Гамбии. Можно также воспользоваться опытом Эда в уходе за жертвами групповых изнасилований. Выпрямившись и стряхнув рассеянность, он вернулся к письму.

«По мнению старших священников миссии, – продолжался текст, – Эмилио Сандос обеспечил существенную часть успеха на начальной стадии первого контакта. Его чрезвычайное мастерство и огромные лингвистические познания помогли всем остальным участникам экипажа «*Стеллы Марис*» в их исследованиях, а его личное обаяние позволило им подружиться со многими ВаРакхати. Более того, очевидная красота его духовного состояния на первых годах экспедиции воскресила веру в душе по меньшей мере одного из мирян – участников полета и обогатила

стойкость в вере собратьев священников.

Тем не менее отец Сандос стал объектом ядовитого публичного осуждения за предполагаемое обществом поведение на Ракхате. Как вам известно, через три года следом за нашим кораблем был отправлен «*Магеллан»,* корабль, принадлежащий Консорциуму Контакт и преследовавший в первую очередь коммерческие интересы. Скандал хорошо продается; сенсационные обвинения против наших людей (и особенно против отца Сандоса) должны были послужить экономической выгоде Консорциума, так как пышущие злобой отчеты их экипажа были отправлены от Ракхата на потеху всего земного человечества. На самом деле экипаж «*Магеллана»,* высаживаясь на Ракхат, находился в полном неведении о планете и ее обитателях, и есть все основания предполагать, что Супаари ВаГайжур ввел их в заблуждение относительно многих фактов. Последовавшее и оставшееся необъясненным исчезновение членов экспедиции «*Магеллана»* отчасти предполагает, что и они пали жертвой какой-нибудь фатальной ошибки, не совершить которую на чужой планете невозможно.

Таким образом, из восемнадцати людей, высадившихся на Ракхат в составе двух отдельных экспедиций, выжил только Эмилио Сандос. Отец Сандос в меру своих возможностей сотрудничал с нами в течение месяцев интенсивного расследования, часто ценой огромных личных неудобств. Я отправляю Вашему Святейшеству весь комплекс научных материалов миссии и сопутствующих документов, а также словесные протоколы слушаний; ниже на ваше рассмотрение представлен краткий перечень наиболее выдающихся пунктов, обнаруженных в результате только что завершенных слушаний.

Первое: на Ракхате обитает не один, а два вида разумных существ.

Экипаж «*Стеллы Марис»* впервые вступил в контакт с населением деревни Кашан, которое приняло его за торговую делегацию из «дальних» краев. Жители деревни называли себя *руна*, что означает просто «люди». Руна представляют собой крупных двуногих вегетарианцев, наделенных стабилизирующим движения хвостом, – нечто вроде кенгуру; еще у них стоячие и подвижные уши и удивительно прекрасные глаза с двойными радужками. Пребывая в кротости духа, они чрезвычайно общительны и склонны к общественному образу жизни.

Ладони их снабжены двумя большими пальцами, и поэтому они весьма искусны в рукоделиях и ремеслах, хотя некоторые из участников миссии ордена подозревали, что руна как вид несколько ограничены в интеллектуальном плане. Их

материальная культура явным образом не соответствовала тем мощным радиопередачам, которые были приняты земными радиотелескопами в 2019 году. Более того, оказалось, что музыка тревожит и пугает руна, что выглядело для нас аномальным, поскольку именно переданные по радио хоралы поведали нам о самом существовании Ракхата. Но сами руна проявили достаточно высокий уровень мышления, и потому в миссии возобладало мнение, гласившее, что деревня Кашан представляет собой отсталый уголок на краю сложной цивилизации. Однако из-за того, что в Кашане можно было узнать чрезвычайно многое, нашей группой было принято решение побыть в ней еще какое-то время.

К огромному удивлению наших людей, Певцы Ракхата на самом деле оказались представителями второго вида обитавших на планете разумных существ. Жана'ата удивительным, хотя и поверхностным, образом схожи с руна. Они плотоядны, имеют хватательные ступни и трехпалые когтистые руки, похожие на медвежьи лапы. В первые два года пребывания на Ракхате знакомство нашей миссии с жана'ата ограничивалось единственным представителем этой расы, Супаари ВаГайжуром, торговцем из города Гайжур, исполнявшим роль посредника в торговле с некоторым количеством изолированных деревень руна, находящихся на юге Инброкара, государства, занимающего центральную треть самого крупного континента Ракхата.

Члены миссии Общества Иисуса укрепились в доверии к Супаари, считая того разумным существом доброй воли. Во всяком случае, вмешательство и помощь Супаари улучшили их взаимоотношения с селянами-руна, и Сандос объясняет большую часть своего понимания цивилизации Ракхата терпеливым сотрудничеством с Супаари, последующее предательство которого в отношении Сандоса остается одной из больших загадок всей миссии.

Второе: руна производят инструменты; жана'ата размножают их.

Руна являются руками жана'ата: они искусные ремесленники, домашняя прислуга и работники. Однако различия в статусе между жана'ата и руна являются не просто классовыми, как первоначально предполагали наши люди. По сути своей руна являются одомашненными животными – жана'ата размножают их так же, как мы собак.

Руна не размножаются до тех пор, пока организм их не достигнет определенного уровня упитанности, после чего развивается нечто вроде эструса. Этот биологический факт лег в основу экономики общества ракхати. Руна «зарабатывают» право

иметь детей, вступая в экономические отношения с жана'ата. Когда корпоративный счет деревни достигает намеченного уровня, жана'ата поставляют селянам дополнительные калории, позволяющие им размножаться, не нанося ущерба окружающей среде за счет перенаселения.

Основными ценностями общества жана'ата являются управление и стабильность, и, придерживаясь их, жана'ата также ограничивают собственное размножение, поддерживая численность собственного вида примерно на уровне четырех процентов всей численности популяции руна.

Церемониальная жизнь в существенной степени подчинена строгим законам наследования, и только первые двое детей любой имеющей право на размножение пары жана'ата в свой черед получают право вступать в брак и размножаться. Если рожденные в последующую очередь взрослые ВаРакхати отказываются от кастрации, им разрешается вступать в половые отношения с наложницами-руна, поскольку межвидовые сношения безопасны с точки зрения неконтролируемого размножения. Третьерожденные жана'ата чаще всего занимаются торговлей, науками и, очевидным образом, проституцией. В этой связи следует отметить, что упомянутый Супаари ВаГайжур как раз и являлся третьерожденным ребенком в собственной семье.

Более того, еще более шокирующим является тот факт, что жана'ата разводят руна не только из-за их разумности и способности обучаться, но и на мясо. За незнание этого мы заплатили собственными жизнями, Ваше Святейшество».

На этом месте Джулиани остановился предыдущей ночью, прислушиваясь к шагам Сандоса над головой. Пять шагов, пауза; пять шагов, остановка. Что ж, пока Эмилио ходит, можно не сомневаться в том, что жизнь его еще не причтена к перечню погибших на Ракхате… Вздохнув, Джулиани возвратился к прерванному занятию.

«Третье: жана'ата не содержат руна в загонах.

Когда дети взрослых руна сами достигают репродуктивного возраста, родители добровольно отдаются в руки патрулей жана'ата, периодически собирающих таковых вместе с не отвечающими стандарту детьми, после чего их всех убивают на мясо.

Вашему святейшеству следует понять, что наши люди полностью не представляли себе взаимоотношения между жана'ата и руна, став невольными свидетелями прибытия занимающегося отбраковкой патруля, который начал убивать младенцев ВаКашани. Оказавшись в такой сложной ситуации, которая лучше всего объяснена в показаниях Сандоса, экипаж

«*Стеллы Марис»* воспринял действия патруля как неспровоцированное нападение на руна деревни Кашан. Вдохновленные примером Софии Мендес, жители деревни оказали сопротивление властям, многие из них погибли, защищая невинных детей. Впоследствии Супаари ВаГайжур назвал этот акт беззаветной отваги поводом для восстания среди руна, а еще позднее Консорциум Контакт квалифицировал его как опрометчивое и прискорбное вмешательство в дела Ракхати. Следует, однако, признать, что среди руна, последовавших порыву Софии Мендес и поднявшихся на защиту своих детей, многие погибли в результате собственного неповиновения».

Отец-генерал откинулся на спинку кресла. А теперь, подумал он, идет самое худшее.

«После побоища в Кашане, – начал новый абзац Джулиани, – из всего экипажа «*Стеллы Марис»* остались в живых только Эмилио Сандос и отец Марк Робишо, попавшие в плен к патрулю жана'ата, который в течение нескольких недель гнал их форсированным маршем по окрестным селениям, где им пришлось стать свидетелями смерти многих руна. Каждое утро им предлагали еду, и Сандос какое-то время не понимал, что ест мясо младенцев руна; а когда догадался об этом – голод заставлял его есть эту плоть. Что до сих пор остается для него в собственных глазах источником позора и горя.

Когда Супаари ВаГайжур узнал, что они находятся в распоряжении патруля, он определил место нахождения обоих священников и, очевидно, подкупил командира патрульного отряда, став, таким образом, их владельцем. Сандосу, уже в резиденции Супаари, было предложено вместе с Робишо пройти обряд *хаста'акала.* Он посчитал, что им предлагается гостеприимство, и согласился. К его ужасу, этот обряд подразумевал полное уничтожение его ладоней; в результате отец Робишо скончался от потери крови. Примерно через восемь месяцев Супаари ВаГайжур продал Сандоса аристократу-жана'ата по имени Хлавин Китхери. Ваше Святейшество не может даже представить себе всю жестокость того обращения, которому подвергался Сандос в руках Китхери».

Поежившись, отец-генерал резко встал и отвернулся от написанного им.

– Что есть шлюха, – спросил его однажды Эмилио, – как не человек, чье тело погублено ради чьего-то удовольствия? Я – Божия шлюха, и я погублен.

Какое-то время Джулиани, ничего не замечая, бродил по своему кабинету – пять шагов, поворот; пять шагов, поворот – пока наконец не заметил, что неосознанно повторяет ритм

бессонных ночей, шагов, которые он столько раз слышал над потолком своей кельи. «*Заканчивай это письмо»*, – приказал он себе и снова взялся за дело.

«По прошествии нескольких месяцев, когда «*Магеллан»* вышел на орбиту вокруг Ракхата, экипаж Консорциума Контакт, посетил безлюдную «*Стеллу Марис»* и получил доступ к отчетам первых двух лет нашей миссии. От всего экипажа миссии ордена не осталось и следа, нетрудно было предположить, что все члены его погибли. Экипаж «*Магеллана»* высадился возле деревни Кашан, где их встретили неприкрытой враждой и страхом в отличие от радушного приема, оказанного команде «*Стеллы Марис»*. Юная самочка руна по имени Аскама сказала им по-английски, что Эмилио Сандос жив и обитает вместе с Супаари ВаГайжуром в городе Гайжур. Надеясь получить какие-то наставления от Сандоса, экипаж «*Магеллана»* отправился в город под руководством Аскамы, явно симпатизировавшей Сандосу.

Когда они оказались в Гайжуре, Супаари сообщил людям с «*Магеллана»,* что Сандос и в самом деле состоял в его доме в качестве челядина до самых недавних времен, но теперь по собственному желанию обитает в каком-то другом месте. Супаари также поведал им о гибели многих руна из-за вмешательства иноземцев в местные дела. Невзирая на это, Супаари помогал экипажу «*Магеллана»* и готов был заключать с ними сделки, хотя и уклончиво отвечал на вопросы, касавшиеся местонахождения Сандоса.

Несколько недель спустя Аскама сама нашла Сандоса и отвела к нему руководителей экспедиции «*Магеллана»*. Его обнаружили в серале Хлавина Китхери, нагим, в украшенном самоцветами оплечье и надушенных ароматами лентах и с кровавыми свидетельствами совершенной содомии. По собственному признанию, к этому времени Сандос дошел до состояния убийственного отчаяния. Надеясь на то, что его признают слишком опасным и оставят в покое или казнят, он в тот день принес обет Иеффая[8]: то есть приготовился убить того, кто первым зайдет в его клетушку.

Он не мог даже представить, что его жертвой окажется Аскама, девочка-руна, которую он едва ли не воспитывал и любил всем сердцем. Когда Сандос увидел перед собой труп этого ребенка, а за нею представителей Консорциума, он расхохотался. Думаю, что именно этот смех и убедил их в его моральном падении, кроме того, они располагали недавним свидетельством Супаари ВаГайжура, уверявшего их в том, что Сандос стал торговать собой по собственному желанию. Теперь я считаю, что смех этот стал знаком прорвавшейся истерики и отчаяния, однако

они только что стали свидетелями убийства, и в сложившихся обстоятельствах представители экипажа «*Магеллана*» предпочли поверить в худшее».

«Как и я сам», – подумал Винченцо Джулиани, вновь вставая и отходя от письменного стола.

Задним умом эта мысль казалась абсурдной – мысль о том, что горстка представителей рода людского сумеет с первого раза сделать все без ошибок. Даже ближайшие друзья могут не понимать друг друга, напомнил он себе. Первый контакт по определению происходит в состоянии полнейшего взаимонепонимания, когда обеим совершающим его сторонам ничего не известно об экологии, биологии, языках, культуре и экономике другой стороны. На Ракхате результат такого непонимания оказался катастрофическим.

«Ты не мог этого знать, – подумал Винченцо Джулиани, прислушиваясь к собственным шагам, но вспоминая шаги Эмилио. – *И ты не виноват».*

«Расскажи это мертвым», – ответил бы Эмилио.

Глава 2
Труча Сай, Ракхат

2042 год по земному времяисчислению

София Мендес с самого начала полета понимала, что члены иезуитской миссии на Ракхат окажутся самым уязвимым видом живых существ на этой планете.

«Стелла Марис» стартовала с экипажем из восьми человек. Алан Пейс скончался через несколько недель после посадки на планету, после чего их осталось семеро. Д. У. Ярброу, глава иезуитской миссии, заболел еще через несколько месяцев и так и не выздоровел, хотя с момента заболевания прожил восемнадцать месяцев в постоянно ухудшающемся состоянии здоровья. Понятным образом врач Энн Эдвардс, не имея исследовательской лаборатории и коллег, так и не сумела определить причину болезни, хотя рекомендации ее, вне сомнения, продлили жизнь Д. У. Впоследствии и сама Энн погибла вместе с Д. У., и смерть их стала тяжелейшим ударом для четверых выживших.

Иезуитской миссии неоднократно приходилось сплачивать ряды перед лицом несчастий. Когда простая ошибка в вычислениях после серьезной аварии привела к тому, что экипаж оказался запертым на Ракхате, они приспособились к ситуации, создав огород, способный снабжать людей пищей, торговля экзотическими товарами позволила им войти в местную экономическую систему. Жители деревни Кашан приняли их в свое общество, многие из местных жителей стали относиться к ним как к родственникам.

Случались и веселые совместные праздники, самым ярким из которых стала свадьба самой Софии с Джимми Куинном и объявление о том, что они ждут ребенка, состоявшееся как раз перед тем, как все разлетелось вдребезги.

Как и многие еврейские дети, София Мендес была воспитана на примерах из прошлого – библейской памяти о египетских рабовладельцах, вавилонянах, ассирийцах, римлянах, инквизиторах, казаках с нагайками, эсэсовцах с автоматами; она уничтожала в своей душе эти детские бессильные страхи, представляя себя борцом с этими захватчиками. И потому, когда патруль жана'ата явился в Кашан, сжег разбитый иноземцами огород, потребовал, чтобы руна ВаКашани принесли своих младенцев, и начал убивать детей, София Мендес отреагировала без промедления.

– Нас много. Их мало, – обратилась она к ВаКашани и

прижала младенца руна к собственной груди, отяжелевшей в беременности.

– Мы, люди, – сказала она, связывая собственную судьбу с руна, – на стороне *untermenschen* Ракхата.

Ее жест на короткий момент пробудил сопротивление; ее падение под тяжелым размахом руки жана'ата сопротивление прекратило. Затем, полагая, что победы они все равно не добьются, руна-отцы полегли на землю, прикрывая своими телами детей, а руна-матери пожертвовали собой, принимая на себя гнев жана'ата, чтобы спасти остальных. Когда побоище завершилось, на земле остались десятки окровавленных тел, большую часть которых победители немедленно разделали.

Когда патруль оставил деревню, пережитый ужас и кратковременный боевой восторг сделали невозможным прежний консенсус. Деревня Кашан распалась на мелкие части, нарушая общую стратегию выживания руна: держаться вместе; кружком, чтобы защитить как можно большее количество своих; действовать сообща. Теперь же находящиеся на пороге паники руна искали тех, кто разделял похожие чувства, немедленно образуя малые по количеству, но менее уязвимые группы. Потерявшие родственников повязывали на руки и шеи волнистые надушенные ленты, не имея сил на другую реакцию. Большая часть даже испытывала уверенность в том, что теперь-то уж жизнь наладится, так как из всех иноземцев в живых осталась одна София, а из незаконных младенцев уцелели немногие. Общий порыв требовал сдать Софию правительству жана'ата в качестве доказательства того, что Кашан вернулся на стезю закона.

– Отдать одного, спасти многих! – кричали они.

– Однако Фиа не сделала нам ничего плохого! Смерть принесли *джанада!* – возразила девушка по имени Джалао. Едва причисленная к взрослым, она не пользовалась никаким авторитетом, однако посреди общей сумятицы столь многие нуждались в указании, что ее послушали.

– Предупредите столько соседних деревень, сколько сумеете. Расскажите им о том, что произошло в Кашане, – после побоища наставляла Джалао гонцов. – Идут патрули *джанада*, только говорите им то, что сказала Фиа: «Нас много. Их мало».

Канчай ВаКашан находился в таком же смятении, как и все остальные, однако София спасла его дочь Пуску, и он был благодарен Мендес. Поэтому, когда горстка мужчин, чьи младенцы уцелели в побоище, решила дождаться красного света и искать укрытие под пологом южного леса, он взял с собой и Софию.

О путешествии в убежище София запомнила только

тоненький плач младенцев-руна и ровную, плавную поступь Канчая, день за днем уносившего ее на собственной спине; и то, как звуки саванны сменялись лесными звуками. Лицо ее сначала болело так, что она не могла даже открыть рот, и он измельчал для нее пищу, смешивал с дождевой водой и кое-как проталкивал в глотку сквозь сжатые зубы. Она старалась проглотить все, что могла. «Это нужно ребенку, – думала она. – Ребенку нужно».

Побледневшая от потери крови, отупевшая от боли, она концентрировала все свое внимание на собственном ребенке, единственном родном существе, оставшемся с ней после того, как погибли все остальные, кого она осмелилась полюбить. София фокусировала всю силу своей жизни в самом центре своего организма, где, несмотря на все, жил ребенок, и каждое легкое движение плода приносило ей страх, а каждый сильный толчок – надежду.

В самом начале она забывалась тяжелым сном, да и после много спала, согретая светом трех солнц, пробивавшимся сквозь полог листвы. Бодрствуя, она лежала, вслушиваясь в ритмичный скрежет длинных и прочных листьев, напоминавших самурайские мечи, – гнувшихся и шуршащих в руках руна, устраивавших на прогалине изящные платформы и кровли для сна. Где-то совсем рядом журчал ручеек, перепрыгивая с гладкого камня на камень. А над головой гулко стонали стволы *валиа,* сгибающиеся под ветром. И отовсюду доносились мягкие, снижающиеся гласные руанжи, воркование отцов-руна над детьми, которым было отказано в праве жить.

Окрепнув, она спросила о том, где находится.

Ей ответили – в Труча Сай. Что значит – «забудь нас».

– Руна приходят в Труча Сай, когда *джанада* проливают слишком много крови, – пояснил Канчай самыми простыми словами, словно обращаясь к ребенку. – Проходит время, и они забывают. И мы-и-ты будем ждать этого в лесу.

Она увидела в этих словах нечто большее, чем объяснение: Канчай намеренно выбрал слова.

– Здесь существуют две формы первого лица во множественном числе, – объяснял когда-то Эмилио Сандос остальным членам экипажа «*Стеллы Марис*». – Одна исключает лицо, к которому обращаются, так? То есть это мы-но-не-ты. Другая включает его. Если рунао использует *мы инклюзивное*, это важно и можно не сомневаться в его дружбе.

Беженцы-руна из всех южных провинций Инброкара присоединялись к ВаКашани в Труча Сай. И каждый из них нес младенца, и каждый младенец был рожден парой, питавшейся более калорийной пищей, выращенной на огородах иноземцев, –

парой, нарушившей правила жана'ата, вступившей в союз без разрешения жана'ата, обошедшей руководство жана'ата с беспечной, бездумной и непреднамеренной легкостью. Поселение Труча Сай постепенно наполнялось руна, на спинах которых оставались длинные тройные зажившие и полузажившие рубцы, розовые восковые следы, прорезавшие плотные темно-желтые шкуры.

– *Сипаж,* Канчай. Наверное, тебе было больно нести сюда *эту*, – однажды проговорила София, посмотрев на его шрамы и вспомнив путешествие по лесу. – Кто-то благодарит тебя.

Рунао опустил уши.

– *Сипаж,* Фиа! Чей-то ребенок живет благодаря тебе.

«А это важно, – думала она рассеянно, снова лежа, снова вслушиваясь в лесную симфонию голосов, писка, жужжаний и капель моросящего дождя, стекавших с листьев. – В Талмуде сказано, что спасенная вовремя жизнь может спасти весь мир. Как знать, – думала она. – Как знать?»

Итак, спустя месяц после побоища, в котором погибла половина руна, живших в деревне Кашан, София Мендес пребывала в уверенности, что она осталась единственной представительницей человечества, последней из всей иезуитской миссии на планете Ракхат. Приняв вызванную потерей крови летаргию за спокойствие, она полагала, что ей повезло в том, что она не ощущает горя. Жизненный опыт, уверяла она себя, подсказывает, что слезами горю не поможешь.

Счастье не обременяло собой ее жизнь. И всякий раз, когда заканчивался короткий период относительного благополучия, София Мендес не укоряла судьбу, но считала такой поворот возвращением к нормальной жизни. Поэтому в первые недели после побоища она просто считала, что ей повезло хотя бы в том, что оказалась среди тех, кто не рыдал и не оплакивал мертвых.

– Дождь падает на всех; молния ударяет в некоторых, – рассуждал ее друг Канчай. – То, чего не можешь изменить, лучше забыть, – советовал он, без бессердечности, но с некоторой долей практического смирения, присущей селянам руна Ракхати, которую София разделяла с ними.

«Бог создал мир и сказал, что это хорошо, – говаривал отец Софии всякий раз, когда она прибегала жаловаться ему на какую-нибудь несправедливость во время своего короткого детства. – Мир не справедливый. Не счастливый. Не совершенный, София. Просто хороший».

Хороший… но для кого? Часто пыталась она понять, сперва с юной дерзостью, а потом с усталостью четырнадцатилетней

девушки, трудившейся на панели Стамбула во время бессмысленной гражданской войны.

Она почти никогда не плакала. Слезы никогда не приносили Софии Мендес ничего, кроме головной боли. Еще когда она только научилась говорить, ее родители считали слезы тактическим приемом трусов и слабаков и воспитывали ее в сефардской традиции четкого рассуждения; она должна была добиться своего не всхлипами, но обоснованием своей позиции, настолько логично и убедительно, насколько умела в рамках достигнутой стадии развития своей нервной системы.

Когда, едва достигнув зрелости, будучи уже закаленной в какой-то мере реальностями войны на улицах города, София стояла над изуродованным минометным снарядом трупом своей матери, она была слишком потрясена свежей утратой, чтобы плакать. Не оплакивала она и отца, который однажды и навсегда просто не вернулся домой, не назначив точного времени для перехода от беспокойства к слезам. Она не выражала также и симпатии к слезам осиротевших товарок, других молодых шлюх. София сдерживала себя и не позволяла себе портить слезами собственную внешность, превращать лицо в опухшую, покрытую красными пятнами маску и потому питалась более регулярно, чем все остальные, и располагала достаточной силой для того, чтобы вогнать нож меж ребер клиенту, попытавшемуся обмануть или убить ее. Она торговала собственным телом, а потом, когда представилась возможность, своим умом, но уже за более высокую плату. Она выжила и живой выбралась из Стамбула, сохранив чувство собственного достоинства, потому что не поддавалась эмоциям.

Она не плакала бы вообще, если бы на седьмом месяце беременности ее не посетил кошмар: ей приснилось, что ребенок ее родился и что из глаз его течет кровь. Ощутив на сердце жуткую тяжесть, она в ужасе проснулась и, ощутив себя беременной, сперва заплакала от облегчения: ведь неродившийся младенец не мог бы плакать кровью. Однако плотина рухнула, и ее наконец затопил океанский поток печали.

Утопая в море утраты, она обхватила руками свой тугой круглый живот и плакала – плакала… не зная слов, не зная логики, не зная ума, который мог бы подсказать, что именно от этого – от этого ужаса, от этой боли – пыталась спастись всю свою жизнь, и не без причины.

При всем отсутствии привычки к слезам – плакать теперь было ужасно… Слезы залили одну половину ее лица, и от этого ощущения горе превратилось в истерику. Встревоженный ее рыданиями, Канчай спросил:

– *Сипаж,* Фиа, тебе приснились те, кто ушел от нас?

Однако она не смогла ни ответить, ни кивнуть в знак согласия, так что Канчай и его кузен Тинбар стали раскачиваться и дружно посмотрели на небо: не собирается ли дождь, когда кое-кто впал в *фиерно.* Пришли и другие руна, стали расспрашивать ее о погибших, дарить ленты на руки, а она плакала.

В конце концов спасла ее собственная усталость, а не чужие хлопоты.

«Это было в последний раз, – поклялась она себе, засыпая, наконец выплакав все эмоции. – Я не позволю этому повториться. Любовь – это долг, – подумала она. – И когда тебе присылают счет, ты оплакиваешь его горем».

И ребенок взбрыкнул в знак протеста.

* * *

София проснулась в объятьях Канчая, хвост Тинбара укрывал ее ноги. Вспотевшая, ощущая, как с одной стороны опухло ее лицо, она выпуталась из их объятий, неловко встала и побрела со своим большим животом, держа в руках темный *чанинчай,* совсем недавно сделанный из широкой и плоской скорлупы лесного *пигара.* Постояв недолго, она осторожно нагнулась и зачерпнула воды из ручья. Став на колени, она стала черпать ладонями прохладную чистую воду, омывая ею лицо.

А затем снова наполнила чашу и дала воде возможность успокоиться, прежде чем посмотреть в нее как в зеркало.

«Я не руна!» – подумала она, удивившись этому факту. Подобная странная потеря себя случалась с ней и прежде; через несколько дней после начала первой заморской командировки. Работая по контракту ИИ в Киото, глядя в зеркало ванной комнаты, она удивлялась тому, что не является японкой, как остальные женщины вокруг нее. И теперь здесь, на Ракхате, собственное человеческое лицо казалось ей голым; собственные взлохмаченные волосы – странными; уши – слишком маленькими и неуместными; глаза с одной радужкой – слишком простыми, а взгляд их – пугающе прямолинейным. И только после того, как она осознала все это, дошло и остальное: косой тройной шрам, протянувшийся от лба до челюсти, и пустая впадина, яма на месте…

– Чья-то голова болит, – сообщила она Канчаю, последовавшему за ней к ручью и теперь присевшему рядом с ней.

– Как у Миило, – ответил Канчай, знакомый с приступами

мигрени у Эмилио Сандоса и потому считавший головную боль нормальной реакцией иноземцев на горе. Сев на собственный мускулистый, сужающийся к концу хвост, он проговорил: – *Сипаж*, Фиа, иди и садись.

И она протянула руку, чтобы опереться на него и не упасть, выходя из воды.

Он начал расчесывать ее волосы, разбирая по отдельности прядку за прядкой, распутывая узелки внимательными руками рунао. Она предалась этому занятию, прислушиваясь к тому, как затихает лес в полуденную жару.

Чтобы занять руки, как это всегда делала маленькая Аскама, сидя на коленях у Эмилио, София взяла концы трех лент, обвязанных вокруг ее руки, и начала переплетать их. Аскама часто вплетала ленты в волосы Энн Эдвардс и Софии, однако раньше руна никогда не предлагали иноземцам носить их.

– Должно быть потому, что мы одеты, – думала Энн, но это была всего лишь догадка.

– *Сипаж,* Канчай, кто-то хочет узнать про ленты, – сказала София, глядя на него снизу вверх и повернув голову так, чтобы он видел ее слева. На этом глазу у нее была легкая близорукость. «Как жаль, – подумала она, – что лишивший ее глаза жана'ата не был правшой… тогда у нее остался бы полностью здоровый глаз».

– Эту ленту мы дали тебе за Дии, а эту – за Хэ'эн, – сказал ей Канчай, по одной перебирая ленты. Дыхание его пахло вереском: на этой неделе они питались в основном зеленью *нжотао*. – Эти – за Джоджи и Джими. Эти – за Миило и Марка.

От этих имен у нее перехватило горло, однако со слезами было покончено. Тут София вспомнила, что Аскама пыталась повязать две ленты на руку Эмилио после гибели Д. У. и Энн, но тому было тогда совсем плохо.

– Значит, их носят не для красоты, – спросила София, – но как напоминание о тех, кто ушел?

Дохнув на нее травяным перегаром, Канчай по-доброму усмехнулся:

– Не для того, чтобы помнить! Для того, чтобы их одурачить. Если духи возвращаются, они следуют по запаху в те места, где жили прежде. *Сипаж,* Фиа, если ушедшие снова приснятся тебе, расскажи кому-то, – предупредил он ее, ибо Канчай ВаКашан был предусмотрительным рунао. После чего добавил: – Иногда ленты – просто красивое украшение. *Джанада* и считают их всего лишь украшением. Иногда это действительно так. – Еще раз хохотнув, он поведал Софии: – *Джанада* похожи на духов. Их можно одурачить.

Энн стала бы расспрашивать его о том, почему это духи

возвращаются, и о том, как и когда они это делают; Эмилио и остальные священники пришли бы в восторг от связи запаха с духами и общением с незримым миром. София взяла ленты в руку, гладя пальцам атласную поверхность. Лента Энн была серебристо-белой. Может быть, как ее волосы?

Но нет – Джордж также был совсем седым, однако лента его оказалась ярко-красной.

Лента Эмилио была зеленой, и София подумала, что, кажется, знает причину. Лента ее мужа, Джимми, обладала чистым и светящимся голубым цветом; вспомнив его глаза, она поднесла ленту к лицу, чтобы вдохнуть ее запах. Пахло сеном, травяным и колким. Дыхание ее перехватило, и она опустила ленту. «Нет, – решила она. – Он ушел. А я больше не буду плакать».

– Почему же, Канчай? – потребовала она ответа, посчитав проявление гнева предпочтительнее проявлению боли. – Но почему патруль *джанада* сжег огороды и убил младенцев?

– Кто-то думает, что огороды – это неправильно. Люди должны ходить за своей пищей. Неправильно растить пищу у дома. *Джанада* лучше нас знают, когда нам надо рождать детей. Кто-то думает, что люди запутались и родили детей не вовремя.

Возражать было грубостью, но Софии было жарко, она устала и была раздражена манерой, в которой он разговаривал с ней, потому лишь, что она была ростом с восьмилетнего ребенка руна.

– *Сипаж*, Канчай, но что дает жана'ата право решать, кто и когда может иметь детей?

– Закон, – ответил он с таким видом, будто слово это было ответом на ее вопрос. А затем, оживившись, сказал ей: – Иногда в женщину может попасть неправильный ребенок. Такой ребенок, например, которому положено стать *кранил*. В прежние времена люди относили таких малышей к реке и звали *кранилов:* «Вот ваш ребенок, по ошибке родившийся у нас». Потом они опускали ребенка под воду, где жили *кранилы*. Это было трудно.

Он надолго умолк, обратив все свое внимание на какой-то узелок в ее волосах, по волоску распутывая его.

– Теперь же, когда к нам по ошибке приходит неправильный ребенок, это трудное дело исполняют *джанада*. И когда они говорят: вот хороший ребенок, тогда мы знаем, что с ним все будет отлично. Мать может снова пускаться в путешествия. И сердце отца будет спокойно.

– *Сипаж,* Канчай, а что вы говорите своим детям? О том, что надо отдавать себя на съедение жана'ата?

Ладони его остановились на мгновение, он ласково привлек ее голову к груди и заговорил, словно начиная колыбельную:

– Мы говорим им так: в старые времена люди были одни и

больше никого не было. Мы путешествовали во все стороны, куда только хотели, и не знали никаких опасностей, но нам было одиноко. Когда пришли *джанада*, мы обрадовались им и спросили: «Вы не голодны?»

Они ответили: «Умираем от голода!» Поэтому мы предложили им пищу – ведь путника, как тебе известно, всегда надлежит накормить. Но *джанада* не умели есть правильно и не могли есть ту пищу, которую мы им предлагали. Поэтому люди стали говорить и говорить, обсуждая, что нам все-таки делать – ведь нехорошо, когда гости голодны. Пока мы говорили, *джанада* начали есть наших детей. Тогда старшие сказали: они путешественники, они гости – мы должны кормить их, но установим правила. «Вы не должны есть всякого, кто попадется, – сказали мы *джанада.* – Вы должны есть только стариков и старух, от которых больше нет никакого толка». Так мы приручили *джанада.* И теперь хорошие дети находятся в безопасности и они забирают только старых, усталых и больных людей.

София изогнулась и посмотрела на него:

– Кто-то думает, что это хорошая сказка для малых детей, чтобы они хорошо спали и не наделали *фиерно,* когда придет выбраковщик.

Канчай поднял подбородок и вновь принялся расчесывать ее волосы.

– *Сипаж,* Канчай, эта не велика ростом, но не ребенок, чтобы прятаться от правды. *Джанада* убивают очень старых, больных и несовершенных. А убивают ли они еще и тех, кто вселяет беспокойство? – потребовала она ответа. – *Сипаж,* Канчай, почему вы позволяете им это? Откуда у них такое право?

Руки его остановились на мгновение, он проговорил с прозаическим терпением:

– Когда мы отказываемся идти с ними, наше место должен занять кто-то другой.

И прежде чем она успела ответить, протянул руку к ее животу, чтобы погладить его, словно живот собственной жены.

– *Сипаж,* Фиа, твой ребенок, конечно, уже созрел! – проговорил он явно для того, чтобы сменить тему разговора.

– Нет, – ответила она, – еще рано. Наверное, ждать придется еще шестьдесят ночей.

– Так долго! Кто-то уже думает, что ты вот-вот лопнешь, как стручок *датинсы*.

– *Сипаж,* Канчай, – отозвалась она с нервным смешком, – лучше молчи, а то случится по-твоему.

Страх и надежда, страх и надежда, страх и надежда… бесконечный круг.

«Почему же я так боюсь? – спросила она себя. – Я же Мендес. Я могу все». Однако ей удалось – пусть и недолго – побыть в веселых Куиннах: радующейся ночам и дням единственного в ее жизни лета и абсолютно немыслимому своему сочетанию с невероятно высоким, до смешного домашним и неимоверно любящим астрономом и ирландским католиком. А теперь Джимми больше не было, его убили *джанада*…

Ощутив, что пальцы Канчая вновь приступили к работе, она привалилась к нему спиной и посмотрела на лужайку, на которой прочие представители его расы говорили, готовили еду, смеялись, развлекали младенцев. «Могло быть и хуже, – подумала она, вспомнив привычную реакцию Джимми на неприятности, и охнула, ощутив резкое движение своего ребенка. – Я – София Мендес Куинн, и дела мои могли бы обстоять много хуже».

Глава 3
Неаполь

Сентябрь 2060 года

Иногда, если он никак не реагировал, люди уходили.

Некогда здесь жил мирянин-шофер. Комнатушка над гаражом находилась всего в нескольких сотнях метров от приюта, обычно такого расстояния вполне хватало, и Эмилио Сандос боролся за сохранение его со свирепостью отпетого собственника, удивлявшей его самого. Он добавил к обстановке немногое – фотонику, звуковое оборудование, рабочий стол, – но это была его комната. Голые балки и побеленные стены. Два стула, стол, узкая кровать; импровизированная кухонька; душевая кабинка и стульчак за передвижной ширмой.

Он смирился с тем, что не все умел контролировать. В частности, кошмары. Опустошительные приступы невралгии – поврежденные нервы кистей время от времени посылали стробоскопические импульсы боли вверх по его рукам. Он прекратил сопротивляться накатывавшим без предупреждения слезам; Эд Бер был прав, рыдания лишь ухудшали головную боль. Здесь, в одиночестве, он мог заставлять себя переносить эти удары, кататься от боли, принимая их, отдыхать, когда отступало. Если все отвяжутся от него, оставят его в покое – позволят ему жить своим чередом, на собственных условиях, – все будет в порядке.

Зажмурив глаза, сгорбившись, раскачиваясь на руках, он с нетерпением ждал, надеясь услышать, что шаги удаляются от двери. Стук повторился.

– Эмилио! – позвал отец-генерал, и в голосе его слышалась улыбка. – У нас неожиданный гость. Он приехал, чтобы встретиться с вами.

– О боже, – прошептал Сандос, вставая на ноги и пряча ладони под мышками. Спустившись по скрипучей лестнице к боковой двери, он остановился, чтобы отдышаться, отрывисто вдыхая воздух и медленно выпуская его. Коротким и резким движением локтя откинул заслонку с дверного глазка. Подождал, согнувшийся, молчаливый.

– Хорошо, – сказал он наконец. – Открыто.

На подъездной дороге рядом с Джулиани стоял высокий священник. Из Восточной Африки, определил Сандос, мельком глянув на новичка, однако равнодушный взгляд его остановился на лице отца-генерала.

– Как-то не вовремя, Винс.

– Безусловно, – согласился Джулиани, – конечно, не вовремя.

Эмилио стоял, прислонившись к стене, ему было не по себе, но что можно сделать в такой ситуации? Если бы Лопоре заранее позвонил…

– Прости, Эмилио. Я задержу тебя всего на несколько минут.

– Вы говорите на суахили? – Сандос внезапно спросил визитера по-арабски с легким суданским акцентом, вдруг неведомо откуда посетившим его. Вопрос, похоже, несколько удивил африканца, но он кивнул.

– Какими еще языками владеете? – требовательно спросил Сандос. – Латынью? Английским?

– Тем и другим. И еще несколькими, – ответил тот.

– Отлично. Подойдет, – обратился Сандос к Джулиани.

– Вам придется пока поработать самостоятельно, – сообщил он африканцу. – Начните с программы, разработанной Мендес для руанжи. Файлов по к'сан пока не касайтесь: я не слишком далеко продвинулся с формальным анализом. В следующий раз предупредите о приезде по телефону.

Он посмотрел на Джулиани, явным образом разочарованного его грубостью, и шепнул, поворачиваясь к лестнице:

– Расскажи ему о моих руках, Винс, сегодня болят обе. Я не могу думать.

«И ты тоже хорош, не мог предупредить меня, а не вваливаться без приглашения», – подумал Эмилио об отце-генерале, однако он уже был слишком близок к слезам, чтобы затевать выяснение отношений, и слишком утомлен, чтобы воспринять услышанные далее слова.

– Я молился за вас пятьдесят лет, – проговорил Калингемала Лопоре полным удивления голосом. – Бог тяжко испытал вас, однако вы не настолько переменились, чтобы я не узнал в вас того, каким вы были.

Остановившись на лестнице, Сандос повернул назад. Он по-прежнему горбился, прижимал руки к груди, но теперь он внимательнее посмотрел на священника, стоявшего возле отца-генерала. Шестидесятилетний, наверное, лет на двадцать моложе Джулиани, и такой же высокий, кожа цвета эбенового дерева, крепкие кости, глубоко посаженные и широко расставленные глаза, придающие в старости особую красоту женщинам из Восточной Африки и сделавшие лицо этого мужчины неотразимым. «*Пятьдесят лет*, – подумал он. – Сколько же этому парню было тогда? Десять, одиннадцать?»

Эмилио посмотрел на Джулиани, проверяя, понимает ли отец-генерал, что происходит, однако в данный момент тот был

растерян, как и сам Сандос, и столь же удивлен словами гостя.

– Я знал вас? – спросил Эмилио.

Лицо африканца как бы осветилось изнутри, необычайные глаза его засияли.

– У вас нет никакой причины для того, чтобы помнить меня, и я никогда не знал вашего имени. Но Бог знал вас, еще когда вы были в чреве матери, – подобно Иеремии, с которым Бог был также жесток.

И он протянул перед собой обе руки. Эмилио задержался, прежде чем снова сойти с лестницы. И жестом мучительным, сразу знакомым и чуждым, вложил собственные покрытые шрамами и невероятно длинные пальцы в бледные теплые ладони незнакомца.

«Сколько же лет прошло», – думал Лопоре, испытывая такое потрясение, что требование величать себя во множественном числе мгновенно улетучилось из его головы.

– Я запомнил ваши фокусы, – проговорил он с улыбкой, опуская глаза. – Какая красота и ловкость погублены, – печально проговорил и, поднеся ладони Сандоса к лицу, не замечая того, поцеловал их. Как потом решил Сандос, должно быть, сработало изменение кровяного давления или какая-нибудь причуда нейромышечного взаимодействия, но приступ галлюцинаторной невралгии наконец закончился, однако в этот миг африканец посмотрел прямо в глаза Эмилио, пришедшему в полное замешательство. – Пожалуй, руки были не самым тяжелым переживанием.

Сандос кивнул и, онемев, хмурясь, начал искать разгадку в лице собеседника.

– Эмилио, – произнес Винченцо Джулиани, нарушая недоуменное молчание, – может быть, ты пригласишь Святого Отца наверх?

Какое-то мгновение Сандос взирал на гостя, не скрывая изумления, а потом с губ его сорвалось:

– Иисусе!

На что епископ римский с неожиданным чувством юмора возразил:

– Отнюдь, всего лишь Его наместник.

Расхохотавшись, отец-генерал сухим тоном добавил:

– К сожалению, последние несколько десятилетий с отцом Сандосом невозможно было связаться.

Ошеломленный Эмилио снова кивнул и первым направился вверх по лестнице.

По чести говоря, папа в иезуитский приют на севере Неаполя

прибыл в полном одиночестве и без предупреждения, в самом простом священническом облачении, находясь за рулем ничем не примечательного «Фиата». Будучи первым с X века уроженцем Африки на своем посту и к тому же еще первым папой-прозелитом во всей современной истории, Калингемала Лопоре под именем Геласия III начинал второй год своего замечательного правления, наделив римский престол глубокой убежденностью новообращенного и дальновидной верой в универсальность Церкви, не путавшей вечную истину с укоренившимся в Европе обрядом.

На самой заре своей деятельности, пренебрегая политическими и дипломатическими условностями, Лопоре решил, что должен повстречаться с этим Эмилио Сандосом, знакомым с другими детьми Бога, видевшим дела Господни и здесь и там. И когда он принял это решение, ни одна из действующих в Ватикане бюрократических сил не была способна остановить его: Геласий III был наделен внушительным самообладанием и отнюдь не апологетическим прагматизмом. Лишь он один изо всех сумел пройти мимо охранявших Сандоса членов каморры и сделал это лишь потому, что пошел на переговоры лично с кузеном отца-генерала, доном Доменико Джулиани, некоронованным королем юга Италии.

В комнатушке Сандоса царил беспорядок, что с радостью отметил Лопоре, взяв с кресла забытое на нем полотенце, бросив его на незастеленную постель и усевшись без каких-либо церемоний.

– Я… Я прошу прощения за этот кавардак, – начал, осекаясь, извиняться Сандос, однако понтифик отмахнулся от извинений.

– Одной из причин, по которым Мы настояли на своем желании воспользоваться собственным автомобилем, было желание встречаться с людьми, не повергая их в припадок маниакальных приготовлений, – заметил Геласий III, а затем поведал сугубо официальным тоном: – Мы находим особо отвратительной свежую побелку и новые ковры. – Он пригласил Эмилио сесть напротив него за стол. – Пожалуйста, садись со мной, – проговорил он, опуская множественное число. И посмотрел на Джулиани, оставшегося в уголке возле лестницы, не желая вмешиваться, но явно опасавшегося уходить. «*Оставайтесь,* – сказали ему глаза Святого Отца, – *и запоминайте все».*

– Мой народ называется додот[9]. Они пастухи, даже сейчас, – сообщил папа Сандосу на экзотичной латыни, в которой звучали африканские интонации и памятные с детства ритмические каденции. – Когда настала засуха, мы пошли на север, к родне, к

топоса, живущим на юге Судана. Это было время войны, а значит, и голода. Топоса прогнали нас – у них самих ничего не было. Мы спросили: «Куда же нам идти?» Человек на дороге сказал нам: «На восток отсюда есть лагерь для кикуйю». Дорога была длинной, и, пока мы шли, моя младшая сестра умерла на руках у матери. Ты видел нас. Ты пошел навстречу моей семье. Ты взял у моей матери мертвую дочь с такой лаской, словно она была твоей собственной. Держа мертвого ребенка на руках, ты нашел для нас место для отдыха. Ты принес нам воды, а потом еды. А пока мы ели, выкопал могилу для моей сестры. Не помнишь?

– Нет. Младенцев было так много. И мертвых младенцев. – Эмилио посмотрел на папу усталыми глазами. – Я выкопал много могил, Ваше Святейшество.

– Тебе не придется больше копать могилы, – проговорил папа, и Винченцо Джулиани услышал в этих словах нотку пророчества – двусмысленного, неуловимого, уверенного. Но мгновение миновало, и интонация понтифика вновь сделалась обыденной.

– И каждый день после того дня я думал о тебе! Какой мужчина будет плакать о дочери не своего тела? Ответ на этот вопрос привел меня к христианству, к священству и вот теперь к тебе!

Он откинулся на спинку кресла, удивленный этой встречей с незнакомым ему священником полвека спустя. Помедлив, он продолжил мягким тоном, подобающим сану, призванному примирять человека с Богом:

– Ты оплакивал и других детей после тех дней, проведенных в Судане.

– Сотни. Нет. Тысячи, я думаю, умерли по моей вине.

– Ты взял великое бремя на свои плечи. Но был один особенный ребенок, Нам сказали. Ты можешь назвать ее имя, чтобы Мы могли помянуть ее в молитве?

И он смог… выдохнуть, едва слышно, почти беззвучно:

– Аскама, Ваше Святейшество.

Наступило короткое молчание, а потом Калингемала Лопоре, протянув руки над небольшим столиком, поднял склоненную голову Эмилио широкими сильными пальцами, стирая с его лица слезы. Винченцо Джулиани всегда считал Эмилио смуглым, но в этих могучих коричневых ручищах лицо его скорее казалось призрачным, и тут Джулиани понял, что Сандос едва не лишился сознания. Эмилио ненавидел прикосновения, терпеть не мог неожиданный физический контакт. Лопоре не мог этого знать, и Джулиани уже шагнул вперед, собираясь объяснить, когда понял, что папа говорит.

Эмилио внимал с окаменевшим лицом, лишь грудная клетка

подрагивала, выдавая его. Джулиани не мог слышать слов, но заметил, как Сандос застыл, отодвинулся, встал и начал расхаживать.

– Я сделал свое тело монастырем, а душу свою – садом, Ваше Святейшество. Ночи мои стали камнями стены этого монастыря, а дни мои – раствором между камнями, – произнес Эмилио на мягкой музыкальной латыни, которой так завидовал и восхищался юный Винс Джулиани, когда они вместе учились. – Год за годом я возводил эти стены. Но между ними устроил сад, который оставил открытым перед небом, и пригласил Бога гулять в моем саду. И Бог посетил меня. – Сандос, задрожав, отвернулся. – Бог наполнил меня, и восторг этих мгновений был настолько чистым и могучим, что стены моего монастыря рассыпались. Я более не нуждался в них, Ваше Святейшество. Бог был моим защитником. Я мог спокойно смотреть в лицо жены, которой у меня никогда не будет, и любить всех жен. Я мог смотреть в лицо мужа, которым мне не суждено быть, и любить всех мужей. Я мог плясать на свадьбах, потому что любил Бога и все дети были моими.

Ошеломленный Джулиани ощутил, как глаза его наполняются слезами. «*Да*, – думал он. – *Да*».

Но когда Эмилио вновь повернулся лицом к Калингемала Лопоре, он не плакал. Вернувшись к столу, он положил свои искалеченные руки на шероховатую от долгого использования столешницу, лицо его было искажено яростью.

– А теперь сад опустошен, – прошептал он. – Мертвы жены, мужья и дети… все мертвы. И не осталось ничего, кроме пепла и костей. Где был Защитник наш? Где был Бог, Ваше Святейшество? Где Бог теперь?

Ответ пришел немедленно, уверенный ответ:

– В пепле. В костях. В душах усопших, в детях, живущих благодаря тебе…

– Никто не живет благодаря мне!

– Ошибаешься. Я живу. И не только я.

– Я гниль и язва. Я занес на Ракхат смерть, словно сифилис, и Бог смеялся, когда меня насиловали.

– Бог плакал о тебе. Ты заплатил страшную цену, выполняя Его план, и Бог плакал, когда просил тебя об этом…

Мотая головой, Сандос попятился и вскричал:

– Это и есть самая ужасная ложь из всех! Бог не спрашивает. Я не давал согласия. Мертвые не давали согласия. Вина на Боге.

Богохульство дымком закурилось в комнате. Но уже через несколько секунд ему ответили слова Иеремии:

– «Я человек, испытавший горе от жезла гнева Его. Он повел

меня и ввел во тьму, а не во свет … посадил меня в темное место, как давно умерших; окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои, – цитировал Геласий III, глядя на Эмилио понимающими и полными сочувствия глазами, – и, когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою… Он пресытил меня горечью, напоил меня полынью… покрыл меня пеплом…»[10]

Сандос остановился на месте, глядя на нечто видимое только ему одному.

– Я проклят, – проговорил он наконец голосом, полным смертельной усталости, – а почему – не знаю.

Калингемала Лопоре сидел в кресле, соединив длинные сильные пальцы обеих рук на коленях… Вера его в тайный смысл, в Господне дело и Господне время оставалась незыблемой.

– Бог возлюбил тебя, – проговорил он. – Вернувшись на Ракхат, ты увидишь, что стало возможным благодаря тебе.

Голова Сандоса дернулась:

– Я не вернусь туда.

– Даже если тебя попросит об этом старший по рангу? – спросил Лопоре и, приподняв бровь, посмотрел на Джулиани.

Винченцо Джулиани, до той поры пребывавший забытым в своем углу, обнаружил, что смотрит прямо в глаза Эмилио Сандоса, и впервые за примерно пятьдесят пять лет устрашился. Отец-генерал развел руки в стороны и покачал головой, давая Эмилио понять: он здесь совсем ни при чем.

– *Non serviam,* – проговорил Сандос, отворачиваясь от Джулиани. – Не позволю вновь использовать меня.

– Даже если об этом попросим Мы? – настаивал Папа.

– Нет.

– Так… Не ради Общества… не ради Святой Матери Церкви… Тем не менее ради себя самого и ради Бога ты должен вернуться, – поведал Эмилио Сандосу Геласий III с жуткой и веселой уверенностью. – Бог ждет тебя там, на руинах.

Винченцо Джулиани всегда был человеком сдержанным и привыкшим владеть собой. И всю свою взрослую жизнь он проводил среди подобных себе людей – интеллектуалов и умудренных космополитов. Он читал и писал о святых и пророках, но это… «*Я увяз в этой истории с головой*», – думал он, желая спрятаться, устраниться от того, что происходило в этой комнате, любым способом сбежать от жуткого милосердия Господа. «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть»[11], – подумал Джулиани, внезапно посочувствовав израильтянам на Синае, Иеремии, послужившему Богу против воли, Петру, пытавшемуся

бежать от Христа. И Эмилио.

Тем не менее надо было собраться воедино, произнести короткие милосердные объяснения и утешительные апологии, проводить Святого Отца вниз по лестнице и наружу, под солнце. Вежливость требовала предложить Его Святейшеству откушать перед возвращением в Рим. Долгий опыт позволил проводить гостя в трапезную, непринужденно обсудить неаполитанский приют и достоинства его архитектуры, созданной Тристано. Указать на живописные произведения – превосходного Караваджо здесь, неплохого Тициана там. Милостиво улыбнуться брату Козимо, полностью ошарашенному появлением на своей кухне верховного понтифика, осведомлявшегося о том, готовили ли сегодня рыбный суп, особенно рекомендованный отцом-генералом.

Далее последовал *anguilla in umido*[12] и тост, произнесенный над бокалом изумительного вина 49 года «Лакрима Кристи»[13], слезы Христовой, пролитой о Сатане… Генерал Общества Иисуса и Святой Отец Римско-католической церкви за простым деревянным столом в самой обыкновенной кухне мирно вкушали обед, завершившийся капучино и *sfogliatele*[14], внутренне посмеиваясь над тем фактом, что обоих равным образом называли Черными Папами: иезуита – за черную сутану, римского епископа – за экваториальную кожу. Ни тот ни другой более не упоминали Сандоса. Или Ракхат. Речь шла о вторых раскопках Помпеи, которые можно было уже начинать, после того как Везувий как будто бы удовлетворился новым преподанным им Неаполю уроком геологического смирения. Поговорили об общих знакомых, обменялись сплетнями о ватиканских политиках и внутрицерковных шахматных матчах. И Джулиани заново проникся уважением к человеку, явившемуся на Святой престол извне и в данный момент умело разворачивавшему это древнее общечеловеческое учреждение в сторону политики, на взгляд отца-генерала вселявшей надежду своей мудростью и проницательностью.

Потом они неспешно дошли до «Фиата» папы, и длинные тени их скользили по неровной каменной мостовой. Усевшись в свой автомобиль, Калингемала Лопоре вставил ключ, однако смуглая рука его задержала движение. Опустив стекло, он некоторое время смотрел прямо перед собой и не сразу заговорил.

– Очень жаль, – произнес папа неторопливо, – что между Ватиканом и религиозным орденом, долго и достойно служившим нашим предшественникам, пробежала тень непонимания.

Джулиани замер, сердце его колотилось.

– Да, Ваше Святейшество, – проговорил он. Именно поэтому, среди прочих причин, он посылал Геласию III расшифровки присланных ракхатской миссией отчетов и собственное изложение случившегося с Сандосом. Ибо в течение пяти сотен лет преданность папскому престолу являлась той осью, вокруг которой обращалось всемирное служение ордена иезуитов, однако, основывая Общество Иисуса, Игнаций Лойола подразумевал солдатскую диалектику повиновения и инициативы. Терпение и молитва – и безжалостное давление, оказанное в том направлении, куда, по мнению иезуитов, должны быть нацелены решения, – время от времени приносили плоды. И при всем этом иезуиты считали своей целью образование и общественную активность, подчас граничившую с революционной; столкновения с Ватиканом редкостью не считались, и некоторые из них оказывались серьезнее остальных. – В то время это казалось неизбежным, но, конечно…

– Времена меняются. – Геласий говорил рассудительно, непринужденно, с юмором, как будто общаясь с другим светским человеком. – Приходские священники теперь могут жениться. На папский престол избрали угандийца! Но кто, кроме Бога, знает будущее?

Брови Джулиани поползли вверх… в ту сторону, где прежде росли волосы.

– Пророки? – предположил он.

Папа благоразумно кивнул, скептически поджав губы.

– Разве что редкий биржевой аналитик.

Застигнутый врасплох Джулиани рассмеялся, покачал головой и понял, что человек этот очень нравится ему.

– Нас разделяет не будущее, но прошлое, – сказал понтифик генералу ордена иезуитов, обрывая тем самым годы взаимного молчания о клине, который едва не развалил Церковь пополам.

– Ваше Святейшество, мы более чем готовы признать, что перенаселение не является единственной причиной нищеты и страданий, – начал Джулиани.

– Что же еще? Слабые умом олигархи? – предположил Геласий. – Этническая паранойя? Непредсказуемые экономические системы? Давняя привычка относиться к женщинам как к собакам?

Джулиани глубоко вздохнул и ненадолго затаил дыхание, прежде чем высказать мнение Общества Иисуса и свое собственное:

– Никакой кондом не избавит человечество от тупости, никакая пилюля или прививка не защитит его от жадности и

тщеславия… Однако существуют вполне гуманные и разумные способы смягчить некоторые рождающие страдание тенденции.

– Мы лично претерпели смерть сестры, закланной на алтаре Мальтуса, – отметил Геласий III. – В отличие от Наших просвещенных и блаженных предшественников Мы не способны узреть святейшую волю Господню в контроле за численностью населения посредством войн, голода и болезней. С точки зрения простого человека, эти факторы слепы и жестоки.

– И при всем том неадекватны цели. Как и простое половое воздержание, – отметил Джулиани. – Общество всего лишь просит, чтобы Святая Матерь Церковь снисходила к человеческой природе, как и любая любящая свое чадо мать. Безусловно, способность думать и планировать свои действия является Божественным даром, который следует использовать ответственно. Конечно, нет никакого зла в том, чтобы к каждому рожденному ребенку относились с такой же радостью и заботой, как к самому Христу Младенцу.

– О признании системы абортов не может быть никакой речи, – решительным тоном произнес Лопоре.

– И все же, – заметил Джулиани, – святой Игнаций советовал нам «не устанавливать таких жестких правил, из которых не может быть исключения».

– Но равным образом мы не вправе содействовать установлению такой негибкой и жестокой системы контроля за рождаемостью, которую Сандос описывает на Ракхате, – продолжил Геласий.

– Средний, Царский, путь всегда является наиболее трудным, Ваше Святейшество.

– А экстремизм всегда остается простейшим, однако… *Ecclesia semper reformanda!*[15]– с неожиданным пылом произнес Геласий. – Мы изучили предложения ордена иезуитов и наших братьев из Православной церкви. Благое решение достижимо! Вопрос только в том, каким образом… Для этого, как Нам кажется, надо заново определить области естественного и искусственного контроля за рождаемостью. Салинс… вы читали Салинса?[16] Так вот, Салинс пишет, что понятие природного определяется через культуру, так что и искусственного тоже.

Рука шевельнулась, зажужжал стартер, Папа приготовился к отъезду. Однако темные глаза его вновь вернулись к лицу Винченцо Джулиани:

– Да, следует думать, планировать… и все же какие замечательные дети приходят к нам незапланированными, нежеланными, презираемыми! Нам сообщили, что Эмилио Сандос – бастард и рожден в трущобе.

– Жестокие слова, Ваше Святейшество. – Подсказанные, вне сомнения, ватиканскими политиканами, скользнувшими за престол святого Петра, как только это место освободили их изгнанные предшественники-иезуиты. – Но технически правильные, как я понимаю. – Джулиани задумался на мгновение. – Невольно вспоминается Книга Чисел 11:23[17] и поздние дети Сары и Елизаветы. Даже Владычицы нашей! Полагаю, что, если Всемогущему Богу угодно, чтобы родился необычный ребенок, нам следует верить, что Он способен устроить такое рождение?

Карие глаза блеснули на невозмутимом лице.

– Этот разговор доставил Нам чрезвычайное удовольствие. Быть может, вы также посетите Нас?

– Не сомневаюсь в том, что мой секретарь договорится с вашим кабинетом, Святейший.

Папа склонил голову, поднял, благословляя, руку. Но, перед тем как переключить регулируемые односторонние стекла «Фиата» на режим видимости изнутри и вывести автомобиль на мощенную древней брусчаткой дорогу, спускавшуюся к римскому шоссе, он еще раз повторил:

– Сандос должен вернуться туда.

Глава 4
Великий Южный лес, Ракхат

2042 год по земному летоисчислению

В последний месяц беременности София Мендес взяла себя в руки, изгнав из памяти лица ушедших и сконцентрировав все свое внимание на пока неведомом ей самой собственном ребенке. Поворотная точка случилась через несколько недель после того, как они оказались в Труча Сай.

– Кто-то подумал: Фиа никогда не разлучается с этой вещью, – однажды утром сказал Канчай, передавая ей компьютерный планшет. – И поэтому кто-то принес его из Кашана.

Проведя ладошками по гладким торцам компьютера, заново ощутив его очертания и вес, стерев пыль с солнечной батареи, София почти беззвучно поблагодарила Канчая и в одиночестве отправилась к поваленному стволу *в'ралши*, чтобы сесть возле него, пристроив планшет на животе и поднятых коленях. После всего странного и страшного, после смятения и печали перед ней оказалась вещь обычная и знакомая. С трепетом душевным она вызвала «*Стеллу Марис*» и даже охнула с облегчением, когда включился экран библиотеки, как всегда терпеливый и надежный.

Она погрузилась в систему, по ходу процесса загружая данные. Роды, связанные термины: Роды дома, Роды в Средние века. Естественные роды…

– Единственный вариант для меня, – пробормотала она. И тут же воскликнула вслух: – Роды под водой! – Полностью озадаченная София заглянула в рекомендованные источники, чтобы понять, о чем речь. «Чушь», – решила она и продолжила поиск. Ребенка Развитие – тысячи отсылок. Ограничив поиск Младенца Развитием – Норма, она, отчасти из суеверия, не стала изучать такие статьи, как Аутизм, Пороки развития, Замедление роста, Воспитание – Максимы. «Возможно, еще пригодятся, – подумала она, – тем более за отсутствием такого важного источника информации, как бабушка. *О, Энн! О, мама! Где вы?»* – подумала она, немедленно прогнав воспоминания. Воспитание детей – Религиозные аспекты – Иудаизм. «Да, – решила она и открыла заодно и Тору. – Что делать, если родится мальчик?» – подумала она и решила, что справится с этой проблемой, когда и если до нее дойдет.

«За всяким листиком и корешком стоит ангел и приговаривает: расти, детка, расти! – говорила ей мать, когда она

была маленькой и боялась темноты. – Или ты думаешь, что Бог будет хлопотать над каждой травинкой, а про тебя забудет?»

«Мама, теперь я всего лишь одноглазая вдовая беременная еврейка, – подумала София, – *застрявшая в невозможной дали от дома. И если за мной действительно наблюдает Бог, то я предпочла бы оказаться травинкой. Но раз так, Боже… пошли мне дочку, прошу тебя,* – торопливо помолилась она. – *Маленькую девочку. Маленькую и здоровую».*

Однако София никогда не полагалась на Бога, немногословного с ней даже в те времена, когда Он явно присутствовал на рабочем месте. «Ступай к фараону и освободи Мой народ», – сказал Он, оставив логистику Моисею в качестве самостоятельной работы. Поэтому последующие несколько недель она провела за чтением и усвоением доступных в Сети книг и статей, создав для себя нечто вроде ИИ акушерки: синтезируя, расписывая последовательность действий, устанавливая ключевые точки, по возможности сводя их к утверждениям вида: если (условие), то (действие) – причем действия следовало производить на Ракхате, руками руна. Свои объяснения она сводила к практическим, наглядным и простым указаниям; после чего записывала их на руанже так, чтобы, заметив какие-то неполадки с ребенком или собой, могла без лишних размышлений отдать распоряжения, способные спасти жизни обоих. И, занимаясь этим делом, она утратила долю страха, но не надежды.

Отбраковка продолжалась по всему югу Инброкара – повсюду, где были высажены огороды. Продолжали небольшими группами по двое и трое приходить с младенцами отцы-руна, заодно приносившие и новости. Однажды пришли и женщины из Кашана; их вела девушка по имени Джалао, к которой мужчины относились с большим пиететом, так как именно она предупреждала их о появлении патрулей *джанада*.

Понимая, что Джалао ВаКашан спасла ее собственную жизнь, помимо множества прочих, София отозвала девушку в сторонку, чтобы поблагодарить ее во время короткого перерыва в шелесте руанжи, наполнявшем красные вечера, когда отцы укладывали детей спать: ручки на животик, хвостик на ножки, спинку к спинке.

Джалао выслушала благодарность, подняв уши и без смущения, и факт этот, помимо всего прочего, заставил Софию зайти в разговоре подальше:

– *Сипаж,* Джалао, но почему руна должны вернуться назад в свои деревни? Почему они не могут просто уйти от жана’ата?

Почему бы не показать им свой хвост, перебраться сюда и остаться здесь!

Джалао обвела взглядом лесной поселок, и только тут уши ее поникли. Расстроенная видом руна, живущих как животные, она сказала Софии:

– Дом наш не здесь, а там. Мы не можем покинуть поселки и города, в которых мы живем и торгуем. Мы… – Она умолкла и тряхнула головой, словно для того, чтобы отогнать надоедливого *йув'ат,* якобы жужжавшего ей в ухо. – *Сипаж,* Фиа, это мы построили города. Приходить сюда на время приемлемо. А уходить от созданного нашими руками, из мест, в которых обитают наши сердца, нельзя…

– Но так вы могли бы порвать свою связь с *джанада,* – сказала София. Удивленная самой идеей, Джалао фукнула на нее, но София не сдавалась: – Разве они дети, что вы должны носить их? *Сипаж,* Джалао, жана'ата не имеют права указывать вам, когда можно рожать детей, не имеют права указывать вам, кому рожать, кому жить и кому умирать. Они не имеют права убивать вас и поедать ваши тела! Канчай говорит, что таков закон, однако закон таков только потому, что вы соглашаетесь соблюдать его. Измените закон!

Заметив признаки сомнения – легкое, полное тревоги покачивание из стороны в сторону, – София шепнула:

– Джалао, *джанада* не нужны вам. Это *вы* нужны им!

Девушка распрямилась, застыв на месте в напряженной позе.

– Но что тогда будут кушать *джанада?* – спросила она, наставив вперед уши.

– А вам-то что до того? Пусть едят *пийанот!* – воскликнула вознегодовавшая София. – Ракхат кишит животными, годящимися в пищу плотоядным существам.

Наклонившись вперед, она заговорила самым уверенным и настоятельным тоном, радуясь тому, что наконец обрела слушателя, способного понять, что руна нет нужды соединяться в своей покорности:

– Вы не мясо. У вас есть право восстать и сказать – все, и никогда больше! Пусть у них когти и обычай на их стороне. Вас больше и… – Она хотела сказать, на их стороне справедливость, однако в руанже не было такого слова, как и *честность* или *равенство*.

– На вашей стороне сила, – наконец произнесла София, – если вы решите воспользоваться ею. *Сипаж,* Джалао, вы можете освободиться от них.

Несмотря на молодость и видовую принадлежность, Джалао ВаКашан явно не только могла принять такое решение, но и

хотела прийти к нему своим умом. И поэтому, когда заговорила, ограничилась немногими словами:

– Кто-то обдумает твои слова.

Это был вежливый отказ. Эмилио Сандос всегда трактовал формулу «кто-то обдумает твои слова» как «когда рак свистнет и рыба запоет».

София вздохнула и сдалась. «Но я попыталась, – решила она. – Впрочем, кто знает? Может быть, семя уже посеяно».

Гостьи-ВаКашани отбыли восвояси на следующее утро, и жизнь в Труча Сай вернулась к прежнему распорядку – к уходу за младенцами, сбору пищи, приготовлению ее и еде… вечной еде. Жизнь спокойная, далеко не вызывающая, и София благословляла каждый лишенный событий день, сопротивляясь спазмам, время от время посещавшим и покидавшим ее. Низкие и приходившие изнутри ее тела, они не были достаточно сильными для беспокойства, думала она, заставляя себя успокоиться и приказывая матке утихомириться.

Руна, удивлявшиеся на свете столь немногому, тем не менее находили беременность Софии удивительной благодаря продолжительности и тому влиянию, которое оказывал на нее этот процесс. Лопающиеся стручки *датинсы* стали упоминаться слишком часто, и примерно за четыре недели до расчетной даты родов София, спина которой постоянно болела, и вообще ей было не по себе в этой липкой жаре, постаралась донести до всех и каждого в радиусе трех километров, что не желает более слышать ни единого слова о том, что кто-то или что-то лопнуло, заранее всех вас благодарю. Но едва эти слова сошли с ее уст, как нагрянула жуткая гроза с ужасающим ветром, сгибавшим деревья едва ли не пополам.

Дождь хлестал с такой силой, что в самый разгар грозы София уже подумала, что ребенка придется назвать Ноем, ибо более мокрой она не смогла бы стать, даже оказавшись посреди океана. Воды, должно быть, отошли во время грозы; ибо схватки начались по-настоящему через несколько часов после нее и без всякого предупреждения.

– Слишком рано! – крикнула она Канчаю, Тинбару, Сичу-Лану и всем прочим собравшимся рядом, когда она присела на корточки, ожидая, что схватка пройдет.

– Должно быть, – попытался успокоить ее Канчай, помогший ей устоять, когда накатила вторая волна. Однако у младенцев своя повестка дня и своя логика, и ее личный младенец уже вышел в путь, готовый к тому или нет.

Софии в жизни пришлось перенести много всякого-разного, и поэтому она никогда не покорялась боли целиком, но все-таки

при своем небольшом росте она еще не до конца оправилась от почти смертельного ранения, полученного всего два месяца назад. Сначала она много ходила, так как ей становилось лучше, однако к следующему восходу ощутила, что очень и очень устала, и даже перестала думать о младенце. Она хотела просто пережить этот эпизод в своей жизни, закончить его.

У всех присутствовавших отцов, естественно, имелись надежные советы, мнения, наблюдения и комментарии. И уже скоро она обнаружила, что огрызается на них, требует, чтобы они заткнулись и оставили ее в покое. Будучи руна, они никак не могли сделать ни то ни другое… В конце концов, они просто не видели причин молчать или оставлять ее в одиночестве. Посему разговоры продолжились, и их длинные прекрасные деловые пальцы под общий разговор продолжали сплетать новые ветровые ширмы и полотнища крыш, поврежденных во время грозы.

К полудню, уже в изнеможении, она прекратила всякую борьбу с окружающими и умолкла. Когда Канчай понес ее к крохотному водопаду, расположенному рядом с лагерем, София возражать не стала, но уселась рядом с ним под струю, благодатной прохладой осенявшую ее плечи, и за легким ропотом водопада исчезали голоса болтающих руна. К собственному удивлению, она расслабилась, и это помогло ей родить.

– *Сипаж,* Фиа, – произнес Канчай спустя какое-то время, не отводя от нее глаз кота породы голубой шартрез[18], – пощупай здесь. – Он опустил ее пальцы на родившуюся головку и улыбнулся, пока она ощупывала влажные и кудрявые волосики младенца. Последовали три сокрушительных схватки, и когда младенец вышел целиком, память недавнего кошмара затопила ее.

– *Сипаж,* Канчай! – выкрикнула София, даже не узнав, кто родился у нее, сын или дочь. – С глазками все в порядке? Они не кровоточат?

– Они маленькие, – честно признал Канчай. – Но нормальные для твоей родни, – добавил он ее успокоения ради.

– И их два, – сообщил его кузен Тинбар, полагая, что количество глаз у ребенка одноглазой Софии могло смутить ее.

– И они голубые! – добавил их друг Сичу-Лан, испытывая облегчение, так как странные карие глаза Фии всегда непонятным образом смущали его.

Наступило молчание, она ощутила, что ножки младенца выскользнули из ее тела. И София даже успела подумать, что он родился мертвым. Нет, решила она. Все дело в посторонних шумах – разговорах и водопаде. И тут она наконец услышала возмущенный голосок младенца, попавшего под заставившую его

дышать холодную воду, ставшую таким утешением для его матери в конце удушающе жаркого бесконечного дня.

Канчай принес листьев, чтобы обтереть новорожденного, а Сичу-Лан со смехом указал на его гениталии, оказавшиеся наружными.

– Посмотри, – воскликнул он, – кто-то думает, что этот младенец торопится стать отцом!

Значит, сын, поняла она и шепнула:

– У нас родился мальчишка, Джимми!

И расплакалась – не от горя или ужаса, но от облегчения и благодарности, – когда сильные руки подняли ее из прохладной воды, и жаркий ветерок тут же высушил ее и ребенка. Заново ощутив своей кожей прикосновение человеческого тела, она вздрогнула и уснула. А потом ощутила, как губки ребенка сомкнулись вокруг ее соска: прикосновение ласковое, почти ленивое, напомнившее о Джимми, столь же прекрасное в себе, но слабое. Тут что-то не так, подумала София, но тут же прикрикнула на себя: малыш только что родился, причем до срока. Он станет сильнее.

А потом решила: пусть будет Исаак, чей отец, подобно Аврааму, оставил родные края ради земель неведомых; и чья мать, как и Сара, вопреки всем ожиданиям родила своего ребенка и возликовала.

София приложила младенца к груди и посмотрела в мудрые совиные глазки на крохотном личике эльфа под шапкой темно-рыжих волос. В данный момент она уважала своего сына больше, чем любила его. И потому подумала: «Ты сделал это. *Джанада* едва не убил нас обоих, и ты родился прежде своего времени, неудачно начав свою жизнь, но ты жив, жив вопреки всему».

Могло быть и хуже, подумала она, вновь погружаясь в сон, ощущая рядом с собой младенца. Жар ракхатского дня окутывал их, как тепло земного инкубатора для новорожденных, и обоих их окружали руки, ноги и хвосты что-то бормотавших руна.

«Я – Мендес, – подумала она, – и сын мой жив. Все могло быть и хуже».

Глава 5
Город Инброкар, Ракхат

2046 год по земному летоисчислению

Дитя родилось с дефектом.

Лжаат-са Китхери, сорок седьмой Высочайший, сорок седьмой глава Благороднейшей Наследственной Линии Инброкара, изложил эту неприукрашенную новость отцу ребенка без всяких преамбул. Призванный доместиком-руна в личные покои Высочайшего сразу же после восхода второго, самого золотого, из солнц Ракхата, Супаари ВаГайжур воспринял известие молча, даже не моргнув.

Шок или самоконтроль? Удивился Китхери, когда абсурдный муж его дочери подошел к окну и какое-то время изучал косые крыши людного города Инброкар, после чего повернулся и склонился в почтительном поклоне.

– Что не так с ребенком, если мне позволительно знать, Твое Великолепие?

– Ножка подворачивается. – Китхери посмотрел на дверь. – На этом все.

– Виноват, Твое Великолепие, – настаивал коммерсант. – Но разве дефект обязательно наследственный? Быть может, чего-то не хватило во время беременности?

Хамский выпад, но, учитывая происхождение купчины, Высочайший не стал обращать внимание.

– Ни одна из женщин моего рода или рода моей жены в недавние времена не рожала дефективных детей, – сухим тоном проговорил Китхери, с удовольствием отметив, что коммерсант опустил уши. Недавние времена в данном контексте и в устах Китхери означали самый древний на всем Ракхате род.

Недовольный замужеством дочери с самого начала, Лжаат-са Китхери примирился с этим браком потому лишь, что третья линия потомков предоставляла известное количество необычных политических возможностей. Теперь, однако, было ясно, что вся история превратилась в фарс, чего и следовало ожидать с учетом участия Хлавина, подумал Высочайший. Типичный результат действий этого недотепы, собственно являвшегося позором своей семьи, вдруг ни с того ни с сего решившего предоставить права основателя рода этому Супаари для того лишь, чтобы шокировать своих родных. Со времен незапамятных законное право учреждать новые наследственные линии принадлежало Рештарам Китхери именно потому, что предписанное им законом бесплодие

представляло собой наиболее заметный аспект их жизни. На этих злополучных третьих сыновей можно было положиться в том, что они будут в нормальных условиях с большим разбором предоставлять привилегию, которой им самим не суждено удостоиться. «Однако Хлавин никогда и ни в чем не соответствовал норме», – подумал Высший с неудовольствием и гневом.

– Это был сын? – спросил коммерсант, прерывая размышления Высшего.

Всего лишь с любопытством, говорил тон. Уже задвигая ребенка в прошлое. Восхитительное самообладание, учитывая обстоятельства.

– Нет, дочь, – возразил Высочайший.

Впрочем, удивительный результат случки. Когда коммерсант явился в Инброкар, чтобы покрыть Жхолаа, Высочайший с удовлетворением отметил, что кандидат в родственники хорош собой. Красивые уши по бокам широкого лба, вытянутое вперед мужественное лицо. Умные глаза. Широкий в плечах. Высокий, мощные ноги – подобные качества не помешают наследственной линии Китхери, признал про себя Высочайший. Хотя, конечно, невозможно представить, как повлияет на наследственность скрещивание с неопробованной наследственной линией.

Откинувшись на мускулистый и жесткий хвост, Высший сложил руки на массивной груди, обхватил локти длинными изогнутыми когтями и перешел к делу:

– В подобных ситуациях, как ты понимаешь, существует такое понятие, как отцовский долг. – Супаари, соглашаясь, поднял вверх подбородок. Вытянутое, симпатичное и на удивление достойное лицо его оставалось спокойным. – Могут быть и другие дети, – предположил Высочайший, однако они понимали, что с этой идеей к Жхолаа и подойти-то теперь практически невозможно. Коммерсант промолчал.

И молчание это было крайне неприятно. Высший осел на подушку, жалея теперь о том, что не послал с этим известием в торговую палату протоколиста-руна.

– Так. Значит, обряд назначен на завтра, Твое Великолепие? – спросил наконец Супаари.

«Мои предки были обязаны делать это, – подумал Высочайший, против собственного желания ощущая сочувствие. – Пожертвовать одним ребенком, чтобы избавить в дальнейшем весь род от наследственного заболевания, уродства, отклонения от нормы».

– Это необходимо, – объявил он громко и с убежденностью. – Смерть одного ничего не значащего ребенка избавляет в будущем

от страданий целые поколения. Мы должны всегда стремиться к высшему благу. – Естественно, этому торгашу неведомы воспитание и дисциплина, которые формируют тех, кто от рождения предназначен властвовать.

– Быть может, – предложил Лжаат-са Китхери с несвойственной ему деликатностью, – ты предпочтешь, чтобы я…

Коммерсант на мгновение задохнулся и встал в полный рост.

– Нет. Спасибо, Твое Великолепие, – произнес он мягким и окончательным тоном и неторопливо повернулся, чтобы посмотреть на Высочайшего, в чем читалась тонко рассчитанная угроза. Как с легким удивлением отметил тот, делая в памяти заметку, что мужа этого нельзя оскорблять пренебрежением, причем удивление его еще более усугубилось за счет новой наглости – преднамеренно кроткого тона, с которым Супаари произнес следующие слова: – Возможно, это цена, которую приходится платить тому, кто начинает что-то новое.

– Да, – согласился Лжаат-са Китхери. – Именно так, хотя коммерческая терминология, на мой взгляд, неуместна. Значит, до завтра.

Коммерсант с благородством принял поправку, однако оставил покои Высочайшего без предписанного этикетом поклона. Допустив таким образом всего лишь один промах. Причем ошибка эта могла оказаться вполне преднамеренной, как с признаками растущего уважения начинал подозревать Высочайший.

«И за это я должен благодарить Сандоса, – с горечью думал Супаари, устремляясь по кривым коридорам к отведенным ему покоям в западном коридоре дворца Китхери. Ощущая, как горло его стискивает желание взвыть, он повалился в оцепенении на свое ложе, чувствуя только свое горе. – Ну как могло все сложиться так неудачно? – спрашивал он себя. – Все, что было у меня, – состояние, дом, торговля, друзья – все за ребенка с подвернутой ножкой. И, если бы не Сандос, ничего этого не случилось бы! – думал он в ярости. – Все предприятие это было порочным с самого начала и до самого конца».

И все же, до тех пор пока Высочайший не поведал ему эту катастрофическую новость, Супаари казалось, что на всех этапах своей интриги он не допустил ни единой ошибки. Он вел себя осторожно и предусмотрительно. Обдумывая задним числом последние три года, он не видел альтернатив принятым им решениям. Руна деревни Кашан являлись его клиентами: он был обязан торговать их товаром. Даже если для этого требовалось иметь дело с бесхвостыми иноземцами с С’емли. Кто был

очевидным покупателем для их экзотического товара? Решстар Дворца Галатна, Хлавин Китхери, чья страсть к курьезам и уникумам была известна всему Ракхату. «*Следовало ли мне оставаться с иноземцами в Кашане?»* – спрашивал он себя. Нелепо! У него оставалась его торговля, обязанности перед другими деревенскими корпорациями.

Даже когда иноземцы научили руна выращивать пищу, и властям стало известно о несанкционированном размножении руна на юге страны, и начались бунты, даже тогда он сохранял контроль за ситуацией, прежде чем разразился хаос. Иноземцы были здесь совершенно чужими, они не знали, что поступают неправильно, и, чтобы не предавать двоих уцелевших суду за подрывную деятельность, он, Супаари, предложил сделать их *хаста'акала.* Конечно, один из них сразу после этого умер, что стало дурным знаком. «*Быть может, мне следовало не торопиться и побольше узнать о них, прежде чем отдавать приказание обрезать им руки»,* – думал Супаари. Однако он должен был тогда придать им легальный статус, чтобы правительство не казнило их без суда. «Как я мог догадаться, что руки их будут так кровоточить?»

Когда Сандос поправился, Супаари предпринял все усилия, чтобы включить низкорослого толмача в повседневную жизнь Гайжурской торговой копании. Он предлагал Сандосу проводить время на складах и в конторе, предлагал ему заняться обыденной торговой деятельностью, однако иноземец оставался пассивным и угнетенным.

Наконец, испробовав все, что можно было сделать любезным образом, Супаари решил бестактно и в лоб спросить Сандоса, что ему не так.

– Твоему недостойному гостю одиноко, господин, – произнес Сандос, сопроводив свои слова движением плеч, как будто бы означавшим задумчивость. Или, возможно, согласие. Иногда безразличие. Трудно было точно понять, что именно означает этот жест. Однако потом иноземец подставил шею, чтобы Супаари не счел его недовольным.

– Господин, ты более чем добр ко мне и твое гостеприимство безупречно. Сей бесполезный чрезвычайно благодарен тебе.

Итак, он тоскует по другим существам своего рода, сообразил Супаари и подумал, что иноземцы скорее были ближе к руна, чем к жана'ата. Привязанность у руна носила подлинный, но эластичный характер: она охватывала тех, кто находился рядом, но плавно сокращалась, когда кто-то удалялся. К тому же им было необходимо пребывать в стаде. О да, женщины их могли переносить определенную долю уединения и даже умели

работать с незнакомцами, однако мужчины нуждались в семьях и детях. Оказавшись вдали от родных и друзей, некоторые из мужчин руна просто переставали есть и умирали. Такое случалось нечасто, но тем не менее происходило.

– Сандос, ты нуждаешься в жене? – спросил Супаари, презрев условности из-за беспокойства за этого иноземца, который может также умереть, находясь на его попечении.

– Господин, твой благодарный гость придерживается правил целибата, – сообщил ему Сандос, воспользовавшись словом своего х'инглиша и посмотрев в сторону. А затем пояснил на своем очаровательно неловком к'сан: – Такие, как сей недостойный, не берут себе жен.

– О! Значит, твоя родня похожа на жана'ата, разрешающих иметь детей и жениться только двум первородным отпрыскам, – с облегчением произнес Супаари. – Я тоже соблюдаю это правило – ваш целибат. Ты тоже третьерожденный, как и я?

– Нет, господин. Второй. Но среди таких, как твой гость, искать себе пару и иметь детей может даже рожденный пятым или шестым.

Пятым? Шестым! Иноземцы рождаются целыми выводками? Супаари задумался. Как они могут позволять себе иметь столько детей? Подчас он приходил к выводу, что во всем, что известно ему об иноземцах, понимает всего лишь двенадцатую часть. – Но если ты второй, почему же ты не женился?

– Сей недостойный решил не делать этого, господин. Среди моего рода, как и среди твоего, немногие решаются идти подобным путем. Такие мужчины, как твой гость, оставляют семьи, в которых были рождены, и не заводят связей с другими людьми, и не рождают детей. Так мы можем любить всех без исключения и служить многим.

Супаари был потрясен этими словами маленького толмача, о котором привык заботиться.

– То есть ты лично являешься слугой многим?

– Да, господин, этот служил людям, будучи среди своих.

«Однако здесь более нет никого из твоего рода», – подумал Супаари. Сбитый с толку, он откинулся на груду обеденных подушек, на которых отдыхал, пока остывали остатки его трапезы, и с сожалением подумал о тех временах, когда самой серьезной его проблемой являлся спрос на *кирт* в будущем сезоне.

– Сандос, – проговорил он, пытаясь наконец обрести в чем-то реальную опору, – зачем вы здесь? Что привело вас сюда?

– Желание изучать дары вашего языка… познать песни вашей земли.

– Так говорила мне Хэ’эн! – воскликнул Супаари, наконец понимая кое-что из того, что говорила Энн Эдвардс. – Вы явились к нам, потому что услышали песни наших поэтов и они восхитили вас. – Он смотрел на Сандоса новыми глазами: не как на переводчика, выращенного торговли ради, но как на второродного, осознанно отказавшегося от своего права иметь детей, и на поэта, служащего многим! Неудивительно, что Сандос не выражал интереса к коммерции! И тут все стало на свои места – блестящим образом, как казалось тогда. – А не хотел бы ты служить среди поэтов, чьи песни привели тебя сюда, Сандос?

Тут иноземец впервые за полный сезон просветелел.

– Да, господин. Это будет честью для твоего недостойного гостя. Действительной честью.

И посему Супаари приступил к осуществлению этого желания. Переговоры были тонкими, сложными, восхитительными. В конечном счете он осуществил изящную, превосходно сбалансированную комбинацию, истинный венец чрезвычайно успешной коммерческой карьеры. Иноземец Сандос поступает на пожизненную службу к Хлавину Китхери, Рештару Галатны, чье увядающее поэтическое мастерство могло заново возродиться к величию в результате общения с иноземцем. Младшая сестра Рештара Жхолаа, как и сам Супаари, будет избавлена от вынужденного бесплодного состояния благодаря их браку и основанию новой наследственной линии Даржан, обладающей всеми правами на размножение. Поскольку собственное состояние Супаари ВаГайжура присоединится к линии Даржан, Благороднейшая Патримония Инброкара обретет третий клан без малейшего намека на непристойное непостоянство: идеально умножая наследственные линии без раздела наследуемой собственности.

Соглашение было подписано, передача собственности совершена. Сандоса передали во Дворец Галатна, и он как будто бы достаточно хорошо устроился. Супаари сам присутствовал при передаче иноземца Рештару; на самом деле его малость смущала патетическая трепетная готовность, с которой Сандос воспринимал заходы Китхери.

Тем не менее коммерсант покинул Дворец Галатна, восхищаясь собственной удачей и полагая, что правильно поступил и в отношении Сандоса.

Однако прошло не так уж много времени, и Супаари понял, что здесь могло иметь место некое непонимание.

– А как поживает иноземец? – поинтересовался он через несколько дней после осуществления сделки, надеясь услышать, что Сандос наслаждается жизнью.

Отвечено было:

– Неплохо.

Секретерь Рештара сообщил ему, что даже после первого посещения Сандос ведет себя необычным образом – каждый раз сопротивляется, словно девственница.

Рештар был этим доволен и уже успел сочинить великолепный песенный цикл. Лучший за многие годы, по общему мнению. Как узнал Супаари, проблема заключалась в том, что иноземец реагировал на секс бурной рвотой. Это было неприятно, однако Супаари предположил, что для его родни это нормально. Одна из иноземок, София, как раз была беременна перед тем, как ее убили во время кашанского бунта, и ее постоянно рвало.

В любом случае сделка была совершена и обратного пути не оставалось. И стихи Рештара быди очаровательны. Как и новый дом Супаари, город Инброкар; как и его новая жена, госпожа Жхолаа.

Однако стихи приобрели очень странный поворот, и Рештар умолк. Кроме того, Инброкар оказался удивительно нудным местом по сравнению с оживленным и деловым Гайжуром.

Жхолаа, напротив, сухо отметил Супаари, скучной не была, однако как будто бы оказалась умалишенной.

Исчез и Сандос, которого отослал туда, откуда он явился, прибывший с этой самой С'емли новый отряд иноземцев, благополучно исчезнувший после этого. Должно быть, тоже вернулся на родину. Но как знать?

С учетом того, как сложилось его супружество, Супаари предпочел бы никогда не встречаться с этой троицей: Сандосом, Рештаром, Жхолаа. «*Теперь будешь знать, дурак, чем заканчиваются перемены*, – наставлял себя Супаари. – Сдвинешь камешек, получишь оползень».

И тут Супаари осознал с тошнотворной уверенностью, что, если ему и удастся зачать нового ребенка вместо этой дочери, его следующая встреча с Жхолаа окажется еще уродливей первой. На этом общественном уровне чистота крови ценится как сокровище… Потом ему пришло в голову, что, наверное, Жхолаа не видела даже случку руна, каковым образом большинство простого народа знакомилось с основами секса. В принципе Супаари приближался к своей даме с предвкушением ожидавшей его нетрадиционной эротической красоты, воспетой и обетованной поэзией ее брата Рештара, однако ему немедленно стало ясно, что Жхолаа совершенно не знакома со свежими литературными достижениями знаменитого брата. Дитя, которое ему предстояло убить завтра утром, в процессе зачатия едва не стоило ему глаза;

он готов уже был и совсем отказаться от этого занятия, если б не овладевшие им феромоны и не знающий отказа запах крови.

Завершив сей союз, Супаари с облегчением удалился в состоянии полного разочарования. И наконец понял, почему многие аристократы-жана'ата препочитали общество наложниц-руна, рожденных для наслаждения и наученных любовному мастерству, после того как династические обязанности их оказывались завершенными.

Спавшая в тот момент, утомленная трудами по изгнанию из собственного тела отродья своего мужа, дама Жхолаа Китхери у Даржан всегда представляла собой скорее династическую идею, чем личность.

Подобно большинству женщин ее касты, Жхолаа Китхери содержали в катастрофическом невежестве, но дурой она не была. И поскольку ей не позволялось видеть ничего подлинно значительного, она обращала особое внимание на эмоциональные мелочи, даже еще девочкой ей хватало ума возмущаться злой или бездумной жестокостью, когда по прихоти отца ее выпускали из собственных покоев и позволяли безмолвно присуствовать – в темном уголке, на шелковых подушках притененного от солнц двора, на каком-либо незначительном государственном событии. Но даже в этих редких оказиях никто не приближался к ней и даже не смотрел в ее сторону.

– Я могла бы родиться стекляшкой, сотканной из ветра или времени, – жаловалась Жхолаа на подобное безразличие к ней, когда ей было еще десять лет. – Срокан, я существую! Почему же никто не видит меня?

– Они не видят мою прекраснейшую госпожу, потому что она наделена сиянием лун! – нашептывала ее нянюшка-руна, надеясь отвлечь дитя. – Люди не видят сияния лун, потому что они светят глубокой ночью. Только руна, как твоя ничтожная, могут видеть такие вещи и любить их.

– Значит, я должна увидеть то, чего не могут увидеть другие, – объявила Жхолаа в тот день, вырвавшись из объятий Срокан и дав себе задание не уснуть до второго заката и далее до того, как сядет самое меньшее, третье, солнце Ракхата, и собственным глазами увидеть эти славные луны.

Никто не мог запретить ей этого, никто не мог преградить ей путь к исполнению собственного желания, кроме детской и присущей ее виду сонливости. Ей было страшно, как и любому жана'ата в подобной ситуации, но Срокан была рядом в ее покоях, она рассказывала ей всякие истории и слухи, мягкие ладони ее гладили Жхолаа, успокаивая ребенка, так что девочка наконец

перестала различать сперва синие цвета, а потом желтые, и контраст между ними превратился в серую мглу, похожую на ту невидимую стену, которая окружала жизнь аристократки. Слепую панику прогоняли только голос Срокан, утешительные запахи постели и детской комнаты, ароматы благовоний и парящий в воздухе аппетитный запах жареного мяса.

Срокан внезапно схватила Жхолаа за руки и подняла ее на ноги.

– Вот! Смотри! Ветер прогнал облака, и вот они, луны! – прошептала она настоятельным тоном, поворачива девочку лицом в нужную сторону, так, чтобы она смогла увидеть светлые диски лун, похожие на крохотные холодные солнца, прекрасные посреди чернильной тьмы… прекрасные и далекие, как горный снег.

– На небе сейчас видны не только луны, – говорила Срокан. – Есть еще дочери Лун! Крошечные младенцы… сверкающие искорки. – Глаза жана'ата не были приспособлены для лицезрения подобных вещей, и Жхолаа приходилось верить няне на слово, что звезды действительно существуют, а не являются глупой сказкой, вымыслом руна.

Эта ночь стала единственным памятным событием ее детства.

Какое-то время общество Жхолаа разделял Китхери Рештар, ее третьеродный брат Хлавин. Титул его означал «запасной» – и, подобно самой Жхолаа, смысл жизни Хлавина заключался в том, чтобы просто существовать… гарантировать сохранение наследственной линии в том случае, если прекратится жизнь любого из двоих старших братьев. Если не считать Срокан, только один Хлавин замечал существование Жхолаа, рассказывал ей разные истории и пел секретные песенки, хотя наставник побил его однажды, застигнув за этим делом. Кто, кроме Хлавина, мог заставить ее смеяться над женами Дхерая и Бхансаара, пополнявших фамильные колыбели детьми, вытеснявшими Хлавина и Жхолаа из череды наследников Китхери? Кто, кроме Хлавина, поплакал бы с ней, растроганный рассказом о лунах и ее признанием, что с рождением каждого очередного племянника или племянницы Жхолаа все более и более ощущала себя лунным ребенком: невидимой для собственного народа звездочкой, блестящей, никому не нужной и всеми забытой в кромешной тьме?

Затем у Дхерая родился собственный Рештар, а затем и у Бхансаара; порядок наследования утвердился, и Хлавина отняли у нее, сослав в портовый город Гайжур, дабы сберечь жизни племянников от покушений неудовлетворенного честолюбия молодого дяди.

Но, даже находясь в ссылке, Хлавин отыскал способ петь ей и

прислал Жхолаа радиоприемник, чтобы она могла слышать собственные слова о лунных дочерях, качающихся на волнах, столь же невидимых, как сами звезды, но вплетенных в ту трансцендентную кантату, которую он пропел во время первой своей передачи из Дворца Галатна, разрешенной ему потому, что пел он не традиционные канты, дозволенные перво– и второрожденным, но нечто совершенно новое и ни на что не похожее. Концерт этот по непонятной причине рассердил Жхолаа, возможно, потому, что собственные слова оказались украденными у нее, а не полученными в качестве подарка. Когда музыка закончилась, она смахнула приемник с подставки, словно виновато было само устройство.

– А где находится эта Галатна? – спросила она у Срокан, пригнувшейся, чтобы собрать обломки.

– Она, словно драгоценный камень, расположена на склоне горы, высящейся над городом Гайжур, у самого океана, моя госпожа, – ответила Срокан, посмотрев на нее огромными голубыми глазами. – Там столько воды, что ты стоишь у края ее и смотришь… смотришь в самую далекую даль, и воде нет конца!

– Ты врешь. Такой воды просто не может быть. Руна всегда врут. Вы убили бы нас, если бы только смогли, – произнесла Жхолаа с сознанием собственного превосходства, ибо уже успела достаточно повзрослеть для того, чтобы понять страх господина.

– Какая ерунда, моя крошка! – воскликнула добродушная Срокан. – Сама посуди, жана'ата спят все время красного солнца и настоящую ночь – и никто не вредит вам! Эта преданная не лжет своей любимой госпоже. Луны были реальны, реален и океан! Вода его солона, а запах воздуха ни с чем не сравним!

Гнев к этому времени сделался единственной закваской, способной вывести Жхолаа из оцепенения, иногда овладевавшего ею даже не на один день. Она возненавидела домашних слуг-руна, этих несчастных, бывших ее единственными компаньонами, этих бесстыжих шлюх, презирая их за то, что они могут выйти на волю без вуалей и без охраны, побывать на берегу океана, вдохнуть запахи, которые навсегда останутся неведомыми Жхолаа. Зацепив элегантным когтем ухо Срокан, Жхолаа начала отрывать его от головы женщины, смилостивившись над ней, только когда та призналась, что никогда не видела океана своими глазами, не пробовала вкуса его воды и обо всем этом услышала на кухне от судомойки, родившейся на юге. Хлавин рассказал ей всю правду об океане, однако связь с ним была потеряна, и, вдыхая соленый запах крови, не океана, Жхолаа позволила своей служанке трясущимися руками огладить и успокоить ее.

Той же самой ночью, лежа в слепом и бесполезном темном

свете самого малого из солнц Ракхата, Жхолаа решила казнить Срокан за то, что она посмела подумать, что может убить спящих жана'ата, а заодно и ее детей, чтобы остальным руна неповадно было.

В любом случае Срокан стара. Но в суп пойдет, окончательно решила Жхолаа.

И поэтому среди домашних слуг не нашлось никого, кто мог предупредить или подготовить Жхолаа к тому, что будет с ней после брачного обряда: все они боялись, и никто не посмел объяснить, почему ее одевают для торжественной государственной церемонии. Однако сама Жхолаа привыкла к тому, что ее выставляют напоказ при подобных оказиях, и не удивилась тому, что ее провели в приемный зал, полный ослепительно разодетых чиновников и всех ее родственников мужского пола, продолживших петь, словно она и не входила.

Она спокойно выстояла бесконечные церемониальные декламации; выполнение обрядов порой растягивалось на несколько дней, и она давно уже перестала внимательно вслушиваться. Однако, когда пропели ее имя, она очнулась. А потом прозвучала мелодия, которой скрепляли брак, и она поняла, что ее законным путем выдают замуж за мужчину, имени рода которого она до сих пор вообще ни разу не слышала. Озираясь круглыми глазами из-под украшенной самоцветами золотой сетки, она попыталась найти кого-ниудь – да кого угодно, – чтобы выяснить, не отсылают ли ее в другую страну, но, прежде чем она сумела заговорить, отец и братья окружили Жхолаа и повели ее на середину комнаты.

Тут появились служанки-руна, и, когда они начали раздевать ее, Жхолаа заговорила, требуя объяснить ей, что происходит, но мужчины только пересмеивались. Разъяренная и испуганная, она попыталась прикрыться, однако тут мужчина, имени которого она еще не запомнила, подошел к ней так близко, что она ощутила его запах, уронил свое одеяние с плеч и… даже не посмотрев на нее, зашел сзади, схватил за лодыжки и…

Она сопротивлялась, но ее крики и шум сопротивления утонули за одобрительными и веселыми возгласами гостей. Потом она услышала, как отец ее с гордой усмешкой говорил обществу:

– Девственница! Уж этого теперь никто отрицать не может!

На что ее самый старший брат ответил:

– И почти такой же отличный боец, как тот иноземец, которого пользуют Хлавин и его друзья…

Когда все закончилось, ее провели по празднично украшенному двору в маленькую комнатку со ставнями, где,

растерзанная и взволнованная, она села слушать песни, сочиненные в честь четверородной Жхолаа Китхери у Даржан, самым невероятным образом вышедшей за третьеродного коммерсанта, которому никогда не удалось бы добиться отцовства, если бы не его иноземный слуга по имени Сандос.

И когда Жхолаа наконец родила этого ребенка, в происхождении его невозможно было усомниться, что, как она поняла, являлось единственной причиной ее собственного существования. Аналогичная судьба, по мнению Жхолаа, ожидала и ее собственную дочь. Дама Жхолаа даже не посмотрела на своего ребенка, в первые мгновения жизни младенца, высвободив руку из хватки повитухи, попыталась когтем разорвать горло ребенка – из жалости и отвращения. Потом, когда в ее комнату зашел ее брат Дхерай, чтобы сообщить о том, что ребенок родился калекой, Жхолаа нимало не расстроилась.

– Тогда убейте его, – равнодушно сказала она и пожалела о том, что никто не поступит аналогичным образом с ней самой.

Глава 6
Неаполь

Сентябрь 2060 года

Для того чтобы успокоиться после визита папы, потребовалось немало времени, и Эмилио Сандос только что уснул, когда внезапный стук едва не заставил его выпрыгнуть из постели.

– Боже! Ну кто там еще? – возопил он, снова падая на подушку. Утомленный, вновь оказавшийся в горизонтальном положении, он решительно зажмурил глаза и крикнул: – Уходи!

– Кому ты рекомендуешь уйти? Богу? – послышался знакомый голос. – Потому что я не вернусь в Чикаго.

– Джон? – Сандос выскочил из постели и локтями отворил высокие деревянные ставни. – Кандотти! – в удивлении проговорил он, высовывая голову в окошко. – А я думал, что после слушаний тебя отослали домой!

– Отослали. Сперва отослали, а потом передумали. – На подъездной дорожке стоял ухмылявшийся Джон Кандотти, обхвативший длинными костлявыми руками бумажно-пластиковую коробку. В косых лучах вечернего света длинный римский нос превращал его физиономию в подобие циферблата солнечных часов. – Но что это? Или нужно быть папой, чтобы удостоиться приглашения подняться наверх?

Сандос перегнулся через подоконник, опираясь локтями, лишенные нервов пальцы, словно черешки листьев плюща *ста'ака,* свисали с его ладоней.

– Что ж, поднимайся, – с театральной миной проговорил он. – Дверь-то открыта.

– Так! *El Cahuna Grande*[19] сообщил мне о том, что ты только что проинтервьюировал Святого Отца с точки зрения его пригодности в качестве ассистента для работы в твоем исследовательском проекте, – проговорил Джон, подлезая под дверную притолоку, весьма низкую, о чем Эмилио, будучи на две головы ниже, даже не подозревал. – Отлично сыграно, Сандос. Ловкий ход.

– Весьма благодарен вам за то, что вы обратили мое внимание на этот факт, – проговорил Эмилио, причем английское произношение его вдруг напомнило про Лонг-Айленд, а не про Пуэрто-Рико. Надевая протезы, он сгибался над небольшим столиком. – Так почему бы тебе не взять бумагу и ножницы…

– Билли Кристал. «*Принцесса-Невеста»,* – немедленно

отреагировал Джон, ставя коробку в угол. – Тебе пора обновить репертуар. Ты смотрел комедии, которые я тебе рекомендовал?

– Ага. Больше всех мне понравилась голландская, «*К Востоку от Эдема*»… «*Никаких признаков жизни*» тоже была ничего. Шутки в фильмах поновее до меня не доходят. В любом случае, – вознегодовал он наконец, – откуда мне знать, кто здесь теперь является папой? Какой-то тип вдруг явился прямо к моему порогу…

– Если бы ты следовал моим советам, – произнес Джон с остатками смирения вдохновенного семинарского проповедника, – то понял бы шутки. Да и правящего Папу узнал бы, даже если он явился прямо к твоему порогу!

Сандос выпад проигнорировал, как игнорировал он сорокалетнюю прореху в восприятии современной истории, сначала по причине слишком большой слабости, не позволявшей ему знакомиться с ней, а теперь просто в связи с отсутствием желания признавать ее.

– Ты вообще понимаешь, насколько важно было то, что Геласий сам приехал, чтобы посетить нас? Я же говорил тебе… пора догонять время! Но разве ты когда-нибудь слушал меня? Нет!

«И сейчас не слушает», – понял Джон, посмотрев на Эмилио. Который за два прошедших месяца стал много лучше справляться с ортезами, однако процедура до сих пор требовала от него значительной концентрации.

– …А Джулиани стоит себе рядом, предоставляя мне полную возможность отдуваться за него! – бормотал Сандос, вправляя по очереди ладони в открытые механизмы, после чего махнул руками вперед, чтобы включить устройство. С тихим жужжанием пластины и электроника сомкнулись на его пальцах, ладонях и предплечьях. Он выпрямился. – Как-нибудь, Джон, я почувствую желание забить этого сукина сына мешочками с песком.

– Удачи, – пожелал Джон. – Кстати, я думаю, что у «Щенков» в этом году отличные шансы выиграть мировую серию.

Они сели за стол, Сандос плюхнулся в ближайшее к кухне кресло, а Джон занял место напротив него, на котором прежде сидел папа. Окидывая взглядом комнату, обмениваясь цитатами из «*К Востоку от Эдема*» и «*Дальних закоулков*» и пары старых эпизодов с Мими Дженсен, Джон застелил кровать, убрал с пола носки, тарелки из раковины, после чего подозрительно воззрился на Эмилио, взъерошенного и небритого. Сандос обыкновенно был аккуратен, черная с серебром конкистадорская бородка коротко подстрижена, одежда безупречна. Так что Джон ожидал увидеть «апартаменты» Сандоса находящимися в идеальном порядке.

– Всякое духовное просветление начинается с аккуратно застеленной кровати, – провозгласил Кандотти, широким движением руки указуя на беспорядок. Нахмурясь, он посмотрел на Эмилио. – Выглядишь ты хуже некуда. И когда же тебе удалось поспать в последний раз?

– Примерно пятнадцать минут назад. Но тут ко мне завалился один шилозадый старый друг и разбудил меня. Тебе кофе или еще чего-нибудь? – Поднявшись, Эмилио подошел к крохотной кухоньке, открыл буфет и достал оттуда банку с немолотыми кофейными зернами, которыми и занялся, повернувшись спиной к Кандотти.

– Не надо. Сядь. И не будем менять тему. Когда ты спал до этого?

– Отказ памяти. – Сандос убрал кофе в буфет, хлопнул его дверцей. И вновь осел в кресло напротив гостя. – Только не надо заботиться обо мне, Джон. Я терпеть этого не могу.

– Джулиани говорил, что у тебя ужасно болят руки, – продолжил Джон. – Я этого не понимаю. Раны ведь зажили! – воскликнул он, указуя на Сандоса взглядом обвинителя. – Так почему же они еще болят?

– Как сообщают надежные источники, мертвые нервы негативно влияют на центральную нервную систему, – выпалил Сандос с неожиданно едкой интонацией. – Мой мозг волнуется, так как мои ладони давно ничего не сообщают ему. Он разумно полагает, что у моих рук какие-то неприятности и потому, как шилозадый старый друг, требует внимания к ситуации, прилично досаждая мне при этом! – Сандос на мгновение уставился в окно, пытаясь овладеть собой, а затем посмотрел на Джона, невозмутимо внимавшего очередному взрыву из знакомой ему долгой последовательности. – Прости. Боль утомляет меня, понял? Она приходит и уходит, но иногда…

Выждав мгновение, Джон договорил за него всю сентенцию:

– Иногда, когда она приходит, ты боишься, что она уже никогда не уйдет.

Эмилио не стал возражать:

– Искупительная сила страданий, если судить по моему собственному опыту, существенно преувеличена.

– Идея, на мой взгляд, скорее приличествует францисканцам, – согласился Джон, и Эмилио рассмеялся, а как было известно Джону: тот, кто сумел рассмешить Сандоса, мог считать, что дело его сделано наполовину.

– И как долго длится приступ на сей раз? – спросил он.

Сандос не стал отвечать, взгляд его обратился в сторону:

– Легче бывает, когда работаешь, концентрируешься на чем-

то. – Он посмотрел на Джона. – Сейчас я в порядке.

– Но чувствую себя так, будто меня изметелили от ушей до пяток. Хорошо, – проговорил Джон, – я предоставлю тебе малость отдыха.

Шлепнув ладонями по бедрам, он встал, однако же не ушел, а подошел к звукоанализирующей аппаратуре, размещенной вдоль стены фасада напротив лестницы. С любопытством осмотрев ее, он непринужденно произнес:

– Вот, понимаешь, решил заглянуть к своему новому боссу… Конечно, если только ты уже не нанял папу.

Закрыв глаза, Сандос повернулся в своем кресле так, чтобы через плечо посмотреть на Джона:

– Прости, не понял.

Джон повернулся с ухмылкой на губах, однако улыбка исчезла, как только он увидел лицо Эмилио.

– Ты говорил, что тебе нужен сотрудник, разговаривающий на мадьярском языке. А еще на английском, латыни или испанском. Правда, латынь у меня не слишком хороша, – признался Джон, сдаваясь под ледяным взором. – Но при всем том я знаю все четыре языка. И вообще я полностью твой. Если ты, конечно, захочешь.

– Ты шутишь, – ровным тоном сказал Эмилио. – Не пытайся надуть меня, Джон.

– Вот ты владеешь шестнадцатью языками, и каким пользуешься? Послушай, я не лингвист, но разбираюсь в аудиосистемах и умею учиться, – попытался защититься Джон. – Родители моей мамы были родом из Будапешта. Бабуля Тот опекала меня после школы. Мой венгерский лучше английского. Бабуля в своей стране писала стихи, и…

Сандос к этому времени просто качал головой, не зная, смеяться ему или плакать:

– Джон, Джон. Не надо уговаривать меня. Просто…

Просто ему не хватало Кандотти. Просто ему нужна была помощь, но он ненавидел просить о ней, он нуждался в коллегах, но боялся любой новизны. Патер Джон Кандотти, обладавший великим для священника даром прощать, знал и слышал о нем все – и тем не менее не презирал и не жалел его; так что, когда голос вернулся к Эмилио, голос этот был милосердно ровным:

– Просто я подумал, что в этом есть какой-то подвох. В последнее время хорошие новости как-то обходят меня стороной.

– Никакого подвоха, – уверенным тоном ответил Джон, поскольку жизнь не приучила его готовиться к неожиданным ударам. Он направился к лестнице, ведущей вниз, в гараж. – Когда я могу начать?

– Прямо сейчас, насколько это зависит от меня. Но пользуйся библиотекой, ладно? А я ложусь спать, – заявил Сандос с той мерой уверенности, которую ему позволял чудовищный зевок. – Если я не проснусь в октябре, на что я самым искренним образом надеюсь, даю тебе разрешение разбудить меня. А ты тем временем можешь начать с программы обучения руанже – у Джулиани есть коды доступа. Но не пробуй заниматься к'саном, пока я не смогу помочь тебе с этим кошмарным наречием, Джон.

Положив левую руку на стол, он повел ее вперед, чтобы отключить ортез, и замер, осененный внезапной мыслью.

– Иисусе, это значит, что Джулиани посылает тебя со следующей группой?

После продолжительной паузы Джон согласился:

– Ага, похоже на то.

– И ты хочешь лететь?

Джон, посерьезнев, кивнул:

– Да. Да, я хочу.

Выйдя из оцепенения, Эмилио рухнул обратно в кресло и со строгой и величественной интонацией процитировал Игнатия Лойолу:

– Готов выступить сразу же, как только получу приказание и застегну ремни кирасы.

– Если я умру на Ракхате, – торжественно проговорил Джон, – прошу об одном: чтобы тело мое доставили на Землю и похоронили в Чикаго, где я смогу, как и прежде, участвовать в…

– …В политике Демократической партии! – вместе с ним договорил фразу Эмилио. Коротко хохотнув, он покачал головой: – Ну, ты знаешь, что тамошнее мясо есть не стоит. Потом, ты рослый. И, возможно, сумеешь отбиться, если какой-нибудь обиженный Богом жана'ата воспылает к тебе страстью.

– Похоже, что Джулиани имел это в виду. Если я обрасту мышцами, то из нас можно будет составить приличную линию нападения Национальной футбольной лиги. Остальные парни просто огромные.

– Так ты уже встречался с ними?

– Только со священниками, не с мирянами, – проговорил Джон, возвращаясь к столу. – Отец настоятель у нас парень по имени Дэнни Железный Конь…

– Лакота? – спросил Сандос.

– Отчасти, еще, по его словам, в какой-то степени француз и швед, и это у него чувствительная точка. Его предки-лакота покинули резервацию четыре поколения назад, и его достали люди, удивляющиеся тому, что он не носит перья на голове и не сокращает слова.

– Много лун шел чокто…[20] – нараспев произнес Эмилио.

– Словом, вырос он в предместьях Виннипега, а рост унаследовал от шведской родни. Однако Черные Холмы[21] буквально вытатуированы у него на лбу, так что его то и дело заносит в эту сторону. – Джон скривился. – Я отшил его с ходу, рассказав о своем знакомом с Пайн Ридж. Он отбрил меня тут же: «Никаких кос и боевой раскраски, шеф. Я не пью и никогда не бывал в парной бане».

Сандос присвистнул, округлив глаза:

– Да… чувствительный, выходит, парнишка. Но это о том, чем он не является. А что он собой представляет на самом деле?

– По тому, что я слышал, одного из самых проницательных политологов Общества, а у нас в таковых нет недостатка. Рассказывали, что он мог претендовать на пост генерала, но когда Джулиани предложил ему лететь на Ракхат, Дэнни, ни разу не оглянувшись, покинул профессорскую кафедру в римском Грегорианском консорциуме. Так что пышет энтузиазмом.

– А как насчет остальных? – спросил Эмилио.

– Химик из Белфаста… предполагается, что он разберется с тем, как у них на Ракхате обстоят дела с наносборкой. Я встречался с ним на прошлой неделе, однако Джулиани гоняет этих ребят уже несколько месяцев! Кто бы мог подумать! В любом случае имей в виду, что имя его будет Шон Фейн.

Сандос посмотрел на Джона отсутствующим взглядом.

– Ну, подумай, – посоветовал Джон.

– Ты шутишь, – проговорил Сандос спустя мгновение.

– Не я: его родители. Папа его был…

– Евреем, – с невозмутимой миной предположил Сандос.

– Угадал. А его мать была политической…

– Шон Фейн, «Шинн Фейн»[22], – задушевно промолвил Эмилио. – Не просто шутка, но какая-то кривая шутка.

– Ну да. Я спросил Шона, будет ли ему приятно узнать, что я учился в старших классах с парнем по имени Джек Гофф. Ни на грош, вот что он мне ответил. Самый мрачный ирландец, кого я встречал, но держится как принц.

– Забавная группа получается, – сухим тоном заметил Эмилио. – Но Джулиани говорил, что посылает четверых. И кто же четвертый?

– О, ты будешь в восторге… ты же просил баскоговорящего, так?

– Владеющего эускарой, – поправил его Сандос. – Я всего лишь нуждался в людях, привыкших иметь дело с подлинно чужими для нас грамматическими структурами…

– И так далее. – Джон пожал плечами. – Словом, входит он,

такая махина, причем с такой густой шапкой волос, каких я еще не видал, и я думаю: ха! Так вот кому досталась вся причитающаяся мне шевелюра! И тут он говорит мне нечто абсолютно не поддающееся восприятию, содержащее слишком много согласных, так что непонятно, то ли сказать ему здрасьте, то ли дать пинка! Вот оно – он написал мне на бумажке свое имечко.

Джон выкопал из кармана листок бумаги.

– И как прикажешь произносить вот это вот?

Эмилио взял листок правой, еще в ортезе, рукой и подвигал его перед собой в воздухе.

– Прямо на тромбоне играю! Мелкие буковки теперь, хоть убей, не вижу, – с прискорбием проговорил он, но наконец понял: – Жосеба Гастаиназаторре Уризарбаррена.

– Красота, – промолвил Джон.

– Рассказывают, что сам черт однажды попытался выучить баскский язык, – тоном просветителя поведал Сандос. – Нечистый сдался после трех месяцев, выучив всего два слова эускары: два ругательства, оказавшиеся к тому же испанскими.

– И как нам, простым смертным, следует звать его? – спросил Джон.

– Джо Альфабет? – предположил Эмилио, с зевком отстегивая второй ортез. – Первое имя его звучит как Жозе. Выговорить легко: Жо-се-ба.

Джон пару раз попробовал произнести полное имя и удовлетворился тем, чего сумел достичь, тем более что никто не ожидал, что он продвинется дальше трех первых слогов.

– Еще он эколог. И вроде бы неплохой парень. Слава Богу и за малые милости… так? Боже… прости! Я забыл о том, что ты очень устал, – проговорил Джон, когда Эмилио зевнул в третий раз за такое же число минут. – Все… ухожу. Ухожу! Отдыхай.

– До завтра, – проговорил Эмилио, делая шаг к постели. – И еще, Джон… я рад тому, что ты здесь.

Кандотти радостно кивнул и поднялся на ноги, однако на верху лестницы остановился и посмотрел назад, на Эмилио, слишком вымотанного для того, чтобы раздеваться и уже повалившегося на постель.

– Эй, – спросил Джон, – неужели ты не хочешь спросить меня о том, что я принес тебе в этой коробке?

Эмилио не стал открывать глаза.

– Так скажи мне, Джон, что ты принес в этой коробке? – послушно проговорил он. – Правда, мне на это насрать.

– Письма. И прочую бумажную хрень. Почему ты не читаешь свою почту?

– Потому что всех моих знакомых нет в живых. – Глаза открылись. – И кто, по-твоему, будет писать мне? – обратился к потолку Сандос с деланым изумлением. И немедленно восхитился пришедшей мыслью. – А что, Джон, я, наверное, получаю предложения трахнуться от бывших заключенных мужского пола!

Кандотти фыркнул, удивленный самой идеей, однако Сандос, восхищенный несомненной абсурдностью подобного предположения, приподнялся на локтях, лицо его просветлело, вся усталость мгновенно улетучилась.

– Мой дорогой Эмилио, – начал он и, перевалившись на спину, продолжил непристойную и чрезвычайно бойкую импровизацию на широкую литературную тему тюремной романтики, заставившую Джона задохнуться от хохота.

Наконец, когда поток красноречия иссяк, Джон утер глаза, отдышался и воскликнул:

– Ты ужасный циник! У тебя много друзей на Земле, Эмилио.

– Не надо, Джон. В настоящее время из всех пороков я способен только на цинизм и сквернословие. Для всего прочего необходимы силы или деньги.

Кандотти снова расхохотался, велел Сандосу прочитать двое четок в порядке покаяния за явным образом нечистые помыслы, помахал на прощание рукой и начал спускаться по лестнице. Он уже намеревался выйти из домика, когда услышал, что Эмилио зовет его по имени. Не отрывая ладони от ручки двери, все еще ухмыляясь, он посмотрел наверх, в сторону комнаты Сандоса. – Да?

– Джон, мне… мне нужна помощь.

– Конечно. В чем угодно.

– Я… мне придется подписать кое-какие бумаги. Я ухожу, Джон. Я покидаю Общество.

В высшей степени ошеломленный, Кандотти привалился к дверному переплету.

Спустя мгновение Сандос продолжил голосом негромким и нерешительным:

– Можешь ли ты пристроить к моей руке ручку, так чтобы я мог удержать ее? Как ты сделал с бритвенным станком, а?

Поднявшись до половины лестницы, Джон остановился, как и Сандос не желая вести этот разговор лицом к лицу.

– Эмилио. Вот что… Ну, хорошо, я понимаю твои обстоятельства – ну, в той мере, в которой их может понять посторонний. Но ты уверен? Я о том, что…

– Я уверен. Сегодня днем я принял решение. – Подождав, Кандотти услышал: – На моей совести и так много всякого

дерьма, Джон. Я не хочу добавлять к нему ложь. Никто не сможет осудить меня за все содеянное и за то, что после всего этого я считаю себя священником. Это будет нечестно.

Джон тяжело опустился на ступеньку лестницы и закрыл руками лицо… Тем временем Эмилио продолжил:

– Как мне кажется, это должно быть какое-то подобие клинышка, который будет удерживать ручку под углом, так? Новый ортез неплох, однако тонкая моторика ко мне вернулась лишь отчасти.

– Ага. Хорошо. Без проблем. Что-нибудь придумаю.

Джон поднялся на ноги и направился вниз по лестнице, как будто постарев на десять лет за эти пять минут. Шагая вразвалочку по дорожке в сторону главного дома, он услышал голос Эмилио, доносившийся из слухового окошка:

– Спасибо тебе, Джон.

И, не оглядываясь, безнадежно помахал рукой, зная, что Эмилио не может видеть его.

– Конечно. Честное слово, – прошептал Джон, ощущая неприятное ползучее прикосновение морского ветерка, высушившего слезы.

Глава 7
город Инброкар

2046 год по земному летоисчислению

Ошибка его, если этот поступок действительно стал ошибкой, заключалась в том, что он решил посмотреть на ребенка.

Кто знает, как сложилась бы вся дальнейшая история, если бы Супаари ВаГайжур просто дождался утра и, ничего не подозревая, освободил бы душу своего ребенка для лучшей участи?

Однако повитуха явилась к нему, нисколько не сомневаясь в том, что он непременно захочет увидеть младенца, а он редко находил в себе силы отвергнуть ту бесхитростную дружбу, которую руна как будто бы всегда предлагали ему. И посему Супаари торжественно направился в ясли – тяжелое вышитое облачение негромко шелестело в такт мягким, в шлепанцах, шагам, – глядя куда-то вдаль, отвергая болтовню повитухи-руна опущенными вперед ушами и не намереваясь обращать внимание на ее любезности – сознательно подражая аристократу-жана'ата, полному несокрушимой гражданской добродетели и монументального самоуважения.

«И кто я такой, чтобы над кем-нибудь насмехаться?» – спрашивал Супаари себя. Торговец-выскочка, склонный к неудачным коммерческим метафорам в разговорах с высшими рангом. Третьеродный сын из провинциального равнинного городишка, сколотивший себе состояние на торговле с руна. Чужак среди прочих чужаков, буквально случайным образом натолкнувшийся на группу иноземцев, явившихся на Ракхат откуда-то из-за трех его солнц, и воспользовавшийся этим, чтобы соорудить себе из этого факта подобие благородного происхождения, в которое не способен поверить никто, кроме руна.

С того самого мгновения, когда Рештар согласился на его предложение, он твердо знал, что никогда не станет чем-то бо□льшим, чем есть. Это ничего не значило. Он привык к одиночеству. Жизнь Супаари всегда носила характер промежуточный: она проходила между мирами руна и жана'ата, и он наслаждался перспективой, предпочитая наблюдение участию. Первый год среди высокопоставленных представителей собственной породы он провел изучая привычки окружающих его мужчин столь же внимательно, как охотник изучает свою добычу. Он привык получать удовольствие от того, что научился точно

предсказывать поступки этих снобов. Он умел предвидеть, кто из них откажется присутствовать на приеме, если на него будет приглашен он, Супаари, а кто явится, чтобы подразнить его; кто совершенно не станет здороваться с ним, а кто ограничится приветствием, более подходящим второродному. Первородные предпочитали прямые оскорбления; второродные вели себя более тонко. Его собственный старший брат, Дхерай, мог пройти в дверь, не заметив Супаари на пороге, второродный же брат, Бхансаар, мог остановиться перед ней, словно Супаари был невидимым, и пройти в комнату мгновение спустя, будто ему только что приспичило войти внутрь.

Общество Инброкара, подражая князьям Китхери, игнорировало Супаари или презрительно поглядывало на него из углов. Подчас слово «купчина» всплывало над общим разговором, погружаясь мгновением позже в ласковые волны благовоспитанного веселья. Ушедший в себя Супаари переносил подобное отношение с любезным отстранением и подлинным терпением – ради сына и будущего.

Ясли находились в самой глубине дворцовых строений. Он не имел представления о том, где находилась Жхолаа. Повитуха-руна по имени Пакуарин уверила Супаари в том, что жена его здорова, но добавила:

– Она изможднена до последней жилочки, бедняжка. Не то что у нас, – с благодарностью произнесла рунао. – Из нас детишки выскакивают так же легко, как и попадают внутрь. Не быть жана'ата – это благо. К тому же женщины Китхери всегда узки в бедрах! – пожаловалась она. – Бедной повитухе непросто приходится.

Когда Супаари спросил, Пакуарин признала, что роды расстроили Жхолаа. Еще бы. Новая причина для ненависти к нему: зачал калеку.

Занятый своими думами, Супаар, лишь оказавшись в кухне среди мягких, с придыханием, смешков руна и их бойкой и безобидной болтовни, мешающейся с запахами специй и жарящихся овощей, понял, что Пакуарин провела его сквозь детскую и даже дальше. Пройдя через последнюю решетчатую дверь, он оказался на пустынном хозяйственном дворе, расположенном в дальней части дворцовых строений, и вдруг заметил в углу его небольшой деревянный ящичек.

Супаари привели сюда затем, чтобы он увидел этот ящик, и он остановился на месте как вкопанный, не окончив шаг.

Ни расшитого покрывала для колыбели, ни праздничных лент, колышущихся на ветру, привлекая внимание младенца и обучая его следить за движущимися предметами. Тряпка, взятая

из кухни, прикрывала колыбель его дочери, а с ней и его позор от посторонних взглядов. И ящик не новый, отметил Супаари, простая, сбитая из досок коробка для младенцев руна. Колыбель для ребенка кухарки.

Другой человек обвинил бы в подобном неуважении повитуху – но не Супаари ВаГайжур. «Ах, Бхансаар, – подумал он. – Попал. Чтоб твои дети стали падальщиками. И чтоб ты дожил до того, как они начнут есть падаль, и увидел это собственными глазами».

Он не ожидал этого даже после года, полного родственных оскорблений и унижений. Он смирился с тем, что дочь его обречена. Никто не женится на калеке. Положение ее будет даже хуже, чем у третьей, – первородная, но осквернённая увечьем. Из всего, что он знал об обычаях иноземцев, самым непостижимым, самым аморальным казалось ему то, что рожать детей у них может всякий, даже те, у кого имеются отклонения от нормы, способные повредить отпрыску. Каким же надо быть человеком, чтобы осознанно передать свою болезнь собственным внукам?

«Нет, – думал он, – мы, жана'ата, на это не способны! А ты, Дхерай, мог бы преодолеть мелочность Бхансаара, и отвести девочке хоть какое-то место в яслях на единственную ночь ее жизни. *Дочерей тебе, которые обслуживают путешественников*, – свирепо думал Супаари, – *и пусть твои сыновья окажутся трусами, Дхерай».*

Подойдя к колыбели, он кривым когтем зацепил и отбросил в сторону прикрывавшую ее грубую ткань.

– Ребенок ни в чем не виноват, господин, – заторопилась с советом повитуха, испуганная резким запахом гнева. – Бедняжка не сделала ничего плохого.

«А кого же мне винить? – захотелось ему огрызнуться. – *Кто положил ее в этот мерзкий ящик?.. Кто принес ее в этот жалкий двор?.. Я… я ничтожный»,* – думал он, склоняясь над колыбелью…

Выкупанная, накормленная и спящая дочь его благоухала, как пахнут первые капли дождя в грозу. Голова его пошла кругом, он пошатнулся, перед тем как стать перед ней на колени. Вглядываясь в ее крохотное совершенное личико, он по очереди, шесть раз поднес ко рту свои длинные когти, отхватив каждый из них – так сильна была в нем потребность взять ее на руки и не причинить при этом малейшей боли. И почти в тот же самый момент понял, какую унизительную и бесповоротную глупость только что совершил. Лишенный когтей, он вынужден будет предоставить Лжаат-са Китхери право осуществить обязанность отца. Но разум его таял в тумане, и он вынул свое дитя из ящика, неловко прижав дочку к груди.

– Глаза Китхери! Красотка, как и ее мать, – невинным

образом щебетала повитуха-руна, радуясь тому, что этот жана'ата успокоился, – но носик у нее твой, господин.

Невзирая на ситуацию, он рассмеялся, забыв обо всем, забыв о своем одеянии, касавшемся еще блестевших от утренней мороси глиняных плиток, для того чтобы можно было взять ребенка на руки. С душевной болью он провел пальцем по бархатной и нежной щечке, лишенные когтей корявые пальцы его казались странным образом обнаженными и беззащитными, как шейка дочери. «*Я не должен был иметь детей,* – подумал он. – *Вывихнутая ножка – это знак. Я все сделал неправильно».*

Собрав воедино всю свою внушительную отвагу, чувствуя, как перехватило горло, Супаари принялся распутывать скрывавшие девочку пеленки, заставляя себя увидеть то, что обрекало этого ребенка на смерть в младенчестве, унося с собой во тьму все его надежды. Но то, что он увидел, заставило его задохнуться.

– Пакуарин, – произнес он самым осторожным образом, стараясь ничем не встревожить повитуху. – Пакуарин, кто видел этого ребенка, кроме нас с тобой?

– Сановные дядья, господин. Они доложили об увиденном Высочайшему, но сам он не приходил посмотреть на нее. Какая жалость! Госпожа уже пыталась убить эту крошку, – бездумно выпалила Пакуарин. Однако, услышав собственные слова, сообразила, что сделала неправильно. Жхолаа хотела убить ребенка еще до того, как стало известно о ее увечье. Рунао начала раскачиваться из стороны в сторону, но вдруг остановилась.

– Госпожа Жхолаа сказала, что лучше умереть новорожденной, чем жить обреченной на безбрачие, – сказала она, не солгав при этом, ибо Жхолаа действительно говорила эти слова несколько лет назад. Удовлетворившись той сообразительностью, с которой вплела эту фразу в настоящее, Пакуарин благонамеренно затрещала: – И так должно быть. Никто не захочет жить с калекой. Но неправильно, чтобы родительница делала это. Обязанность лежит на родителе, господин. Эта услужливая сохранила ребенка для твоей чести.

По-прежнему ошеломленный, толком не вслушивающийся в болтовню Пакуарин, Супаари надолго уставился на повитуху. Наконец, ощутив, что выражение на его лице сделалось благосклонным и ободряющим, он спросил:

– Пакуарин, а скажи, пожалуйста, мне, какая ножка у нее искалечена? Правая? Или левая?

Смутившись, она опустила уши и закачалась снова, на сей раз быстрее, и перешла на родную для нее руанжу:

– Кто-то не знает. Кто-то просит прощения. Руна не разбираются в подобных делах. Решают господа.

– Спасибо тебе, Пакуарин. Ты хорошо поступила, сохранив для меня ребенка. – Супаари передал младенца повитухе, движениями столь же точными и аккуратными, как те, которые ему предстояло выполнить во время утреннего ритуала.

– Лучше, если ты никому не скажешь о том, что я был здесь, – сказал он ей. И чтобы убедиться в том, что она все поняла, повторил на руанже: – *Сипаж*, Пакуарин, кто-то хочет, чтобы ты молчала о моем посещении.

Зажмурив глаза, сложив на затылке уши от ужаса, Пакуарин подставила горло, полагая, что Супаари немедленно убьет ее, чтобы добиться молчания, однако он улыбнулся и положил руку на голову рунао, чтобы успокоить ее, как сделал бы родной отец, и еще раз похвалил:

– Останешься ли ты с ней сегодня, Пакуарин? – спросил он. Супаари не стал предлагать ей деньги, зная, что природная привязанность удержит эту женщину в этом дворе: наследственная линия ее выводилась по принципу верности.

– Да, господин. Кто-то благодарит тебя. Этот бедный комарик не должен оставаться в одиночестве в свою единственную ночь. Чье-то сердце скорбит о ней.

– Ты хорошая женщина, Пакуарин, – еще раз сказал он. – Может быть, она проживет короткую жизнь, но подобающую ей и достойную, так?

– Да, господин.

Оставив Пакуарин на середине книксена, он без недостойной поспешности прошествовал через детскую. Услышав смех и возню подростков-внуков Лжаат-са Китхери, он решил, что шумная борьба мальчишек является единственным знаком живой жизни в этом затхлом и мертвом месте. И пожелал им вырасти и побыстрее расправиться со своими отцами. Он шествовал по узким коридорам мимо опустевших приемных покоев, до ушей его из-за закрытых и занавешенных дверей доносились глухие и негромкие обрывки разговоров. Шествовал мимо привратников-руна, стоявших на страже у каждой двери, во всем приспособленных к своему делу и слишком флегматичных для того, чтобы замечать скуку.

Кивая им, открывшим перед ним врата внутренние и внешние и отдававшим честь, он наконец оказался на тихой улочке. Однако чувство избавления не посетило его, когда он очутился вне дворца. Не пришло чувство открытого неба над головой, ощущение ветра. Супаари жег взглядом резные балконы над головой и нависающие карнизы, по всей видимости сооруженные лишь для того, чтобы не позволить дождям смывать мусор с улиц. «Почему здесь никто не подметает?» – возмутился он, заметив,

что ноги его по лодыжку утопают в несомом ветром мусоре. Тяжесть, теснота, неопрятность этого города угнетали его. Инброкар был связан и скован каждым мгновением своей запутанной и прелюбодейной истории. В этом городе ничего не производят, впервые понял он. Это город аристократов и советников, агентов и аналитиков, вечно оценивающих и сопоставляющих, бесконечно маневрирующих в лихорадочном самопродвижении и хищном соперничестве.

Какое безумие заставило его поверить в то, что здесь можно положить начало чему-то подлинному, настоящему? И заставило его в еще большем безумии гневаться на вечно царящую в этом городе и отчасти рожденную им самим тьму, на его собственное липкое, волокнистое, плотно сплетенное увлечение положением в обществе и собственным значением.

На пути по городу, который он некогда находил прекрасным, Супаари там и сям встречал различных приятелей, знакомых, клиентов Китхери, и они обращались к нему с лживыми соболезнованиями. Полные сочувствия словеса выглядели слишком скороспелыми: ребенок родился только сегодня, о появлении его на свет не объявляли, но выражения сострадания были столь же корректными, как и лица их авторов. «*Насколько давно был составлен этот план?* – гадал Супаари. – И сколько народа было посвящено в этот восхитительный и тонкий розыгрыш, сколько же их ожидало разрешения моей жены от бремени с тем же нетерпением, с каким я сам ожидал появления на свет младенца, которого должен был, по замыслу шутников, убить?»

И тут ему пришло в голову, что от роскошного и тщательного замысла и воплощения так и разит утонченной восприимчивостью Рештара. «*Кто первым предложил махнуть Сандоса на Жхолаа?* – подумал он, чуть сбившись с шага на этой мысли. – Неужели Хлавин Китхери с самого начала направлял его к этой сделке?» Ошеломленный этой мыслью, Супаари припал к стене и попытался восстановить ход переговоров, происходивших на языке, столь же причудливом и цветистом, как и дворец Рештара, в обществе поэтов и певцов, разделявших роскошную опалу Хлавина и с нетерпением ждавших мгновения, когда возведенный в князья коммерсант Супаари наконец будет лишен чести и достоинства. «*И кому это выгодно?* – спросил он себя, глядя незрячими глазами на улицу, не замечая прохожих. – *Кто выиграл?*»

Хлавин. Его братья. Их друзья и приятели. Хлавин должен был знать, что Жхолаа уже не молода, и он, должно быть, предложил Дхераю и Бхансаару повеселиться, когда род Даржан

будет уничтожен во младенчестве собственным введенным в заблуждение основателем…

Голова Супаари кружилась от унижения, он боролся с тошнотой и, когда дорого купленные иллюзии рассеялись, понял со странной уверенностью, что приступы дурноты не были естественными и для родни Сандоса. Всегда любезный и стремящийся угодить Супаари понял, что сам навлек презрение Хлавина Китхери, столь же не осознавая этого, как и Сандос, пригласивший его…

«Кто заплатит за это?» – подумал он. И когда ярость вытеснила ощущение стыда, с недоброй иронией сказал себе, что фраза из коммерческого словаря в данном случае неуместна.

Пылая гневом, он повернул назад, к логову Китхери, переполненный черными мыслями о кровавой мести, о вызовах на дуэли *ха'аран*. Однако других вариантов не оставалось. Дождаться утра и перед свидетелями обвинить Китхери в обмане – под общий хохот… Его разыграли, никакого заговора не было и в помине. Спасти жизнь ребенка теперь – и дождаться этого хохота потом, когда подстроят расторжение брачного контракта. Живая, прекрасная, чарующая дочь закончит так же, как и ее мать, став орудием в хитроумной комедии, в подставе, задуманной для того, чтобы унизить его на потеху приближенным.

«Нет, дело не во мне, – думал он, замедляя шаг уже перед владением Китхери. – Дело не в личности. Просто таким, как я, следует знать свое место. Мы нужны им там, где мы есть. Третьеродные торговцы. И руна. Мы их кормим, одеваем и укрываем. Мы поставляем им все необходимое, обеспечиваем все прихоти и желания. Мы являемся фундаментом их дворца, и они не смеют тронуть даже единственный его камень, чтобы все остальное не рухнуло на их головы». Он остановился возле стены соседнего дома, разглядывая высокую стену, окружавшую владения семейства, поколение за поколением правившего Инброкаром, и наконец нашел в своем сердце знакомое и холодное место, решения в котором принимались без гнева и желаний.

По долгому опыту он знал наизусть расписание отплытия барж от причалов Инброкара по реке Пон. Супаари ВаГайжур заново рассмотрел условия совершенной им сделки и заново сопоставил их с кодексом чести коммерсанта. Свою часть сделки он выполнил.

И не остался в долгу перед этими людьми.

«Итак, я беру мое, – подумал он, – и ухожу».

– Откровенно говоря, Хлавин, я ожидал от него большего, – обратился Ира'ил Вро к Рештару Галатны. Получив информацию от доносчиков, они наблюдали за возвращением Супаари во владение Китхери, перейдя в угловую башню, откуда можно было видеть, как этот коммерсант разговаривал с повитухой на заднем дворе, а затем ушел из дворцового комплекса вместе с ней и ребенком. Ира'ил посмотрел на Хлавина Китхери, но встретил только спокойный обескураживающий взгляд.

– Должно быть, ты разочарован… – продолжил Ира'ил уже с неуверенностью.

Смущенный, он осторожно вдохнул запах Китхери. В нем не угадывались дуновения гнева, однако Ира'ил отвернулся к окну башни, чтобы скрыть смущение.

Отсюда, чуть-чуть меняя направление взгляда, он мог видеть казначейство, провинциальные налоговые службы, государственные архивы и библиотеки, арену, находившуюся в считаных шагах от Высокого суда. Бани, посольства; высокие каменные столпы, увенчанные серебряной сеткой антенн, поднимающиеся над Генеральным штабом. Он знал все эти ориентиры и всегда восхищался городским ландшафтом – непокорным времени воплощением стабильности и неизменного равновесия…

Равновесия! Именно его так не хватало Ира'илу в отношениях с Китхери Рештаром. Да, Хлавин был третьеродным, а он, Ира'ил, первородным, но своей древностью род Китхери превосходил всякую другую фамилию в Принципате Инброкара, так что возможность обращаться к Рештару по имени или быть с ним на «ты» определялась строгим церемониалом, за несоблюдение которого можно было дорого заплатить. Не имея рядом специалиста-руна по дворцовому протоколу, Ира'ил постоянно опасался совершить какую-то непростительную ошибку.

Однако ситуацию еще более ухудшало то, что Ира'ил не имел представления, почему именно его избрали, чтобы сопровождать Рештара из Гайжура в Инброкар, когда ссылка Хлавина была прервана ради рождения ребенка его сестры. Безусловно, Ира'ил настолько восхищался необыкновенной поэзией Рештара, что отрекся от собственной семьи и отказался от права продлевать существование рода Вро ради того, чтобы присоединиться к блистательному обществу, обретавшемуся во Дворце Галатны. Однако подобные поступки совершали и другие мужчины, а сам Ира'ил оказался никудышным певцом, впрочем, достаточно разбиравшимся в поэзии, чтобы понять, что собственные его стихи никогда не поднимутся над уровнем банальности. Единственный раз Рештар обратил на него внимание, когда он

произнес прискорбно очевидную фразу по поводу чужой очаровательной метафоры и еще когда сфальшивил в хоре. Посему Ира'ил удовлетворялся тем, что пребывал на самой периферии двора Рештара, считая за честь находиться в обществе таких артистов… В конце концов, кому-то приходится служить публикой…

И тут Хлавин Китхери необъяснимым образом протянул свою длань и извлек Ира'ила Вро из неизвестности, пригласив его стать свидетелем церемоний, утверждающих образование нового рода Даржан, которому Рештар позволил обрести существование.

– О, ты должен побывать там, Ира'ил, – настоял на приглашении Рештар, когда Ира'ил, осекаясь, пробормотал отказ, – ты должен увидеть весь замысел целиком! Обещаю, что только ты один помимо меня поймешь величие этой шутки.

Ира'илу оставалось только предположить, что Рештару по какой-то причине нравится его общество – предположение странное, но, бесспорно, лестное.

Все в этой экскурсии казалось ему удивительным. Впервые попав в Инброкар, Ира'ил был изумлен дворцом Китхери, находящимся в самом центре столицы. Архитектура впечатляла, однако сам дворец оказался странно тихим местом – почти пустынным, служившим местом обитания благородного рода и домашних слуг. Ира'ил рассчитывал увидеть в средоточии своей культуры нечто более волнующее, нечто более живое… Он отвернулся от города и посмотрел на кухонный двор со специальными воротами для руна, через которые только что вышел торговец.

– Можно было ожидать славную дуэль, – сказал он Рештару, надеясь на то, что Хлавин забудет панибратское обращение.

– Купчина мог бы одолеть Дхерая. И вы сделались бы вторым.

– Думаю, что я уже второй, – с полной невозмутимостью молвил Рештар.

– Прошу прощения, – произнес Ира'ил Вро, допуская в смятении новую бестактность. – Не понимаю… простите! Но я не могу понять…

«Еще бы, тупица», – думал Хлавин Китхери, взирая на своего спутника с выражением, близким к симпатии, поскольку он чрезвычайно наслаждался обществом Вро – в особенности дурацкими промахами этого идиота и неуклюжими попытками извиниться. Во всей разыгрывавшейся драме присутствовали изумительно комичные моменты, и тот факт, что он сам начал ее разыгрывать, доставлял Хлавину чрезвычайное удовольствие. Супаари собирается бежать из города, понял Рештар, когда его нелепый шурин украдкой выбрался из города со своей добычей

подобно трусливому шакалу; свет, наполнивший в эти мгновения душу Хлавина Китхери, можно было сравнить только с теми мгновениями, когда финал импровизированной песни приходил ему в голову прямо посреди представления. *«Я не мог спланировать свою интригу более совершенным образом».*

– Думаю, что купчина уже убил моего достопочтенного брата Дхерая, – молвил тогда Рештар голосом чистым и музыкальным, глядя на Ира'ила небесной чистоты голубыми, влажными, лавандовыми глазами. – И Бхансаара! И их отпрысков. А потом, обезумев от пролитой крови, опьянев от жаркого и густого запаха мести, убил Жхолаа и моего отца…

Ира'ил открыл свой рот, чтобы возразить:

– Нет, он всего лишь бежал из дворца.

– Я думаю, что все это уже произошло, – повторил Рештар, по-братски опуская руку на плечи своего собеседника и умиротворяющим образом прикасаясь хвостом к его хвосту. – Разве не так?

Глава 8
Инброкар

Во время правления Лжаат-са Китхери

Существовали такие вопросы, которых не следовало задавать, и самым важным среди них был «Почему?».

Без «что?» и «когда?» обойтись невозможно. Спрашивать «где?» можно было без особой опаски. «Как?» – вполне допустимо, хотя нередко приводило к неприятностям. Однако задавать вопрос «почему?» было настолько опасно, что Селикат лупила его всякий раз, когда он использовал это слово. Даже ребенком Хлавин понимал, что она исполняет свой долг. Она била его ради его же собственного блага, потому что опасалась за него и не хотела, чтобы из лучшего из ее учеников сделали обратный пример. Лучше кнут наставницы, чем медленное и публичное разоблачение взбунтовавшегося младшего брата.

– Так что я такое… выходит – манекен портного? – потребовал он ответа в возрасте двенадцати лет, еще не знающий страха и жизненных тонкостей.

– Если умрет Бхансаар, они возложат его служебные обязанности, как мантию, на мои плечи, и – щелк! Я Верховный судья! Разве не так оно происходит, Селикат?

Наставница колебалась. Участь рештара требовала изучения опыта старших братьев, заранее знавших, что, если любой из них не даст потомства или умрет до рождения своих детей, считающийся лишним сын займет освободившийся пост, обладая нужным уровнем компетенции. Невысокий, но ловкий Хлавин физически уже ничем не уступал Дхераю, обреченному выступать в качестве военного предводителя своего народа в том случае, если Патримонии будет угрожать любая опасность.

И даже Жхолаа обнаруживала лучшие способности, чем Бхансаар, который помнил все, чему его учили, и умел применять эти знания, но редко замечал следствия и делал собственные выводы, однако ему назначено было в свое время сделаться председателем Высшего суда Инброкара.

– В древних песнях все это объясняется, господин, – сказала ему рунао, закрывая глаза и голосом своим воспроизводя ритм, если не мелодию, этих песен.

– Ингви, любитель порядка, рек первым братьям, Ч'хорилу и Сримату: когда собираются женщины – пляшет Хаос. Посему разлучите Па'ау и Тиха'ай, свирепых сестер, которых взяли женами себе, и содержите их в плену у себя и порознь.

Хитростью и лукавством Ч'хорил и Сримат соединились с прочими мужчинами, пока все они не подчинили себе своих жен и дочерей. Однако, собственными руками совершив резню и избиение, мужчины опьянели от крови и начали сражаться между собой. «Мы не можем оградить себя друг от друга», – сказали они. И тогда Ингви повелел: «Пусть те среди вас, кто мудр, решат, кто из вас слишком свиреп для того, чтобы жить, а те, кто силен, убьют свирепых, осужденных мудрыми». И потому что Ч'хорил Старший был силен, а Сримат Младший – мудр, начиная с того времени уделом перворожденных мужчин каждого рода стали война и кровавые жертвоприношения, а второрожденным достались суд, приговор и решение.

– И ты веришь в это? – откровенно спросил Хлавин рунао. Глаза ее открылись.

– Все это произошло задолго до того, как были одомашнены руна, – ответила Селикат, всплеснув хвостом и уронив его с мягким и, возможно, даже ироничным шлепком. – В любом случае какое значение имеют верования ничтожной наставницы, мой господин?

– Ты не ничтожна. Ты обучаешь Китхери Рештара. Скажи мне, что ты думаешь, – приказал ребенок, властный даже тогда, когда можно было подумать, что его не ждет ничего большего, чем почетная ссылка, устроенная для того, чтобы отвлечь от тщетных сожалений и опасных вопросов.

Селикат собралась, приняв облик персоны, достойной внимания.

– Стабильность и порядок всегда оплачивались пленом и кровью, – сказала рунао своему подопечному, глядя на него спокойными глазами. – Песни также рассказывают нам о Веке Постоянства, когда все было так, как и должно быть, и каждый человек знал свое место и свой род. Тогда было почтение к высшим и обхождение со стороны низших. Все элементы были уравновешены: Служение торжествовало, и Хаос был в подчинении…

– Да, да, «свирепость покорна, как женщина в своих покоях». Или Рештар в своем изгнании, – сказал мальчишка. Она регулярно лупила его, однако он оставался порывистым и опасно циничным. – Разве такая благодать царила всегда, Селикат? Даже когда люди знают свое место, земля может разверзнуться и поглотить города. Где тут равновесие? При потопе может погибнуть половина населения низменной провинции. Пепел может засыпать целый город всего лишь за время послеобеденного сна!

– Истинно, – согласилась Селикат. – Но есть и худшее: есть

люди, которые втайне сеют раздоры, обращаются к кровной мести в удобных для того обстоятельствах. Существуют зависть и эгоизм; соперничество ради соперничества. А еще агрессия и гнев: слепая и глухая ярость, требующая раз и навсегда уладить что-то.

Рунао умолкла, почтительная, но все же наследница поколений селективного отбора и одновременно абсолютная владычица в собственном поле знаний. Всю свою жизнь она обреталась среди людей, исследовавших анатомию, рефлексы, инстинкты хищного вида: хватательные ноги, режущие когти, могучие конечности; терпение жана'ата в погоне, их хитроумные засады, быстроту, с которой они убивали. Селикат видела, как поступают с вольнодумцами, и не хотела подобной участи для Хлавина.

– Против подобной свирепости, – продолжила она, – возражали великие юристы, искусные дипломаты, мужи, чьи голоса способны восстановить покой и ввести прочих в здравое расположение духа. И ты, господин мой, получил свое имя в честь величайшего из этих людей – Хлавина Мра, чья мудрость запечатлена в основах законодательства Инброкара, чью ораторию «Должны ли мы уподобиться женщинам?» исполняет каждый обладающий правом отцовства мужчина, достигая зрелости и занимая свое место в обществе.

– А если Хлавин Мра родился бы третьим? – спросил тезка древнего героя. – Или же первым?

Селикат какое-то время помолчала. А потом выпорола его. Ибо вопрос «Что, если?» был еще более опасен, чем «Почему?».

Если бы не влияние Селикат, он мог бы закончть так же, как многие рештари его касты: соблазненным разнообразными удовольствиями праздной и легкой жизни, разрешенными третьеродному аристократу, и умерев в среднем возрасте от ожирения и скуки. Пределов потреблению практически не существовало; Дхерай и Бхансаар, опасаясь подосланных убийц и предупреждая интриги, были рады предоставить Хлавину все, чего он хотел, если только хотения эти не касались того, что принадлежало им самим. Лишенный права отцовства, сосланный во Дворец Галатна с гаремом наложниц-руна и жен из числа сделанных бесплодными третьих по рождению женщин жана'ата, изгнанник Хлавин располагал в качестве компаньонов сынами аристократии низшего уровня, которым позволялось путешествовать более свободно, чем представителям высшей знати. Вместе они заполняли пустые дни буйными играми, нередко заканчивавшимися переломами, или коротали время за чудовищными пирами и все более и более порочным сексом.

– Во всяком случае, когда она завизжала, я понял, что хоть кто-то обращает на меня внимание! – выкрикнул Хлавин, пьяный и беспечный, когда Селикат стала отчитывать его за скверное обращение с наложницей во время соития. – Я невидим! И вообще, может быть, я – не я, а Жхолаа! Здесь нет ничего реального. Все важное находится не здесь.

Немногие рештари смели посмотреть себе в лицо и старались полностью забыться в напевном самогипнозе ритуала Сти.

Но Хлавин нуждался в полноте, а не в ограниченности бытия. Некоторые рештари являлись людьми плотскими, не любившими сражений или закона и искренне предпочитавшими ученые занятия; таковые продолжали свое образование под руководством старших, и из их рядов выходили архитекторы, химики, инженеры всякого рода, историки, математики, генетики, гидрологи. Но Хлавин не был ученым.

Селикат получила исчерпывающее образование, и она знала все симптомы помутнения ума. Не зная выхода из этой ловушки, Хлавин погубит себя тем или иным образом… Существовала одна возможность… Она долго не решалась обратиться к ней, надеясь, что тот сам отыщет запах, по которому следует идти.

Селикат приняла решение в тот вечер, глядя на Хлавина со стороны, когда он слушал народные хоры Гайжура, и древние канты наполняли воздух во время заката второго солнца. Давно известно: сведи двоих жана'ата на расстояние в пол *ха'ара* в это время суток – и с неизбежностью наступления тьмы сам собой затеется хор. Все гармонии были основаны на двух голосах, для третьего голоса места не было. Она так и не сумела выбить из Хлавина музыку. Он не имел права петь, однако выглядел довольным, только когда пел, и она могла слышать его при правильном ветре, ведущего по желанию или доминирующую мелодию, или контрапункт к ней, украшавший оригинальные тона хроматическими элементами, подчеркивавшими или отрицавшими линию баса. И когда угасли последние ноты и померк вместе с ними солнечный свет, она подошла к нему и заговорила, не беспокоясь о том, что их может подслушать кто-то еще:

– Помнишь ли ты, мой господин, как однажды спросил меня: что было бы, если бы Хлавин Мра родился третьим?

Хлавин поднял голову и посмотрел на нее.

– В таком случае, – сказала Селикат со спокойной уверенностью, – он стал бы петь.

«Почему она сделала это?» – спрашивал потом себя Хлавин. Конечно же, руна пользовались таким способом, чтобы принести себя в жертву своим господам. К тому же Селикат оставалось

жить чуть менее года: ей и так было уж почти пятьдесят лет – старость даже по меркам придворных руна. Возможно, она просто ненавидела бессмысленные потери и знала, к какому итогу он придет, если не сможет высвободить то, что содержится в нем. Возможно даже, что она подлинно желала ему счастья и знала, что без музыки ничего в его жизни не состоится… Как бы то ни было, рунао, воспитавшая Хлавина Китхери, решила наделить его последним даром.

Потрясенные ее словами, оба они умолкли. И, старательно прислушиваясь к красноречивым звукам собственного дыхания, услышали приближающиеся шаги, заранее зная исход.

– Он превратил бы свою жизнь в песню, – окликнула его Селикат, когда ее уводили, – из чего бы ни была она сделана!

Это были последние обращенные к нему слова Селикат, а Хлавин Китхери старался чтить память своей наставницы.

Почти с самого начала он рисковал. Обратившись к концентрированной свирепости своих предков, Хлавин Китхери избавился от юных дураков, с помощью которых его братья надеялись притупить его разум, и призвал к себе физиков, математиков, музыкантов, бардов, окружив себя людьми любой касты и возраста, от которых можно было чему-то научиться. Для начала он потребил кости и мясо ритма, гармонии и образности. А потом, утолив самый отчаянный голод, обратился к деликатесам сольфеджио: темпу, ритму, складу, паузам; тональности, равновесию, обертонам; длительности звучания гласных и ударению, взаимодействию лингвистических и музыкальных структур.

Довольные столь способным учеником, преподаватели считали Хлавина одним из собственной братии – теоретиком и толкователем традиционных кантов. И естественным образом пережили потрясение, когда он пропел вслух музыкальную фразу, чтобы проверить собственное понимание… о сем было донесено кабинету Высочайшего, однако приватно они приняли это толкование. А кроме того, отметили, что Рештар обладает удивительным голосом: гибким и чистым во всем своем необычайно широком диапазоне. Действительно жаль, что его не может послушать более широкая аудитория…

Достаточно скоро, однако, он отпустил и ученых, а избавившись от них, начал создавать песни, классические по форме, но не имевшие прецедента по содержанию, стихи, не имевшие сюжета, но обладавшие лиризмом, настолько убедительным и могучим, что никто из тех, кто хоть раз слышал его песни, не мог более пребывать в забвении тайных сокровищ и

незримых красот сего мира. Первородные и второродные ВаГайжури собирались у ворот дворца, чтобы послушать его. Хлавин позволял это, понимая, что они могут унести его песни в Пийа'ар, Агарди, Кирабай, на Внешние Острова, в Мо'арл и, наконец, в саму столицу. Хлавин хотел, чтобы его слышали, чтобы его песни знали за пределами дворца, и не прекратил своих концертов, даже когда его предупредили о том, что для расследования нововведения отправлен сам Бхансаар Китхери.

Прибывшего старшего брата Хлавин приветствовал без малейшего страха – так, будто Бхансаар прибыл с визитом вежливости. Селикат сумела вбить в своего питомца обходительность, и посредством мудрого выбора в своем серале Рештар Галатны познакомил брата с несколькими приятными обычаями, а после употчевал напитками и деликатесами, о существовании которых Бханасаар даже не подозревал.

– Безвредное нововведение… очаровательное к тому же, – решил Бхансаар.

Каким-то образом посреди всех изящных и умных бесед, пересыпанных стихами, восхвалявшими его мудрость и суждения, все еще звучавших в его голове, когда Бхансаар отходил ко сну, ему стало казаться, что никаких легальных причин затыкать рот молодому Хлавину вовсе не существует. И перед тем как оставить Гайжур, Бхансаар даже предложил – в какой-то мере самостоятельно – транслировать концерты Хлавина по радио в ранге государственных ораторий.

– Действительно, – определил Бхансаар в своем официальном рескрипте, – незапрещенное должно быть разрешено, ибо, доказывая справделивость обратного, придется признать, что те, кто устанавливал закон, не обладали должным предвидением.

И допустить подобное было куда опасней, чем разрешить Рештару Галатны петь свои песни! И разве может Рештар найти себе более невинное занятие, чем сочинение стихов?

– Он поет лишь о том, что может обрести внутри Галатны: об ароматах, о грозах, о сексе, – сообщил Бхансаар отцу и брату, вернувшись из поездки в Инброкар. Когда они заулыбались, он подчеркнул: – Стихи великолепны. И, занимаясь ими, он не лезет в другие дела.

Так Хлавину Китхери разрешили петь, и посредством пения он заманил свободу в собственную тюрьму. Слушатели его концертов, даже первые и вторые, потрясенные его песнями, воспламенялись желанием сбросить со своих плеч тиранию генеалогии и присоединиться к Хлавину в его возвышенной духом, пусть и скандальной, ссылке, и Дворец Галатны сделался местом, в котором собирались люди, которые иначе никогда не

встретились бы.

Своими стихами Рештар Галатны заново переопределил установленную законом бездетность как чистоту ума; очистив свою жизнь от запятнанного прошлого и запрещенного будущего, он сделал ее завидной. Другие учились жить так, как он, – на гребне бытия, существуя полностью в мгновение, следующее за эфемерным мигом изысканного секса, не запятнанного династическими соображениями. И среди них находились мужи, которые не просто высоко ставили поэтические произведения Китхери, но и сами были способны создавать наделенные удивительной красотой песни.

Эти люди были детьми его души.

Он всего лишь хотел быть довольным, жить в вечном настоящем, побеждая время: все элементы уравновешены, все предметы стабильны, заключенный в нем самом хаос спокоен и управляем подобно женщине, находящейся в своих покоях.

И все же, когда он наконец достиг желаемого, музыка начала умирать в нем. «*Почему?*» – спросил себя Хлавин, однако ответить было некому.

Сначала Хлавин попытался заполнить пустоту предметами. Он всегда ценил редкое и необыкновенное. Теперь он искал и собирал самое превосходное, самое старинное, самое дорогое, самое богато украшенное, самое сложное. Каждое новое сокровище извлекало праздник из недр его пустоты, пока он изучал все сложные переплетения, пока вглядывался в нюансы, пока пытался найти в нем качество, способное призвать свет, вспыхнуть слепящим пламенем… Но потом он все равно отставлял эту вещь в сторону, наслаждение уходило, аромат рассеивался, тишина восстанавливалась. День за днем он расхаживал по комнатам, ожидая, однако ничто не приходило – ничто не высекало искру для песни. Собственная жизнь стала казаться ему не поэмой, но бессмысленным скопищем слов, столь же случайных, как пустая болтовня домашних слуг-руна.

Он ощущал не скуку – нечто большее, скорее медленное умирание души, окончательную уверенность в том, что теперь уже ничто и нигде более в этом мире не сможет позволить ему в полной мере вдохнуть и ощутить жизнь.

И посреди этой ночи золотой полоской рассвета явился хрустальный, удивительной простоты флакон с семью небольшими бурыми зернышками, испускавшими необычайный аромат: камфорный, сладостный, пряный – альдегиды, эфиры и пиразины, соединившись в едином благоуханном порыве, потрясли его, вдохнувшего этот аромат, как сотрясает взрыв вулкана окрестные скалы, сперва задохнувшегося и потом

вскричавшего, как новорожденный младенец. Вместе с благовонием, наполнившим сперва его голову, а потом грудь, пришло и знание того, что мир обрел нечто подлинно новое. Нечто чудесное. Такое, что снова обратило его к жизни.

Были и другие ароматы: *кин'амон,* так торговец Супаари ВаГайжур назвал свой следующий товар. *Клов, ванил'а, дрожд, полын, тамин, куумин, сохп.* И каждую новую удивительную поставку сопровождало обетование чего-то невообразимого: пота, масла, бесконечно малых частичек кожи. Не принадлежащих жана'ата. И руна. Кому-то еще… кому-то совсем другому. Нечто такое, что можно было оплатить только его собственной монетой: жизнью за жизнь.

А потом была сложная пляска не знавших прецедента запахов, звуков и ощущений, высший момент мучительного сексуального напряжения, ощущение не изведанного прежде экстаза. Всю свою жизнь он искал вдохновение в презираемом, незаметном, уникальном, мимолетном; всю свою жизнь он веровал в то, что каждое переживание, каждый предмет, каждая поэма может быть самодостаточной, совершенной и цельной. И все же, не открыв еще глаза в оргазме, кончая в иноземце в тот первый раз, он понял, что источником всякого значения является сравнение.

Ну как мог он так долго не слышать этого?

Возьмем хотя бы удовлетворение, думал он, когда иноземца увели. В акте с наложницей-руна или с пленной женщиной жана'ата, безусловно, присутствовало известного рода неравенство, представлявшее своего рода основу для сравнения, однако ощущение это затмевалось чем-то вроде исполняемого долга. Или силы! Чтобы понять силу, надо познать бессилие. Здесь наиболее красноречивым был опыт с иноземцем, даже когда стал рассеиваться пьянящий запах страха и крови. Ни когтей, ни хвоста, смехотворный зубной аппарат, малорослый, плененный. Беззащитный. Иноземец являл собой самую презренную добычу… воплощенный Ноль, физическое проявление начальной точки отсчета переживания…

В ту ночь Хлавин Китхери, лежа без движения на своих подушках, размышлял об отсутствии величины, о цифре, разделяющей положительное и отрицательное, о том, чего нет, и о Небытии. Для существа, произведшего подобное сопоставление, оргазм становится неистощимо прекрасным, а его градации – в своем неравенстве – утонченным образом размещены для того, чтобы в высшей степени ученый эстет мог узнать и оценить их.

Искусство не может существовать без неравенства, устанавливаемого сравнением, осознал он.

С первым светом он снова послал за иноземцем. На сей раз восприятие было другим, и на третий тоже. Он созвал лучших своих поэтов – самых одаренных, самых восприимчивых, – воспользовавшись иноземцем, преподал им то, что узнал, и в итоге обнаружил, что восприятие их носило исключительно персональный характер. Теперь он внимал их стихам с новым пониманием и был потрясен разнообразием и великолепием их песен. Он ошибался, чистого восприятия не существует, теперь он понимал это! Личность представляла собой линзу, посредством которой прошлое взирало на мгновение и изменяло будущее.

Даже иноземец был отмечен, преображен каждым эпизодом так, как никогда не бывали наложницы-руна и пленные жана'ата.

В полные дурмана дни после того, первого акта Хлавин Китхери создал философию красоты, науку об искусстве и его творческих источниках, его формах и оттенках воздействия. Вся жизнь могла стать эпической поэмой, смысл каждого ее мгновения – обрести рельеф под косыми лучами прошлого и будущего, сумерек и рассвета. Не должно быть только изоляции, никакого случайного опыта, никакой сингулярности!

Чтобы возвысить свою жизнь до Искусства, следует классифицировать, сопоставлять, ранжировать – воспринимать непохожести, так чтобы можно было по контрасту познать высшее, обыкновенное и низшее.

Умолкшая на многие времена года, трансцендентная музыка Хлавина Китхери зазвучала вновь, став излиянием артистической энергии, выплеснувшейся на его общество приливной волной. Даже те, кто прежде игнорировал его, не признавая ни скандальных интересов, ни необычайных идей, были теперь околдованы светом, пролитым Хлавином на неизменные истины.

– Как прекрасно! – восторгались мужи-жана'ата. – Как подлинно! Все наше общество, всю нашу историю следует воспринимать как безупречную поэму, пропетую нами поколение за поколением, из которой ничего не утрачено и к которой ничего не добавлено!

Посреди всего этого брожения к воротам Дворца Галатны явились новые иноземцы вместе с юной переводчицей по имени Аскама, заявившей, что пришли члены его семьи, явившиеся для того, чтобы забрать родственника домой.

Хлавин Китхери к этому времени почти забыл то малое семя, из которого выросло сие огромное великолепие, и когда к нему с этим вопросом явилась собственная секретарь-руна, он подумал: «Да не будет забыт всякий и каждый. Да не будет никто угнетен и ограничен чужими желаниями и потребностями».

– Единственная наша тюрьма, – со смехом пропел Рештар, –

наша собственная ограниченность!

Чуть покачиваясь из стороны в сторону, опасающаяся сделать ошибку, секретарша спросила:

– Мой господин, надо ли отпустить иноземца Сандоса?

– Да! Да, пусть откроются двери! – воскликнул Китхери. – Пусть пляшет Хаос!

Такой вот оказалась последняя услуга, оказанная иноземцем всем жителям Ракхата. Ибо Хлавин Китхери был рожден в обществе, порабощавшем дух всех своих членов, способствовавшем тупости, неспособности и летаргическому оцепенению среди властей и вынуждавшем массы соблюдать пассивность. Хлавин теперь понимал, что вся структура общества жана'ата основана на ранге как таковом, однако это неравенство носит искусственный характер и выдвигает наверх худших, раздражая при этом лучших.

– Представьте себе, – наставлял Рештар своих последователей, – весь спектр вариаций, который естественно сделался бы очевидным, если бы всем было позволено сражаться за место в подлинной иерархии!

– Он безумен, как моя матушка, – начали говорить мужчины.

Быть может, так оно и было: не ослепленный обычаем, свободный от всяческих ограничений, не заинтересованный в настоящем, Хлавин Китхери придумал мир, в котором ничто – ни происхождение, ни обычай, ни наследственные права, – ничто, кроме способностей, проверенных и доказанных, не может определять место человека в жизни. И какое-то недолгое время он воспевал эту тему с ужасающим величием духа и размахом воображения, пока наконец отец и его братья не осознали его слова и не запретили концерты.

И кто на его месте не потерял бы равновесия? Мечтать о такой свободе, представить себе мир, лишенный стен, – и снова попасть в тюрьму…

У Хлавина Китхери были настоящие друзья, подлинные ценители и поклонники среди поэтов, и некоторые из них остались с ним в этой новой и более жесткой ссылке. Верные люди эти надеялись на то, что он сможет еще раз найти путь к умиротворению внутри роскошного, но небольшого Дворца Галатны. Но когда он начал одну за другой убивать своих наложниц и день за днем следить за тем, как гниют и распадаются их тела, лучшие из сподвижников оставили его, не желая далее лицезреть его падение.

Но затем явился свет в ночи: оказалось, что Жхолаа была выдана замуж и понесла и в связи с этим Рештар Галатны будет выпущен из места заточения и ему позволят на короткое время

вернуться в Инброкар для присутствия на церемонии утверждения рода Даржан, дарования имени первому ребенку его сестры и возведения в благородное достоинство гайжурского торговца, который передал ему Сандоса.

Хлавин Китхери измерил, сопоставил и рассудил отвагу правителей, зная при этом, что сам он неизмерим и бесподобен. На вопрос «почему?» ответ уже был получен. Оставались только «когда?» и «как?» – и, зная все это, Рештар Галатны, улыбаясь, бесшумно засел в засаде, ожидая подходящего мгновения, чтобы захватить свободу. Оно пришло к нему, когда его абсурдный шурин Супаари ВаГайжур оставил Инброкар с безымянным младенцем на руках. В тот день – с внезапной и уверенной жестокостью изголодавшегося хищника – Хлавин Китхери истребил всех, кто преграждал ему путь к власти.

Последние дни своего пребывания в качестве Рештара он провел в погребальных церемониях по убиенному отцу и братьям, по павшим насильственной смертью племянникам и племянницам, по беззащитной сестре и по доблестному, но ужасно неудачливому гостю дома по имени Ира’ил Вро – предательским образом убитому ночью слугами-руна, подученными изменником Супаари ВаГайжуром. На самом же деле все слуги дома Китхери были объявлены соучастниками и немедленно убиты. Через считаные часы беглый шурин Хлавина Китхери был объявлен ВаХапта, что предусматривало казнь Супаари ВаГайжура, его ребенка и всех, кто помогал их бегству. Скосив, словно цветы, все препятствия на пути к власти, Хлавин Китхери начал сложный обряд возведения во власть собственной персоны в качестве сорок восьмого Высочайшего Патримонии Инброкара и приготовился дать своим людям свободу.

Глава 9
Неаполь

Октябрь – ноябрь 2060 года

Погода в том октябре выдалась сухой и теплой, и уже этого было достаточно, чтобы порадовать Эмилио Сандоса. Пробивавшийся сквозь окна солнечный свет исцелял даже после тяжелой ночи.

Осторожно действуя руками, поскольку невозможно было предсказать, какое именно движение породит боль, в ранние часы каждого дня он приводил в уютный вид собственные апартаменты, намереваясь сделать все, что мог, – без чьей-то помощи или разрешения. После долгого пребывания в качестве инвалида он теперь наслаждался тем, что может самостоятельно застелить постель, подмести пол, убрать со стола посуду. И к девяти часам, если только сны не были очень тяжелыми, он был умыт, побрит, одет и готов перейти на безопасную стезю ожидавшей его высокой науки.

С технической точки зрения его облагодетельствовало почти уже вымершее поколение американского беби-бума, старение которого создало огромный рынок для всяких устройств, помогающих обездвиженным и увечным. На то, чтобы натренировать систему узнавать его голосовые паттерны на тех четырех языках, которые он намеревался чаще всего использовать во время работы, ушла неделя, еще столько же времени потребовалось, чтобы настроить горловой микрофон. Предпочитая знакомые вещи, он заказал виртуальную клавиатуру и к тринадцатому октября уже научился с помощью особых устройств быстро набирать текст едва заметными движениями пальцев.

«Прямо роболингвист», – подумал он в то утро, усевшись за работу в шлеме, ортезах и системе пользования клавиатурой. Занятый поиском эпонимов и коллокаций в присланных с Ракхата материалах, за наушниками он не услышал стука в дверь и был удивлен звавшим его женским голосом:

– Дон Эмилио?

Стащив всю аппаратуру с головы и пальцев, он ждал, не зная, что сделать или сказать, пока не услышал:

– Его нет дома, Селестина, но идея очаровательна. Мы придем в другой раз.

«Разбирайся сейчас, или придется разбираться потом», – подумал он.

Он спустился к двери как раз в тот момент, когда тонкий голос ребенка сделался громче, и открыл ее перед женщиной лет тридцати с небольшим, смущенной и усталой, однако выглядевшей как ангел небесный кисти художника эпохи Возрождения: карие глаза на овальном лице цвета слоновой кости, обрамленном темно-русыми кудрями.

– Я принесла вам морскую свинку, – объявила Селестина.

Сандос без всякой радости посмотрел на ее мать, ожидая объяснения.

– Прошу вашего прощения, дон Эмилио, но Селестина пришла к выводу, что вам необходим домашний питомец, – извинилась женщина, жестом показывая свое бессилие перед лицом детского натиска, как нетрудно было предположить, не ослабевавшего после их первого знакомства на крещении. – Эту девицу, мою дочь, после того как она приняла решение, всякий раз посещает внушительная нравственная сила.

– Я знаком с этим феноменом, синьора Джулиани, – сухо, но любезно произнес Сандос, вспомнив Аскаму – на сей раз всего лишь с привязанностью, без обычной боли.

– Прошу вас называть меня Джина, – произнесла мать Селестины, пытаясь сухим юмором скрыть свое неудовольствие ситуацией. – Так как мне предстоит стать вашей тещей, я полагаю, что мы имеем полное право звать друг друга по имени. Не возражаете?

Глаза священника распахнулись:

– Прошу прощения?

– Разве Селестина вам еще не сказала? – Джина отвела от губ прядку волос, попавшую на лицо под дуновением ветра, и автоматически поправила волосы Селестины, пытаясь придать капризному недовольному ребенку презентабельный вид.

Итак, сражение заранее проиграно.

– Моя дочь намеревается выйти за вас замуж, дон Эмилио.

– Я надену свое белое платьице с именами, – проинформировала его Селестина. – Тогда оно навсегда станет моим. И вы тоже, – добавила она, подумав. – Навсегда.

Заметив болезненное выражение, мгновенно пробежавшее по лицу матери, Сандос сел на нижнюю ступеньку лестницы так, чтобы глаза его оказались на одном уровне с лицом девочки. Облачко кудрявых волос вспыхнуло ореолом под лучами светившего за дверью солнца.

– Донна Селестина, я польщен вашим предложением. Однако вынужден указать, что я очень пожилой джентльмен, – с истинно герцогским достоинством поведал он ребенку. – Боюсь, что я не могу стать достойной парой столь юной и прекрасной леди.

Девочка подозрительно посмотрела на Сандоса:

– Что это значит?

– Это значит, *carissima,* что ты получила отказ, – усталым голосом произнесла Джина, объяснявшая все это своему ребенку сотню раз только сегодня утром.

– Я слишком стар для тебя, *cari,* – печальным тоном подтвердил Сандос.

– А сколько тебе лет?

– Скоро мне исполнится восемьдесят лет, – сказал он. Джина рассмеялась… Он посмотрел на нее: лицо серьезное, глаза сияющие.

– А сколько это будет на пальцах? – спросила Селестина. И, показав четыре собственных пальца, произнесла: – А мне вот сколько.

Сандос поднял вверх обе ладони. И неспешно открыл и закрыл их восемь раз, повторяя десятки для ребенка под жужжание сервомоторчиков.

– Это много пальцев, – заявила впечатленная количеством Селестина.

– Действительно, *cara.* Много. Целая куча.

Селестина принялась обдумывать факт, наматывая прядку волос на нежные пальчики, на маленьких запястьях ее еще оставались последние следы младенческих складок.

– Но тебе все равно положена морская свинка, – решила она наконец.

Сандос рассмеялся с неподдельным теплом, однако посмотрел на Джину Джулиани с явной нерешительностью и слегка качнул головой.

– О, но вы окажете мне огромную любезность, дон Эмилио! – принялась уговаривать его Джина, смущенная и решительная, ибо отец-генерал одобрил идею Селестины подарить Сандосу свинку под тем соусом, что уход за животным может оказаться для него некой физической и эмоциональной терапией. К тому же… – У нас дома уже три штуки. Все наше семейство уже переполнено этими созданиями, с тех пор как моя невестка принесла домой первую из магазина. Кармелла не поняла, что зверушка уже беременна.

– По правде сказать, синьора, я не способен содержать или кормить живое существо… – Он умолк. «Классическая ошибка!» – подумал он, вспоминая совет, данный Джорджем Эдвардсом Джимии Куинну на его свадьбе: никогда не предоставляй женщине аргументы, которые можно оспорить. Говори «нет», или готовься к поражению.

– Мы принесли с собой клетку, – сказала Селестина, в свои

четыре года уже освоившая этот принцип. – И ее еду. И бутылочку с водой.

– Они очень милые зверушки, – вполне искренне заверила его Джина Джулиани, придерживая дочку за плечики и не отпуская ее от себя. – С ними нет никакой возни, пока они не начинают умножаться в немыслимых количествах. Эта свинка еще молода и невинна, однако таковой останется недолго. – Ощущая, что решимость Сандоса слабеет, она продолжила свою атаку безжалостной мелодрамой. – И если вы не возьмете ее, дон Эмилио, она скоро падет жертвой порочных домогательств своих собственных братьев!

Наступила тишина, которая вполне заслуживала название чреватой.

– Вы, синьора, безжалостны, – проговорил наконец Сандос, прищурив глаза. – Рад, что мне повезло и я не могу оказаться вашим зятем.

Улыбающаяся и победоносная Джина повела Сандоса к своей машине. Селестина семенила рядом с ними. Открыв заднюю дверь, Джина нырнула внутрь и передала священнику большой пакет с гранулами, не обращая внимания на его руки, которые решила игнорировать.

Какое-то мгновение он неловко пытался удержать пакет, но наконец сумел надежно ухватить его, пока Селестина чирикала о том, как надо держать, поить и кормить животное, и сообщила ему, что мать зверька звали Клеопатрой.

– Названа в честь египетского обычая царственного инцеста, – очень негромко произнесла Джина, так чтобы Селестина не услышала и не потребовала разъяснений.

Она достала клетку с заднего сиденья.

– Так, – столь же тихо и по той же причине произнес Сандос, как только они сделали первые шаги к его апартаментам. – Тогда эта получает имя Элизабет в надежде на то, что последует примеру Королевы-девственницы.

Джина рассмеялась, однако он предупредил ее:

– Если она окажется в положении, синьора, я без малейших колебаний верну всю династию к вашему порогу.

Они поднялись наверх и водворили Элизабет в ее новую квартиру. Клетка представляла собой нехитрое сооружение из планок и мелкой сетки на оранжевом пластмассовом поддоне. В ней располагался перевернутый овощной ящичек, в котором маленькое животное могло укрыться. Клетка была открытой сверху.

– А она не вылезет отсюда? – спросил Сандос, садясь и глядя на животное: продолговатый комок золотых волос с белым

седлом и звездочкой на лбу величиной и формой примерно с камень мостовой. Передний конец тушки, по его мнению, отличался от заднего исключительно наличием пары настороженных глазок, блестящих, как черные бусины.

– Я сейчас покажу вам, что морские свинки не принадлежат к числу любителей лазить, – произнесла Джина, пристраивая к клетке полную воды бутылочку. Она на мгновение приподняла зверюшку, так что Эмилио мог видеть абсурдно короткие ножки, на которые опиралось массивное тельце, а затем отправилась на его кухню в поисках посудного полотенца.

– Кроме того, не надо забывать класть на колени какую-нибудь тряпку, – сказала она, передавая ему ткань.

– Она сделает на тебя пипи, – пояснила Селестина, когда он принял животинку от ее матери. – А еще…

– Спасибо, *cara.* Дон Эмилио вполне способен понять все остальное, – произнесла Джина, плавно опускаясь в другое кресло.

– Какашки похожи на маленькие изюмки, – добавила безжалостная Селестина.

– Свинки не такие вредные, как моя дочь, – добавила Джина. – Они обожают, когда их гладят, но ваша еще немного боится, когда ее вынимают из клетки. Время от времени берите ее на руки на пять или десять минут. Вообще Селестина права, пусть и несколько неделикатна. Не доверяйте терпению морской свинки. Если вы продержите Королеву Элизабет на руках много дольше этого срока, она вполне может решить, что вы собрались перейти в англиканство, и собственными силами крестить вас.

Сандос посмотрел на животное, инстинктивно старавшееся сделаться похожим на камень и потому решительно несъедобным на тот случай, если наверху вдруг пролетит орел. На лбу зверька располагалась небольшая черная буковка V между двумя опущенными, похожими на раковины гребешка ушами.

– У меня никогда не было домашних животных, – произнес он негромко. На внешних краях его ладоней, там, где нервы не были перерезаны, ощущения сохранились, и Эмилио провел внешней стороной мизинца по короткой шелковой спинке животного, от круглой головы до бесхвостой попы. – Ну, хорошо. Я принимаю твой подарок, Селестина, при одном условии, – проговорил Эмилио, жестко посмотрев на мать девочки. – Насколько я понимаю, синьора, мне потребуется торговый агент.

– Понятно, – поторопилась с ответом Джина. – Я буду доставлять вам корм и свежую подстилку каждую неделю. Естественно, за мой счет. И я очень благодарна вам за то, что вы берете ее, дон Эмилио…

– Ну да, конечно, и это тоже. Но есть и другие вещи. Если это не слишком затруднит вас, я нуждаюсь в кое-какой одежде. Я не имею установленного кредита, и существуют кое-какие практически необходимые вещи, которых я пока еще не могу сделать.

Эмилио осторожно поднял свинку с колен и поместил ее в оставшуюся на полу клетку. Животное немедленно шмыгнуло под миску для овощей и замерло там.

– Я не нуждаюсь в том, чтобы вы за что-то платили, – сказал он, выпрямляясь. – Мне платят небольшую пенсию.

Она удивилась:

– Пенсию по инвалидности? Но вы же работаете, – сказала Джина, указав рукой в сторону звукозаписывающей аппаратуры.

– Как отставному священнику, синьора. Признаюсь, что легальная сторона ситуации остается загадочной для меня самого, – признал Сандос. – Но на прошлой неделе мне объяснили, что в наши дни общество Лойолы в некоторых регионах функционирует как межнациональная корпорация со своими медицинскими льготами и пенсионными планами.

– То есть место провинций заняли конторы филиалов! – Джина закатила глаза к небу, все еще удивляясь тому, что разногласия дошли до этой точки. – Линия раздела оказалась на своем месте еще почти век назад, однако удивительно то, сколько вреда могут натворить два упрямых, не идущих на компромисс старика – теперь уже скончавшихся, однако, на мой взгляд, слишком поздно.

Сандос скривился:

– Что ж, иезуиты не в первый раз забегают вперед Ватикана. К тому же Общество уже не впервые подвергается разделению.

– Но на сей раз ситуация выглядит еще грязнее, – сказала Джина. – Почти треть епископов отказалась читать Буллу о Прещении[23], и до сих пор длятся сотни гражданских процессов по поводу прав собственности. Не думаю, чтобы сейчас кто-нибудь реально понимал юридический статус Общества Иисуса!

Сандос покачал головой и пожал плечами:

– Ну, Джон Кандотти говорил мне, что переговоры возобновились. Он полагает, что пространство для маневра есть у обеих сторон, и вскоре может возникнуть какого-то рода договоренность…

Джина улыбнулась, глаза ее блеснули:

– Дон Эмилио, в Неаполе вам каждый скажет, что трудно найти такую политическую головоломку, решение которой Джулиани не смог бы найти хитростью или силой. Новый Папа великолепен и столь же хитроумен, как дон Винченцо. Не

сомневайтесь: вдвоем они решат и эту проблему.

– Надеюсь на это. Однако, – проговорил Эмилио, обращаясь к более насущной проблеме, – в статьях положения о начислении пенсии нет пункта, позволяющего учитывать сокращение времени, возникающее при перемещении с околосветовой скоростью. Поскольку по календарю мне уже почти восемьдесят лет, я считаю, что по закону имею право получать пенсию от той части корпорации, которая прежде именовалась Антильской провинцией.

Иоганн Фелькер, личный секретарь отца-генерала, донес эту ситуацию до всеобщего сведения. Отец-генерал был крайне раздосадован аргументацией, однако Фелькер, человек в высшей степени принципиальный, настоял на том, что Сандос имеет право на этот источник дохода.

– Так. Сейчас до сих пор производят одежду фирмы Levi's?

– Конечно, – сказала она несколько рассеянным тоном, поскольку Селестина оставила клетку с морской свинкой и направилась в сторону. – Ничего не трогай, *cara! Scuzi,* дон Эмилио. Как вы сказали? Levi's?

– Да. Пару брюк, если угодно. И, может быть, три рубашки? У меня очень маленькая пенсия. – Он кашлянул. – Не имею ни малейшего представления о том, что сейчас носят и сколько это стоит, так что буду полагаться на ваше усмотрение, однако предпочту, чтобы вы не покупали чего-то ужасно…

– Поняла. Ничего ужасно экстравагантного, модного и дорогого. – Джина была растрогана тем, что он просит ее об этом, однако сохраняла на своем лице деловое выражение, прикидывая размеры на глаз, как опытная портниха, будто ей то и дело приходилось помогать обращавшимся к ней за помощью священникам.

– Один пуловер, мне кажется…

– Не пойдет. – Она отрицательно покачала головой. – Ортезы будут цепляться за ткань. Но я знаю портного, который шьет чудесные замшевые куртки… – Теперь уже он засомневался, и она поняла причину возражения.

– Классический покрой и прочный материал никогда не будут экстравагантными, – сказала Джина. – К тому же я устрою все недорого. Что-то еще?.. Я – замужняя женщина, дон Эмилио. И мне уже приходилось покупать мужское белье.

Эмилио закашлялся, покраснел, отвел глаза в сторону:

– Благодарю вас, в настоящее время мне ничего не надо.

– Но я несколько смущена, – проговорила она. – Неужели иезуиты не могут предоставить вам…

– Я не просто выхожу из корпорации, синьора. Я слагаю сан. –

Наступила неловкая пауза. – Подробности пока не согласованы. Я останусь здесь, скорее всего, как наемный работник. Я лингвист по профессии, и здесь для меня есть работа.

Она знала кое-что из его прошлого; отец-генерал подготовил свое семейство, прежде чем приглашать Сандоса на крещение. И тем не менее Джина была удивлена и опечалена его решением, каковы бы ни были его причины.

– Жаль, – проговорила она. – Я понимаю, насколько трудным могло оказаться такое решение. Селестина! – окликнула она дочь, вставая и призывая ее к себе. – Ну что ж, – сказала она, снова улыбнувшись, – не будем более досаждать вам, дон Эмилио. Мы и так слишком надолго оторвали вас от дел.

Думая лишь о том, как эти двое прекрасно смотрятся вместе, Селестина посмотрела снизу вверх на обоих взрослых, темного и светлую, и ей, не сведущей в иконографии, делавшей их обоих такой неподходящей парой, представились церковные росписи.

– Дон Эмилио не слишком стар для тебя, *Mammina*, – заметила она с детской непосредственностью. – Почему бы тебе не выйти за него замуж?

– Замолчи, *cara!* Что это тебе в голову пришло? Простите нас, дон Эмилио. Ох, эти дети! – воскликнула донельзя смущенная Джина Джулиани. – Карло – мой муж – больше не живет с нами. А Селестина, как вы могли заметить, девочка решительная…

Сандос поднял руку в ортезе.

– Объяснения излишни, синьора, – заметил он с непроницаемым выражением на лице и помог свести ребенка вниз по лестнице и наружу.

Они вместе прошли по подъездной дороге до автомобиля, молчание взрослых благопристойно маскировалось детской болтовней. Последовал обмен *ciaos* и *grazies,* Эмилио открыл перед обеими дамами дверцу автомобиля, демонстрируя уверенность движений, которую ортезы усиливали и позволяли. И когда они отъезжали, крикнул:

– Только ничего черного! Не покупайте ничего черного, хорошо?

Джина рассмеялась и, не оглядываясь, помахала ему из окна рукой.

– Угораздило вас, мадам, выйти замуж за дурака, – проговорил Эмилио негромко, поворачивая назад к гаражу, где ждала его работа.

К тому времени, как установилась мягкая неаполитанская осень и стали частить дожди, он уже вжился в повседневную рутину. Как и было обещано, Элизабет оказалась

нетребовательным компаньоном и скоро обрела форму и размер мохнатого кирпича, приветствовавшего первые признаки его пробуждения бодрым свистом.

Обычно неприветливый по утрам, он откликался с постели:

– Ты – вредительница. И родители твои были вредителями. И если у тебя будут дети, они тоже будут вредителями.

Однако доставал свинку из клетки затем, чтобы она съела морковку у него на коленях, пока сам он пил кофе, и спустя какое-то время перестал чувствовать себя дураком, разговаривая с ней.

Морские свинки, как Эмилио скоро обнаружил, являлись животными сумеречными: пребывавшими в покое ночью и днем и активными только вечером и на рассвете. Такая схема его устраивала. Эмилио часто работал без перерыва с восьми утра до шестого часа дня, не желая останавливаться до тех пор, пока свинка не начинала свистом своим указывать на наступление сумерек. Эмилио всегда понимал, что его научный прогресс может в любой момент прерваться в результате полученных на Ракхате увечий и последствий многомесячного недоедания во время одинокого возвращения домой. Посему он старался сконцентрироваться как можно дольше, а потом готовил себе на ужин красные бобы с рисом, которые съедал под внимательным контролем глазок-бусинок Элизабет. После чего вынимал ее из клетки, клал себе на колени и поглаживал ей спинку онемевшими кончиками пальцев, когда маленькое животное устраивалось поудобнее и задремывало коротким и неглубоким сном потенциальной жертвы хищника.

А после снова принимался за работу и часто засиживался за полночь; общая структура к’сана – языка жана’ата – становилась теперь ему все более ясной, да и прекрасной: язык этот уже не казался ему, как прежде, только лишь инструментом ужаса и деградации. Час за часом ритм поиска и сравнения, методичного накопления знаний увлекал его все дальше и дальше, завораживая своим течением, способным выдержать проверку памятью и ожиданиями.

В конце октября Джон тактично проинформировал его об ожидавшемся прибытии прочих священников, готовившихся к участию во второй миссии на Ракхат. Джон сказал, что все они прочли письменные отчеты и научные работы первой миссии, а также ознакомились с руанжей с помощью вводной лингвистической обучающей системы Софии Мендес и теперь самостоятельно изучали этот язык. Кроме того, отец-генерал и сам Джон подробно ознакомили их с прошлым Сандоса. Джон особо не распространялся на эту тему, однако Эмилио понял, что

они получили следующий инструктаж: не задевайте его, не пытайтесь заботиться, не изображайте лекарей. Просто следуйте его указаниям и делайте свое дело.

Эмилио особо не стремился познакомиться с новичками, предпочитая обезличенное техникой общение в киберпространстве или в библиотеке, откуда при необходимости он мог удалиться. Тем не менее свое самостоятельно возложенное на себя уединение он нарушал путешествиями на кухню к брату Козимо за овощными обрезками для Элизабет.

Заезжала по пятницам и Джина Джулиани, всегда с Селестиной, с подстилкой и кормом для свинки, а иногда и с разными мелочами, которые он мог заставить себя попросить. Они с Джоном Кандотти умели помогать Сандосу так, чтобы он не чувствовал себя беспомощным, за что он и был благодарен превыше всяких слов. Однажды в пятницу после ленча они втроем составили совет и внимательно изучили апартаменты Эмилио и его повседневные потребности. В тех случаях, когда Джина не могла купить готовые вещи, отвечающие его потребностям, Джон делал их сам: противовесы для предметов, которые ему нужно было поднимать, широкие ручки для кухонной утвари, краны и ручки для дверей, с которыми ему было проще обходиться, более удобную одежду.

Пятого ноября 2060-го, каковое число – насколько было ему известно – примерно соответствовало его сорок седьмому дню рождения, Эмилио Сандос налил себе бокал рома «Ронрико» – после обычной трапезы из бобов и риса.

– Элизабет, – провозгласил он, поднимая бокал, – за меня, абсолютного монарха своей державы, простирающейся от лестницы до рабочего стола.

А потом вернулся к работе. Ум его был поглощен идеей связи семантического поля к'сана с речными системами, выдвинутой баскским экологом, и может связываться со словами, используемыми в отношении к высоким политическим альянсам. «Подобно серии притоков!» – подумал Эмилио, ощущая странный первобытный восторг, и попытался опровергнуть достаточно обоснованную, по его мнению, гипотезу.

Глава 10
Река Пон, Центральная провинция, Инброкар

2046 год по земному летоисчислению

На третий день пути на юг жара оборвалась ливнем с грозой, насквозь промочившим пассажиров речной баржи и затопившим равнины слоем воды по щиколотку. Знакомый с обычаями деревенских руна, Супаари ВаГайжур стащил с себя мокрые городские облачения и, чтобы не выделяться среди прочих, остался почти нагим, как и его практичные спутники. Отбросив городскую одежду, он снял с себя вонь Инброкара и вновь почувствовал себя настоящим.

Итак, кончено, подумал Супаари, не ощущая в душе сожаления.

Он достаточно приблизился к цели своей жизни, чтобы не видеть, что именно покупает, и понимать, какую именно цену придется заплатить за это, находясь в извращенном клубке аристократических альянсов, взаимных ненавистей и обид. С уверенностью торговца он обрезал свои потери, разорвав клубок противоречий одним-единственным словом: «ухожу».

Итак, Супаари ВаГайжур покинул двор Китхери, никому не сказав о том, что он уходит. Он взял с собой лишь то, что принадлежало лично ему и никого более не интересовало, – своего ребенка, дочь, которую Пакуарин в данный момент держала над забортной водой, и струйка мочи отлетала к корме. Рунао согласилась проводить его до Кирабая, и теперь она весело смеялась, подмывая ребенка.

Теперь она уснет, подумал он, улыбнувшись тому, как мгновенно выражение сердитой детской мордочки на коленях Пакуарин сменилось сонным довольством и ласковые руки рунао гладили и утешали дитя.

Привалившись к транспортной плетенке со сладкими листьями, борясь с дремотой, он смотрел, как отползают назад речные берега, и пытался понять, зачем жана'ата настойчиво пытались прикрыть одеждой свои покрытые густой шерстью тела. Энн Эдвардс однажды спросила его об этом, и он так и не смог найти нужный ответ и только заметил, что жана'ата всегда предпочитают сложное простому. Почти засыпая, подсыхая на ветерке, он вдруг подумал, что одежда нужна не столько для защиты тела или его украшения, но для различения – так чтобы

можно было с первого взгляда отличить воинов-первых от бюрократов-вторых, а также тех и других от ученых или торговцев-третьих, чтобы каждый твердо знал свое место, чтобы соблюдалась точная мера приветствий и необходимой почтительности.

А еще для того, чтобы соблюдалась дистанция между правителями и простым народом, понял он, чтобы самого захудалого жана'ата не могли принять за домашнего слугу-руна! И, не открывая глаз, он улыбнулся, радуясь тому, что наконец все-таки сумел ответить на вопрос Хэ'эн.

Сам Супаари даже не подозревал о невероятном сходстве между жана'ата и руна, до тех пор пока эти невозможно полиморфные иноземцы не указали ему на него. Он даже не замечал его, как не замечают, что капли дождя и вода одного и того же цвета, однако оно интриговало иноземцев. Однажды в резиденции Супаари в Гайжуре Сандос предположил, что в древние времена оба вида отличались в большей степени, однако руна каким-то неведомым способом вынудили жана'ата сделаться более похожими на них. Сандос назвал этот механизм мимикрией хищника. Супаари был основательно шокирован тем, что наиболее удачливые охотники жана'ата, искавшие пропитание в стадах руна, и внешне, и запахом более прочих походили на руна – и потому могли приближаться к стадам, не пугая добычу.

– Такие охотники были сильнее и здоровее остальных и без труда находили себе пару, – сказал также Сандос. – И они лучше питались, и у них рождалось больше детей. Со временем сходство с руна становилось среди жана'ата более заметным и более частым.

– Сандос, это просто глупо, – сказал ему Супаари. – Это мы их разводим, а не они нас! Скорее всего, наши предки ели только уродливых руна, а в живых оставляли только прекрасных, похожих на жана'ата!

Теперь, однако, Супаари признавал, что в словах Сандоса присутствовала доля истины.

– Мы одомашнили жана'ата, – сказала ему некогда Авижан, его секретарша. В свое время он отмахнулся от этих слов, приняв их за иронию, однако детей жана'ата воспитывали няньки-руна, и если это не одомашнивание, то что же?..

Потом он уснул и во сне оказался перед входом в пещеру. Как это случается во снах, он каким-то образом знал, что открывшийся перед ним ход ведет его в подземные каверны.

Он сделал один-единственный шаг вперед и тут же сбился с пути, все более и более запутываясь с каждым новым шагом, и проснулся под брачные вопли белошеих *кранил,* бродивших по

мелководью. Разбуженный и встревоженный, он вскочил на ноги и попытался стряхнуть с себя нелегкое чувство, обойдя хижину кормчего, чтобы посмотреть на животных, круживших с титанической искренностью, и пожелать им удачи, в чем бы она ни заключалась для *кранил*. Повернувшись к дочери, спавшей свернувшись клубочком возле Пакуарин, он подумал: «Я сделал шаг в пещеру, и я везу с собой этого ребенка. Впрочем, нет. Не *этого* ребенка, а *моего* ребенка. Мою дочь».

Однако не с кем было обсудить ее имя. По обычаю, первая дочь получала имя из использованных уже в родне ее матери.

Супаари не имел никакого желания вспоминать кого бы то ни было из родни Жхолаа и потому попытался вспомнить кого бы то ни было из предков собственной матери и с неудовольствием понял, что просто не знает их. Будучи третьеродным, которому право отцовства не предоставлялось, Супаари как будто бы не слышал имен своих предков, а если их ему и называли, не запомнил ни одного. Не имея никакого представления о том, что делать дальше после того, как он благополучно покинул Инброкар с живым и невредимым ребенком, Супаари решил вернуться домой в Кирабай. Там он попросит мать выбрать имя дочери, надеясь, что такая просьба порадует ее.

Наполнив свои легкие воздухом, в котором ни одна частица не напоминала о городах, он подумал: теперь все стало другим.

Тем не менее запахи дома не изменились. Горизонт прятался за дымкой пыльцы кустов красноцвета, ставшей видимой в косых лучах второго заката – благоуханная пелена поднималась вверх от земли. Местность стала более равнинной, русло реки расширилось, течение замедлилось, ленивый ветерок приносил знакомые лечебные испарения переваренной травы: странным образом чистый запах помета *пийанот*. К ним добавлялись пряное благоухание плодов *мел* за несколько дней до созревания и острый, с дымком, аромат начавшей увядать *датинсы*. Запахи земли приветствовали их с дочерью, и ту ночь он проспал на палубе без сновидений и в полном довольстве. На четвертый день пути на юг он проснулся от начавшегося среди пассажиров шума: баржа приближалась к мосту Кирабай; здесь многие остановятся, чтобы поторговать. Поднявшись, Супаари велел Пакуарин собирать вещи и готовиться к высадке и начал неловко приводить себя в порядок. Без всяких просьб с его стороны торговец-руна взялся помогать Пакуарин распаковывать лучшие одежды Супаари и, не закрывая рта, помог завязать все тесемки и застегнуть пряжки. Радуясь тому, что с вынужденной надменностью Инброкара покончено, Супаари поблагодарил их обоих.

Его осенило поначалу легкое, потом сильное волнение – складывавшееся из оптимизма, накопившейся энергии и радости вновь оказаться в родных местах. Повернувшись к Пакуарин, он протянул руки к ребенку, не думая о роскошной одежде.

– Смотри, детка, – проговорил он, когда баржа проплывала под грубыми известняковыми арками. – На замковом камне этого свода находится герб твоего пращура в девятом колене, отличившегося во втором походе на приток реки Пон. Потомки его с тех пор владели Кирабаем по праву рождения.

Глазки ребенка округлились, конечно, всего лишь потому, что баржа вплыла с яркого солнца под тень моста. Супаари поднял малышку на плечо и вдохнул исходивший от нее сладкий мускусный младенческий запах.

– Признаюсь тебе честно, что в более поздние времена гордиться нам некем, – сухим тоном прошептал он. – Мы здесь гостиничники, обеспечивающие постой в четырех ночах пути к югу от Инброкара и в трех ночах к северу от моря. А взамен мы имеем пособие от правительства, а также право на двенадцатую часть от любой сделки торговой операции, совершенной ВаКирабай руна. Боюсь, что семья твоего отца не блещет богатством.

«Однако мы не убиваем обманом детей», – подумал он, когда баржа вынырнула на свет.

– Мы останемся здесь только до завтрашнего второго рассвета, господин, – окликнул его руна, которому принадлежала баржа, из своей будки, – будешь ли ты спускаться с нами вниз по реке?

– Нет, – ответил Супаари, восхищенный видом, запахом и звуками Кирабая. – Мы дома.

С внешней невозмутимостью он вернул ребенка Пакуарин, пока баржу останавливали шестами и перебрасывали толстые плетеные лини на причальные тумбы. Супаари вглядывался в лица, принюхивался к запахам, исходившим от грузчиков, однако не уловил ни единого намека хотя бы на родню одного из прежних знакомых и потому прошествовал мимо толпы руна, заявлявших свой товар и уплачивавших налог за пользование причалом, нанял наугад рунао нести его багаж, хотя вещей было немного, да и денег тоже, чтобы еще тратить их на престиж. Его выставили из Кирабая практически с пустыми руками, а он создал торговую компанию, рождавшую ему деньги с той же легкостью, как равнина производит траву; ему был ведом вкус богатства, и иногда, в темные часы, когда сон не шел к нему, он представлял, как в роскоши триумфально вернется домой. Но вместо победоносного возвращения ему пришлось сдать все свои активы

в государственную казну, чтобы занять место Основателя нового рода. И теперь он возвращался домой на грузовой барже, ничуть не лучшей, чем та, на которой он оставил родные стены, имея возможность похвастать всего лишь очаровательным, но безымянным ребенком и шестью сотнями *бахли* – оставшимися у него после того, как на пристани Инброкара он распродал свои драгоценности, чтобы нанять Пакуарин и оплатить ее проезд на барже. Посему он облачился в самые лучшие одеяния, надеясь произвести хорошее первое впечатление, и пожелал себе поскорее отрастить когти.

«Этот ребенок стоит заплаченной за него цены, – без малейшего стыда думал меркантильный Супаари. – А деньги я заработаю снова».

Постоялый двор, расположившийся поперек продолговатого холма, над отметкой высокой воды, было видно с пристани. Вчерашняя гроза разгулялась здесь сильнее, чем выше по течению реки, и пока Супаари вел свою небольшую свиту через главные ворота и за центральную площадь, по лабиринту узких троп, вдоль которых стояли известняковые дома ВаКирабай руна, им то и дело приходилось переступать через черепицы и ветви, сорванные с деревьев *хлари.* Радиобашню тоже повалил ветер, а в роще возле моста несколько высоких *мархлар* упали кронами в воду, и корни их торчали над берегом. Но, если не обращать внимания на последствия бури, сам город Кирабай почти не изменился за годы его отсутствия…

Конечно же, он привык к кипучей энергии Гайжура и мелочной интриге Инброкара, и поэтому вполне естественно Кирабай показался ему погруженным в летаргический сон.

Тем не менее город этот охранял мост к восточным полям *ракара* и являлся достаточно важным торговым центром для земледельцев из внутренних регионов. Кроме того, в городе имелись кооперативы прях-руна и фабрики *кхалиат.*

«Я могу найти себе здесь много дел», – думал Супаари, не желая впадать в уныние.

Возле ворот постоялого двора сидел новый привратник, однако ворота какими были, такими и остались, и Супаари отметил с легким неудовольствием, что верхняя петля по-прежнему нуждалась в починке.

– Найди своего господина! – крикнул он привратнику-руна, с улыбкой предвкушая изумление родителей. – Скажи, что к нему прибыли гости из Инброкара!

Не произнеся и слова, рунао удалился, оставив их стоять во дворе. Последовало продолжительное молчание, и когда Пакуарин вопросительно посмотрела на него, Супаари опустил

хвост в знак неведения. Спустя какое-то время он выкрикнул приветствие и стал прислушиваться, надеясь услышать знакомый голос. Однако ответа не было. Озадаченный Супаари начал осматриваться по сторонам. Во дворе хватало места для экипажей путешественников, однако никого в доме не было. Впрочем, это нормально для времени года. Жана'ата путешествовали в основном в начале времени Фра'ан до начала жары…

– Я не потерплю ублюдка в своем доме, поэтому, если ты добиваешься этого, можешь уходить прямо сейчас.

Он повернулся, слишком изумленный голосом матери, чтобы почувствовать обиду от ее слов.

– Люди шлют о нас анонимные письма в Инброкар, но от моих сыновей нет никакого толка, – оскалилась старая женщина, глядя на уже проснувшуюся малышку, которая, попискивая, копошилась возле шеи Пакуарин. – Я сказала им: изложите дело префекту! Но род Гран'жори отравил эту наживку. Остается только выть под дождем. Денег на ремонт никогда не хватает. Гран'жори хотят Кирабай – и пусть берут: от этого двора остались одни кости. А я родилась для лучшего, могу тебе прямо сказать! Префект изображает, будто все уладит, но его устраивает, чтобы мы запускали друг другу когти в нутро. Что ты стоишь как дура! Покорми это отродье, – рявкнула она на Пакуарин, так как младенец запищал, – пока я не отрезала тебе ухо.

– Префекту полагается провести расследование, однако он верит тому, что говорят эти грабители, живущие вверх по течению, так что тут никакого мяса не найдешь… не стоит и пытаться! Этому заведению не помогло бы ничего, кроме костей моего брата! Как тебе известно, я была рождена для лучшей судьбы. Приличный человек оставил бы меня в доме моего родителя, однако кто может назвать твоего отца приличным человеком!

Лишившись дара речи, Супаари последовал за матерью в тенистую галерею, устроенную вдоль обращенной к реке стены дома, где дул приятный ветерок. Он попросил ее сесть, однако, не обращая внимания на его слова, она металась от одного края аркады к другому, под съехавшей набок вуалью, собирая юбками пыль, листья и опавшие лепестки цветов *хлари*. Устроившаяся с младенцем в уголке Пакуарин достала остатки мясного пюре и, методически обмакивая кончик тонкого пальца, подносила его к губам младенца. Супаари поместился на подушках, разложенных возле холодной каменной стены, не отводя глаз от матери, поседевшей и высохшей, все расхаживавшей и причитавшей.

Наконец из-за угла насосной станции появился отец вместе со слугой-руна, отпустив его коротким словом.

– Никто не пишет на нас доносы, жена. И у префекта есть другие дела, кроме того, чтобы преследовать содержателей постоялого двора. – Энрай вздохнул, почти не глядя на Супаари и совершенно не обращая внимания на младенца. – Иди отсюда, возвращайся в дом, где тебе положено быть, бесстыжая старая сука. И пришли сюда эту твою девку с мясом. Я голоден.

Рухнув на подушку в нескольких шагах от Супаари, он принялся разглядывать реку, блиставшую золотом под медным светом трех солнц. Настала тишина – теперь, когда старуха вернулась в дом.

– Твои братья на бойне, – проговорил Энрай по прошествии некоторого времени. – Эти новые руна никуда не годятся. Не знаю, как префект может ожидать, что мы вот так сразу обучим ему весь персонал. Род Валнброкари правит, однако они ничуть не лучше твоей матери… повсюду видят злоумышленников, заговоры и бесхвостых монстров с крошечными глазами. – Полуповернувшись к кухне, он снова потребовал мяса, перед тем как пробормотать: – Прежде она была красоткой. А вы, парни, погубили ее.

Дожидаясь, пока его покормят, содержатель постоялого двора коротал время, как и его жена, за демократическим злопыхательством в адрес живых и мертвых, ближних и дальних, равно знакомых и незнакомых. Явившись, старшие братья Супаари присоединились к сложному повествованию о распрях и вражде, тем более интенсивной, чем вздорней был для нее повод. Посреди разговора явилась юная служанка рунао с блюдом мяса, отставив его в сторону и двигаясь бочком, так чтобы не ощущать запах.

Только один Супаари посмотрел на нее. Селянка ВаКашани, сообразил он, однако так и не сумел припомнить фамилии. Поднявшись, он взял поднос у девушки, поздоровавшись с ней на руанже. Она уже собиралась ответить, когда Энрай фыркнул:

– Если ты этому научился в городе, Супаари, то здесь можешь забыть про свое жеманство. У нас в Кирабае с руна не миндальничают.

Так что девчонка присела в неловком, еще непривычном ей полупоклоне и немедленно отправилась на кухню.

Застыв на мгновение, Супаари помолчал, потом поставил блюдо на низкий столик, а братья его хохотали. Он возвратился на свое место на подушках, и прошло немало времени, прежде чем старший его брат заметил, что Супаари ни к чему не прикоснулся.

– Мог бы и отведать, – сказал Лаалраж, указав тыльной стороной руки на блюдо. Но добавил при этом: – У нас все

простое. Оглядись по сторонам.

– Когда отплываешь? – спросил брат его, Вижар, жуя.

– Завтра на втором рассвете, – проговорил Супаари и отправился проверять, устроилась ли Пакуарин вместе с кухонной прислугой.

Бесконечное время между первым и вторым закатами он провел с братьями и несколькими соседями, за которыми отправили посыльных. Гайжур или Инброкар никого не интересовали, никто не спросил, почему Супаари оказался в Кирабае или каким образом получилось, что он путешествует с младенцем. Разговор разнообразили крики требовавших еды голодных, испуганных и необученных руна, а посвящен он был утомительной дискуссии о том, как несколько обдуманных и справедливых убийств могли бы подкорректировать генеалогический и политический статус всего бассейна реки Пон. Консенсус, недостаточный для того, чтобы разрушить затор на уровне города Кирабай, был тем не менее достигнут с лишенной отваги решимостью, присущей людям, понимавшим, как они обездолены рождением и историей.

– Тройной альянс был ошибочным с самого начала, – пробурчал склонивший голову на грудь сосед. – Нам нужна драка так же, как руна необходим хороший фураж. Мы деградировали, потратив все эти годы на ожидание. Праздность и упадок…

«Так уходите отсюда! – хотелось закричать Супаари. – Уматывайте. Возьмите новый след». Однако они могли оставить Кирабай не более, чем руна – запеть. В них не было такого качества… или оно присутствовало в них, но обычай настолько искалечил этих людей, что они даже не могли представить, что можно пытаться искать что-то новое. Значение имело только одно наследие, даже если все помянутые предки за последние двенадцать поколений являли собой перечень в два столбца: в одном – кого из них ненавидеть, в другом – кого винить за каждое прикосновение злой судьбы. «А внутри себя никакой вины нет, – думал, слушая их, Супаари. – Среди нас нет тупиц, нет бестолковых, нет бездельников. Все мы могучи и победоносны, кроме тех, кто правит нами».

Песнопения начались сразу же, как только догорел свет второго заката, голоса возвысились в древних гармониях, и соседи отправились по домам, а его братья начали готовиться ко сну. Эти закатные песни были самым ранним воспоминанием Супаари, грудь его сдавило, гортань стиснуло. Самой подлинной красотой, открывшейся ему, которую он познал, как основатель новой наследственной линии, было участие на закате в хоровом

пении Инброкара; счастье это превосходило в его памяти даже тот момент, когда он узнал о беременности Жхолаа.

Теперь он имел законное право исполнять роль Старейшего, но в тот вечер он молчал, как трепетавшие в кухне слуги руна. «Я спою снова, – пообещал он себе. – Только не здесь, не среди этих темных невежественных дураков. Не знаю где, но спою».

На следующее утро он поднялся на борт баржи, как человек, бросившийся наутек из города при первом слухе об эпидемии: радуясь удаче, но полный презрительной жалости к остающимся в нем. Пакуарин, расстроенная окружавшей враждебностью, упросила его не заставлять ее ехать дальше, посему он подписал ей подорожную и оставил денег – достаточно для того, чтобы дождаться в Кирабае следующей поднимающейся вверх баржи. На последние три сотни *бахли* он выкупил у Энрая права на ВаКашани рунао, пообещав ей, что доставит ее обратно в Кашан, если она возьмет на себя все заботы о младенце, пока он не наймет постоянную няню.

– Эту вот зовут Кинса, господин, – напомнила она Супаари после нескольких спокойных часов, проведенных на барже, приложив обе ладони ко лбу. – Если это будет угодно тебе, не назовешь ли ты этой никчемной имя сего дитяти?

«Почему же я не такой, как все? – думал он, глядя на реку и опустив на поручень руки с затупленными ногтями. – Все вокруг меня думают так, и только я думаю иначе. Кто я, чтобы считать их ошибающимися?» Услышав слова девушки, он повернулся.

– Кинса… ну, конечно! Ты дочь Хартат.

Запах ее с момента их последней встречи заметно изменился.

– *Сипаж,* Кинса, – проговорил он, – ты выросла.

Услышав слова родного языка, девушка просияла, и к ней вернулась природная приветливость. В любом случае Супаари ВаГайжур был ей знаком чуть ли не от рождения, он торговал с родной ей деревней уже много лет; она доверяла ему.

«Повезло девочке, – подумал он. – Родные будут рады снова прикоснуться к тебе».

– *Сипаж,* Супаари, так как мы будем звать эту маленькую? – настаивала Кинса.

Не зная, что ей сказать, он протянул руки, и, сняв ребенка со спины, Кинса передала ему девочку. Супаари улыбнулся. Кинса еще очень недолго пробыла среди жана'ата, и желание отца взять на руки собственного ребенка казалось ей вполне естественным. Прижимая к груди малышку без толики смущения, как сделал бы это мужчина-рунао, Супаари принялся бродить вдоль бортов баржи.

«Я не знаю, совершенно не понимаю, что сейчас делаю, – сказал он дочери всем своим сердцем. – Не знаю, какую жизнь готовлю нам с тобой. Не знаю, где мы будем жить, не знаю, за кого ты сможешь выйти замуж. Не знаю даже, как мне назвать тебя».

Прислонившись спиной к поручням, он уложил ребенка на свою согнутую руку. Спустя какое-то время взгляд его оставил личико дочери и устремился вдаль, на юг, где речной туман сливался с дождем, где исчезала разница между небом и водой, и вновь, как во сне, ощутил себя скитальцем. «Я иноземец в родной земле, – подумал он, – и дочь моя тоже. Как Хэ'эн!» – представилось ему, ибо из всех иноземцев память об Энн Эдвардс была ярче всего. На к'сане имя звучало красиво: Хэ'энала.

– Именем ее да будет Хэ'энала, – громко проговорил Супаари. И благословил свое дитя: «Да будешь ты такой, как была Хэ'эн, иноземка в наших краях, но не знавшая страха».

Он был доволен именем, рад тому, что вопрос наконец улажен. Берега реки уплывали назад, и мир казался переполненным возможностями.

У него были контакты и знания. «*Я не буду больше торговать с Решта́ром*», – думал Супаари, не желая впредь иметь ничего общего с Хлавином Китхери, как бы хорошо он ни платил. Когда-то он подумывал о том, чтобы открыть новую контору в Агарди. «Да, – подумал он. – Попробую начать с нуля в Агарди. Бывают разные города. И имена также могут меняться».

А потом негромко, так чтобы не испугать Кинсу или остальных, сделал то, чего никогда и нигде не делал ни один ставший отцом жана'ата: пропел вечернюю песнь своей дочери. Хэ'энале.

Глава 11
Неаполь

Октябрь – декабрь 2060 года

– Да я ж не ПРОТИВ, отец-генерал, – возразил своему боссу Дэниэл Железный Конь. – Я говорю, что просто не могу представить, каким образом вы намереваетесь уговорить его вернуться туда. Мы можем взять с собой лазерную пушку, но Сандос все равно будет испуган до потери сознания!

– Сандос – моя проблема, – сообщил Винченцо Джулиани отцу игумену второй миссии на Ракхат. – А вы занимайтесь остальными.

«Остальными проблемами или остальными членами экипажа?» – пытался понять Дэнни, выйдя в тот день из кабинета. Проходя по гулкому коридору к библиотеке, он фыркнул:

– Одна сатана.

Оставив на потом вопрос об участии Сандоса, Дэнни был менее чем уверен в любом из тех мужчин, вместе с которыми ему предстояло рисковать собственной жизнью. Все они были людьми умными, все они были людьми рослыми; это было понятно. Весь прошедший год Дэниэл Бовуа Железный Конь, Шон Фейн и Жосеба Уризарбаррена отрабатывали навыки, способные оказаться критически важными на Ракхате: методики коммуникации и выживания, первую помощь, навигационный расчет, даже летные упражнения на тренажере, так чтобы каждый из них мог в случае необходимости пилотировать посадочный аппарат звездолета миссии. Все они тщательно проработали ежедневные отчеты первой миссии и научные статьи ее участников. Пользуясь вводной языковой системой Софии Мендес, все они самостоятельно изучали руанжу и теперь собрались в Неаполе для того, чтобы попрактиковаться под руководством самого Сандоса в более глубоком владении руанжей и основами к'сана. Жосеба демонстрировал особые успехи, и Дэнни понимал, почему эколога включили в состав экипажа, вне зависимости от того, сколько денег сумеет заработать компания, если им удастся привезти с Ракхата тамошние нанотехнологии. Шон Фейн являл собой чистейший геморрой, и Дэнни мог бы назвать никак не меньше сотни людей, более пригодных для полета. Джон Кандотти по сравнению с ними оказался чертовски хорошим и к тому же весьма умелым парнем, однако не имел при этом никакого научного опыта и по программе занятий отставал от остальных на несколько месяцев.

Отец-генерал, вне сомнения, имел на то собственные причины – обыкновенно по меньшей мере три на каждый сделанный им ход, по мнению Дэнни.

– Я должен считать себя посохом в руке старца и вести себя соответствующим образом, – покорно твердил Дэнни всякий раз, когда окончательно запутывался в хитросплетениях, однако держал глаза открытыми и искал разгадки, пока со всеми остальными вживался в эффективный рабочий порядок.

Утренние часы были посвящены усвоению языков, но полдневные и вечерние занятия отводились для дальнейшего изучения материалов первой миссии под руководством Сандоса, и именно во время этих часов Дэнни начал понимать, почему Сандос является такой ценностью; сам Железный Конь уже едва ли не зазубрил отчеты первой миссии, но постоянно удивлялся ошибкам в собственном восприятии событий и потому находил бесценными знания и воспоминания Сандоса. Тем не менее время от времени случались такие дни, когда Эмилио по той или иной причине оказывался в нерабочем состоянии, причем собственные вопросы Дэнни о жана'ата вызывали самую сильную реакцию.

«Воспоминания, депрессия, головные боли, ночные кошмары – классические симптомы, – написал Дэнни в конце ноября в отчете. – И я ему симпатизирую, отче! Однако это никак не может отменить тот факт, что Сандос опасным образом непригоден к полету, даже если его удастся убедить лететь с нами».

– Он приходит в себя, – дипломатично выразился Джулиани. – За последние несколько месяцев его состояние кардинальным образом улучшилось – как в научном, так и в эмоциональном плане. В конце концов он поймет логику. Только он один обладает, так сказать, полевым опытом. Он знает языки, знает тамошних людей, знает местную политику. Его возможное участие резко повысит шансы миссии на успех.

– Люди, которых он знал, умрут к тому времени, когда мы долетим туда. Политика меняется. Мы будем знать языки, мы будем владеть информацией. Мы не нуждаемся в нем.

– Он будет спасать жизни, Дэнни, – настаивал Джулиани. – Другого способа заставить его принять свое прошлое не существует, – добавил он. – Сандос должен вернуться туда ради собственного блага.

* * *

– Нет, даже в том случае, если вы станете на колени и будете умолять меня, – повторял Эмилио Сандос каждый раз, когда его

начинали просить. – Я буду учить ваших людей. Я буду отвечать на их вопросы. Я сделаю все от меня зависящее для того, чтобы помочь им. Но туда я не вернусь.

Не изменил Сандос и своего решения расстаться с Обществом Иисуса, хотя процесс этот ему постарались всемерно затруднить. Его отставка, будучи чисто делом совести, должна была без всяких сложностей пройти административные инстанции, но когда он подписал необходимые бумаги просто «Э. Х. Сандос» и в конце сентября отправил в римскую резиденцию отца-генерала, то получил их обратно через несколько недель с указанием переподписать документы полным именем. И Сандос снова взял привезенную ему Джиной в какую-то пятницу ручку, специально приспособленную для использования жертвами инсульта, также потерявшими способность писать, и стал посвящать свои вечера мучительным тренировкам. Не стоит удивляться тому, что новый документ был отправлен на подпись в Рим лишь через месяц.

Поначалу Эмилио находил избранную Джулиани тактику проволочек просто утомительной, но потом она его взбесила, и он положил ей конец, отправив сообщение Иоганну Фелькеру, попросив проинформировать отца-генерала о том, что доктор Сандос намеревается находиться в состоянии, полностью не позволяющем ему вернуться к работе до получения бумаг. Документы на следующее утро доставил ему сам Винченцо Джулиани.

Разговор в неапольском кабинете отца-генерала был короток и энергичен. После его окончания Сандос отправился в библиотеку, постоял посреди зала, заставив четверых своих коллег обратить на него внимание, и наконец отрезал:

– В моей квартире. Через десять минут.

– Кто-то еще помог мне писать, – напряженным голосом сообщил Сандос Кандотти, хлопая небольшой стопкой бумаг о поверхность деревянного стола, за которым сидели Джон и Дэнни Железный Конь. Внизу каждой страницы неловким но вполне понятным курсивом было написано: Эмилио Хосе Сандос. – Если вы не хотели участвовать в этом деле, то могли бы хотя бы сообщить мне, Джон.

Шон Фейн только что изучал личную фотонику Сандоса, но теперь все внимание его переключилось на Кандотти, как и внимание Жосеба Уризарбаррены, прислонившегося к невысокой стенке, отделявшей квартирку Сандоса от лестницы в гараж. Дэнни Железный Конь также бросил короткий взгляд на Джона, но промолчал, глядя на Сандоса, не находившего себе места в комнате, сердитого и заведенного.

Под общим внимательным взором Джон опустил глаза.

– Я просто не мог…

– Забудем, – отрезал Сандос. – Джентльмены, я перестал быть иезуитом сегодня в девять часов утра. Меня проинформировали о том, что если я могу уйти из Общества или Корпорации, каким бы чертом его сейчас ни называли, то тем не менее остаюсь священником в вечности. Кроме экстренных ситуаций, мне не позволено совершать таинства без особого разрешения епископа диоцеза. Я не буду хлопотать о подобном разрешении, – проговорил он, обводя присутствующих взглядом. – Таким образом, теперь я являюсь *vagus,* священником, не имеющим полномочий и власти.

– С чисто технической точки зрения ваша ситуация во многом похожа на ту, в которой находятся многие из нас после прещения. Конечно, иногда нам удается истолковать понятие экстренной ситуации в свою пользу, – дружелюбным тоном отметил Дэнни. – Так. И каковы ваши дальнейшие планы?

Морская свинка, разбуженная ходьбой Эмилио, пронзительно засвистела. Перейдя к кухне, он бросил в клетку кусок морковки, даже не замечая, что делает.

– Я останусь здесь, пока не возмещу все потраченные на меня средства.

Железный Конь невесело улыбнулся:

– Дайте подумать. Неужели старикан подал вам подробный перечень всего, что было потрачено на вас с первого дня обучения? Вы, шеф, не обязаны возмещать эти расходы.

– Кроме того, он не имеет права требовать с вас плату за эти модные ортезы, – добавил Шон сквозь сухую улыбку. – В наши дни компания прекрасно работает со страховщиками. Вы учтены.

Сандос остановился и сначала посмотрел на Дэнни, а потом на Шона.

– Благодарю вас. Иоганн Фелькер ознакомил меня с моими правами. – Услышав эти слова, Джон Кандотти выпрямился, однако, прежде чем он сумел что-то сказать, Сандос продолжил: – Существуют, однако, некие чрезвычайные долги, за которые я считаю себя ответственным. Я намереваюсь выплатить их. На это может уйти какое-то время, но за мной сохраняется пенсия, и я выговорил себе оклад, равный окладу полного профессора лингвистики в Фордхэме на время существования этого проекта.

– Итак, вы остаетесь здесь, хотя бы на какое-то время. Хорошо, – заметил удовлетворенный Жосеба, тем не менее не собираясь уходить.

Дэнни Железный Конь также устроился поудобнее, умудрившись каким-то образом угнездиться в маленьком

деревянном кресле.

– А как насчет изучения к'сана? – спросил он Сандоса. – Навеки его не упрячешь, шеф.

– Да. Я не могу этого сделать. – Все помолчали. – Возможно, когда мы закончим эту работу, пойду в Неаполь и устрою пресс-конференцию, – продолжил Сандос с деланой бравадой. – Я признаюсь во всем. Объявлю, что ел младенцев! Может быть, мне повезет и меня линчуют.

– Эмилио, прошу тебя, – начал Джон, но Сандос, не обращая на него внимания, выпрямился, являя Испанца.

– Джентльмены, – проговорил он, возвращаясь к насущной теме. – Я не просто оставляю священство. Я вероотступник. И если вы не намереваетесь общаться со мной, в подобном случае…

Дэнни Железный Конь безразлично повел плечами.

– Не вижу никакой разницы. Я здесь для того, чтобы изучать языки. – Подняв брови, он вопросительно посмотрел на присутствующих, закивавших в знак согласия, а затем обратил свой взгляд к Сандосу.

Послышался общий неровный вздох, засвидетельствовавший легкое ослабление напряженности. Сандос постоял еще несколько мгновений, а потом присел на край собственной постели, молчаливый и бдительный.

– Хорошие портки, – помолчав, заметил Дэнни.

Застигнутый врасплох, Сандос поперхнулся смешком и посмотрел вниз: синие джинсы, белая рубашка в узкую синюю полоску. Ничего черного.

– Сама синьора Джулиани выбирала, – отметил он не без гордости. – На мой взгляд, все великовато, но она говорит, что сейчас носят именно так.

Радуясь перемене темы, Джон проговорил:

– Ну да, теперь все носят свободную одежду.

Впрочем, на бесплотном теле Сандоса любая одежда была бы свободной, внезапно сообразил Джон. Эмилио всегда был невелик ростом, но теперь он снова казался изможденным – почти таким же, каким вышел из госпиталя. Очевидно, следуя той же линии мысли, Железный Конь заметил:

– А вообще-то, шеф, вам не худо бы и малость мясцом обрасти.

– Это мое дело, – недовольным тоном бросил Эмилио, вставая. – Ну, хорошо. Перерыв закончен. У всех есть работа.

Он направился к своему звукоанализатору, явным образом прекращая разговор. Жосеба встал, Шон шагнул к лестнице. Поднялся на ноги и Джон, но Дэнни Железный Конь, неподвижный, как скала, остался сидеть, заложив руки за голову.

– Одна моя нога весит больше вас, Сандос, – сказал он, оглядывая Эмилио с головы до ног лукавыми черными глазками, небольшими на изрытом оспинами лице. – Вы вообще едите?

Джон попытался жестом помешать Дэнни в такой сомнительной форме проявлять заботу об этом человеке, однако Сандос развернулся на месте и едким, но четким для восприятия тоном проговорил:

– Да, ем. А вы, патер Железный Конь, находитесь здесь для того, чтобы изучать руанжу и к'сан. Не помню, чтобы вас приглашали сюда в качестве медсестры.

– Ну, это хорошо, потому что подобная деятельность меня не привлекает, – любезно согласился Дэнни. – Но если вы едите и выглядите при этом именно так, как сейчас, у меня невольно возникают подозрения о том, что вы подхватили на Ракхате ту же самую дрянь, от которой скончался Д. У. Ярброу. И которую Энн Эдвардс до самой гибели так и не сумела определить, так?

– Иисусе, Дэнни! – взорвался Шон, Жосеба поглядел на него, а Джон воскликнул:

– Ради бога, Дэнни! Какого черта ты добиваешься?

– Я ничего не добиваюсь, а просто говорю!

– Я просидел в карантине много месяцев, – промолвил Сандос, бледнея на глазах. – Меня не выпустили бы из больницы при малейшем подозрении на болезнь. Разве не так?

– Конечно, не выпустили бы, – сказал Джон, бросая убийственный взгляд на Дэнни. – Эмилио, ты прошел все известные науке анализы и исследования. Тебя не выпустили бы из больницы, если бы существовал хоть один шанс на то, что ты привез на Землю что-то опасное.

Пожав плечами, Дэнни поднялся на ноги и немедленно отмахнулся от собственной идеи:

– Нет, Кандотти прав. Это действительно невозможно. Забудем мои слова.

Но было уже слишком поздно. Тонкий стон засвидетельствовал, что возможность в полной мере обрушилась на Сандоса.

– О боже мой. Селестина и… Боже мой, Джон. Если я привез на Землю что-то ужасное, если она заболеет…

– О нет, – простонал Джон и попросил: – Эмилио, никто не болен! Перестань, тебе не в чем винить себя! – Но пока он переходил комнату, Сандос уже расклеился, и поскольку никто ничего с этим сделать не мог, пришлось ждать: Жосеба и Шон ждали с заметной неприязнью, Железный Конь спокойно оставался всей своей громадой в небольшом деревянном кресле.

– Я просто… не хочу… чтобы из-за меня… еще кто-нибудь

умер, – сквозь рыдания проговорил Сандос. – Джон, если Селестина…

– Ну что ты опять! – гаркнул Джон, опускаясь возле него на колени и не отводя злых глаз от Железного Коня. – Не стоит даже думать об этом. Но хорошо, я все понял. Понял, боже мой, понял… но никто же не умирает! Так что успокойся, пожалуйста. Послушай меня, Эмилио! Ты слышишь? Если бы ты подхватил какую-то заразу, Эд Бер или я уже болели бы ей, так? Или кто-нибудь из персонала госпиталя, в котором ты лежал сразу после возвращения, правильно? Правильно же? Эмилио, все здоровы, никто не болен!

Сандос задержал дыхание, постарался успокоиться, постарался включить голову.

– Там было жуткое расстройство желудка. У Д.У. то есть. Жуткое. Энн говорила, что это похоже на бенгальскую холеру. Он говорил еще, что у него от всего остается во рту металлический вкус. У меня ничего подобного не было.

– Это не одно и тоже, – настоятельным тоном произнес Джон. – Ты ничем не болен, Эмилио! Ты просто отощал.

Жосеба и Шон переглянулись круглыми глазами и дружно вздохнули с таким чувством, словно не могли дышать несколько часов. Оставив вызванную смущением неподвижность, Жосеба нашел стакан и подал воды; Шон поискал взглядом салфетки и, не найдя их, остановился на том, что подал Сандосу рулон туалетной бумаги. С помощью остававшегося рядом с ним Джона Эмилио неловко просморкался, глубоко вздохнул и поднялся на шаткие ноги. Вымотанный приступом, он подошел к столу и рухнул в кресло, находившееся как раз напротив Дэнни, и опустил голову.

На какое-то мгновение в комнате воцарилась тишина. Джон Кандотти уже принялся сочинять в уме для ознакомления отца-генерала ядовитую инвективу, направленную против брата во Христе, Дэниэла Железного Коня, отнюдь не удивленного воздействием произнесенных им слов, отнюдь не раскаявшегося в произведенном скандале и в данный момент наблюдавшего за Сандосом с чисто аналитическим интересом гражданского инженера, лицезреющего, к примеру, процесс разрушения моста.

– Не принимай близко к сердцу, шеф, но, как индеец индейцу, скажу тебе, – обратился Дэнни к Сандосу, – что ни разу еще не видел, чтобы краснокожий так побледнел.

Джон ужаснулся, но, к его удивлению, Эмилио рассмеялся и выпрямился, покачивая головой.

– Простите меня, Сандос. Мне действительно очень жаль, – негромко проговорил Дэнни. Слова его прозвучали вполне

искренне, отметил Джон. Однако Эмилио кивнул, явным образом принимая извинение. Обрадованный тем, что начинавшаяся жуткая история сама собой нашла разрешение, и решив извлечь из нее кое-какую пользу, Джон отправился на кухню и принялся открывать шкафчики.

– Ты просто мало ешь, в этом вся твоя проблема, – проговорил Джон. – Сам посмотри – у тебя здесь ничего нет, кроме кофе, риса и красной фасоли!

Сандос выпрямился, набросив на плечи потрепанное достоинство, как мантию с горностаевыми хвостами.

– Я люблю рис с фасолью.

– Правильно, – отметил Шон, – к тому же ни бобы, ни рис не надо резать, так?

– Однако, – чертыхнулся Дэнни, – если посадить человека силком на такую диету, этот факт можно трактовать как непосредственное нарушением прав человека, шеф.

– Ваша морская свинка питается лучше вас, – проговорил Жосеба, скрестив на груди руки. – Вы, конечно же, ничем не больны. Вы просто выжимаете из себя последние силы на таком жалком рационе.

– Все были уверены в том, что я ничем не болен, – проговорил Сандос, обращаясь столько же к себе, сколько к остальным.

– Да, все были уверены, – подтвердил Железный Конь. – Но разве сейчас с вами все в порядке?

– Хотите выпить еще воды? – Жосеба взял у него стакан и молча наполнил его.

– Да. Нет. Все в порядке. – Явно приободрившись, Эмилио утер лицо рукавом. – Господи. Дело всего лишь в том…

– Всего лишь в том, что вы перенервничали по поводу своего выхода из ордена, – закончил за него Шон, глядя на Железного Коня жесткими голубыми глазами. – И Дэнни Бой совершенно некстати возник со своей дурацкой болезнью, вот и все.

Железный Конь повел плечами и в порыве юмористического самосуда объявил себя Великим Пустоголовым Вождем.

Джон, наблюдавший за всем перфомансом с крепнущим подозрением, сложил на груди руки. Пустоголовым, подумал он. Как бы не так.

– Кандотти, вы знаете итальянскую кухню? – спросил Железный Конь с обезоруживающей улыбкой.

Джон кивнул, отказываясь покоряться обаянию:

– Да, я могу готовить…

– Вот и отлично! Сандос, если вы способны приготовить себе фасоль с рисом, то сможете сварить и спагетти. Вы любите макароны с сыром? Они позволят вам набрать кое-какой вес.

Кстати, макароны с сыром изобрели здесь, в Неаполе. Как и пиццу, так? Вы знали это?

Эмилио покачал головой. Железный Конь решительным движением поднялся и шагнул к лестнице.

– Считайте, что вы ничего толком не ели, пока не попробуете настоящие неаполитанские макароны с сыром… так, Кандотти? Вот что я вам скажу. Вы, ребята, начинайте кипятить воду, а я тем временем схожу в трапезную за каким-нибудь харчем, а потом мы поучим Сандоса, как надо готовить вкусную еду.

После чего с удивительной для столь рослого человека быстротой проскользнул мимо Жосеба на лестницу и был таков.

– Разбился вдребезги, как бутылка виски, выпавшая на мостовую из окна отеля Белл, – подытожил Дэниэл Железный Конь вечером. – Уверяю вас: Сандос будет нам обузой. Он рассыплется, причем именно тогда, когда рассыпаться нельзя, и дай бог, чтобы из-за этого никто не погиб! Давайте попользуемся нашим лингвистом как расходным материалом, а потом отпустим беднягу на пастбище.

– Дэнни, мы все это уже проходили. Мы не можем позволить себе выбросить Сандоса на помойку. Знания, которыми он обладает, обошлись нам в миллиарды, и это если ограничиться только деньгами, забыв о жизнях еще троих священников и четверых добрых мирян и об ущербе, нанесенном с его подачи Обществу негативной прессой.

– Положим, мы были по уши в дерьме еще до того, как оно попало на вентилятор. Вопрос заключается в том, какова роль Сандоса во всей этой истории?

– Главная, – с необыкновенной точностью признал Винченцо Джулиани, не отворачиваясь при этом от окна своего кабинета. Глядя во тьму, царившую за пределами резиденции, а может быть, и на собственное отражение в разделенном средником стекле, он добавил: – Не нужно напоминать мне об этом, патер Железный Конь.

Отойдя от окна, он остановился за сверкающим полировкой каштановым столом, но садиться не стал.

– И, учитывая всю сумму его долга, Святой Отец настаивает на том, что Сандосу назначено вернуться на Ракхат, – произнес Джулиани тоном, полностью подразумевавшим, что его собственное мнение находится вне поля обсуждения. – Его Святейшество отмечает, что за прошедшие сорок лет шесть кораблей пытались совершить путешествие на Ракхат и обратно, но удалось это сделать только двум, непосредственно связанным с Сандосом. Геласий III видит в этом руку Провидения.

Вытянув перед собой длинные ноги в тяжелых ботинках, зажав в ручище хрустальный стакан с толстым дном, Железный Конь следил за тем, как отец-генерал кружил по комнате, бесшумно лавируя между бесценными восточными древностями.

– Так что же предлагает Его Святейшество? – с интересом спросил Дэнни. – Чтобы мы прилепили Сандоса к пульту управления нашего корабля, как пластмассовую фигурку Христа, чтобы он ограждал нас от столкновений с межзвездным космическим мусором? Или связали его косточки с перьями из хвоста какого-нибудь страуса и считали бы, что этот амулет сохранит в целости корпус нашего корабля?

– Вы уже кончили острить? – непринужденно осведомился Джулиани, делая паузу в своем кружении. Железный Конь кивнул, не думая смущаться или каяться. – Папа считает, что Сандос должен вернуться на Ракхат для того, чтобы узнать, почему его вообще туда послали. Он полагает, что Господь возлюбил Эмилио Сандоса.

Дэнни с сомнением оттопырил губу:

– Это как святая Тереза сказала: «Если Бог именно так обращается со своими друзьями, не стоит удивляться, что их у него так мало».

Железный Конь поднял свой бокал на уровень глаз и внимательно рассмотрел содержимое, прежде чем сделать последний глоток односолодового виски – оставив, как всегда, в точности на один палец на донце, прежде чем отставить бокал в сторону.

– Великолепный напиток. Восхищен вашим вкусом, – отметил он, но продолжил совершенно бескомпромиссным тоном: – В медицинском смысле Сандос крайне слаб, нестабилен эмоционально и ненадежен в плане ментальном. Участие его в миссии не является необходимым, и я не хочу, чтобы он был на корабле.

– Это самый крепкий человек из всех, кого я знал, Дэнни. Если бы вы видели, каким он был год… даже несколько месяцев назад. А если бы вы знали, что ему… – Джулиани умолк, удивленный тем фактом, что он перешел к уговорам. – Он будет на этом корабле, отец Железный Конь. *Causa finima.* Вопрос закрыт.

Джулиани шагнул к двери, однако Железный Конь остался на месте, неподвижный, как Гран-Титоны[24].

– Интересно, почему вы его так возненавидели? – полюбопытствовал Дэнни, когда рука Джулиани прикоснулась к двери. – Или, быть может, он пугает вас настолько, что вы не хотите находиться на одной планете с ним?

Отец-генерал, слегка приоткрывший рот от изумления, даже забыл выйти.

– Нет. Не так. – Железный Конь умолк, и задумчивое выражение на его отнюдь не очаровательном лице сменила явная уверенность: – За то, что мы доставим Сандоса на Ракхат, с нас снимут прещение, не так ли? Все, что нам надо сделать, – это потешить папу. Сажаем старого, бедного, сломанного бывшего Джеба в первый идущий наружу из системы корабль, побеждаем, проигрываем, играем вничью – павшие все равно упокоятся на лоне Святого Петра, под звон колоколов Ватикана и ангельский хор, возглашающий осанну. – Он понимающе усмехнулся. – Доминиканцы придут в ярость. Прекрасный ход, отец-генерал.

Дэнни Железный Конь улыбнулся со всей теплотой и доброжелательностью лесного волка в конце голодной зимы:

– И на сей раз именно вы будете писать историю.

Стоя в дверях своего кабинета, Джулиани припомнил, что какое-то время назад существовала мода помещать домашнюю фотонику в простонародные по виду сосновые шкафчики с железными коваными петлями, такие уютные и теплые снаружи и наполненные высокоскоростными вычислениями изнутри.

– Дэнни, вы сукин сын наипервейшего класса, – любезным тоном проговорил Джулиани, выходя в коридор. – Я рассчитываю на вас.

Дэниэл Железный Конь сидел неподвижно до тех пор, пока шаги старика не удалились в достаточной мере. После чего встал, взял свой бокал с тяжелого серебряного сервирочного подноса и впервые в жизни допил его до дна, пока ехидный смешок Винченцо Джулиани еще гулял по мощенному природным камнем коридору.

Глава 12
Деревня Кашан

2046 год по земному летоисчислению

– Супаари привез эту домой! – весело воскликнула Кинса, когда баржа ненадолго остановилась у пристани Кашана. Расположенная в стенке скалы деревня находилась менее чем в одном дне пути на юг от Кирабая, и Супаари с удовольствием проводил время в дремоте на прогретых солнцем досках палубы среди попутчиков-руна, планов не планируя, дум не думая, рядом с маленькой Хэ'эналой, разговаривая о пустяках с Кинсой и остальными. Сгрузив свой собственный багаж, он посмотрел наверх, на руна, потоком хлынувших из своих каменных пещер, и улыбнулся, когда их движение показалось ему похожим на весенний водопад.

– *Сипаж,* Кинса, вот как они беспокоились о тебе, – сказал он девушке, прежде чем обменяться прощальными словами с рулевым баржи, тут же исчезнувшей за южным поворотом реки.

Однако ВаКашани собрались толпой вокруг самого Супаари – все они раскачивались, дети пищали. Чаще всего можно было слышать следующие слова:

– *Сипаж,* Супаари, тебе небезопасно здесь оставаться.

С усилием он привел собрание в какой-то порядок и, перекрикивая беспорядочную болтовню руна, в конечном итоге уговорил их подняться в самый большой из залов, в которых происходили собрания селян, где он смог бы наконец с толком выслушать их.

– *Сипаж,* люди, – заверил он их, – все будет миром. Создавать такое *фиерно* нет никакой причины.

И ошибся в обоих случаях.

Прокламация пришла в его родной Кирабай всего через несколько часов после того, как он отплыл оттуда, – сразу, когда починили поваленную ветром радиобашню.

Правительство Инброкара объявило его вне закона. Хлавин Китхери, как Исполняющий Обязанности Высочайшего, обвинил Супаари в убийстве всего семейства Китхери, а также некоего Ира'ила Вро, о котором Супаари даже никогда ничего не слышал. И судебный пристав уже прибыл в Кашан.

– *Сипаж,* Супаари, – сказал один из старейшин, – повитуха Пакуарин известила нас. Она послала нам гонца на твои деньги.

– Так что мы знали о появлении пристава, – сказала другая женщина, а затем сразу заговорили все остальные: – *Сипаж,*

Супаари. Пакуарин тоже больше нет.

«Естественно, – подумал он, закрывая глаза. – Она знала, что я этого не делал… хотя на свидетельства руна никто не обратил бы и тени внимания».

– Пристав забрал ее, – сказал кто-то. – Но ее гонец видел это и поторопился к нам.

И вновь поднялся гвалт.

– Тебе опасно оставаться здесь!

– *Сипаж,* люди! Этот должен подумать! – попросил Супаари, опустив уши, чтобы не слышать.

Хэ'энала проголодалась и принялась копошиться возле шеи Кинсы, однако перепуганная девчонка только бестолково раскачивалась.

– Кинса, девочка, – проговорил он, опуская все еще лишенную когтей руку на ее голову, – забери ребенка отсюда и покорми ее. Припасы для девочки находятся в моих сумках. – Снова повернувшись к старейшинам, он спросил: – Сюда явился пристав… где он сейчас?

Внезапная тишина испугала. Нарушила ее молодая женщина:

– Его кто-то убил, – сказала Джалао ВаКашан.

Если бы она запела, Супаари и то не был бы так ошеломлен.

Переводя взгляд с лица на лицо, Супаари увидел подтверждение в раскачивавшихся телесах и нетвердых мыслях и подумал: мир сошел с ума.

– *Джанада* говорят, что следует соблюдать равновесие, – произнесла Джалао, подняв уши вверх. Ей было лет семнадцать. Выше самого Супаари и такая же сильная. Но лишенная когтей. И как же она?..

– Рождение за рождение, – говорила Джалао. – Жизнь за жизнь. Смерть за смерть. Эта расплатилась за Пакуарин.

Шагнув назад, он оперся о собственный хвост подобно нечистокровному пьянчуге. Он слышал подобные рассказы… существовали такие руна, которые смели убивать жана'ата, хотя совершивших такое, как правило, казнили. Но здесь? Именно в Кашане, и нигде более!

Опустившись на каменный пол, Супаари начал обдумывать ситуацию.

Было известно, что он торгует с Кашаном и Ланжери. Ни один из южных городов не может стать для него безопасным укрытием. Его видели на барже, поэтому за речными портами будут следить. Куски тканей от его постели разошлют на все сторожевые заставы: запах его узнают везде, куда бы он ни сбежал.

– *Сипаж,* Супаари, – услышал он чей-то голос. *Манузхай,*

понял Супаари, подняв голову… Он впервые видел этого человека после смерти его дочери Аскамы, случившейся три года назад. – Разве ты не можешь сделаться *хаста'акала!*

– *Сипаж,* Манузхай, – негромко промолвил Супаари. – Этот скорбит о твоей утрате.

Уши ВаКашани вяло поникли. Супаари обернулся к собранию, по которому волной прокатилась невероятная мысль сделать его *хаста'акала.*

– Никто не возьмет этого в *хаста'акала,* – проговорил он. – Когда кого-то возводят в Основатели, он отдает все, что имел, дабы заслужить это право. Теперь у этого нет никакой собственности, чтобы оплатить ею расходы благодетеля.

– Тогда мы станем твоими благодетелями, – выкрикнул кто-то… Идея была подхвачена с энтузиазмом.

Руна искренне желали ему добра. Попавший в беду человек мог обменять свою собственность и титулы на свободу от юридического преследования, если только сумеет найти благодетеля, который возьмет его в зависимые и вычеркнет его из общественных списков на мясную раздачу. В обмен на кров и пропитание *хаста'акала* отдавал всю свою собственность благодетелю и позволял обрезать свои руки, давая тем самым пожизненную гарантию в том, что никогда не сделается браконьером ВаХапта. Супаари встал – так, чтобы его видели все.

– Этот объяснит. Благодетель обязан кормить взятого в *хаста'акала.* И вы не сможете прокормить этого, – проговорил он насколько мог аккуратно.

Они его поняли. Руна не имели доступа к государственной системе распределения мяса и равным образом не располагали разрешением на охоту. Со всех сторон донесся негромкий стук хвостами о землю в жесте разочарования и сожаления, и оживленный разговор превратился в безрадостное молчание.

– *Сипаж,* Супаари, – проговорил Манузхай, – мы можем и сами прокормить тебя. Этот уже готов. Жены и ребенка этого больше нет. Этот предпочтет достаться в пищу тебе, чем незнакомцу.

К голосу Манузхая присоединились другие:

– *Сипаж,* Супаари, мы можем сделать тебя *хаста'акала…* ВаКашани могут стать твоими благодетелями… Этот уже готов уйти… мы сможем прокормить тебя…

До конца дней своих Супаари запомнит это ощущение… когда земля словно поплыла под его ногами, как если здесь, в этом поселке, случилось небольшое землетрясение.

Чувство это было настолько реальным, что он в удивлении посмотрел на руна, не зная, почему те не бросились бежать под

открытое небо, чтобы избежать обязательного в таких случаях камнепада.

«А может, все-таки…» – подумал он. С незапамятных времен руна содержали, чтобы служить жана'ата в жизни и поддерживать в них силы после своей смерти. Манузхай явно увядал от тоски и одиночества; а если рунао не хочет жить…

И вновь земля поколебалась под его ногами. Даже сейчас он мог бы за один присест без раздумий съесть все привезенные из Кирабая припасы! Но это же было просто мясо… мясо, а не окружавшие его люди. Он никогда не потреблял мясо, взятое из его деревень или собственного хозяйства. Более того, он никогда не убивал собственную добычу. Как и положено горожанину! Он получал свое мясо в разделанном виде, без каких-либо там раздумий… И в этом не было ничего плохого. Естественный процесс… Все умирают. И непозволительно…

Но это люди.

Подойдя к краю террасы места собраний, от которого скала резко обрывалась вниз, к реке, Супаари посмотрел вдаль и, наверное, завыл бы, словно ребенок, будь он в одиночестве. «Нет», – подумал он, оглядываясь на ВаКашани, воспринимая их теперь новым зрением.

«Лучше голодать». И, думая так, он с большим опозданием наконец понял, почему Сандос, плотоядный, как было известно Супаари, будучи в Гайжуре, настаивал на том, чтобы питаться как рунао. «Но я не могу питаться пищей рунао», – рассердился он на себя.

«И я не буду искать еду по помойкам!»

Что оставляло всего лишь один достойный путь для него самого и для его дочери. «*Та пещера из сна»*, – подумал он и сразу увидел себя потерявшегося, с дочерью на руках.

Но заговорил он уверенно:

– *Сипаж,* люди, этот не может принять ваше предложение.

– Но почему? – хором застонали все.

Супаари пожал плечами: движению этому он научился у Сандоса, иноземца, ставшего жертвой ситуации, избежать которой не мог и едва ли понимал. Руна – народ практичный, и посему Супаари обратился к фактам:

– Став *хаста'акала,* этот даст обрезать свои руки. Этот не сумеет даже взять мясо, предложенное от чистого щедрого сердца.

На это Манузхай молвил:

– *Сипаж,* Супаари, мы можем сделать тебя *хаста'акала*, а Джалао может добыть для тебя мясо. Она знает, как это делается. Все остальные научатся!

Слова его встретили дружное одобрение, ВаКашани старались приблизиться к нему, похлопать по спине, уверить в своей поддержке, они радовались тому, что нашли выход из трудной ситуации, что могут помочь этому торговцу жана'ата, который всегда по-доброму обходился с ними. Отказать им было почти невозможно, но тут он заметил на себе взгляд Джалао, стоявшей отдельно от остальных.

– Лучше умереть за доброе дело, – промолвила Джалао, как охотник глядя ему в глаза, и казалось, что она предлагала умереть ему, Супаари, а не Манузхаю.

Остальные с радостью приняли мысль; ни одному еще ВаРакхати – ни руна, ни жана'ата – не пришло в голову сказать: «Лучше жить».

Супаари отвернулся, не имея более сил выносить взгляд Джалао. Он согласился обдумать предложение и обещал дать ответ завтра утром.

Руна делали лезвия своих ножей из вулканического стекла, материала более острого, чем любая сталь, с таким тонким лезвием, что он, Супаари, едва ли почувствует его прикосновение. Его ждут несколько быстрых и точных ударов, разрезающих почти бесплотные перепонки между короткими и мускулистыми пальцами, которые почти бескровно освободятся от связей между собой. В известной мере он уже начал этот процесс, когда несколько дней назад отхватил свои когти. Он ожидал, что в результате руки его сделаются еще более неловкими, однако при нем всегда находились руна, заботившиеся о его одежде, ведшие его бухгалтерию, открывавшие двери, ухаживавшие за его шкурой, готовившие ему пищу.

И становившиеся ею.

В физическом плане обычай *хаста'акала* являл собой тривиальную процедуру, однако проводилась она раз и навсегда! С необратимым изменением статуса! Прежде Супаари встречал трудности с твердой уверенностью в том, что каким-то образом сумеет поставить их на службу себе, но если он примет *хаста'акала,* то признает свою вину. И навсегда будет помечен клеймом зависимого – причем от руна! И хотя он теперь честно признавался себе, что всегда зависел от руна, зависимость приобретала теперь более позорный характер.

Если не считать Сандоса, Супаари никогда на знавал других *хаста'акала.* Принятые благодетелями на попечение, подобные люди не представляли собой никакого интереса для правительства, и ничего, кроме стыда, не могло ограничивать их передвижение. Теперь Супаари понимал, почему прошедшие эту

процедуру жана'ата чаще всего оставляли общество и, уподобляясь женщинам, прятались от чужих глаз. Он уже с трудом переносил общество восторженных местных селян, в полном блаженстве весь вечер обсуждавших, как они будут ухаживать за ним и в каком порядке Джалао будет забивать старейшин… И той ночью, погруженный в свое бесконечное слепое несчастье, с которым не мог справиться сон, он понял, что при всем благом намерении замысел их просто не мог сработать.

Если бы деревенская корпорация стала кормить Супаари и Хэ'энналу, она не смогла бы внести нужный платеж государству. Никогда не было такого, чтобы Корпорация руна брала на себя попечение о *хаста'акала.* И чтобы рунао забивала других рунао… идея эта непременно будет объявлена незаконной. Трудно было сказать заранее, как отнесется к ней суд. Договоренность не пройдет юридическую экспертизу, но даже если этого не случится, Хлавин Китхери легко сможет аннулировать контракт *хаста'акала* своим декретом.

Так что Супаари решил, что с первыми же лучами первого рассвета уйдет в лес и погибнет там со своим ребенком.

– *Сипаж,* люди, – воззвал он, когда руна проснулись, а зрение его обострилось. – Вам будет грозить опасность, если этот останется здесь. Этот может принести новую беду деревне Кашан и всем жителям ее. Этот возьмет Хэ'энналу и уйдет, чтобы с вами не случилось плохого.

Они не были способны так вот просто отпустить его; к тому же они были руна, а это значило, что любое дело может быть совершено только при полном и общем согласии. Дискуссия обрела, с точки зрения Супаари, бесконечный характер, и он уже рвался в путь, подлинно опасаясь того, что может случиться, если его застанут здесь.

Наконец Джалао ударила хвостом в землю и без всяких эмоций сказала:

– Отведите его в Труча Сай.

Глава 13
Неаполь

Декабрь 2060 года – июнь 2061 года

– А почему нельзя? – спросила Селестина.

– Потому что он попросил нас не приходить, *cara,* – очень четко произнесла Джина Джулиани, начиная терять терпение, в четвертый раз излагая эту линию аргументации. Ей и без бесконечных уговоров Селестины трудно было справиться с собственным разочарованием. «Такова моя нынешняя жизнь», – подумала Джина и постаралась не вздохнуть, выкладывая пасту на дуршлаг.

– Но почему нам нельзя? – канючила Селестина, навалившаяся животом на кухонный стол и вертевшая маленькой попой. – А что будет есть Элизабет? – лукаво спросила девчонка, подчинившись внезапному озарению.

Джина посмотрела на дочь. Неплохая мысль, рассудила она. Очень даже неплохая. Но вслух произнесла:

– Не сомневаюсь в том, что у брата Козимо найдется целая куча овощей для Элизабет.

Она посмотрела на Селестину:

– Вот что, по моим подсчетам, я готовлю тебе макароны с сыром в семьсот тридцать первый раз. Только за этот год.

– Это много пальцев, – подвела итог Селестина, хихикнувшая, когда *мамма* ее рассмеялась. – А завтра можно будет пойти?

Джина на мгновение закрыла глаза.

– *Cari.* Прошу тебя. Нет! – проговорила она, посыпая макароны сыром.

– Но почему нет?! – крикнула Селестина.

– Я же сказала тебе: не знаю! – завопила в ответ Джина, брякнув тарелкой об стол. Перевела дух и уже спокойным тоном произнесла: – Садись и ешь, *cara.* Голос дона Эмилио показался мне хрипловатым…

– А что такое «хрипловатый»? – спросила Селестина, жуя.

– Не говори с набитым ртом. Хрипловатый – значит грубый. Как у тебя на прошлой неделе, когда ты простудилась. Помнишь, как смешно тогда звучал твой голос? Наверное, он простудился и плохо себя чувствует.

– А завтра пойдем? – спросила Селестина, снова набив рот.

Джина вздохнула и села наискосок от дочери.

– Безжалостная девочка. В тебе нет ни капли жалости. Вот что. Мы подождем до следующей недели и посмотрим, как он

будет себя чувствовать. А не спросить ли нам маму Пии, не сможет ли она прийти поиграть после обеда? – предположила Джина и немедленно поблагодарила Бога за удачную мысль.

Это утро было отмечено знаменательным событием: Эмилио Сандос впервые позвонил Джине Джулиани, однако ее удовольствие почти немедленно было омрачено тем тоном, которым он попросил отменить их обыкновенный пятничный визит. Она, естественно, согласилась и спросила, не случилось ли с ним чего плохого. Однако, прежде чем Сандос успел ответить, она заметила в его голосе необычную скрипучесть, и спросила, не заболел ли он. Последовало глухое, как камень, молчание, а за ним холодные слова:

– Надеюсь, что нет.

– Простите меня, – произнесла она, пожалуй, с укоризной. – Вы правы, конечно. Мне давно следовало догадаться, что не надо было приводить с собой Селестину.

– Возможно, мы оба, синьора, ошиблись в суждении, – проговорил он истинно ледяным голосом.

Обиженная, она отрезала:

– Я не поняла, что она заболевает. Но простуда не сильная. Она выздоровеет через несколько дней. Не сомневаюсь в том, что вы выживете.

Когда Эмилио заговорил снова, она поняла, что им владеет какая-то мысль, но какая именно, определить не могла.

– *Mi scuzi, синьора*[25]. Случилось взаимное непонимание. Вина за него никоим образом не на вас и не на вашей дочери.

«Милорд и вице-король», – с раздражением подумала она и пожалела, что Сандос не допускает видеозвонки – хотя когда он пребывал в таком настроении, по лицу его удавалось прочесть немногое.

– Если вы будете снисходительны ко мне, я считаю, что сегодняшний ваш визит… неудобен… Неудобно, чтобы вы приходили… – Сандос запнулся, подбирая слова, что удивило ее: его итальянский всегда был безупречен. – Но «неудобно» – не то слово. *Mi scuzi.* Я не хочу ничем вас обидеть, синьора.

Смущенная и разочарованная, она уверила его в том, что никоим образом не обижена, что было откровенной ложью, но ложью такой, которую она намеревалась воплотить в жизнь. И посему сообщила Сандосу, что смена обстановки окажет благое воздействие на него и предписала провести вечер в Неаполе, городе людном и полном веселых покупателей. Она не сомневалась в том, что к середине декабря он преодолеет свою простуду.

– Никто не празднует Рождество так, как это делают

неаполитанцы, – объявила Джина. – Вам надо увидеть праздничный город…

– Нет, – сказал он. – Это невозможно.

Трудно было не оскорбиться, однако она уже научилась понимать его и правильно истолковала резкость как страх.

– Не волнуйтесь! Мы поедем ночью! Вас никто не узнает – наденете перчатки, шляпу и черные очки, – предложила она со смехом. – В любом случае мой тесть всегда посылает со мной и Селестиной охрану. Мы будем находиться в полной безопасности!

Когда и такая перспектива его не тронула, она отступила на шаг и с щедрой мерой иронии заверила его в том, что не планирует покушаться на его добродетель и что Селестина станет их чаперone. Последовали решительные возражения, а за ними – новый круг чопорных извинений. И когда разговор завершился, она была изумлена тем, насколько ей хотелось плакать.

Цветы принесли ближе к вечеру.

Неделю спустя Джина решительно вышвырнула их на компостную кучу с полным отсутствием сентиментальности. Карточку она сохранила. На ней, конечно, не было подписи – только слова, написанные почерком цветочницы: «Мне нужно время» – что, по ее мнению, было подлинной, пусть и невдохновляющей истиной. Итак, на Рождество Джина Джулиани предоставила Эмилио Сандосу время.

Дни преддверия Рождества в том году выдались трудными. Джина проводила их с родными и старыми друзьями, стараясь не думать о том, где сейчас Карло, с кем сейчас Карло или что означают присланные Эмилио цветы. Джина Джулиани не слишком умела не думать о важных предметах. Декабрь казался ей бесконечным, как и Селестине, которая просто не могла дождаться конца месяца, когда настанет время большой вечеринки на Богоявление в доме тети Кармеллы. В этот день все дети узнают, что они получили от Ла Бефаны[26], девки, грубо прогнавшей троих волхвов, когда они остановились в Италии на своем пути к Младенцу Христу.

Все старались никак не испортить Селестине праздник и потому активно портили ее подарками. Особенно расщедрились свекор и свекровь. Они симпатизировали Джине, к тому же являвшейся матерью любимой внучки, и следили за тем, чтобы Кармелла приглашала ее на все семейные торжества. Невзирая на все укоризны, регулярно произносившиеся доном Доменико в адрес своего сына, Карло оставался членом семьи, а родство – существенный фактор.

На празднике у Кармеллы Джина поговорила о своей жизни с

семидесятичетырехлетней Розой, тетушкой Карло, особой, к экивокам несклонной. Пытаясь уклониться от слушания родственных и дружеских излияний и сокрушающего слух шума, производившегося несколькими дюжинами детей, разгоряченных сластями, ожиданием и жадностью, они с Джиной укрылись в библиотеке.

– Карло – козел, – решительным тоном объявила Роза, когда обе женщины устроились в мягких, как пух, кожаных креслах и положили ноги на низкий стильный столик. – Но ослепительный мужик, Джина, я понимаю, почему ты на него запала! Он мой родной племянник, но честно скажу тебе: он будет трахать все, что движется…

– Роза!

– …Мальчишек, собак, шлюх, – продолжила Роза, столь же безжалостная, как Селестина. – Они думают, что я ничего не знаю, но люди-то говорят. На твоем месте я отстрелила бы ему яйца. – Поблекшие глаза худощавой старушки дышали кознями и насилием. Повернувшись к Джине, она схватила ее за руку с неожиданной силой.

– А хочешь, я его пристрелю тебя ради? – спросила она.

В восторге от идеи, Джина расхохоталась.

– Честно, убью! – заверила ее Роза, принимая более уютную позу. – И мне ничего за это не будет. Кто станет сажать в тюрьму такую старую перечницу, как я? Я помру раньше, чем суд успеет рассмотреть апелляцию.

– Соблазнительное предложение, Роза, – сказала Джина полным симпатии голосом, – но, выходя за него замуж, я уже знала, какой он кобель.

– Ну как знаешь. – Роза пожала плечами. В конце концов, ради Джины Карло бросил свою первую жену. Хуже того, Джина Дамиано познакомилась с великолепным Карло Джулиани в гинекологической клинике; работая там медсестрой, она ухаживала в послеоперационном покое за любовницей Карло после опасного аборта на втором триместре. Джина до сих пор помнила владевшее ею самой чувство отстраненного изумления собственной глупостью, когда, завороженная его внешностью, услышала, как принимает сделанное Карло неотразимо чарующее предложение отобедать с ним в ту самую первую ночь.

Ей не следовало бы удивляться, когда она застала его с очередной любовницей, однако Джина в это время уже была беременна Селестиной и ошибочно позволила себе устроить сцену. Первые побои стали ужасным потрясением, она даже поверить не могла в то, что такое произошло. Только потом она вспомнила, что видела в госпитале синяки у тогдашней

любовницы, и неловкие объяснения Карло. Все симптомы, так сказать, были очевидны, и она сама была виновата в том, что проигнорировала их. Она подала на развод; поверила в его обещания; подала снова…

– Из твоего брака все равно не вышло бы ничего путного, – проговорила Роза, нарушая течение мыслей Джины. – Я не хотела ничего говорить до свадьбы – всегда надеешься на лучшее. Но Карло позволяет себе слишком много – всякого дерьма. Ладно, пусть он козел, так был бы домашним.

Наклонившись вперед, Роза негромко произнесла:

– С моей точки зрения, в основном братец Карло пошел в свою мамашу, мою невестку, ты не знала? Даже когда они были еще молодоженами, Доменико трахал баб направо и налево и просто не мог представить, что жена его не поступает подобным же образом. Никогда не верил в то, что Карло его сын. Отравил все, что мог. А потом уже невестка моя донельзя испортила Карло своим воспитанием, наверное, чтобы поквитаться. Знаешь, почему Кармелла получилась такой хорошей?

Джина покачала головой, подняла брови.

– Собственные родители не обращали на нее внимания. Ничего лучшего просто не могло случиться. Они так были заняты борьбой за Карло, что просто не замечали дочь. А теперь посмотрите на нее: удивительная кулинарка, прекрасная домохозяйка, а кроме того, она очень сметливая бизнесвумен, Джина! Не стоит удивляться тому, что все дела теперь ведет Кармелла!

Джина рассмеялась:

– Вот он… новый подход к воспитанию детей! Имея двоих детей, сконцентрируйся на том, чтобы окончательно испортить одного из них.

– Ну, во всяком случае, тебе не придется ходить за Карло, когда он состарится, – философски подвела итог Роза. – А я думала, что Нунцио не умрет никогда!

Блеф, как прекрасно знала Джина. Роза была предана своему Нунцио, однако, в отличие от большинства неаполитанцев, всегда избегала оперного пафоса. Эта черта характера связывала обеих женщин вопреки разделявшим их поколениям.

– Все мужики – дрянь, – провозгласила старая леди и посоветовала: – Найди себе хорошего двенадцатилетнего мальчика и воспитай как надо. Иначе никакого толка не будет.

Но прежде чем Джина успела ответить, в комнату ворвалась Селестина – экстравагантная компенсация за короткий брак с роскошным кобелем. Рыдая, она произнесла пространное обвинительное заключение в адрес своих кузенов Стефано и

Роберто, совершивших ряд жестоких поступков в отношении ее новых игрушек: куклы-невесты и космического грузовика.

– Надежды нет, – всплеснула руками тетушка Роза. – Даже такая мелюзга уже дрянь.

Покачав головой, Джина отправилась устраивать в игровой комнате какое-то подобие демилитаризованной зоны.

Той зимой Джина подчас доставала карточку флористки из ящика своего бюро и рассматривала ее. Взяв картонный прямоугольник, естественно лишенными ортеза пальцами, она произносила с присущей Сандосу, какой-то древней, что ли, интонацией:

– Объяснения излишни.

И их не будет, поняла она, когда недели превратились в месяцы. Каждую пятницу она оставляла в трапезной у Козимо корм и свежую подстилку для морской свинки. После двух первых визитов она взяла в обычай делать это без Селестины, пока та находилась в детском саду. Трудно было объяснять ребенку вечное отсутствие Карло и его непостоянство, не переходя заодно на Эмилио Сандоса. Однажды весной она пришла в ярость и серьезно подумывала устроить сцену возле двери Сандоса, барабанить в нее обеими руками только для того, чтобы сказать, что он может игнорировать ее, но не Селестину, однако почти сразу опознала в своем желании смещенную эмоцию, скорее направленную на Карло Джулиани, чем на едва знакомого священника-расстригу.

Она поняла, что внушительную часть того, что она чувствовала и думала относительно Эмилио Сандоса, в равных долях состояло из романтического идиотизма, раненой гордости и сексуальной фантазии. «Джина, – говорила она себе, – Карло, конечно, козел, но ты – дура. С другой стороны, – думала она прозаично, – фантазировать о смуглом задумчивом мужике с трагическим прошлым интереснее, чем рыдать о том, что тебя однажды променяли на несовершеннолетнего мальчишку».

А Эмилио прислал ей цветы. Цветы и три слова: «Мне нужно время». Это кое-что значит, так ведь? Так что она не все придумала. У нее была эта записка.

Джина могла бы пожелать чего-то среднего, золотую середину между бесконечно изобретательным красноречием Карло и жестким и строгим молчанием Эмилио Сандоса. Однако в конце концов она решила играть по правилам Эмилио, даже притом что не знала, в чем они заключаются. Тем не менее никакого другого варианта у нее не оставалось, кроме как полностью и окончательно выбросить его из головы. А этот

вариант, как обнаружила Джина, ее совершенно не устраивал.

Но что вообще можно сказать в такой ситуации? «Синьора, я мог по неведению заразить вас и вашу девочку смертельной болезнью. Но есть надежда на то, что я ошибаюсь. Однако убедиться в этом можно только по прошествии многих месяцев». Пугать Джину незачем, хватит того, что он сам ужасно боится за них обеих. И потому Эмилио Сандос взял на себя всю тяжесть ответственности до тех пор, пока он не сумеет с полным личным удовлетворением заявить, что никому более не опасен. Для этого ему потребовалось собрать в кулак всю свою силу воли и изменить на противоположное стратегическое направление своей борьбы с собственным прошлым.

Одинокая жизнь позволила ему с честью выйти с поля брани, которое представляло его тело. Некогда бывшее источником удовольствия, оно сделалось нежеланным бременем, которое надлежало карать безразличием и пренебрежением за немощь и ранимость. Он раздувал их, когда голод начинал мешать его работе, гасил, когда усталость позволяла ему уснуть, не опасаясь кошмаров, презирал свое тело, когда оно подводило его: когда головная боль начинала слепить его, когда руки болели так сильно, что он садился в темноте и смеялся, смеялся… боль становилась смешной в своей интенсивности.

Он никогда еще не чувствовал себя таким отключенным от собственной личности.

Девственником он не был. Как не был и аскетом; еще готовясь принять сан, он пришел к выводу, что не сумеет прожить в подлинном целибате, отрицая или игнорируя физические потребности своего тела. «Это мое тело, – сказал он своему молчаливому Богу, – оно таково, каков я сам». Он оказывал своему телу сексуальные услуги и знал, что они необходимы для него в той же мере, что пища и отдых, и столь же безгрешны, как желание бежать, приземлить в поле бейсбольный мяч, как танцевать.

И тем не менее он понимал, что испытывает недопустимую гордость в отношении своей способности управлять собой, и это отчасти объясняло его реакцию на акты насилия. Когда он понял, что сопротивление не помогает ему и только делает процесс более приятным для насильников, он попытался оставаться пассивным, по мере возможности не замечать их. Это было превыше его сил: невозможное, нестерпимое испытание.

И когда он уже не мог более терпеть подобное обращение, когда решил убить или умереть, но не покориться, сопротивление его стоило жизни Аскаме. Или, может, насилие было наказанием

за его гордость? Жутким уроком смирения, какому он еще мог бы научиться, если бы Аскама не погибла за его грехи.

Концы никак не сходились.

И почему Бог не оставил его в Пуэрто-Рико? Он никогда не искал и не добивался духовного величия. Многие годы без жалоб он проводил *solo cum Solus* – в одиночестве с Одиноким, ничего не слыша о Боге, никак не ощущая Бога, ничего не ожидая от Бога. Он жил в мире, не будучи его частью, жил в неизмеримом как непричастный ему. Он был благодарен, что стал тем, кем стал, – бывшим ученым, приходским священником, работавшим в родной ему с детства трущобе.

Но потом, на Ракхате, когда Эмилио Сандос создал в своей душе достаточно большое и открытое место, его вопреки всем ожиданиям наполнил собой Бог – и не наполнил, а затопил! Он барахтался, утопал в свете, оглушенный Его могуществом. Он не искал ничего подобного! Он не гордился этим светом, никогда не понимал его как воздаяние за то, что он отдал Богу. Его наполняло нечто мены не имеющее, измерению не поддающееся… невмещаемое, незаслуженное, немыслимое. Божия Благодать, дарованная по Его воле. Так он, во всяком случае, думал.

Или же это самонадеянность, а не вера, заставляла его думать, что полет на Ракхат является частью какого-то плана? До того самого мгновения, когда патруль жана'ата начал убивать детей, ничто не предупреждало, ничто не указывало на то, что они совершают фатальную ошибку. Почему Бог отверг их всех, людей и наравне с ними руна? Откуда явилось это молчаливое, жестокое безразличие Неба после столь явной помощи свыше?

– Ты влек меня, Господи, – и я увлечен… – рыдая, читал он Иеремию после отъезда Калингемалы Лопоре. – Ты сильнее меня и превозмог… я каждый день в посмеянии…

Возмущенный тем, что вера его была испытана именно таким образом, и глубоко пристыженный тем, что испытание это он провалил, Эмилио Сандос знал только то, что не в силах принять неприемлемое и возблагодарить за него Бога. И потому он отверг свое тело, отверг свою душу – безоговорочно капитулировал перед той силой, которая так избила его, попытался жить только умом, над которым сохранил власть. И на какое-то время обрел не мир, но, во всяком случае, вынужденное прекращение огня. Конец этому временному покою положил Дэниэл Железный Конь; что бы там ни происходило на Ракхате, кто бы ни был в этом виноват, Эмилио Сандос жив, и жизнь его соприкасается с другими жизнями. «Итак, – сказал он себе, – надо жить».

Теперь он питался нормальной пищей три раза в день –

словно бы принимал лекарство.

Эмилио снова начал бегать, давая круги по дремотным садам приюта, делая по утрам по четыре мили за восемь минут, каждую вне зависимости от погоды. Дважды в день он заставлял себя оторваться от работы и с помощью тщательно подобранных по весу гантелей методически упражнял мышцы рук, теперь исполнявших двойной комплект обязанностей, косвенно контролируя свои пальцы через механизмы ортезов. К апрелю он вошел в категорию второго полусреднего веса, и рубашки на нем перестали болтаться, словно на вешалке.

Головные боли никуда не делись. Кошмары продолжались. Однако он с упорством пехотинца отвоевал утраченную землю и на сей раз был настроен удержать ее за собой.

И вот в самом начале мая, в необычайно холодное утро, когда Селестина была в детском саду, Джина Джулиани выглянула в окно своей кухни и заметила в конце подъездной дорожки пешего мужчину, разговаривавшего с охранником. Она сразу же заметила серую замшевую куртку, которую когда-то купила Сандосу, прежде чем узнала его самого, и подумала, не стоит ли привести в порядок волосы, но тут же передумала. Натянув вместо этого кардиган, она вышла навстречу ему из задней двери.

– Дон Эмилио! – проговорила она, заранее широко улыбаясь. – Вы прекрасно выглядите.

– Согласен, – ответил Эмилио без тени иронии, воспринимая как искреннюю автоматическую любезность. – Раньше я не был в этом уверен, но теперь знаю точно. Я пришел просить у вас прощения, синьора. Я предпочел обойтись с вами грубо, но не волновать понапрасну.

– То есть? – спросила она, хмурясь.

– Синьора, двое из членов экипажа «*Стеллы Марис*» заболели на Ракхате. Один скончался за одну ночь. Второй проболел много месяцев и был близок к смерти к тому моменту, когда его убили, – проговорил Сандос с невозмутимым спокойствием. – Мы так и не сумели найти причину обоих заболеваний, но одно из них имело форму прогрессирующего истощения. Да, я не стал говорить вам об этом ранее, – произнес он, заметив, что пальцы Джины прикоснулись к губам. – Быть может, вы простите меня за это. В декабре мне указали на то, что я мог занести эту заразу с собой на Землю.

Эмилио чуть отвел руки от тела, как бы выставляя его в качестве неопровержимого доказательства, которое следовало предоставить ей.

– Как вы можете видеть, я страдал от собственной трусости,

но не от невидимого патогена.

Джина какое-то время не могла вымолвить ни слова, а потом произнесла:

– То есть вы устроили себе карантин до тех пор, пока не уверились в том, что здоровы.

– Да.

– Не совсем понимаю, при чем здесь трусость, – произнесла Джина.

Чайки перекрикивались над головой, и он позволил ей усомниться в том, что слова ее не унес ветер.

– Человек, с которым я разговаривал по пути сюда, сказал мне, что этот участок побережья охраняется круглые сутки. Это правда?

– Да. – Она отвела от лица прядь волос и поплотнее укуталась в кардиган.

– Он сказал, что «мафия» – не то слово. Здесь, в Неаполе, это «каморра».

– Да. Вас это шокирует?

Эмилио пожал плечами и отвернулся.

– Я мог догадаться об этом. Признаки были заметны. Но я был слишком занят.

Он посмотрел на море, тот же вид открывался из окна ее спальни.

– Здесь очень красиво.

Вглядываясь в его профиль, она гадала, что делать дальше.

– Селестина скоро вернется домой, – сказала Джина. – Она расстроится, если не застанет вас. Вы никуда не торопитесь? Мы могли бы выпить кофе.

– Много ли вы знаете обо мне? – напрямик спросил он, повернувшись к ней.

Удивленная вопросом, Джина напряглась. «*Я знаю, что ты относишься к моей дочери как к маленькой герцогине*, – подумала она. – *Знаю, что могу рассмешить тебя. Знаю, что ты…*»

Прямота его взгляда не допускала фантазий.

– Я знаю, что вы оплакиваете близких друзей и любимого ребенка. Я знаю, что вы считаете себя ответственным за множество смертей. Я знаю, что вас насиловали…

Он не отвернулся.

– Я не хочу никакого непонимания. Если я непонятно выражаюсь по-итальянски, вы должны сказать мне, так?

Она кивнула.

– Вы предложили мне… дружбу. Синьора Джулиани. Я не настолько наивен. Я понимаю чувства людей. И я хочу, чтобы вы поняли, что…

Она ощутила досаду, стыд от своей простительной разве что школьнице открытости… и принялась молиться о том, чтобы случилось нечто катастрофически ужасное… скажем, чтобы весь Апеннинский полуостров провалился на дно Средиземного моря.

– Объяснения не нужны, дон Эмилио. Мне ужасно жаль, что я смутила вас…

– Нет! Что вы. Позвольте… Синьора Джулиани, я хотел бы, чтобы мы с вами были уже знакомы… или, может быть, встретились еще через много лет. Но я говорю непонятно, – проговорил он, посмотрев на небо, укоряя себя за медлительность. – В христианстве существует такой образ мышления, так? Что душа существует отдельно от физического тела и выше его… что жизнь ума происходит отдельно от жизни плоти. Мне пришлось потратить много времени для того, чтобы понять эту идею. Тело, ум, душа – все они теперь представляют для меня единое целое.

Эмилио повернул голову, позволяя ветру отвести прядь волос от его глаз, устремленных к горизонту, где блеск вод Средиземного моря встречался с небесной синевой в ослепительном лезвии света.

– Теперь я думаю, что избрал целибат в качестве пути к Богу, видя в нем дисциплину, в которой тело, ум и душа образуют единое целое.

Он помолчал, собираясь с мыслями.

– Когда… Вы должны понимать, что меня насиловали далеко не один раз, да?

Посмотрев на Джину, Эмилио снова уставился вдаль.

– Их было всего семнадцать, и вся история растянулась не на один месяц. В то время, да и потом, я пытался отделить то, что происходило со мной физически, от того, что… происходило во мне. Я пытался заставить себя думать: это происходит только с моим телом. Это не может затронуть меня, какой я есть. Но я не мог, не имел сил думать подобным образом. Простите меня, синьора. Я не имею права просить вас выслушивать мои откровения.

Он умолк, почти ощущая себя побежденным.

– Я слушаю, – сказала она.

«Трус», – гневно подумал он и заставил себя заговорить:

– Синьора, я не хочу, чтобы между нами возникло какое-то непонимание. Вне зависимости от официальных подробностей я не являюсь священником. Мои обеты аннулированы. Если бы мы встретились в другое время, я пожелал бы для нас чего-то большего, чем дружба. Но то, что я некогда отдал по собственной воле Богу, теперь навязывается… дурнотой. Страхом. Гневом. –

Поглядев в ее глаза, он понял, что должен открыть ей всю истину о себе в той мере, насколько способен это сделать.

– Кстати, – проговорил он. – Я не восстановил свою целостность. Примете ли вы от меня нечто меньшее, чем ваша дружба?

Он просил ее понять: тело его исцелилось, но душа все еще кровоточит. А для него они – единое целое.

Ветер, не знавший мгновения покоя в такой близи от берега, звенел в ее ушах и приносил от воды запах водорослей и рыбы. Следуя за направлением его взгляда, она посмотрела на залив, на воду, щедро усыпанную золотыми цехинами солнечных блесток.

– Дон Эмилио, вы предлагаете мне честность, – проговорила Джина, посерьезнев. – А честность, на мой взгляд, стоит дружбы.

Оба на какое-то время замолчали, только чаячьи крики звучали над головой. Вдали, в конце подъездной дороги, охранник кашлянул, бросил сигарету на землю и раздавил каблуком. Она ждала продолжения, однако было ясно, что Сандос сделал все, что мог.

– Ладно, – сказала она наконец, вспомнив про Селестину и морскую свинку, – но отказать вам в кофе я ни в коем случае не могу.

Задавленный глухой смешок выдал ту меру напряжения, в котором пребывал Сандос, одетые в ортезы руки его взлетели к голове, чтобы по привычке запустить пальцы в шевелюру, но тут же вернулись к бокам.

– Я бы предпочел пиво, – рискнул он с безыскусной отвагой, – но сейчас еще десять утра.

– Путешествия просвещают, – заметила она в том же стиле. – Вы когда-нибудь пробовали завтракать по-хорватски?

Он покачал головой.

– Это рюмка сливовицы, – пояснила она, – а потом чашка эспрессо.

– Подойдет, – ответил он, собравшись с духом, – самым наилучшим образом.

После чего умолк.

Она замерла, прежде чем шевельнуться, шагнуть к дому. Впоследствии она думала: «Если бы я отвернулась, то пропустила бы то мгновение, когда он влюбился».

Он вспоминал бы этот момент по-другому. Он ощутил тогда не столько рождение любви, сколько прекращение боли. Физическое и неожиданное, как то мгновение, когда ладони его наконец перестали болеть после жуткого приступа фантомной невралгии – когда боль просто исчезла столь же неожиданно и необъяснимо, как и пришла. Всю свою жизнь он постигал тайну

молчания. Не давалось ему одно: способность рассказывать о том, что творится в нем самом, за исключением редких случаев общения с Энн. И теперь он обнаружил: с Джиной.

– Мне не хватало вас, – проговорил он, осознав это в тот самый миг, когда произносил эти слова.

– Это хорошо, – проговорила Джина, удерживая глазами его взгляд и понимая при этом больше, чем понимал он сам.

Делая первый шаг к кухне, она спросила через плечо:

– А как поживает Элизабет?

– Отлично! Хорошая девочка. Ее общество действительно радует меня, – признал Эмилио, сделав несколько шагов трусцой, чтобы поравняться с ней. – Джон Кандотти сделал свинке изумительную клетку, с тремя отделениями и тоннелем. Свиной выпас, так мы назвали ее.

Чтобы открыть дверь перед Джиной, он просто протянул руку вперед, сомкнув пальцы на рукоятке, не думая о том, какое совершает движение.

– Хорошо бы, чтобы вы с Селестиной как-нибудь заглянули ко мне на ленч? Я научился готовить, – похвастался Эмилио, придерживая для нее дверь. – По-настоящему готовить. А не разогревать полуфабрикаты.

Джина помедлила, прежде чем переступить через порог.

– С удовольствием, но, увы, Селестина, кроме макарон с сыром, почти ничего не ест!

– Какая удача, – воскликнул он с солнечной улыбкой, согревшей обоих. – Абсолютно случайно, синьора, я специализируюсь как раз на макаронах с сыром.

Дни постепенно удлинялись, и были новые обеды, непродолжительные визиты, короткие звонки, компьютерные сообщения, посланные три и четыре раза в день. Эмилио находился в доме, когда с почтой пришло извещение о том, что развод оформлен официально, и Джина все-таки поплакала. Она уже довольно давно узнала, что Эмилио не может есть мясо; наконец он смог объяснить ей причину, и она снова поплакала, на сей раз о нем. Он восхитился рисунками Селестины, и малышка немедленно приступила к массовому производству картин, и скоро пустые стены его жилища оказались украшены яркими изображениями неведомых миру объектов, выполненных самыми яркими цветными карандашами.

Обрадованная произведенным эффектом, Джина однажды поставила на его окна ярко-красные герани, и это событие сделалось для него неожиданным поворотным пунктом. Эмилио успел забыть, как радовали его дни дежурства по уходу за

растениями и трубой Волвертона на борту «*Стеллы Марис»,* и теперь начал вспоминать и хорошие времена и даже обретать долю внутреннего равновесия.

Взяв с собой Селестину, они уходили на прогулку – потеть под славным светом *mezzogiomo*[27] между фиалковым морем на западе и искрящимися, облитыми солнцем скалами на востоке, к резкому запаху пыли и асфальта, сладостному благоуханию цветов. Прогуливаясь, они спорили из-за всяких пустяков и радовались возражениям, а потом возвращались домой, чтобы перекусить свежим хлебом, обжаренным в оливковом масле, полученном из плодов восьмисотлетних маслин, и цуккини с *provolone dolce*[28], и миндалем в меду. Задерживаясь после ужина, Эмилио укладывал Селестину спать, и Джина слушала, покачивая головой, сочинявшуюся обоими совместно долгую и сложную историю из множества эпизодов, вращавшуюся вокруг кудрявой принцессы, которую кормили одними только лекарствами, несмотря на то что кости ее могли сделаться гибкими, и песика по имени Франко Гросси, который сопровождал принцессу в путешествиях – в Америку, на Луну, в Милан и Австралию. К июню Эмилио признался в своих мигренях, и Джина достала ему на пробу несколько новых медикаментов, один из которых и произвел много больший эффект, чем програин.

Недели шли, невысказанное пожелание, что ему нужно время, соблюдалось, однако выходило, что времени этого ему нужно было теперь много меньше, чем он предполагал прежде.

Однажды вечером Джина научила его играть в *скопу*; и как только он понял правила игры, то позабавил ее увлеченностью, с которой играл, и одновременно расстроил тем, как трудно было ему держать карты. Когда она принялась расспрашивать об этом, он сразу переменил тему, и она не стала настаивать.

А затем, в канун дня солнцестояния, быть может, для того, чтобы доказать, что руки его находятся в превосходной форме, Эмилио вместе с Селестиной поставили себе цель заново научиться завязывать шнурки на своей обуви.

– Мы можем это сделать, – настаивал Эмилио. – Самое время для этого! Не страшно, даже если на это уйдет весь день, потому что этот день самый длинный в году.

И все утро они дружным дуэтом скорбели о том, как просто даются подобные вещи всем окружающим и как сложен этот процесс для них обоих; однако в конечном итоге дружно преодолели собственную скорбь и после долгих трудов добились успеха и возрадовались достижению. Счастливая за обоих, Джина предложила отпраздновать достижение прогулкой по берегу, тем более что при этом могло возникнуть множество оказий снять

башмаки и снова надеть их – без лишней суеты и с полным удовлетворением. Так что долгий летний вечер прошел в покое и довольстве, Эмилио и Джина брели по берегу позади Селестины, следя за тем, как она гоняется за чайками, ищет сокровища и бросает камешки в воду. Наконец ребенок вымотался, начало темнеть, и они поднялись наверх по сделанной в скале лестнице – карманы Джины и руки были заняты ракушками и красивой галькой, приглянувшейся девочке, а руки Эмилио были заняты спящим ребенком, – вполголоса поздоровались с охранниками от каморры, ответившими понимающими улыбками.

Когда они вернулись домой, Джина придержала перед ним заднюю дверь, однако включать свет не стала. Зная дорогу, он отнес Селестину по тихому дому в ее полную кукол спальню и подождал, пока Джина расчищала свободное место посреди игрушечных зверей. Следя за своими движениями, он сумел поднять легкое тельце Селестины, однако не мог опустить в кроватку, не повредив ортезы, так что Джина забрала у него своего ребенка и уложила в кровать, после чего постояла, глядя на дочь.

Селестина, подумала она. Непоседливая, никогда не умолкавшая, успевавшая утомить мать еще до завтрака, способная заставить саму Пречистую пригласить к ней наемного убийцу. Лицо которой во сне до сих пор сохраняло младенческие черты, чьи маленькие пальчики до сих пор восхищали ее мать, а от завязанного узелком пупка по-прежнему тянулась духовная витая пуповина к ее животу; которая быстро научилась не называть имена новых папиных подружек маме.

Вздохнув, Джина обернулась и увидела Эмилио, стоявшего, прислонившись в дверной раме, и следившего за ней ничего не скрывавшими глазами на спокойном лице. Он чуть отвел руки от тела, как делал, когда Селестина бежала к нему обниматься, чтобы не поцарапать дитя механизмами ортезов. И Джина пришла к нему.

Краешек ее нижней губы чем-то напомнил ему ободок потира, причастной чаши, и эта мысль едва не остановила его, но тут губы ее протянулись к его губам, и пути назад не стало, как не стало и желания становиться на этот путь. После всех этих лет, страданий, муки – все оказалось, как он обнаружил, очень просто.

Она сняла с его рук ортезы, помогла снять одежду, а потом разделась сама, ощущая такую близость к нему, словно бы они всегда были вместе. Однако Джина не знала, чего ожидать, и потому приготовилась к нервному срыву, к грубой спешке, даже к слезам. Но все началось со смеха, и она тоже обнаружила, что все просто. Когда пришло время, она приняла его в себя и

улыбнулась через плечо Эмилио легкому стону, сошедшему с его уст, и едва не заплакала. Естественно, он кончил слишком рано… но разве можно было ожидать чего-то другого? Однако спустя несколько мгновений он негромко выразил ей на ухо свое сожаление:

– Кажется, я сделал что-то не так.

Она также рассмеялась:

– Надо тренироваться.

Он замер, и она испугалась, что каким-то образом задела его чувства. Однако он приподнялся на локтях и посмотрел на нее сверху… лицо изумленное, глаза веселые.

– Тренироваться?! Ты хочешь сказать, что мы будем заниматься этим делом регулярно?

Она рассмеялась, и он снова повалился на нее.

– Слезай с меня, – прошептала Джина чуть погодя, все еще улыбаясь, не отрывая рук от его спины.

– Не хочу.

– Слезай же! Ты весишь целую тонну, – соврала она, целуя его сбоку в шею. – А все эти макароны с сыром!

– Нет. Мне тут нравится, – сообщил Эмилио подушке под ее головой.

Она провела пальцем у него под мышкой. Хрюкнув, он откатился в сторону, а она рассмеялась, шикнула на него и прошептала:

– Селестина!

– *Soy cosquilloso!* – произнес он с удивлением. – Не знаю, как сказать это по-итальянски. Как вы говорите, когда чувствуете подобную реакцию на прикосновение?

– Нам щекотно, – сообщила она и с удивлением услышала, как быстро он воспроизвел глагол и проспрягал его. – Похоже, ты удивился.

Эмилио посмотрел на нее, уже успокоившись:

– Не знаю. Но как я мог узнать это слово? Люди не щекочут иезуитов!

Джина в темноте с явным скепсисом посмотрела на него.

– Ладно, некоторые люди щекочут некоторых иезуитов, – с известной долей негодования признал он. – Но уверяю вас, мадам: меня никто не щекотал.

– Даже родители? Ты ведь не родился священником.

– Нет, – отрывисто произнес он.

О боже, невольно подумала Джина, ощутив, что попала на новое минное поле, однако он приподнялся на одном локте и положил ей руку на живот.

– Я терпеть не могу макароны с сыром, – признался Эмилио. –

Я никак не мог порадовать любимую убитым драконом, но макароны с сыром я ел ради тебя. И хочу благодарности.

Довольная, она улыбнулась ему.

– Подожди, – сказала она, заметив, что он намеревается снова поцеловать ее. – Что ты там говорил насчет «любимой»…

Но губы его уже припали к ее рту, и на сей раз он справился со своими обязанностями много лучше.

Ради Селестины он ушел перед рассветом – самым благоразумным и осмотрительным образом. Попрощаться с Джиной и уйти ему было трудно, как никогда в его жизни, но потом начались другие проведенные на берегу вечера, рано отправлявшие спать Селестину, и другие ночи, укладывавшие наповал их обоих, и когда закончилось это лето, Джина вернула ему целостность. Память о былом скотстве она изгоняла красотой и сердечным благородством, и не было такого унижения, которое не смогло бы растопить ее душевное тепло. И когда подчас приходили сны, она оказывалась рядом, принося спасение в ночи. И прежде чем лето закончилось, пока дни оставались еще слишком долгими, а ночи слишком короткими, когда благоухание лимонных и апельсиновых деревьев вступило в полную силу и каждую ночь втекало в ее окно, оставляя свой аромат на простынях и волосах, он начал возвращать ей часть того, чем она наделила его. Иногда его даже осеняло ощущение безупречного мира. Слова Джона Донна идеально описывали ситуацию: «Алхимия любви во мне, давно усопшем, снова тлеет»[29]. Под натиском надежды он не мог более отрицать возможность благого будущего и уже ощущал, как слабеет на нем хватка прошлого. «*Оно кончилось*, – думал он время от времени, – наконец-то».

Глава 14
Труча Сай

2042–2046 годы по земному летоисчислению

София Мендес не ощущала нехватки общения в этой деревне. Население Труча Сай стабилизировалось примерно на трехсот пятидесяти душах, поблизости находились и другие поселки; в гости ходили часто и праздновали такие походы от души. Она делила обязанности и трапезы со многими руна и скоро привыкла проводить время за плетением циновок, ширм, зонтов, пакетов для варки на пару съедобных корней, корзинок для всякого рода фруктов из длинных, изогнутых, как сабли, листьев деревьев *диусо*. Она познала сезонный круг созревания, научилась находить и узнавать полезные растения, научилась избегать опасностей, а также умению находить дорогу в на первый взгляд непроходимых джунглях.

Она постепенно становилась знающей свой мир рунао – компетентным ботаником-практиком, полезным членом общества – и находила в этом определенное удовлетворение. Однако в начальные месяцы своего изгнания интеллектуальным компаньоном ее можно было назвать разве что библиотеку находившейся на орбите «*Стеллы Марис*».

Она не могла физически попасть на корабль, однако существенную часть дня проводила в радиоконтакте с библиотекой. Отредактировав и отполировав тексты, она передала в память библиотеки свои наблюдения о жизни руна и собственные соображения, предпочитая хранить их не только в своем компьютере. Занятие это позволило ей забыть о своем одиночестве: она как бы отправляла письма, а не делала записи в дневнике. Когда-нибудь мысли ее дойдут до Земли, и она могла видеть в себе отрезанного от родной планеты ученого, вносящего вклад в свою собственную культуру своими работами. Человека. Нормального человека.

А затем, когда Исааку было только пятнадцать месяцев, в один из дней она начала процедуру входа, и ответом ей стала полнейшая тишина.

Глядя на появившуюся на экране лаконичную надпись «адресат недоступен», она буквальным образом ощутила физический толчок, словно бы корабль сорвался с причального каната. С бортовыми системами могло произойти все что угодно… Орбита корабля могла потерять нужную высоту… «*Стелла Марис*» могла сгореть в атмосфере или рухнуть в

здешний океан. Возможностей насчитывался миллион. И единственной не учтенной Софией являлась как раз действительно произошедшая ситуация: на Ракхат прибыла вторая экспедиция с Земли, отправленная под покровительством ООН. Примерно через двенадцать недель после посадки на планету посланцы Консорциума Контакт обнаружили Эмилио Сандоса. Полагая, что они имеют дело с единственным выжившим членом иезуитской миссии, они отправили «*Стеллу Марис»* в автоматизированное путешествие на Землю под управлением искусственного интеллекта, использовавшего разработанную самой Софией программу, унося Эмилио Сандоса домой навстречу позору.

Она обнаружила, что существует множество разновидностей одиночества. Существовало одиночество, вызванное тем, что ты понимаешь кого-то, но тебя не могут понять. Существовало одиночество оттого, что некого подразнить, не с кем поспорить, не с кем посоревноваться. Одиночество ночное отличалось от одиночества дневного, иногда овладевавшего ею посреди толпы рунао. Она сделалась истинным знатоком одиночества, причем самую худшую его разновидность она познала наутро, после того как ей приснился смеющийся Исаак.

Крошечный младенец ее, длинный и тощий, проспал без просыпу первые недели своего бытия, практически ничего не замечая, чем испугал свою мать. Она поняла, что сон позволяет ему сконцентрировать свои скудные ресурсы на выживании, и потому сопротивлялась желанию будить его, понимая, что оно отражает ее собственную нужду в поддержке.

Но даже в короткие моменты бодрствования он не мог долго смотреть на нее… После одного-двух мгновений личико ребенка начинало сереть под пергаментной кожей, и хотя по прошествии недель сосал он куда лучше, но часто срыгивал ее молоко. И как бы ни твердила она себе, что подобный результат вызван недостаточным развитием вследствие недоношенности его пищеварительной системы, ей было трудно заставить себя не воспринимать этот факт как сознательное отвержение.

В шесть месяцев Исаак был похож на птичку, отстраненную от всех, он всегда смотрел куда-то вдаль, изучая мистерию листьев, света и теней. В свой первый день рождения он держался с каким-то инопланетным достоинством: крошечный, тихий и неулыбчивый мальчик, глубоко посаженные эльфийские глаза его часто были обращены к калейдоскопу, который ребенок составлял из собственных пальцев, завороженный их различными сочетаниями. Она начала надеяться на то, что молчание его вызвано глухотой, ибо он не лепетал, не поворачивал голову к

Софии, когда она называла его имя, и как будто не слышал детишек-руна, игравших вокруг, споривших, пререкавшихся, дразнившихся и заливавшихся веселым смехом. Но однажды он произнес слово «*сипаж*» — а потом все твердил твердил и твердил его, пока слово это, означающее «слушай», не стало бессмысленной мантрой для всех находившихся вокруг. А затем снова погрузился в молчание.

К своему второму дню рождения он как будто достиг состояния неприступной замкнутости: созревший прежде времени мастер Дзен, не имеющий потребностей, не имеющий желаний. Он сосал, когда София вкладывала свой сосок в его рот; позже ел, когда пищу клали ему на язык, пил, если давали воду. Он позволял брать себя на руки и держать, но никогда не протягивал ни к кому рук. Когда ребятишки-руна таскали его с собой, словно куклу, он неподвижно и невозмутимо ожидал, когда закончится это вмешательство в его размышления; когда его сажали на землю, он возвращался к своим медитациям, будто ничего не было.

Казалось, что внутри его невидимой цитадели обитает совершенство, отвлечь от которого внешний мир не способен ни соблазном, ни помышлением. Он сидел так часами, спокойный и уравновешенный, как йоги, по лицу его иногда пробегала улыбка, полная сокрушающей красоты, словно бы душа его втайне наслаждалась какой-то загадкой, священной мыслью.

Софии не нужно было спрашивать, как принято у руна обращаться с подобными ненормальными детьми. Подобно спартанцу, оставлявшему своего убогого младенца на склоне часто посещавшегося волками холма, отец-руна отдал бы дефективного младенца *джанада* – на съедение аристократам жана'ата. Возможно, руна не понимали, что Исаак не такой, как положено, или, быть может, не обращали на это внимания; Исаак не был руна, и к нему применялись совсем другие правила. Насколько могла судить София, они просто принимали данное уединенное безмолвие Исаака, как принимали отсутствие у него хвоста и шерсти на теле – как принимали почти все в своем мире: кроткой шуткой и невозмутимым спокойствием.

И София тоже старалась принять своего сына таким, каким он был, однако не так просто видеть, как твой ребенок часами разглядывает собственные ладони или сидит, барабаня пальцами по земле неменяющийся ритм какой-то, слышной лишь ему самому, внутренней музыки. Прекрасный и бесчувственный, как ангел, ребенок Исаак оказался бы трудным объектом для любви любой матери, а жизнь Софии Мендес предоставила ей немного возможностей попрактиковаться в этом чувстве.

В самом укромном уголке ее души София ощущала неизреченное облегчение от того, что сын так мало нуждался в ней. Годами единственной мерой того ужаса, который она пережила, потеряв родителей, был страх… безрассудный страх того, что она может умереть молодой, сделав сиротой собственного ребенка. Впрочем, состояние Исаака имеет свои преимущества, убеждала себя София. Если она умрет, он этого не заметит.

Впоследствии она поймет, насколько близко подошла тогда к безумию. За самую грань его, безрассудная и изнемогающая, она заглянула, когда Исааку исполнилось четыре года. То есть когда Джалао и еще несколько женщин ВаКашани привели в Труча Сай Супаари с его новорожденной дочерью.

Лесные руна никак не удивились его неожиданному появлению в гавани, существование которой они всегда хранили в тайне от своих господ-жана'ата; по самой природе своей они воспринимали события без особых вопросов, к тому же Супаари ВаГайжур всегда отличался от всех прочих *джанада.* Однако если руна оставались спокойными, София Мендес была потрясена силой собственных эмоций.

Супаари принадлежал к жана'ата, и тем не менее, увидев его, она ни на мгновение не вспомнила о бунте, смертях, угнетении, эксплуатации или жестокостях, но увидела в нем только друга, принесшего конец ее одиночеству. И впервые после рождения Исаака ей представился повод возблагодарить Бога.

– А мне говорили, что тебя нет в живых, – сказал Супаари на х'инглише, глядя на крохотную иноземку.

Ужаснувшись, он отшатнулся от нее на несколько шагов, но тут же вернулся обратно, словно стервятник к трупу. Протянул руку к щеке Софии, обезображенной тройным шрамом, и еще более устыдился, когда она уклонилась от его прикосновения.

– Я стал бы искать тебя, – сказал он, умоляя о понимании. – Но ВаКашани сказали мне, что ты погибла!

Заранее ожидая увидеть в ее лице ненависть и обвинение, он их и увидел. Утомленный долгой дорогой и всем, что было прежде нее, ошеломленный самим величественным масштабом собственных ошибок, жана'ата невольно обмяк, постепенно перенося вес с ног на хвост, потом на колени, потом на лодыжки, а потом осел на землю, опустив лоб на ладони, утопавшие в лесной подстилке. Ее бессловесная укоризна, само ее существование казались ему убийственным ударом, и он уже лихорадочно возжелал любой быстрой смерти, когда ее маленькие ладошки прикоснулись к его голове и приподняли ее.

– *Сипаж*, Супаари, – наклоняясь так, чтобы заглянуть в его глаза, сказала она, – сердце этой очень радо тому, что ты пришел сюда.

Преодолевая туман в голове, он подумал: «Она не поняла меня, она забыла родной язык».

– Этот думал, что тебя больше нет, – прошептал он. – Этот попытался бы найти тебя.

Он с трудом перекатился в сидячую позу, коленями наружу, и огляделся по сторонам: хижины для сна под изящными соломенными крышами поскрипывали и чуть колыхались на ветру; покачивались плетеные, украшенные цветами и лентами ширмы над приподнятыми помостами, укрытыми прекрасными подушками.

Руна, живущие своей собственной жизнью, не искаженной законами или обычаями жана'ата.

Если не считать ужасного шрама, маленькая иноземка выглядела вполне благополучной.

– *Сипаж,* София, – промолвил он наконец, – этот наделен великой способностью ошибаться. Быть может, тебе лучше оставаться без его помощи.

Она промолчала, и он попытался прочесть выражение ее лица, чтобы понять запах и позу. Эта неспособность точно понять все, что было связано с иноземцами, смущала его, тем более что теперь он, при всем том как мало понимал Сандоса, не знал, точно ли он понял, что Хэ'эн симпатизировала ему.

– Думаю, что… – неторопливо проговорил он на к'сане, ибо в руанже не было нужных ему слов, а София, как он считал, забыла х'инглиш. – Думаю, что ты возненавидишь меня, когда узнаешь, что я натворил. Понимаешь ли ты слово «ненависть»?

– Мои извинения. – Скрестив ноги, она опустилась рядом с ним на невысокую травянистую растительность, покрывавшую прогалину. – Кто-то забыл ваш язык. Кто-то почти и не знал его.

Она теперь видела, насколько устал Супаари, длинное симпатичное лицо его показалось ей изможденным, тонкие кости выступали под кожей сильнее, чем она помнила.

– *Сипаж*, Супаари, ты проделал долгий путь, – начала она формулой руанжи, теперь столь же естественной для нее, как будто она разговаривала на ней всю свою жизнь. – Конечно, ты голоден. Не хочешь ли…

Он остановил ее, приложив к губам окорнанный коготь.

– Прошу тебя, – произнес он тоном, который Энн Эдвардс истолковала бы как трагичный. – Прошу тебя, не предлагай. – Он возвел глаза к небу. – Как могу я есть? – спросил он небеса на к'сане. – Как я могу есть!

Услышав его возглас, из толпы, окружавшей сопровождавших Супаари ВаКашани, выступила Джалао. В руках ее была прочная корзинка, полная провианта для него самого и его ребенка, которую она поставила перед ним.

– Ешь так, как привык, – произнесла она негромко, но с жесткостью, которой София еще не слышала в голосе рунао.

В это мгновение Джалао и Супаари соединило невысказанное вслух взаимопонимание, однако София не умела истолковать язык их тел.

Дети – носившиеся вперегонки друг за другом, возбужденные гостями и нарушением повседневной рутины – становились с каждой минутой громче и громче, и, прежде чем София успела предупредить Канчая, его дочь Пуска, воспользовавшись увлеченностью отца взрослой беседой, вскочила ему на спину и немедленно оттолкнулась от нее, описав восторженный прыжок и при этом повалив корзину. Невозмутимый Канчай отделился от общей беседы, быстро убрал содержимое обратно, прежде чем дети могли уловить запах, а затем отправился к ним – к детям, – пригнувшись и широко расставив руки, протолкнулся в группу малышни, сгреб их в восхищенную и верещащую охапку.

София, улыбаясь, поискала взглядом Исаака, опасаясь, что он мог отойти куда-то, пока все были заняты. Однако сын был на месте: лежа на спине, он изучал полет крылатых семян, спускавшихся к его лицу по спирали. Вздохнув, она обратила свой взгляд к Супаари, так и застывшему на земле.

– *Сипаж,* Фиа. Все изменилось, – сказал он и, посмотрев на Джалао ВаКашан, опустил уши. – Кто-то не понимает! – воскликнул жана'ата. – Кто-то знал, но так и не понял. Все изменилось.

– *Сипаж*, Супаари, – произнесла Джалао, остановившись возле него. – Ешь. Все остается как было.

«Не *что… кто* находится в корзинке?» – подумала София, осознав теперь, что Канчай мигом привел плетенку в порядок, чтобы сохранить детей от слишком ранней для них информации.

Оцепенев, она смотрела на Супаари и думала: «Он ест руна. Он – *джанада».*

Заговорить они сумели не сразу.

– *Сипаж*, Супаари, все мы есть то, что мы есть, – проговорила наконец София, руководствуясь простейшей логикой руна, которую лишь в данный момент сумела осилить. Вставая, она протянула жана'ата руку в знак того, что готова поднять его на ноги. Супаари рассеянно посмотрел на нее.

– Иди и ешь. Жизнь продолжается, – проговорила она, чуть потянув его за руку. – Мы-и-ты-также займемся нашими

проблемами потом.

Супаари встал и попытался унести корзинку с поляны на подветренную сторону, так чтобы руна не смогли ни увидеть, что он ест, ни уловить запах мяса. Должно быть, он всегда на каком-то уровне понимал, что делает; даже раньше ему и в голову не могло прийти есть мясо в присутствии руна. Негромко урча, он направился в сторону со своей корзиной, ручки которой были приспособлены для того, чтобы ее нес кто-то из рунао, однако почувствовал себя еще хуже, когда Канчай выбрался из скопления детей для того, чтобы помочь ему.

Юная девица Кинса, уже не ребенок, но еще не взрослая, все это время что-то негромко бормотала Хэ'энале, не зная, к какой категории отнести себя саму. Увидев, что Супаари отошел в сторону, она решила последовать за ним с ребенком за спиной.

Шедшая рядом с ней София протянула руку и запустила палец под крошечные изогнутые коготки младенца.

– Супаари! – воскликнула она. – Твой ребенок? Но как? Эта думала, что…

– Это долгая песня, – проговорил он, пока София брала Хэ'энале на руки, а Канчай невозмутимо извлекал из корзинки порцию мяса.

– Когда этот прибыл в Кашан после бунта… – Он умолк, посмотрев на ее искаженное жутким шрамом лицо. – Ты понимаешь слово «бунт»? – София подняла взгляд от младенца, посапывавшего у нее на коленях, и приподняла подбородок в знак согласия. Он продолжил: – ВаКашани пребывали в великом смятении. Погибли столь многие, и среди них большинство старейшин. И никто не мог признать это во всеуслышание, так что повсюду установилось *фиерно,* даже по прошествии нескольких дней после побоища. Твой «аппарат» находился на месте, но ВаКашани сказали, что всех иноземцев больше нет. А трупы съели.

Она как раз размышляла о том, какое это счастье – смотреть на ребенка, но, услышав такие слова… поняла: конечно. Мясо – это мясо. Но даже после того, что случилось с Энн и Д. У., ей в голову не приходило, что остальных тоже… «Ох, Джимми!» – подумала она, горло перехватило.

Кусок не лез в глотку Супаари, и он отставил мясо в сторону.

– Потом, когда уже почти стемнело, вышла вперед Аскама. Еще совсем ребенок, однако она хорошо знала вас, иноземцев, так что этот прислушался к ее словам. Она говорила на х'инглише, потому что в руанже нет подходящих слов. Она сказала: «Миило не умер…»

Он умолк, заметив, что София вдруг побледнела, заметив, как

забилась жилка на ее горле, осознавая теперь всю трагедию того, что ему предстояло рассказать ей.

– Ты не знала этого?

– А где теперь Миило? – спросила она. – Боже мой. Боже, если он жив, это меняет все…

– Он ушел! – воскликнул Супаари. – Этому очень жаль! Ты понимаешь? Этот искал бы тебя, но ВаКашани сказали, что все вы ушли, а «ушли» значит две вещи! Аскама сказала только, что Миило не умер, что его взял с собой патруль жана'ата. Она ничего не сказала про иноземца Марка. Или о тебе…

– Марк! – воскликнула София. – Значит, Марк тоже жив?

– Нет, он ушел! – Горестная весть заставила Супаари скрючиться. – Сандос тоже ушел, но по-другому!

Невзирая на всю усталость, он поднялся на ноги и начал ходить.

– Руанжа не годится для такого рассказа! Ты еще помнишь х'инглиш? – спросил он, повернувшись, чтобы посмотреть на нее.

– Да, – проговорила она.

Младенец Супаари запищал. Переполненная эмоциями Кинса настолько расстроилась, что сама была готова заплакать.

Передав младенца Канчаю, София также встала и остановила движением руки все еще ходившего, охваченного волнением Супаари.

– Да. Я помню английский, – еще раз сказала она. – Супаари, а где Марк? И где сейчас находится Сандос? Они мертвы или мы сможем еще увидеть их?

– Марк умер. По моей вине. Хотя я не хотел ему ничего плохого! – Необъяснимым образом он поднял обе ладони, однако она была настолько отвлечена, чтобы обнаружить какой-то смысл в этом жесте. – Наши руки при *хаста'акала* не кровоточат…

– Супаари, ради бога, скажи, где сейчас Сандос?

– Другие отослали его домой.

– Какие еще другие? – вскричала она как безумная. – И что значит это твое «домой»? В Кашан?

– Нет, не в Кашан. Пришли другие иноземцы…

– Другие иноземцы! Супаари, ты имеешь в виду народ из другой речной долины или людей…

– Такие же, как ты, иноземцы. Без хвостов. С С'емли.

София пошатнулась, но он успел поддержать ее, прежде чем она упала, положив руки на ее плечи.

– Я в порядке, – сказала она, хотя он видел, что далеко не в порядке. София опустилась на землю и села, обхватив голову руками. Канчай отдал Кинсе стенающего младенца и велел девице вернуться ко всем остальным на поляну и оставаться там.

Вернувшись, он сел позади Софии и покровительственно положил ей руки на плечи; она припала к нему спиной, давая понять, что благодарна за поддержку, однако вновь обратилась к Супаари настолько спокойным, насколько это было в ее силах, тоном.

– Рассказывай, – сказала она. – Рассказывай все.

Супаари потребовалось много времени и три языка, чтобы рассказать ей всю историю. Он поведал ей о том, как сумел обнаружить Сандоса и Марка, уже едва живого тогда. Он рассказал ей о том, как подкупил командира патруля, а потом и про обряд *хаста'акала,* с помощью которого намеревался избавить Марка и Сандоса от судебного преследования по поводу подстрекательства руна к мятежу.

– Вот видишь? – спросил он, указывая на тонкие и прочные перепонки между пальцами. – Перерезать их нам совсем не опасно – только руки в таком случае немного слабеют. Но у вас, иноземцев, от этого было много крови, и Марк поэтому умер.

А потом был целый проведенный вместе с Сандосом в Гайжуре сезон и его, Супаари, страх за Эмилио, который мог погибнуть от одиночества.

Все это София с Божьей помощью поняла.

– Но ты сказал, что пришли другие, – напомнила она Супаари. – Где сейчас находятся эти иноземцы?

Когда он не ответил, она наклонилась вперед, вцепилась в его руку и воскликнула:

– Супаари, они все ушли? О боже. Только не говори мне, что их больше нет! Они все вернулись на Землю?

– Не знаю. – Он отвернулся, опустив уши. – Сначала они отослали назад Сандоса. Остальные какое-то время провели со мной в Гайжуре. – Он резко умолк.

– А потом они ушли, так? – тусклым голосом проговорила она. – Итак, они умерли или вернулись на Землю?

– Не знаю! – еще раз повторил он, однако она чувствовала, что он что-то скрывает. Наконец Супаари очень негромко проговорил: – …Но, похоже… что я мог создать спрос на… – Последовала долгая пауза. – София, что означает это слово… «целибат»?

Она посмотрела на него, удивленная тем, почему он задает вопрос именно сейчас. Однако хитрости и уловок за Супаари прежде не числилось… Но как объяснить ему?

– Это слово означает воздержание от секса.

Супаари по-прежнему вопросительно смотрел на нее; английский тоже не помог, она снова перешла на руанжу:

– Чтобы зачать ребенка, есть определенное действие… – Он

поднял подбородок. – Среди нас это действие производится также для удовольствия. Ты понял? Для наслаждения…

Подбородок Супаари пополз вверх, но на сей раз не так быстро, он внимательно смотрел на Софию.

– Целибат – это когда человек никогда не совершает этого действия… ни для зачатия ребенка, ни для удовольствия. Понимаешь?

– Даже если он является перворожденным или второрожденным?

– Для нас порядок рождения не имеет никакого значения…

– То есть целибат – это у вас ВаХаптаа. Преступник, лишенный прав?

– Нет! – удивилась она. – *Сипаж,* Супаари, даже эта считает, что целибат сложно понять.

София умолкла, не зная, как сказать, каким языком воспользоваться, сколько можно открыть ему.

– Такие люди, как Сандос, Марк и Дии, отделили себя от остальных людей. Они предпочли никогда не совершать этого действия: ни ради зачатия, ни для удовольствия. Они соблюдали целибат для того, чтобы полнее служить Богу.

– А кто эти «бог»?

Она попыталась найти спасение в грамматике.

– Не эти бог, а этот Бог. Существует только один Бог. – София произнесла эти слова не подумав, но, прежде чем она смогла перейти к объяснению сути монотеизма, Супаари оборвал ее:

– Сандос говорил, что блюдет целибат, он говорил, что не берет себе жену, чтобы иметь возможность служить многим! – с негодованием вскричал жана'ата, вновь вставая и отходя от нее. Развернувшись на месте, он ожег ее яростным взором, поднял уши торчком и устремился в атаку. – Он сказал, что он – целибат. Целибаты служат бог. Значит, бог – это много.

«Ч.Т.Д.[30], – подумала она, вздохнув. – И где эти иезуиты, когда они нужны?»

– Бог един. Детей у него много. Все мы его дети. Сандос служил Богу тем, что служил Его детям. – Супаари резким движением опустился на землю и потер виски.

– *Сипаж,* Супаари, – с сочувствием произнесла София, протянув руку к ввалившейся щеке волчьей физиономии. – У тебя голова не болит, а?

– Да. Ты говоришь какую-то несуразицу! – Он замолчал и попытался сменить тему и язык, вновь обратившись к х'инглишу. – Может, твои слова и понятны тебе, но я ничего не понимаю.

София чуть улыбнулась:

– Энн говорила, что в этом начало мудрости.

Супаари с открытым ртом посмотрел на нее.

– Мудрость – это подлинное знание, – пояснила она. – Энн говорила, что мудрость начинается тогда, когда ты ощущаешь разницу между «это чушь» и «я не понимаю».

– Тогда, значит, я и есть самая мудрость, потому что совсем ничего не понимаю. – Глаза его закрылись. Когда Супаари открыл их, казалось, что его вот-вот стошнит, однако он продолжил на том пиджине[31], который только и был в их распоряжении.

– *Сипаж,* Фиа. Что значит на х'инглише «служить»? Может ли называться службой нечто такое… что приносит удовольствие?

– Может, – в конечном итоге призналась она. – Но не для Марка, Дии и Миило. Для них служить значило бескорыстно помогать людям. Кормить голодных, давать кров… Как ты сказал… служить многим? О мой бог. Ты организовал спрос? Супаари, что случилось с Эмилио?!

В розовом свечении, заполнявшем воздух после второго заката, София сидела и смотрела на спящего Супаари, слишком уставшего для того, чтобы ощущать нечто большее, чем смирение.

Не один час ушел на то, чтобы извлечь из него всю историю, и к концу разговора Супаари буквально напрашивался на ее презрение.

– А я-то гордился своим умом! Желание иметь детей лишило меня разума, но я думал, этот Супаари, какой он хороший и умный человек. Я должен был догадаться! – рыдал он, утомленный и расстроенный до предела. – И это делали жана'ата. Мой собственный народ. Я слишком виноват перед Сандосом. Возможно, остальные иноземцы сейчас претерпевают подобную участь. И теперь ты будешь ненавидеть меня.

«Мы хотели добра, – думала она, глядя в небо на кучевые облака над поляной, приобретавшие аметистовый и индиговый цвета. – *Никто не намеревался чинить зло. Все мы старались делать самое лучшее, самое доброе. И, несмотря на это, такого наворотили…»*

Опираясь спиной на Канчая, она протянула руку, чтобы погладить рыжую головку сына, и вдруг вспомнила про Д. У. Ярброу, главу иезуитской миссии на Ракхат, уже почти пять лет покоившегося возле Кашана рядом с Энн Эдвардс, так же как и он, принявшей там внезапную смерть.

София Мендес и Д. У. Ярброу близко сотрудничали во время многомесячной подготовки иезуитской миссии к Планете Поющих. Многие из тех, кто наблюдал, как растет и углубляется их сотрудничество, видели в нем, что противоположности

притягиваются друг к другу, ибо Д. У. Ярброу при его блуждающем глазе, вольно изгибающемся носе и целой толпе неприкаянных зубов был столь же откровенно некрасив, сколь удивительна была классическая красота Софии Мендес. Немногие понимали благодетельный покой не осложненной плотским желанием дружбы, каковую София и Д. У. могли предложить друг другу, и немногие эти были в сердце своем довольны тем, что души эти встретились.

Потребовалось не так уж много времени для того, чтобы еврейка-сефардка и священник-иезуит установили стабильные взаимоотношения; за какие-то недели они уже приобрели привычку заканчивать каждый долгий и трудный рабочий день, посвященный компиляции, анализу, обсуждению и принятию решений, совместным обедом и парой кружек пива *Lone Smar* в тихом баре, находившемся неподалеку от провинциальной резиденции Д. У. в Новом Орлеане. Беседа нередко затягивалась дотемна, и чаще всего она была посвящена религии. София поначалу занимала оборонительные позиции, в какой-то мере придерживаясь исторически возникшей враждебности к католицизму, а также смущаясь тем, как мало знала она об иудаизме. Ярброу прекрасно знал, как резко и скверно закончилось ее детство, и, будучи в какой-то мере почитателем иудаизма, причем не только как религии, предварявшей его собственную, он сделался для нее стимулом и проводником на пути к повторному открытию той традиции, в которой она была рождена.

– Евреи наделены особой жесткостью, которую я целиком принимаю, – однажды вечером сказал ей этот техасец во время обсуждения заступничества Девы и святых посредников, а также лежавшей между Богом и католической душой барочной иерархии патеров, монсиньоров и епископов, за ними архиепископов и кардиналов и, наконец, пап, которую София находила бессмысленной и непонятной. – В наше время люди не любят сразу брать быка за рога, не любят на самом деле. Их нужно бочком привести к идее, привести к цели чуть в стороне от ее середины. Они чувствуют себя лучше, когда над ними стоит целая цепочка командиров, – молвил Д. У., в прошлом командир эскадрильи морской пехоты, которому годы, проведенные в иезуитском ордене, ничуть не мешали мыслить армейскими категориями. – Есть у тебя проблема – доложи о ней сержанту. Этот, в свой черед, может дойти до своего капитана. Человеку обыкновенному придется потратить хренову уйму времени на то, чтобы завести себя до отваги, необходимой, чтобы постучать в дверь генерала, будь тот милейшим парнем на свете. Католицизм

учитывает эту любовь человека к иерархии. – Д. У. улыбнулся, зубы и глаза его разбежались в разные стороны, делая своего обладателя сразу самым уродливым и самым прекрасным человеком из всех тех, с кем сводила Софию судьба. – Но дети Авраамовы? Они сразу приняли Бога таким, каков Он есть. Превозносили. Спорили! Торговались по мелочам, жаловались. Нужно иметь особый хребет, чтобы на такой короткой ноге общаться с Всевышним.

И она сразу потеплела душой к нему, поняв, что выслушала высшую хвалу, которую он мог принести ей и ее народу.

Они во многом сходились во время этих ночных бесед. Они решили, что на свете не может быть таких объектов, как бывший еврей, или бывший католик, или бывший морской пехотинец.

– Скажи, почему так? – спросил Д. У. однажды вечером, когда на язык уже сами просились бывшие техасцы. По его мнению, было критически важно, чтобы новобранцы попадали в армию еще молодыми и впечатлительными.

– Важна и роль традиции, – напомнила София.

– Однако важнее всего, – проговорил Д. У., – чтобы все возрастные группы основывали свою философию на одном и том же принципе. Слова ничего не стоят. Мы верим в действие, – сказал Ярброу. – Сражайся за справедливость. Накорми голодного. Захватывай берег. Нам не пристало сидеть, ожидая того, когда все устроится каким-то чертовым чудом.

Однако, при всей своей симпатии к действию, Д. У. Ярброу являлся в высшей степени образованным и сознательным человеком, прекрасно представлявшим тот культурный и духовный ущерб, который способны нанести миссионеры, и потому поставил строгие ограничения на деятельность иезуитской миссии на Ракхате.

– Мы не проповедуем. Мы слушаем, – настаивал он. – Они тоже дети Бога, и на сей раз нам следует узнать, чему они могут научить нас, и только потом ответить им любезностью на любезность.

Из всех членов экспедиции «*Стеллы Марис*» София Мендес испытала наибольшее облегчение от этого дальновидного смирения и нерешительности в отношении прозелитической деятельности.

И вот по какой-то высшей иронии и вопреки всем шансам впервые рассказывать о Боге одному из ВаРакхати выпало именно ей.

– Кто это – «бог»? – спросил Супаари.

«Не знаю», – подумала она.

Никто, даже Д. У., не желал признавать за собой полной и

искренней веры. Он терпимо относился к скептицизму и сомнениям, дружил с двусмысленными и двойственными толкованиями.

– Возможно, что Бог представляет собой всего лишь самую могущественную поэтическую идею, которую мы, люди, способны вообразить, – сказал он однажды вечером после нескольких рюмок. – Возможно, что Бог нереален вне наших разумов и существует только в парадоксе Совершенного Сочувствия и Совершенной Справедливости. Или, может быть… – предположил он, сутулясь в кресле и одаривая Софию кривой и лукавой улыбкой, – может быть, Бог в точности таков, как о нем повествует Тора. Что, если вместе со всеми своими прочими истинами и красотами иудаизм сохраняет для всех последующих поколений… в качестве подлинного Бога – Бога Авраама, Исаака, Иакова, Моисея… Бога Иисуса… капризного, ненадежного Бога, давшего нам коварные, непостижимые правила, Бога, уставшего от нас и ушедшего в себя! Но скорого на прощение, София, и щедрого, – продолжил Ярброу смягчившимся голосом, – и всегда, всегда любящего человечество. Который всегда рядом, который поколение за поколением ждет от нас ответа на Его любовь. Ах, София, дорогая моя! В свои лучшие дни я верую в Него всем сердцем.

– Ну а в худшие? – спросила она в тот вечер.

– Даже если это всего лишь поэтический образ, София, следует жить по стиху, следует умирать за этот образ, – со спокойной убежденностью сказал Д. У. Сгорбившись в кресле, он умолк, погрузившись в раздумья. – Возможно, только поэзия открывает нам путь к правде о Боге.

…И когда метафора отказывает, мы думаем, что это Бог подвел нас! – воскликнул он с кривой ухмылкой. – Во всяком случае, эта идея стоит нескольких мгновений теологических ужимок!

Д. У. Ярброу напомнил Софии о том, что она является наследницей древней мудрости рода людского, законы и этику которой неоднократно проверяли и перепроверяли в сотнях различных культур, во всех мыслимых моральных климатах… наследницей кодекса поведения столь же надежного, как любой из тех, которыми способно похвалиться человечество. Ей хотелось рассказать Супаари о мудрости Гиллеля[32], учившего за век до Христа. «Не делай другим того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе». «Если не хочешь жить как руна, прекрати делать из них стадо, прекрати пользоваться их трудом, прекрати есть их! Найди другой способ для жизни». Возлюби милосердие, учили пророки. Поступай справедливо. Есть много такого, что можно разделить!

И тем не менее история ее родной планеты представляла собой почти беспрерывные войны, корнями своими с трагической частотой уходившие в воспаленное религиозное чувство и не знающую сомнений веру. Ей все хотелось спросить Д. У.: если мы имеем право учиться у ВаРакхати, то не вправе ли и они поучиться у нас? «Я не знаю, что делать, – думала она. – Даже физические законы сводятся к вероятностям. Как узнать, что мне надо делать?»

– Бог, затеявший это творение, однажды приведет его к совершенству, – нередко говаривал Марк Робишо.

А Эмилио Сандос как-то сказал ей:

– Мы находимся здесь, потому что Бог шаг за шагом привел нас сюда.

Ничто не происходит случайно, учили еврейские мудрецы. «Быть может, – думала она, – меня привели на Ракхат и оставили здесь именно для того, чтобы я принесла с собой нашу мудрость. Быть может, именно поэтому только я одна уцелела из всей нашей миссии… И быть может, я начну сходить с ума, – тут же поправила она себя, – если буду принимать эту мысль слишком серьезно».

Это был жуткий день. Она не смела и думать о том, как могла бы сложиться ее судьба, если бы только Супаари вовремя узнал, что она жива. «Радуйся тому, что у тебя есть», – сказала она, опускаясь на землю возле Канчая, возле своего спящего странного сына; возле Супаари и его крошечной красотки Хэ'эналы; между Сичу-Ланом, Тинбаром и всеми остальными, принявшими ее к себе.

Полностью слова Супаари дошли до нее на рассвете следующего дня.

– Другие… – Она села, прерывисто дыша, и уставилась во тьму. Другие. На планете были другие люди.

– *Сипаж,* Фиа! Что ты делаешь? – спросонья спросил ее Канчай. Он тоже сел, когда, став на колени, она принялась шарить возле края своего укрытия.

– Что ты ищешь?

– Компьютерный планшет, – проговорила она и тут же зашипела, наткнувшись в траве на беззаботно оставленный между тарелками нож.

– Агх, Фиа! Прекрати это! – вскричал недовольный Канчай, когда, ругнувшись, она принялась высасывать соленую кровь из узкой прямой ранки на ладони. За ним пробудился общий недовольный хор разбуженных растекшимся в стороны запахом крови – так, как крик пробудил бы людей, однако София продолжала шарить возле периметра навеса, в месте, отведенном

для хранения всякой всячины.

– Эмилио отправили домой на «*Стелле Марис»,* – бормотала она. – Поэтому и прекратился сигнал три года назад.

Наконец рука ее прикоснулась к краю планшета, и София немедленно прижала его к груди, аккуратно ступая между лежавших еще тел и продвигаясь наружу, под открытое небо, половина которого сделалась золотой, а вторая еще оставалась аквамариновой. «Они могли прилететь сюда только так, как это сделали мы сами», – подумала она. У них был материнский корабль и посадочный аппарат. Супаари не был уверен в том, что кроме Сандоса кто-то из новой партии землян сумел оставить Ракхат. То есть второй звездолет мог находиться возле планеты. А значит, посадочный аппарат укрыт ветками где-нибудь совсем рядом.

В нем могло оставаться и топливо в нужном количестве.

– Если они не сумели улететь… – произнесла она вслух. – О боже, ну пожалуйста…

Сеть связных спутников, восемь лет назад оставленная на орбите экипажем «*Стеллы Марис»,* сохранилась в рабочем состоянии. Она торопливо перепрограммировала радиопередатчик на широкополосный постоянный поиск любого активного передатчика, находящегося на орбите вокруг Ракхата. Как только система оказалась перенастроенной, на поиск ушли считаные минуты: 9,35 гигагерца.

– Да! – вскричала она сквозь смех и слезы, но тут же снова умолкла, не обращая никакого внимания на руна, теперь толпившихся вокруг нее, отметая их засыпавшие уши вопросы, как бессмысленные капли дождя.

На ее приветствие ответа не последовало, однако отозвались стандартные навигационные процедуры, интерфейсы, установленные Космическим агентством ООН, когда количество аппаратов, летавших возле Земли, стало представлять известную опасность для полетов. Подобно лоцману в гавани, берущему на себя управление грузовым судном, София переключила на себя контроль над компьютерной системой «*Магеллана»* и вошла в его архив. Возвращение экипажа на корабль не было зарегистрировано. Радиообмена также не было в течение почти трех лет. Посадочный аппарат должен был находиться на Ракхате, возможно, невдалеке от Кашана.

Она начала посылать повторяющееся сообщение на все узлы связи «*Магеллана»,* запрашивая возможный ответ по обратному контуру. София слушала эфир с колотящимся сердцем, надеясь получить ответ, любое свидетельство того, что они с Исааком не являются единственными землянами на Ракхате.

Когда день уже существенно перевалил за второй рассвет, она заставила себя оторваться от поиска и подумать.

Отсутствие ответа необязательно означало, что члены экипажа мертвы. Они просто могли находиться далеко от транспондеров. Супаари полагал, что они могли живыми находиться в плену, как тот же Эмилио. По крайней мере шесть месяцев, решила она, ощущая, как щиплет глаза после интенсивной нагрузки. Она должна была помочь им. София не могла оставить землян без помощи, не попытавшись хотя бы найти их.

Шесть месяцев.

А потом, по воле Бога, чью поэзию она теперь позабыла, она похитит их посадочный аппарат и корабль, конечно. И тогда Бог позволит ей, Софии Мендес, взять своего сына и вернуться домой на этом корабле.

Глава 15
Неаполь

Июль 2061 года

Официального предложения не было. Сидя на каменистом выступе возле пляжа, являвшегося его убежищем, раз уж Церковь не могла более даровать ему надежду, Эмилио наблюдал за тем, как Селестина играла на берегу, разговаривая с Джиной обо всяких пустяках, и после небольшой паузы спросил ее:

– А ты не станешь возражать против гражданского брака?

– Это, конечно, будет приятнее, чем кричать друг другу всякие гадости, – с непроницаемым лицом ответила Джина, устраиваясь поудобнее под его отведенной рукой, что вкупе послужило знаком согласия. – Когда?

– Ты с Селестиной в конце августа вместе со своими родителями отправляешься в горы, так? Значит, в первый уик-энд сентября.

Джина согласно кивнула.

– Лучше во второй половине дня, – предположила она спустя несколько минут, улыбаясь в сторону моря. – То есть если с браком что-то не сложится, весь день у нас не пропадет.

– В десять, – сказал Эмилио. – В десять утра. Третьего сентября, в субботу, после того как вы вернетесь домой.

Средство для такого варианта событий, подобно сокровищу, было погребено в коробке с письмами, собранными в Риме Иоганном Фелькером, которую доставил Сандосу Джон Кандотти.

Хотя печатные материалы неизменно подвергались сканированию на предмет наличия бомб и всякой заразы, любое письмо могло содержать слова, способные причинить ему новую боль. Эмилио знал, что беззащитен против любых нападок, и потому отказался читать письма, но Джина любила его и полагала, что всем прочим подобает разделить ее точку зрения на него. Итак, однажды в начале июля, когда Эмилио работал в одном конце собственных апартаментов, а Селестина устраивала себе домик вместе с Элизабет и игрушечным песиком по имени Франко Гросси, Джина сидела на чисто выметенном полу, раскладывая письма на четыре кучки: мерзкие, милые, забавные и интересные.

Закончив первый проход по содержимому коробки, она, взяв с собой Селестину, навестила в кухне брата Козимо, и они присмотрели за тем, как он сжигал мерзкие в хлебной печи. Козимо, принадлежавший к числу тех, кто одобрял эту парочку,

отослал обеих леди назад с тремя ореховыми мороженными и миской свежей зелени для Элизабет.

Стопка «милых» писем состояла в основном из писем бывших учеников Эмилио, лет в пятнадцать учившихся у него латыни, а теперь солидных людей на шестом десятке, сохранивших добрую память о его занятиях. Несколько юристов, адвокатов, предлагали открыть от лица Сандоса дело против Консорциума Контакт, обвинив эту организацию в клевете и злословии. Джина была обрадована этим фактом, однако Эмилио до сих пор считал себя виновным по кое-каким обвинениям, выдвинутым против него in absentia. Такие письма она отложила в сторону, так сказать, на всякий случай.

«Забавные» включали в себя несколько писем от дам, явно в большей степени владевших наукой шантажа, чем знанием основ репродуктивной биологии, и потому приписывавших отцовство своих детей безбрачному монаху, к тому же к моменту зачатия еще не находившемуся на планете. Эмилио прочел одно из них, но, в отличие от Джины, не обнаружил в нем никаких поводов для веселья, посему и эта стопка была отправлена в хлебную печь.

Итак, остались только интересные.

Большинство таких писем, полагала она, должны быть направлены по тому же адресу, то есть в огонь: просьбы об интервью, контракты на книги и так далее. Однако среди них затесалось послание юридической фирмы из Кливленда, штат Огайо, написанное по-английски, и конверт этот содержал копию рукописного распоряжения, датированного 19 июля 2021 года, подписанного знакомым Джине именем Энн Эдвардс, врача, вместе со своим мужем Джорджем Эдвардсом отправившегося на Ракхат в составе первой иезуитской миссии. Эмилио упоминал об Энн коротко и с трудом, поэтому Джина не стала торопиться, прежде чем заново открывать эту рану. Однако с учетом того, что послание могло иметь юридическое значение, она принесла письмо Эмилио и увидела, как, читая, он изменился в лице.

– *Caro*, это что-то плохое? Что там написано?

– Не знаю, что с этим делать, – проговорил он, покачав головой, и бросил бумаги на стол. После чего поднялся и, явно расстроенный, отошел.

– Что? Что такое? – спросила сидевшая на полу Селестина. Встревоженная, она перевела взгляд с одного взрослого лица на другое, после чего залилась слезами.

– Это опять про развод, *мамма*?

– О боже, – проговорил Эмилио и наклонился к девочке, раскрывая объятия. – Нет, нет и нет, *cara mia*. Это совсем о другом, Селестина! Ничего плохого. – Он посмотрел на Джину,

пожавшую плечами в стиле: что мы можем тут сделать?

– Это про деньги, – снова сказал Эмилио ребенку. – Ничего важного, *cara,* – просто про деньги. Может быть, это даже хорошо. Но мне надо подумать. Я не привык, чтобы другие люди думали обо мне. Наверное, все к лучшему.

Короткая записка от Энн была написана ею в солнечный день, среди волнений предстартовой подготовки первой миссии на Ракхат, когда смерть в полете оставалась еще сомнительным теоретическим фактором. «Счастья на них не купишь, мои дорогие. Здоровья тоже. Но даже маленькая денежка еще никому не повредила. Пользуйтесь». Они с Джорджем учредили трастовые фонды на каждого из участников иезуитской миссии, и за прошедшие сорок лет, как сообщила юридическая фирма, индивидуальные портфолио существенно подросли. В дополнение Эмилио Сандос был назван бенефициаром личного состояния Эдвардсов, вместе с Софией Мендес и Джеймсом Куинном. С точки зрения юридической фирмы, Сандосу по закону полагалась одна треть этого состояния. Условия завещания определяли, что, пока Сандос остается членом Общества Иисуса, ему следует войти в состав комитета попечителей для контроля за тем, чтобы средства были направлены на благотворительность в области образования и медицины. Однако в том случае, если по какой-то причине он предпочтет оставить священство, деньги будут находиться в его полном распоряжении.

Испуганный неожиданным наследством, не зная, что с ним делать, в первую ночь он начисто утратил сон. Однако утром он связался с братом Эдвардом Бером, работавшим биржевым брокером до вступления в Общество Иисуса, и старательно обдумал советы Эда, постепенно привыкая к тому, что он вдруг сделался удивительно богатым человеком. Решение пришло через неделю после того, как Эмилио впервые прочел записку Энн. Выбравшись из постели, он запросил список торговцев мебельным антиквариатом, практиковавших в Риме и Неаполе, оставив запрос на наличие и цену одного предмета. Сделав это, он вернулся в постель и уснул сразу, как только его голова коснулась подушки, восприняв на следующее утро этот факт как хорошее предзнаменование.

Через несколько дней, войдя в свой неаполитанский кабинет во время одного из периодических визитов в этот город, Винченцо Джулиани с изумлением обнаружил в нем превосходный стол работы мастера семнадцатого столетия, до блеска полированная, сложно инкрустированная поверхность которого сверкала под лучами солнца, падавшими сквозь высокие окна со средником. Стол, как отметил отец-генерал, не был

точной парой тому, который Эмилио Сандос сломал одиннадцать месяцев назад, однако казался почти равноценным. В лежащем на нем конверте находился счет, подтверждавший перечисление Обществу Иисуса головокружительной денежной суммы, снятой с личного счета Э. Х. Сандоса. Вся эта картина исторгла из уст отца-генерала продолжительное и задумчивое ругательство.

Расплатившись с долгами, располагая более чем достаточными средствами для найма собственного жилья и охраны и содержания семьи, сорокасемилетний Эмилио Сандос сделался вполне независимым человеком, призраки прошлого успокоились, ощущение вины рассеялось, Бог удалился.

«Жить и в моем возрасте не поздно», – думал он. И решил: гражданский брак, утром 3 сентября в присутствии немногих друзей.

Тем летом подробные отчеты о том, что Джина Джулиани и Эмилио Сандос считали исключительно своим личным делом, с разной скоростью проходили по восходящим иерархическим линиям трех древних организаций, попадая в руки отца-генерала Общества Иисуса, Верховного понтифика Римско-католической церкви и неаполитанского Босса боссов, *Capo di Tutti Capi*, каждый из которых интересовался происходящим, но по различным причинам.

Учитывая это новое и неприятное обстоятельство, они приняли коллективное решение ускорить приготовления к новому полету на Ракхат.

Выбранный для этой цели корабль был уже полностью подготовлен к межзвездному путешествию. Карло Джулиани окрестил его «*Джордано Бруно»,* в память флорентийского священника, сожженного на костре в 1600 году за высказанное им предположение о том, что звезды подобны Солнцу и вокруг них могут обращаться планеты, на которых может существовать жизнь[33].

«Бруно» представлял собой в высшей степени автоматизированный корабль; его небольшой экипаж был укомплектован весьма компетентными специалистами. Подготовка пассажиров-иезуитов также близилась к завершению. Запасы продовольствия, товары для торговли, медицинское оборудование и припасы, коммуникационное и необходимое для жизни на планете снаряжение уже перегружались на «*Бруно»,* находившийся ныне на низкой околоземной орбите. Навигационные программы были настроены на запуск в середине сентября 2061 года.

Торопить Сандоса было излишне. Более того, приписанные к

миссии иезуиты были измотаны той скоростью, которую он задал: Эмилио намеревался закончить анализ языка к'сан к 31 августа даже в том случае, если ученики его не выживут, и погрузился в проект с удивительной энергией.

Еще два года назад прикованный к постели лингвист встретил Джона Кандотти взволнованным.

– Ты англичанин?

Теперь Эмилио находился в почти постоянном движении и расхаживал почти по всей библиотеке, объясняя, рассуждая, споря, жестикулируя, молниеносно переходя с к'сана на латынь, далее на руанжу и, наконец, на английский; после чего внезапно останавливался, погружаясь в раздумья, темные волосы сваливались на его глаза, и он отбрасывал их движением головы, когда ответ на какой-то вопрос осенял его, и снова начинал расхаживать.

Джина, являвшаяся топливом для этого механизма, каждый день являлась в восемь вечера, чтобы выставить его из библиотеки, и прочие мужчины были рады ее явлению не менее самого Эмилио. Без ее вмешательства Сандос застрял бы в библиотеке еще не на один час, и рослые его ученики были обыкновенно утомлены в конце дня и вопреки самим себе мечтали услышать писклявый голос Селестины, обращавшийся к дону Эмилио, и ее торопливые мелкие шажки, раздававшиеся по коридору от входной двери.

– Христе Боже! Только посмотрите на них. Архангел Гавриил и Люцифер с мелким херувимчиком на посылках, – однажды вечером пробормотал Шон Фейн, провожая троицу взглядом. Он отвернулся от окна с кислым лицом, являя на нем собрание горизонталей: узкий безгубый рот, глубоко посаженные глаза, вздернутый нос.

– Священник у шлюхи, – процитировал он с печалью, – лучше, чем священник в браке.

– Святой Томас Мор едва ли имел в виду ситуацию Эмилио, – сухим тоном прокомментировал внезапно вошедший в библиотеку Винченцо Джулиани. – Пожалуйста, садитесь, – проговорил он, когда все поднялись на ноги. – Прежде все священство хранило обет безбрачия, но теперь священники диоцезов могут вступать в брак, – напомнил он Шону. – Или вы, отец Фейн, не одобряете решений Эмилио?

– Приходские священники могут жениться потому, что альтернативой изменению этого правила было только посвящение в сан женщин, – с роскошным цинизмом промолвил Шон.

– Однако едва ли в таком поступке следует видеть проявление семейной любви, так?

Джулиани выиграл известное количество времени, пройдя по библиотеке, поднимая со столов отчеты, улыбнувшись в знак приветствия Джону Кандотти, кивнув Дэниэлу Железному Коню и Жосеба Уризарбаррене. И, поскольку сам он в неменьшей мере был озабочен ситуацией, Джулиани решил обратиться к теме.

– Даже когда я еще был молод, Общество покидало больше мужчин, чем оставалось в нем, – непринужденно проговорил он, садясь спиной к окну так, чтобы видеть лица своих собеседников в угасающем свете, скрывая свое. – Будет лучше для всех, если в Обществе останутся только те, кто истинно привязан к нему. Впрочем, когда-то давно мы рассматривали сложение сана как самоубийство – как смерть, причем позорную смерть в собственной семье, – особенно если мужчина оставлял орден ради заключения брака. Подобные ситуации становились причиной прекращения десятилетий дружбы. Орден и оставлявшие его мужчины нередко погружались во взаимную обиду и непонимание.

Сделав паузу, он окинул взглядом собственных собеседников, неуютно пошевелившихся в креслах.

– Интересно, что вы чувствуете при виде этой парочки: Эмилио и Джины? – спросил отец-генерал, подняв брови с кротким любопытством.

Произнося эти слова, Джулиани смотрел на Дэниэла Железного Коня, однако отреагировал Шон Фейн, запрокинувший голову назад и со школярской искренностью зажмуривший глаза.

– Настойчивое соблюдение целибата требует твердого понимания его ценности для того, чтобы сделать нас постоянно готовыми к служению Богу, – громко и монотонно произнес он, – как и желание соблюдать древнюю и почтенную традицию и искреннюю надежду почерпнуть из источника Божественного милосердия, позволяющего нам возлюбить присутствие Бога во всех прочих без исключения. Иначе целибат становится бессмысленным самоограничением. – Разразившись этим утверждением, Шон огляделся по сторонам с воистину театральной меланхолией. – Собственно говоря, в прежние дни бессмысленное самоограничение составляло половину общей радости католицизма, – напомнил он, – и я, например, сожалею о том, что ощущение это прошло.

Джулиани вздохнул. Настало время, решил он, разоблачить этого химика.

– Мне известно, отцы, причем из надежного источника, что отец Фейн способен воспринять водородную связь как сущность… цитирую: как распахнутые руки Христа Распятого, объемлющие всю жизнь своей широтой… Провинциал Шон уверял меня в том,

что, когда вы познаете меру обитающей в его душе поэзии, вам будет проще понять и количество обретающегося там же дерьма.

Отметив с присущим эстету удовольствием, как голубые глаза Шона подчеркивают румянец, хлынувший на его щеки, не теряя мгновения, Джулиани обратился к предстоявшему делу:

– Вы не избегаете общества Эмилио Сандоса и не завидуете этому его счастью. Тем не менее оно должно ставить перед вами вопросы и делает это. Кто из нас двоих поступил правильно? Отверг ли он свою душу? Или я попусту потратил свою жизнь? Что, если я ошибаюсь полностью и во всем?

Проблему в самых жестких терминах поставил Жосеба Уризарбаррена.

– Как, – вопросил эколог, – перед лицом счастья этого человека могу я продолжить одинокую жизнь?

Джон Кандотти потупил глаза, Шон фыркнул и отвернулся, однако взгляд отца-генерала оставался прикованным к лицу отца-настоятеля миссии.

– Ставки колоссальны: жизнь, посмертие, вечность, – произнес Джулиани, глядя в упор на Дэниэла Железного Коня. – И каждый из нас должен ответить на них для себя.

На довольно продолжительное время тишину в комнате не нарушал ни единый звук, родившийся внутри нее или пришедший снаружи. Наконец молчание прервал резкий скрип деревянных ножек по каменному полу. Дэнни поднялся на ноги, жесткий взгляд его небольших черных глаз, утопавших в изрытом оспинами лице, обратился к Винченцо Джулиани.

– Простите, мне нужно подышать свежим воздухом, – произнес он, бросая карандаш, и вышел.

– Простите и меня, отцы! – кротким тоном произнес Джулиани и следом за Железным Конем оставил комнату.

Дэнни ожидал его в саду с маской воплощенной совести на лице, массивное тело чернело в сгущавшейся тьме.

– Позвольте мне, – безмятежным тоном промолвил отец-генерал, когда стало ясно, что Железный Конь не намерен предоставлять ему преимущества, заговорив первым. – Вы находите меня достойным презрения.

– Сойдет для начала.

Джулиани опустился на одну из садовых скамеек и посмотрел вверх, на очертания нескольких самых ярких созвездий, уже проступавших на небе.

– Игнаций однажды сказал, что величайшее утешение находил, созерцая ночное небо и его звезды. С времен Галилея космос являлся уделом телескопов и молитвы… Конечно, Лойоле

и Галилею не приходилось иметь дело со световым загрязнением неаполитанского неба. Но на Ракхате небо должно выглядеть самым потрясающим образом. Возможно, жана'ата правы, запрещая искусственное ночное освещение.

Он посмотрел на Дэнни.

– Вы хотите спросить меня о том, как перед лицом счастья этого человека может продвигаться вперед подготовка миссии тем же образом, которым она была задумана первоначально?

– Это бесчестно, – решительно отрезал Дэнни. – Это самоуправство. Это жестоко.

– Святой Отец…

– Прекратите прятаться под его юбку, – фыркнул Дэнни.

– Вы порядочный человек, – заметил Джулиани. – Но можно найти и выход из положения, патер Железный Конь…

– И уступить Общество вашей родне?

– Ах да. Моей родне, – произнес отец-генерал, почти улыбаясь. Вечер выдался странным образом тихим. В детстве своем Винс Джулиани любил слушать болотных квакш, в летних сумерках наполнявших каждую низину своей бессловесной песней. Здесь, в Италии, ему приходилось ограничиваться только дискантом сверчков, и потому вечер казался беднее. – Вы молоды, отец Железный Конь, и потому вам присущи пороки молодости. Уверенность. Близорукость. Презрение к прагматизму. – Он откинулся назад, соединенные ладони бестрепетно лежали на его коленях. – Хотелось бы мне прожить достаточно долго для того, чтобы увидеть, каким вы в конечном счете станете.

– Это нетрудно устроить. Не хотите ли обменяться положением? Проведите год в полете на Ракхат. Когда вы вернетесь, мне будет уже восемьдесят лет.

– Уверяю вас, такое предложение выглядит достаточно привлекательно. К сожалению, оно нереально. Все мы одиноки перед Богом и не можем обменяться жизнями. Неужели мне следует вывесить на Джезу Нуово[34] одно из этих вечных итальянских объявлений: *Chiuso per resmauro* – закрыто на реставрацию до возвращения Дэниэла Железного Коня? – промолвил Джулиани, поднимая брови. Легкая ирония в его голосе бесила, и он понимал это.

– Готов поклясться Христом в том, что ваша работа, старче, трудней, чем выглядит со стороны, – прошипел Дэниэл Железный Конь, собираясь развернуться на месте и уйти. – В противном случае у вас не может быть оправдания.

– Да, вы правы. Она *очень* трудна, – проговорил Винченцо Джулиани с такой внезапной свирепостью, которая заставила Дэнни остановиться и повернуться к отцу-генералу. – Следует ли

мне исповедаться вам, отец Железный Конь? Сомневаюсь. Сомневаюсь в мои-то годы!

Он поднялся и начал ходить.

– Боюсь, что я сделал глупость, позволив себе жить так, как жил я все эти годы, и верить так, как я верил. Я боюсь, что все сделал неправильно. И знаете почему? Потому что Эмилио Сандос не атеист. Дэнни, среди нас находится наш же, собственно, человек, к жизни которого Бог прикоснулся так, как никогда не прикасался к моей жизни, и при этом верующий в то, что душа его опустошена духовным насилием, в то, что жертва его осмеяна, преданность отвергнута, любовь осквернена.

Остановившись перед своим младшим собеседником, он очень тихо проговорил:

– Когда-то я завидовал ему, Дэнни. Эмилио Сандос был образцом того священника, каким я хотел стать, и вдруг – это! Я пытался представить, что чувствовал бы, оказавшись на месте Сандоса, если бы на мою долю выпало то, что пришлось испытать ему.

Поглядев куда-то во тьму, он проговорил:

– Дэнни, я не знаю, как жить, зная его историю – а ведь мне пришлось всего лишь выслушать ее!

И он заходил снова, ходьбой этой выдавая внутренний спор, погасивший почти на год молитву, веру и душевный мир.

– Во тьме души моей я даже подумал: неужели Богу приятно видеть наше отчаяние – подобно тому, как вуайерист наслаждается созерцанием эротических сцен? Это могло бы многое объяснить в истории человечества! Моя вера в смысл жизни Иисуса, понимание христианского учения были потрясены в самой своей основе, в Христе, – проговорил он, выдавая голосом слезы, уже блестевшие в лунном свете на его щеках. – Дэнни, чтобы сохранить свою веру в благое и любящее божество, в Бога, не являющегося капризным и злобным деспотом, я должен верить в то, что все это служит какой-то высшей цели. А еще я обязан верить в то, что самая большая услуга, которую я в состоянии оказать Эмилио Сандосу, заключается в том, чтобы позволить ему лично определить, в чем именно заключалась эта цель.

Джулиани остановился и в переменчивых ночных тенях попытался усмотреть понимание в лице собеседника и понял, что слова его были услышаны и, более того, впечатались в память.

– Аргументы на лестничной клетке, – проговорил Дэнни, отступая. – Дерьмовое самооправдание. Вы приняли решение и просто пытаетесь оправдать то, чему нет оправдания.

– И вы отпустите меня без епитимьи? – удивился Джулиани со скорбью в голосе, позабавившей их обоих.

– Живите, отче, – ответил Дэнни. – Живите и радуйтесь делам рук своих.

– Даже Иуда сыграл какую-то положительную роль в нашем спасении, – проговорил Джулиани, обращаясь едва ли не к себе самому, но закончил с властной интонацией, которую обязан был проявить:

– Согласно моему решению, отец Железный Конь, Общество Иисуса еще раз послужит папскому престолу, как и было задумано его основателем и Господом нашим. Мучительный разрыв завершится. Мы снова признаем власть Папы посылать нас на исполнение любого дела, которое он сочтет необходимым для спасения душ. Снова «все наши силы будут устремлены к обретению добродетели, которую мы называем повиновением, в первую очередь Папе, а потом главе ордена…»

– «Во всем, кроме греха!» – дополнил Дэнни.

– Да. Именно: во всем, кроме греха, – согласился Винченцо Джулиани. – И поэтому я не могу и не буду принуждать вас делать то, что вы находите неприемлемым, Дэнни. Ваша душа принадлежит вам – однако в опасном положении находятся и другие души! Поступайте, следуя указаниям вашей совести, – крикнул он в спину удалявшемуся во тьму Дэнни. – Но помните, что стоит на кону!

Через считаные мгновения Дэниэл Железный Конь обнаружил, что смотрит на ярко освещенные окна дормитория. Он помедлил, потом повернулся, вернулся к двери гаража и постучал. Послышались легкие и быстрые шаги по лестнице, потом звякнул крючок, вынутый из гнезда. В двери появился Сандос, и какое-то время мужчины просто смотрели друг на друга, привыкая к реальности, поскольку каждый из них думал, что за дверью может оказаться Джина.

– Отец Железный Конь, – произнес наконец Эмилио, – вы похожи на человека, которому надо исповедаться. – Удивленный Дэнни моргнул. – Я долго был священником, Дэнни, и знаю признаки. Пойдемте наверх.

Сандос уже готовился ко сну, однако надел ортезы и достал из своего шкафчика два бокала и бутылку «Ронрико», аккуратно отмерил каждому дозу со странным изяществом, которое позволяла теперь его биомеханическая система. Сел за стол напротив Железного Коня и склонил голову, приготовясь слушать.

– Я пришел, чтобы извиниться, – сказал Дэнни. – За ту чушь, которую я скормил вам прошлой зимой, когда сказал, что вы могли принести на Землю ту заразу, от которой умер Ярброу. Я знал, что это не так. И сделал это для того, чтобы посмотреть, как

вы отреагируете. С моей стороны это был наглый, бесчестный и позорный поступок. Мне стыдно.

Сандос не шевельнулся.

– Спасибо, – проговорил он наконец. – Я принимаю ваши извинения.

Сомкнув пальцы вокруг бокала, он отправил его содержимое в глотку.

– Сказать это было непросто, – заметил Сандос, наливая себе следующую дозу. – Впрочем, как говорят, цель оправдывает средства. Вы заставили меня собраться. Ваш поступок послужил тому, что теперь мне много лучше.

– Вы действительно верите в эти слова? – со странной сосредоточенностью произнес Дэнни. – В то, что цель оправдывает средства?

– Иногда. В зависимости, очевидно, от того, насколько важна цель. И от того, насколько мерзки средства.

Железный Конь сидел, горбясь над нетронутым бокалом, локти его почти достигали обоих краев стола.

– Сандос, – спросил он после небольшой паузы, – существует ли нечто такое, что может убедить вас вернуться вместе с нами на Ракхат?

Эмилио фыркнул, взял бокал, глотнул:

– Я искренне считаю, что не сумею напиться настолько, чтобы эта идея понравилась мне, – пробормотал он, – однако можем попробовать.

– Джулиани вместе с Папой искренне веруют, что Богу угодно, чтобы вы вернулись туда, – настоятельным тоном произнес Дэнни. – Д. У. Ярброу считал, что вы повенчаны с Богом…

– Ну, Ницше сказал бы на это, что я могу считать себя вдовцом, – прервал его Эмилио. – Я лично считаю себя в разводе. Расставание не было приятным.

– Сандос, – осторожно проговорил Дэнни, – даже Иисус думал, что Бог оставил Его.

Эмилио откинулся назад в своем кресле, глядя на него с каменным презрением боксера, намеревающегося уложить неадекватного противника.

– Не надо пробовать эти штучки на мне, – посоветовал он, однако Железный Конь не опустил взгляд. Сандос пожал плечами:

– Я честно предупредил вас.

– Муки Христа растянулись на три часа, – сказал он негромко, и Дэнни моргнул. – Я порвал с Богом, Дэнни. Я не желаю иметь с Ним ничего общего. Если ад есть всего лишь отсутствие Бога, мне будет уютно в аду.

– Дочь моего брата, Уолтера, утонула, – проговорил Дэнни, взяв в руку бокал с ромом и посмотрев его на просвет. – Четырех лет от роду. Через шесть месяцев после похорон Уолт подал на развод. В этом не было вины моей невестки, но Уолту надо было кого-то обвинить. Последующие десять лет он потратил на то, чтобы упиться насмерть, и в итоге это ему удалось. Перевернулся ночью в своей машине. – Высказав свою мысль, он проговорил с немалым сочувствием: – Вам должно быть очень одиноко.

– Было, – проговорил Сандос. – Но теперь я не одинок.

– Передумайте, – попросил Дэнни, склоняясь вперед. – Прошу вас, присоединитесь к нам.

Не веря себе, Эмилио глухо усмехнулся.

– Дэнни, я женюсь через двадцать пять дней! – Он посмотрел на часы. – И тринадцать часов. Плюс одиннадцать минут. Но кто будет считать, правда?

Улыбка его померкла, когда он посмотрел на Железного Коня; трогательно было видеть этого рослого и неэмоционального человека на пороге слез.

– Почему это настолько важно для вас? – спросил Эмилио. – Или вы боитесь? Дэнни, у вас и вашей группы огромный задел по сравнению с нами! Да, вы будете ошибаться, но не будете повторять наших ошибок.

Железный Конь отвернулся, глаза его блестели.

– Дэнни, – предположил Эмилио, – вы знаете что-то еще?..

– Да. Нет. Не знаю, наконец, – произнес Дэнни. – Я… мне надо подумать… Но не доверяйте никому из Джулиани, Сандос.

Сбитый с толку, Эмилио нахмурился. Возможно, Дэнни думал, что выдает великий секрет, но все на свете знали, что семейство отца-генерала – это каморра. Растерявшийся, ищущий выход из неловкой ситуации, Эмилио мог только переменить тему:

– Послушайте, Джон спрашивал меня о синтаксисе в руанже… Сегодня вечером я составил для него кое-какие заметки, но вспомнил, что как будто бы уже работал над этой темой – до побоища. Я просил Джулиани сбросить все, что мы посылали обратно в мою систему, но так и не смог найти этот файл. Возможно ли, что часть моих материалов хранится отдельно?

Сидевший с рассеянным видом Дэнни заставил себя обратиться к словам Сандоса:

– Это было в конце передач?

– Да. Последняя моя передача на корабль.

Дэнни пожал плечами.

– Возможно, она находится в очереди ожидающих отправки материалов.

– Что? Материал еще не отправлен на Землю? Как такое могло случиться?

– Информация отправлялась пакетами. Бортовые компьютеры были настроены хранить ваши сообщения и отправлять их группами. Если относительное расположение Солнца и светил Ракхата было неудачным, тогда система группировала материалы в очередь, так чтобы можно было совершить передачу без потерь.

– Это для меня новость. Я думал, что все отправлялось сразу после того, как мы помещали материал в компьютер, – удивился Сандос, почти не уделявший внимания подобным техническим соображениям. – Итак, моя статья больше года просто находилась в памяти компьютера до тех пор, пока экипаж «*Магеллана*» не отослал меня обратно? Неужели пакеты информации могли разделяться столь продолжительной паузой?

– Не имею представления. Я не слишком много знаю о небесной механике перелетов. Система должна была учитывать относительные перемещения четырех светил. Постойте… люди с «*Магеллана*» высаживались на «*Стелле Марис»,* так? Возможно, заходя в память корабля, они отключили код передающего устройства. – Подумав, Дэнни решил, что эта возможность является наиболее вероятной. – Последний пакет, вероятно, до сих пор сидит в памяти «*Стеллы*». Если хотите, я могу извлечь его оттуда.

– С этим можно подождать до утра.

– Нет. Вы заинтриговали меня, – проговорил Дэнни, радуясь реальной возможности что-то сделать. – На запрос уйдет всего несколько минут. Не знаю, почему никто до сих пор этого не проверил.

Оба вместе перешли к стене фотонного оборудования, и Железный Конь вошел в библиотеку памяти «*Стеллы Марис*».

– Ну вот и оно, шеф, – проговорил он по прошествии нескольких минут. – Смотрите сами. Ваше сообщение до сих пор заархивировано и закодировано. – Он запросил систему разархивировать информацию, для чего пришлось подождать.

– Вау. Тут много всего, – заметил Сандос, посмотрев на экран. – Кое-какая дополнительная информация от Марка. Жосеба будет доволен. Да! Вот и мой файл. Я же помнил, что уже проделывал такую работу, – проговорил Сандос. Он молча стоял за плечом Дэнни, пока по экрану проходил новый файл. – София работала над торговыми сетями… – Сандос задохнулся. – Постойте. Постойте, постойте, постойте. *Пролистайте* назад! Можно остановить процесс?

– Нет. Машина разархивирует все целиком… Ну вот. Она закончила, – проговорил Железный Конь.

Сандос, тяжело дыша, отвернулся.

– Не ради Общества. Не ради Церкви, – прошептал он. – Нет. Нет. Нет. Я видел, что она умерла.

Дэнни повернулся в кресле:

– О чем вы говорите, шеф?

– Пустите меня и не мешайте, – резким тоном бросил Сандос.

Дэнни выбрался из кресла, и Сандос устроился перед дисплеем.

Собравшись с духом, как будто готовясь принять удар, он снова аккуратно проговорил идентификационные данные и дату, вызвав на экран последний в очереди комплект файлов, невероятным образом переданных на борт спустя много месяцев после его собственной последней передачи, теперь, наверное, восемнадцать лет назад по времени Ракхата.

– Сандос, что случилось? Что вы там увидели? Не понимаю… – Испуганный тем, как внезапно побледнел Сандос, Дэнни нагнулся над плечом Эмилио и посмотрел на экран.

– О боже мой, – беспомощно поговорил он.

Все прошедшие месяцы с того момента, когда он приступил к изучению документов миссии «*Стеллы Марис*» и статей, отосланных на Землю ее экипажем, Дэниэл Железный Конь подчас испытывал неопределенное чувство вины, когда вызывал портреты аналитика в области искусственного интеллекта Софии Мендес: акварели, нарисованные отцом Марком Робишо, натуралистом первой миссии, оцифрованные и переданные по радио. Первые из них были сделаны на Ракхате, во время свадьбы Софии и астронома Джимми Куинна; другие оказались сделанными позже, во время беременности, смягчившей классические черты. Впервые увидев эти портреты, Дэнни решил, что Робишо идеализировал свою модель, потому что на последней его акварели, сделанной за считаные дни до происшедшего в деревне Кашан побоища, София Мендес была столь же прекрасна, как Мадонна на византийской иконе Благовещения.

Но когда сравнения ради Дэнни открыл одну из немногих заархивированных фотографий Софии, ему оставалось только признать научную точность зарисовок Робишо. Ум, красота и внутренняя сила – все совпадало. Необычайная женщина…

– О боже, – повторил Дэниэл Железный Конь, не отрывая глаз от экрана.

– Не вернусь, – повторил Сандос, содрогаясь всем телом. – Даже ради нее.

Глава 16
Труча Сай

2047 год по земному летоисчислению

– Супаари, вы понимаете, чего просите? – проговорила София. – Я не могу обещать, что кто-нибудь отведет вас домой…

– Домой, – повторил Исаак.

– Я не хочу возвращаться домой! Мне незачем возвращаться! Но здесь я ничто. Даже меньше, чем ничто…

– Чем ничто, – повторил Исаак.

– Тогда подумай о Хэ'энале! – настоятельным тоном сказала София. Девчушке, о которой шла речь, исполнился всего один сезон, и она спала на ее руках… клубок меха и скрытой энергии.

– Какого рода будущее ждет ее среди моего народа?

– Реди моего народа, – повторил Исаак.

София посмотрела на сына, редкая ошибка в произношении привлекла ее внимание. Было время, когда звук голоса своего ребенка наполнял ее радостью и облегчением; теперь она знала, что это всего лишь эхолалия – навязчивое, бесстрастное повторение, бессмысленное и невероятно раздражительное.

– Да, думаю я о Хэ'энале, – воскликнул Супаари. – Я только о ней и думаю!

– Думаю.

Супаари резко поднялся с мягкой листвы и отошел только для того, чтобы вновь повернуться к Софии, ометая землю тяжелым хвостом. Он совсем не замечал за собой этот жест, однако за прошедшие месяцы она видела его достаточно и знала, что таким образом изображается охрана своей территории. Он показывал, что будет защищать свою точку зрения.

– Никто не женится на дочери ВаХаптаа, София, а если мы останемся среди руна, Хэ'энала все равно что мертва. Я все равно что мертв… хуже чем мертв! Все мы четверо застряли здесь среди чужого нам народа…

Супаари вдохнул, проверяя запах.

– Нам народа, – повторил Исаак.

София напряженно следила за тем, как принюхивался Супаари. Они внимательно прислушивались к звукам, с которыми их покровители-руна пробуждались после полуденной сиесты, однако ничего не было, кроме нормального шума биомассы и сытости, окутывавшего укромную хатку, в которой София каждый месяц укрывалась на несколько дней, когда запах ее тела становился отвратительным для руна.

Иногда они с Супаари приходили сюда просто для того, чтобы поговорить; однако даже в уединении они использовали для общения английский язык – так, как родители Софии разговаривали между собой на идише в Стамбуле, когда она была ребенком.

Однако сегодня за ними последовал и Исаак, явив таким образом желание побыть с другими – готовность идти следом за матерью и ее другом, не глядя на них, но с той же скоростью, в том же направлении, останавливаясь, когда останавливались они, сидя на месте, пока они оставались неподвижными. Казалось, что он не воспринимает их существование, однако София постепенно убеждалась в том, что Исаак впитывает в себя много больше, чем отдает наружу, и это иногда приводило ее в бешенство. Казалось, что он отказывается говорить просто для того, чтобы позлить ее, потому что ей уж так это надо…

– Сандос говорил мне, что у вас на Земле есть глупое мясо, – произнес Супаари, нарушая течение ее мыслей. – Мясо не людей…

– Не людей.

– Супаари, это место богато мясом! Ты можешь есть *пийанот.* Или *кранил*…

– Кранил.

– И как я буду их, по-твоему, ловить? – возмутился Супаари. – *Пийанот* слишком быстрые, а *кранил* слишком большие – когда на них охотятся, они катаются по земле и давят охотников! Мы всегда ели только руна, которых легко поймать. – Он протянул хватательную ногу и зацепил Исаака за лодыжку.

– Видишь? – оскалился Супаари в гневе и муке. – Мы сотворены для того, чтобы ловить такую медленную дичь, как это дитя! Если руна перестанут приходить к нам для того, чтобы мы убивали их, города умрут от голода меньше чем за сезон. Поэтому мы и разводим их. Они нужны нам…

– Супаари, отпусти Исаака.

Привычный мальчику полный покой превратился в абсолютную неподвижность, однако он не вскрикнул и не заплакал от страха. Супаари мгновенно выпустил ребенка, уши его поникли в знак извинения. Исаак никак не отреагировал на произошедшее, но София облегченно вздохнула и посмотрела вверх – на высящегося над ней жана'ата.

– Иди сюда и садись, – ровным тоном произнесла она и, когда Супаари опустился на землю возле нее, сказала: – Существуют различные способы охоты! Руна могут сделать для тебя ловчие ямы. Или ловушки.

– Ловушки, – проговорил Исаак с такой же механической

интонацией, как и прежде.

– Отвези меня обратно на свою С'емлю, и дочь мою тоже, и там я смогу есть, не зная стыда, – настаивал Супаари. Став на колени, он посмотрел на малышку, лежавшую у нее на коленях, и снова посмотрел на нее: – София, я никогда не смогу вернуться к своему народу. Я никогда не сумею сделаться таким, каким был прежде. Но я думаю, что мне не удастся остаться у руна, – произнес он с тихим отчаянием. – Они хорошие. Они достойные люди, но…

– Но.

Оба они на сей раз обратили внимание на сказанное Исааком слово, и оно повисло в воздухе со всем тем, на что намекало, но оставило непроизнесенным.

София протянула руку и провела тыльной стороной ладони по волчьей щеке.

– Я знаю это, Супаари. И понимаю тебя.

– Тебя.

– Думаю, что я смог бы жить среди твоего народа. Возле Хэ'эн. Тебя. Твоего Джими. Джоржа. Вы были моими друзьями. И я верю, что… – Он вновь умолк, набираясь отваги, запрокидывая голову назад, чтобы посмотреть на нее с высоты всей своей гордости. – Я хочу также найти Сандоса и подставить ему мою шею. – Она попыталась что-то сказать, но он решительно продолжил, прежде чем Исаак успел повторить последнее слово: – Если он не убьет меня, тогда я и Хэ'энала будем жить с тобой и учить твои песни.

– Учить твои песни, – сказал Исаак, посмотрев при этом на взрослых. Мгновенное проявление непосредственного внимания оказалось столь коротким, что его никто не заметил.

– Куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить[35], – бормотала София на жалком идише. «Мама моя, – подумала она, – я знаю, что у него есть хвост, но, похоже, он намеревается обратиться».

И как могла она ответить отказом? Она ждала все эти шесть бесконечных, бесплодных месяцев, рассчитывая на тот сомнительный шанс, что ее радиомаяк привлечет внимание неведомых ей людей. Рядом с ней, так близко, что она могла ощущать излучаемое его телом тепло, находился мужчина, прекрасно знакомый ей и небезразличный, которого она начинала понимать. Менее чуждый ей, чем собственный сын, более подобный ей, чем могла она подумать еще несколько лет назад, и так же пристыженный тем, что его благодарность руна недостаточна для того, чтобы превзойти буравящую мозг потребность продумать до конца хотя бы одну мысль так, чтобы

ее не прервала бесконечная болтовня, сделать хотя бы один жест, оставшийся без внимания и комментариев окружающих, прогуляться по окрестностям без того, чтобы вызвать среди руна тихое, но продолжительное смятение, возникавшее всякий раз после любого временного расставания с группой.

– Ладно, – сказала она наконец. – Если ты действительно думаешь, что так будет лучше для Хэ'эналы. Если ты хочешь этого…

– Хочешь этого.

– Да. Я хочу этого.

– Хочу этого.

Углубившись каждый в собственные думы, они еще немного посидели.

– Пора возвращаться в деревню, – проговорила София спустя какое-то время.

– Скоро красный свет. Супаари поет.

София едва не пропустила мимо ушей эти слова, настолько безразличной она стала к бесцветному голосу своего сына.

«Супаари поет».

Ей пришлось повторить про себя эти звуки, чтобы окончательно убедиться в том, что она слышала их. «Бог мой, – подумала она. – Исаак сказал: «Супаари поет».

Она не заключила ребенка в объятия, не вскрикнула, не разрыдалась, даже не шевельнулась, только посмотрела на Супаари, застывшего в таком же, как и она, изумлении.

Она слишком часто видела, как Исаак утекал прочь – делался Отрицанием реальности, не присутствовавшим в ней, когда к нему прикасались.

– Да, Исаак, – сумела сказать София совсем нормальным тоном, как будто обращалась к самому обыкновенному ребенку, желающему получить подтверждение матери на свои слова. – Супаари поет на втором закате. Для Хэ'эналы.

– Супаари поет на втором закате.

Они ждали, затаив дыхание.

– Для Исаака.

Супаари заморгал с открытым ртом настолько по-человечески, что София едва не рассмеялась. Держа на руках его дочь, София подняла подбородок.

– Для Исаака, Супаари.

Тот встал и подошел поближе к мальчику, внимательно наблюдая за гладкой кожей, ожидая увидеть мелкий, едва заметный трепет мышц, предшествующий бегству. Какой-то инстинкт, прежде никогда не испытывавшийся им в подобной манере, подсказал ему, что не следует становиться лицом к

ребенку, поэтому Супаари опустился на колени рядом с Исааком и запел ему негромко и незримо.

Как только первые ноты вечерней песни присоединились к лесному ночному хору: гудению, жужжанию, скрежету и мелодичному посвисту, – София затаила дыхание. И вдруг к мелодичному и плавному басу Супаари присоединилось детское сопрано, безупречное по высоте, безукоризненно и в чудесной гармонии выговаривавшее слова.

Глядя сквозь слезы своим близоруким глазом на светившееся в лучах розового заката лицо сына, София видела его преображенным, живым – подлинно *живым* впервые во всей своей жизни.

И благословенным «Богом Отцом» ее, даровавшим им жизнь и пропитание, позволившим им дожить до этого мгновения.

Перед последними нотами песни она глубоко вдохнула воздух, как бы пропитанный ароматом музыки. Голосом ровным, с лицом, залитым слезами с одной стороны, София Мендес спросила своего сына:

– Исаак, а ты хотел бы узнать еще одну песню?

Он не смотрел на нее, но с необыкновенной уверенностью и равновесием, сопровождавшими его с первых попыток ходить, он подошел к ней. И, глядя в сторону, этот эльф, ее сын, приложил к ее губам тонкий палец, легкий, как крылышко стрекозы-стрелки. «Да, пожалуйста, – говорил он ей единственным доступным ему способом. – Еще одну песню».

– Эту песню люди нашего народа поют по утрам и вечерам, – сказала она и возвысила голос в древнем призыве: – Ш'ма Исраэль! Адонай Элоэйну, Адонай Ехад. – Слушай, Израиль! Господь Бог наш, Господь Один!

Когда она допела, маленький пальчик снова прикоснулся к ее губам, и София запела снова, и на сей раз к ней присоединился голос ее сына, совершенный в слове и гармонии.

Закончив, София высморкалась в горсточку скомканных листьев и утерла лицо о плечо одной из оставшихся теннисок Джимми, бывшей в тот день на ней. Несколько мгновений погладила изношенную мягкую ткань, радуясь хоть какому-то контакту с отцом Исаака. А потом встала.

– Пойдем домой.

Она уже давно обнаружила посадочный аппарат «*Магеллана*», с помощью орбитального транспондера корабля, активировавшего его маяк для программ глобального позиционирования орбитальных спутников, передавших координаты на ее компьютерный планшет. Покинутый орбитальный самолет

находился всего лишь в нескольких километрах от деревни Кашан. Войдя в его бортовые системы, она обнаружила, что корабль надежно заперт, располагает достаточным запасом топлива для того, чтобы вернуться на орбиту, и как будто бы оставался потенциально работоспособным. Активировав связь, она обнулила метку времени и даты, поставила транспондер в режим ожидания ответа.

– Говорит София Мендес, член экспедиции «*Стеллы Марис*». Сегодня 5 марта 2047 года по земному летоисчислению. Я ждала ответа на мой вызов от любого присутствующего на Ракхате человека 165 дней по местному времени. Оставляю эту записку, чтобы предупредить о том, что я намереваюсь через пятнадцать дней по ракхатскому времени на посадочном аппарате «*Магеллана*» оставить эту планету и перейти на материнский корабль. Если к этому времени вы не сумеете добраться до посадочного аппарата, то останетесь здесь. Я сожалею об этом, но больше ждать не могу.

Она обнаружила, что только с большим трудом сумела рассказать Канчаю и всем остальным о своем намерении покинуть Ракхат, но, к ее облегчению, большого волнения среди руна ее план не произвел.

– Этот уже гадал, когда ты соберешься домой, – молвил Канчай. – Тебе, конечно, потребуется хороший товар, чтобы привезти его домой, иначе они подумают, что твое путешествие было неудачным.

Этими словами он напомнил ей, что руна всегда считали, что иезуиты прибыли с Земли исключительно с торговыми целями. А собравшийся лететь с ней Супаари также принял, с их точки зрения, разумное решение: лучше перенести свою торговую деятельность в те края, где тебе не угрожает смертная казнь.

Отправленная Обществом Иисуса миссия завершилась именно таким образом, что вполне устраивало Софию, женщину практичную и к тому же дочь экономиста. Торговля с древних пор служила стимулом для открытия новых земель, и причина эта в данный момент казалась Софии вполне достойной. А собственные претензии на высокое предназначение, похоже, оказались всего лишь рожденными жаждой обрести какое-то значение посреди здешнего уединения. Бредовый, но действенный способ справиться со страхом, вызванным перспективой умереть тут в одиночестве и забвении.

Месяцы ожидания ответа София посвятила старательной подготовке к возвращению домой. Совместно с Супаари она составила списки легких, но не занимающих много места товаров и научных образцов, способных, по ее мнению, представить на

Земле материальную или научную ценность: драгоценные камни биологического происхождения, подобные жемчугу или янтарю, но выращенные на Ракхате; маленькие и простые, но изящные чаши и блюда, вырезанные из здешних раковин и красивых пород дерева; образцы почвы, семена, клубни. Дивные, изумляющие сложностью рисунка ткани; многоцветная керамика, поражающая красотой и выдумкой. Растительный обезболивающий бальзам, ускоряющий заживление ран, в свое время помогший Софии. Ювелирные изделия. Образцы благовоний. Герметично упакованные образцы шкур, непроницаемых для любого ненастья; технические руководства, предоставленные химиками, а также формулы и рисунки, иллюстрирующие технологические процессы, которые, по мнению Софии, известны лишь на Ракхате. Достаточно, чтобы гарантировать финансовую независимость, полагала она, если к тому времени, когда они достигнут Земли, там еще будут существовать патентное право и лицензионные договоры.

К тому же они с Супаари смогут торговать интеллектуальной собственностью: знаниями культур руна и жана'ата, переводческими навыками, уникальными аспектами понимания культуры и ее ракурсов, которые можно будет приплюсовать к бессчетным гигабайтам геологических, метеорологических, экологических данных, все эти годы непрерывно собиравшихся «*Магелланом*» и автоматически пересылавшихся им на Землю. Тем не менее София не была дурой, и ее воспоминания о родной планете не способствовали наивному оптимизму. Их могут убить сразу, при первой встрече, – из страха перед эпидемией неведомой инопланетной болезни или из чистой ксенофобии. Груз могут конфисковать, а Супаари – посадить в клетку и показывать его в зоопарке. Сына ее поместят в психушку, а ее саму упрячут за решетку – по приказу первого правительства, с которым они столкнутся.

«Бог, затеявший эту историю, доведет ее до конца, – подумала София, вспомнив Марка Робишо. – Возможно, на космическом причале нас встретят иезуиты. И Сандос…»

София замерла, ошеломленная тем, как много значит для нее возможность вновь встретить Эмилио, а для него – встретиться с Супаари. «Как знать, – подумала она, – быть может, к тому времени Эмилио простит Супаари. Христиане обязаны прощать». Ей вдруг пришло в голову, что, когда ее сообщения будут прочитаны на Земле, Эмилио может без долгих раздумий отправиться за ней, как только будет готов новый корабль. Такой донкихотский поступок в его духе. «И мы можем разминуться!» – поняла она, содрогнувшись от такой мысли.

«Нет, – в конце концов решила София. – Бог не может оказаться настолько жестоким». И она заставила себя думать о другом.

Глава 17
Неаполь

Август 2061 года

– Что не так? – спросил Эмилио, когда Джина встала, чтобы помыть тарелки после трапезы, прошедшей в достаточно приятной, но все-таки несколько напряженной обстановке.

– Ничего, – ответила она, возясь возле раковины.

– То есть что-то все-таки не в порядке. Это способен понять даже бывший священник! – сказал Эмилио с улыбкой, мгновенно исчезнувшей с его лица, когда она не ответила.

Учитывая весьма недолгое время, проведенное вместе, они с Джиной успели несколько раз капитально поссориться. Они ругались из-за правильного способа приготовления риса, крепости кофе и лучшего способа заваривать его и в отношении того, можно ли есть артишоки: Джина видела в них свидетельство божьего благоволения, в то время как Эмилио полагал, что древесная кора является более привлекательным продуктом. Любимой темой его до сих пор оставался памятный и до сих пор не разрешенный вопрос, первоначальное обсуждение которого закончилось невероятными криками, перешедшими в полное возмущения молчание, на тему, какое из занятий следует считать более тупым: созерцание игр Кубка мира по американскому футболу или Мировой серии по бейсболу.

– У бейсболистов уродливая форма, – объявила Джина неделю спустя, начав этими словами очередную баталию. Затем последовало удивительное сражение по поводу цвета и покроя костюма, который ему предстояло носить на свадьбе. Когда Эмилио сдался по поводу лацканов, понравившихся Джине настолько, что он получил право на серый шелк для костюма, вопреки тому, что она предпочитала черный, в котором, по ее мнению, он выглядел потрясающе, из-за эстетической уступки, совершенной ею в отношении бейсбольных форм.

Это было забавно. Оба они представляли собой продукт культур, видевших в семейном споре и своего рода спектакль, и потому поощряли Селестину присоединяться к их спорам ради того удовольствия, которое приносили ее восторженные вопли, когда торжествовал тот из взрослых, с которым она в данный момент себя отождествляла, и статус этот, по наблюдению Эмилио, принадлежал тому, кто возражал ей предпоследним. Но ни одна ссора не была подлинной до сегодняшнего дня, когда он пришел к Джине, чтобы помочь ей собраться к отъезду в горы

вместе с ее родителями.

Эмилио нахмурился, глядя в спину Джины, а потом посмотрел на кухонные часы.

Многое изменилось за время его отсутствия на планете, но дети по-прежнему любили мультфильмы.

– Селестина, – проговорил он, – пора смотреть «*Бамбини*».

Селестина мгновенно стартовала в свою спальню, чтобы посмотреть ежедневную порцию своего любимого интерактивного мультика.

– Давай-ка начнем сначала, – негромко предложил он, когда они с Джиной остались одни. – Что случилось?

Она резко повернулась к нему, гордо задрав голову, и объявила голосом настолько же твердым, насколько дрожал подбородок:

– Тебе следует вернуться на Ракхат и найти Софию!

Ошеломленный Эмилио какое-то мгновение смотрел на нее с открытым ртом, после чего медленно вздохнул, положив руки на крышку стола. И когда он снова посмотрел на Джину, взгляд его приобрел твердость обсидиана, пугавшего людей, куда более приспособленных к восприятию его гнева, чем она.

– Кто тебе это сказал? – спросил он совершенно мягким голосом.

– Не смотри на меня так, – проговорила она.

– Кто тебе это сказал? – проговорил он тоном еще более мягким, произнося каждое слово по отдельности.

– Не важно кто! Она жива… эта бедная женщина, и она одинока! – воскликнула Джина, заливаясь слезами, но при этом решив выступить против всех его попыток защитить свою честь. – Ты должен прийти ей на помощь. Она нуждается в тебе. Ты любил ее.

Эмилио окаменел.

– Раз, – сказал он наконец. – Это важно, поскольку я намереваюсь убить того, кто рассказал тебе о ней. Два. Нам известно только то, что она была жива в 2047 году. Три. «*Джордано Бруно*» будет лететь на Ракхат семнадцать лет. Вероятность того, что она в одиночестве дожила на Ракхате до семидесяти одного года, близка к нулю. Четыре…

– Терпеть не могу, когда ты такой!

– Четыре! – проговорил он, вставая и теперь уже возвышая голос: – София Мендес была самым умным и компетентным человеком из всех, кого я встречал. И уверяю тебя, она не испытывала никакой потребности в том, чтобы лично я спасал ее, и нашла бы эту мысль смехотворной! Пять. Да. Я любил ее! А еще Энн, Д. У. и Аскаму. И не женился ни на ком из них. Джина,

посмотри на меня! – крикнул Эмилио, обиженный тем, что она не поверила ему, разъяренный попыткой неведомого мерзавца вбить клин между ними. – И если бы София Мендес чудесным образом вошла в эту комнату в расцвете своей молодости и красоты, живая и благополучная, наши отношения никоим образом не изменились бы. Ни на йоту.

Но Джина только пуще залилась слезами. Взволнованный, он повернулся, подошел к кухонному столу и принялся искать на нем в груде всякого барахла записанный на бумажке телефонный номер.

– Кому ты собрался звонить? – спросила она, глядя на него полными слез глазами, когда он включил телефон.

– Чиновнику магистратуры. Я хочу, чтобы он немедленно прибыл сюда. Немедленно. Мы расписываемся сегодня же днем. Потом я намереваюсь позвонить портному и отменить заказ на этот проклятый костюм. Затем я намереваюсь убить Винченцо Джулиани и, возможно, Дэниэла Железного Коня…

– Почему *мамма* плачет? – потребовала ответа появившаяся в дверях кухни Селестина, стиснув кулачки и недружелюбно глядя на него.

Джина поспешно утерла глаза.

– Ничего такого, *cara*…

– Нет, это важно, и она должна понять, – отрезал Эмилио, опираясь на опыт своего искалеченного детства. Сбросив вызов, он взял себя в руки. – Твоя *мамма* боится того, что я брошу ее, Селестина. Она думает, что я могу любить кого-то больше ее, *cara*.

– Мама права, – невозмутимо ответила Селестина. – Меня ты любишь больше.

Джина коротко усмехнулась и повернулась к Эмилио:

– Вот, теперь действуй, – хлюпая носом, но с вызовом проговорила она. – Что скажешь ей?

Он бросил на нее взгляд, достойный акулы-бильярдиста, рискнувшего поставить банк на шар в угловой лузе.

– Ты, – объявил он Селестине с полным апломбом, – самая моя любимая маленькая девочка, а твоя *мамма* – моя любимейшая жена.

Подняв брови, он вопросительно посмотрел на Джину и был удостоен кивка, полного чистосердечной, хотя и пропитанной влагой, похвалы. Удовлетворенный, он вернулся к столу и принялся копаться в царившей на нем неразберихе.

– То есть она *станет* моей любимейшей женой сразу же, как только я вызову сюда магистрата…

– Нет, – сказала Джина, останавливая его движением руки.

Джина припала головой к его плечу. – Все хорошо. Наверно, мне нужно было услышать эти слова. Мы можем подождать до сентября. – Она вновь рассмеялась, заправила волосы за уши и утерла глаза. – И не смей отказываться от костюма!

Венчальная лихорадка, подумал Эмилио, глядя на Джину. В последние дни она стала необычайно эмоциональной, и упоминание о Софии позволило ей выпустить пар.

Обругав про себя свои руки и ортезы, он взял ее за плечи и развернул к себе лицом.

– Я не Карло, Джина. Я тебя никогда не оставлю, – прошептал он, следя за тем, верит ли она его словам. Потом привлек к себе и вздохнул: – Оба мы пришли к этому дню не с чистыми руками. – После чего посмотрел на Селестину через плечо ее матери и возвысил голос так, чтобы его слышали обе: – Я люблю тебя и люблю Селестину, и я ваш навсегда.

– Итак, – произнесла без малого шестилетняя Селестина с точной интонацией семидесятилетней гранд-дамы. – Я безусловно довольна тем, что мы уладили этот вопрос!

Джина и Эмилио с открытыми ртами проводили малышку, отправившуюся из кухни назад к своим мультикам.

– Я никогда не говорила ничего подобного. Может, ты это сказал? Откуда она набралась таких слов? – спросила ошеломленная Джина.

Эмилио смеялся.

– Получилось великолепно! Ты не узнала? Это же Валерия Джолина… La Contessa! – воскликнул он. – Впрочем, подожди… в прошлое воскресенье ты уснула на диване, а мы с Селестиной досмотрели до конца. – Он покачал головой, чрезвычайно довольный тем, что Селестина потихоньку приобретает его собственную привычку.

– Она изображала Валерию Джолину. Очень убедительно, кстати!

Трудно поддерживать дух высокой драмы в доме, в котором есть дети, особенно способные достоверно изображать Джолину.

День прошел за обсуждением с Селестиной минимального количества мягких игрушек (четыре штуки) и максимального количества нарядных платьев (одно), необходимых для двухнедельного пребывания в горах. Эмилио помогал в основном тем, что следил, чтобы Селестина не портила Джине прическу до тех пор, пока к девочке не явилась играть лучшая подружка Пиа, и он немедленно объявил, что намеревается аккуратно сложить всю выложенную на кровати собранную в дорогу одежду.

– А ты великолепно справляешься с этим делом, – заметила

Джина, глянув через плечо на результаты его трудов и при этом копаясь в ящике комода в поисках нижнего белья, способного не шокировать ее мать.

– Именно что великолепно, – согласился Эмилио и пояснил: – Я тут работал в домовой прачечной. А не хочешь ли съездить со мной в горы?

Она неторопливо, с удивлением, распрямилась.

– А если тебя узнают?

– Я буду носить черные очки, шляпу и перчатки, – проговорил он, отвернувшись от чемодана.

– Не хватает только дождевика… – сухо заметила Джина. – Дорогой, на улице август.

– Ладно, заменим вуалью? – непринужденно заметил он, возвращаясь к одежде.

– Ничего броского – никакого шелка, расшитого золотыми монетами. Одеваться надо со вкусом! – Он замолк. – Может, серебряные монеты сойдут.

Эмилио уложил блузки в ее дорожную сумку.

– Если меня узнают – значит, узнают! Как-нибудь разберусь.

Во дворе смеялись и веселились девчонки, доносился веселый детский смех. В доме напротив стояла полная тишина. Джина отошла к кровати и села, глядя на него. Наконец он сел рядом с ней.

– Ладно, – признал он, – возможно, это не слишком удачная идея.

– Тебе нужно закончить свой проект по к'сану для иезуитов. Они уже скоро улетают, – напомнила она. – Может быть, поедем в горы в будущем году?

Опустив голову, спрятав глаза за волосами, он ощупывал болезненные места на руках.

– Общество намеревается опубликовать научные статьи в октябре, – проговорил он теперь уже серьезным тоном. – Я тут думал о том, что наилучшим способом разобраться с ситуацией является пресс-конференция. При необходимости потратить на это целый день. Столько, сколько потребуется. И на этом покончить со всей этой историей. Ответить на каждый поганый вопрос, который они зададут мне…

– А потом вернуться домой к своим родным. – Она повернулась к нему, взяла голову в ладони и заглянула в темные глаза, следя за тем, как отступают из них сомнение и страх.

– А люди еще танцуют? – вдруг спросил он. – Когда-нибудь мне захочется пригласить тебя на танец.

– Да, дорогой, – заверила она его. – Люди, как и прежде, танцуют.

– Хорошо, – проговорил он, наклоняясь, чтобы поцеловать ее, но тут же возвел к небу глаза и припал лбом к ее лбу, так как кухонная дверь со стуком распахнулась и по коридору к ним покатилась приливная волна шума.

Селестина затормозила у двери спальни, растрепанная и покрасневшая от жары.

– Мы умираем от голода! – воскликнула она трагическим тоном и доказала справедливость своих слов, с умеренной грацией свалившись достойной жалости кучкой у их ног.

– Пожалуйста, обрати внимание, – указал Эмилио матери этого умирающего лебедя, – что эта несчастная предпочла все же упасть на ковер, а не на кафель в коридоре.

Селестина хихикнула, не открывая глаз.

– А ты сделаешь нам опять макароны с сыром? – попросила Пиа Эмилио, прыгая на месте, потянув к нему руки. – Как в прошлый раз? Пожалуйста, пожалуйста, ну пожалуйста. Особо наваристые? С молоком?

Улыбаясь себе под нос, Джина покачала головой, в то время как две шумные девицы повлекли Эмилио на кухню.

– Пиа, позвони своей маме, – услышала она голос образцового отца. – И спроси ее, можно ли тебе пообедать с нами. Селестина, накрывай на стол. И с молоком, как говорит эта леди! Ну, почему, скажи на милость, когда тебе нужна корова, ее никогда не оказывается рядом…

Наконец настало время отправлять Селестину в постель, и Джина выключила свет и упаковала под одеяло свое дитя, а Эмилио расчистил для себя пространство, чтобы можно было сесть посреди кукол, мягких зверушек и прочего игрушечного населения. И невесть откуда извлек небольшую серебряную коробочку, которую для него купил в Неаполе один из охранников каморры, и представил ее на обозрение Селестины.

– Это мне? – спросила она с явным вожделением.

– А кому еще? – спросил он, улыбаясь Джине и наслаждаясь явным ее смущением. – Понимаешь, это волшебная коробочка, – доверительно сказал ребенку Эмилио, блеснув глазами на серьезном лице, пока Селестина разглядывала крошечные, совершенной работы цветы. – В ней можно держать слова.

Девочка глядела на него из темноты с явным недоверием, и Эмилио улыбнулся ее сходству с матерью.

– Пожалуйста, сними с нее крышку, – проговорил он. Он намеревался самостоятельно сделать это, однако мелкие и точные движения подчас чрезвычайно трудно давались ему. «Неважно, – подумал он, – отработаю это движение». – Вот. Приготовься, тебе придется быстро закрыть ее, как только я

произнесу слова.

Захваченная игрой, Селестина напряглась и поднесла коробочку к его губам. Не отводя глаз от Джины, он прошептал:

– *Ti amo, cara.* – А потом воскликнул: – Быстро! Закрывай коробочку!

Взвизгнув, Селестина захлопнула крышечку так быстро, как только могла.

– Фью! Сделано. А теперь, – сказал он, забирая у нее коробочку, – постучи по крышке и досчитай до десяти.

– Почему?

– Почему, почему, почему! Надо начать пороть этого ребенка, – пожаловался он расплывшейся в улыбке Джине. – В мое время дети делали, что им скажут, и не задавали вопросов.

Селестина нисколько не смутилась.

– Ну почему? – настаивала она.

– Чтобы слова знали, что им положено оставаться внутри, – сказал он сердитым тоном. – Это знает любой дурачок! Делай, как тебе сказали. Постучи по крышке и сосчитай до десяти! – повторил он, протягивая ей коробочку, удерживая ее ремешком ортеза. Она больше не замечала его рук, отметил он про себя. Даже Пиа теперь привыкла к их виду. Смягчившаяся Селестина поступала по коробочке и сосчитала. Он передал ей коробочку.

– А теперь сними крышку и приложи к уху.

Маленькие пальчики сняли крышку, и овальное личико, копия маминого, притихло, когда коробочка оказалась в светлых кудрях, возле золотого ушка, посыпанного летними веснушками.

– Я ничего не слышу! – объявила Селестина, посчитав свое сомнение оправданным. – Ты обманываешь меня.

Изобразив негодование, Эмилио сказал:

– Попробуй еще раз. – Но добавил: – Только слушай теперь всем своим сердцем.

И в волшебной тишине, воцарившейся в детской, все трое услышали его слова: «*Ti amo, cara*».

Прежде чем все закончилось, Селестина попросила попить водички, напомнила матери про ночник, сказала Эмилио, что положит коробочку под подушку, и в последний раз попросилась на горшок, а потом попыталась затеять дискуссию о том, что некоторые привычки монстра-живущего-под-кроватью позволяют отложить пожелание спокойной ночи еще на пять минут, однако успеха не имела.

Наконец, оставив в двери маленькую щелку, они пожелали Селестине сладких снов – и Джина перевела дух, чувствуя, что никакой энергии в ней уже не осталось, однако душа ее была

полна счастья.

– Ты будешь самым лучшим папой в истории человечества, – убежденным тоном проговорила она, обнимая Эмилио.

– Будем надеяться, – сказал он, однако она поняла: что-то не так. Он не сделал даже движения в сторону спальни и наконец сухим тоном проговорил: – Можешь избавить меня от доли смущения, если скажешь, что у тебя сегодня болит голова.

Джина отступила.

– Что-то с руками?

Он едва заметно повел плечами и отвернулся, потом начал извиняться. Однако Джина остановила его, приложив палец к его губам.

– *Cari,* у нас для этого есть целая жизнь.

По правде говоря, ей весь день было как-то не по себе, и поэтому она изменила тему разговора, как только они оказались около кухонного стола.

– Дон Винченцо говорил мне, что в прошлом мае они нашли для тебя другого хирурга, но ты не захотел встречаться с ним. Почему же, *caro?*

Эмилио, часто дыша, с каменным лицом осел в стоявшее напротив нее кресло.

– Ты отлично поправился. Врачи умеют делать удивительные вещи, Эмилио. Надо покрыть руки искусственной кожей, передвинуть кое-какие сухожилия, чтобы воспользоваться уцелевшими нервами. Тебе станет намного легче пользоваться руками.

– Я привык к ортезам. – Эмилио распрямился с легким неудовольствием. – Вот что. Эта тема мне уже надоела, понимаешь? И я не хочу снова обсуждать тему своих рук.

То же самое он сказал отцу-генералу. Джина притихла, предоставляя ему возможность самому договорить остальное. Когда он этого не сделал, она сама ответила на непроизнесенное возражение и поняла, что догадалась правильно.

– Фантомная невралгия впоследствии хуже не будет – но может и заметно ослабеть.

Эмилио ответил не сразу.

– Я подумаю об этом, – проговорил он, моргнув. – Не сейчас. Мне нужно время.

– Может быть, после Нового года, – аккуратно предположила она.

– Может быть, – согласился он. – Не знаю. Может быть.

Спешить было незачем, если не считать собственного желания увидеть его исцеленным, поэтому Джина оставила тему. Он вернулся домой со звезд больным цингой, и соединительные

ткани рук попросту оставались слишком слабыми для того, чтобы допустить хирургическое воздействие; чем дольше он подождет, тем больше окрепнет и тем быстрее будет происходить заживление. Руки Эмилио пострадали три года назад. Пауза еще в шесть месяцев не произведет клинического эффекта.

Напоследок, прежде чем отправиться к себе домой, он сообщил ей, что связался с юридической фирмой из Кливленда и банком в Цюрихе и предоставил Джине свободный доступ к своим счетам.

– А ты не хочешь подождать до свадьбы? – спросила она, останавливаясь в дверях.

– Зачем? Или ты решишь убежать с деньгами? – ответил он, Джина почти не различала в темноте его лица. – Нет, я хочу, чтобы ты несколько раз пообедала со своими родителями. В каком-нибудь хорошем месте, ладно? И скажи им, что это моя идея! Я хочу, чтобы они об этом знали. Зять должен предусматривать подобные вещи.

Она рассмеялась, а потом провожала его взглядом, пока фигура его не растворилась в темноте безлунной ночи.

Во время отсутствия Джины они постоянно поддерживали связь, хотя к концу второй недели Эмилио утонул в делах, заканчивая свои программы по к'сану, стараясь успеть к назначенному им самим сроку окончания работы в конце месяца. К тому времени, когда они с Селестиной вернулись в Неаполь, они не перезванивались уже два дня. Она позвонила ему сразу же, как только вернулась домой, однако номер его не отвечал. Она попробовала еще раз, чтобы убедиться, что набрала правильный номер, а потом поехала к нему домой, как только вынесла багаж из машины, сводила Селестину на горшок и покормила ее, твердя себе по пути, что происходит какая-то ошибка.

Главный дом приюта не пустовал, чего она иррационально боялась, однако в нем не было никого из знакомых ей людей. Как оказалось, Козимо сменил брат-мирянин, к тому же вьетнамец, и она не могла даже слова понять из его итало-вьетнамского наречия. Дверь в апартаменты Эмилио в гараже оказалась запертой, и герани исчезли с его не закрытых ставнями окон. Она требовала объяснений, рыдала, кричала, обвиняла, но повсюду ей отвечала *omerta* – молчание Юга. Ее младшей дочери почти исполнилось десять лет, когда Джина наконец поняла, как все было на самом деле.

Глава 18
Джордано Бруно

2061–2062 годы по земному летоисчислению

– Ладно вам дуться, Сандос, я бы сказал, что постоянно угрюмый вид ниже вашего достоинства, – с холодным весельем промолвил Карло Джулиани, глядя на то, как Нико д'Анджели проверяет биохимические параметры крови, прежде чем подсоединить трубку капельницы к руке Эмилио. – Вы сами во всем виноваты и знаете это. Вам неоднократно предоставлялась возможность присоединиться к нам добровольно. И такая ваша позиция не даст вам абсолютно ничего, кроме пролежней и инфекции мочевого пузыря.

Элегантным движением прислонившись к звуконепроницаемой переборке лазарета «*Джордано Бруно*», Карло вглядывался в неподвижное смуглое лицо. В нем не было ни расслабленности комы, ни покоя после пробуждения. Одно чистейшее упорство.

– Вы любите оперу, Сандос? – полюбопытствовал Карло, когда Нико, напевая «Nessun dorma»[36], начал обтирать тело Сандоса губкой. – Большинство неаполитанцев оперу обожают. Мы любим страсти, конфликты… жизнь, прожитую с великолепием. – Он помолчал немного, наблюдая за закрытыми глазами Эмилио, тем временем Нико, поднимая обмякшие конечности, ловкими и точными движениями протирал подмышки и пах…

– Джина никогда не любила оперу, – продолжил Карло. – Грандиозная чушь, так она называла ее. Скучная такая домохозяйка, эта ваша Джина. Вы должны поблагодарить меня, Сандос, за то, что я избавил вас от этой затхлой судьбы! Вам скоро наскучило бы сидеть с ней дома, есть пасту и толстеть. Мы с вами созданы для вещей великих.

Закончив омовение, Нико отложил в сторону влажное полотенце и на несколько минут прикрыл Сандоса простыней, чтобы тело его подсохло перед наложением электродов. Никуда не спешивший Карло подождал до тех пор, пока монитор сердечной деятельности снова ритмично запищал, и только потом снова заговорил.

– Видите ли, у нас с вами много общего, даже помимо того, что мы оба пользовались Джиной, – проговорил он и с удовлетворением улыбнулся, после того как монитор запищал в ускоренном ритме. – Например, наши отцы презирали нас обоих. Папа обычно называл меня Чио-Чио-сан, памятуя о «*Мадам*

Баттерфляй», конечно. Этим именем он обвинял меня в том, что я перепархиваю с предмета на предмет, понимаете? С самого дня рождения я был горьким разочарованием для моего отца. Как и ваш отец, мой видел во мне только свидетельство измены своей жены. Тут, быть может, наши судьбы расходятся: мою мать обвинили облыжно. Тем не менее папе всегда было легче предположить, что я не его сын, чем понять, что я не обязан быть его копией.

Неспособный работать и при этом не петь, выражая свою преданность Беллини, Нико перешел к «*Норме*»: «*Me protegge, me difende*…»[37]

– Я всегда преуспевал во всех делах, за которые брался, – без ложной скромности провозгласил Карло. – Каждый из учителей, с которыми я занимался, проявлял ко мне интерес. Каждый предполагал, что пойду по проложенной им стезе – стану инженером, биологом или пилотом.

А когда я отказывался идти следом, они обвиняли меня в непостоянстве и неверности, вместо того чтобы признать собственное стремление получить талантливого ученика. Но я ни за кем не следую. Моя жизнь принадлежит мне самому.

Нико перешел к ногам постели, чтобы заменить мешочек для мочи. Сделать это в тесном пространстве в конце медицинского отсека было непросто, однако он принадлежал к числу людей методичных и осторожных, делающих дела строго по очереди и в обусловленном порядке, и умел совершать этот маневр с минимальными затруднениями.

– Я знаю, о чем вы мечтаете, Сандос: вы обманываете себя иллюзиями величия, – рассудительно промолвил Карло. – Люди, подобные вам и вашему отцу, преуспевают на узком поле деятельности. Такие, как вы, с юности концентрируются на чем-то одном, добиваются многого еще в молодые годы, и презирают тех, кто не сосредотачивается подобным образом.

Мой отец, например, подчинил себе Неаполь, когда ему еще не исполнилось тридцати лет, – и это было удивительное восхождение к власти, – признал Карло. – К сорока годам он контролировал восемнадцать процентов общего национального продукта Италии и имел личный доход больший, чем вся компания «Фиат». В сорок два года, на год старше, чем я сейчас, Доменико Джулиани сделался главой империи, распростершей свои щупальца по всей Европе, Южной Африке, Среднему Востоку, Карибскому бассейну и обеим Америкам. Империи большей, чем у Александра Македонского, о чем родитель мой старательно напоминал мне почти каждое утро за завтраком.

Карло надолго умолк, но потом собрался с мыслями и пожал

плечами:

– Однако подлинное величие, Сандос, состоит в том, чтобы соответствовать своему времени. Изменчивость и многосторонность может стать добродетелью! Я, например, преуспел бы во времена Ренессанса. Князь среди негоциантов! Человек, способный сочинить песню, вести войну, построить катапульту и танцевать с дамами. Даже отец мой, затевая это предприятие, вынужден был признать, что оно требует таланта во многих областях. Политике, финансах, технике…

Закончив свои дела и две арии, Нико посмотрел на своего падроне.

– Отличная работа, – произнес Карло. – Ты можешь идти, Нико.

Дождавшись ухода Нико, Карло поднялся и подошел к кровати.

– Вот видите, Сандос? Зная ваши слабые и сильные места, я даже обеспечил вас превосходной сиделкой. Возможно, не столь приятной и ласковой, как Джина, однако превосходно выполняющей свои обязанности.

Он посмотрел на мониторы, но на сей раз имя Джины не вызвало перемены в потоке показаний.

– Необычайная ситуация, не правда ли? – произнес Карло Джулиани, глядя на мужчину, едва не женившегося на его собственной жене, получившей развод. – Непредвиденная и неприятная. Вы можете воображать себе, что я разлучил вас с Джиной в припадке романтичной неаполитанской ревности, но уверяю вас: я был сыт по горло ее обществом. Простой факт заключается в том, что я нуждаюсь в вас больше, чем она. – Открыв дверь лазарета, он какое-то время постоял перед ней. – И не беспокойтесь за Джину, Сандос. Теперь, когда вас нет рядом с ней, она найдет себе другого.

Показания мониторов изменились только после того, как закрылась дверь лазарета и в замке повернулся ключ.

Карло отправил за ним троих. Они знали, что он являлся священником, и посему, скорее всего, ограничивались этим знанием. Еще они видели, что он невысок ростом. Им рассказали, что он долго болел и что руки его практически бессильны. Не знали они другого: того, что он являлся ветераном доброй сотни грязных и нечистоплотных уличных стычек.

Снова и снова Эмилио переживал их и то, что случилось потом. На сей раз не было колебаний, не было дурацких надежд, и он перешел к насилию еще до того, как они одолели его. Не одну неделю он с удовлетворением вспоминал хруст скулы

появившегося в пределах досягаемости лица и гнусавый вскрик того, чей нос он сломал локтем, когда сумел его высвободить.

Он в тот раз пометил их, оставил на них свою печать.

Его не раз избивали, в этом процессе не было никакой новизны. Он катался, уклоняясь от ударов, как только мог, напрягался и извивался и, наконец, обрел свирепое успокоение в молчании, ставшем главным его оружием против похитителей. На место старта его привезли в беспамятстве, а потом долгое время его пичкали снотворным, даже после того, как они оказались на борту «*Джордано Бруно*».

Однако он познакомился с действием этого продукта еще подростком; и туманный переход между сном и бодрствованием не пугал его. Вялый и мягкотелый, когда кто-то находился рядом, он позволял им думать, что этой дозы достаточно для того, чтобы подчинить его, и ждал. Случай подвернулся тогда, когда экипаж готовился покидать высокую околоземную орбиту. Вырвав зубами катетер из руки, он лежал неподвижно, наблюдая за тем, как смешивается его кровь с физиологическим раствором и лекарственным препаратом, рассеивая равномерно по всему помещению бледную радужную дымку, внезапно осевшую на пол, когда заработали двигатели и корабль стартовал. Слегка пошатываясь, Эмилио выбрался из предохранительной сетки, удерживавшей его в невесомости; старательно сохраняя равновесие походкой понимающего свое состояние пьянчуги, он добрался до находившейся в лазарете панели доступа в систему. Если полет нельзя остановить, он может совершить диверсию. Малейшая ошибка в навигационных параметрах в начале пути превратится в световые годы в его конце, и поэтому он намеревался заменить всего одну циферку в расчетах.

Его поймали и еще раз избили, на сей раз с удвоенной силой от страха перед тем, что он едва не успел сделать. Через несколько дней в его урине появилась кровь, и привязывать Эмилио к постели целую неделю не было никакой нужды.

Потом Сандос подумал, что если бы его подвергли такому избиению всего год назад, то он наверняка не выжил бы. Выбор мгновения решает все, заключил он в итоге. И в последующие дни лежал в лазарете, предаваясь молчаливой ненависти. Изредка, на мгновение, когда открывалась дверь лазарета, он слышал голоса. Некоторые были знакомы, других Эмилио никогда не слышал. Выделялся среди них один тенор: необработанный, несколько гнусавый и чуть шершавый, что лишало блеска самые высокие ноты, но точный и часто даже обаятельный. Сандос ненавидел их всех без исключения чистой, добела раскаленной ненавистью, поддерживавшей в нем силы и заменявшей пищу, которой не

принимал. И он решил скорее умереть, чем вновь позволить пользоваться собой.

Добиться сотрудничества можно многими способами. Карло даже какое-то время подумывал убить Джину и Селестину, чтобы ослабить связь Сандоса с Землей, однако в итоге отверг эту идею, посчитав, что пуэрториканец скорее совершит самоубийство, чем станет избывать свое горе в космосе. Изучив свою жертву, Карло остановился на благоразумном сочетании прямого нажима, современной химии и традиционных угроз.

– Словом, переходим непосредственно к делу, – отрывисто проговорил Карло, войдя однажды утром в медицинский отсек, после того как Нико уведомил его о том, что Сандос одет, спокоен и готов воспринимать ситуацию рационально. – Я бы хотел, чтобы вы согласились работать на меня.

– У вас есть свои переводчики.

– Да, – не стал возражать Карло, – однако они не обладают вашим широчайшим опытом. Потребуются годы для того, чтобы они овладели тем знанием Ракхата, которое вы несете в себе – сознательно и подсознательно. Я долго ждал своего часа, Сандос. Пока мы совершаем свое путешествие, на Земле пройдут десятилетия. И я не намереваюсь тратить время впустую.

Сандос чуть удивился:

– Итак, какого рода сделку вы мне предлагаете?

Он слегка растягивал слова, и Карло отметил, что нужно уменьшить дозу.

– Я разумный человек, Сандос. Если вы прекратите враждебно относиться к миссии, вам позволят отправить письмо Джине и моей дочери. Если же вы, напротив, попытаетесь покуситься на мои планы или как-то повредить мне в настоящем или в будущем, – произнес Карло Джулиани со скорбью в голосе, – боюсь, что в таком случае Джон Кандотти умрет.

– Предполагаю, что эту морковку и стрекало предложил Железный Конь.

– Косвенно, – признал Карло. – Интересный человек этот Железный Конь. Не завидую ему. Он оказался в сложном положении. Как там говорят об иезуитах? Они стоят между миром и Церковью и получают затрещины с обеих сторон. Кстати, о затруднительных положениях: Кандотти сейчас находится в ангаре возле посадочного аппарата. Если в течение десяти минут я не отменю свои указания, мои люди сбросят атмосферное давление до нуля.

Реакции не последовало, однако после небольшой паузы, Сандос спросил:

– А за активное содействие?

Карло склонился в раздумье к зеркальному медицинскому шкафчику… длинный нос, высокие скулы, серьезное лицо под шапкой золотых волос, подстриженных, но кудрявых: оживший Аполлон, да и только.

– Деньги, конечно, будут, но… – Он повел плечами, признавая несерьезность такого предложения: в любом случае деньги у Сандоса были. – Место в истории! Но у вас оно и так есть.

Итак, – продолжил он, снова поворачиваясь к Сандосу, – за активное содействие я готов предложить вам возможность отомстить. Или восстановить справедливость, если вам милее подобная формулировка.

Сандос какое-то время молчал и разглядывал свои ладони. Карло с нескрываемым интересом следил за тем, как он выпрямил свои пальцы, а потом уронил их, падение их от костей запястья могло даже показаться прекрасным, ленты шрамов превратились в слоновую кость.

– Нервы сгибающих мышц по большей части были уничтожены, но, как вы видите, разгибатели иннервированы в достаточной степени, – с клинической точностью указал Сандос: медицинская подготовка как дублера врача к первой миссии никуда не делась. К тому же он теперь превосходно разбирался в анатомии ладоней. Пальцы его один за другим выпрямлялись и опускались. – Возможно, это знак, – проговорил он. – Я не могу ничего взять. И способен только выпустить все из рук.

Чистой воды дзен, подумал Карло, но ничего не произнес вслух. Не то чтобы Сандос был в гневе – ничто теперь не могло прогневать его, хотя Джулиани оставил на всякий случай за дверью Нико.

– И в чем же нужно содействие? – спросил Сандос, возвращаясь к делу.

– Попросту говоря, моя цель заключается в установке торговых отношений с ВаРакхати, – сказал Карло. – Товар, который Супаари ВаГайжур прислал с вами на «*Стелле Марис»,* был удивительным во многих отношениях, в том числе и в цене, которую музеи и частные коллекционеры предлагали за самый незначительный предмет, сделанный руна. Согласитесь с тем, что куда больший эффект может быть достигнут, если товар подбирать на конкретного потребителя, а не согласно вкусам торговца жана'ата. Я рассчитываю, что это предприятие чрезвычайно обогатит меня и сделает полностью независимым от чужих мнений.

– А чем собираетесь торговать вы, дон Карло?

Тот пожал плечами:

– По большей части безобидными пустяками, заверяю вас. Жемчуг, духи. Кофе, конечно. Растительные ароматы – корица, орегано. Бельгийские машинки для плетения лент и кружев, способные создавать многоцветные изделия, узоры, рисунки. Учитывая любовь руна к новизне, я, безусловно, преуспею.

Карло обезоруживающе улыбнулся и стал ожидать очевидный вопрос: «Зачем тогда я вам нужен?»

Искалеченные руки прекратили движение, глаза василиска глянули в глаза Карло.

– Вы говорили про месть.

– Так вы предпочитаете этот термин справедливости? Похоже, мы с вами все-таки договоримся! – дружелюбным тоном воскликнул Карло. Сидя в кресле лазарета, он положил лодыжку одной ноги на колено другой, внимательно наблюдая за оппонентом. – Я изучал отношения между жертвой и хищником, Сандос. Интересный вопрос. Готов утверждать, что род людской получил власть тогда, когда перестал быть добычей, когда он восстал на хищников. И сам сделался хозяином собственной судьбы.

На улицах Москвы и Рима нет волков, – продолжил он. – Нет никаких пум в Мадриде или Лос-Анджелесе. Нет тигров в Дели, нет львов в Иерусалиме. Так зачем нужны жана'ата в Гайжуре? – Он умолк, выражение серых глаз было невозможно понять. – Я знаю, что такое быть жертвой, Сандос. И вы тоже. Скажите честно: когда вы видели, как жана'ата убивают и едят младенцев руна, многим ли эта картина отличалась от медведей, питающихся лососем, не так ли?

– Нет, не так…

– Даже еще до того, как вы покинули Ракхат, некоторые руна уже начали сопротивляться. Консорциум Контакт сообщал, что после того, как ваша группа доказала, что тирании можно сопротивляться, по всему югу Инброкара прошла волна крестьянских бунтов и восстаний. – Он умолк, искренне недоумевая. – И иезуиты стыдятся этого! Представить не могу почему. Ваш собственный Педро Аррупе[38] говорил, что несправедливость – это атеизм в действии! Ни одно человеческое общество не вырвало свободу из рук угнетателей без насилия. Обладающие властью редко по собственному желанию расстаются со своими привилегиями. Помните, что вы говорили на слушаниях? «Если руна решат восстать против своих господ жана'ата, единственным их оружием может стать только число». Мы можем изменить это, Сандос.

– Чем? Командно-контрольным коммуникационным

оборудованием? – проговорил Сандос. – Или оружием, приспособленным к биологии руна и производимым на планете?

– Я, безусловно, готов предоставить такую техническую поддержку, – проговорил Карло. – Но, что более важно, я без колебаний предложу им идеологию, необходимую для того, чтобы добиться свободы, равенства и справедливости от своих господ-жана'ата.

– Вы хотите править.

– Только в качестве переходной фигуры. «Ибо все на свете блекнет и становится легендой, чтобы скоро раствориться в полном забвении», – проговорил Карло, вольно процитировав Марка Аврелия. – Тем не менее идея обеспечить себе бессмертие, заняв определенное место в мифологии руна, обладает привлекательностью – в качестве их Моисея, быть может! А вы будете в качестве моего Аарона говорить с фараоном.

– Итак. Речь идет не об одной Южной Италии, – отметил Сандос. – И не о Европе, старой, давным-давно совращенной шлюхе. А о девственной планете. Ваш отец, Карло, об этом не узнает. Он не доживет до вашего возвращения.

– Приятная мысль, – согласился Карло. – Приятная, как сама преисподняя. Когда я там окажусь, то расскажу ему о ваших словах. А вы верите в ад, Сандос, или бывшие иезуиты слишком умудрены для того, чтобы верить в подобную мелодраму?

– «О нет, здесь ад и я всегда в аду: иль думаешь, я, зревший Лик Господень, тысячекратно адом не терзаюсь?»[39]

– Мефистофель! – развеселился Карло. – Определенно моя роль в этой драме, хотя на черта более похожи вы. Знаете ли, я всегда считал тактической ошибкой то, что если Бог любит всех нас в целом, то Сатана старается совратить каждого по отдельности. – Карло улыбнулся, и аполлоническая красота уступила место, как ему было известно, неотразимой мальчишеской улыбке. – Осенило! – радостно воскликнул он. – А не развлечься ли нам? Не заглянуть ли в собственные глубины? При всей исключительной природе нашего путешествия величайшим приключением является исследование человеческой души. Предлагаю вам следующую сделку: вы будете решать, будем мы или нет освобождать руна! Поставим мою жажду оперного величия против вашей нравственной силы. Интересное предложение, как вам кажется?

Оторвав голову от переборки, Сандос посмотрел на Карло с увеличенного наркотиком расстояния.

– Джон, наверно, волнуется, – проговорил он. – Мне хотелось бы взять кое-какое время на обдумывание вашего предложения. Но в данный момент даю слово не вмешиваться в ваши деловые

установки. Ни на что больше согласия не даю, но, быть может, этого хватит на выкуп остатков моей души?

– Прекрасно, – благосклонно улыбнулся Карло. – Даже великолепно.

Они покинули лазарет, Эмилио следовал за Карло по кривому коридору и вверх по витой корабельной лестнице. Ему показалось, что корабль организован по шестиугольной схеме: экономя пространство, помещения жались друг к другу, как ячейки чрезвычайно роскошного пчелиного улья, устланного коврами, тихого, прекрасно оборудованного.

Друг над другом располагались по меньшей мере три уровня и невидимые для его взора складские помещения.

Обогнув последнюю переборку, прежде чем выйти в центральную кают-компанию, он заметил чуть в стороне командную рубку, блок оборудования, светившийся графиками и текстом. Слышно было, как жужжат вентиляторы и моторы фильтров, музыкально плескалась вода в баке аэратора, едва слышно скрипели горнодобывающие роботы, отправлявшие измельченный материал астероида в масс-конверторы, одновременно создававшие ускорение и тяготение. Подобно «*Стелле Марис*», этот корабль представлял собой планомерно разрушаемый астероид, и общая часть основного оборудования оставалась вполне узнаваемой. В центральной камере располагалась система регенерации воздуха и отходов, основанная на трубе Волвертона. «И слава богу, – подумал Эмилио, – растения гораздо лучше справляются с регенерацией воздуха, чем все созданное человеком».

И только обозрев общую компоновку помещения, он обратил внимание на шестерых мужчин, сидя или стоя глядевших на него.

– Вы знали, – обратился Сандос к Дэнни Железному Коню. Жосеба Уризарбаррена, приоткрыв рот, повернулся к Дэнни. Выражение на лице Шона Фейна начало отвердевать и превращаться в осуждение. – Грех умолчания, – отметил Сандос, но Дэнни промолчал.

– Ваши ортезы находятся в хранилище, Сандос, – произнес Карло. – Вы хотите получить их?

– Спасибо, но только после того, как я получу Джона. Где у нас дверь в ангар, будьте добры?

– Нико! – проговорил Карло. – Покажи дорогу дону Эмилио.

Шагнув вперед, Нико повел Сандоса по коридору.

– У нас два посадочных аппарата, Сандос! – окликнул его Карло, пока выравнивалось давление между огромным ангаром и блоком экипажа. – И топливная эффективность, и дальность

полета существенно увеличены по сравнению с тем посадочным аппаратом, который подвел вас в первой миссии. Причем один из моих является дистанционно управляемым. Я учел ошибки предшественников! Экипаж «*Джордано Бруно*» не застрянет на поверхности Ракхата.

Нико отпер люк, зашипел воздух.

– *Per favore,* – попросил Сандос, – *un momento solo, si?*[40]

Нико посмотрел вдоль коридора обратно на Карло, спрашивая разрешения, которое и было ему даровано полным царственного величия кивком. Сделав шаг в сторону, Нико придержал дверь открытой для Сандоса.

Он вошел внутрь, тяжелая стальная дверь лязгнула, закрываясь за его спиной, звук этот показался бы ему ужасным, если бы не действие наркотика. Лавируя между посадочными катерами, он останавливался, проверяя швартовочные тросы и двери грузовых люков. Все было в порядке. Даже раструбы двигателей находились в идеальной чистоте. Потом он заметил Джона. Кандотти сидел на неровном полу, опираясь спиной о покрытую герметиком переборку сразу за дроном.

Серый, как каменное нутро астероида, образовывавшего корпус «*Бруно*», Джон поднял глаза на Эмилио, поднырнувшего под фюзеляж и остановившегося возле него.

– О боже, – жалким образом простонал Джон. – А я уже подумал, что худшей ситуации даже и не придумаешь.

– Послушай знающего человека, – проговорил Эмилио нечетким голосом. – Ситуация всегда может стать хуже.

– Эмилио, клянусь, я не знал! – всхлипнув, проговорил Джон. – Я знал, что Карло кого-то держит в лазарете, но никто не говорил мне, кого и почему… надо было хотя бы попытаться… О боже…

– Все в порядке, Джон. Ты все равно ничего не смог бы сделать. – Даже одурманенный, Эмилио знал, как справляться с истерикой: что делать и что говорить. – Так-то будет лучше, – сказал он, опускаясь на колени рядом с Джоном и привлекая к своей груди голову рослого друга. – Поплачь лучше, – сказал Сандос, на самом деле ничего вообще не ощущая. «Странно, – подумал он, слушая всхлипывания Джона. – И об этом прикосновении я мечтал долгие месяцы до Джины…»

– Я не мог молиться, – выдавил Джон.

– Все в порядке…

– Я сел здесь, у двери, чтобы в случае чего не испачкать посадочные аппараты, – сказал Кандотти, втягивая воздух и пытаясь взять себя в руки.

– Карло сказал Нико, что, если он не вернется через десять

минут, можно стравить воздух из отсека! Я не мог молиться. Я думал только о малиновом джеме. – Он громогласно сморкнулся и улыбнулся влажными глазами. – Тут не так, как в кино.

– Знаю. Все в порядке. – Ладони отчаянно саднило, однако, невзирая на это, он позволил Джону опираться на его руки и даже каким-то образом ощутил, что эту боль легче терпеть, поскольку на сей раз она не может сделаться постоянной. Полезный урок, подумал он, посмотрев через плечо Джона на внешние двери ангара. На них не было пыли после положенной по расписанию уборки.

– Пошли, – предложил он. – Пойдем внутрь. Стоять можешь?

– Ага. Конечно. – Поднявшись на ноги, Джон утер лицо, но тем не менее припал плечом к слою герметика, покрывавшего каменную стенку, явно находясь в большей расслабленности, чем обыкновенно.

– Пошли, – наконец проговорил он.

Когда они оказались возле люка, ведущего в жилую часть корабля, Эмилио жестом предложил Джону постучать, чтобы не поранить собственные ладони.

– Ничего не показывай им, Джон, – проговорил он, ожидая, пока дверь откроют.

Джон с недоумением посмотрел на него, но тут же кивнул и выпрямился.

– Живи этими словами, – проговорил Эмилио Сандос, не глядя на Джона. – Чтобы они от тебя и ломаного гроша не получили.

Дверь перед ними открыл не Нико, а Шон Фейн, казавшийся воплощением Божьего гнева, немедленно взявший на себя Джона и поведший его к каютам на верхней палубе. Карло нигде не было видно, Железный Конь также исчез, только неразборчивый голос Жосеба, требовательный и настойчивый, доносился откуда-то снизу кают-компании.

Ортезы лежали на столе, за которым обедал Нико в обществе квадратного и упитанного человека, сама масса которого удивительно противоречила яркой импрессионистской внешности: бледно-желтым волосам, вольно ниспадающим на розовую физиономию, и глазам – синим, как цветок гиацинта.

Сев, Сандос пододвинул к себе ортезы и начал по очереди вставлять в них руки.

– Франс Вандерхельст, – проговорил толстяк, представляясь. – Пилот.

– Эмилио Сандос, – отозвался его визави. – Новобранец.

Держа руки на коленях, он посмотрел на огромного молодого

человека, сидевшего возле Франса.

– А вы Нико, – опознал Сандос, – однако мы не были официально знакомы.

– Эмилио Сандос – Никколо д'Анжели, – любезно проговорил с полным ртом Франс. – Парень несловоохотливый, но… *chizze un brav' scugnizz*…[41] Ты же хороший пацан, правда, Нико? Скажи сам: *Si un brav scugnizz'*, ладно, Нико?

Прежде чем ответить, Нико промокнул рот салфеткой, стараясь не прикасаться к украшенному следами синяка носу.

– *Braυ scugnizz,* – послушно проговорил он, глядя влажными карими глазами из черепа, пожалуй, слишком маленького для человека такого роста.

– Как ваш нос, Нико? – спросил Сандос без малейшего злорадства. – Еще болит?

Нико, казалось, оставался погруженным в раздумья о чем-то другом, так что Сандос повернулся к Франсу:

– Насколько я помню, во время нашей последней встречи вы помогали Нико выбить душу из моего тела.

– Вы полезли за каким-то хреном в навигационные программы, – рассудительно указал Франс, делая новый глоток, – мы с Нико выполняли служебный долг. Надеюсь, без обид?

– Без всяких эмоций, во всяком случае с моей стороны, – дружелюбным тоном отреагировал Сандос. – Судя по вашему акценту, вы родом из Йоханнесбурга… так? – Франс наклонил голову в знак согласия. – А судя по имени, вы не католик.

Проглотив пищу, Вандерхельст состроил обиженную мину:

– Голландский реформист агностического толка – а это совсем не то, что католический агностик, имейте в виду.

Сандос кивнул, принимая высказывание без комментариев. Откинувшись на спинку стула, он огляделся по сторонам.

– Все самое лучшее, – отметил Франс, следуя за взглядом Сандоса.

Каждое приспособление, каждый прибор или устройство сверкали чистотой и отсутствием пыли и либо сохранялись так, как положено, или использовались оптимальным образом, с гордостью отметил Франс.

– «*Джордано Бруно*» содержался в образцовом порядке. Отличный и гостеприимный корабль, – отметил Франс. Подняв почти незаметные желтые брови, он предложил Сандосу бутылку пино гриджио.

Тот пожал плечами: почему нет?

– Бокалы на второй полке над раковиной, – сообщил ему Франс, возвращаясь к еде. – И поешьте чего-нибудь, если голодны. Есть из чего выбирать. Босс не скупится на угощение.

Поднявшись, Эмилио отправился на кухню. Франс слышал, как он гремит крышками кастрюль и стучит дверцами продуктовых шкафов, оценивая возможности, действительно оказавшиеся ослепительными. Через несколько минут Сандос вернулся с бокалом в одной механизированной руке и тарелкой куриного каччиаторе[42] в другой.

– Вы умело справляетесь со своими приспособлениями, – проговорил Франс, указывая вилкой на ортезы.

– Да. Привык, – проговорил без всяких эмоций Сандос. Налив себе вина, он отпил из бокала, прежде чем приступить к еде. – Великолепное блюдо, – проговорил он спустя какое-то время.

– Это Нико его готовил, – сообщил ему Франс. – Нико одарен множеством талантов.

Нико просиял.

– Я люблю готовить, – сказал он. – Макароны букатини аль денте, сыр скаморца на гриле, пицца «Маргарита», жареные баклажаны…

– А я думал, что вы не едите мяса, – проговорил Франс, глядя, как Сандос управляется с курятиной.

Посмотрев на свою тарелку, Сандос кротко заметил:

– Ну, мне конец. И руки невероятно болят, но ни то ни другое меня не волнует. Чем меня накачивают?

– Успокоительным, вариант квелл, – проговорил Дэнни Железный Конь из-за его спины. Бесшумно обойдя стол, он остановился за Нико, сбоку от Сандоса. Обрадованный ситуацией, Франс переводил глаза с одного лица на другое, как посетитель Уимблдона.

– С помощью этого средства обыкновенно гасят тюремные волнения, – сказал Железный Конь. – Не воздействует на разум, но притупляет эмоции.

– Ваша идея? – спросил Сандос.

– Карло, но я не пытался отговорить его. – Если судить по минимуму эмоций, можно было подумать, что и Дэнни тоже сидел на квелле; так что Франс начал ощущать разочарование.

– Интересное зелье, – прокомментировал Сандос. Взяв нож, он опробовал лезвие, потом посмотрел на свою тарелку. – После побоищ на Ракхате меня мутило от запаха мяса, но теперь… – Он пожал плечами, перевел взгляд с лезвия на Железного Коня: – Думаю, что я вполне способен вырезать ваше сердце и съесть его, – проговорил он, удивляясь собственным словам, – если бы за это мне предоставили возможность провести десять минут со своей семьей.

Железный Конь остался бесстрастным.

– Не поможет, – прокомментировал он. Франс снова

заулыбался.

– Не поможет. Так что мне остается только пользоваться своим положением.

– Я надеялся, что вы поймете это, – проговорил Железный Конь, отворачиваясь от стола.

– Дэнни? – окликнул его Сандос, поскольку Железный Конь собирался уже выйти.

Если бы переборки не были покрыты чрезвычайно прочным пластиком, лезвие основательно вошло бы в него, но здесь нож отскочил от стены рядом с лицом Дэнни и со стуком упал на пол.

– Интересно, как быстро возвращается старое мастерство, когда это тебе нужно, – глядя на него холодными глазами, улыбнулся Сандос. – Мне хотелось видеть, как вырастет *некий ребенок*, – проговорил он тем же жутким в своей нормальности голосом. – И сколько же времени мы находимся в пути, мистер Вандерхельст?

Франс вдруг осознал, что перестал дышать, и пошевелился в кресле.

– Почти четыре недели.

– Я так и не смог понять, почему время сокращается подобным образом. Дети меняются очень быстро, особенно когда их папочки путешествуют на релятивистских скоростях. Почему так, Дэнни? Средства действительно отвратительны. И какие же цели их оправдывают?

– Скажи ему, – усталым голосом проговорил Шон Фейн, вошедший в кают-компанию, благополучно доставив Кандотти в его каюту. – Один Бог знает, какой сейчас день в этой богом забытой трубе, однако Йом Киппур настанет по любому календарю. Рабби скажет вам, Дэнни, что недостаточно испросить прощения у Бога. Вы должны попросить прощения у человека, которому вы нанесли тяжкий ущерб. – Когда Дэнни промолчал, он отрезал: – Извинитесь же перед ним, черт побери, ради Христа и ради блага собственной жалкой душонки.

Припав спиной к переборке, Дэниэл Железный Конь заговорил, и неискренность его голоса вполне соответствовала пустоте его речей:

– Отмена прещения на Общество Иисуса со всеми исками и контрисками, отмененными и улаженными в суде. Влиятельная позиция, на основе которой можно будет укрепить программы контроля за рождаемостью и политических действий в пользу бедных во всей сфере влияния Церкви. Передача каморрой Ватикану сведений о священниках, развращенных организованной преступностью, а также о тех, кто не поддался искушению, так чтобы Церковь могла очиститься от членов,

способных подорвать моральный авторитет Рима. Средства, позволившие Обществу Иисуса вернуться на Ракхат и продолжить там Господень труд. – И, помолчав, продолжил, добавив единственную существенную причину: – Спасение одной души.

– Моей? – изумился с долей веселья Сандос. – Что ж, восхищен вашими амбициями, однако не методами, отец Железный Конь.

– Они ничего не сделали бы с Джоном, – проговорил Дэнни. – Это был блеф.

– В самом деле? – Сандос пожал плечами и задумался. – Меня похитили и дважды за месяц избили до бесчувствия, – отметил он. – Склоняюсь к мысли, что угрозы Карло следует воспринимать серьезно.

Пристыженный Дэнни произнес:

– Мне очень жаль, Сандос.

– Ваши эмоции меня не волнуют, – негромко сказал Сандос. – Но если вам нужно отпущение грехов, ступайте к священнику.

Раздосадованный Шон отправился на корабельную кухню. Когда он возвратился к столу с бокалом и бутылкой виски *Jameson's*, Дэнни все еще стоял, безрадостно глядя на Сандоса.

– И как насчет Кандотти? – бросил Шон, обращаясь к Железному Коню. Дэнни вздохнул и повернулся к выходу, но перед этим подобрал нож и положил его перед Сандосом. Что, с точки зрения Франса, требовало определенного хладнокровия. Пуэрториканец был не в форме после недель пребывания в постели, руки его искалечены, посему трудно было отличить промах от намерения, однако у Франса возникло впечатление, что Сандос мог бы при желании пригвоздить Дэнни к стене. Карло воспользовался Кандотти для страховки, однако у Шефа свои цели…

– Что ж, хотим мы этого или нет, все мы находимся здесь, – проговорил Шон, наливая себе. После чего опрокинул бокал, глядя на Сандоса невеселыми голубыми глазами. – Это только догадка, но я готов поклясться, что ничто во всей обширной Господней вселенной не будет жечь этого человека горше, чем ваше прощение. Оно будет подобно углям на его голове, Сандос.

– Что ж, – сухим тоном молвил Сандос, имитируя акцент Шона, – это стоит учесть.

Франс был в высшей степени доволен.

– В карты играете? – спросил он Сандоса.

– Не хочу пользоваться нечестным преимуществом, – возразил Сандос, которого не возмутила разыгравшаяся драма. Встав, он отнес свои тарелки на кухню. – Мне всегда говорили, что голландские реформисты не приветствуют карточные игры.

– Мы не приветствуем и алкоголь, – отметил Франс, наливая всем, кроме Нико, который не пил, потому что это запретили ему сестры.

– Правильно, – согласился Сандос, возвращаясь к столу. – Покер?

– Отдохнем от надоевшей скопы, – проговорил Шон.

– Нико, поучаствуешь? – спросил Франс, протягивая руку к растрепанной колоде, постоянно находившейся на столе.

– Посмотрю, как вы играете, – любезным тоном ответил Нико.

– Я знаю, Нико, – терпеливо проговорил Франс. – И спросил просто из вежливости. Все в порядке, Нико. Ты не обязан играть.

– Я хотел бы сперва отослать весточку домой, если это не будет слишком трудно, – обратился к нему Сандос.

– Радио здесь, слева от вас за этим люком, – ответил Франс. – Все включено и настроено. Наберите текст и нажмите «отправить». Крикните, если понадобится помощь.

– Едва ли, – буркнул Шон, когда Сандос вышел из кают-компании.

Сев перед связным устройством, Эмилио задумался над текстом.

«Опять меня поимели, если не хуже», – подумалось первым делом, однако послание придет на Землю, когда Селестина будет еще подростком, и он отверг такое начало как слишком вульгарное. Он остановился на девяти словах: «Увезли силой. Всегда думаю о вас. Слушайте своими сердцами».

Глава 19
Город Инброкар

2047 год по земному летоисчислению

– Я не потерплю этого, – цокая когтями, кипятился посланник, расхаживавший из конца в конец просторного внутреннего двора посольства. Наконец Ма Гурах Ваадаи остановился перед женой – уши торчком – и не позволил ей даже открыть рот. – Уйду в отставку, но не отдам дочь этой твари. Как смеет он требовать себе моего ребенка!

– Мой господин, Хлавин Китхери не просил нашу Сакинжу, – попыталась успокоить его дама Суукмель Схирот у Ваадаи, подняв изящную руку, полным плавного изящества жестом она поправила простую шелковую головную повязку, словно бы окутывая свою душу покоем. – Он просто пригласил…

– Он трус, – огрызнулся Ма, отступая от нее. – Он убил всех своих родных…

– Почти наверняка, – мурлыкнула Суукмель, когда муж сделал еще один шаг, – но это не доказано.

– …И потом наговорил кучу лжи об этом! Словно кто-то может поверить в то, что какой-то мужлан – торговец из средних земель! – способен умертвить почти весь род Китхери. И теперь он еще смеет просить у меня дочь! – С искаженным гневом лицом Ма обернулся к жене: – Он сношает животных, а потом поет об этом!

– Это известно. – Она не стала обращать внимания на вульгарные выражения мужа. Долг велит посланнику говорить исключительно с обхождением и тактом; и Суукмель была рада возможности предоставить Ма небольшую передышку. – Хлавин Китхери, как говорит господин мой муж, многолик и удивителен, – продолжила она с умиротворяющей уверенностью, – однако он также человек исключительного кругозора, великий поэт…

– Чушь! – взорвался посланник, глядя мимо нее в сторону дворца Китхери, доминировавшего над центром Инброкара. – Он безумен, Суукмель…

– Ах, да простит свою жену мой милостивый господин, но словом «безумие» пользуются слишком часто и неточно. Осторожное лицо может назвать его неудовлетворенным, отчаянным или странным, – предположила Суукмель. – Пожалей существо, по природе своей не во всем подходящее к роли, предписанной ему рождением, ибо он *ведет* трудную жизнь. –

Она поправила свою мантию и приняла новую позу, более изящную, но вместе с тем несколько более утонченную и властную. – Хлавин Китхери восшел к своей Патримонии, мой господин. И, каким бы ни было его прошлое, какими бы ни были обстоятельства его восшествия, каким бы ни было твое личное мнение о его характере, как посланник страны Мала Нжер ты обязан воспринимать сорок восьмого Высочайшего как законного правителя Инброкара.

Муж ее нахмурился, однако женщина продолжила задумчивым тоном:

– Китхери сто□ит тщательного изучения, мой господин. Даже если забыть о поэзии, годы, проведенные им в изгнании, во Дворце Галатны, не прошли для него даром. Он, так сказать, вступил в интимные отношения со всей своей территорией. – Ма хрюкнул, развеселился, и она продолжила уже с улыбкой, непринужденным тоном: – Люди способные и энергичные, люди разные приносят Китхери свою информацию и понимание. Идеи. Перспективы. Уже в первый сезон своего правления он создал новые, не имевшие предшественников службы, назначил в них людей, даже третьеродных, и сделал это почти без сопротивления сторонников традиции.

Ма Гурах Ваадаи остановился на месте и обратил взгляд на жену. Она подобающим образом потупилась, но тут же посмотрела на него прямым и полным любопытства взглядом.

– Разве это не интересно? Как ему удалось сделать это? – спросила женщина с любопытством в голосе. – Быть может, мой дорогой господин сумеет обнаружить нечто ценное в своих наблюдениях за ним при дворе? – предположила она. – В любом случае Китхери больше не ищет жену.

– Конечно нет. Должно быть, ждет, что явятся новые бесхвостые монстры, чтобы сношаться с ними… – Тут до него дошла новость. – Что ты слышала?

– Он помолвлен, мой господин муж. С дочкой ВаПалкирн. Старшей дочерью регента.

– Элли'нал? Она же едва вышла из колыбели!

– Именно. – Муж, повесив уши, уставился на нее с открытым ртом. – Мастерский удар, согласись? – сказала она. – Инброкар – центральное государство Тройного альянса, причем Мала Нжер находится на западе, а Палкирн – на востоке. Брачный контракт с Элли'нал позволяет Палкирнскому правительству отсиживаться в покое за спиной Китхери, пока девочка будет расти. И тогда он может в охотку заняться своим западным соседом, то есть Мала Нжером. Не сразу, но он понял: Мала Нжер, мой благородный муж, может стать для Инброкара чем угодно. Протектором.

Партнером. Добычей. Возможно, Китхери захочет пересмотреть условия нашего альянса.

– Мне не сообщали об этом браке, – проговорил Ма.

– Тем не менее…

Следуя взгляду жены, он посмотрел на Таксайу, ее служанку-руна, сидевшую в углу и выглядевшую как образец молчаливого и почтительного внимания к своей госпоже. Служанку доверенную, которой можно было позволить иметь подружек среди товарок. Которая хорошо владела к'саном, которая слышала разное и сообщала о нем, которая обладала умом, достаточным для того, чтобы, когда надо, казаться глупой.

– Все это хорошо! – вспыхнул смутившийся Ма. – Что нужно Китхери от моей дочери?

– Ничего особенного, мой дорогой господин, – сладко пропела Суукмель. – Хлавин Китхери хочет встретиться не с твоей дочерью, а с твоей женой.

Ма расхохотался, запрокинув голову.

– Ты серьезно? – воскликнул он.

– Вполне серьезно, мой господин. Более того, я хотела бы встретиться с ним.

Трудно было сказать, что шокировало его больше: то, что женщина пользуется словом «я» или что муж должен разрешить ей встретиться с чужим мужчиной, а тем более с Китхери при всей его отвратительной репутации.

– Это невозможно, – наконец произнес Ма.

– Тем не менее, – сказала она, посмотрев на него ровным взглядом.

Наверное, всем было известно, что более чем половиной своих внушительных дипломатических успехов и почти всеми усладами всей своей жизни Ма Гурах Ваадаи был обязан своей обожаемой жене. Укрытая в недрах дома, собирающая информацию, рассуждающая, измеряющая, находящаяся в двойном удалении – после шестнадцати лет брака госпожа Суукмель Схирот у Ваадаи продолжала удивлять своего мужа, устрашать его и бросать ему вызов. Не прекрасная, но знающая, искусная, желанная. Не безумная, подумал он, но предложение ее было…

– Это невозможно, – повторил он.

Тем не менее.

Через два дня Ма Гурах Ваадаи, посланник территориального правительства Мала Нжера к Патримонии Инброкара, отправился во владение Китхери для того, чтобы предъявить свои личные верительные грамоты сорок восьмому Высочайшему – бесстыжему

поэту, лысому убийце, князю-извращенцу, пожелавшему встретиться с Суукмель.

Встреча, как предполагалось, имела чисто церемониальный характер, являясь очередным скучным примером Инброкарского протокола, столь же запутанного и бессмысленного, как само владение Китхери с его непохожими друг на друга башнями, палисадами и балконами, связанными ниспадающими рампами, воздушными арками, украшенными резьбой и лепниной галереями. Здесь обитали, сменяя друг друга, поколения семейства Китхери, здесь каждый новый Высочайший почитал своего усопшего родителя крылатым взлетом новой кровли, никому не нужным мартелло[43], винтовой башенкой, резным фронтоном, новой крытой галереей.

Весь дворец в материи воплощал прихоть новизны.

С точки зрения Ма Гурах Ваадаи, среди Китхери было принято проповедовать неизменность и практиковать инновации. Рожденный и воспитанный для битвы, Ма ненавидел дворец, как ненавидел он ханжество и претенциозность, хотя ныне его обязанность заключалась в том, чтобы практиковать ханжество и поощрять претенциозность. И только любовь Суукмель к тонкостям делала эту бессмысленную игру терпимой.

И Высочайший, и посланник умели петь на высоком к'сане, хотя инброкарский обычай требовал, чтобы оба они при этом изображали обратное – для того чтобы еще более замедлить и усложнить обряд. Однако респонсум[44] Высочайшего на вводную ораторию Ма был пропет с подлинным великолепием, что следовало дать высшую оценку толмачам и протоколистам руна, проделавшим отличную работу. Собственным секретаршам Ма не пришлось вносить исправления в то, что было сказано по его адресу инброкарскими рунао, назначенными переводить для Высочайшего его маланжу, не обнаружилось и ошибок в переводе лирики Высочайшего. И хотя руна обыкновенно терпеть не могли музыки, ни одна из свиты Высочайшего даже ухом не повела во время церемонии. Куда более знакомые с процедурой, чем оба жана'ата, рунао обеих сторон, похоже, и в самом деле наслаждались ею, сдержанно направляя величественное течение взаимных витиеватых приветствий, витиеватых даров и витиеватых обещаний.

И когда Ма Гурах Ваадаи уже начал опасаться, что вот-вот повалится от удушающей жары в этой великокняжеской печи на собственный хвост и заснет, церемония дошла до последних витиеватых прощальных приветствий, и он проснулся в достаточной мере для того, чтобы пропеть в точной гармонии с Высочайшим. Совершив сие, Ма уже был готов с облегчением

ретироваться, когда Хлавин Китхери поднялся с подушек своего мягкого позолоченного, украшенного самоцветами дневного ложа и направился к посланнику Мала Нжера, глядя на того веселыми глазами.

– Какая жуть, правда? – отметил Высочайший, окинув взором людный и душный приемный зал, с неудовольствием на пару тому, которое старательно скрывал сам Ваадаи. – Я начал надеяться на огонь. Подчас лабиринт проще всего пройти, запалив его, а потом шагать по пеплу. – Улыбнувшись удивлению на лице Ма, он продолжил: – Тем временем я распорядился устроить в горах летний стан, Превосходительный. Быть может, вы присоединитесь ко мне там, чтобы мы могли познакомиться в комфорте?

Официальное приглашение прибыло в резиденцию посланника на следующее утро, и по прошествии шести дней Ма Гурах Ваадаи отправился вверх по реке на барже посольства в сопровождении своего официального переводчика, личного толмача, секретаря, повара, камердинера, портного и служанки жены, Таксайу.

Ма предполагал, что, употребив слово «стан», Высочайший поскромничал, подразумевая привычную для Инброкара роскошь. Посланник считал, что обиталище это окажется столь же экстравагантным и безвкусным, как все принадлежащие Китхери дворцы, однако, к его удивлению, лагерь этот оказался чередой павильонов, разбросанных по высокогорной долине, охлаждаемой горными бризами. Если не считать того факта, что палатки были крыты золотой материей, поддерживались посеребренными шестами и были обставлены диванами, обшитыми самой тонкой тканью из всех, которые приводилось ощупывать Ваадаи, летняя резиденция своей строгостью скорее напоминала военный стан.

– Я живу здесь в походной обстановке, более подобающей воину Мала Нжера, смею сказать, – обратился к нему Китхери, направившийся к причалу без свиты сразу же, как только баржу привязали. Китхери улыбнулся, заметив удивленное выражение на лице посла, и протянул ему руку, помогая выйти на берег. – Вы ели?

Не в последний раз Ма Гурах Ваадаи был выведен из равновесия этим человеком. На отдыхе, в неформальной обстановке, одиозный Хлавин Китхери выглядел человеком достойным и благородным. Прочие гости Китхери также оказались людьми интеллектуальными и интересными, кухня приветственного банкета – великолепной, а оформление всего пиршества – блистательным.

– Очень приятно слышать такие слова, – негромко произнес

Китхери, когда посланник похвалил пиршество. – Рад, что вам понравилось. Результат нового времяпровождения. Или, точнее, возобновление старого мастерства. Я устроил в здешних горах охотничий резерват.

– Мясо добывается на природе, – поведал один из гостей. – Хорошее физическое упражнение, а потом прекрасное угощение.

– Быть может, посланник присоединится к нам завтра утром? – предложил Китхери, лицо его золотил свет, пробивавшийся сквозь золотую ткань и превращавший в топазы необыкновенные аметистовые глаза Высочайшего. – Надеюсь, что наши здешние обычаи не шокируют вас…

– Мы охотимся нагими, как былые герои, – пояснил Ма один из молодых людей.

– У моего юного друга поэтическая натура, – заметил Китхери, чувственно цепляя юношу за лодыжку. Взгляд его вернулся к посланнику Ваадаи, постаравшемуся не поежиться. – Нагими, как наша добыча, сказал бы практичный человек.

– Это стадо естественным образом знает про нас, – добавил мужчина постарше, – однако господин мой Китхери надеется вывести более наивную породу.

– Чтобы возродить переживания наших предков, – пояснил Китхери. – Однажды лучшие из наших сыновей придут сюда, чтобы дать жизнь своему наследию, чтобы они могли обрести прежнюю силу прежними путями. – И тут он неожиданным образом посмотрел прямо на служанку Таксайу, все это время тихо сидевшую в уголке среди прочих церемониальных толмачей, посещавших всякое собрание вне зависимости от того, нужны они были или нет. – Программа охоты касается только второсортных руна. Специалистов мы, как кажется, довели до уровня интеллектуальной зрелости, которая вскоре позволит провести, наконец, эмансипацию. Но, быть может, посол Мала Нжера возражает? – проговорил он, обращая ясные глаза к ошеломленному Ма Гурах Ваадаи.

– Представьте себе, какие возникнут юридические проблемы, – предположил один из присутствующих, прежде чем Ма успел открыть рот, после чего дискуссия обрела чрезвычайную живость и сугубо теоретический характер.

Вечерний хорал получился абсолютно великолепным. Китхери, как говорили Ма, изучал этот предмет во время своего изгнания в Галатну и полагал, что мелодии следует очищать от накопившихся украшений, так чтобы можно было насладиться простыми строками первоначальной гармонии, чистыми и простыми, столь же незамутненными, как в те времена, когда люди охотились вместе со своими братьями и друзьями не для

развлечения, но для того, чтобы накормить своих жен и детей.

В тот вечер Ма Гурах Ваадаи удалился в свой шатер обескураженным и несколько даже ошеломленным, однако с первым светом вышел из него голодным и с быстрым разумом. Без одежды, без знака своего положения, он испытывал тайное удовольствие от того, как сохранил свое тело во время мирной поры. Снимая одежду, обнажаешь характер, и, наблюдая за Высочайшим, Ма убедился в том, что стать, которую, на его взгляд, придавал тому отличный покрой одежды, на самом деле была подлинной. Большинство рештаров в среднем возрасте набирают жирок, однако Хлавин Китхери и в зрелости своей оставался сильным и подтянутым.

Охота удалась с самого начала. Ма несколько раз оказывался в паре с Китхери, обладавшим коротким и резким ножным хватом и на редкость эффектным последним ударом. Более удивительной оказалась щедрость стратегии Китхери, несколько раз без колебаний передававшего добычу Ма, заметив его более выгодное положение, а также помогшему устроить несколько чудесных, но утомительных засад, и настроение Ма Гурах Ваадаи поднялось вместе с восходившими на небосвод солнцами, сомнения рассеялись под их лучами.

«Китхери прав, – решил Ма. – Именно в этом мы и нуждаемся».

Шаг за шагом, сердцебиение за сердцебиением догнать рунао значило превзойти себя, забыть о разделяющем расстоянии, слиться воедино с добычей. А затем, оказавшись за спиной, зацепить за лодыжку, повалить, поднять ее голову за подбородок, открыть ее горло, полоснуть единым чистым движением – сделать все это, съесть мясо в конечном итоге значило пережить свою собственную смерть: умереть с нею вместе и ожить.

Он почти забыл, что это такое.

Насколько мог судить Ма Гурах Ваадаи, день мог стать лучше только в том случае, если бы в шатре его ждала Суукмель и он мог бы сбросить тушу к ее ногам и пропеть древнюю победную песнь. Однако Китхери признался в том, что несколько разочарован: дело было в том, что несколько руна не стали сопротивляться и сдались. Его пастухи пометили уши каждой линией и назначили детей этих кротких самок на обычный убой, сказал он после охоты. Более рисковые самки, сумевшие увернуться или бежать после короткого сопротивления, а затем уклониться от погони, также оказались отмеченными. Их можно случить с самыми заботливыми к малышам самцами в центре стада.

В ту ночь, ощущая, как сладко ноют мышцы, забыв о душных

дворцовых интригах и строгостях международной политики, Ма подумал, что ловкость, сила и предвидение Китхери прекрасно согласуются с тем, что он сделал со всей своей семьей. Суукмель права, думал Ма, глядя открытыми глазами в темноту. Это было не безумие, но честолюбие.

Он решил соблюдать бдительность, чтобы не соблазниться снова, но когда на следующее утро ловкие, одетые в великолепные ливреи домашние слуги собрали шатры и все прочее и организовали возвращение в Инброкар, посол обнаружил, что приглашает Высочайшего присоединиться к нему на посольской барже в качестве почетного гостя территории Мала Нжера. Проведенный на реке день прошел самым удовлетворительным образом, и, когда они приблизились к причалам столицы, он подумал, что будет разумно и приятно пригласить Высочайшего в посольство на приближающийся для Мала Нжера Праздник Солнц. И да, посланник сказал Высочайшему в ответ на мимоходом заданный вопрос, госпожа Суукмель будет присутствовать в резиденции.

Через неделю, подобно охотнику, раздевшемуся, чтобы преследовать добычу, Хлавин Китхери ступил на территорию Мала Нжера в простом, подобающем ученому одеянии: одно могучее плечо обнажено, при простых внешне драгоценностях, тем не менее украшенных дивными камнями. Он сообщил польщенному посланнику, что восхищен отсутствием у Мала Нжера любви к бессмысленным церемониалам, и посему хорал вопросов и ответов в его честь был изрядно сокращен.

Таким образом, сорок восьмой Высочайший в Инброкаре получил возможность, не стесняя себя протоколом, сразу пройти к собравшимся, с изящной непринужденностью приветствуя сановников и знакомых, попутно делясь с ними мнениями о долгой истории праздника, и, наконец, принять участие в обсуждении гармоний кантов Мала Нжера.

Руководствуясь безошибочным ощущением опасности, он подмечал людей, враждебно настроенных к нему, а также людей, чья преданность стабильности и закону заслуживала всякого одобрения и похвалы. Находя удобное мгновение, он обращался к ним за советом по тому или иному вопросу, внимательно выслушивал их мнения, был осторожен в ответах. Время от времени он упоминал вопросы, которые эти люди могли использовать ко благу собственных семейств. И к концу дня он заметил, что настороженность и подозрительность начали замещаться готовностью отложить суждение.

Пока что он не совсем еще представлял, каким образом

можно совершить столь желанную ему трансформацию. Сам язык его мыслей мешал постижению проблемы: в к'сане не было слов для той очистительной искупительной революции, танцевавшей в уме Хлавина Китхери. Битва, баталия, борьба – да; воин, поединщик, дуэлянт, противник, враг – лексикон к'сана был переполнен такими лексемами. В нем также имелись слова для восстания и бунта, однако они подразумевали поступки неблагочестивые, а не политические волнения.

«Сохраа, – думал Хлавин Китхери. – *Сохраа».*

На поэтический слух слово это звучало очаровательно – напоминая дыхание ветра в жаркий и безветренный день, шепчущее о скором дожде. И все же почти все слова, основанные на *сохраа,* связаны с несчастьями, с деградацией и дегенерацией.

Корень этого слова означал перемену, и он часто слышал его в эти дни – от военных, отозванных из инспекционных обходов внешних провинций, от бюрократов, рассчитывающих на преференции от новой власти, от податной мелкой знати, явившейся, чтобы присягнуть в верности, от персонала иностранного посольства, оценивающего новое проявление силы Инброкара. Правящие касты Ракхата неосознанно ощущали себя утратившими прежнюю ценность, и несомый ветром смрад перемен смущал их, однако было опасно указывать, что общество в высшей степени дестабилизировала именно поэзия Хлавина Китхери. Безопаснее было винить подрывное воздействие из-за рубежа, повлиявшее на простодушных селян руна, населявших побережье Масна'а Тафа'и. Кампания по очистке восставших деревень происходила, как обычно бывает на юге, порочным, неэффективным и недостаточным образом. Тревога размывала основы общества жана'ата, как беспокойная подземная река, напевавшая: *сохраа, сохраа, сохраа.*

Теперь Китхери выжидал, ибо погоня может спугнуть добычу.

Когда внимание собравшейся в посольстве праздничной толпы переместилось к банкетному столу, он сумел продвинуться к большой центральной вентиляционной башне – полому столпу совершенно неизящных пропорций, заслонки которой были заменены декоративными решетками, слегка, но все же заметно понизившими способность колонны направлять воздух в главный двор посольства. Каменная кладка практически не имела швов.

Собственное волнение не удивило Хлавина; будущее оставалось неопределенным. «Он поет архитектурному сооружению!» – скажут окружающие в том случае, если кто-то заметит его, и он шел на риск, так как мог разрушить плоды всей кропотливой работы последнего сезона, заново пробудив слух о своем безумии. И все же, подумал он. И запел, негромко, но

звучно и чисто, о рожденной ночью куколке-хризолиде, скрывающейся в прохладе, но наконец согретой солнцами; о Хаосе, явившемся плясать в дневном свете; о вуалях, разделенных дыханием жаркого дневного ветра; о Славе, пылающей под лучами светил.

В просторном зале, переполненном разговорами и звуками еды, ничего не изменилось. Припав беспечным плечом к прохладному и полированному камню столпа, возле резной решетки, за которой пряталось ее логово, он спросил:

– И что же, слушая, слышит моя госпожа Суукмель?

– *Сохраа,* – явился ответ, тихий, как ветерок, предвещающий дождь. – *Сохраа, сохраа, сохраа.*

Для начала он послал ей драгоценные камни непревзойденного блеска и чистоты, отрезы ткани, тяжелой от золотой нити, браслеты и кольца для ее ног, мелкие серебряные украшения для когтей. А еще бронзовые колокольчики необычайной длины, гудящие так низко, что услышать их можно разве что сердцем, и сладостные звоном бубенцы для наголовной повязки. Шелковые занавесы с украшенными самоцветами вышивками, тонкой работы эмалевые шкатулки. Благовония, приносившие горы, равнины и море в ее палаты.

И все это было отвергнуто – возвращено нетронутым.

А еще искусных прядильщиц руна, равных которым не было на всем континенте.

Великолепную повариху, чьи паштеты и рулеты обладали непревзойденным вкусом и нежностью. Массажистку, рассказчиков, акробатов. Всех пригласили в палаты госпожи. Со всеми поговорили с любезностью и интересом – и всех отправили назад с вежливым отказом. А потом всех тщательно опросил Хлавин Китхери, когда они вернулись в его дворец.

Затем Высочайший послал в дар одно хрупкое яйцо горной *уны,* в гнезде из благоуханного мха. Затем метеорит, спустившийся в огне из области солнц, и простой хрустальный флакон с длинной палочкой янтарного *син'амон* из краев, находящихся за этими солнцами. Один совершенный цветок *к'на*. Семейную парочку крошечных *хлори'ай,* чья вдохновенная брачная песнь стала мелодией старейшего из закатных гимнов Мала Нжера. Отказ получили и эти дары – за исключением *хлори'ай,* которыми Суукмель любовалась целый вечер, очарованная их красотой. Утром она собственной рукой открыла их клетку и выпустила на свободу.

На следующий день Таксайу явилась к воротам двора Китхери и объявила привратнику, что хочет предстать пред ликом

Высочайшего. К изумлению пришедшей в ужас дворни, Хлавин Китхери распорядился, чтобы девицу-руна впустили в названные врата и со всякой любезностью препроводили в его покои.

– Моя госпожа Суукмель пожелала, чтобы смиреннейшая эта в бесхитростности своей сказала благороднейшему и Высочайшему следующие слова, – произнесла Таксайу, однако смиреннейшая сия стояла перед правителем Инброкара вместо своей госпожи в спокойствии и с достоинством. – Моя госпожа Суукмель спрашивает Высочайшего: «Неужели я малое дитя, которое можно соблазнить подарками?»

При этих словах взгляд небесных фиалковых глаз обрел фокус, однако Таксайу не опустила уши.

– Он не убьет тебя, – уверила ее Суукмель. – Он хочет того, чего не может взять, – того, что может быть дано только свободно, и никак иначе.

Ибо, если Хлавин Китхери пожелал бы только наследственной линии Суукмель, он мог бы без всякого труда устроить смерть ее мужа. Он мог бы взять ее силой и родить от нее детей, даже в том случае, если бы это означало войну с Мала Нжером. А посему дама Суукмель заключила, Китхери желает от Суукмель Схирот у Ваадаи не наследственную линию, но ее саму.

Воспользовавшись мгновением, Таксайу продолжила:

– Моя госпожа спрашивает: «Что мог бы совершить человек, союзниками которого являются силы любви и верности?» Куда больше, полагает моя госпожа, чем одинокие в мире люди, отцы которых являются препятствиями для них, а братья – соперниками, чьи сыновья мечтают только об их смерти; чьи сестры и дочери служат платой за покупку верности нижестоящих, для приобретения ранга или умиротворения врагов. – Она умолкла. – Моя госпожа спрашивает: продолжать ли мне?

Высочайший негромко вздохнул, после чего поднял подбородок.

– Тогда моя госпожа Суукмель советует Высочайшему: во-первых, да примет он мудрость и искусство от тех, кто обладает мудростью и мастерством, но особенно от тех, кто не приспособлен к положению своих предков, ибо в таких персонах Высочайший может пробудить такую же верность, какую моя госпожа Суукмель по своей свободной воле отдает своему доброму мужу, который предоставил ей столько свободы, сколько может пожелать женщина, знающая, что такое добродетель и честь. Еще она советует: да возобновит Высочайший обычай ранних Высочайших Инброкара, древний, как древнейшие из песен, и возьмет себе гарем из рожденных третьими женщин,

чтобы дети их были охолощены и не претендовали на наследование. Статус их не будет раздражать будущих детей Высочайшего от его малолетней невесты ВаПалкирн, сохраняя таким образом союз с востоком. Моя госпожа спрашивает: продолжать ли мне?

Более не глядя на нее, он сказал:

– Продолжай.

– Если угодно Высочайшему, моя госпожа Суукмель говорит: рожденные свободными дети гарема лишь один день будут плясать в дневном свете и в славе солнц, осуществляя стремление их отца к переменам лучше, чем он себе может представить.

Моя госпожа говорит: пусть Высочайший подумает о том, кого из его детей можно научить пению новых песен. Пусть пришлет он этого ребенка госпоже Суукмель на воспитание, ибо в этом она станет его партнером, и такое дитя может стать мостом, соединяющим то, что есть, с тем, что может быть. Госпожа моя спрашивает: продолжать ли мне?

– Да, – сказал Высочайший, однако после этого он слышал очень немного из того, что говорила далее рунао. Вместо этого Хлавин Китхери ощущал умом жаркий ветерок, дышавший из двора, видел, как мягкий ветерок будет теребить края шелкового шатра, будет вздымать на ладонь прозрачную ткань от камней, открывая пятки нежные, как утренний воздух. На короткий момент явились и воображаемые лодыжки – крепкие, красивые, украшенные браслетами и драгоценостями. Представил себе то, что могло бы быть, если взять то, чего он желал, а не то, что она предлагала…

Откровенность. Союз. Ум, равный его собственному. Не все, чего он хотел бы, но все, что, как стало ясно, она могла дать ему.

– Скажи своей госпоже, что она такова, как о ней говорят, – проговорил Хлавин Китхери, когда рунао умолкла. – Скажи ей, что… – Поднявшись, он посмотрел в глаза Таксайу: – Скажи ей, что я благодарен ей за советы.

Глава 20
Джордано Бруно

2063 год по земному летоисчислению

– Мальчишкой я хотел стать террористом, – проговорил Жосеба Уризарбаррена. – Согласно семейной традиции – обе мои бабки принадлежали к ЕТА[45]. Конечно же, мы называли себя борцами за свободу. Лучше?

– Да, – выдохнул Сандос.

– Хорошо. Дайте мне другую руку. – Сандос протянул другую ладонь и позволил баску опереть предплечье на поднятое колено. – Получается не всегда, – предупредил Жосеба, ощупывая большими пальцами пространство между обеими длинными костями, пока не нашел то место, где мышца переходила в сухожилие.

– Мой дядя потерял большую часть правой руки, когда мне было примерно восемь лет. Знаете, как они называют те случаи, когда бомба взорвалась слишком рано? «Произошла преждевременная разборка».

Сандос отрывисто хохотнул, к удовлетворению Жосеба. Даже одурманенный, Сандос находил забавной игру слов, хотя прочие формы юмора до него не доходили.

– Тетка моя говорила, что он выдумывает свою боль, чтобы его пожалели, – проговорил Жосеба, нажимая уже сильнее. – Мертвый пес не кусается, говорила она. Руки у тебя больше нет. Как может болеть то, чего больше нет? Дядя обычно отвечал ей: боль столь же реальна, как Бог, она незрима, неизмерима, могущественна…

– …Как стерва, с которой приходится жить, – выдавил Сандос дрожащим голосом. – Вроде твоей тетки.

– Тут ты прав, – заторопился с ответом Жосеба, склонившийся над рукой. Переместив большие пальцы, он нажал посильнее, слегка удивляясь тому, что оказался в этом положении. Одетый только в нижнее белье, поднявшийся с постели в два часа утра с полным мочевым пузырем, он обнаружил Сандоса, метавшегося по кают-компании, как обезумевший в клетке дикий зверь.

– Что случилось? – спросил Жосеба, и Сандос для начала огрызнулся. Баск знал, что Сандос не из тех, кому легко помогать, но именно такие люди более всего нуждаются в помощи, как было ему известно.

Опасаясь, что он всего лишь поставит пуэрториканцу синяк, и

страдая от потребности помочиться, Жосеба уже собирался сдаться, когда услышал короткое и резкое рыдание.

– Да? – спросил Жосеба, чтобы увериться в том, что можно прекратить процедуру.

Сандос не шевелился и едва дышал: глаза закрыты, лицо напряжено. Жосеба сидел спокойно, он был знаком с подобной реакцией; его дядя тоже не сразу верил тому, что боль прекратилась на самом деле. Наконец Сандос вздохнул и открыл глаза. Он еще не совсем пришел в себя, однако сказал:

– Спасибо.

А потом, моргая, сел повыше в своем кресле и отодвинулся, избегая физического контакта.

– Я не знаю, почему так получается, – признался Жосеба.

– Возможно, непосредственное давление на нервы конечности гасит случайные сигналы? – предположил Сандос еще чуть дрожащим голосом.

– Возможно. – «Но даже если это всего лишь сила внушения, – подумал Жосеба, – это работает, работает». – Если бы ты сказал мне об этом раньше, я мог бы помочь, – укорил он Сандоса.

– Откуда я мог знать, что в твоем роду числятся такие неудачливые бомбисты? – вполне разумно осведомился Сандос, теперь уже дышавший ровнее.

– Мой дядя в таких случаях плакал. Просто сидел и заливался слезами, – отметил Жосеба. – Ты ходишь.

Сандос пожал плечами и отвернулся.

– Лучше всего помогала работа.

– Сейчас ты не работаешь, – отметил Жосеба.

– Даже подумать об этом не могу, – признался Сандос. – Квелл обычно помогает – примерно половину боли дает страх. Но на сей раз это было нечто.

Заинтересованный темой, однако ощущая, что мочевой пузырь вот-вот лопнет, Жосеба встал.

– А тебе никогда не приходило в голову, – спросил он, прежде чем возобновить свое путешествие в туалет, – что часы придумали старые монахи, страдавшие простатитом? Раз уж встал, так можно и помолиться, так?

С этими словами Жосеба потопал медвежьей поступью далее, однако когда он вернулся, испытывая законное чувство облегчения, Сандос все еще сидел в темноте. Он уже ушел бы в свою каюту, если бы не нуждался в обществе, подумал Жосеба и, рискнув, продолжил:

– Я тут недавно читал Книгу Иова. «Видел ли ты врата смертной тьмы?.. Можешь ли связать узел Плеяд и ослабить узы Ориона?» – Прислонившись к переборке, баск указал жестом на

окружающую их полную тайн тьму. – Человек теперь может сказать: почти. «Мы нисходили во глубину моря и вступали в исследование бездны. Мы измерили просторы земные и прочертили линию на них. Можешь ли ты посылать молнии? Способен ли ты повелевать утром?» И вот мы здесь, среди звезд!

Жосеба покачал головой, а потом произнес:

– А знаешь, музыка изменилась. После того как вы побывали на Ракхате.

– Я лично предпочитаю читать Книгу Иова в переводе Вольфера, – прокомментировал Сандос. – Итак. Почему терроризм потерял для тебя свою привлекательность?

– Ага. Значит, меняем тему, – дружелюбно отметил Жосеба. – Потерял. Но на это ушло много времени. К тому же Испания и Франция наконец решили: к чертям этих басков… кому они нужны? После чего какое-то время мы воевали между собой. Привычка такая.

Помолчав, он посмотрел на Сандоса:

– А ты знал, что голос Хлавина Китхери был слышен почти целый год после твоего отлета с Ракхата, но потом его никто не слышал?

– Надеюсь, он умер, – любезным тоном предположил Сандос, – от чего-нибудь особо мучительного и неприятного. И чем ты занимался после того, как терроризм перестал тебе казаться перспективной областью дальнейшей карьеры?

– На самом деле я много охотился. На том крохотном уголке Земли, откуда я родом, охота до сих пор процветает. Все это время я проводил под открытым небом, посреди того, что осталось в Европе от природы. Охотник – хороший охотник – часто отождествляет себя со своей жертвой. Из одного следует другое. В университете я изучал экологию.

– И как все это привело тебя к священному сану? Быть может, ты возлюбил прекрасное и необыкновенно сложное творение Господне? – Легкий и негромкий голос казался в полумраке забавно невыразительным и бесцветным, вся музыка как будто бы покинула его, пустое лицо было освещено лишь тусклыми желтыми и зелеными огоньками приборов ходовой рубки.

– Нет, – возразил Жосеба. – В наши дни усмотреть сложную гармонию творения, во всяком случае на Земле, невозможно. Положение стало много хуже, чем когда вы улетали с Земли, мой друг. Экология сделалась наукой о деградации. Теперь мы не столько изучаем, сколько восстанавливаем, точнее, пытаемся восстановить экологические системы, лишившиеся равновесия и разрушенные. И за каждый шаг вперед приходится делать два назад под натиском растущего населения. В наши дни экология –

безрадостная дисциплина.

Баск в темноте прошел по комнате и уселся поближе к Сандосу, кресло из литого полимера крякнуло под его внушительным весом.

– Если ты видишь систему, находящуюся в состоянии возмущения, найти единственную причину его – великая радость, в таком случае лекарство будет простым. Студентом я часто разглядывал ночные снимки планеты, и соединенные концентрации ночных огней казались мне культурами стрептококков, расползающихся по поверхности чашек Петри. Я убедился в том, что *Homo sapiens* стал заразой, отравившей свою хозяйку, Гайю. Земле станет лучше без нас, думал я. Мне было всего девятнадцать лет, но за всю мою короткую жизнь население Земли выросло с семи миллиардов до четырнадцати. И я возненавидел вид, который называет себя разумным. Я хотел излечить Гайю от болезни, которой стало для нее человечество. Я начал серьезно думать о том, каким образом можно истребить по возможности больше людей и при этом не попасться. Я верил в себя, считал себя бескорыстным героем – одиноким борцом за всепланетное благо. Я поменял в колледже основные предметы. Очень интересной, в частности, показалась мне вирусология.

Сандос внимательно смотрел на него. Хороший знак, решил Жосеба. Даже находясь под действием наркотика, он способен на моральные оценки определенного уровня.

– Как я уже говорил, – сухо отметил Жосеба, – терроризм не потерял для меня своей привлекательности. В то время я жил с девушкой… я порвал с ней. Она хотела детей, а я их ненавидел. И называл их переносчиками заразы. Я воспринимал тогда людей в манере Нико и думал: и как ты избежал абортария? Ты – еще один бесполезный червь, пожирающий ресурсы планеты, способный только жрать и производить себе подобных.

Где-то в недрах корабля включился компрессор, и его жужжание присоединилось к плеску воды в аэраторах и неумолкающему шелесту снабженных фильтрами вентиляторов. Сандос не шевельнулся.

– И когда мы расставались, девушка моя на прощание сказала мне такие слова: «Гнусно желать людям смерти потому лишь, что они появились на свет в такое время, когда нас на Земле и так слишком много». – Он замолчал ненадолго, пытаясь вспомнить ее лицо, пытаясь представить, какова она теперь – в свои почти пятьдесят лет с учетом релятивистских эффектов. – Она открыла мои глаза, хотя мы больше уже никогда не разговаривали. На это ушло какое-то время, но в итоге я начал искать причину, которая позволит мне поверить, что люди куда значительнее бактерий.

Среди моих преподавателей был один иезуит.

– И теперь вы летите в мир разумных созданий, не позволивших себе разрушить среду своего обитания, чтобы увидеть, чего это стоит им?

– Скорее в качестве наказания за мои собственные грехи. – Жосеба встал и шагнул к ходовой рубке, откуда в обсервационном окне открывался вид на жесткие звезды и неизмеримую тьму. – Иногда я вспоминаю о той девушке, на которой так и не женился.

Он посмотрел на Сандоса, однако никакой заметной реакции на лице того не было видно.

– Где-то я читал интересное предложение. Теми странами, которые наиболее активно загрязняют окружающую среду и обладают самыми разрушительными арсеналами, должны управлять молодые женщины с малыми детьми. Взгляд таких матерей более, чем кого-то еще, обращен в будущее, и одновременно они каждый день сталкиваются с грубой реальностью, что дает им особенный взгляд на жизнь.

Жосеба распрямился, потянулся и зевнул, после чего исчез за переборкой в коридоре, ведущем к его каюте, пожелав на ходу своему собеседнику спокойной ночи. Эмилио Сандос еще долго сидел в кают-компании в полном одиночестве, после чего также отправился спать.

– Я не спорю, я просто недоумеваю, – сказал Джон Кандотти отцу-генералу за несколько месяцев до отлета миссии. – То есть все остальные, каждый нечто вроде ученого. Моя сильная сторона скорее заключается в венчаниях и крещениях. Отпеваниях. Школьных постановок, надеюсь, не будет? И вывозить детей на отдых не придется, так ведь?

Ехидная интонация в его голосе так и приглашала отца-генерала взорваться и вскочить с места, однако Винченцо Джулиани просто смотрел на него, и молчание всех прочих заставляло Джона говорить все быстрей и быстрее.

– Или потребуется вести церковный бюллетень? Улаживать отношения между регентом хора и приходским священником? Насколько я понимаю, ничего подобного в полете не будет, так? Кроме разве что похорон… – Джон откашлялся. – Я же не то чтобы не хочу лететь, просто знаю парней, которые охотно расстались бы со своей родной печенью для того, чтобы получить место на звездолете, и не понимаю, почему вы посылаете меня.

Взгляд отца-генерала расстался с лицом Джона и обратился к оливам и каменистым холмам, окружавшим приют иезуитов. По прошествии какого-то времени он как будто бы забыл про Кандотти и сошел с места. Однако помедлил и снова повернулся

к младшему иезуиту.

– Там потребуется человек, который умеет прощать, – только и сказал он.

Поэтому теперь Джон предполагал, что по долгу службы должен простить Дэнни Железного Коня. У себя в Чикаго Джон Кандотти числился необыкновенно приятным исповедником, священником, который не станет добиваться, чтобы кающийся обязательно почувствовал себя трехлеткой, напустившим в штаны.

– Все мы не без греха, – напоминал он людям. Многое из того, в чем они исповедались ему, рождено было недомыслием, бесчувственностью, безразличием к остальным. Или идолопоклонством – замещением Бога деньгами, властью, карьерой или сексом. Джон по собственному опыту знал, как можно незаметно для себя увлечься чем-то предосудительным, обманываясь тем, что сможешь удержать себя на краю потенциально опасной ситуации и не увязнуть по колени в луже дерьма.

Он умел помогать людям: разобраться в себе, понять, что они сделали и почему, так чтобы они смогли извлечь благо – в буквальном смысле этого слова, – извлечь благо из проступка.

Однако Дэниэл Железный Конь не просто психанул. Он не совершил ошибку – и даже не занимался самообманом. Он совершил обдуманный, преднамеренный проступок – незаконный, неэтичный и аморальный. Осознав впоследствии, что в похищении также замешаны Винченцо Джулиани и Геласий III, Джон еще более вознегодовал, однако добраться до них более никак не мог. Но Дэнни Железный Конь находился рядом – каждый день и каждую ночь, и его молчание как будто бы подтверждало мнение Джона о том, что он имеет дело с наглым типом, павшим под воздействием собственного честолюбия.

К тому же впервые в жизни его подвела сама месса. Он всегда воспринимал евхаристию как миг обновления и посвящения, особенно среди людей, полностью отдавших свои жизни в руки Бога. Теперь же, на «*Джордано Бруно»,* месса сделалась для него ежедневным напоминанием о разделении и вражде; само слово «причастие» стало казаться ему насмешкой над ситуацией.

Джон отчаянно хотел поговорить с Эмилио, однако Сандос относился к нему как ко всем остальным членам экипажа: с отстраненной, не вполне трезвой любезностью.

– Я дал слово не вмешиваться в планы Карло, – этим кончались все разговоры.

Жосеба Уризарбаррена придерживался политики максимального отстранения от всякого рода деятельности –

оставался по возможности у себя в каюте, вносил в нее полные тарелки, выносил пустые, старался выходить так, чтобы не заставать в кают-компании никого – ни иезуитов, ни светских.

– Трудно представить, как можно оправдать такой поступок, – согласился Жосеба, когда однажды ночью Джон припер баска к стенке на кухне. – Однако помнишь имя того пирата, который провел корабль Френсиса Хавьера[46] в Японию? Эван о Ладрао… Эван Вор. Возможно, Бог пользуется теми инструментами, которые есть под рукой, пусть даже они погнуты или поломаны.

Поскольку Джон все равно настаивал на своем, Жосеба посоветовал ему:

– Поговори с Шоном.

Но когда Джон непосредственно обратился к тому за хоть каким-то советом, ирландец резко осадил его:

– Не лезь не в свое дело.

Для Шона, как понял Джон, тема была теперь связана с нарушением тайны исповеди.

Никогда не уклонявшийся от открытой схватки, Джон решил в конечном итоге обратиться непосредственно к Железному Коню.

– Мои грехи, шеф, мое личное дело, – без эмоций ответил ему Дэнни. – Ты знаешь факты, делай выводы сам. Или, по-твоему, Папа и отец-генерал отпетые грешники? А может быть, ты просто не все знаешь и понимаешь?

Словом, когда он уперся в подобную стену, дилемма предстала перед ним в полном объеме, потребность выговориться сделалась еще более насущной, и Джон стал обдумывать другие кандидатуры для откровения. Он не мог понять, является ли Нико на самом деле умственно отсталым, однако этот рослый парень, на плечах которого сидела слишком небольшая голова, по мнению Джона, едва ли мог обладать развитыми этическими представлениями. Карло Джулиани любил цитировать Марка Аврелия, однако когда Джон слышал его слова, ему чаще представлялся не император-стоик, а Калигула – во всем своем медовом великолепии и самообмане, опасный в куда большем диапазоне событий, чем мог даже помыслить Кандотти.

Оставался только толстый Франс.

– Это ты меня спрашиваешь? – возопил южноафриканец, когда Джон изложил ему свою проблему – утром, когда в кают-компании больше никого не было, кроме Нико, на которого все остальные, как правило, не обращали внимания. – А что, Джонни, ты не ошибся. В свое время я читал курс философии в Блумфонтейне…

– Филос!.. И какого тогда черта ты пилотируешь эти каменные горы в интересах каморры? – поинтересовался

ошеломленный Джон.

Франс пожал внушительными плечами.

– Философия, как мне удалось понять, в наши дни является скорее позицией, чем путем для карьерного роста – со времен Просвещения рынок вакансий существенно сократился. Каморра, с другой стороны, предлагает вполне приемлемое жалованье, великолепные условия при выходе на покой и превосходную медицинскую страховку, – проговорил Франс. – Ну, а если тебя угораздит стать свидетелем обвинения, то устроят отличные похороны.

Джон фыркнул, но снова принялся грызть ногти. Это занятие предоставляло ему в последние дни существенную часть калорий.

– Так что вот, – дружелюбно поведал Франс на своем монотонном и певучем йоханнесбургском наречии, – ты ставишь интересную проблему. Лично я не имею никакого устоявшегося мнения относительно Бога, но должен признаться тебе, что считаю всю вашу Католическую церковь сборищем отпетого жулья, вместе с ее чертенятами и ангелочками, к которым, как частный случай, следует приплюсовать и всех чернокожих пап…

– И твою мать тоже ети, – любезным тоном отозвался Джон, возвращаясь к оставленному на мгновение ногтю.

– Чувствуется джентльмен и ученый, – заметил Франс, приподнимая чашку с эспрессо в знак одобрения. – Что ж, в таком случае нам, пожалуй, придется поискать аксиому, устраивающую нас обоих.

Какое-то время он смотрел в потолок.

– Насколько я понимаю, ты ощущаешь потребность обнаружить в этой ситуации долю скрытого смысла, так? Нечто способное оправдать ту неприглядную ситуацию, в которой ты оказался.

Джон одобрительно буркнул, обрабатывая указательный палец.

– Но сделать это несложно, – поощрил его Франс. – Если мыслить в широкой перспективе или достаточно глубоко знать историю, наконец, если обладать существенной долей воображения, то глубокий и сокровенный смысл можно обнаружить едва ли не во всем. Возьмем хотя бы сны. Ты когда-нибудь слышал о *Libro della Smorfia?* То есть о соннике? – Джон отрицательно помотал головой. – Неаполитанцы, даже образованные, всегда кладут его возле постели. И утром, перед тем как отлить, ищут в нем смысл своих снов. Дальняя дорога, незнакомый брюнет, полеты во сне – все что-нибудь значит.

– Суеверие, – окончательным тоном промолвил Джон. – Как кофейная гуща и карты Таро.

– Не будь грубияном, Джонни. Назовем это психологией, – ухмыльнулся Франс, колыхнув вторым подбородком. – Дело ученого – найти закономерности в природе или циклы в истории. Первоначально это все равно что искать фигуры животных и мифологических героев на небе. Вопрос заключается в том, сумел ли ты найти предсуществовавшую истину? Или же просто приписал произвольное значение тому, над чем размышляешь?

– Да. Быть может, да на оба вопроса, – проговорил Джон. – Не знаю.

Прекратив грызть ногти, он понял, что один из пальцев его кровоточит.

– Ага. Не знаю: истина, к которой мы можем стремиться. – Франс блаженно улыбнулся, блеснув зубами цвета слоновой кости на бледном, пастельном лице. Он обожал подобные разговоры, и годы, отданные извозу по солнечной системе убийц и жмуриков, чрезвычайно редко предоставляли ему подобную возможность.

– Восхитительная ситуация. Я исполняю роль адвоката дьявола при иезуите! Что, если, – предположил он лукавым тоном, – Авраам изобрел Бога потому лишь, что хотел придать смысл хаотичному примитивному миру. Мы сохраняем этого вымышленного Бога и настаиваем на том, что он любит нас, так как боимся огромной и безразличной к нам Вселенной.

Джон посмотрел на него и задумался над собственным ответом, но прежде чем он успел открыть рот, всеми забытый Нико удивил их обоих репликой:

– Наверное, когда ты боишься, то лучше слышишь Бога, потому что слушаешь старательнее.

Интересная мысль, однако с ним, с Джоном Кандотти, было иначе, когда в ангаре посадочного аппарата он ждал, когда откроется люк и его выбросит в космос, не в силах думать о чем-то другом, кроме близкой и неотвратимой кровавой кончины.

– Не знаю, – повторил он в итоге.

– Чисто человеческое состояние. – Франс трагически вздохнул. – Как страдаем мы в своей суете и невежестве! – Он просветлел. – Вот почему еда и секс так приятны нам. Ты поел? – спросил он и с этими словами побрел на кухню, оставив Джона высасывать кровь из раненного им самим ногтя.

Кандотти уже удалился, когда Франс вернулся к столу со своим ленчем. Франс улыбнулся Нико, безмятежно сидевшему в своем уголке, напевая *Quesma o quella*[47] – арию герцога из оперы «*Риголетто*», единственной действительно нравившейся Франсу.

– Нико, – объявил Франс, садясь за еду, – последние

несколько недель я потратил на старательное наблюдение за нашей крохотной группой путешественников и в явной противоположности экзистенциальному страху, владеющему Кандотти, пришел к неизбежному выводу. Хочешь услышать к какому?

Прекратив напевать, Нико посмотрел на Франса, скорее из вежливости, чем ожидая. Нико всегда был вежливым мальчиком.

– Так вот, Нико: если кто-то из нас и вернется живым из этой гонки, это будет самое настоящее чудо, – сообщил ему Франс, наполнив рот *paglio fieno,* знаменитой двухцветной желто-зеленой пастой, и запив глотком «Москато д'Асти». – Нико, а ты знаешь, кто такие рунао?

– Что-то вроде старой машины?

Франс сделал еще один глоток.

– Нет, Нико, машина – это «Рено». А рунао – это одна из руна, народа, живущего на Ракхате, куда мы направляемся. – Нико кивнул, и Франс продолжил: – Рунао с практической точки зрения представляет собой корову, наделенную мнением. – Он пожевал, проглотил. – Его великолепие, дон Карло, всего лишь мегаломан, воспылавший целью править стадом говорящих коров. И для того чтобы выполнить эту славную миссию, он собрал вместе циркового шута, дурака, четырех священников и проклятого калеку, которого тебе пришлось избить до полусмерти только для того, чтобы затащить на этот корабль. – Франс удивленно качнул головой, но остановился, обнаружив, что щеки его и второй подбородок двигаются не в такт с черепом. – Священники считают, что летят на Ракхат для того, чтобы исполнить Божью волю, но знаешь, почему здесь оказались мы с тобой, Нико? – задал Франс риторический вопрос. – Потому что я разжирел настолько, что больше не смогу трахнуть ни одну бабу, и что еще мне остается? А ты летишь потому, что слишком туп и не умеешь сказать нет. Больше никого Карло не смог уговорить.

– Неправда, – с полной убежденностью заявил Нико. – Дон Карло решил лететь, потому что узнал, что боссом станет его сестра Кармелла.

Франс моргнул:

– И ты знал об этом?

– Об этом знали все, даже якудза в Японии, – поведал Нико. – Дон Карло был в большом недоумении.

– Ты прав, – согласился Франс. К тому же у него не было никаких причин напрашиваться на неприятности. Карло падроне на корабле, Нико предан ему – он едва не убил парня, который пытался в баре стребовать с Джулиани деньги по счету.

– И я извиняюсь за то, что назвал тебя тупым, Нико.

– Возьми назад и свои слова относительно руна, Франс.

– Беру назад свои слова насчет руна, – заторопился с ответом Франс.

– Потому что руна – не коровы. Они хорошие, – сообщил ему Нико. – А плохие там эти жана…

– Я только пытался пошутить, Нико. – «Несмотря на годы, свидетельствовавшие о противоположном, я до сих пор не оставил надежды на то, что Нико научится распознавать иронию и сарказм. Что как раз и показывает, кто из нас на самом деле туп», – подумал Франс, цепляя вилкой очередную порцию пасты.

– А ты часто молишься, Нико? – спросил он для того, чтобы переменить тему.

– Утром и перед сном. Читаю «Богородице, Дево, радуйся», – сказал Нико.

– Тоже сестры дома научили, так?

Нико кивнул.

– Меня зовут Никколо д'Анжели. Д'Анжели – это значит «от ангелов», – проговорил он. – Я был у них до того, как попал домой. Ангелы оставили меня. Я произношу свои молитвы утром и перед сном. Богородице, Дево…

– *Braυ scugnizz,* Нико. Ты хороший пацан, – произнес вслух Франс, думая при этом: «Ангелы, которые тебя бросили, должно быть, пропустили в своей родословной несколько последних имен, мой друг». – Значит, ты веришь в Бога, так, Нико?

– Верую, – торжественно подтвердил Нико. – Так сказали мне сестры.

Франс жевал какое-то время.

– У меня есть одна небольшая гипотеза касательно Бога, Нико, – проговорил он, глотая. – Хочешь услышать?

– А что такое ги…

– Ги-по-те-за, – неторопливо произнес по слогам Франс. – Это идея. Идея о том, как что-то там работает. Которую можно проверить. Ты понял, Нико?

Маленький череп неуверенно кивнул.

– Вот тебе моя идея. Есть такой старый рассказ о человеке и коте…

– Я люблю кошек.

«И чего я стараюсь?» – спросил себя Франс и продолжил:

– Человек… это был такой знаменитый физик по фамилии Шредингер – не волнуйся, Нико, тебе необязательно запоминать его имя. Так вот, Шредингер сказал, что вещь нельзя считать подлинной, пока ее существование не подтвердит кто-то со стороны. Он сказал, что только наблюдатель делает событие подлинным.

Нико посмотрел на него несчастными глазами.

– Не беспокойся, Нико. Я сейчас объясню попроще. Шредингер сказал, что если посадить кота в ящик и поставить туда блюдце нормальной еды и блюдце отравы, а потом закрыть ящик…

– Это подло, – заметил Нико, возвращаясь назад к конкретике.

– Избивать до полусмерти бывших священников тоже нехорошо, Нико, – сказал ему Франс, отправляя в рот очередную порцию пасты. – Не перебивай меня. Так вот: кот сидит в коробке, он может съесть хорошую пищу и может съесть отраву. Поэтому он в данный момент или жив, или уже мертв. Однако Шредингер сказал, что на самом деле кот не жив и не мертв и останется таким до тех пор, пока кто-нибудь не откроет ящик и не посмотрит на него.

Нико обдумал идею.

– Можно послушать, мурлычет ли кот.

Франс на мгновение перестал жевать и указал вилкой на Нико.

– Вот поэтому ты мафиози, а не физик или философ. – Проглотив, он продолжил: – А теперь слушай мою идею насчет Бога. Я думаю, что мы, люди, как та кошка. А Бог – как мужчина, стоящий у ящика. И если кот верит в человека, значит, есть человек. А если кот – атеист, человека нет.

– Необязательно человек, может быть женщина, – услужливо предположил Нико.

Франс поперхнулся пастой и закашлялся.

– Может быть, Нико, может быть. Но я думаю о другом. Я думаю, что раз ты веришь в Бога, Он будет ждать тебя, когда ты вылезешь из ящика.

Нико открыл рот, снова закрыл его и, кажется, собрался расплакаться.

– Не беспокойся об этом, Нико. Ты – хороший мальчик, а я уверен в том, что Бог всегда есть для хороших мальчиков.

Поднявшись на ноги, Франс поковылял на кухню за чем-нибудь сладким.

– Вот почему мне нужно, чтобы ты молился о чем-нибудь, – проговорил он, двигая ящики. – Потому что Бог есть для тебя, однако Его может не оказаться рядом с теми людьми, которые не уверены в том, что Он есть.

Он вернулся с внушительным ломтем торта «Черный лес»[48].

– Помолись, Нико, о чуде… хорошо?

– Хорошо, – с полной искренностью согласился Нико.

– Хорошо. А теперь вот какая у меня проблема. Ты знаешь,

почему я такой толстый… а, Нико?

– Ты все время ешь.

– Нико, я – африканец, – полным усталости тоном сказал Франс. – Еда – наше национальное развлечение. Но я же всегда много ел, помнишь? И еще два года назад я был совсем не таким! Иногда, когда ты находишься в космосе, твою ДНК – то есть инструкцию, согласно которой работает твое тело, понял?.. Так вот, твою ДНК повреждают атомы космической пыли. Это и случилось со мной, Нико… случайная пылинка, ничтожный кусочек какого-то дерьма на своем пути к краю Вселенной врезалась в важную область моей биологической машины и выпустила весь этот ад на свободу…

Вдруг все, что он ел и пил снова, и снова, и снова, пошло в оборот, каждый до последнего эрг энергии, оторванный от каждой молекулы водорода, кислорода и азота, отправлялся на хранение в параноидально скупые, бережливые жировые клетки, в расчете на голод мифологического масштаба, чтобы героически спасти от смерти плоть, которую они медленно и необратимо удушали.

– Я сопротивлялся, Нико! Сопротивлялся в самом начале. Качал мышцы, как маньяк. Голодал. Тратил все проведенное на Земле время на хождения от одного врача к другому, принимал все препараты, которые мне прописывали и продавали, – говорил Франс. – Рассчитывая на исцеление или хотя бы на надежду… И становился все толще и толще, все более чуждым для себя самого, до потери самообладания опасаясь инфаркта и цирроза печени.

Он усматривал в этом своего рода поэтическую справедливость, а к подобным вопросам Франс Вандерхельст подходил с философской точки зрения. Годами он извлекал свою выгоду из патетической веры других людей в чудесное исцеление.

Карло занимался этой аферой почти десять лет – пока его не поймали страховые компании. Он охотился, как волк в стаде овец, выбирая только самых богатых и больных, самых отчаявшихся и внушаемых, уверяя своих полных надежды и полуживых пассажиров в том, что если они будут летать с большой скоростью, то время для них замедлится, а когда они вернутся, земная медицина сумеет найти средство против их болезни, и, вернувшись домой, они исцелятся. С убедительной симпатией к жалкому положению больных Карло объяснял им, что прямо сейчас ничего не надо платить, нужно только вписать фирму «Ангелы Милосердия Лимитед» в списки наследников их страховых полисов.

Конечно, это было чистой аферой. Франс сажал несчастных на корабль и несколько недель возил их на четверти тяги, вдали

от неусыпного взора комитетов медицинской этики и надзора полиции. Объекты аферы разницы не замечали. В большинстве своем они умирали без посторонней помощи; пьяные, лишенные лицензий врачи Карло обеспечивали остальное.

Но теперь Карло делал ставку на нечто реальное, а Франс Вандерхельст летел к Ракхату, ускоряя звездолет до все большего процента скорости света. И все это время сам Франс оставался несчастным немым хреном, надеющимся на то, что за сорок лет его предполагаемого отсутствия на Земле некто вычислит, как снова сделать его тело нормальным. Ибо под слоем покрывшего его тело жира, за поросячьими глазками, блестевшими над пухлыми и рыхлыми щеками, прятался Франс Вандерхельст, тридцатишестилетний мужчина, человек в самом расцвете сил. И Франс очень хотел жить.

– Так что вот тебе чудо, о котором тебе стоит помолиться, а, Нико? – проговорил Франс, опуская вилку на стол. – Помолись о том, чтобы мы вернулись на Землю живыми, и о том, чтобы по возвращении нашелся такой человек, который сумеет починить меня, так чтобы я снова мог есть и оставаться нормальным. Ты меня понял, Нико?

Тот кивнул.

– Надо помолиться о том, чтобы мы вернулись домой живыми и ты стал бы нормальным.

– Хорошо, Нико. Это хорошо. Благодарю тебя, – проговорил Франс, а Нико вновь погрузился в творчество Верди, возобновив арию герцога Мантуанского ровно с того места, на котором ее оставил несколько минут назад.

Франс посидел за столом еще какое-то время, размышляя о пари Паскаля[49]. И в этот миг понял, что действительно нуждается в молитве Нико. В конце концов, думал он, агностик может быть твердо уверен лишь в том, что ничего не знает.

Глава 21
Долина Н'Жарр, Северный Ракхат

2078–2085 годы по земному летоисчислению

В последние дни своей жизни Дэниэл Железный Конь мог только следить за тройными тенями на каменных стенах своего дома в долине Н'Жарр и вспоминать прошлое. Он сохранил рассудок до самого конца, однако память постоянно возвращала его к жутким месяцам, проведенным на борту «*Джордано*». Ему казалось, что он существовал тогда в коконе адского молчания, мучительно мечтая лишь о конце своего наказания, в то время как годы на Ракхате шли своим чередом.

Покаяние его началось в тот самый миг, когда он согласился на похищение, и епитимья его была той же самой, которую он сам наложил на Винченцо Джулиани, – жить с тем, что сам сотворил. Его собственный приговор оказался легче. Дэниэл Железный Конь мог в некоторой степени надеяться на то, что проживет достаточно долго и получит ответ на вопрос, который Джулиани унесет с собой в могилу: «Что, если я заблуждаюсь во всем?»

Дэнни снова и снова задавал себе этот вопрос в те проведенные в Неаполе недели, в присутствии человека, жизнь которого они намеревались разрушить навсегда и, возможно, без веской на то причины. Он заново проживал этот вопрос в долгие месяцы, проведенные на «*Бруно*» в обществе мужчин, которых тошнило от одного его вида. Он был согласен с их приговором. Гордыня была главным грехом его, червяком в самой сердцевине души – надежным двигателем, питавшимся от пожизненного и, возможно, ложного ощущения того, что Бог готовит его для свершения чего-то чрезвычайно важного.

Поскольку семья отца его выбилась из нищеты и унижений резервации и поскольку он сам публично отверг всю романтику и стереотипы индейского происхождения, факт этот был для Дэниэла Железного Коня источником тайного удовлетворения. С детства он видел в себе отпрыска людей, ездивших бок о бок с Бешеным Конем и Маленьким Великаном из племени оглала, с Черным Щитом и Хромым Оленем из миниконжу, с Пятнистым Орлом и Красным Медведем из безлучных, с Черным Мокасином и Льдом шаеннов, с Сидящим Быком из хункпапа, – героев, которые повели свою лучшую в истории легкую кавалерию на защиту своих семей и земли, которые сражались за то, чтобы сохранить тот образ жизни, что выше всего прочего ставил отвагу, доблесть, благородство и трансцендентное духовное зрение.

Столь же сильной традицией была связь его семьи с черноризцами-иезуитами, чьи верования поддерживали те же самые ценности. Его прабабка в пятом колене была среди первых лакота, обращенных в христианство Пьер-Жаном де Смет[50], человеком, наделенным легендарным обаянием и праведностью, чье абсолютное бесстрашие завоевало ему беспрецедентное доверие среди племен американского Запада. Лакота верили в то, что все народы, если не все люди, ищут Божественного. Призыв христианского Бога к всеобщему миру поддерживала и Белая Телица, Бизонья Дева[51]. Знакома была индейцам и жертва крови Вакан Танка, Великая Тайна. Даже распятие не было новостью: тело Иисуса с распростертыми руками, прободенное и повешенное на кресте, напоминало индейцам пронзенные и повешенные тела участников Солнечного Танца, визионеров, знавших на собственном опыте, что такое предлагать свою плоть и кровь Богу за свой народ: в знак благодарности, мольбы свирепого счастья. На мессах, которые служили друзья-иезуиты, многие лакота почитали священную и непостижимую силу, которая следит за всем, внемлет молитвам тех, кто приносит жертву, теперь не собственную плоть и кровь – Иисус отменил подобные приношения, – но хлеб и вино, освященные в память высочайшей из жертв.

Конечно, это была стадия ученичества. Определенная смешанной природой его происхождения, манерой образования, талантом, энергией и проницательностью, которые Дэниэл Железный Конь обрел к моменту вступления в зрелость, она была приготовлением к тому дню, когда он впервые открыл отчеты первой миссии на Ракхат и познакомился с тем, что увидел и узнал там экипаж «*Стеллы Марис*». И постепенно, с убежденностью, становившейся все более крепкой и неколебимой по мере чтения, он поверил в то, что ему суждено лететь на Ракхат, ибо среди всех, кого могли отправить на эту планету, только он один, Дэниэл Железный Конь, способен понять хрупкую красоту культуры жана’ата.

Он боялся за них.

Народы равнины также полностью зависели от одного-единственного объекта охоты, и внешние также считали их опасным, обожавшим войну народом. Дэнни знал, что это действительно так, но вместе с тем понимал, что подобное мнение представляет собой лишь небольшую и кривую часть истины. И он постепенно поверил в то, что, оказавшись на Ракхате, сможет каким-то образом искупить чудовищные потери, выпавшие на долю лакота, если поможет жана’ата найти новый образ жизни – способный сохранить высокие добродетели воина и

охотника, сочетая их с иезуитскими качествами: отвагой и стойкостью, щедростью и прозорливостью.

Уже на «*Бруно»,* поздней ночью, под шелест вентиляторов, под почти неслышный ропот двигателей корабля, скорее ощущавшийся, чем слышимый, Дэнни вспоминал мысль, овладевавшую им, пока он читал присланные с Ракхата отчеты: «Я сделаю *что угодно* ради того, чтобы попасть на эту планету». Он считал это пожелание фигурой речи, однако Бог поставил его перед фаустовским выбором.

– Мы с вами ближе к древней традиции, – сказал Дэниэлу Геласий III во время приватной аудиенции. – Мы понимаем необходимость жертвоприношения для того, чтобы придать конкретику нашей вере, чтобы предложить ее Богу во всей полноте: если мы сможем настроить себя в соответствии с Его волей, все будет хорошо. А теперь мы с вами призваны к тому, чтобы совершить жертвоприношение, способное испытать нашу веру так, как был испытан Авраам. Сделать это труднее, чем предложить Богу наши собственные тела. Мы с вами должны предложить в жертву Сандоса, связанного по рукам и ногам, как сын Авраама Исаак. Мы должны совершить поступок жестокий и необъяснимый и, поступая так, доказать, что веруем в провидение Господне и действуем в качестве Его инструментов. Мы служим Отцу, не отвернувшемуся от жертвы Авраама, Отцу, потребовавшему и допустившему распятие собственного Сына! Отцу, который иногда требует, чтобы мы приносили в жертву самое дорогое, служа Его воле. Я верую в это. А способен ли ты поверить в такую жертву?

Что заставило его молчаливо кивнуть в знак согласия на поступок, который он считал отвратительным? Неужели честолюбие? Дэнни исследовал себя свирепо и беспристрастно, и ответ оказался отрицательным… нет, что бы там ни думали, во что бы ни верили остальные. Или на него подействовало величие Ватикана, нравственный вес двух тысячелетий власти?

Да, отчасти. Сила и обаяние самого папы? Сочувствие и красота этих озаренных внутренним светом, все понимающих глаз?

Да. И да на все это.

Или Святой Отец и отец-генерал имели больше одной причины снова отправить Сандоса на Ракхат? Вне всяких сомнений. Решение это даст в свое время желаемые политические, дипломатические и практические плоды. Перевешивали ли таковые мотивы зловещую уверенность Святого Отца и едва ли не отчаянную надежду отца-генерала на то, что Богу угодно, чтобы Сандос вернулся в то место, где претерпел

духовное и физическое насилие?

Дэниэл Железный Конь так не считал.

Он уже не знал, что думал тогда и во что верил. Он был уверен только в одном: что не мог физически заглянуть в глаза Геласия III, выслушать его слова и усмехнуться.

– Напыщенное дерьмо. – Ибо иезуитов учат видеть Бога во всем, и Дэнни не мог уклониться от морально-этической проблемы, которую сам и поставил: если ты веришь в верховную власть Бога, если ты веришь в то, что Бог благ, тогда все, что произошло с Сандосом, должно быть частью высшего плана; а если так, то можно помочь этой заблудшей душе и послужить Богу, вернувшись вместе с ним на Ракхат.

И если так, изменив собственной этике и утратив нравственную чистоту, Дэниэл Железный Конь мог лишь следить за развитием того, что помог сделать возможным: жить со всем, что сделал, пытаясь отыскать в таком образе жизни Бога и надеяться, что однажды возникшие цели оправдают средства.

На «*Бруно*» время казалось ему приговором, который следует отбыть, но и этому пришел конец, когда Дэниэл Железный Конь состарился на планете Ракхат.

– В начале, – учило Евангелие, – было Слово, – и Дэнни предстояло научиться верить в то, что Бог даровал возлюбленным им созданиям два дара: время, разделяющее переживания, и язык, связывающий прошлое с будущим. В конечном счете все оставшиеся на Ракхате священники посвятят себя к неспешному постижению событий, произошедших между первой и второй иезуитскими миссиями. Для Дэниэла Железного Коня этот путь был не просто исследованием, но постоянной молитвой.

Даме Суукмель Схирот у Ваадаи предстояло стать его партнером в этом деле. К тому времени, когда Дэнни познакомился с ней, она стала уже не женой, а вдовой посланника Мала Нжера при дворе Хлавина Китхери – особой, утратившей статус, но не уважение, давно миновавшей так называемый средний возраст. Дэнни был очарован ею с самого начала, однако Суукмель держалась осторожно и не торопилась доверять человеку, известному ей как Дани Шеле'с-он.

Однако, по мере того как седели волосы Дэнни и белело лицо Суукмель, настал такой день, когда они смогли встречаться не только по политическим нуждам, но и удовольствия ради. Он, как и она, верил, что прошлое не умирает, но остается жить и имеет значение по самой незримой природе его влияния.

Дружба их на самом деле началась с того момента, как она обнаружила этот факт. У них стало обычаем каждое утро

выходить на прогулку по тропе, опоясывавшей подножия холмов, окружавших долину Н'Жарр, и разговаривать по пути о том, что Суукмель теперь поняла и хотела, чтобы Дэнни тоже понял это. И часто начинал прогулки с земной поговорки, ожидая ее реакции.

– На Земле говорят: «Прошлое – чужая страна»[52], – однажды сказал он ей, и Суукмель нашла эту мысль полезной, поскольку и в самом деле чувствовала себя в современности иноземкой. Разговоры оказывались интересными, даже когда она не соглашалась с максимами Дэнни.

– Власть развращает, – проговорил он однажды, когда они направились вверх по склону к кольцевой тропе во время одной из самых ранних совместных прогулок. – А абсолютная власть развращает абсолютно[53].

– Развращает страх, а не власть, – возразила она. – Бессилие унижает. Власть можно использовать с доброй или злой целью, однако слабость еще никого не исправила. Могущественному проще быть дальновидным. Он может с терпением, даже с благородством относиться к несогласным с ним, зная, что в конце концов одержит верх. Могущественный не считает свою жизнь тщетной, потому что у него есть причина верить, что планы его воплотятся в жизнь.

– О себе ли ты говоришь, моя госпожа Суукмель? – спросил, улыбаясь, Дэнни. – Или о Хлавине Китхери?

Она остановилась, молча обдумывая ответ.

– Существовали определенные душевные гармонии, – аккуратно проговорила она, прежде чем возобновить подъем, а затем продолжила: – Хлавин Китхери вел порочный образ жизни, когда оставался всего лишь рештаром. Он был в отчаянии, и оно наделяло его своими пороками. Ситуация изменилась, когда он пришел к власти.

Крутая тропинка вышла на каменистую и опасную осыпь, и какое-то время они поднимались молча. Чуть запыхавшись на вершине подъема, Суукмель присела на упавший толстый и гладкий ствол *туфы* и посмотрела через всю долину на горы Н'Жарр, выпиравшие из земли, словно осколки взрыва, произошедшего в самой сердцевине Ракхата.

– Конечно же, – согласилась она, когда дыхание ее выровнялось, – власть может достаться и недостойным людям. Тупые умом, не знающие высот духа, мелкие сердцем могут однажды унаследовать власть. В наше время такие люди могут просто захватить ее, купить или подобрать, если она случайно упала. – В голосе ее проступили жесткие нотки. – Власть не всегда облагораживает. – Слова эти она произнесла, обратившись лицом к югу, после чего снова поднялась на ноги.

– Скажи мне, Дэнни, почему ты проводишь столько времени со старухой? – спросила она, искоса глянув на него, когда они возобновили прогулку.

Протянув странную, лишенную шерсти руку, он помог ей обойти размытую водой рытвину, появившуюся на тропе.

– Когда я был совсем еще юным, – сказал он, – мать матери моего отца приехала жить с нами. Она рассказывала нам о старинных временах, о которых узнала от собственных матерей матери и отца. Все переменилось за эти несколько поколений, совсем все.

– И ты помнишь ее рассказы? – спросила Суукмель. – Или, может быть, – предположила она лукаво, – знания о прошлых временах не принесли пользы тебе.

– Я помню их. – Дэнни остановился, и Суукмель повернулась и увидела, что он смотрит на нее с ноткой застенчивости, решила она. – Но в своей стране я был ученым. И потому я проверил подлинность тех рассказов, которые дошли до меня через пять поколений, сравнив их со знаниями многих других ученых.

– И матери твоих матерей все помнили верно? – спросила она.

– Да. Ее рассказы оказались не выдуманными побасенками, но самой историей. Почему иначе, госпожа моя, я провожу столько времени со старыми дамами? – поддразнил он Суукмель, и она рассмеялась.

– Перемены могут быть и во благо, – проговорила Суукмель, снова продолжая путь. – Многие жана'ата все еще думают так, как думали все мы прежде: что перемены вредны и опасны. Они верят, что все действия господина моего Китхери являлись ошибкой, что нельзя было нарушать образ жизни, передававшийся от поколения к поколению без ошибок и заблуждений. Ты это понимаешь? Существует ли подобное совершенство на вашей С'емле?

Дэнни ответил улыбкой:

– Конечно. Я сам являюсь членом Церкви, которую многие считают непогрешимой хранительницей вечных истин.

– Господин мой Китхери и я очень тщательно изучали эту проблему, – сказала Суукмель. – Мы сочли, что всякая институция, считающая себя хранителем истины, будет ценить постоянство, ибо перемена по определению вносит ошибку. Подобные институции всегда располагают могучими механизмами, сохраняющими единообразие и защищающими общество от перемен.

– Обращение к традиции, – сказал он, – и к авторитету. И к божеству.

– Да, и то, и другое, и третье, – безмятежно проговорила она. – Тем не менее перемена может оказаться желательной или необходимой или тем и другим сразу! Как будет вводить перемены мудрый князь, если предшествующие поколения освятили обычай или запрет, ставший теперь опасным и вредным?

Она посмотрела на него, более не опасаясь той ясности зрения, которой теперь обладала, избавившись от вуали, вечно туманившей ее глаза.

– Дэнни, скажи мне без обмана, ты уже устал от говорливой старухи? – спросила Суукмель, задумчиво склонив голову. – Или лучше я расскажу тебе о первых днях правления Китхери?

Даже сейчас, когда она заранее знала ответ, в глазах ее играл огонек воодушевления тех дней.

– Прошу тебя, – сказал он. – Все, что ты сумеешь вспомнить.

И она начала.

Первые из декретов Китхери не вызвали никакого протеста, потому что он просто возобновил потерявшие популярность турниры: плясовые дуэли, многоголосые хоровые баталии.

– Не перемены, – бормотала Суукмель, напрягая память. – Возвращение к прежним путям, которые он называл более чистыми и близкими старинным истинам.

Вскоре после того Китхери учредил национальные состязания в области поэзии, архитектуры, техники, математики, оптики, химии. Поклявшись при возведении в сан Высочайшего хранить неизменными обычаи Инброкара, он не стал беспокоить старинные линии наследования, и поэтому призы в таких соревнованиях часто не имели собственной стоимости.

– Это были всего лишь знаки, – решительно произнесла Суукмель. – Один цветок *тража'анрон*, вымпел, рифмованное трехстишие, сочиненное самим Высочайшим. И вскоре после этого появились возможности для воинов, обнаруживавших научные интересы, для третьерожденных купчин с наклонностями отточить свои знания или таланты: добиться признания за то, что внутри, а не за то, к чему были рождены.

– Параллельные иерархии, основанные на компетенции, – отметил Дэнни. – Открытые для всех, стравливающие недовольство. Ваша идея, моя госпожа?

После Хлавина мужское общество еще не приносило ей подобного удовольствия.

– Да, – признала она, потупившись, но с удовольствием. – Эти соревования позволили господину моему Китхери найти людей, наделенных талантом, острым умом, воображением, энергией.

Здраво используя опыт уединенной жизни, Суукмель Схирот у Ваадаи поняла, что к своему благу можно обернуть едва ли не любое событие или условие.

– Любое крепкое или беспомощное местное правление может равным образом послужить целям Высочайшего, ибо и то и другое порождает неудовольствие в рядах подчиненных, – поведала она Дэнни во время другой прогулки. – Мой господин Китхери был третьерожденным и посему учился как искусству правления, как и искусству боя. Он почти всегда умел обнаружить законный прецедент для смещения слишком могущественного или бестолкового сановника, если младшие братья его лучше соответствовали потребностям нового режима. В тех случаях, когда законные средства отсутствовали, – сухо проговорила она, – приветствовались несчастные случайности.

Наставив уши вперед, Суукмель ждала его комментариев.

– С ведома Высочайшего? – спросил Дэнни. Она не стала отрицать. – И те, кто восходил к власти при подобных условиях, прекрасно знали, кому именно обязаны своим возвышением. Их претензии на власть и положение были не менее сомнительны, как и претензии самого Хлавина Китхери.

Дэнни задумался на мгновение:

– Такие люди, на мой взгляд, должны были образовать надежный общественный слой его сторонников. Их судьбы оказались связанными воедино.

– Именно. – Она стала очень откровенной с ним, теперь, когда проведенное совместно время заметно удлинилось. Дэнни, лукавый слушатель, ценил продуманные формулировки, и его восхищение придавало особый аромат проведенным ими вместе часам.

– Мы обнаружили множество способов распространить власть Высочайшего, – сказала она. – Например, когда умирал местный владыка, период безвластия перед вступлением в права нового можно было продлить за счет затягивания выполнения нужных обрядов. Высочайший, присутствие которого обязательно, просто не имел возможности присутствовать и часто находился в таком состоянии далеко не один сезон, – произнесла Суукмель с невинной простотой.

Регентами назначались племянники, зятья и шурины или третьеродные дяди… Бухгалтерские книги и регистры уплаты налогов конфисковывались и отправлялись на проверку торговцам-третьим и бухгалтерам-руна из отдаленных провинций.

– Иногда это производилось для восстановления финансового порядка на территории, – вспоминала Суукмель. – Доходы от

провинции нередко заметно возрастали – к удовлетворению семейства, владевшего ею…

– Но к этому времени Высочайший уже обладал сведениями обо всех источниках дохода, – заметил Дэнни.

– А заодно становился наконец открытым для всех необходимых церемоний, – добавила Суукмель. – При переходе владения из рук в руки теперь все знали, как много налогов можно и нужно взыскать. Смещенных регентов, если они сумели должным образом проявить себя, могли зачислить в новое судебное ведомство.

– И таким образом приплюсовать к растущему воинству сторонников Китхери, – отметил Дэнни.

– Естественно.

Дэнни посмотрел на нее с лукавым восторгом.

– И, если мне позволительно это знать, моя госпожа, перед кем отчитывались судейские?

– В те времена я пользовалась умеренным влиянием, – поскромничала Суукмель, постаравшись сохранить внешнее спокойствие, пока он смеялся и тряс головой.

– Если в территориальных делах обнаруживались крупные нарушения, – продолжила Суукмель, – существовали две возможности. Во-первых, за день до вступления во владение нового владыку извещали о позоре его предков в приватной беседе с Высочайшим. И давали понять, что Высочайший все-таки решил сохранить за ним власть и рассчитывает на благодарность с его стороны.

– И, конечно же, на сотрудничество, – заметил Дэнни. – Но что, если род упорствовал в отрицании перемен, угодных Высочайшему?

– Если род оставался непреклонным, – аккуратно выразилась Суукмель, – тогда совершенные им преступления предавались всеобщей известности, и эти недостойные люди объявлялись беззаконниками ВаХаптаа, а наследие их отбиралось в казну.

– А кто приводил в исполнение решения суда?

– Существовало небольшое войско, составленное из победителей воинских турниров, вооруженное и содержавшееся на деньги, полученные от новых налогов. – Она посмотрела на противоположную сторону долины. – Кроме того, тогда была еще война на юге. И господин мой Китхери сделал так, чтобы она показалась почетной и необходимой более… традиционно настроенным людям, чтобы они поверили, что защищают земли жана’ата и наш образ жизни.

– Оставив тамошние земли и титулы открытыми после гибели их обладателей.

Суукмель подняла подбородок, признавая его правоту.

«Убив двух птиц одним камнем», – подумал Дэнни, постаравшись не произнести эту мысль вслух.

– Ты не поверишь, но это правда, – обратилась Суукмель к Дэнни в другой день. – Хлавина поддерживали и руна. Он научился ценить их способности и сделал руна частью своих планов. Одним из первых своих декретов в отношении руна он постановил, чтобы городские специалисты прислали свои делегации ко двору Инброкара. Совет руна был выслушан во всем, что касалось их общин, и он сделал это вопреки сопротивлению малой знати.

Следуя совету Суукмель и под руководством ее бывшей служанки, аккуратно эмансипированной Таксайу, в первые годы правления Китхери в качестве Высочайшего была сплетена сеть информантов руна. Вскоре хлынули потопом отчеты от поваров и камердинеров, секретарей и массажистов, от землевладельцев, ученых ассистентов, посудомоек и сексуальной обслуги.

– Вскоре, – продолжила Суукмель, – господин мой Китхери был в курсе каждой ссоры, знал причины недовольства каждого из великих домов, знал их тайные альянсы и объекты вздорной зависти…

– А знание – сила, – перебил ее Дэнни.

Суукмель негромко и гортанно усмехнулась:

– Да, в теперешние дни эта поговорка стала мудрой.

– И какую компенсацию получили руна за поддержку планов Китхери?

– Естественным образом, самих информантов пришлось оставить в покое, но их детям было позволено высказывать свое мнение об области их работы. А когда пришло время, и о выборе пары. Это предложила моя подруга Таксайу, – сказала Суукмель, мгновение помолчав, чтобы почтить память умершей. – Она была рунао, но господин мой Китхери брал мудрость там, гда находил ее. Он даже установил пенсию для информантов-руна, достигших возраста забоя…

– Которые могли еще снабжать его информацией – материей более ценной, чем мясо, – холодным тоном указал Дэнни.

Не уловив его тон, Суукмель заторопилась с объяснениями:

– На самом деле это было радикальной переменой, однако те, чьи домашние слуги получали пенсию от Высочайшего, считали это безвредной его прихотью. Кто станет возражать, если старый сподвижник будет жить на пособие, полученное от щедрости? – спросила она, не ожидая ответа. – В конце концов, мясом нас могли бы снабжать и деревенские родственники привратников,

носителей опахал и наемных рабочих…

Она умолкла под его взглядом.

– Другого пути мы не знали, – сказала она, мгновенно устав. – Дэнни, ты должен понять, что не только одни руна были рождены для своей судьбы, а все мы! Ранг от рождения, ранг семьи… даже для мужчины они определяли всю его жизнь! Длину когтей, в какую дверь можно входить, в какую – нет. На ком можно жениться, в чем будет состоять его работа. Количество серег в ушах, качество благовоний, которые ему можно купить! И да – от какой части туши руна будет поставляться ему мясо. Дэнни, Хлавин намеревался изменить все это!

– Перемены требуют времени, – ответил Дэнни. – Вот и еще одна поговорка.

Суукмель чуть приподняла хвост и позволила ему опуститься, давая понять: «Ну как знаешь».

– Я думаю, что время уходит не на сами перемены, но на сопротивление им.

– Но, госпожа моя, Высочайший платил пенсию этим пожилым руна не просто для того, чтобы воздать добром за их службу, – указал Дэнни, сделавшийся более напористым с тех пор, как ближе узнал ее. – Таким образом он сделал накопленное руна знание всего Инброкара непосредственно доступным судам Китхери, личной полиции Китхери и самому Китхери, наконец.

– Да! Конечно! Разве можно сложить стену из одного камня? – спросила она.

– Признаком хорошего решения всегда является множество причин для него. Чем большее количество целей достигнуто посредством решения, тем больше оснований считать его мудрым…

К ее удивлению, Дэнни начал было говорить, но тут же умолк и отвернулся. Сообразив, что он расстроен ее недавними словами, Суукмель решила пояснить их:

– Дэнни, меняя что-то, мы уподобляемся маленьким богам: мы действуем, но каждое действие рождает каскад последствий – иногда ожидавшихся и приятных, иногда удивляющих нас самих и заслуживающих сожаления. Но мы не таковы, как твой Бог, который видит все! Мы не способны увидеть будущее и поэтому пытаемся угадать его и судим по последствиям о том, верна ли была наша догадка.

Неровно дыша, Дэнни застыл в напряженной позе. Она никогда не видела его таким.

– Дэнни, я тебя обидела? – удивилась она.

Он повернулся к ней в полном расстройстве.

– Это невозможно, моя госпожа! – Набрав воздуха в грудь,

Дэнни медленно выдохнул и с деланым облегчением проговорил: – Тобой, как инструментом, воспользовалась моя совесть.

После чего попытался улыбнуться, однако попытка эта оказалась неубедительной даже для Суукмель, до сих пор нередко ошибавшейся в толковании выражений лиц иноземцев. Заметив ее смущение, он решил объяснить подробнее:

– Госпожа моя, прежде я верил в то, что, если искать множественность причин, может пострадать узость действия, что в таком случае можно оправдать то, что не имеет оправдания. Когда-то, очень давно, я принял решение, к которому меня подвигло множество причин. Это решение привело меня сюда, но я не знаю, правильно ли оно, и не узнаю, пока не пойду на суд к Богу.

Она надолго задумалась, пытаясь понять выражение лица в такой момент, запомнить запах его стыда, заучить звук угрызений совести в его голосе. А затем повернулась к долине Н'Жарр, взглянула на невысокие каменные стены, золотившиеся под косыми лучами утреннего света.

– Посмотри, – распорядилась она, описав рукой изящную дугу от запада до востока. – И послушай, – ибо все дети руна и жана'ата в данный момент пели. – Как можешь ты сомневаться?

Он не ответил, только молча посмотрел на нее маленькими черными округлившимися глазами. В тот день они шли домой молча и уже не касались более этой темы.

– То, что ты, моя госпожа, говорила мне, служит объяснением политической власти, – сказал Дэнни в один из последующих дней. – Но Китхери видел в ней нечто большее. Люди следовали за ним не ради одного цветка *тража'анрона,* не ради флажка или рифмованного трехстишия. И, думается мне, не ради богатства, власти или права иметь детей.

– Они следовали за ним из любви и верности, – ответила невозмутимая Суукмель. – Хлавин Китхери начал восприниматься ими как воплощение их собственного величия. Они любили его за то, чем сделался он и они вместе с ним, и ради него они были готовы на все.

– То есть, когда Высочайший давал понять, чего хочет, такие люди теснее окружали его и забывали или прощали Китхери порок… – Он умолк, не желая задеть ее неосторожным словом.

– Чрезмерной сексуальной изощренности… наверное? – предположила она, удивляясь его деликатности.

– Да. Эти люди по собственной воле отдавали своих дочерей или третьерожденных сестер в его гарем.

– Даже зная, что дети от этих браков не получат определенного места в иерархии?

– Да, зная, что жизни этих детей, рожденных в доме Китхери, не будут определяться рождением и управляться смертью. Будь что будет, говорили такие люди. Пусть будущее само проложит себе дорогу, как раздувшаяся в половодье река. Не смущало их и снятие Хлавином запретов на размножение с некоторых третьеродных торговцев. Способен ли ты понять, насколько «революционным» являлось такое преобразование? – спросила она, воспользовавшись заимствованным из х'инглиша словом. – Мы всегда были аккуратными хранителями своего наследия. Наша честь должна была неизменной перейти от отца к сыну, какое бы наследие мы ни получили.

Завещать больше считалось позором, поскольку подразумевало кражу. Завещать меньше было бесчестьем, так как свидетельствовало о расточительстве. Однако Хлавин показал нам, что возможно творение! Чего-то из ничего! Стихи, богатство, музыка, идеи, танец – все это из ничего! Руководство делами могло обеспечить прирост!

Это начинали понимать все, и все мы удивлялись – даже я, не зная, чего мы боялись все эти годы?

Подобно древнему охотнику, повергавшему добытое мясо к ногам собственной жены, Хлавин Китхери сложил все свои свершения к дивным ногам дамы Суукмель Схирот у Ваадаи. И чтобы ублажить ее, сделал последний шаг, открыв последнюю дверь и выпустив на свободу Хаос и Мудрость.

Со всего Инброкара приводили к нему невест-консортесс, невежественных, упрятанных под вуали и под надежной охраной. Ради Суукмель, а может быть, и в память невинно убиенной сестры Жхолаа, Хлавин Китхери доставил в свой сераль чудеса суши, моря и воздуха; наполнил свой дворец учеными руна: преподавателями, рассказчиками, говорящими книгами, а также жана'ата: политиками и учеными, бардами и инженерами. Сначала его девушек отдаляла от мужчин наборная ширма с окошками; потом ее заменил плотный занавес. А еще позже стало казаться вполне естественным и допустимым, что дамы могут присутствовать при дебатах, слушать, время от времени высказывая собственное мнение. В конце концов дошло до прямого участия их в коллоквиумах за просвечивающим эквивалентом былого тяжелого занавеса – прозрачным, ничего не скрывающим, летучим.

Эти девушки родили Китхери детей. Первым был сын по имени Рукуей, оскопленный еще в младенчестве и отданный

Суукмель на воспитание в посольство Мала Нжера. Но с течением лет родились и другие дети, и среди них дочка, не знавшая о том, что женщинам петь запрещено. И когда Хлавин Китхери услышал ее высокий чистый и нежный голосок, сердце его едва не остановилось от его красоты.

За исключением вечерних кантов, сам Хлавин не пел уже много лет. И теперь, с облегчением, более глубоким, чем могло бы дать достижение любого материального блага, он снова нашел дорогу к поэзии и музыке. Он призвал к себе музыкантов и хормейстеров и позволил петь женщинам и детям, рассчитывая на то, что трепетное очарование их голосов не даст тлеющей в обществе потребности объявить скандальным любое нововведение. И снова разразился поток кантат, хоралов и гимнов для исполнения своими консорт-супругами и детьми.

К двенадцатому году правления Хлавина Китхери Принципат Инброкара сделался наиболее могущественной политической единицей во всей истории Ракхата – более богатой, чем Мала Нжер, столь же многолюдной, как Палкирн, а сам Хлавин Китхери сделался неоспоримым сувереном центрального из трех королевств Тройного Альянса. Он уже успел заручиться союзниками среди своих сторонников из числа Схирот и Ваадаи в Мала Нжере. Через год-другой должно было настать время наконец взять в жены свою невесту из Палкирна и основать собственную династию, теперь, когда он совершил свою революцию, хотя и не знал этого слова.

– А когда вы впервые осознали, что происходит на юге? – спросил Дэниэл Железный Конь по прошествии многих лет после смерти Китхери.

– Почти в самом начале событий, знаки были уже тогда, – вспомнила Суукмель. – Менее чем через сезон после обретения Хлавином сана Высочайшего, у ворот Инброкара. Ошеломленные и растерянные, как все беженцы везде и повсюду, они рассказывали о поджогах, предательстве и о приходящей по ночам смерти, жизнями своими они были обязаны тем руна, чью верность и любовь заслужили эти немногие жана'ата и к чьим предупреждениям они прислушались. Мой господин Китхери заметил иронию судьбы, Дэнни. Он однажды сказал: «Я породил разрушение нового мира в момент его зачатия».

– Любой кругозор не беспределен, – заметил Дэнни. Какое-то время они молчали, прислушиваясь к звукам полуденного хора, перемещавшимся вдоль долины по цепочке: от имения к имению.

– Мне кажется, моя госпожа, что, если бы события сложились чуть-чуть иначе… – Дэнни помедлил. – Супаари ВаГайжур мог

стать самым близким и полезным сторонником Китхери.

– Возможно, – произнесла Суукмель после долгого раздумья. – То, что делало его презренным при старом режиме, превращалось в самые восхитительные достоинства при правлении господина моего Китхери. – Она задумалась и умолкла. – Из этого торговца получился бы превосходный канцлер к примеру. Он даже мог бы возглавить Министерство по делам руна…

С болью в груди она посмотрела на Дэнни, не уступавшего ей в росте и равного во многом прочем.

– Возможно, – проговорила она монотонно, – всего, что случилось потом, можно было избежать… однако в то время мы не видели иного выхода…

Глава 22
Южная провинция Инброкара

2047 год по земному летоисчислению

– Эта собрала все нужные вам товары, они спрятаны возле посадочного катера, – сообщила Джалао ВаКашан Софии и Супаари, когда она наконец появилась в Труча Сай. Она опоздала на несколько дней. – Там повсюду бродят патрули *джанада*.

– Отбраковщики? – насторожился Супаари. – Или бригады инспекторов, собирающие сведения для нового Высочайшего?

– Эта думает – ни те ни другие, – произнесла Джалао, не обращая внимания на прочих руна, собравшихся вокруг них и уже начинавших нервно покачиваться. – В Кирабае люди говорят, что это люди с севера, из города Инброкар. С ними ходят чужеземные руна – из Мала Нжера, думает эта.

Старейшинам в Кирабае пришлось искать толмачей из очень древних родов, чтобы понять их.

По виду Джалао нельзя было заключить, что она испугана, ясно было только, что озабочена. На всех деревенских советах обсуждали, что все это значит, что изменяется.

– Патрульные всегда расспрашивают о Супаари, – произнесла она спокойным голосом. – И об иноземцах тоже.

– А будет ли наш путь безопасен? – спросила София, у которой узлом завязало желудок. – Может, нам-но-не-тебе следует подождать до тех пор, пока волнения успокоятся?

– Эта думает, что мы-и-вы-тоже можем путешествовать, но только в красном свете. И для вас будет лучше, если мы выступим без задержки. – Посмотрев на Супаари, Джалао перешла на к'сан. – Господин, позволишь ли ты одной из нас вести тебя?

Наступило многозначительное молчание, и София повернулась вполоборота, чтобы посмотреть на Супаари. Распрямившись во весь рост, он не отводил глаз от Джалао.

– Разве я какой-то владыка, чтобы что-то разрешать или запрещать? – А затем, опустив уши, показал, что согласен. Глядя куда-то в сторону, чуть влево от Джалао, он поднял подбородок и сказал: – Прости. Этот будет благодарен за твою помощь.

Все зашевелились в смущении. София понимала, чего стоили Супаари произнесенные им слова, ей было ясно, что Джалао устрашала его, как ни одна из руна; на тонкости она не обратила внимания, как и на детали последовавшей бесконечной дискуссии, касавшиеся политических и географических соображений относительно маршрута их путешествия к катеру

«*Магеллана*».

Она уже сделала все, что могла, во время шести месяцев подготовки к возвращению домой. И теперь у нее не было другого выбора, кроме как довериться решениям Супаари и Джалао и надеяться, что они окажутся правильными.

Придремав в тепле, уже ощущая себя на полпути на Землю, София прислонилась к поддерживавшему навес шесту: одно колено вверх, спустив другую ногу с края платформы, и позволила себе расслабиться, наблюдая за игрой детишек руна и Хэ'эналы, которая только что начинала ходить и напрыгивать на своих компаньонов, не ощущая своего отличия от них. Исаак, в последние дни не отходивший от Софии, всячески содействовал покою матери, без перерыва произнося монотонный поток фраз на руанже и английском, с безукоризненным в обоих случаях произношением. По большей части это была мимикрия, но иногда прорывались и обрывки подлинной речи – всякий раз в основном после того, как он пропел вместе с ней Ш'ма и вечерний кант с Супаари. Для того чтобы петь, они всегда удалялись в глубь леса, подальше от шумных руна, которые видели в песне нечто опасное – инструмент власти над ними *джанада*. Возможно, думала София, именно эти недолгие моменты тишины позволили Исааку продвинуться дальше простого повторения.

– Исаак слышит тебя, – сказал он однажды Софии. А в другой раз прокомментировал ситуацию: – Хэ'энала упала.

Но за все приходится платить. Для того чтобы заговорить, Исааку пришлось проломить окружавшую его стену, и этот крошечный пролом в этой крепости теперь позволял окружавшему их жуткому хаосу вторгаться в его личный мир. Тени, так развлекавшие его с младенческой поры, вдруг начали оживать: становиться непредсказуемыми и угрожающими. Красный цвет, никогда прежде не имевший никакого значения в его жизни, теперь ужасал ребенка, рождая отчаянные и пронзительные вопли, достойные губительницы банши, расстраивавшие все стойбище. Привычный шум, производимый играющими детишками-руна, подчас доводил его до припадков бешенства.

«Ему будет лучше на корабле, – думала София, практически не слушая монологов и дебатов руна, происходивших вокруг нее. – Сначала ему будет трудно, но мы будем следовать общей программе, и он приспособится. Никаких сюрпризов, и делать все так, как он хочет. Ничего красного. Я могу закрыть экраны чем-нибудь. И на борту целый день будет музыка. Одно это может улучшить жизнь Исаака, – подумала она. – Уже одно это оправдывало весь риск, на который они шли».

Умиротворенная, она откинулась на подушки и позволила привычным деревенским шумам убаюкать ее… Проснулась она спустя несколько часов – от прикосновения Супаари и тишины, означавшей, что консенсус достигнут, что все, что следовало учесть, было сказано; и, поскольку решение было принято, совет разошелся.

– Выходим завтра на втором закате, – изложил ей Супаари в дистиллированном виде результат многочасовых дебатов. – Будем как можно дольше идти по лесу – путь выйдет длиннее, но зато безопаснее, чем сразу выходить в саванну. Когда нам придется проходить безлесные места, будем идти ночью.

София села и окинула взглядом деревню. Готовилась последняя трапеза этого дня. Все уже пристраивались на ночлег.

– Фиа, а тебе будет жаль уходить отсюда? – спросил Супаари, опускаясь рядом с ней.

Она прислушалась к перешептываниям отцов, к воркованию и смеху детей.

– Они были так заботливы, так добры к нам, – проговорила она, мысленно уже расставаясь с руна. Нахлынувший потоп благодарности разом унес все раздражение и нетерпение. – Если бы только существовал какой-то способ отплатить им за доброту…

– Да, – согласился Супаари. – Но, на мой взгляд, самой лучшей благодарностью будет уйти. Патрули ищут нас с тобой, София. Мы можем оказаться опасными для руна.

Начало пути ничем не отличалось от множества походов за фуражом, в которых участвовала София; единственное отличие заключалось в том, что сплетенная особым образом заспинная корзина не была пустой, как обычно в начале пути. Канчай, Тинбар и Сичу-Лан вызвались идти вместе с Джалао, чтобы помочь нести детей и дорожный скарб; разговор шел непринужденно, мужчины-руна рассчитывали впервые за несколько лет встретиться в Кашане с друзьями и родственниками. Какое-то время была слышна только их ровная поступь, и София едва замечала разворачивавшуюся на ходу беседу, довольная тем, что Исаак идет с ней рядом, и прекрасное, хоть и еще небольшое, тело мальчика обладает крепостью, нужной для того, чтобы выдержать всю дорогу. Он будет рослым, в отца, поняла она.

На третий день окрестные холмы стали терять высоту, и они наконец добрались до места, где под сводом леса стало светлее, да и сама растительность сделалась более сухой, ибо горы отклоняли дожди к западу. Полог листвы над головой по-

прежнему не имел разрывов, однако деревья здесь росли более редко, и София сумела заметить, что лес заканчивался плавным уклоном, переходящим в саванну, простиравшуюся до самого Кашана.

– Подождем здесь, – распорядилась Джалао, так что все сняли с плеч корзины и, покормив Исаака и Хэ'эналу, сами приступили к трапезе.

Когда свет стал угасать с приближением второго заката, Исаак потребовал, чтобы положенные вечерние песни были спеты. Все трое мужчин-руна удалились на какое-то расстояние, зажали уши и принялись раскачиваться. Джалао осталась поблизости, с поднятыми ушами бесстрастно внимая пению Супаари, – так, как если при этом испытывала свою силу, решила София. Как только песнопения завершились, Джалао шевельнулась и выудила из своей корзинки горшочек с сильно пахнувшей мазью, которую руна начали втирать в промежность и подмышки, а также покрывать ею руки и ноги.

– Воняет, как стая *бенхунжаран*… – скривившись, буркнул Супаари, когда Джалао принялась втирать вонючую мазь в его шерсть. Посмотрев, как София запускает свою крохотную ладошку в горшок, Супаари прокомментировал: – Даже если при красном свете патруль жана'ата учует этот запах, утром они постараются пройти против ветра как можно дальше от этого места.

Он посмотрел на четверых руна, внимавших ему, наставив уши:

– Этому хотелось бы знать, как долго вы, люди, пользовались этой уловкой?

Канчай хохотнул с обычным для него придыханием и посмотрел на Софию. Ответив ему улыбкой, пожалев, что у нее нет хвоста, который можно было бы опустить, она произнесла:

– *Джанада* как духи. Их можно одурачить.

Супаари фыркнул, отказываясь реагировать на подначку.

Они ждали, молчание взрослых подчеркивало мурлыканье Хэ'эналы и монотонное бормотанье Исаака, пока наконец Супаари не объявил, что не видит вообще ничего; это означало, что и все вообще жана'ата на свете не видят ни зги. Тогда они продолжили путь, жана'ата постоянно оступался и шел с опаской, однако кротко позволял вести себя к краю леса, активно пользуясь носом и ушами для того, чтобы извлечь какую-то информацию из звуков и запахов.

Они намеревались идти скрытно: в красном свете их никто не заметил бы, тем более что истинный запах их скрывала вонь, распространяемая зельем Джалао. Только они забыли о воспаленном зареве на небе самого малого светила Ракхата. И

когда небольшой отряд выбрался из-под привычного сине-зеленого полога лесной листвы, Исаак Мендес Квинн увидел над собой не небо, но свод красного ада.

Яркие полосы бурных алых облаков грозили упасть на него – огромный кроваво-красный и фиолетовый ландшафт собирался раздавить его, – угрожала вся панорама долины за пределами его детских ладошек, которыми он попытался заслониться от неожиданной беды. Он вскрикнул, потом вскрикнул еще раз, а потом кричал, кричал и кричал, так что лес взорвался шелестом крыльев, сиплыми голосами лесных жителей и треском растительности под ногами убегавших. Собственные руки пытались съесть его заживо! Шум был повсюду… Хэ'энала выла, руна голосили, встревоженный Супаари пытался перекричать всех остальных:

– Что случилось? Что это?

Но красный цвет был повсюду – на земле, в воздухе, за ладонями, за крепко зажмуренными глазами…

Наконец голос матери отыскал Исаака под чудовищным небом.

Откуда-то из хаоса к нему донеслись негромкие, скрипучие нотки *Ш'ма* – приятные, спокойные в его ушах, ласковые повсюду, нетребовательные, но плотские. Не связанные с бессмысленной словесной болтовней, но упорядоченная, предсказуемая священная гавань музыки, одобрявшая путь вперед, из лесной глуши.

Он никак не мог отыскать эту дорогу, но по мере того, как им овладевала усталость, крики утихали и превращались в долгие задушенные рыдания. Наконец, стоя на коленях на сырой земле, обхватив голову руками, Исаак принялся раскачиваться в такт голосу матери и нашел спасительную дорогу к музыке – к избавлению.

После этого он заснул мертвым сном, не зная, что взрослые в эту ночь почти не будут спать, так как планы их оказались разрушенными.

– Ладно, – сказала усталым голосом София, когда Супаари разбудил ее на рассвете. – Оставим детей здесь. Ты вместе с Сичу-Ланом и Тинбаром можешь остаться с ними. Канчай, Джалао и я с ними пойдут к катеру. Я проверила уровень топлива, он позволяет нам вернуться сюда, чтобы забрать тебя с детьми, не рискуя перерасходовать горючее, необходимое нам для возвращения на корабль. Мы можем внести Исаака в катер, пока он будет спать. И когда он проснется, мы будем уже на борту

«*Магеллана*». Ты понял?

– Я иду с вами.

– О боже, Супаари, мы говорили об этом всю ночь. И решили…

– Я иду с вами, – настаивал он.

Мужчины-руна уже нервно раскачивались. София посмотрела на Джалао, заметно уставшую, но, как и София, настроенную не позволить мужчинам пасть духом.

– *Сипаж,* Супаари. Ты станешь помехой, – твердым тоном объявила София. – Ты замедлишь наше движение…

– Мы будем идти при полном дневном свете. Тогда мы сможем пройти весь путь в два раза быстрее, будем идти, не воняя *бенхунжаран*…

– *Сипаж,* Супаари, ты сошел с ума? – София повернулась к Джалао, мысленно прося ту о помощи. – Если нас заметит патруль…

– Разыскивают меня и всех иноземцев, – напомнил ей Супаари по-английски и, повернувшись к Джалао, добавил: – Этот думает, что патрульные решат, что руна доставляют преступников властям.

– А когда такой патруль встретится с нами-и-тобой, они возьмут нас под стражу, – спокойно проговорила Джалао, глядя на него налитыми кровью глазами.

– Тогда мы-и-ты-тоже убьем их во время сна.

– Супаари! – охнула София, но Джалао проговорила:

– Пусть будет так, – не ожидая, чтобы высказали свое мнение все остальные. – Ожидаем второго восхода. Потом идем.

Равнина оказалась пустой, и какое-то время можно было подумать, что тревога и предосторожности ничем не оправданы. Целых два дня казалось, что до самого горизонта нет никого и ничего. Никто не желал остановить их или поприветствовать, и Супаари мог бы приободриться, однако это ему никак не удавалось. Что-то неладное творится с небом, думал он, снимая с плеч дорожную корзину и садясь на нее, пока руна паслись. Небосвод как-то потускнел, но по какой причине, он не мог понять и гадал. Может, вулкан взорвался?

– Супаари?

Повернувшись на оклик, он увидел Софию, грызшую корень *бетрин*. Она показалась ему такой смуглой! Что-то случилось с его глазами или изменился сам цвет ее кожи? Неуверенный более в своем восприятии, Супаари указал жестом на небо и спросил:

– Тебе не кажется, что небо стало какого-то не того цвета?

София нахмурилась.

– Да… какое-то оно странное. На небе все три солнца, но света как будто бы не хватает. – «Почти пять лет моей жизни прошло в этом лесу», – подумала она, вспоминая чистый солнечный свет, дробившийся на не знавшей покоя листве. – Впрочем, не скажу, потому что, наверное, забыла, каким должно быть небо над равниной!

– *Сипаж,* Джалао, – негромко позвал Супаари. Выпрямившись, она отошла от медового куста, с которого обирала ягоды. – С небом что-то не так.

София фыркнула.

– Ты прямо как Исаак, – сказала она Супаари, пока Джалао осматривалась, однако мгновенно встревожилась, заметив выражение на лице рунао.

– Цвет неправильный, – с тревогой согласилась Джалао.

Поднявшись на ноги, Супаари обратился лицом к ветру, выдохнул через рот, а потом набрал воздух уже через нос; ветер дул слишком сильно для того, чтобы сохранить очертания дымного столба, однако он надеялся хотя бы уловить какой-то намек. Джалао внимательно следила за ним.

– Серой не пахнет, – сказал он. – Это не вулкан.

– Плохо, – шепнула Джалао, не желая встревожить Канчая, подходившего к ним с охапкой листьев *трижат*.

София спросила:

– А что происходит?

– Ничего, – ответила Джалао, многозначительно глянув на Канчая, которому и так пришлось много претерпеть в последние несколько дней.

Но Супаари негромко сказал ей:

– Узнаем утром.

В спокойном воздухе первого рассвета, под неяркими лучами света, дымная пелена сделалась очевидной, многочисленные столбы дыма поднимались к залегшему в воздухе толстому облаку подобно стволам дерева *хампий,* сходившимся в его сердцевине. В тот день, когда они приближались по ветру к ближним деревням, даже София смогла различить запах гари, смешивавшийся с запахом мази *бенхунжаран,* пропитавшим их волосы.

– Но с Кашаном-то все будет в порядке, – то и дело повторял Канчай, пока они шли. – *Джанада* давно уже спалили наш огород. И с тех пор ВаКашани вели себя покладисто и добродетельно жили согласно уставам жана’ата.

Однако он был одинок в своей надежде, а когда они приблизились к обломкам катера «*Магеллана»,* стали заметны и

разбросанные вокруг тела: уже разделанные, освежеванные, но в большинстве своем искаженные судорогами и почерневшие в огне.

София оставила ВаРакхати взирать на трупы и забралась в остатки кабины катера «*Магеллана»,* опустошенного вандалами.

В кабине кто-то плакал, и она никак не могла понять кто, вслушиваясь в звуки, гулко отражавшиеся от металлического корпуса. Она не обращала на них внимания – точнее, почти не слышала. Что ж, все могло быть и хуже, пыталась она убедить себя, утирая лицо и копаясь в обломках. Среди которых нашлись и полезные вещи, в частности целая запасная компьютерная консоль, хранившаяся в шкафчике, который проглядели во время разграбления. Стараясь не порезаться о рваные края металла, оставшиеся там, где взламывали дверь грузового отсека, она выбралась под затянутое дымом небо и присоединилась ко всем остальным. Сев скрестив ноги на землю, она открыла новый компьютер и вошла в командную систему «*Магеллана»*, сконцентрировавшись на снятых на последней неделе космических фотографиях метеорологической обстановки.

– Должно быть, они уничтожили все деревни, в которых были огороды, – бесстрастно сообщила она Супаари, прослеживая направления культурной диффузии, обнаруженные Энн Эдвардс несколько лет назад.

– Но никаких садов больше нет, – жалобным тоном произнес Канчай, глядя в сторону своей уничтоженной деревни. – Мы больше не сажали еду.

– Уничтожено каждое место, к которому могли прикоснуться мы, иноземцы, и ты тоже, – проговорила София, посмотрев на Супаари.

– Все мои деревни, – шептал он. – Кашан, ЛаНжери, Риалнер. И все их жители…

– Кто может носить столько лент? – спросил ошеломленный Канчай. – Почему они сделали это? Кто дал им право?

– Очевидно, новый Высочайший, – пояснила Джалао голосом столь же пустым, как и голос Софии. – Владыки говорят, что он не справляется со своими обязанностями. Ему следовало восстановить равновесие, устранить все следы иноземного и преступного влияния со своих территорий.

– Но он же сказал, что на юге восстановлен порядок! – выкрикнул Канчай. – По радио же говорили… – Канчай повернулся и посмотрел на Софию и Джалао.

– Что дает им право? – спросил он, и, когда никто не ответил, Канчай в три шага преодолел расстояние, отделявшее его от Супаари, и нанес жана’ата жестокий удар.

– Что дает тебе право? – выкрикнул он.

– Канчай! – попыталась остановить его София, выведенная произошедшим из немоты.

– Что дает тебе право? – крикнул Канчай, но прежде чем жана'ата сумел выдавить из себя какой-то ответ, гнев рунао вылился потоком раскаленной лавы, и теперь он только повторял и повторял эти слова: «Что дает тебе право?» – сопровождая каждый раз новым ударом по залитому кровью лицу Супаари, только отступавшего, но даже не пытавшегося защититься.

Белая от ужаса, София вскочила и попыталась руками остановить Канчая. Он стряхнул ее, как тряпичную куклу, не остановившись при этом ни на одно мгновение.

– Канчай! – завизжала потрясенная София и снова попыталась встать между обоими мужчинами, однако кто-то из них толкнул ее обратно на землю.

– Джалао! – крикнула она, не пытаясь встать, лицо ее теперь было забрызгано кровью. – Сделай что-нибудь! Он убьет Супаари!

Какое-то время, наверное целую вечность, Джалао стояла с открытым ртом, не имея сил шевельнуться, но наконец пришла в себя и оттащила Канчая от окровавленного жана'ата.

Потрясенные до бесчувствия, все они стояли, лежали, сидели, не двигаясь с места, до тех пор пока не утихли звуки рыданий Канчая. Только после этого Супаари поднялся на ноги, сплюнул кровь и утер рот тыльной стороной ладони. Он медленно оглянулся по сторонам, словно отыскивая нечто такое, чего более найти не мог; после чего оперся на хвост, измученный и потерянный. После чего отправился прочь от руин Кашана, с пустыми руками и пустым сердцем.

Следуют за ним остальные или нет, ему было безразлично. Он не ел; кусок в горло не лез. Горе лишало его сил не в меньшей мере, чем липкий запах горелого мяса, въевшийся в его шерсть, несмотря на два проливных дождя, насквозь промочивших его. Даже запах малого ребенка, его дочери, не смог изгнать запах смерти; когда все они соединились на краю леса, он отказался брать на руки Хэ'эналу. Он не хотел заражать свое дитя тем, что ее народ… тем, что его народ… тем, что *он* натворил.

Когда они наконец вернулись в Труча Сай, он слишком глубоко погрузился в свою вину, чтобы слышать то, что ему говорили. Он сел на краю поляны, не позволяя никому прикасаться к нему, не позволяя даже смыть запах с его шерсти. «Что дает нам право? – спрашивал он себя в ночную пору, когда мрак небесный соответствовал мраку, царившему в его сердце. – Так что же дает нам право?»

Он не смог уснуть в ту первую ночь, снова проведенную среди

руна; и, когда рассвело настолько, что он смог видеть, ушел, прежде чем руна встали. Рунао так и не смогли выследить его, а он искренне верил, что смерть сама найдет его в лесу, если он подождет достаточно долго. Несчетные дни он скитался в черном забвении, ни о чем не думая, пока было светло, ложась отдохнуть там, где усталость и голод одолевали его. В ту последнюю ночь, когда желудок его взвыл от собственной пустоты, он, не оглядываясь по сторонам, слепо опустился на землю возле недавно покинутого гнезда *тинпер*. Гнездо буквально кишело мелкими злобными *кхимали*, и пока он спал, они пробрались в его шерсть и впились в его кожу, высасывая кровь. Он один раз проснулся посреди ночи от физической боли, истекая кровью из тысяч мелких ранок, но не стал шевелиться или пытаться стряхнуть паразитов с тела.

Уже недолго осталось, подумал он с некоторым облегчением. После чего не то чтобы уснул, но скорее потерял сознание. Той ночью шел дождь. Грома он не слышал.

И лишь утром, когда яркий золотой луч пробился сквозь маленькую брешь в густой листве и коснулся его лица, он, промокший, свернувшийся клубком на лесной подстилке, не поднимая головы и тупо глядя, проводил взглядом отряд *кхимали,* пробиравшийся сквозь миниатюрный лес на его запястье. Они не выпьют достаточно крови, чтобы погубить своего хозяина, подумал Супаари, жалея о том, что пережил эту ночь, и чувствуя отвращение при виде членистых панцирей этих напившихся крови отвратительных тварей. Они пьют кровь и меда не производят. Как и все паразиты. Они…

Он сел, моргнул…

Голова его кружилась, он едва не умирал от голода. Однако голова его в этот миг была совершенно чиста. Чувство это, как он потом расскажет Софии, нельзя было назвать безмятежностью – хотя он знал уже тогда, что безмятежность станет ему наградой, когда он исполнит свою часть плана. Чувствовал он тогда радость. Ему казалось, что все вокруг него обрело совершенство, что сам он, лес и *кхимали* сделались чем-то единым, общей частью странного блеска. Солнечный луч, проникавший сквозь малую прореху над головой, также казался откровением. Смятение и горе рассеялись, как облака, позволив этому… озарению пронзить… Он мог представить все, что его ждет: шаги, которые следует предпринять, путь, который предстоит пройти, окончание пути. Ему остается только прожить этот путь.

Все стало теперь ему ясно.

Впрочем, счастье длилось недолго, однако теперь он знал, что никогда более не станет прежним. Когда оно прошло,

Супаари поднялся на ноги, не ощущая головокружения.

Сильный запах привлек его внимание; какой-то зверь умер сегодня неподалеку в подлеске. Не размышляя, он пригнулся, чтобы обследовать окрестности, медленно повернулся, ометая хвостом растительность, для равновесия вытянув вперед руки, принюхиваясь, и наконец отыскал источник запаха: крупного, хотя и старого лесного *ва'иле*. Супаари съел животное сырым, вспоров его брюхо зубами и когтями. Лучше быть падальщиком, чем паразитом, думал он.

Даже тогда он понимал, что все равно будет есть мясо руна. Разница заключалась в том, что он теперь намеревался воздать им своей жертвой. Он расплатится с ними: жизнью за жизнь.

– *Сипаж*, Супаари! – заголосили руна, увидев его остановившимся на краю поселка. – Мы уже думали, что тебя больше нет!

– Держитесь подальше – к этому нельзя подходить, – сказал он, протягивая вперед руки, чтобы все видели язвы под мышками, красные пятна, портившие его шкуру.

Невзирая на предупреждение, София подошла ближе и сказала:

– Эта поможет тебе привести в порядок шерсть. Эта так…

– Не подходи, – сказал он. Предложение растрогало его до глубины души, однако он не мог допустить этого, во всяком случае пока. Посмотрев мимо Софии на собравшихся руна, он прежде всего увидел деревню, аккуратную, ухоженную и благополучную; потом посмотрел на самих руна, годами живших в Труча Сай без вмешательства жана'ата или эксплуатации с их стороны.

– Что вызывает такие язвы? – громко спросил он. Руна что-то забормотали в ответ, и щупальце испытываемой ими тревоги потянулось к нему.

Он уже встревожил их и жалел об этом. Но это было им необходимо – пережить смятение перед обретением ясности.

– Так что же вызывает их? – еще раз спросил он.

– *Кхимали,* – коротко произнесла Джалао, выходя вперед и останавливаясь возле Софии.

Он понимал, что она хочет прекратить его странную выходку. Увести его подальше, в такое место, где она сможет осмотреть всю его шерсть, раздавить пальцами мерзких тварей и покончить со всей историей.

– Они опасны, – отрезала она. – Ты болеешь из-за них. Пожалуйста, позволь этой…

Но Супаари продолжил:

– А что такое *кхимали?*

– Паразиты! – воскликнула начинавшая сердиться Джалао, теперь смотревшая прямо на него. – *Сипаж,* Супаари, почему ты…

– А что такое паразиты, – спросил он, глядя мимо нее на всех собравшихся, – как не те, кто живет за счет своего хозяина, не принося ему пользы? Те, кто живет за счет чужих жизней и ничем не платит за это?

Большинство руна неуверенно оглядывались по сторонам, переступали с ноги на ногу. Но Джалао выпрямилась и посмотрела ему в глаза. Она поняла, подумал он. Она теперь знает.

– А что, – спросил он ее негромко, – должны мы делать, чтобы освободиться от паразитов?

– Убить их, – ответила она столь же негромко и уверенно. – Перебить по одному, чтобы они больше не беспокоили нас.

Глава 23
Джордано Бруно

2064 год по земному летоисчислению

– Джон, прости, но я не вижу здесь никаких альтернативных вариантов, – кротким тоном проговорил Эмилио Сандос. – Что ты предлагаешь? Поднять мятеж на «*Бруно*»*?*

– Не надо обращаться со мной свысока, Эмилио! Я серьезно…

– А я не уверен в том, что ты говоришь *серьезно*, – ответил Эмилио, выливая восстановленные яйца на сковородку. *Квелл* явно улучшил его аппетит, и он просыпался в пять утра по корабельному времени голодным как волк. Когда он отправился на кухню, чтобы соорудить какой-нибудь завтрак, Джон Кандотти уже сидел там в засаде, переполненный планами завладеть кораблем и вернуться домой.

– Хочешь яичницу? Могу сделать на двоих.

– Нет! Послушай меня! Чем дольше мы медлим, тем дальше улетаем от дома…

– И что ты предлагаешь сделать? Перерезать горло Карло, пока он будет спать?

– Нет! – настоятельно прошептал Джон. – Но мы можем запереть его в каюте…

– О боже! – вздохнул Эмилио, возведя глаза к потолку. – А не нальешь ли ты мне соку, хорошо?

– Эмилио, он всего только один человек! А нас семеро…

– А ты разговаривал об этом с кем-нибудь еще, Миста Христиан? – спросил он, полагаясь на то, что авторитет Чарльза Лоутона[54] сделает его позицию понятной.

Насмешка заставила Джона покраснеть. Открыв буфет, он достал из него кружку для сока, но продолжил с прежней решимостью:

– Первым я обратился к тебе, но не сомневаюсь в том, что…

– Не надо, – пресным тоном проговорил Эмилио. Если вычесть оглушительный шум эмоций, политические реалии выглядели очевидным образом, и он понимал, почему взбунтовавшиеся узники сдавали последнюю битву, когда квелл впрыскивали в карцер вместо слезоточивого газа.

– Да, счет будет семь к одному, но одним будешь ты, Джон.

Столкнув яичницу со сковороды на тарелку, Сандос отнес ее к столу и сел спиной к кухне. Поджавший губы Джон последовал за ним, задиристо брякнув кружку апельсинового сока на стол и усевшись напротив Эмилио, который съел свое кушанье под

испепеляющим взором своего друга и только потом, отодвинув в сторону тарелку, проговорил:

– Вот что, Джон. Давай обратимся к фактам. Что бы ты ни думал о нем и о его мотивах, но Дэнни Железный Конь уже поставил свою душу на этот полет, так? – После чего смотрел на Джона ровным взглядом до тех пор, пока тот наконец не кивнул неохотно.

– У Жосеба есть собственные мотивы для путешествия на Ракхат, отличающиеся от мотивов каждого из нас. Шон – я не вполне понимаю Шона, но мне кажется, что он полагает, будто циничное восприятие человеческой природы является адекватной реакцией на грех. Он не поддержит тебя.

Джон еще не начал прятать глаза, но до него начало доходить.

– Теперь Нико, – проговорил Эмилио, – не стоит его недооценивать. Он не настолько туп, как это может иногда показаться, кроме того, он буквально пропитан идеей верности своему падроне. Тронь пальцем Карло, и тебе придется иметь дело с Нико, и заранее предупреждаю тебя о том, что он отлично знает обязанности телохранителя. – Эмилио пожал плечами. – Но предположим, что Шон останется в стороне, а тебе удастся переманить на свою сторону Дэнни и Жосеба и каким-то образом нейтрализовать Карло и Нико. Тебе все равно понадобится Жирный Франс, чтобы отвести корабль на Землю…

– Правильно, но Франс – бесстыжий наемник! Так что мы его купим! Потом, он считает, что Карло свихнулся…

– Франс обладает исключительным даром красочного преувеличения. – Эмилио сел попрямее и опустил руки на стол. – Джон, Карло – человек холодный, беспринципный и совершенно эгоистичный, но он что угодно, только не сумасшедший. И даже если бы он совсем слетел с катушек, я бы не стал рассчитывать на то, что Франс поддержит твои планы. Джон ощетинился, однако Эмилио продолжил: – У каморры длинные руки и еще более долгая память. Франс не станет сопротивляться Карло, не пойдет на такой риск…

– Великолепный анализ, Сандос! – воскликнул Карло, входя в помещение. – Достойный Макиавелли. Запомните, Кандотти, – сухо проговорил Карло, обращаясь к Джону, подпрыгнувшему при звуке его голоса, – конспирация является первым и главным принципом успешного заговора! И кают-компания космического корабля абсолютно не место для подобных занятий. – Он перевел взгляд веселых серых глаз с раскрасневшегося теперь лица Джона на строгое и спокойное, с первыми морщинами лицо Сандоса.

– А вы, Сандос? Неужели вы не хотите вернуться к Джине и

моей дочери?

– Чего я хочу, не имеет никакого значения. Факт заключается в том, что я был частью их жизни всего лишь несколько месяцев. – Джон охнул, и Эмилио повернулся к нему. – Пока мы летим, Джон, дома проходят годы. Даже если бы я вернулся прямо сейчас, трудно ожидать, что меня встретили бы как после месячной деловой командировки.

Джон явно расстроился, но Карло просиял:

– Неужели я могу предположить, что вы созрели для того, чтобы принять мои предложения…

Потом они дружно сошлись на том, что звук столкновения показался им похожим на винтовочный выстрел.

За единственным глухим ударом последовало мгновение полной темноты и абсолютного безмолвия, а потом по всему кораблю зазвучали крики и вопли людей, падавших и двигавшихся наугад, так как двигатели выключились и рожденная ускорением гравитация исчезла. Аварийное освещение включилось почти немедленно, однако возвращение зрения ничего хорошего не принесло: завыла сирена, свидетельствующая о разгерметизации корпуса, к ней присоединился свист внутренних дверей, автоматически задвигавшихся и запиравшихся; механизмы старались перекрыть все возможные пути для утечки воздуха. Еще через мгновение вращающий момент, переданный звездолету при столкновении, закрутил корабль, и все не закрепленные в нем предметы отправились в путешествие от центра масс. Джона швырнуло на край стола так, что весь воздух вылетел из его легких. Эмилио соударение отбросило вбок, прямо на переборку, и теперь он всей спиной ощущал квадратный блок вывода системы подачи воздуха. Со звоном в ушах, не оставлявшим Сандоса с того момента, как лоб его врезался в переборку, он наблюдал круглыми глазами за прозрачной трубой Волвертона, в которой кружил вихрь из растений и почвенной смеси, еще недавно представлявший собой вертикальный сад.

– Вот она, ось – в трубе! – завопил Карло, прижатый с распростертыми руками к переборке напротив Сандоса. Казалось, оба они попали в развлекательный парк, к одному из аттракционов, так занимавшему его в детстве, – к большому, обитому внутри мягким материалом цилиндру, который начинал вращаться и вращался все быстрее, пока центробежная сила не прижимала людей к стене и пол уходил у них из-под ног. Трудно было дышать, вжимавшая его в стенку сила собиралась расплющить его, поэтому говорил он короткими фразами, но спокойно: – Сандос, там, возле вас… красная аварийная кнопка…

слева от вас… Да. Будьте любезны… нажмите ее!

Карло сочувственно напрягся всем телом, когда Сандос попытался сдвинуть ногу в сторону своей цели, даже попытался подвинуть свою собственную ногу, чтобы понять, каково это – двигаться при таком тяготении. Однако в одной лодыжке Сандоса сил не хватало; напрягая все тело, он изогнулся, отодвигаясь от стенки, и наконец сумел надавить на кнопку краем стопы. Сирена замолкла.

– Отличная работа, – проговорил Карло, непроизвольно вздохнув с облегчением, и примеру его последовал Кандотти.

Но теперь они слышали куда более зловещие звуки: треск каменной субстанции самого корабля, плеск воды, выливавшейся из какой-то лопнувшей трубы, циклонический свист и шипение уходящего воздуха, стон напряженного металла, похожий на скорбную песню горбатых китов.

– Интерком: включить все передатчики, – абсолютно нормальным тоном произнес Карло, включая внутреннюю коммуникационную систему корабля. И по очереди назвал имена всех тех, кого не мог видеть. И один за другим они откликались: Франс, Нико, Шон, Жосеба и Дэнни. Вращение прижимало каждого из них к не оборудованной для этого поверхности – под и над главной палубой, а теперь они были закупорены в своих каютах аварийными программами управлявшего кораблем ИИ, превратившими каждое помещение в изолированный кокон.

– Прямо как наши… тренировки, – бодрым голосом, но с натугой произнес Нико. – Все… будет хорошо…

У прижатого лицом к столу Джона глаза едва не вылезли на лоб от такого жизнерадостного утверждения, однако откуда-то из недр корабля донесся бодрый голос Франса:

– *Braʊy scugnizz*, Нико!

Карло также сохранял спокойствие.

– Джентльмены, – обратился он к экипажу, зная, что его слышно по всему кораблю, – полагаю… что «*Джордано Бруно*» только… что столкнулся с микрометеоритом… Так как мы не превратились… в минеральную пыль и в облачко органических… молекул, можно заключить… что объект, с которым мы столкнулись… крайне мал. Но мы движемся слишком быстро… что объясняет результат столкновения.

К нему начал возвращаться привычный ритм, дыхание давалось ему проще.

– Ого! Вы это видите, Сандос? – спросил Карло, указав серыми глазами, шевельнувшимися в неподвижной голове, – вакуум засасывает грязь из… трубы Волвертона… через отверстие, проделанное этой микрочастицей… теперь оно забито

растительными остатками… и закупорено ими.

Шипение прекратилось, торнадо внутри прозрачной трубы вдруг уступило место плотной на вид массе грунта, с глухим ударом осевшей на стенках цилиндра – примерно так, как Сандос и Карло прилипли к наружным стенам кают-компании.

Отчаянно напрягая зрение, Джон сумел заметить Карло на самой его периферии.

– Вы хотите сказать… что нас от пространства… отделяет лишь слой… грязи? – сумел выдавить он.

– Именно, а еще… любовь Господа, – откликнулся по интеркому задушенным голосом Шон Фейн.

Карло каким-то образом ухитрился восторженно расхохотаться.

– Если среди наших пассажиров есть люди, особенно склонные к молитве… то можно помолиться душе Джеймса… Ловелла[55], покровителя всех космоплавателей-неудачников! Похоже, сегодня он пристально наблюдал за нами, друзья мои. Внимание! – приказал он, услышав, что фотоника на пультах рубки управления начала оживать и перезагружаться. – Приготовьтесь к падению. Если все пойдет правильно, инерциальная система ориентации вот-вот включит свои двигатели…

Послышался короткий, но дружный хор искренних молитв и не менее неподдельных ругательств – в основном всуе поминавших имя Христово, – а также крики страха, изумления и боли, когда система ИИ включила двигатели ориентации, немедленно восстановившие стабильность «*Бруно*» по крену, рысканию и тангажу своими короткими импульсами. В непродолжительные мгновения невесомости в кают-компании парили глобулы апельсинового сока и ярмарочный аттракцион уступал место тошнотворному калейдоскопу кусков яичницы и пыли, посреди которого вращались друг вокруг друга тарелка и вилка Эмилио. Внутри кают все оставленное без присмотра – компьютерные планшеты, бритвы, носки, постельное белье, четки – выписывало в воздухе фигуры сложного танца, подчиняясь произвольным силам, определявшим ориентацию корабля и менявшимся от мгновения к мгновению. Повсюду шарики слюны, слез и рвоты – недолго сохранявшие форму за счет сил поверхностного натяжения – добавляли свою лепту в общий хаос, разбиваясь о поверхности, вливаясь в другой подобный объект или наталкиваясь на лихорадочно двигающиеся руки и ноги.

По прошествии считаных, но показавшихся бесконечными минут вращение стабилизировалось, и их снова повлекло к периферии корабля, но уже с меньшей силой.

– А вы чувствуете это, дон Джанни? – окликнул Кандотти Нико, встревоженный страхом, проступавшим в голосе Джона. – Чувствуете? Оно начинает замедляться…

– Хорошо, – проговорил Карло с привычной прохладцей. – Начинайте двигаться к полу с уменьшением центробежной силы…

– Вы все поняли, дон Джанни? – спросил услужливый Нико без тени иронии. – Корабль вот-вот отпустит нас.

– Когда включатся маршевые двигатели, – предупредил Карло, – мы будем иметь полную тягу…

…Что означало возвращение полного и нормального тяготения. Полы вдруг обозначили своим присутствием низ, и всякий, кто не успел спуститься на пол, пока система ориентации замедляла и останавливала вращение, приобрел несколько синяков на память о своей неловкости.

– Итак! – воскликнул бодрым тоном Карло, вернув себе хорошее настроение с почти магическим удовлетворением, присваиваемым себе в среднем возрасте симпатичными итальянцами. – Все прошло самым удачным для нас образом. Прошу всех собраться в кают-компании!

Вопреки всему экипаж «*Джордано Бруно*» оказался способным выбраться из своих кают, когда корабль выпустил их после разрешения аварийной ситуации, и они один за другим явились в кают-компанию голыми или в исподнем.

Франс, флегматичный и защищенный от падений в силу своей полноты, никаких повреждений не получил, неспособность Нико в полной мере представить себе ту опасность, в которой они оказались, также пошла ему на пользу. Молчаливый Жосеба дышал тяжело, однако никаких повреждений не получил. Шон явно испытал основательное потрясение, однако Дэнни Железный Конь держался настороженно и бодро. Сам Карло имел полное представление о том, какое воздействие все три закона Ньютона оказали на каждую часть его тела, однако находился в полностью работоспособном состоянии. Джон также настаивал на том, что с ним все в порядке, и уже взялся за дело; обнаружив место течи в кухонной трубе, порванной при ударе микрометеорита, он отключил воду и в данный момент копался в водопроводных принадлежностях вместе с Нико, разыскивая все, что нужно было для починки. Сандос, конечно, сохранял полное спокойствие и ограничился считаными словами:

– Один из моих ортезов получил повреждение. Но, кажется, его можно починить.

Если не считать ссадин и синяков, других травм не было,

возможно, потому что все находились в постели. Не давая никому времени поддаться приступу поставарийной паники, Карло стал раздавать поручения в отрывистой деловой манере:

– Я хочу, чтобы все находились в гермокостюмах до тех пор, пока не убедимся, что корабль надежно стабилизирован. Нико, когда наденешь скафандр, займись уборкой. Начнешь с кухни. Запиши все, что необходимо будет починить, и передай список дону Джанни. Шон, помоги Сандосу влезть в скафандр, потом надень свой…

– Мои руки в скафандре беспомощны, – возразил Сандос. – Я не могу…

– Только до того момента, когда мы решим, что все в порядке, – сказал Карло.

Сандос пожал плечами – в знак согласия или безразличия.

– Франс, как только ты приготовишься, возьми с собой Сандоса на мостик. Сандос, поможете ему с полным обзором состояния фотоники – проверьте статус корабля, систему за системой. Это можно сделать на голосовом контроле, и как только станет ясно, что можно снять скафандры, дадите знать. Кандотти, – обратился он, – оставьте швабру Нико и проверьте трубы на всех уровнях. Повреждения могут обнаружиться повсюду, а дополнительных неприятностей нам не надо. Шон! Проснитесь! Помогите Сандосу надеть гермокостюм.

Когда все прочие разошлись, Карло обратился к Жосеба и Дэнни:

– После общей проверки систем корабля главной задачей станет восстановление биологической системы очистки отходов и регенерации воздуха.

И только тогда Жосеба и Дэнни обратили внимание на трубу Волвертона, находившуюся в самом центре кают-компании, и уставились в ужасе на потрепанные и изломанные растения, вырванные из своих гнезд.

– Дело поправимое, джентльмены, – настоятельным тоном проговорил Карло. – Качество воздуха мы можем восстановить с помощью газопромывателей, и у нас есть аварийные генераторы кислорода, но я предпочитаю располагать продублированными агрегатами, так что нам нужно спасти все растения, которые еще живы, – это ваша работа, – сообщил он Жосеба. – Но даже в том случае, если все они погибли, у нас есть на борту семена, и мы сможем восстановить трубу за пару месяцев. Когда Шон освободится, Жосеба, отправьте его к бакам с рыбой, чтобы проверил на наличие утечек и трещин. Думаю, что сами тилапии пережили аварию, однако баки и фильтры нуждаются в проверке и как минимум в тщательной очистке.

Жосеба недолго постоял, обдумывая, но наконец отправился в свою каюту, чтобы переодеться и убедиться, что Шон и Сандос уже занялись делом.

– Приветствую тебя, Цезарь! – обратился Дэнни Железный Конь к Карло, когда они остались вдвоем. – Отлично сработано, шеф.

Подняв одну руку и приложив другую к груди изящным движением, Карло принял позу, подразумевающую наличие невидимой тоги.

– Я вовсе не хладнокровный, неразборчивый в средствах и эгоистичный, как считают некоторые на корабле, – заявил он, властно подняв брови. – Я – царь-философ и живое воплощение присущей стоику беспристрастности!

– С точки зрения свиньи, – дружелюбно промолвил Дэнни. – Все Джулиани до единого – бессердечные сукины дети.

– Так говорит и мой отец, – невозмутимо ответил Карло. – Матушка моя отрицала все и требовала генетических исследований. Одевайся. Пойдешь со мной. Надо проверить корпус снаружи, а также установить, повреждены ли посадочные аппараты. Думаю, все мы будем спать крепче, если удастся заделать эту дырку чем-то более прочным, чем комок земли.

– Изолентой, к примеру? – проговорил Дэнни, когда они направились к винтовой лестнице, спускавшейся к их каютам.

Карло усмехнулся, но, прежде чем он успел пройти в люк, Железный Конь преградил ему путь своей внушительной лапой.

– Много ли шансов у нас было? – полюбопытствовал Дэнни, спокойно взирая на гангстера черными глазами.

– Скажу после того, как мы осмотрим корпус, – ответил Карло, однако Дэнни не пропускал его, так что итальянец сделал шаг назад и остановился, держа руки за античной лепки спиной, склонив набок столь же античную голову, вопрошая собеседника взглядом серых глаз.

Ровесники считали его удивительным чистоплюем: Карло Джулиани редко использовал вульгарные выражения вне тех ситуаций, когда без них обойтись было попросту невозможно.

– Ни одного хренова шанса, – ответил Карло в весьма деликатной и четкой манере. – И похоже, тот факт, что мы остались в живых, свидетельствует о правоте папы и дона Винченцо: Сандос нужен Богу на Ракхате.

Они обменялись красноречивыми взглядами. Уронив руку, Дэнни кивнул и зашагал вниз по лестнице.

Через пятнадцать минут одетые в гермокостюмы Дэнни и Карло снова встретились в коридоре позади своих кают и начали

переходить из помещения в помещение, обозревая нанесенный кораблю ущерб. Приказы Карло ничего не оставлять свободно лежащим и незакрепленным выполнялись всеми даже в личных помещениях, и это, конечно, снизило степень зафиксированного ими ущерба. В основном вниманию их представали кучи одежды и постельного белья, которые они отодвигали, внимательно осматривая стены, полы и потолки каждого помещения.

Поверхности покрывал слой хрупкого полимера, полностью обнаруживавшего следы деформации. Наиболее очевидно они проявлялись на внешних стенах, однако исследования и опыт показали, что выжить можно только при линейных столкновениях, так что Карло выбирал астероид и обрабатывал его с учетом этого факта. Растрескивание внешней оболочки оставалось вполне возможным, но обнаружить трещины можно было только методом ультразвукового контроля. Однако центральный цилиндр «*Бруно»,* содержавший всю систему жизнеобеспечения, не обнаруживал признаков скорого разрушения.

Проходя через кают-компанию по пути к ангару посадочных катеров, Карло отметил, что Нико уже убрался на кухне. Продукты и утварь были упакованы в надлежащие емкости и разложены по местам. На виду оставалась лишь использованная Сандосом сковородка. Удовлетворенный Карло остановился на мостике, где Франс и Сандос занимались диагностикой.

– Почему ты не в гермокостюме, Франс? – спросил Карло. Горловой микрофон делал его голос тонким и невыразительным, однако давал понять, что для нарушения приказа должна существовать уважительная причина.

– Мальчик подрос. Больше не налезает, – коротко объяснил Франс, ухмыльнувшись Дэнни Железному Коню, бесстрастно смотревшему на него из-за лицевого щитка.

– Молись, чтобы нам не хватануть настоящего вакуума, Шеф. Если я взорвусь, умаетесь отскребать мое сало с приборов до конца путешествия.

– Или почием на лоне нашего Господа Иисуса, – сухо проговорил Дэнни.

– И что вы уже нашли? – спросил Карло у Франса.

– Мы ослепли на один глаз, – вновь посерьезнев, проговорил Франс. – Будете смотреть дальше, ищите нашу правую сенсорную панель.

Повезло, подумал Карло. На самом деле очень повезло. Но произнес:

– Отлично. Железный Конь, проверьте Шона и Жосеба – пусть доложат, как перенесли столкновение биологические объекты. А

затем осмотрите посадочные катера. Я намереваюсь осмотреть корпус. Франс, мониторьте меня.

«Основным источником зла в человеке, – писал стоик Эпиктет, – так же, как и всех его низостей и трусости, является не смерть, но страх смерти». Карло Джулиани впервые прочитал эти слова в возрасте тринадцати лет, спустя неделю после одних из целого ряда многочисленных похорон, на которых ему довелось побывать ребенком. Кузена разнесло вдребезги бомбой, заложенной в автомобиль; в гроб, собственно говоря, класть было нечего, однако за почти пустым ящиком по Неаполю следовал кортеж из почти двух сотен автомобилей. Карло не присутствовал при этой конкретной кончине, однако еще в возрасте семи лет его с ног до головы забрызгало каплями крови и кусочками мозга – в то время речь шла о дяде, – и посему имел возможность размышлять о смерти с ранних лет.

Другой ребенок мог бы податься в священники; тем более что прецедентов в семействе насчитывалось немало – в четырнадцатом веке один из Джулиани был стигматиком, то есть носил на руках язвы Христа. Однако жизнеописания слишком многих из мучеников, присутствующие в христианской агиографии, не удовлетворяли Карло. Поддавшись подростковому романтическому ощущению собственной важности, он сфокусировал свое внимание не на Иисусе Христе, но на Марке Аврелии. Потребовался авторитет величайшего из кесарей, подлинного героя, наделенного монументальным самоконтролем и бесстрашием, чтобы укрепить хрупкую еще отвагу мальчишки, которому, возможно, предстояло в скором времени сделаться законной добычей вендетты, коль скоро соперничавшей *famiglia* потребуется выбрать несложный объект для показательной казни.

Марк Аврелий представлял собой сложную ролевую модель. Карло, пытавшийся добиться стоической рациональности и отваги, тем не менее оказался затянутым в истинно неаполитанское болото дохристианских суеверий и барочного католицизма. Он вырос одновременно избалованным и озлобленным, возмутительным образом испорченным и преступно лишенным прочной основы.

В некотором отношении он так и остался катастрофически избалованным сыном собственной маменьки, приходившим в бешенство от малейшего сопротивления. Подобно родному отцу, он умел полностью не замечать чужие желания и потребности, если только они случайным образом не переплетались с его собственными.

Тем не менее он понимал, что эти его качества являются

недостатками, и боролся с ними.

«Самый благородный способ мести, – писал Марк Аврелий, – заключается в том, чтобы не стать подобным своему врагу».

– Я учился на ошибках своих предшественников, – поведал Карло Эмилио Сандосу. И это утверждение было не праздной похвальбой, а пробирным камнем[56] всей его жизни, и, в частности, «*Джордано Бруно*» являлся доказательством того, что не все усилия его пропали даром. Созданный им корабль располагался внутри большой, крепкой, необычайно симметричной небесной скалы – девственного однородного минерала, не тронутого предыдущими шахтерскими работами. Прежде чем горные машины высверлили в нем цилиндр под корабль, камень был тщательно изучен, обследован, простукан и просвечен. Помещения экипажа располагались в самой сердцевине, надежно защищенной от космической радиации. Вся внешняя поверхность астероида была под давлением покрыта упругой самозатягивающейся пеной. Вся фотоника, система жизнеобеспечения и управления, была продублирована трижды и контролировалась чрезвычайно тщательно опробованной системой искусственных интеллектов, запрограммированных на автоматическое включение маршевых двигателей и системы стабилизации при любых отклонениях от штатного режима полета, даже в том случае, если экипаж выйдет из строя.

Корабль стоил целое состояние. Карло представил свои аргументы отцу в экономической форме; конечно, поддержала его и сестрица Кармелла – данный проект устранял его как потенциального соперника, пока сама она будет заниматься укреплением собственной власти. К тому же, как заметила эта сучка, деньги, потраченные на усовершенствование корабля, можно считать долговременным вложением капитала, которое, однако, могло и привести к возвращению в игру ее брата, что, по ее мнению, можно было считать приемлемым риском, тем более что самого Доменико уже не будет к этому времени в живых.

«Гори ты в пламени, старый хрен», – думал Карло под звуки собственного дыхания, поднимаясь к вершине носовой технической зоны по оставленному центральному ходу, чтобы найти там доказательство, что всего два часа назад он был весьма близок к тому, чтобы присоединиться к своему папаше.

Весь технический передний отсек корабля, в котором размещалась аппаратура дальнего обнаружения, покрывала тонкая черная пыль. Пройдя по оставшемуся на полу круглому пятну, он нашел в его центре миниатюрный Везувий, отодвинул его носком ботинка, а затем, нагнувшись, расчистил это место прикрытой перчаткой рукой и обнаружил пробоину. После чего

сделал шаг назад, посмотрел на потолок, соответствовавший носовой части корабля, когда он шел под тягой, где находилось такое же отверстие, забитое мелкой почвой, высосанной космическим вакуумом из трубы Волвертона и удерживавшейся там силой трения.

Нетрудно было понять, что аналогичные отверстия обнаружатся и на другом конце корабля.

Доверившись на малое время законам физики, он попытался представить себе картину соударения. Попавшаяся на их пути частичка материи, должно быть железа, проложила себе узкий путь от носа и до кормы…

Неприятный момент… Если бы удар пришелся не по оси корабля, вращение было бы сильнее и корабль мог бы рассыпаться под действием центробежных сил; но даже если бы этого не случилось, пассажиры его, скорее всего, превратились бы в органическую кашу. Более крупный микрометеорит уничтожил бы корабль. Но если бы столкновение произошло на максимально возможной скорости, все они испарились бы, даже не осознав, что произошло, а «*Джордано Бруно*» присоединился бы к списку кораблей, пропавших в космосе по неведомым причинам.

Он едва не рассмеялся, ощутив наконец головокружение от следующей мысли: «Объявлю девятидневное покаяние с постом и молитвой Пречистой, когда вернусь домой… Нет, построю целую церковь, полную вывезенных с Ракхата драгоценностей!» Рациональное мышление в такое утро не способно заменить собой религиозное.

Очнувшись, он посмотрел на сенсорный блок, лежавший справа от проделанного микрометеоритом отверстия. Стараясь не потревожить малый комок земли, отделявший его от пустоты, Карло вытащил блок из крепления и осторожно вытряхнул из него целый ливень мелких частиц: почвенная смесь забилась и туда. Внизу, на корабле, было припасено еще два подобных блока. Он заменит новым тот, который был в его руках, а этот отдаст Кандотти, чтобы тот отремонтировал его.

Может понадобиться в качестве запасного, подумал Карло.

«Надежнее всего как можно реже искушать фортуну», – учил Сенека. И, по всей видимости, не стоит делать это чаще, чем раз в неделю.

Глава 24
Труча Сай

2047–2061 годы по земному летоисчислению

Долгие годы после того, как не удалось бежать с Ракхата, Софии Мендес снился дом. Сны эти раздражали ее, и она прекратила передавать свои сообщения на Землю, полагая, что, если обрежет последнюю связывающую с домом нить, прекратятся и сны, однако они продолжались.

Чаще всего она сидела в аэропорту, ожидая, когда объявят посадку на нужный ей рейс, иногда ждала на каком-нибудь железнодорожном вокзале; во снах этих она точно знала, что Джимми где-то ждет ее. Иногда она шла по прежде знакомой улице, в Токио или Варшаве. Но чаще всего София оказывалась в каком-нибудь фантастическом месте, которое просто каким-то образом находилось на Земле. В своих снах она почти всегда бывала одна, но однажды, сидя в кофейне, прислушивалась к разговорам, когда вошел Сандос – как всегда с опозданием.

– Где мы были? – спросил он, садясь напротив нее.

– Мы были влюблены, – ответила она и в испуге проснулась оттого, что призналась во сне в том, что никогда не признавала при дневном свете.

Потом, в ту ночь, она лежала с открытыми глазами посреди лесных шорохов и капели, пытаясь рассортировать обрывки реальности, из которых соткался этот сон. Кофейня находилась, конечно, в Кливленде. «Сколько же лет назад я познакомилась с Сандосом? – спросила она себя. А потом, с еще большим удивлением подумала: – сколько же мне лет?» И, вздрогнув, поняла, что уже почти пятьдесят. «Уже семнадцать лет я живу на этой планете, – думала она. – Дольше, чем я прожила в Стамбуле. Дольше, чем прожила в каком-нибудь другом месте».

– *Сипаж,* Фиа, – спросила ее однажды дочь Супаари Хэ'энала. – Ты не печалишься оттого, что твои люди оставили тебя здесь в одиночестве?

– Все на свете имеет свою причину, – ответила София девушке. – Теперь мой народ – руна. Да и твой тоже.

Она произнесла эти слова с яростной, неподдельной убежденностью, ибо давно уже утопила свою личную, ничтожную печаль в чистой ярости, вызванной угнетенным положением руна. Она давно уже обнаружила причину собственного пребывания на этой планете. Она оказалась на Ракхате затем, чтобы научить всех ВаРакхати одному-единственному слову: справедливость. По

всему крупнейшему континенту Ракхата молчаливое недовольство руна обрело голос устами Супаари ВаГайжура, Джалао ВаКашан и их последователей.

Обыкновенное оружие угнетенных: правдоподобная угодливость и деланое невежество, мелкое сопротивление по пустякам, проволочки и изображение полного непонимания – все было отброшено, все уступило место удивительной и вдохновенной силе. Подобно спящим, пробудившимся от собственного бессилия, руна очнулись и обрели силу, потенциал которой осознавали ранее одни жана'ата, заслуженно боявшиеся ее.

После начала восстания, после того как были освобождены Гайжур и Агарди, на помощь к бунтарям пришли страх и подозрительность. Скажем, патриарх жана'ата пробуждался утром, обнаруживая, что из челяди его сбежали все руна, а на ложе его оставлен нож, острием к горлу. Если ему хватало мозгов, он собирал родных и бежал на север. Конечно, существовало и сопротивление.

Даже в самом начале случались и нападения, и перебранки. Но знание – сила, а с помощью Софии Мендес руна сделались знающим народом.

Она наделила их схемами развитых коммуникационных систем и приборов для обработки информации, но что более важно, София вселила в руна уверенность в том, что подобные предметы действительно можно создать: а получив зародыш идеи, руна умели воплотить ее в жизнь самым быстрым и творческим образом. Созданные руками руна радиоприборы прежде служили правителям жана'ата, а теперь их модифицировали для работы со спутниками, выведенными на орбиту экипажем «*Стеллы Марис»,* что позволило всей армии поддерживать мгновенную связь.

По прошествии какого-то времени все молодые офицеры уже знали английский язык, послуживший на Ракхате столь же надежной базой для шифровальщиков, как язык земного племени навахо американской армии на Земле во время Второй мировой войны.

Располагая средствами дистанционного наблюдения и получения изображений «*Магеллана*», София смогла обозревать весь континент в полосе в 40 градусов по обе стороны экватора – вне ее поля зрения оставался только южный океан и земли к северу от гор Гарну. Не покидая Труча Сай, она предоставляла прогнозы погоды и следила за речным транспортом, а также мобильными подразделениями жана'ата, с которыми можно было разобраться, когда они оказывались на местности, удобной для

женщин руна, не стесненных традицией рыцарского ведения войны. Когда жана'ата отступили на трех фронтах на более удобные для обороны земли, София сумела обнаружить их новые укрепления, в которых были собраны домашние слуги и наемники руна. Далее они были подвергнуты нападению в красном свете, позволившему освободить пленников-руна и оттеснить голодавших уже *джанада* дальше на север.

– И ты не хочешь общества подобных себе? – спросила Хэ'энала.

– У меня есть ты и твой отец. У меня есть Исаак и руна, – ответила София. – У меня есть все, кто мне нужен.

– В самом деле, мама?

– В самом деле! – воскликнула София. – И я благодарна за все, что у меня есть, Хэ'энала.

Она могла бы продолжить: стремясь к большему, можно нарваться на разочарование. Однако София Мендес давным-давно запретила себе подобные мысли.

А кроме того, в ее ситуации есть и свои плюсы, могла бы напомнить себе София. На Земле собственный сын сделался бы для нее трагедией, но здесь, в лесу, под бдительным присмотром сотни отцов-руна все дети находились в безопасности, как находящиеся в здравом уме, так и не вполне нормальные, вне зависимости от того, отстали они в развитии от сверстников или нет. Здесь никого не считали слишком ненормальным и старым. Несовершенство допускалось в Труча Сай, единственном на всем Ракхате месте, где оно было разрешено. Руна ничего не ждали от Исаака. Они не судили его и не находили нуждающимся в оценке, не обращали на него внимания, когда он учился владеть своим кишечником или когда ходил голым.

И если Исаак не ощущал чужих эмоций, он живо воспринимал окружающий мир. В котором существовали лианы, и на них можно было качаться, а также опущенные сучья *в'ралиш,* на которые можно было взобраться, подняться выше и даже пройти вверх – тем более с его совершенным чувством равновесия. Еще была грязь, которую можно было охлопывать и кидать, которая могла выдавливаться между пальцами ног и рук. И вода, чтобы плескаться, чтобы падать в нее, чтобы плыть. И громадные, отполированные рекой скалы – чтобы соскальзывать с них вниз, снова, снова и снова, вовсю размахивая от радости руками; еще целое сокровище окатанных камушков со дна реки, которые можно было вытащить наружу и выложить строгими прямыми рядами, которые, как заметила потрясенная София, группировались согласно простым числам: 1, 3, 5, 7, 11, 13 и так далее. Здесь, в Труча Сай, Исааку шептали деревья, ручей журчал

ради него.

Иногда к нему приходили животные, потому что он умел быть неподвижным и долго оставаться без движения.

– *Сипаж,* Фиа, когда мы сможем перебраться в город? – спрашивала Хэ'энала. – У всех людей там по пять пальцев или у некоторых только три?

– Тебе слишком опасно посещать города, – отвечала София.

– Но другие девочки туда ходят!

– Это не просто девочки, это солдаты. Когда вырастешь, все поймешь.

– Так ты говорила в прошлый раз. Эта с тех пор подросла! Когда ты мне все объяснишь?

– *Сипаж*, Хэ'энала, не устраивай *фиерно.* Послушай: уже гром гремит!

– Ты говорила, что на самом деле люди не могут изменить своим поведением погоду!

– И от чего на самом деле зависит погода? – проговорила София, радуясь возможности изменить тему.

Очутившись посреди войны, София Мендес поняла, что, наверное, стала бы учительницей, если бы ее детство не закончилось столь уродливым образом. Присущая ей ясность ума и привычная организованность, способность разложить любой процесс на этапы и шаг за шагом растолковать его ученику – все эти качества, сделавшие ее превосходным ИИ-аналитиком, теперь приводили к ней массу учеников.

Дети-руна, пользуясь составленными ею мнемоническими правилами, заучивали названия солнц, рек и городов, химических элементов, таблицу умножения. Она предоставила им возможность научить ее ботанике, которой отцы их учили на собственном примере, а потом уже вместе с детьми создала новую таксономию на основе принципов использования, структуры и местоположения и с удовольствием наблюдала за тем, как они начинали классифицировать животных, слова, звуки и камни, создавать логические связи, а также находить умные решения поставленных ими же самими проблем.

Эти руна были заметно смышленее детей ВаКашани, с которыми она когда-то познакомилась. Поначалу она даже записывала их успехи на счет своего педагогического мастерства, но по прошествии некоторого времени поняла, что интеллект этих детей отчасти объясняется тем, что все они теперь получали вполне адекватное питание в отличие от прежних времен, когда скотоводы жана'ата содержали их на голодном пайке, желая контролировать и репродуктивный статус молодежи, и труд руна,

и сами их жизни…

Джанада должны были знать, должны были понимать, что при этом непременно притупят интеллектуальные способности руна, решила она. И когда ей были явлены подобные мерзости, ей вспомнились стихи обреченного на поражение восстания в варшавском гетто: «Плоть возмущенная, плоть восставшая, плоть сражающаяся! Плоть громкоголосая…» «На сей раз, – решила она, – плоть победит. Мы ослабим узы несправедливости, мы сломаем каждое ярмо и выпустим угнетенных на свободу! Мы поступаем правильно. Истинно так».

А потом с возобновленной уверенностью возвращалась к своей работе – ей предстояло научить детей руна тому, как надо будет им жить в условиях свободы, завоеванной их матерями. Она обнаружила, что этому научить можно будет даже Исаака. Или, скорее, он всему научится сам, если только она постарается не вторгаться в его мир. И она поручила своему компьютеру общаться с сыном через тайные и невидимые стены, отделявшие его от всех остальных; таков был кратчайший способ достучаться до него, если не считать песен.

Упорядоченные ряды клавиш клавиатуры сразу понравились ему, и когда София впервые показала ему, как ею пользоваться, Исаак пришел в восторг от того, как, следуя движениям его пальцев, по экрану шествуют буквы и символы, следуя совершенному и бесконечному прямоугольному порядку. Руна любезно и тактично жаловались, когда Исаак начинал размахивать руками и верещать в полном блаженстве от этого парада литер; она обнаружила, что, если, сидя с ним рядом, выхватит у него планшет в самом начале *фиерно*, сын быстро успокаивается. За считаные дни он научился управлять своим беспокойным поведением, так как оно грозило тем, что у него отнимут его сокровище.

Каждую ночь София вносила какой-то крошечный элемент в виртуальный мир своего сына: звук, дававший имя букве при своем появлении; затем целые слова, написанные или произнесенные, но сопровождавшие картинку. Так Исаак, к ее изумлению, даже научился читать. Хотя, по ее мнению, его грамотность скорее основывалась на принципе китайских идеограмм, чем на фонетическом механизме, однако в его случае этот принцип работал. София показала ему файл, в котором хранились превосходные и точные рисунки Марка Робишо, зарисовывавшего растения и животных Ракхата, и она подставила к ним соответствующие слова руанжи. Она проплакала весь тот день, когда Исаак явился к ней с сорванным с дерева листом, в точности соответствующим изображению на экране, но не стала

обнимать или целовать сына. Любовь к Исааку могла проявляться только на его условиях. Самостоятельно или наблюдая сбоку за Софией и Хэ'эналой, он научился входить в библиотеку «*Магеллана*» и находить в ней собственные закладки. Он нашел место, в котором хранилась музыка, и уходил вместе с компьютером в тихий уголок и углублялся в слух. Отрешенное выражение, появлявшееся на его лице в такие мгновения, не могло не напомнить Софии лицо собственной матери, забывавшейся за ноктюрном на фортепиано. Слушая музыку, Исаак казался не просто нормальным, но необыкновенным, возвышенным.

Своим ползучим, постепенным методом она сумела понять, что то, что София ценила в себе и чем восхищалась в своем муже, отце Исаака, – интеллект и любовь к музыке – перешли по наследству к их сыну. Исаак, как она поняла, очень умен или был бы умен, если…

Нет, решила она, он умен, но по-своему, и обладает действительно инопланетным интеллектом.

– Он просто ангел, – восхищалась София, когда Хэ'энале было всего семь лет.

Они сидели рядышком на берегу реки, глядя на Исаака, высокого и стройного мальчика, стоявшего на берегу реки, забыв обо всем, кроме воды. Или, может быть, камня, омываемого водой. Или, быть может, просто погрузившегося в себя. – Ангел, чистый, прекрасный и бесконечно далекий.

– *Сипаж,* Фиа, – спросила тогда Хэ'энала. – Что такое ангел?

София пришла в себя.

– Вестник. Вестник, посланный Богом.

– А какую весть несет Исаак?

– Он не в состоянии сказать нам, – сказала София и отвернулась, пряча лицо с сухими глазами.

Наконец пришло время уходить из Труча Сай старшим девушкам. София попросила, чтобы самым смышленым из них позволили остаться в лесу и стать учителями в других деревнях, подобных Труча Сай – наполнявшихся молодыми руна по мере того, как линия фронта расширялась и отцы отступали в лес, чтобы воспитывать детей подальше от *фиерно* войны. Ответ почти всегда был отрицательным. Нет, учить могут и мальчики. А женщины обязаны умирать за детей.

София понимала это и не плакала, когда девушек считали готовыми для того, чтобы вступить в армию, и они оставляли лес для того, чтобы их пожрала революция, но не *джанада*. Неплохо, по ее мнению, было уже то, что если руна она любила в целом,

как народ, то мало о ком скорбела как о личности.

Ошибка ее, если это была ошибка, заключалась в том, что Хэ'эналу она любила.

Хэ'энала, дочь собственного отца – быстрая, сдержанная и полная энергии, реагировала с интеллектуальным интересом на все, что София Мендес могла предложить этому ребенку, более интересовавшемуся ответом на вопрос «Почему я должна быть хорошей?» чем «Почему *фиерно* вызывает грозу?».

Память Хэ'эналы вмещала науки и песни, факты и вымыслы; уже в девять лет она могла непринужденно переходить от теории Большого взрыва к «Да будет Свет».

«Я делаю из нее еврейку», – однажды встревожилась София. Но потом спросила себя: а почему нет? Хэ'энале нравились те рассказы, которыми София удовлетворяла жажду ребенка, требовавшего авторитетных ответов. Посему София активно пользовалась древними притчами, чтобы научить вечной морали, внося небольшие коррективы с учетом внешних условий. Любимой была притча о райском саде, слишком уж напоминавшем тот лес, в котором они живут. Следуя за Исааком в его уединенных странствиях между деревьями, нетрудно было поверить, что они находятся в полном одиночестве, если не считать Бога и своего спутника.

Однако Хэ'энала была самостоятельной личностью и имела собственное мнение, так что однажды она остановилась на месте и сказала:

– *Сипаж,* Фиа, Бог солгал.

Удивленная София также остановилась и повернулась к ней, нервно проводив взглядом Исаака, продолжавшего свой путь, деля свое внимание между ним и остановившейся Хэ'эналой.

– Жена и муж не умерли и познали добро и зло, – произнесла Хэ'энала по-английски и посмотрела на Софию, запрокинув голову, сделавшись точной копией отца, собравшегося произнести нечто важное. – Бог солгал. А длинный змей сказал правду.

– Я никогда не думала об этом, – сказала София, недолго подумав. – Нет, они все-таки умерли, только не в тот день. Итак, Бог и длинный змей сказали каждый часть истины, полагаю. У них были для этого разные причины.

После того как они продолжили путь, из этого тезиса возникла долгая и восхитительная дискуссия о полной честности, частичной правде, такте и преднамеренном обмане ради собственной выгоды.

София потом перескажет эту дискуссию Супаари в ходе их

ежедневного радиообщения, делясь рассказами об уме и проницательности, творческих способностях, шалости и внутренней чистоте его дочери. Его реакция много говорила Софии. Если он какое-то время находился в тылу руна, то размягчался духом, смеялся и задавал вопросы. Но если был в городе среди жана'ата, пропахший запахом руна, одетый как рунао, безмолвно принимающий унижения и мелочные обиды, занимающийся разведкой укреплений или количества гарнизона, то рассказы о похищенном у его девочки великолепии только разжигали его гнев.

– А они хотели ее смерти, – с холодной яростью говорил он, и София понимала и разделяла его чувства. – Они намеревались убить такое дитя!

И тем не менее он редко посещал Хэ'энналу. София понимала и это. Супаари не хотел расслабляться. Он должен обратить все свои чистые и ничем не осложненные чувства к войне. И поэтому было важно, чтобы его ежедневной спутницей была не лишенная будущего смышленая девочка, но рунао, прославленная своей свирепой, ничем не уступающей его собственной преданностью делу построения нового мира, – Джалао ВаКашан.

Вполне вероятно, что они являлись любовниками. София знала, что такое возможно и считается допустимым среди ВаРакхати обоих видов. Джалао не брала себе мужа.

– Мой народ – мои дети, – говорила она. София понимала и то, что Джалао могла дать Супаари: заслуженное уважение и одобрение. Признание того, что этот *джанада* достоин быть одним из Народа. София говорила себе, что Супаари делит с Джалао опасности, мечты и труды. Почему же они не имеют права разделить и передышку? Она не могла отказать им в таком небольшом утешении.

Другая женщина могла бы ревновать, но только не София Мендес. В конце концов она сумела пережить многое только потому, что отключила эмоции – свои и чужие! Ведь любовь – это долг, а в долги лучше не влезать.

Город Гайжур

2082 год по земному летоисчислению

– Когда Исаак впервые проявил интерес к генетике? – спросит Софию Дэниэл Железный Конь перед концом ее жизни.

К этому времени она почти совершенно ослепнет: единственный, другого нет, глаз затуманит катаракта; и согнется почти пополам: без кальция, в котором нуждались ее кости. Старая ведьма, подумает она о себе. Руина. Но вслух скажет:

– Это случилось, когда все мы еще жили в Труча Сай – Исаак, Хэ'энала и я. Исааку, кажется, было двадцать, а может, и двадцать

пять по вашему счету – здесь годы длиннее. И было это как раз перед его уходом. – На какое-то время она погрузилась в воспоминания. – Как мне кажется, он становился все более и более не приспособленным к жизни среди руна. К постоянным разговорам. Ну, к этому привыкаешь. Научаешься отключать от своего внимания. Но Исаак не был способен на это, и шум, по сути дела, причинял ему боль. Когда он был младше, то затыкал пальцами уши и начинал стонать, чтобы за собственным стоном не слышать бесконечных разговоров, однако, повзрослев, просто перестал переносить их. Он проводил все больше и больше времени в одиночестве и однажды исчез.

– И Хэ'энала последовала за ним?

– Да.

Священники с таким терпением относились к ней, когда она умолкала. Иногда София просто забывала, что ее о чем-то спрашивают, и погружалась в собственные думы, но на сей раз было не так. Тема до сих пор оставалась болезненной, и она сочла необходимым начать ее издалека.

– Понимаете ли, дети-руна задавали вопросы обо всем… о погоде, о солнцах и лунах, о растениях, – сказала она Дэнни. – Они хотели знать: откуда берется дождь? Почему луны меняют свою форму? Куда уходят солнца на ночь? Как из крохотных семян вырастают огромные *В'ралиш?* Мне приходилось потрудиться, чтобы дать им правильные ответы, чтобы держаться вровень с этими детьми. Они помогали мне держать разум живым. Однако они никогда не спрашивали о различиях между людьми, о различиях между видами. – София помолчала, удивляясь чему-то, оставшемуся в прошлом. – Такие вопросы задавала одна Хэ'энала. «Почему у тебя и Исаака нет хвостов? Что произошло с вашей шерстью?» Она хотела знать, почему у нее три пальца, когда у всех остальных пять.

– И что вы сказали ей на это? – осторожно спросил Дэнни.

Какой спокойный молодой человек, подумала София. Какой осторожный в разговорах с ней, всегда воздерживающийся от осуждения.

В своей молодости София всегда представляла себе священников нетерпимыми и злыми судьями. «*Что заставило меня видеть их такими*, – она теперь не могла понять. – *Наверное, то, что я не знала ни одного из них. В этом корень стольких страхов и ненависти*», – поняла она.

В незнании…

«Мендес, ты увиливаешь от ответа», – сказала она себе, и возвратилась к теме:

– Ну, сначала я пользовалась словами Марка Робишо,

которые он всегда говорил в подобных случаях: «потому что так хочет Бог». – Она протянула руку, чтобы прикоснуться к лицу Дэнни, понять, улыбнулся ли он, безбородый… какая гладкая кожа. *«Ближе к делу, Мендес»,* – обругала она себя. – Хэ'энала понимала разницу между Богом и наукой, знала, что есть различные, но параллельные пути для восприятия мира. Так вот. В библиотеке «*Магеллана»*, конечно, имелись очень хорошие руководства по генетике. Мы скачали их. Там имелись также графики винтовых ДНК для человеческого организма, а в памяти моего собственного компьютера содержалась работа по генетике ВаРакхати, выполненная Энн Эдвардс и Марком Робишо. Я показала эти данные и ей.

– А Исааку? Вы показали ему? Генетические последовательности для всех трех видов?

– Только косвенно. Исаак часто находился рядом с нами, когда я учила Хэ'энала. У меня сложилось тогда впечатление, что он иногда слушал. Нет, он точно слушал, как я теперь понимаю. Я только не могла сказать, в какой степени он заинтересован. Или, быть может, сам обращался к этим руководствам. Аутисты, обладающие нормальным или превосходящим норму интеллектом, подчас глубоко погружаются в интересующую их тему. – «Должно быть, он видел в генетике совершенное средство разложения всего жизненного хаоса и шума на исходные элементы, – подумала она. – Просто, аккуратно, доходчиво. Аденин, цитозин, гуанин, тимин – и ничего другого не надо».

Оба умолкли. «Быть может, Дэнни также задумался о чем-то своем», – подумала София.

– Миссис Куинн, – проговорил он по прошествии какого-то времени, и слепая улыбнулась. Как странно слышать такое обращение здесь, на чужой планете, после стольких лет… – У вас были какие-то подозрения в отношении Исаака? Случалось ли что-то такое, что могло намекнуть на то, что он может оказаться…

Никто не мог произнести это слово. Слишком уж страшное.

– Нет, – проговорила она. – Нет, пока я не услышала музыку. Я представить себе не могла. Однако с самого начала знала, что Хэ'энала представляет собой нечто особенное. Однажды, рассказывая ей о войне, я обратилась к истории Исхода. Я намеревалась рассказать ей об освобождении порабощенных евреев, чтобы она могла понять, за что сражаются руна, однако она никак не могла пройти дальше видеофильмов о Египте с его сотнями богов. И через несколько дней Хэ'энала сказала мне: египтяне могли видеть своих богов. Если ты хотела поговорить с богом реки, тебе нужно было получше одеться, приготовиться и

отправиться к нему навстречу. Он замечал тебя только в самом наилучшем виде. Бога Израилева нельзя увидеть, но он видит нас – когда мы к тому готовы или не готовы, когда находимся в лучшем или в худшем виде или когда не обращаем внимания. От такого Бога нельзя скрыть ничего. И поэтому люди боятся Его.

– Глубокое проникновение, – отметил Дэнни Железный Конь.

– Да. Она была необычайным ребенком… – София умолкла, пораженная внезапной мыслью: что, если Хэ'энала вовсе не была необычайной? А если она просто была такой, какой могли стать другие особи ее вида, однако других София не знала.

Кроме Супаари. «А теперь… сколько погибших, – думала она, сжимая свои пораженные артритом кулачки, лежавшие на коленях. – Сколько погибших…»

Тут заговорил другой священник, Шон Фейн:

– И что вы рассказывали ей о Боге Израиля?

«И давно он тут слушает? – подумала с неудовольствием София. – Джон Кандотти всегда говорит мне о том, что пришел. Ну почему эти люди молчат? – И поправила себя: – Может, Шон и сказал, но я все забыла».

– Я так ей сказала: «Вот почему мой народ боится Бога, но и любит Его по той же самой причине: потому что Он видит все, что мы делаем, знает, каковы мы на самом деле, но все-таки любит нас».

И, как часто случалось с нею в те дни, погрузилась мыслью в прошлое – к людям, давно ушедшим и все же более реальным для нее, чем эти, новые. «*Даже если это всего лишь поэтический вымысел, его поэзией стоит жить, София, – и умереть за нее*» – так когда-то сказал ей Д. У. Ярброу… когда ж это было? Пятьдесят лет назад? Или шестьдесят? Такая уж она теперь старая… старая. София не знала, существует ли жизнь в посмертии, но теперь начала надеяться на это, не потому что боялась забвения, но потому что ей хотелось знать, правильно ли она поступала.

Потом она заговорила снова – может быть, через минуту, может быть, через час или через день:

– Однажды я рассказала Хэ'энале о городах, Содоме и Гоморре, – и принялась ждать какого-то отклика.

– Я здесь, София, – услышала она голос Джона.

– Я рассказала ей о том, как Авраам торговался с Богом за души десяти праведников, которые могли жить в этом городе. Она сказала мне на это: Авраам должен был унести всех младенцев из этого города. Младенцы невинны. – София повернулась на голос Джона. – Разве я поступала неправильно, рассказывая ей библейские истории… не думаю, чтобы я ошибалась.

– Вы поступили именно так, как и следовало поступить, – проговорил Джон Кандотти. – Я в этом не сомневаюсь.

И она уснула. Веры Джона было достаточно.

Глава 25
Джордано Бруно

2065 год по земному летоисчислению

– Что? Что случилось? – спросил Сандос, закрывая рукой глаза от внезапного света.

– Ты опять кричал, – сообщил ему Джон.

Эмилио сел на койке, озадаченный, но не обескураженный. Прищурясь, посмотрел на полураздетого Джона, так и оставшегося в дверях каюты.

– Прости, – не вдаваясь в подробности, проговорил Эмилио. – Не хотел тебя будить.

– Эмилио, так дальше не пойдет, – напряженным голосом сказал Джон. – Тебе нужно заставить Карло снять тебя с этого наркотика.

– Не вижу причины, Джон. Он снимает боль с рук, и, поскольку я и так накачан им по уши, просто здорово не замечать ничего вокруг.

Джон уставился на него с открытым ртом.

– Ты орешь как резаный почти каждую ночь!

– Ну да, кошмары мучают меня уже не один год. Но теперь я, по крайней мере, не помню их, когда просыпаюсь.

Прислонившись спиной к переборке, он посмотрел на Джона с доводившим того до бешенства толерантным весельем.

– Если тебя раздражает шум, могу перебраться обратно в лазарет – он хотя бы звукоизолирован.

– Христе Боже, Эмилио, я волнуюсь не за собственный сон! – воскликнул Джон. – Я насквозь изучил этот твой квелл, понял? Ты залезаешь в долги, парень. Пока что ты, может, ничего не чувствуешь, однако счет тебе уже выписали! Посмотри на то, как ты дышишь! Обрати внимание! Сердце твое слишком торопится, чувствуешь это?

Сандос нахмурился, кивнул, но пожал плечами.

– Квелл рекомендуется принимать не больше двух дней кряду. А ты сидишь на нем уже почти два месяца! Тебе пора наконец возвратиться к реальности, и чем раньше, тем лучше…

– Боже, Джон, расслабься, хорошо? Может быть, тебе самому следует попробовать это зелье…

Джон посмотрел на него с открытым ртом.

– Ты явно свихнулся, – проговорил он ровным тоном и с этими словами выключил свет и вышел, не забыв аккуратно прикрыть за собой дверь каюты.

Эмилио Сандос посидел еще какое-то время, прислонясь к переборке, опустив искалеченные, обмякшие и лишенные нервов руки на колени. Он попытался припомнить кошмар, пробудивший Джона, однако в итоге удовлетворился тем, что оставил его потерявшимся в недрах своей памяти.

В конечном счете ночную амнезию следует считать лучшей чертой жизни наркомана поневоле, решил он.

Он всегда внимательно относился к своим снам. Еще в начале обучения он завел привычку обдумывать последний приснившийся ему сон, пытаясь подметить в нем скрытые тревоги и заботы, еще не проявившиеся в повседневной жизни. Однако в последние годы его жизни сны редко требовали какой-либо интерпретации. Еженощные кошмары его, жуткие в своей неприукрашенной подлинности, являлись простым воспроизведением событий, приключившихся с ним в последний год пребывания его на Ракхате. Даже сейчас, одурманенный и умиротворенный, он мог видеть все это: бойню, поэтов. Не погружаясь в сон, он слышал звуки побоища и насилия. Ощущал вкус мяса младенцев. Чувствовал железную хватку на ногах, жаркое дыхание на затылке. Видел со стороны, как выкрикивает он имя Господне, и не слышал в ответ ничего, кроме собственных рыданий и удовлетворенного стона насильника…

Ночь за ночью он пробуждался от граничившей с тошнотой дурноты. Крики стали новостью. «Или же изменились сами кошмары? – спрашивал он себя и отвечал себе же: – Какая разница? Орать лучше, чем блевать».

Джон, наверное, был прав – когда-нибудь ему придется возвратиться в реальность, решил он. Однако реальность в последнее время особой привлекательностью не обладала, и Эмилио был вполне готов обменять весть, которую несли ему новые сны, на даруемый квеллом искусственный покой.

Химический дзен, решил он, заползая обратно под одеяла, погружаясь в дарованное наркотиком спокойствие. Копы, наверное, раздают этот хлам на перекрестках, словно конфеты.

И прежде чем заснуть, праздным образом поинтересовался: Боже, какое же сновидение может заставить меня закричать? Но, подобно Пию IX после похищения маленького Мортары[57] *ipse vero dormiebat,* отлично заснул после этого.

В отличие от всех остальных.

Отставив Сандоса, Джон Кандотти отправился прямо в собственную каюту и тут же набрал коды интеркома, вызывавшие всех, кроме Эмилио.

– Кают-компания. Через пять минут, – произнес он голосом,

не оставлявшим малейших сомнений в том, что он собственными руками выволочет всех и каждого из-под одеяла, если они не придут по собственной воле.

Некоторые умеренно протестовали, но никто не стал изображать, будто не проснулся от диких воплей, так что помаленьку в кают-компанию подтянулись все. Джон безмолвно ожидал, скрестив руки на груди, пока не появился Карло, как всегда свежий и прекрасно одетый, сопровождаемый Нико.

– Итак, – произнес Джон в меру напряженным и любезным голосом, по очереди посмотрев на всех собравшихся, – у всех вас есть собственные резоны. Но всем нам будет не по вкусу, если он окончательно свихнется, а к этому и идет все дело!

Шон кивнул, обеими руками растирая преждевременно обвисшие щеки.

– Кандотти прав. Не хрен все время напрягать его биохимию, – обратился он к Карло. – Будет только хуже.

– Вынужден согласиться, – произнес Жосеба, запуская пальцы в лохматую шапку волос и изучая реакцию Железного Коня. После чего, потянувшись и зевнув, добавил: – Какими бы ни были мотивы, заставлявшие держать его на наркотике в начале полета, настало время разобраться с последствиями.

– Полагаю, что он уже справился с собственным негодованием, – проговорил Карло, пожимая плечами с деланым безразличием, поскольку ему самому в последнее время снилось только, как он падает в открывшуюся вдруг под ногами черную и не имеющую дна яму. Кошмары Сандоса трудно было не заметить. – Ваше слово, Железный Конь, – проговорил он, желая, чтобы удар принял на себя Дэнни.

– Дело не только в квелле, – предупредил Джон, яростно глядя на Дэнни. – Дело в том, что жизнь его погублена… снова. Над ним надругались – еще раз, причем люди, которых он мог бы уважать. Отвечать придется за многое.

– Спрячем ножи, – приветливым тоном предложил Франс Вандерхельст, блистая в неярком ночном освещении бледным брюхом, подобно полной луне, – хотя бы для того, чтобы ненароком не угодить в спину Шефу.

Покачав головой, Нико твердо сказал:

– Никаких драк на «*Бруно*» не будет, – и расцвел, когда дон Карло кивнул в знак одобрения.

– Я поговорю с ним, ладно, Дэнни? – спросил Шон Фейн. Железный Конь кивнул и вышел из кают-компании, не сказав ни единого слова.

– Для вас химия знаменует собой священный порядок и

обладает святой красотой, – сказал Шону Винченцо Джулиани в тот день, когда прикомандировал его к миссии, готовящейся к отправлению на Ракхат. – А люди обыкновенно клали с прибором на подобные предметы… не так ли, отец Фейн?

Не было никакого смысла пытаться опровергнуть подобную посылку.

Шону Фейну было всего девять лет, когда он получил первый, навсегда впечатавшийся в его память урок человеческого безрассудства. Движение, сделавшее его сиротой, зародилось на Филиппинах в 2024 году, в котором он появился на свет, однако к тому времени, когда оно расцвело пышным цветом в 2033-м, Шон уже достаточно повзрослел для того, чтобы оказаться замешанным в его дела. Казалось, что Белфаст наконец-то не впадет хотя бы в это безумие; сконцентрировавший свое полное яда внимание на микроскопических различиях между собственными гражданами протестантского и католического вероисповеданий, город как бы не замечал редких евреев, иногда там и сям пробиравшихся по кирпичным лабиринтам. Бытовали великие ожидания Второго Пришествия Христа, коим должно было закончиться второе тысячелетие после Его Распятия. И когда оказалось, что Иисус не собирается следовать намеченному миллениаристами расписанию, пошел слушок, что виноваты в этом евреи, не верующие в него.

– Не беспокойся, – сказал ему отец в ночь перед взрывом его бомбы. – К нам это не имеет никакого отношения.

В Белфасте никого не удивишь утратой, но Маура Фейн приняла свое вдовство с философским спокойствием. Шон однажды спросил ее о том, почему она не приняла иудаизм, выходя замуж.

– Великая притягательная сила Христа заключается в том, Шон, что Бог готов идти вместе с невежественными созданиями, от которых Он не собирается отрекаться, – сказала ему мать. – В этом есть своего рода величественное безумие – великолепный и вечный жест спасения от неумирающего, тупоголового людского безумия! Мне нравится эта божественная черта.

Шон не унаследовал от матери ее духовную бодрость, но тем не менее разделял ее ворчливое одобрение божественного безрассудства. Не обращая внимания на личные последствия, он следовал за знаменем Господа Иисуса и принимал, что теперь оно вело его на другую планету, на которой красоту творения портили уже не одна, а две разумные расы.

«Ты наделил нас свободной волей, – думал он, созерцая Распятие, – и смотри, куда она ведет Тебя! Или Тебе физика надоела, а? Или растения слишком предсказуемы? Или в том, что

крупная рыба ест мелюзгу, не ощущается подлинной драмы, а? Вообще о чем Ты думал на Земле! Или на Ракхате, если на то пошло…»

Шон родился в мире, допускавшем существование других видов разумных существ. Ему было четырнадцать лет, когда с Ракхата начали приходить отчеты первой миссии; и семнадцать, когда они загадочным образом прекратились. Двадцать два, когда он услышал о скандале и трагедии, связанных с именем Эмилио Сандоса. Он ничему не удивлялся, просто пожимал плечами. Насколько это касалось его, Шона Фейна, люди и род их находятся на попечении Бога, и Всемогущий среди них желанный гость.

Шон Фейн, священник и химик, редко находил причину одобрить результаты сомнительного решения, принятого Богом, наделившим разумом свои создания, обитающие на обеих планетах, однако он не мог не восхититься механизмом, вращающим карусель жизни. «Железо и марганец, вымытые дождями из камня, замешенные вместе с кальцием и магнием в древних молочных морях. Шустрые мелкие молекулы – азота, кислорода, воды, аргона, двуокиси углерода, – пляшущие в атмосфере, вращающиеся, соприкасающиеся, отскакивающие друг от друга… слабая гравитация, собирающая из них тонкую дымку вокруг всей планеты, – писал псалмопевец химии Билл Грин[58], – словно какой-то невидимый пастух, собирающий воедино свое незримое стадо… Цианобактерии – умные малышки, научившиеся разрывать двойные связи в молекуле двуокиси углерода; использующие углерод и некоторые другие океанические куски и осколки для создания пептидов, полипептидов, полисахаридов, освобождающие кислород в качестве отхода».

Тезис Бытия для Шона звучал буквально: «Да будет солнечный свет, чтобы запитать энергией всю систему, и биосфера оживет». Грин называл эту химию Господней, с ее плавающими, плящущими, вступающими в любые связи ионами, ее путаным, пышным подлеском из растительных лигнинов и целлюлозы, бактериальными матами, и порфиринами, и геликоидами протеинов, скручивающимися и раскручивающимися.

«Ступите сами в море материи, – советовал французский иезуит Тейяр де Шарден, – окунитесь в его огненные воды, ибо в нем источник вашей жизни».

Шон Фейн мог представить себе подобное великолепие, такой образ Божественного Разума он мог почитать всем умом и сердцем.

– Люди, о которых вы скорбите более прочих, всего лишь дурни, надеющиеся на справедливость и разум, причем не только в грядущем мире, – сказал ему отец-генерал. – Однако Бог встроил в нас способность ценить милосердие и правый суд, и природа человеческая хочет обрести их здесь и сейчас. Быть может, это глупо с нашей стороны, но тем не менее мы надеемся. Этот полет кое-чему вас научит, Шон. Сочувствию к дуракам? Или, быть может, даже уважению? Выучите этот урок, Шон, и объясните другим.

– Эта Ингви, она главная богиня, так? – спросил Шон у Сандоса, пока остальные убирали в кают-компании после мирного завтрака.

Зажужжав сервомоторами ортеза, Эмилио поставил свою кофейную чашку на стол. Один из электроупругих активаторов отказал после катастрофы, однако Сандос научился обходиться без него.

– Не думаю. Мне скорее казалось, что она представляет собой персонификацию предвидения или пророчества, смотря по контексту. Супаари верующим не был, однако частенько поминал ее. – Интересно было следить за тем, как овладевал им наркотик. Он ощущал себя подобием творения ИИ, способным по запросу делиться информацией, а иногда даже решать задачи. Однако, с другой стороны, как будто бы утратил способность узнавать что-то новое, то есть желание учиться, рассудил он.

– Есть и другие, – сообщил он Шону. – Мудрость, или, возможно, Хитрость, также воспринимается в женском обличье. Точно перевести я не сумел. Однажды он помянул богиню Хаоса. Она числилась среди разных Бед.

– Женские божества, – нахмурился Шон. – Правда, странно? В обществе, в котором доминируют самцы?

– Возможно, нынешняя культура основана на более древней системе верований. Религии обыкновенно консервативны.

– Верно. Верно, с нашей точки зрения. – Шон отвернулся в сторону, помолчал. И спросил: – А вас никогда не удивляло, что ортодоксальные евреи считают родство по женской линии? Правда, странно? Весь Ветхий Завет полон этих «*родил*». Двенадцать племен от двенадцати сыновей Иакова. Но у Иакова была и дочь. Помните? Дина. Которую изнасиловали. – Сандос никак не отреагировал на это слово. – И тем не менее нет никакого колена Динина. Происхождение по отцу просматривается по всей Торе! Религия консервативна, как вы сами сказали. Так почему же? Когда было постановлено, что евреем является сын еврейки?

– Я всегда от души ненавидел сократический метод, – начал Сандос без особого пыла, но тем не менее послушно проговорил: – Во время погромов, чтобы легитимизировать зачатых казаками детей.

– Да, чтобы никого из детей не клеймили, называя полуевреями или вообще отказывая в еврействе. И раввинам удобно, я бы сказал. – Все детство Шону досаждали вопросом «А ты-то сам кто?». И, что бы он ни отвечал, хохотали.

– Итак. Чтобы легитимизировать рожденных от насилия детей в пору, когда насиловали всех направо и налево, раввины отказались от двух с половиной тысячелетней традиции. Поделили девиц на плохих и хороших. На девственниц и шлюх. Вне зависимости от возраста. На верующих, безразличных и отступниц. И готово. – Он не отводил от Сандоса ровный взгляд своих голубых глаз. – И ни одна из них не получила извинения не только от Бога, но и от того сукина сына, который ее натянул.

Сандос даже не моргнул:

– Намек понял. Я – не первый и не единственный, с кем обошлись подобным образом.

– И что? – потребовал ответа Шон. – Это знание вам помогает?

– Ни на йоту, – ответил Сандос собственным голосом Шона. Но вроде бы раздраженным. Возможно, что мимикрируя.

– И не должно помогать, – отрезал Шон. – Страдание может быть банальным и предсказуемым, но от этого оно не делается менее болезненным. Достойно презрения утешать себя тем, что другие тоже перестрадали подобным образом. – Теперь он внимательно следил за Сандосом. – Мне говорили, что вы вините Бога в том, что произошло с вами на Ракхате. Почему вы не вините Сатану? Или вы не верите в существование дьявола, Сандос?

– При чем здесь дьявол? – непринужденно ответил Сандос. – Сатана губит людей тем, что искушает их, заставляя принять более легкую или приятную дорогу.

С кружкой и тарелкой в руках он уже направлялся на кухню.

– Слова, достойные доброго иезуита! – воскликнул ему в спину Шон. – И в том, что случилось с вами, не было ничего легкого и приятного.

Сандос возвратился уже с пустыми руками.

– Нет. Ничего, – произнес он голосом мягким, но с глазами жесткими. – «Как рыбы попадаются в пагубную сеть и как птицы запутываются в силках, так и сыны человеческие уловляются… это я видел под солнцем, и это показалось мне великим злом».

– Екклезиаст. *Omnia vanítmas.* Все суета и погоня за ветром,

злой процветает, а праведный в нищете, и это все, что вы узнали за четверть века, проведенную в Обществе Иисуса?

– Отвалите, Шон, – проговорил Сандос, шагнув к двери, за которой начинались каюты.

Тот внезапно вскочил с кресла и преградил Эмилио путь из комнаты.

– А бежать некуда, Сандос. И спрятаться негде, – проговорил Шон, не дрогнув под убийственным взором, которым был награжден за свои труды.

– Вы были священником не одно десятилетие, – спокойно, но настойчиво проговорил Шон, – и хорошим священником, кстати. Подумайте как священник, Сандос. Подумайте как иезуит! Скажите, что прибавил Иисус к канону? Если евреи чего-то заслуживали, так это лучшего ответа на страдания, чем то дерьмо, в котором выкупали Иова. Если боль, несправедливость, незаслуженная нищета предоставляются в одном флаконе и Бог знает это, тогда жизнь Христа есть собственный ответ Бога Екклезиасту! Искупи свое страдание. Прими его. Сделай его имеющим *смысл*.

Другой реакции, кроме каменного взора, не было, но было заметно, что Эмилио дрожит.

– Вижу, вы уже чувствуете это. Карло отключил подачу аэрозоля вашего препарата к вам в каюту, пока вы спали, – проинформировал его Шон. – И теперь для вас нет иного пути пережить ближайшие сорок восемь часов, кроме того как реально прожить их. Вы видели, как тысячами убивают младенцев, словно ягнят. Вы видели окровавленные трупы всех любимых вами людей. Вас месяцами насиловала банда поэтов, и когда вас спасли, все решили, что вы торговали собой. Так что вот: мертвые мертвы. Разнасиловать вас в обратную сторону никто не сумеет. И вам не суждено дожить до конца свою жизнь в обществе ласковой Джины и ее милой дочурки. И вы знаете это.

Сандос зажмурил глаза, но голос Шона не умолкал, подчеркивая жесткое «*р*» со всей плоской и невыразительной поэтикой белфастского акцента.

– Или вы предпочитаете жизнь бедных и мелочных душонок, которая, прямо как разбавленное водой молоко, такая приятная, вежливая и обходительная, – и даже смерть к ним приходит тихо во сне в преклонном возрасте. Но это вода с молоком, Сандос. Они живут половиной себя и никогда не познают ту силу, которой могли бы обладать. Покажите Богу, из чего вы сделаны. Соберитесь с духом, поцелуйте свой крест. Примите его. Так, чтобы все это обрело смысл. Несите его.

Только в этот момент Шон заметил, что Дэниэл Железный

Конь молча стоит за переборкой у самого входа в кают-компанию. Теперь Дэнни шагнул вперед и остановился, уже не скрываясь. На какой-то момент Шон нахмурился, не зная намерений Дэнни, но тут же все понял.

– Вы можете несколько облегчить себе следующие два дня, Сандос. Вы можете позволить этому человеку стать свидетелем вашей муки. Вы разрешите это?

Сандос не посмотрел на них обоих и промолчал. Но он не сказал нет, и потому Шон ушел, а Дэнни остался.

Поначалу Сандос казался несколько заторможенным, но ломка началась уже скоро. Внутреннее напряжение не давало ему покоя, ходьба могла помочь ему как-то улучшить свое состояние, и Дэнни последовал за ним в ледяное безмолвие ангара посадочных катеров, имевшего длину почти в тридцать метров, предоставлявшего ему место для ходьбы и нужное уединение.

Сначала Сандос молчал, но Дэнни понимал, что туча гнева уже на подходе, и пытался приготовиться к буре. Он полагал, что Сандос не сможет сказать ему ничего такого, что Дэнни не говорил себе сам, но оказалось, что ошибался. Когда Сандос наконец заговорил, брутальная насмешка скоро переросла в чистейшую моральную ярость, форму которой придавали десятилетия, отданные иезуитской учености. В то первое утро Дэниэл Железный Конь обнаружил, что слезы холодом прикасаются к коже, разгоряченной позором.

Затем молчание установилось снова.

Дэнни в тот первый день отлучился от него всего дважды, сбегав в гальюн. Сандос все ходил и ходил и вскоре стащил с себя насквозь пропотевшую рубашку – в ледяной-то атмосфере ангара. Чуть погодя он снял с рук и ортезы, после чего сел как можно дальше от Дэнни, возле внешней двери отсека, спиной к покрытой пластиком каменной стенке, уронив голову на колени, обхваченные руками… только почти мертвые пальцы дергались иногда.

Вопреки собственному желанию и намерениям Дэнни уснул по прошествии нескольких часов. И, проснувшись, он увидел, что Сандос стоит у двери отсека, вглядываясь во внешнюю пустоту за смотровым окошком. Дэнни снова заснул, но уже ночью услышал следующие слова: *«Aqui estoy»*. К какому языку они принадлежали, он с ходу сказать не мог, но сами слова запомнил и уже потом спросил остальных священников, что они значат. Жосеба и Джон опознали испанское «Я здесь». Но Шон поправил: так говорил Авраам, когда Бог позвал его по имени – «Вот я, Господи».

Однако Сандос проговорил их с покорностью побежденного, и

Дэнни подумал, что, возможно, они означают признание Эмилио в том, что он застрял на «*Бруно»,* откуда нет другого пути, как только вперед.

А может, они выражали смирение Ионы, понявшего, что Бог найдет его и использует, где бы он ни находился – даже в чреве китовом.

Утром Дэнни пробудила не заря, но шум и шевеление, доносившиеся сквозь дверь ангара. Он сел, а потом встал, ощущая себя одеревеневшим и жалким. Сандос не шевельнулся. Дэнни снова отлучился на несколько минут, но вернулся, не позавтракав, так как решил не есть и не пить наравне с Сандосом. Влачились мимо часы второго полного дня, и Сандос оставался неподвижным и безмолвным, глаза его глядели в незримую для всех остальных даль. Визуальный квест, подумал Дэнни, когда душа открывается для того, что может явить ей Великая Тайна, чьи мысли – не мысли человека… Чьи пути – не людские пути…

Он не хотел спать. Дэнни вознамерился стать свидетелем всего процесса, от его начала до конца, так что на третье утро он проснулся рывком, обнаружив перед собой обсидиановые глаза Эмилио Сандоса, сидевшего скрестив ноги на палубе спускаемого аппарата, ожидая, пока проснется Железный Конь.

– Это было трудно, – помолчав, проговорил Сандос голосом глухим и тихим в гулком пространстве отсека.

Дэнни не был уверен в том, что именно хотел сказать Сандос, но в последнее время ничего легко никому не давалось, и он потому кивнул.

– Когда ты смотришь в бездну, – сообщил Сандос, – она смотрит на тебя.

– Ницше, – почти неслышно произнес Дэнни, назвав автора цитаты.

– Есть два пункта. – Восковой и выдохшийся Сандос медленно поднялся на ноги и какое-то время постоял в раздумье. – Полагаю, что Бог использует нас всех, – проговорил он, направляясь к люку, и постучал в него локтем.

Писк выравнивающегося давления и щелчки запорных механизмов загуляли по отсеку между каменных его стен. Когда дверь открылась, Дэнни обнаружил, что Джон Кандотти также стоял на страже все эти три дня. Однако у двери теперь собрался весь экипаж.

– Он сделал все, что должен был сделать, – проговорил Сандос и, не сказав больше ничего, шагнул в люк.

Впервые с того дня, когда умерла его мать, а Дэнни тогда было всего шестнадцать лет, Дэниэл Железный Конь сломался и зарыдал. Остальные стояли и слушали… Наконец Джон Кандотти

сказал:

– Оставьте его в покое, – и небольшая толпа рассеялась.

Выждав благопристойный интервал, Джон нырнул в отсек. Оглядевшись по сторонам, он заметил брошенную Сандосом рубашку и протянул ее Дэнни для того, чтобы тот высморкался. Дэнни рубашку взял, но, поднеся ее к лицу, скривился.

– Тот еще запашок, – согласился Джон. – И если это аромат святости, да поможет всем нам Бог.

Дэнни выдавил смешок и, задрав собственную рубашку, утер нос внутренней стороной воротника.

– Моя мама терпеть не могла, когда я так поступал, – проговорил Джон, плавно опускаясь по стене рядом с Дэнни, пока перед ними не оказались собственные костлявые ноги.

Дэнни утер глаза и прокашлялся.

– Моя тоже, – произнес он почти беззвучно.

Оба они какое-то время смотрели на дальний конец отсека.

– Черт, – наконец промолвил Джон, – если с Эмилио все в порядке, значит, все в порядке и со мной. *Pax?*

Дэнни кивнул:

– Не думаю, что он в полном порядке, но все равно спасибо.

Джон поднялся на ноги и протянул ему руку, чтобы помочь встать. Вымотанный напрочь Дэнни с благодарностью пожал ее, но сказал:

– Думаю, что мне лучше пока посидеть здесь, шеф… Чтобы прийти в себя.

– Конечно, – ответил Джон и оставил Дэнни в одиночестве.

Глава 26
Великий Южный лес

2061 год по земному летоисчислению

Созрел две ночи назад… – река Пон, но кто-то думает… – нет больше потребности в… – строгая кампания недостаточно снабжена и если… – (Ууннхх.) – этот голоден! У кого… – поля *ракар* находятся к северу… – *Сипаж,* Панар! Этот слышал… – слишком рано. Оно созревает… – сфокусируйся вместо на консолидации… – (Ууууннхх.) … – собиратели *нитарл* в порту Кран… – *Сипаж,* Джалао, ты, конечно, голод… – Мы нашли больше у рек… – …паари скоро будет там… (Ууууууууууннхх.) – прядильщицы не могут использовать такой… – …о если мы пойдем за *ракари* – кто-то ту связку *рее*… – …нала, заставь Исаака прекратить… – Почеши здесь. Нет, Ниже! Йе (Уууууууууууууннхх…)

– *Сипаж,* Исаак! Прекрати! – крикнула Хэ'энала.

Исаак осел на землю, довольный, хотя голова его кружилась. Вращение могло превратить непостижимое в однородное пятно, и, издавая собственный звук, он мог иногда заглушить шум, но лучше всего удавалось, когда один голос прорезал остальные и успокаивал всех.

– *Сипаж,* Исаак, – неспешно произнесла Хэ'энала, стараясь говорить негромко. – Пойдем в укрытие. – Выждав правильное количество времени, она добавила: – Будем слушать музыку.

Хэ'энала знала, что такое ясность.

Исаак встал, прижимая компьютерный планшет к обнаженной костлявой груди, ощущая кожей его прохладное, плоское, не имеющее изъяна совершенство. А вокруг него: непостоянство, непредсказуемость, иррациональность. Он не мог доверять даже собственному телу. Ступни удалялись, руки все дальше обнимали тело. Волосы вырастали – там, где их раньше не было. Камни, гладкие и безупречные, в другое мгновение мог прикрыть лист… или их мог опорочить собой случайный жук. Уши, глаза, рты и конечности двигались непрестанно.

Тела сидели и спали в разных местах. Как могли они ожидать, что он поймет все, что они говорят, если он до сих пор не понял, кто они такие? Растения вырастали из земли, меняли размер и исчезали. Бутоны, цветы, все увядшее… появлялись и исчезали. Он мог сидеть и наблюдать часами… днями! Но все равно не видел, как это происходит. Он засыпал, а когда просыпался утром, старое исчезало, появлялось новое, и иногда

оно действовало так, как прежде, а иногда нет. Никакой ясности.

В компьютере жил мир, остававшийся в точности неизменным каждое утро, если не считать ежедневных вестей от матери – он знал теперь, что она вносила небольшие изменения в этот мир, поскольку показала ему, как это делается. Он жаловался, так что она начала помещать все изменения в отдельный файл, и это было правильно, потому что не меняло ничего в других директориях; изменения вносил только сам Исаак. Компьютер лучше вращения…

– *Сипаж,* Исаак. Пойдем со мной, – сказала Хэ'энала, четко произнося каждое слово. И подняла его ткань – голубой шелковый квадрат, укрывавший его от головы до живота. Молитвенное покрывало – так называла его с иронией и разочарованием София. – Будем слушать музыку, – повторила Хэ'энала, потянув его за лодыжку ногой.

Исаак отдернулся и пробормотал:

– Теперь этому придется начать с начала. – Хэ'энала подняла подбородок в знак согласия и села ждать. Исаак терпеть не мог, когда мысль его прерывали, и вынужден был начать ее теперь с самого начала. Если его прерывали, когда он говорил, он снова повторял все, слово за словом, пока не высказывал свою мысль до конца. И потому, наверное, говорил так мало, думала она. Находясь в обществе руна, он просто не получал возможности изложить свою мысль, даже просто что-то сказать удовлетворяющим его образом. Эти люди даже на пороге *фиерно* не могли помолчать столько, сколько было ему необходимо.

Закончив с мыслью, Исаак встал прямее: давая этим знать, что готов идти. Хэ'энала перекатилась на ноги и направилась к краю прогалины, на которой располагалась деревня. Исаак следовал за ней по касательной, подняв и наклонив немыслимым образом свою голову и полагаясь на периферийное зрение, так чтобы не видеть, как движутся ее ноги.

Люди опять говорили. …адио контроль над… плати, Хатна! Не делай… более двухсот *бахли*!.. новые ветровые ширмы для… хорошо сочетается с *к'та*… гроза приближается…

Разговор отступил, чтобы смениться беспорядочным шумом леса: кваканьем, жужжаньем, капелью. Арпеджио визга и писка, пыхтения, шелеста. Почти так же плохо, как в деревне. Впрочем, в лесу не было слышно этой загадочной смеси слов и интонации, никаких полуосознанных смыслов, затуманенных следующими словами.

Импасто[59], думал Исаак. Нечто худшее красного цвета. Деревня – импасто словесное. Лес – импасто звуковое. Нет нигде ясности!

Слово это – импасто – он обнаружил в одном из файлов Марка Робишо. Заглянув в словарь, он увидел ничем не прикрытую пятерню, накладывающую мазки густой краски друг на друга, так чтобы они почти полностью скрывали предыдущие под собой. Уже долгое время *ясность* была любимым его словом, но и новое – импасто – очень понравилось ему. Он оценил точность смысла – то, как аккуратно оно удовлетворяло его желание дать ярлык восприятию. Когда он получал возможность сосредоточиться на одном слове, ему мог открыться смысл предметов, слово становилось для него подобием громкой ноты, возвысившейся над хором, принося ему радость. Однако в деревне ясности не существовало, и было трудно удалиться в предмете размышлений на достаточное расстояние от нее…

Хэ'энала остановилась и села рядом с его прямоугольным укрытием. Исаак тоже остановился и передумал свою мысль относительно импасто от самого начала до конца. А затем, не глядя в глаза, передал Хэ'энале свой планшет и сказал:

– Будь осторожна с ним.

Эти слова он говорил ей каждый раз, потому что и София снова и снова повторяла их после того, как впервые доверила ему компьютер. Поначалу он даже думал, что Будьосторожнасним – это имя этой машины. Как он в конечном счете узнал, на всем свете имелось крайне мало таких планшетов, и хотя люди уже научились изготовлять машины, которые легкомысленно именовали словом «компьютер», хотя таковые явным образом отличались от его планшета, и даже в руки взять их было невозможно; так что он оставался драгоценным не только для Исаака. Дождавшись ответа Хэ'эналы, сказавшей: «Эта будет осторожна», он улыбнулся и обратил свое лицо к солнцам. Она говорила так каждый раз. Хэ'энала знала, что такое ясность.

– Правило таково: никаких руна, – громко проговорил он.

– Кроме Имантата, – послушно повторила Хэ'энала. Имя Имантат носил относительно немногословный рунао, следивший за состоянием дождевой крыши убежища. Хэ'энала постаралась держаться в сторонке, так чтобы Исаак ее не видел, а сам он занялся уборкой, удаляя весь сор, нанесенный ветром, упавший с деревьев или выросший с той поры, когда он в последний раз посещал свою маленькую крепость. На уборку потребовалось какое-то время. Когда она была должным образом завершена, когда кривое было выпрямлено, а мусор убран, он протянул руку, и в ней без лишних слов оказался планшет.

Теперь он стал весить меньше. Прежде, чтобы удержать его, худенькому шестилетке требовались все его силы. Теперь Исаак легко управлялся с ним одной рукой. Эта потеря веса лукавым

образом напоминала о том, что Исаак не проглядел причину; он всегда тщательно осматривал планшет, фиксируя всякую перемену. Удовлетворенный, он опустил компьютер на плоский камень, принесенный им из реки, чтобы не пачкать планшет. Дождь опасности не представлял, однако мать велела ему всегда содержать планшет в чистоте.

Особой палочкой, сохраняемой ради этой цели, он измерил расстояние от каждой стороны планшета до стен укрытия, так чтобы он располагался в самом геометрическом центре, после чего снова протянул руку, и в ней появилась синяя ткань. Накинув платок на голову, он сел у западной стены своей хижины и прикрыл платком также и планшет. Забыв о косых лучах трехцветного света, просачивавшихся сквозь шевелящийся под ветерком плетеный полог, он начал расслабляться. А затем: прикосновение большого пальца к утопленной кнопке, мягкий щелчок механизма, чарующая дуга от острого до тупого угла, открывающая перед ним клавиатуру. Одновременное включение питания, прояснение экрана, знакомые плотные ряды клавиш.

– *Сипаж,* Исаак, – проговорила Хэ'энала. – Что будем слушать?

Она знала, сколько нужно выждать, чтобы задать этот вопрос, она всегда спрашивала его именно так, как надо, и он всегда выбирал один и тот же отрывок: голос Супаари, вступающего в вечерний кант. Его Исаак всегда выслушивал молча. А затем тот же кант, но в гармонии.

Затем уже в его собственной гармонии и с Хэ'энало́й, дублирующей партию Супаари. Та же схема повторялась и со Ш'ма, в исполнении Софии, и третий раз с Хэ'энало́й, дублирующей Софию.

После этого он мог двигаться дальше, выбирая из огромного собрания «*Магеллана*» песни, симфонии, кантаты и канты; квартеты и трио, концерты и рондо; гаэльские жиги и венские вальсы; пышные четырехчастные гармонии а капелла бруклинского ду-вопа[60] и визгливые диссонансы китайской оперы; модальные и ритмические переходы арабских *такасим*[61]. Музыка входила в сердце Исаака непосредственно и без малейших усилий. Она скользила в его душу, как листок, опускающийся на спокойные чистые воды, прежде чем неспешно исчезнуть под их сверкающей поверхностью. Отринув шум и смятение деревни и леса, разум Исаака обретал порядок и точность клавиатуры. Он мог снова заняться изучением огромной онлайн-библиотеки «*Магеллана*», упорно, без всяких эмоций концентрируясь на любой из тем, присутствующих в каталоге корабля по предмету, вызвавшему его интерес.

– Ясность, – вздохнул он и приступил к изучению.

Вся деревня вздохнула с облегчением, увидев, что Хэ'энала повела Исаака куда-то, когда он сделался беспокойным; они превозносили ее за проявленную к нему доброту, за то, что приглядывает за ним.

– Хэ'энала – хороший отец, – посмеивались про себя люди. Благодарна была даже София. Однако сопровождать Исаака в его убежище не было жертвой с ее стороны, ибо если брат ее искал ясности, Хэ'энала тоской исходила по уединению. Что, впрочем, одно и то же, полагала она.

Год за годом Исаак по большей части повторял чужие слова, и даже София уже поверила в то, что он не способен к прямой речи. И тут однажды днем, растерянная и взволнованная, Хэ'энала просто подчинилась порыву. Она была младше Исаака, но много сильнее, если даже не выше, поэтому когда он начал кружить и жужжать, попросту ухватила его за лодыжку и отвела в лес – в тихое и спокойное место.

Она ждала, что он умолкнет или в худшем случае начнет твердить какую-нибудь бессмысленную фразу, повторяя ее снова и снова до тех пор, пока она не утратит свое значение. И только потом Хэ'энала поняла, что ее собственное вызванное усталостью, обиженное молчание позволило Исааку додумать свою мысль, а потом произнести ее вслух. И какую мысль!

– Как можно услышать собственную душу, если все вокруг говорят?

В тот день он больше ничего не сказал, однако Хэ'энала часами потом обдумывала его слова. И решила, что душа является наиболее реальной частью личности, а обнаружить, что реально, а что нет, можно только в уединении.

В деревне каждый поступок, каждое слово, каждое решение или желание немедленно становились предметом общего обсуждения и мнений – они сравнивались, становились предметом споров, оценки и переоценки. И как можно понять, кто ты такая, когда всякий твой поступок и жест требует утверждения полутора сотнями лиц? Если только она прикроет руками глаза и заткнет на мгновение уши, немедленно явится заботливый рунао и спросит:

– Сипаж, Хэ'энала, ты не заболела?

И тут все вокруг примутся обсуждать, что и как она сегодня кушала, как какала, как выглядит ее шкурка, и не болят ли ее глазки, и не может ли все это происходить оттого, что в последние дни солнечного света больше, чем положено, а дождя меньше, и не следует ли отсюда, что *дж'илл* в этом году уродится

позднее обычного, и как все это скажется на спросе на *к'жиф*, всегда зависящего от *дж'шлл*…

Итак, Хэ'энала поблагодарила Бога за то, что способность Исаака терпеть деревенскую суету еще более ограничена, чем ее собственная. Она никогда не рассказывала Софии о том, что говорил Исаак, когда они оставались наедине. Это рождало чувство вины. Хэ'энале иногда казалось, что она обкрадывает Софию, которая так мечтала о том, чтобы Исаак поговорил с ней.

Однажды, когда Хэ'энала услышала, что Исаак зевнул под своим головным платком, и поняла, что он кончил читать и способен вынести вопрос, она спросила:

– *Сипаж,* Исаак, почему ты никогда не разговариваешь с нашей матерью?

– Она хочет слишком многого, – ответил он безликим тоном. – Она срывает вуаль.

Исаак дважды отправлял с планшета послание Софии. Первое гласило: «Оставь этого в покое». Получив его, мать зарыдала: единственная обращенная к ней фраза сына оказалась укоризной. Потом, во время интенсивного разочарования и страха, посещавших Исаака, когда он заканчивал какую-то линию своих навязчивых исследований, он спросил:

– Закончатся ли когда-нибудь вещи, которые мне предстоит узнать?

– Нет, – написала в ответ сыну София. – Никогда.

Он выглядел довольным, но, кроме этого единственного уверения, ничего от нее не хотел.

Опечаленная воспоминанием, Хэ'энала вздохнула и привалилась к прогретому солнцем камню, закрывая глаза. Полуденная жара и скука, соединившись с физиологией хищника-подростка, боролись с сознанием, но сегодняшний день оказался наполненным последним бзиком Исаака.

Он поставил себе задачу запомнить каждую базовую пару в человеческой ДНК, приписав музыкальную ноту каждому из четырех оснований: аденину, цитозину, гуанину и тимину. И часами теперь выслушивал монотонные последовательности из четырех нот.

– *Сипаж*, Исаак, – спросила она, когда он начал эту забаву, – что ты делаешь?

– Вспоминаю, – ответил он, и занятие это показалось Хэ'энале необычайно бесцельным даже для Исаака.

Даже София начала отдаляться в последние несколько лет, часто занимаясь несколькими делами сразу: прислушиваясь к дискуссиям руна, она составляла рапорты, готовила метеорологическую информацию для распространения среди

офицеров, координировала поставки припасов нуждающимся. Снова и снова Хэ'энала, расстроенная растущей изоляцией Софии, пыталась поддержать ее, сделаться настоящей помощницей своей матери, даже когда ей были неприятны ее явные, но не произнесенные вслух потребности.

– Все это не имеет к тебе совсем никакого отношения, – говорила тогда София, самым эффективным образом отключая Хэ'эналу так, как это умел делать Исаак. Казалось, что София полностью оживает только тогда, когда говорит о справедливости, но с течением лет даже эта тема растворилась в молчании.

Никто из людей не поощрял интереса Хэ'эналы к войне, и ее вопросы тактично отклонялись…

«Им стыдно, – понимала Хэ'энала. – Они не хотят, чтобы я знала, но я-то понимаю, что останусь последней в своем роде. Потому что они начали нечто такое, что может завершиться единственным образом. София и Исаак, наверное, правы, – думала она, засыпая. – Оставайся в стороне, скрывай свое сердце, не желай того, чего не можешь иметь…»

Она уже спала какое-то время, когда услышала пронзительный и бесцветный голос Исаака:

– Это хуже красного. Этот уходит.

– Хорошо, – пробормотала она сквозь сон. – Эта придет к тебе в деревню.

– *Сипаж*, люди, – воззвала София к соседям спустя несколько часов, – уже почти красный свет! Кто-нибудь видел Исаака и Хэ'эналу?

Пуска ВаТруча-Сай отделилась от стайки судачивших о своем девиц и с любопытством огляделась по сторонам.

– Сегодня они ушли в хижину Исаака, – напомнила она Фиа.

– *Сипаж,* Пуска, – обратился к ней ее отец, Канчай, – будь добра, сходи за ними и приведи их сюда.

– Ох, заешь меня, – буркнула Пуска под шокированные смешки подруг. Но Пуска не смущалась. Проведенного в армии года вполне достаточно, чтобы огрубить взгляды и язык женщины, потом она пользовалась самыми благопристойными из вульгарных выражений… Эти новобранцы все равно скоро узнают все остальные. Улыбнувшись девицам, Пуска сказала: – Долг хорошего солдата, – с той преувеличенной искренностью, которая часто скрывает твердокаменный цинизм, и поскакала за детьми Фиа.

Примерно две дюжины шагов ей потребовалось, чтобы зайти за укрытия и отведенные под хранилища хижины и примерно еще

столько же, чтобы удалиться за пределы слышимости деревенского шума. Весь первый месяц, проведенный в городе Мо'арл, Пуске снился родной дом; тоскуя по лесной тишине и безопасности, она пыталась убежать туда во сне, тем более что день был полон ужасов, гнева и печали. Какое-то время она завидовала Хэ'энале, находившейся в безопасной лесной деревне.

Но теперь Труча Сай казалась ей тесным и скучным местом, и Пуска вполне понимала, почему Хэ'энала так часто томится и не знает покоя.

Вот впереди появилась крыша хижины Исаака, расположенная в *ча'аре* от края селения. Кровли рук Имантата еще уступали в качестве трудам его отца, действительно мастера-кровельщика, но парень был перспективным: укрытие его работы прекрасно выдержало последнюю грозу. Этой скоро понадобится муж, подумала Пуска и приказала себе не забыть поднять этот вопрос на совете, ибо она уже достаточно ознакомилась с войной и знала, что с детьми долго тянуть не стоит, потом народу потребуется ребенок, чтобы заменить ее, если она падет в бою.

– *Сипаж,* Хэ'энала, – позвала Пуска, приблизившись к хижине, – все тебя ждут! Вот-вот начнется красный свет!

Ответа на было – кров оказался пустым.

– Вот тушенка, – выругалась она негромко. Хэ'энала не могла видеть при красном свете, а Исаак, наоборот, видел слишком хорошо. Ему нужно было поскорее спрятаться под кровлю, чтобы не видеть это красное небо, иначе будет беда.

– Хэ'энала! Этой придется нести тебя обратно! – попыталась подразнить соседку Пуска. – А Исаак поднимет *фиерно!*

– Эта тут! – донесся издалека голос Хэ'эналы.

– А где Исаак? – крикнула в ответ Пуска, наставив уши на звук и радуясь тому, что наконец услышала голос Хэ'эналы.

Почти теряя контраст, выставив вперед руки, Хэ'энала неуверенно шла к хижине Исаака.

– Его здесь нет! – воскликнула она, поднимая ногу, чтобы потереть другую лодыжку, которой стукнулась об упавшее бревно мгновением раньше. – Исаак ушел!

Уши Пуски стали торчком.

– Ушел? Нет… его кто-нибудь заметил бы. Его нет в деревне, и на пути домой эта его тоже не видела…

Споткнувшись о корень, Хэ'энала сердито оскалилась:

– *Сипаж,* Пуска, он ушел! Он ушел в лес! Не чуешь по запаху? Он сказал, что уходит, но эта спала…

Пуска решительно подошла к Хэ'энале и начала гладить младшую девушку по лицу, проводя ладонями по ее длинным худым щекам.

– Успокой свое сердце, – принялась ворковать она, возвращаясь к детским привычкам. – *Фиерно* не поможет, – предостерегла младшую Пуска. – Плохая погода всех испугает.

И сотрет запах Исаака, поняла Хэ'энала, не вступая в спор относительно влияния отрицательных эмоций на погоду. Она встала в полный рост.

– Нам надо найти его. Прямо сейчас, Пуска. След его запаха сейчас отчетливо виден, но если пойдет дождь, эта потеряет его. Он пропадет. Фиа будет…

– Но ты же ничего не видишь… – попыталась возразить Пуска.

– Не глазами, – произнесла Хэ'энала. Свидетельства пребывания Исаака светились перед ней: яркие от запаха отпечатки ног, листья, припорошенные частицами его кожи, прикрытые дымкой его дыхания.

– Это как малые светляки… помнишь? Такие огоньки, светлые точки, оставленные им по пути. *Сипаж,* Пуска, эта может проследить его, если ты поможешь. Но нам надо идти прямо сейчас, иначе след может померкнуть.

Задумавшись, Пуска качнулась из стороны в сторону. На левую ногу: Исаак может заблудиться. На правую ногу: она должна вернуться в деревню и спросить разрешения. На левую ногу: пахнет дождем. На правую…

– *Сипаж,* Пуска, – умоляющим тоном проговорила Хэ'энала, – сердце этой разорвется, если придется говорить Фиа, что Исаак ушел! Эта думает, что может проследить его путь, а когда мы найдем его, нас будет трое, и мы вернемся назад до полной ночи.

Что и решило вопрос в глазах Пуски. Один человек – загадка. Два – дискуссия. Три – план.

– Люди решат, что *джанада* уже съели нас, – следующим утром заметила Пуска, встревоженная с того самого момента, когда проснулась. Она посмотрела на Хэ'эналу, невдалеке стоявшую на одной ноге, опираясь на хвост. – Этой надо вернуться домой и предупредить остальных.

Хэ'энала не ответила, она караулила собственный завтрак, как раз намеревавшийся оказаться в пределах досягаемости, точно под ее поднятой ногой. Терпение… терпение…

– Попался! – воскликнула она, подхватывая небольшого чешуйчатого *лоната.*

– Помощь нам не требуется, – твердо сказала она Пуске, зажимая шею животного между большим и указательным пальцами ноги. – Если мы повернем сейчас назад, эта потеряет след.

Пуска скривилась, глядя на то, как обмякло только что

дергавшееся тело *лоната*.

– И ты действительно намереваешься съесть вот это?

– У меня есть выбор, – произнесла Хэ'энала, поймав Пуску ногой за лодыжку. – Что ты, Пуска! Эта же пошутила! – воскликнула она, когда Пуска отпрыгнула, вырвав при этом ногу.

– Ой, не надо. Никогда больше так не шути! – Пуска поежилась. – В Мо'арле я видела такое, что ты… – Хэ'энала открыла от удивления рот, а Пуска умолкла, смутившись от собственной бесцеремонности. – Должно быть, я действительно поплохела.

– Прости, – извинилась она, протянула руку к *лонату* и, затаив дыхание, принялась соскребать чешуйки с его ножек. – Эта думает, что подобные шутки хорошим вкусом не отличаются.

– А эта думает, что *лонаты* не отличаются хорошим вкусом, – пробормотала Хэ'энала, впиваясь зубами в ножку, после того как Пуска вернула ей добычу.

Главное достоинство *лонатов* заключалось в том, что их нетрудно было ловить. И Хэ'энала, и ее отец привыкли иногда ловить мелкую и не такую уж вкусную дичь в дополнение к приношениям так сказать «традиционного» мяса, как оно деликатно именовалось, однако есть всегда приходилось украдкой и торопливо.

– А как относятся к этому в городах? – спросила Хэ'энала, пытаясь отвлечь внимание Пуски от небольшой тушки.

– Тебе это будет неинтересно, – с видимым отвращением ответила Пуска и отправилась на поиски дождевой ягоды на завтрак.

Они торопились вперед, Пуска – со все большим волнением, Хэ'энала – почти с раздражением. Следы Исаака затаптывали лесные твари – потевшие, пыхтевшие, испражнявшиеся на влажной жаре, – и она неоднократно теряла след, когда он неожиданно начал петлять между ягодных кустов. Даже когда она снова находила след, оказывалось, что на него уже осели облака пыльцы растения *вралож*, мешал ей также запах гниющих растений. На четвертый день преследования Пуска стала открыто и постоянно жаловаться, Хэ'энала же, молчаливая и голодная, кипя гневом, запускала когти почти под каждый поваленный ствол, чтобы перекусить хотя бы невкусными личинками, и с каждым мгновением ощущала, что, когда они догонят Исаака, она повалит его на землю и приволочет в деревню за ногу.

– Еще один день, – предупредила ее Пуска той ночью. – И поворачиваем назад. Ты слишком голодна…

– Исааку будет еще хуже, – настаивала Хэ'энала, потому что

никогда не видела, чтобы Исаак сам добывал себе пропитание, и даже начала надеяться на то, что от бескормицы он ослабеет и позволит себя догнать.

Впрочем, помет его свидетельствовал о другом. Оставшись без привычной опеки тех, кто ходил за ним начиная с младенческих лет, Исаак непринужденно справлялся с жизненными потребностями. Кишечник его давно привык к диете рунао, к тому же он наверняка наблюдал за тем, как руна пасутся, – внимательно, но как бы между делом; во всяком случае, он знал, что съедобно, и умел найти пищу в лесу. Итак, он теперь кормит себя сам, думала Хэ'энала, вспоминая анекдоты рунао, утверждавшие, что Исаак начал ходить, петь и пользоваться компьютером в один день. Очевидно, он проигрывал весь процесс питания в уме до тех пор, пока не уверился в том, что может прокормиться самостоятельно, и воспользовался готовыми наработками. «Неужели он планировал уйти из деревни? – думала в ту ночь засыпавшая Хэ'энала. – На что он рассчитывает, что хочет найти?» А потом поняла: он ничего не ищет. Он спасается бегством.

В ту ночь они спали плохо, а проснулись под звуки грома. Ливень сделал дальнейший путь невозможным. Не желая признать поражение, Хэ'энала уселась на опушке леса, безутешно взирая на беспредельную равнину, раздувая ноздри в надежде все же уловить запах Исаака, уже растворявшийся в грязи, на которой оставляли свои следы крупные капли, смешивавшийся с запахами стад прерии. Даже Пуска притихла.

– Не нашли, – прошептала Хэ'энала под вечер того хмурого и сырого дня. – Эта потеряла след.

– Он сам заблудился. Ты попыталась найти его, – негромко проговорила Пуска, обнимая Хэ'эналу и припадая головой к плечу жана'ата. – Завтра поворачиваем к дому.

– Как я скажу это Софии? – обратилась Хэ'энала к тьме. – Исаак потерялся.

глава 27

Джордано Бруно

2066–2069 годы по земному летоисчислению

– Т

ы шутишь, – настаивал Джон.

Жирный Франс бросил на него злобный взгляд над тарелкой:

– Самоубийство по-прежнему считается смертным грехом?

– В зависимости от обстоятельств. А что?

– Ну, ради блага твоей теоретически бессмертной души дам тебе один практический совет, – проговорил Франс. – Никогда не

садись в самолет, который пилотирует Эмилио Сандос.

Загнул, однако, подумал Джон, отодвигая собственную тарелку.

– Преувеличиваешь!

– Слушай сюда, Джонни, говорю тебе: я еще не видел человека, настолько лишенного природных способностей к пилотированию, – промолвил Франс, с некоторым опозданием проглотив прожеванную порцию тилапии с рисом. – Нико, скажи дону Джанни, сколько ты потратил времени для того, чтобы научиться пилотировать посадочный катер.

– Три недели, – произнес Нико со своего места в углу. – Дон Карло говорит, что катера практически летают сами, но мне пришлось повозиться с навигационными программами.

Джон скривился: Эмилио трудился над ними целый месяц.

– Его мозг, наверное, полностью забит языками. Насколько я могу судить, – проговорил Франс, предварительно еще раз посолив рис, – в нем не осталось и одного синапса, свободного для обучения летному мастерству. Видишь ли, я, как и все прочие, восхищаюсь упорством, но учить его бесполезно. Даже Д. У. Ярброу отступился от него. Знаешь, что написано про него в отчетах первой миссии? – Франс умолк, чтобы прожевать, а затем продолжил цитатой: – «Как пилот отец Сандос превосходный лингвист и очень хороший медик. Поэтому я снимаю его с летных тренировок и назначаю ему постоянный статус пассажира, чтобы никто не погиб». – Франс покачал головой. – Я подумал было, что мне предоставляется лучший шанс, поскольку новые катера почти полностью автоматизированы, но Сандос плох настолько, что это просто страх. – Подцепив вилкой еще один кусок рыбы, он посмотрел на Джона. – Сделай что-нибудь, Джонни. Поговори с ним.

Джон фыркнул.

– С чего это ты решил, что он обратит внимание на мои слова? За последние восемь недель Эмилио не сказал мне и пары слов, только один раз попенял мне за допущенную в руанже ошибку в сослагательном наклонении.

– На самом деле это даже обидно. Но, трезвый или накачанный наркотой, Сандос никого не подпустит к себе.

– А где он сейчас? – спросил Джон у Франса.

– Тренируется у себя в каюте. Я больше не слежу за ним – слишком это ужасно.

– Хорошо, – сказал Джон. – Посмотрим, что я смогу сделать.

На первый стук ответа не последовало, так что Джон постучал сильнее.

– Вот дерьмо! – рявкнул Эмилио, не открывая дверь. – Кого там принесло?!

– Это я… Джон. Впусти меня, ладно?

Последовала пауза, щелкнул замок.

– Ну дерьмо, – снова сказал Сандос. – Открывай сам.

Открыв дверь, Джон обнаружил перед собой Сандоса в шлеме виртуальной реальности полного обзора, надвинутом на лоб, как шлем конкистадора.

При виде его Джон присел от изумления. Сандос был увешан всяким оборудованием, на ортезах перчатки виртуальной реальности, под глазами синяки от хронической усталости.

– О боже! – воскликнул Джон, забыв про такт. – Эмилио, это глупо…

– Нет! – возразил Эмилио. – Тебя что, Франс подослал? Мне плевать на то, что он там думает. Мне надо научиться пилотировать! Если бы только мои руки не были облеплены этой дрянью…

– Но твои руки этой дрянью *облеплены*, и я до сих пор не могу привести в порядок левый ортез, а управление в катере жестче, чем в симуляторе! Почему бы тебе не оставить…

– Потому что, – оборвал его Эмилио, называя причину: – Я не намереваюсь зависеть от кого бы то ни было для того, чтобы улететь с этой планеты.

Джон заморгал.

– Ладно, – сказал он наконец, – понял.

– Благодарю вас, – съехидничал Эмилио. – Кстати, если забыл: когда я в последний раз был на Ракхате, кавалерия слишком поздно подъехала ко мне на помощь.

Джон кивнул, соглашаясь по сути дела, однако не утратив желания спорить.

– Ты выглядишь ужасно, – проговорил он, выбрав бой. – Тебе, случайно, не приходило в голову, что, если ты отдохнешь, дело у тебя пойдет лучше? Вообще, какого черта… ты когда-нибудь спишь?

– Когда я не сплю, тогда мне не снятся сны, – отрубил Эмилио, захлопывая дверь перед носом Джона, вовремя отступившего от ее гладкой металлической поверхности.

– Отдохни, наконец, чертов сын! – выкрикнул Джон.

– Ступай на хрен! – ответил ему Эмилио.

Вздохнув, Джон отправился прочь, качая головой и что-то бурча под нос.

Через считаные дни после снятия с наркотика Сандос нарушил монополию Общества на оба ракхатских языка, настояв на том, чтобы Карло, Франс и Нико занялись изучением основ

руанжи и к’сана, хотя Франсу предстояло оставаться на корабле в течение всей миссии. И уже вскоре потребовал, чтобы все они работали вместе над все более сложными заданиями. День за днем, вечер за вечером он приказывал им с ходу переводить то, что говорил он на к’сане или руанже, забрасывая их похожими на бомбы вопросами и критикуя ответы на всех возможных уровнях: грамматическом, логическом, психологическом, философском и теологическом.

– Готовьтесь ошибаться. Заранее считайте, что если что-то покажется вам простым или очевидным, то это значит, что вы ошибаетесь, – советовал Сандос. – Все, что мы считали понятным, все самые основные общие с ними объекты – секс, пища, музыка, семья – все это оказалось в первую очередь не понятым нами.

Потом начались полуночные тренировки, касающиеся посадочного дрона, подробностей имитированной географии Ракхата, теоретически и статистически вероятного циклона и не одного, а двух мест рандеву на поверхности. Он предоставлял им два-три часа сна, после чего включались сирены. И Эмилио снова начинал изводить их вопросами на к’сане и руанже, требуя объяснить, кто они такие, как здесь оказались и что им здесь нужно, публично и без анестезии анализируя ответы каждого, выявляя слабости, слепые места, необоснованные предположения, глупости, препарируя всех, словно лягушек на оловянной тарелке. Сандос делал это жестоко, почти нестерпимо оскорбительно, но когда Шон осмелился выступить с протестом против дурного обхождении, Сандос довел его до слез.

Тем не менее, когда все остальные валились без сил в койку после варварского сеанса обучения или допроса, Сандос прибавлял себе новые километры на беговой дорожке. Но сколь бы жестокой ни была его программа для всех остальных, все прекрасно видели, что себя он гоняет еще жестче, несмотря на то что был самым маленьким в экипаже по росту и почти на двадцать лет старше самых молодых своих спутников.

Он даже ел стоя. Но сновидения не покидали его.

– Сандос! – крикнул Карло, тряхнув его за плечи. Реакции не последовало, и потому Карло тряхнул Сандоса сильнее, и обведенные темными кругами глаза открылись.

– Иисусе! – воскликнул Эмилио, отодвигаясь. – *Dejame…*[62]

Карло разом выпустил плечи Сандоса, так что тот привалился к переборке.

– Уверяю вас, дон Эмилио, что я действовал из самых благих побуждений, – с подчеркнутой вежливостью произнес он, усаживаясь на край койки. – Вы опять кричали.

Напряжено дыша, Сандос обвел каюту мутным со сна

взглядом, пытаясь прийти в себя.

– Твою мать, – проговорил он после паузы.

– Есть идея, – проговорил Карло, задумчиво щуря глаза. – Многосторонность может быть добродетелью, как вам известно.

Сандос уставился на него.

– Больно не будет, – шелковым голосом предложил Карло.

– Только попробуйте, – усталым голосом проговорил Сандос. – И я найду способ убить вас.

– Я всего лишь предположил, – невозмутимо отозвался Карло. Поднявшись, он подошел к столу, на котором были разложены все принадлежности. – Итак, раз более интересная перспектива на облегчение и отдых нам не подходит, что будем делать сегодня? Надеюсь на быстрое забвение. Возможно, мне следует приказать Нико перенести беговую дорожку в лазарет, чтобы всем остальным не приходилось всю ночь слышать ваш топот.

Взяв шприц, он повернул его иглой вверх и вопросительно поднял брови:

– Кстати, вы привыкаете к этому препарату. За последнюю пару недель мне пришлось удвоить дозу.

Сандос, очевидно слишком уставший для того, чтобы раздеться, прежде чем повалиться в постель, поднялся, надел ортезы и вышел из комнаты, скользнув мимо Нико, который всегда вставал в присутствии дона Карло.

– Так, значит, беговая дорожка, – заметил Карло. Вздохнув, он посидел несколько минут в одиночестве, ожидая, когда вновь начнется безжалостный топот. Судя по ритму шагов, он мог сказать, что Сандос поставил темп тридцать семь минут на десять километров, надеясь вымотать себя самого, а заодно и остальных членов экипажа.

Решив выяснить отношения до конца, Карло встал и отправился в небольшой спортивный зал, где остановился, заложив руки на спину и задумчиво склонив голову.

– Сандос, – проговорил он, – я заметил, что вы перехватили на себя управление «*Джордано Бруно*». Ситуация соответствует моим целям, хотя, откровенно говоря, я нахожу ваш командный стиль излишне грубым.

Заинтересованный взгляд черных глаз ответил ему; Сандос пришел в себя и ждал развлечения.

– Поначалу, – промолвил Карло, – я думал – это месть, он отыгрывается на нас. Потом я решил: это же экс-иезуит, всю жизнь выполнявший чужие приказы. Теперь он отдает их. Он опьянел от власти. Теперь, однако…

– А сказать мне, почему вы позволили мне командовать на вашем корабле? – оборвал его Сандос. – Ваш отец был прав, вы и

есть Чио-Чио-сан. Если бы вы что-то закончили, вас можно было бы судить и найти промахи. Посему вы нашли причину отойти от дел и рассказываете себе сказки о принцах эпохи Возрождения. А потом беретесь за другое дело, пока вас не вывели на чистую воду. Мой государственный переворот служит вашим целям, потому что теперь есть на кого спихнуть ответственность за будущую неудачу.

Карло продолжил, как если бы Эмилио ничего не говорил:

– Вами, Сандос, движет не месть и не жажда власти. Вами движет страх. Вы боитесь, каждый день… каждый день целиком. И чем ближе мы подлетаем к Ракхату, тем сильней одолевает вас страх.

Находясь в превосходном физическом состоянии, почти не вспотев, Сандос сбавил шаг, и наконец дорожка прекратила движение. Он остановился, ровно дыша, упражнение не подействовало на него, а потом уронил с лица привычную маску.

Карло заморгал, ошеломленный неожиданной наготой лица Сандоса.

– Вы боитесь, – невозмутимо повторил Карло, – и не без причины.

– Дон Эмилио, – проговорил Нико, входя в комнату. – Что вы видите в своих снах?

Карло много раз задавал ему этот вопрос, в часы, на Земле называвшиеся бы предрассветными, ночь за ночью просыпаясь от тоскливого воя, обремененного безнадежным отказом, от криков «нет!», возвышавшихся в своем отвержении от отрицания до отчаяния. К тому времени, когда Карло или Джон оказывались в его каюте, Сандос обычно уже сидел на постели, забившись в уголок, спиной к переборке, с широко открытыми глазами, но тем не менее спящий.

– Что вам снилось? – требовательно спрашивал Карло, как следует тряхнув Эмилио и пробудив его.

Прежде Сандос всегда отказывался отвечать. Но на сей раз он ответил Нико:

– Кладбище. Некрополь. Город мертвых.

– Вседа один и тот же? – спросил Нико.

– Да.

– И вы отчетливо видите мертвых?

– Да.

– Кто они?

– Все, кого я когда-то любил, – проговорил Сандос. – Джина уже там, – добавил он, посмотрев на Карло, – а Селестина нет, ей еще рано. И еще есть другие, кого я не люблю.

– Кто? – потребовал ответа Карло.

Ответом стал уродливый смешок.

– Не вы, Карло, – приветливо и с презрением ответил Сандос. – И не ты, Нико. Эти другие – ВаРакхати. Они снятся мне целыми городами, – легко ответил он. – Тела меняются. Я видел, как они гниют. Я слышу во сне запах тлена. И вот наступает момент, когда трупы начинают разлагаться, и тогда я не могу сказать, кто они – жана'ата или руна. Все они становятся похожи. Но потом, когда от них остаются только кости, я могу видеть зубы. Иногда среди этих костей лежат и мои собственные. Иногда нет. И лучше, когда бывает именно так, потому что тогда сон кончается и я *не кричу*.

– А вы умеете пользоваться пистолетом? – спросил Карло, помолчав.

Сандос кивнул на манер Ракхати – коротко взмахнув вверх подбородком – и выставил вперед обе ладони, приглашая тем самым Карло подумать. – Возможно, я сумел бы выстрелить…

– Но отдача сломает механизмы ортезов, – продолжил за него Карло, – и вам станет еще хуже, чем прежде. Но вы, конечно, будете там под моей защитой… под моей и Нико.

Задиристые глаза подобрели самую малость.

– И вы полагаете, что преуспеете там, где Бог оставил меня?

Карло не отступал, подняв голову:

– Бог может оказаться всего лишь сказкой, а мне надлежит охранять капиталовложения. В любом случае в моей семье принято считать пули более надежным средством, чем молитву.

– Ну, хорошо, – проговорил Сандос, коротко и широко улыбнувшись всем лицом. – Хорошо. Почему нет? Мое общение с иллюзиями радости не принесло, но кто знает? Быть может, на короткое время ваша методика поможет нам обоим.

Удовлетворенный всем, что узнал, Карло кивнул Нико. Повернувшись к двери из тренировочного зала, он увидел стоящего в ней Джона Кандотти.

– Встревожился, Джанни? – небрежно бросил Карло, проходя мимо. Джон ответил яростным взглядом, и Карло с деланым испугом попятился, подняв обе руки. – Клянусь, я его пальцем не тронул.

– Итить твою, Карло.

– В любое время, – мурлыкнул Карло и вместе с Нико исчез за изгибом коридора.

Эмилио уже снова был на беговой дорожке.

– Ну почему? – обратившись к нему лицом, потребовал ответа Джон.

– Я же сказал тебе…

– Нет! Не надо! Я не про пилотирование катера! Я имею в

виду все это. Почему ты сотрудничаешь с Карло? Почему ты помогаешь ему? Зачем ты учишь их языкам? Почему ты хочешь вернуться назад…

– «День и ночь остаются открытыми врата темного царства смерти, – процитировал Сандос, прячась за Вергилием, удивляясь тому, что можно не понимать этого, – …найти обратно путь к дневному свету, вот это труд, вот это работа…»

– Не надо, не пытайся отделаться от меня пустыми словами! – Джон щелкнул тумблером выключения беговой дорожки так внезапно, что Сандос споткнулся. – Черт побери, Эмилио, ты должен мне… ты должен хотя бы объяснить мне! Я хочу хотя бы просто *понять тебя*… – Он умолк, удивленный реакцией. «*Накричи на меня*, – подумал Джон, холодея, – *но только не смотри подобным образом*».

Наконец Сандос приказал своей дрожи прекратиться и заговорил, глядя на Джона взглядом столь жестким, голосом столь мягким, что слова его показались Кандотти злобным оскорблением.

– Твои родители состояли в браке? – спросил он.

– Да, – прошипел Джон.

– Друг с другом? – продолжил Сандос столь же едким тоном.

– Я не обязан выслушивать это дерьмо, – пробормотал Джон, однако пока он собирался шагнуть к двери, Эмилио повернулся и пинком захлопнул ее.

– Мои не состояли, – проговорил он.

Джон примерз к месту, и Эмилио посмотрел на него долгим взглядом.

– Вот тебе одно из моих первых воспоминаний: муж моей матери орет на меня за то, что я назвал его *папи*. Помню, я удивился: может, нужно звать его «папа». Или даже «падре»? Возможно, я стал лингвистом именно тогда… я тогда думал, что может существовать какое-то другое слово, которое мне следует применять! Я попытался произносить это слово по-разному, однако он еще более взбесился и за хитрожопость бросил меня через всю комнату. Обыкновенно он заканчивал тем, что начинал выколачивать пыль из моей матери – я знал, что каким-то образом был виноват в этом, но представления не имел о том, что сделал не так! Я все пытался понять, как следует говорить правильно. Ничто не помогало. – Эмилио умолк и отвернулся. – Кроме того, у меня был еще старший брат. Похоже, что я его просто бесил – все, что бы я ни делал, всегда оказывалось неправильно или плохо. А еще было так, что все замолкали, когда мы с матерью входили в лавку или просто проходили мимо на улице.

Эмилио вновь посмотрел на Джона:

– Ты знаешь, что означает слово «*пута*»?

Джон чуть заметно кивнул. «Шлюха».

– Я слышал его, когда мы с матерью вместе выходили из дома, от детей слышал. Понятно? От детей, пытавшихся продемонстрировать свою смелость и остроумие. А я не понимал тогда, конечно. Черт, сколько же мне было? Три или четыре года? Я чувствовал тогда, что со мной происходит что-то не то, и не понимал этого и искал объяснение.

Внимательно посмотрев на Джона, он спросил:

– Тебе приходилось бывать в Пуэрто-Рико?

Джон отрицательно покачал головой.

– Народ там у нас действительно смешанный. Испанцы, африканцы, голландцы, англичане, китайцы, и то не всех перечислил. Публика всякого цвета кожи. Долгое время я не обращал внимания на то, что моя мать, ее муж и мой старший брат – светловолосые и белокожие, а я среди них – маленький индеец, прямо скворец в гнезде певчих пташек, так? И вот однажды, когда мне было лет одиннадцать, я оговорился и назвал мужа своей матери папой. Не в лицо – я сказал что-то вроде: «Когда папа пришел домой?» Пьяным он всегда был хорош, но в тот раз… Иисусе! Он действительно разобрал меня на части. И при этом орал: «Не зови меня так! Ты для меня ничто, маленький *ублюдок*! Не смей звать меня папой!»

Джон зажмурил глаза, потом снова открыл их и посмотрел на Эмилио.

– Итак, ты получил свое объяснение.

Эмилио пожал плечами:

– До меня все равно не сразу дошло – боже, до чего же тупым ребенком я был! В любом случае потом, когда они помещали руку мою в лубок, я думал: ну как может сын ничего не значить для отца? Тут меня озарило, так сказать. – Он невесело улыбнулся. – Я подумал: вот, он все время звал меня ублюдком. Я был слишком глуп и не понял, что он называл меня так, потому что ублюдком я и являюсь.

– Эмилио, я не хотел…

– Нет! Ты сказал, что хотел понять. Вот я и пытаюсь объяснить, понял? Поэтому заткнись и слушай! – Эмилио опустился на край беговой дорожки. – Садился бы, что ли? – устало проговорил он, болезненно моргая. – На этом проклятущем корабле все такие детины… я чувствую себя гномом. И мне *тошно* от этого.

На какое-то мгновение перед глазами Джона промелькнул съежившийся тощий подросток, ожидающий, когда закончатся

побои; невысокий мужчина в каменной камере, ожидающий, когда закончится насилие… Иисусе, подумал Джон, опускаясь на пол напротив Сандоса.

– Я слушаю, – сказал он.

Эмилио глубоко вздохнул и снова начал:

– Понимаешь, дело в том, что, когда я наконец закрыл этот вопрос, я уже не злился, понял? Мне не было стыдно. Мне не было больно. Ну, то есть мне было больно – в конце концов, этот тип отправил меня в госпиталь, так? Но клянусь: чувства мои не были задеты. – Он пристально посмотрел на Джона. – Я почувствовал облегчение. Можешь поверить в это? Я всего лишь почувствовал сраное *облегчение.* Облегчение…

– Потому что все наконец-то обрело смысл, – проговорил Джон.

Эмилио наклонил голову:

– Да. Все наконец обрело смысл. Да, еще болело, но все обрело смысл.

– И поэтому ты хочешь вернуться назад. На Ракхат. Чтобы увидеть, что все обрело смысл?

– Я? *Я хочу?* Вернуться назад? – воскликнул Эмилио. Полную боли гримасу почти немедленно сменила самая обыкновенная усталость. Он посмотрел на пол тренировочного зала, затем покачал головой, тряхнув прямыми, как кость, волосами, теперь скорее серебряными, чем черными, свалившимися на налитые кровью от усталости глаза.

– Я все думаю об этой евангельской строчке: если кто-то попросил тебя идти с ним милю, иди две. Может быть, наш полет и есть та самая дополнительная миля. Возможно, я должен дать ему дополнительный шанс, – негромко проговорил Эмилио. – Я могу вытерпеть многое, если только сумею понять *причину*… А понять ее я смогу только в одном месте.

Он надолго задумался.

– Джон, когда вы окажетесь на Ракхате, все, что у вас будет, – это собственные знания и умения, с помощью которых тебе и твоим спутникам придется решать задачи, которые сейчас вы не способны представить себе или предвидеть… проблемы, решения которых нельзя вымолить, купить, найти обманом или даже выбить пулями. Если я утаю информацию от Карло и его людей и если по незнанию их произойдет какое-нибудь несчастье, ответственность ляжет на меня. А я не хочу принимать ее на свои плечи.

Глубоко вздохнув он спросил:

– Ты слышал, что сказал Карло? До нашего разговора? Что я боюсь?

Кандотти кивнул.

– Джон, я не просто боюсь, я в полном ужасе, меня буквально трясет от страха, – проговорил он, подчеркивая смехом весь кошмар своих чувств, стараясь удержать еще не пролитые слезы, уже наполнявшие его черные глаза. – Даже с Джиной… не знаю, может, все обернулось к лучшему, но кошмары мне снились даже при ней. А теперь что… Господи Иисусе! Они стали страшнее, чем когда бы то ни было! Иногда мне кажется: может, так действительно лучше. Мои крики пугали бы Селестину, понимаешь? И какая это жизнь для подростка, если ее отчим каждую ночь вопит как резаный? – спросил он уже почти лишившимся звука голосом. – Может, так для нее действительно лучше.

– Возможно, – с сомнением проговорил Джон, – но и то, что есть, не лучше?

– Да, не лучше, – согласился Эмилио. – Но другого мне не предложено.

Он посмотрел на Джона, бесконечно благодарный другу за то, что он обошелся без банальностей, без неуклюжих попыток утешить его. С дрожью вздохнув, он овладел собой.

– Джон, я… Слушай, ты…

– Забудем, – сказал Джон и подумал: «Для этого я и нужен здесь».

Сандос поднялся на ноги и вновь вернулся на беговую дорожку. Не сразу последовав его примеру, Джон также встал и направился в свою каюту, где немедленно бесформенной грудой конечностей рухнул на койку и прикрыл глаза ладонями, постаравшись представить себе все способы борьбы с незаслуженной болью. Попросить помощи у Всевышнего. Вспомнить о муках Господа на кресте. Глотнуть привычного бромчика: Бог никогда не возлагает на нас непосильные задачи… без причины не происходит ничего. Джон Кандотти знал по собственному опыту, что старинные максимы удовлетворяли некоторых людей. Однако, как приходский священник, он часто сталкивался со случаями, когда вера в Бога налагала дополнительные бремена на добрых людей, брошенных на колени какой-нибудь безумной трагедией. Атеист мог оказаться не менее ошеломленным подобным событием, однако неверующие часто принимали такие вещи спокойно, согласно тезису: попадать в дерьмо случается всем, и вот это вот конкретное дерьмо свалилось именно нам на голову. Верующему часто бывало труднее подняться на ноги именно потому, что ему приходилось согласовать Господню любовь и заботу с произошедшим глупым,

жутким, необратимым фактом.

– Вера должна даровать утешение, отче! – вопияла однажды, обращаясь к нему осиротевшая мать, рыдавшая над могилой собственного ребенка. – Как Бог мог позволить этому совершиться?

И все его молитвы, все его надежды с воем уносил ветер. Он был тогда так молод. Прошло всего несколько недель после рукоположения, такой наивный и простодушный.

Это были его первые похороны, и он полагал, что хорошо справился со своими обязанностями, не запнулся ни в одной молитве, внимал горю скорбящих, готовый утешить их.

– Ученики и сама Мария, стоя у креста, должно быть, переживали такие же чувства, как те, что испытываете вы сейчас, – проговорил он, впечатленный собственным мягким голосом, полным любовного попечения.

– А мне какого хрена с того? – отрезала мать, глядя на него пылающими глазами. – Моя девочка умерла, и она не воскреснет через три дня. И я плевать хотела на всеобщее воскресение в конце этого чертового мира, потому что она нужна мне здесь и *сейчас*… – Слезы высохли, уступив место истинно стальному гневу. – Богу придется за многое ответить, – оскалилась она. – Вот что я могу сказать вам, святой отец. Богу придется за многое ответить.

«Отец и брат, – думал он. – Не с них ли начались несчастья Эмилио? С отца, на которого он имел право рассчитывать, и брата, который мог бы стать для него образцом. Долго ли он сопротивлялся Духу? – подумал Джон. – Как долго он защищал себя от опасения, от страха, что Бог окажется вздорной сказочкой, что религия – всего лишь вздор? Какая же отвага потребовалась ему… чтобы призвать ту силу, которую требует вера? И в каком пекле находит Эмилио силу надеяться на то, что, быть может, его жизнь обретет смысл? Что, если он просто заставит себя слушать, Господь, быть может, сам все объяснит ему.

Но что, если Бог объяснит и окажется, что во всем произошедшем с ним виноват сам Эмилио?» – подумал Джон. Речь не о садах-огородах – весь экипаж «*Стеллы Марис*» согласился выращивать их, и никто не мог предвидеть, к чему приведет это желание. Но потом… что, если Эмилио сказал нечто такое, что было превратно понято на Ракхате?

«Боже, – помолился Джон, – *не пойми так, что я советую Тебе, что делать, но если Эмилио каким-то образом сам навлек на себя эти акты насилия, а потом из-за этого умерла Аскама, сделай так, чтобы он никогда не понял своей вины, хорошо? Я знаю, что Тебе известно, что может вынести человек, но, по-моему, Ты здесь*

хватил лишнего. Или, быть может, помоги ему найти смысл своей жизни. Помоги ему. Вот чего я прошу. Просто помоги ему. Он и так делает все, что в его силах. Помоги ему.

И помоги мне», – подумал Джон. Протянув руку к четкам, он попытался очистить ум от всего, кроме ритма знакомых молитв. Но слышал он при этом ритмичный топот на беговой дорожке: невысокий, испуганный, стареющий мужчина одолевал свою дополнительную милю.

Глава 28
Центральный Инброкар

2061 год по земному летоисчислению

Свет ударил в глаза Хэ'энале уже после второго восхода, и она проснулась. Отвернувшись от света, она посмотрела на еще спавшую Пуску.

«И как же я скажу Софии?» – ощущая свое несчастье, спросила она себя – первая мысль этого дня совпала с последней мыслью дня вчерашнего. Сев, она осмотрела себя и скривилась: шерсть на теле испачкалась и свалялась, зубы ныли, голова тоже. «Ох, Исаак», – подумала она безрадостно, медленно вставая, по одной протягивая затекшие конечности. В голове было пусто, как на уходившей вдаль, на восток, равнине. Сиреневые цветочки на покрывавшей ее невысокой траве поблекли в ярком свете полного дня.

– *Сипаж*, Пуска, – проговорила Хэ'энала. – Просыпайся!

Пощупав вокруг себя хвостом, она шлепнула Пуску по попе. Та отмахнулась.

– Пуска! – воскликнула Хэ'энала более настоятельным тоном, не смея повернуть голову, чтобы не потерять ниточку запаха. – Он жив! Я чую его.

Рунао торопливо перекатилась на ноги. Посмотрев в том же направлении, что и Хэ'энала, Пуска не увидела никого.

– *Сипаж,* Хэ'энала, – сказала она усталым голосом, – там никого нет.

– Исаак там, – настаивала Хэ'энала, попытавшись наскоро стряхнуть засохшую грязь с шерсти. – Все зависит от ветра, но эта думает, что он идет на северо-восток.

Пуска не смогла найти поблизости ничего полезного, за исключением нескольких покрытых плодами *синтарон* и небольшого участка, поросшего сладким листом, вполне годящимся на приличный завтрак.

– *Сипаж,* Хэ'энала, пора поворачивать домой.

– Нам нужно сначала догнать его…

– Нет, – возразила Пуска.

Потрясенная отказом, Хэ'энала обернулась к Пуске, обнаружив на ее лице равную смесь скептицизма и сожаления.

– Не надо бояться… – начала она.

– Я ничего не боюсь, – откровенно произнесла Пуска, слишком уставшая для любезностей. – Я больше не верю тебе, Хэ'энала.

Последовала неловкая пауза.

– *Сипаж,* Хэ’энала, эта думает, что ты ошиблась в этом с самого начала.

Они долго смотрели друг на друга: более не сестры, почти незнакомки. Молчание нарушила Хэ’энала.

– Хорошо, – проговорила она ровным голосом. – Эта пойдет дальше одна. Скажи Фиа, что эта найдет Исаака, даже если для этого придется дойти до моря.

Когда звуки следов уходящей Пуски затихли вдали, Хэ’энала зажмурилась и представила себе след: нечеткий и широкий на вершине, сужающийся к основанию в точку, которую она найти не могла, однако могла судить о ней по углу. Не обращая внимания на то, что Пуска сдалась, она произнесла вслух:

– Он там, – и последовала за столпом его запаха в глушь.

В несколько первых часов ветер играл со следом, и ей пришлось дважды возвращаться назад, чтобы найти то направление, в котором оставленный им на земле запах будет сильнее. Но солнца карабкались вверх, ветер стихал, и она набралась достаточно опыта, чтобы определять нужное направление, чуть повернув голову.

Равнина, однако, оказалась не пустой, как ей сперва показалось, на самом деле она была изрезана узкими ручьями, полными воды после вчерашнего ливня. По берегам многих ручьев росли кусты, покрытые сиреневыми плодами, которые Исаак ел, что она обнаружила, обследовав его помет. Хэ’энала почти постоянно была голодна и потому внимательно осматривала по пути берега, на которых можно было вытащить из нор неизвестную ей мелкую живность, зацепив ее когтем или выкопав. Однажды в жару, усталая и грязная, она забрела в воду и уселась на каменистом дне ручья, надеясь на то, что рожденный дождем поток смоет с нее грязь и охладит; к ее удивлению, когда она откинулась на хвост и расставила ноги, в пах ее ткнулась какая-то водоплавающая живность.

– А вот и манна небесная! – воскликнула она и рассмеялась, обратившись лицом к солнечному свету.

Здешние края были полны чудес. Теперь она могла видеть мир от одного его края до другого, и на шестой день пути, увидев, как встают и садятся светила, наконец поняла, почему меняется цвет неба. Удивляло и собственное тело. С детства обитавшая в густом подлеске, она не имела никакого представления о том, насколько легок ее природный шаг. Сам ритм ровного движения пел в ее ушах: стихами ходьбы, безмолвного пространства, цели. Перейдя на парящий кентер,

держа хвост параллельно земле, она впервые познала равновесие и скорость, точность и изящество движений. Однако нужды торопиться не было: она догоняла Исаака, зная, что он жив и здоров. И при этом знала, что он счастлив – как и она сама.

Она позволила себе отдохнуть целый день возле ручья, в неглубоких омутах которого обнаружила сотни гнезд, полных какой-то едва проклюнувшейся мелюзги, которую беспечные родители оставили без присмотра, и в ту ночь уснула с полным животом, зная, что Исаак недалеко, что она сможет найти его даже в дождь, и проснулась на следующее утро, чувствуя скованность в мышцах, но веселая.

Она нагнала его около полудня. Он стоял на краю карниза, пересекавшего равнину, разделяя ее на две части, так что восточная была ниже западной на высоту рослой *в'ралии*. Исаак ничего не сказал, но когда она остановилась в шестидесяти шагах от него, широко распростер руки, словно обнимая лежавшую перед ними пустую полноту – не вращаясь, чтобы свернуть мир в пятно, но поворачиваясь с экстатической неспешностью, дабы объять его, увидеть его целиком. Совершив полный оборот, он встретился с ней глазами и провозгласил: – Ясность!

– Да, – восторженно согласилась она, на мгновение познав все укрытое в его загадочном, потаенном сердце. – Ясность!

Он чуть пошатнулся: нагой, высокий и бесхвостый. Хэ'энала следом за ним обратила свой взгляд к высокому небу.

– Красное небо безвредно, – объявил он с деланой отвагой, даже не зная, насколько он ошибается. А потом, не сразу, моргая и начиная дрожать, произнес: – Я не вернусь назад.

– Я это знаю, Исаак, – проговорила Хэ'энала, приближаясь к нему… София и руна забыты, вся ее прежняя жизнь отодвинута невесть куда. – Я понимаю.

Он замолчал, что было неудивительно, однако, подойдя ближе, Хэ'энала утратила покой. Тело Исаака побагровело, обрело цвет крови, несчастная белая кожа его покрылась волдырями и опухла. «Отчего же это с ним произошло?» – задумалась она, поникнув ушами. Он сел возле двух составлявших всю его собственность предметов, планшета и потрепанной синей шали, но не стал набрасывать ее на голову, как делал в лесу, где плотный полог листвы защищал его от воздействия солнц.

– Эт'все, – услышала она два произнесенных им слитно слова.

Не зная, что еще можно сделать, она ощутила потребность спросить, не голоден ли он:

– *Сипаж,* Исаак, есть хочешь? – и обругала себя за бестолковость.

– Слышишь? – спросил он, дрожа, заметно напрягаясь всем

своим узким, почти безволосым телом. – Музыка.

Хэ'энала не шевельнулась, парализованная видом гноящихся болячек, запахом порчи.

– Слышишь! – настаивал он.

Получив подобный приказ, она замерла, наставив уши. Прямо над головой какое-то крупное существо медленно взмахивало крыльями, пытаясь попасть в восходящий воздушный поток, чтобы тот повыше поднял ее над краем уступа. Внизу, у основания его, плеск воды сопровождал грозное мычание, потихоньку превратившеся в довольное хрюканье или громогласный визг. На западе певучие голоса каких-то стадных животных поддерживали единство стада, длинношеие члены его паслись, пригнув головы к земле. Поближе какая-то мелюзга скреблась, в траве свистел ветер. Взгляд ее привлекли к себе негромкие щелчки: это лопались стручки неведомого растения под воздействием должной температуры или влажности, расширявшей или сокращавшей их клетки.

– Божья музыка, – выдохнула Хэ'энала, ощущая, как отдается в ее ушах собственное сердцебиение.

– Нет, – возразил Исаак. – Слушай. Здесь есть другие певцы.

– Другие! – повторила она, наконец уловив ноты вечернего канта, тонкие и далекие, уносимые обрывками по прихоти ветра. Другие певцы. *Джанада* – Жана'ата!

Оперев на тонкие руки жуткий и предательский вес вдруг внезапно отяжелевших собственной головы и плеч, Исаак заглянул за край обрыва. Увидев его сосредоточенным и не обращающим внимания на состояние собственной поврежденной кожи, Хэ'энала подобралась поближе к краю обрыва, внимая хорошо известной мелодии, неуверенно исполнявшейся двумя голосами в незнакомой ей, но тем не менее прекрасной манере. *Смешанная толпа*, подумала Хэ'энала, глядя сверху на сборище. Жана'ата и руна, в удивительном сочетании возрастов и полов.

Младенцы-джанада ехали не на плечах своих отцов, но на плечах женщин-руна, державшихся вместе, заткнув уши, чтобы не слышать песню. Среди них находилось и несколько персон, одетых и прикрытых вуалями. Потом она заметила певцов – мужчину в металлической одежде и мальчика, немного младше ее самой.

В душе взорвалось недовольство: она хотела быть здесь вдвоем с Исааком, одинокий камень рядом с одиноким камнем. Она хотела каждый день задавать ему один-единственный вопрос и, пока вращается мир, обдумывать его ответ. Она хотела узнать, что он слышал по пути. Узнать, была ли поэзия и в его ногах. И что рычал бессловесный ветер в его небольшие уши?

«Рано! – подумала она, тревожась. – Я не хочу никаких чужаков!»

В точности такая мысль посещала в данный момент Шетри Лаакса, уловившего женский запах и вовремя посмотревшего наверх, заметив там еще одного беженца, взиравшего вниз с уступа, разделявшего пополам травяную прерию.

«Не надо! – подумал он, обращаясь к тому божеству, которое способно услышать его в данный момент. – Не надо мне никаких чужаков!»

И словно бы под влиянием его мольбы непокрытая голова девчонки исчезла.

При всем том Шетри Лаакс настолько был выведен из равновесия ее нежданным и нежелательным появлением, что запнулся на завершающей строфе вечернего канта, таким образом заслужив очередную наглую ухмылку своего племянника Атаанси. «Я никогда не хотел ничего подобного, ты, самодовольный юнец, – хотелось Шетри рявкнуть в лицо Атаанси. – Забирай этот проклятый доспех, мою упрямую сестру и эти несчастные канты, и сами топайте дальше, и пусть Сти спляшет на ваших костях!»

К данному дню Шетри Лаакс пропел вечерний кант все десять раз. Таким было, отнюдь не случайно, точное число дней, которые он вел на север свою небольшую толпу женщин и детей.

Что бы там ни думал его наглый племянник, Шетри Лаакс никогда не воспарял мыслью ни к чему другому, кроме тихой жизни аптекаря, специализирующегося на каноне Сти. Более того, до того мгновения, когда новый ученик не известил Шетри, что его второродная сестра, Та'ана Лаакс у Эрат с присными только что появилась возле ворот, сам он как-то не задумывался о восстании на юге и, безусловно, не думал, что оно затронет его, – появляться поблизости было позволено только наемным руна. Подобные Шетри адепты жили просто, провиантом их снабжали родственники, приношения которых иногда дополняли дары тех, кто надеялся получить лекарства от предположительно неисцелимых и считающихся ненаследуемыми болезней или травм, сочтенных достаточно легкими, чтобы их можно было лечить, не прибегая к крайней мере. Время от времени вдовы покупали право приготовиться к чистой смерти за водным обрядом. Во всем прочем адептов оставляли в покое, что полностью устраивало Шетри.

– Наш брат Нра'ил был убит в бою, – без предисловий сообщила ему Та'ана, когда он представился ей десять дней назад в приемной для посетителей. – Все его люди убиты. Мой муж

тоже.

Шетри тупо смотрел на нее какое-то время, надеясь, что сестра вместе со своими людьми окажется всего лишь необыкновенно убедительной галлюцинацией. «И зачем ты говоришь мне это? – думал он. – Уходи».

– Я не могу путешествовать в одиночестве, – настаивала на своем Та'ана, невзирая на тот факт, что самостоятельно добралась в такую даль без сопровождения взрослого родственника мужского пола. – Север можно защитить. Ты обязан отвести нас туда.

– Это невозможно, – пробормотал он, едва сумев заговорить, и поднял вверх когти, окрасившиеся во время обряда, который ему пришлось прервать из-за появления Та'аны. Шетри только недавно освоил канон в полном объеме, однако еще не выработал стойкости к пара□м, используемым во время водного ритуала.

– Зелья будут действовать еще несколько дней, – проговорил он, моргая. От сестры пахло дымом, длинная, до пят, вуаль была испачкана; прошитая серебряной нитью ткань заканчивалась сеткой, и узор ее, на взгляд Шетри, как будто бы шевелился. – У меня визуальные расстройства, – проговорил он.

– Это твой долг, – повторила она.

– А что ты скажешь о долге брата твоего мужа?

– Убит, – проговорила она, не отягощая его или себя излишними подробностями этого факта, способными нарушить хрупкий покой. – Теперь ты являешься регентом при моем сыне. Никого больше нет. Доспех принадлежит тебе, пока Атаанси учится.

– Я уже взрослый, – огрызнулся мгновенно обидевшийся пятнадцатилетка Атаанси. – Это оскорбление. Мы будем драться, дядя!

Немедленно развернувшаяся Та'ана отвесила сыну оплеуху, удивив этим поступком сына и дядю, а также себя саму. Атаанси нарушил тишину, хлюпнув носом и зарыдав.

– Возьми себя в руки, – приказала Та'ана уже собственным голосом. – Если ты ослабеешь, расслабятся и все остальные. Пойди посиди с сестрой.

Далее она повергла адептов, наблюдавших с вполне благопристойного расстояния, в еще большее изумление тем, что обеими руками подобрала вуаль и откинула ее с лица, чтобы красноречиво посмотреть на своего уцелевшего брата.

– Смотри сюда! – отрезала она. – Скажи, оставила бы я родные стены, если бы мою честь мог кто-нибудь защитить? Шетри, ты теперь регент! – проговорила она тоном, который он имел полное право истолковать как убедительный. – Доспех в

фургоне.

Посему он стащил с себя свой простой серый балахон, отложил его в сторону и постарался припомнить знания, которым без особенного интереса внимал когда-то в качестве молодого решта́ра, наделенного сомнительным рангом. В результате воздействия зелья или по простой забывчивости он не мог вспомнить, как надо надевать доспех. Униженный, с покрасневшими глазами, Атаанси пытался найти утешение в насмешке, для чего поворачивал не той стороной поножи для своего злосчастного дяди, развеселив тем самым камердинера руна, застегивавшего пряжки.

– Нам придется идти. Надень сапоги, – приказала ему Та'ана, пока он возился с кирасой. Все судоходные реки к югу от Мо'арла теперь полностью контролировались мятежными руна. – И возьми с собой мазь от ожогов.

Шетри был еще слишком одурманен и не сумел сказать, что ноги его привыкли к ходьбе.

Он подолгу ходил каждый день, собирая психотропные травы и минералы, которые можно было растирать, как пигменты для красок; он даже не подумал спросить, кто обжегся.

Так Шетри Лаакс начал свой путь на север посреди ярких ореолов, окружавших каждый твердый предмет, номинально командуя двором своей сестры, но на деле следуя указаниям служанки-руна, знавшей дорогу и фактически возглавлявшей путь. «Фарс, – думал он на каждом шагу в первый день своего похода. – Какой нелепый фарс».

Однако проведя под открытым небом полный второй день пути, Шетри понял достаточно много, что позволило ему оценить немногословную отвагу своей сестры, узнал он и о том, зачем понадобилась мазь от ожогов. Та'ана оставалась в своем пылавшем владении до последнего мгновения, собирая своих людей и организовывая их уход при свете пожара с отвагой, рожденной отчаянием.

Подожжен был весь город – даже кварталы, населенные слугами-руна, чью доброту и привязанность Та'ана воспитывала в расчете на то, что однажды война сама придет к ней в дом. Она и ее дети остались в живых только благодаря слугам-руна, вывезшим остатки семьи в фургоне с двойным дном – давным-давно приготовленном для такого случая, – внешне груженном награбленным добром, но на деле провиантом и семейными ценностями, в том числе помятым и покрытым копотью доспехом Нра'ила.

Известная служанке, едва заметная дорога пролегала мимо догоравших руин нескольких других городов. Ни одного из

мужчин жана'ата старше шестнадцати лет не осталось в живых; только время от времени им попадался на пути плачущий ребенок или голодная женщина. Некоторые из них страдали от ожогов, слишком тяжелых для того, чтобы их можно было спасти; таким Шетри даровал покой, а потом сжигал тела на кострах, воспламененных от угольев их собственных домов. Остальных, как и сестру, он лечил от ожогов, а Та'ана принимала всех и каждого в свой походный обиход, не считаясь ни с происхождением, ни с рангом.

– Еще одного мы не прокормим, – говорил Шетри всякий раз, когда очередной беженец пополнял его отряд.

– С голода не умрем, – настаивала Та'ана. – Голод еще не самое страшное.

Однако продвижение их замедлилось, и они собрали больше народа, чем можно было прокормить припасами из фургона. Ночи беженцев наполняли кошмары, то одному, то другому снился пожар, их крики будили остальных; днями борьба усталости и страха определяла скорость движения. На пятый день голова Шетри прояснилась, и он осознал, что можно прирезать одного из пришлых руна. На девятый день они бросили фургон. Теперь все, слуги и господа, что-то несли, кто ребенка, кто пищу, кто нужные в пути вещи.

Теперь, после стольких дней бегства, но так и не достигнув безопасного места, маленький отряд ощутил, что количество в нем руна и жана'ата опасно не уравновешено. Чем больше беженцев принимала Та'ана, тем медленнее они шли и тем чаще приходилось им убивать; предшествующей ночью еще двое слуг-руна бежали из лагеря.

«На такой скорости мы никогда не доберемся до Инброкар-города», – подумал Шетри, глянув наверх, на край обрыва утеса, за которым пряталась неизвестная девушка. Он повернулся к сестре, надеясь, что та не заметила новую беженку, однако Та'ана уже стояла, сбросив на плечи вуаль и наставив вперед уши.

– Приведи ее, – сказала Та'ана.

– Скоро стемнеет!

– Значит, ступай за ней прямо сейчас.

– Спускайся вниз, девушка! – крикнул Шетри, повернувшись лицом к утесу. Ответа не последовало.

Он посмотрел на сестру, ответившую ему бескомпромиссным взглядом.

– Ну, ладно, – пробормотал он, поманив к себе камердинера движением уха, чтобы тот помог ему вылезти из доспеха. Та'ана заслужила повиновение; и Шетри, не слишком знакомый с правилами лидерства, предоставил его сестре.

Освободившись от веса доспеха, он направился по руслу реки, ступая осторожно, стараясь не привлечь к себе внимания пары *кранил,* фыркавших и возившихся на мелководье вверх по течению, а потом остановился и посмотрел вверх, на край обрыва, за которым в последний раз видел эту необычную девушку. Уступ не был отвесным. Отваливавшиеся от него каменные блоки спускались к воде, образуя некоторое подобие лестницы на первых двух третях подъема, после чего уступали место вертикали, на глазах превращавшейся в отвесную. Простое ожидание нелепой смерти пару раз уступило место почти полной уверенности в ней, так что Шетри Лаакс находился в особо неприятном расположении духа – одновременно пребывая на середине, во всяком случае, масштабного и почти всеобъемлющего и искреннего проклятия, призывавшего мор, увечье, скорби, понос и чесотку на всякую живую тварь, обитающую к востоку и западу от реки Пон, когда перед ним возникло лицо, которое вполне способно оказаться не чем иным, как следствием воздействия одного из наркотиков школы Сти.

– Не упади, – посоветовала ему девица, когда он оказался на краю уступа, ощущая, как алчут его легкие и ступни, первые – воздуха, а вторые – опоры.

Какое-то время он в ошеломлении взирал на эту молодую особу, находившуюся не просто без вуали, но в полной наготе. Смущенный превыше всякого описания, он наконец отвел глаза от зрелища только для того, чтобы узреть сидевший на земле рядом с ней некий безносый, бесхвостый, покрытый язвочками продукт нездорового воображения.

– Брат этой болен, – пояснила девица.

Шетри внимал ей, развесив уши, и не сразу заметил, что пошатнулся. Резким, но неизящным движением он восстановил равновесие, опершись на корявый куст, росший горизонтально из трещины в камне, и без всякой задержки перепрыгнул на край обрыва.

– Госпожа моя, – упав на живот, выдохнул он краткое приветствие. – Твой *брат?* – Девушка смотрела на него, не понимая. – Твой брат? – повторил он на кухонной руанже. Она ответила жестом, подняв подбородок.

Скорчившийся, скрестивший ноги, обхвативший себя костлявыми руками «брат», очевидно, был заживо освежеван на редкость неумелым охотником. Крошечный нос его Шетри заметил, подойдя поближе, но все остальное тело чудища было воспалено и покрыто волдырями.

– Он слишком плох, – обратился Шетри к девушке, усталым движением поднимаясь на ноги. – Этот подаст ему покой.

– Нет! – воскликнула девица, когда Шетри зашел за спину бедной твари и поднял за маленькую челюсть ее голову, чтобы разорвать горло. Шетри замер. Невзирая на не слишком высокий рост, она вполне могла перекусить ему горло. А Шетри за последние годы даже не боролся ни с кем.

– *Уходи прочь*, – приказала она. – Оставь нас в покое!

«И что это произошло со всеми женщинами на этом свете?» – спросил себя Шетри.

Задержавшись на мгновение в прежней позе, он с великой осторожностью отнял ладони от горла неведомой твари и попятился.

– Моя госпожа, не смею представить себе ничего более желанного, чем исполнять твои приказания, – обратился он с особым почтением к этой голой сучонке, – но, кем бы ни являлось это существо, оно умирает. Позволишь ли ты своему «брату» страдать?

Яростный взгляд не смягчился, и Шетри начал подозревать, что девушка не поняла ни единого произнесенного им слова. Обратившись к сохраненным в памяти с детских лет обрывкам руанжи, он попытался как можно понятнее передать смысл своего вопроса.

– Эта не хочет, чтобы он страдал. Эта хочет, чтобы он *жил*, – объявила девица с ядом в голосе, на взгляд Шетри совершенно излишним в такой ситуации.

«Хорошо, выбирай! – хотел уже сказать Шетри. – *Ты можешь выбрать или одно условие, или другое».* Он для пробы огляделся по сторонам и с некоторым удовлетворением заметил неяркую трепещущую ауру над всеми голубыми предметами, к числу которых относились и странным образом небольшие глаза «брата». Что показалось ему чрезвычайно, пусть и временно, обнадеживающим фактом. Возможно, этот брат не реален! А заодно с ним и девица…

Впрочем, Та’ана ее видела. Шетри со вздохом выпрямился, осторожно отошел от несчастной ободранной твари и приблизился к краю уступа, чтобы посмотреть на свою сестру.

– Что там у тебя? – окликнула его снизу Та’ана.

– А не хочешь ли ты сама подняться сюда и посмотреть? – бодрым тоном предложил ей Шетри, даже не пытаясь изображать из себя начальство.

Раздевшаяся для подъема до нижней рубашки, Та’ана уже скоро оказалась на вершине уступа. Шетри тем временем невозмутимо сидел невдалеке от девицы и ее, как она настойчиво уверяла, брата, негромко произнося один-два куплета для Сти. И, к его полному блаженства удовлетворению, лицо его сестры

вытянулось точно так же, как только что его собственное.

Та’ана восприняла ситуацию с восхитительной расторопностью домовладелицы из среднего класса, привычной к приему неожиданных гостей.

– Достопочтенные гости, – произнесла она, поднимаясь на ноги и обращаясь к новоприбывшим со всей учтивостью, с какой обращалась ко всем беженцам, встреченным по пути на север. Девушка с опаской посмотрела на нее. – Если это угодно вам, приглашаю присоединиться к моему двору и дому и поступить под защиту моего господина брата. – Повернувшись к Шетри, Та’ана негромко добавила: – Постарайся: монстр должен выжить.

Требование было совершенно неразумное, однако в погасающем свете второго из солнц Ракхата Шетри Лаакс сделал все возможное для этого. То есть сделал немногое. Подозвав к себе служанку Та’аны, он велел ей принести самую чистую спальную подстилку, какую только удастся найти, а также найти у беженок лишнюю нижнюю рубашку.

– Нет, – поправил он себя, вспомнив про наготу новой девушки, – найди две рубашки, а не одну. Но прежде чем подниматься, намочи одну из них в реке. Только пусть она останется чистой! И принеси мне все мази!

Ожидая, он тщательно осмотрел монстра, но не прикасаясь к нему. Они с Та’аной почти ослепли к тому времени, когда рунао поднялась наверх, но к этому времени Шетри уже составил план решения.

– Положи эту… *особу* на подстилку, но не прикасайся к ее коже, – сказал он служанке, не позволяя ей запаниковать. – Затем осмотри это целиком и сними с тела любую грязь и листья. Но будь осторожна.

Он подождал, рассчитывая, что жалкое создание завопит, но монстр молчал.

– А он еще живой? – обратился он в темноту, не решаясь расходовать свой драгоценный запас лекарств на труп.

– Жив, – донесся до него голос служанки.

– Что ты делаешь? – встревожилась новая девушка. – Скажи этой, что ты делаешь с ним!

Служанка молчала, не зная, кого теперь слушать.

– Скажи ей, детка, – усталым голосом проговорил Шетри, выжидая, пока прекратится гомон. – Хорошо, – сказал он тогда рунао, – аккуратно разверни вогнутую серебряную лопаточку… только не прикасайся руками к широкой части! С помощью ложечки нанеси мазь на все его тело… очень тонким слоем, понятно? Держи ложечку круглым донцем к больному, но так,

чтобы ее края не касались кожи. Когда все тело его будет покрыто мазью, прикрой его влажной рубашкой, дитя. Сегодня ночью ты будешь поливать его свежей водой, поняла?

Сделав все возможное, Шетри Лаакс покорился дневной усталости и отошел ко сну, надеясь, что, проснувшись утром, сможет весь день посмеиваться над абсурдностью снов, посланных Сти.

Когда Исаак открыл глаза, утренний кант уже почти завершился, а в воздухе плавал запах жареного мяса.

– Они убили рунао, – прошептала Хэ'энала. – И едят ее.

– Все едят, – даровал Исаак бесстрастное оправдание поступку.

Однако она настаивала:

– Нет, это неправильно. Съедобного много.

Исаак прислушался к канту. А потом уснул.

– Попробуй вот этого, – сказала Хэ'энала, когда он проснулся в следующий раз. Она сидела рядом с ним, но так, чтобы он ее не видел, и указала ему на чашку с отваром, стоявшую неподалеку. Он отвернулся.

– Все едят, – напомнила она ему. – Шетри говорит, что мясо укрепит тебя. Некто поймала это мясо сама. Оно не руна.

Исаак сел. Все вокруг изменилось. Теперь они находились внизу, а не наверху… под навесом, устроенным из ткани, прошитой серебряной нитью. Приятный цвет. Было тихо. Руна держались поодаль и говорили негромко. Его прикрывало нечто влажное. Кожа его сделалась скользкой и блестела. Поскольку никто не говорил, он сумел осмыслить все это. Скользкий состав холодил кожу.

– Планшет? – спросил он у Хэ'эналы.

– Эта была с ним осторожна. – Краем глаза он заметил ее движение. Планшет стоял невдалеке на плоском камне.

Исаак выпил отвар, снова лег и проговорил:

– Мы останемся с этими людьми.

После неуверенной паузы Хэ'энала произнесла:

– До тех пор, пока силы не вернутся к тебе.

– Они поют, – сказал Исаак и уснул.

– Откуда тебе это знать? – возмутился Атаанси Эрат, не сомневаясь в том, что мать говорит сущую нелепицу.

– Ты был еще слишком мал, чтобы помнить… Высочайший однажды проезжал через нашу резиденцию с инспекционной поездкой. Жуткий человек! Но когда он посмотрел на меня… это были глаза Бога! У нее такие же божественные глаза, –

настаивала Та'ана Лаакс у Эрат, но так, чтобы ее не слышали руна и прочие беженцы. – Эта девочка принадлежит к роду Китхери.

– И скитается в здешней глуши одна, в обществе подобного чудища? – воскликнул Шетри. – Голая и говорящая только на руанже? – Он предпочитал придерживаться своего первого впечатления, говорившего, что он снова галлюцинирует, и никак не мог полностью отказаться от этого мнения.

– У изменника была дочь от Жхолаа Китхери. Родившаяся шестнадцать лет назад, – подчеркнула интонацией Та'ана. – Как ты не понимаешь? Ее воспитали руна, на юге. Бесхвостый монстр – это один из иноземцев.

Атаанси открыл рот, чтобы снова спросить, откуда она знает. Не позволив ему заговорить, Та'ана произнесла:

– Я слушала концерты Высочайшего! И знаю о… – Она помедлила, сразу смущенная и возбужденная упоминанием этой поэтической темы. – И знаю о подобных вещах.

Если ее сын и ощущал желание прочитать матери лекцию о благопристойности, постановка ушей дамы заставила его передумать.

– Ну тогда, – сказал Атаанси, – нам следует казнить их и доставить их ароматические железы в Инброкар. Никто не отменил указы о казни безымянного и всего его клана. И всех иноземцев за компанию!

К удивлению мальчишки, мать не стала сразу соглашаться с ним.

– Поторопись мгновение, и всю жизнь сожалеть будешь, – проговорила она, подумав, задумчиво глядя на сына. – Кажется мне, Атаанси, что тебя пора женить.

Шетри Лаакс был уже уверен в том, что сестрица более ничем удивить его не может, Атаанси Эрат, заметил он с восторгом, еще был способен на это.

– На ней? – взвизгнул парень. – Она же ВаХаптаа! Ей вынесен смертный приговор! Ее дети будут…

– …Рождены во время, когда не существует ничего определенного, – договорила за него мать. – Она принадлежит к боковой линии дома Хлавина Китхери, для которой порядок наследования еще не установлен. Как знать, разве порок не способен превратиться вдруг в достоинство? Китхери изменил все порядки, и она не может оказаться первой среди племянниц в очереди на престол, – отметила Та'ана. – Девица невелика ростом, но хорошо сложена и находится в нужном возрасте…

Протесты Атаанси в данный момент обрели силу. Его добрый дядя получил возможность какое-то время насладиться драмой,

радуясь, что о нем надолго забыли, однако покой его оказался недолгим.

– Похоже, что Атаанси слишком брезглив и разборчив для того, чтобы покрыть ВаХаптаа самого благородного и древнего рода, – невозмутимо промолвила Та'ана Лаакс у Эрат и с бесстрастным прагматизмом перенесла свое внимание с сына на брата. – Но, может быть, ты проявишь желание возобновить род Лаакс, теперь, когда наш брат и члены его семьи мертвы?

Наставив уши, Та'ана дожидалась ответа.

Которого не последовало, ибо Шетри Лаакс занимался безмолвной переоценкой собственной способности к удивлению.

Поднявшись, Та'ана посмотрела на обоих пришельцев, укрывшихся под навесом из ее собственной посеребренной вуали.

– Что касается иноземного монстра, – продолжила Та'ана, – он может пригодиться в качестве заложника, если дела на юге пойдут слишком плохо.

Чем самым окончательным образом завершила дискуссию.

– Некто считает, что твой брат очень хорошо поет, – сообщил Шетри Лаакс девушке на следующий день во время утренней прогулки. Он не стал говорить ей, что ее собственный голос не менее прекрасен. Его до сих пор смущало, что она позволяла себе петь канты, хотя Та'ана и сказала ему, что при дворе Китхери такое теперь считается допустимым. – Его чистый и приятный голос обладает нездешним…

– Чужестранным звучанием, – подсказала Хэ'энала, улыбнувшаяся, пока Шетри анализировал словосочетание, а потом моргал, усваивая его смысл. – Исаак любит музыку, как ничто другое.

– А что вы с ним поете после кантов?

– *Ш'ма*, песню народа нашей матери.

Шетри уже прекратил пытаться понять представления Хэ'эналы о родстве.

Музыку, с другой стороны, он ценил:

– Она прекрасна.

– Как и ваши песни. – Она умолкла и не сразу продолжила: – Некто благодарит тебя за то, что ты пел Исааку. Канты Сти успокаивают сердце. Эта жалеет о том, что не понимает слов, однако и мелодия прекрасна.

Шетри пропустил шаг, собираясь задать вопрос, смущавший его:

– Как может Исаак запомнить сказание, всего один раз услышав его? Некто учил несколько лет… – Он отвернулся в смущении. – Он учился искусству запоминать или в клане вашей

матери все такие?

– Наша мать говорит, что ум Исаака устроен иначе, чем у всех остальных. Исаак не будет похож на кого-то еще, даже если окажется среди своих.

– Генетический каприз, – предположил Шетри, однако она не поняла его. Хэ'энала знала вечерние канты, однако почти не была знакома с современным к'сан, а в руанже похожей идеи просто-напросто не существовало. Умолкнув, он принялся изучать невысокие кустики, попадавшиеся вдоль пути, отмечая и росшие вокруг травы, и один раз даже, наклонившись, срезал стебелек жар-травы, которой лечат лихорадку, и вдохнул ее аромат. Он был рад этой возможности отвлечься и еще более рад оттого, что девушка эта не относилась с пренебрежением к мужчине, знающему толк в растениях.

Пока Та'ана не предложила ему взять за себя эту девушку, Шетри никогда во всей своей жизни не помышлял о супружестве, даже наедине, даже после того, как узнал о смерти Нра'ила и его наследников. Он знал, что Хэ'энала еще молода, но сам ощущал себя в мире новорожденным. Интересно, переговорила ли с ней об этом Та'ана. Он не знал, как устраиваются подобные вещи; он родился третьим, и подобные заботы для него не существовали.

– Хэ'энала… странное имя, – проговорил Шетри.

– Эту назвали в честь женщины, которой восхищался ее отец.

Получалось, что она не скрывала, но и не открывала свое происхождение. Возможно, она считала его очевидным – и действительно, таковым его считала Та'ана. Или, быть может, она уже все сказала самому Шетри, однако он не владел в совершенстве ее руанжей и упускал из вида некоторые тонкости. Душа ее казалась ему подобием цветного стекла: пропускающего свет, но непрозрачного.

Он со смущением осознал, что то и дело разглядывает ее; она не захотела пользоваться платьем или даже вуалью, и исходящий от нее запах опьянял.

Шетри посмотрел на оставшийся вдалеке лагерь его сестры, поставленный на скорую руку и грязный после ночного дождя. Очень скоро ему придется спросить ее о том, что для нее лучше: ходить голой или голодной. Камеристка была теперь наименее ценной из всех рунао; а учитывая, что Та'ана уже отказалась и от вуали, похоже было, что время одевальщицы было уже на исходе.

– Нам надо спешить в Инброкар-город. Та'ана опасается, что нас могут не пустить туда, если в городе собралось уже слишком много беженцев, – сказал он Хэ'энале, когда они пошли дальше. – Что вы будете делать, когда язвы Исаака заживут?

Хэ'энала уклонилась от прямого ответа.

– Есть руна неправильно. – Она остановилась и посмотрела ему в глаза. – *Сипаж,* Шетри, если бы не это, мы остались бы с тобой.

Чтобы убедиться в том, что он все правильно понял, Шетри пришлось еще раз прокрутить в уме ее слова: она действительно использовала обращение, предназначенное прямо для него лично, а не как члена дома и свиты его сестры. До знакомства с Хэ'эналой он вообще редко разговаривал с особами женского пола, однако в значении исходящего от Хэ'эналы аромата трудно было усомниться, и глаза ее обрели цвет аметиста, и она смотрела на него взглядом не знающей страха любовницы-руна.

– Некто… – Он словно утратил голос. А потом, вспомнив, что является регентом, решил принять значительный вид, снова начал: – Племянник этого Атаанси…

– Не представляет для меня никакого интереса, – решительным тоном закончила за него Хэ'энала. – Твоя сестра найдет для него другую жену. Может быть, двух.

Шокированный Шетри попятился.

– *Сипаж,* Шетри, скоро все переменится. Нельзя будет допустить, чтобы остался неиспользованным ни один «производитель», – проговорила она, используя термин к'сана, заимствованный у Та'аны.

Хэ'энала самым серьезным образом думала над тем, что надо будет делать дальше. С правой стороны, оставалась любовь к Софии и долг перед ней, а также желание успокоить неизбежную грусть, с другой же, существовала потребность в убежище, в жизни на собственных условиях.

Хэ'энала не могла и не желала обращаться против руна, которых любила и понимала; не могла она также и остаться праздной свидетельницей гибели ее собственного народа. Решение пришло, когда она наблюдала за тем, как Та'ана и ее служанка разумно и практически на равных готовили свой небольшой отряд к дальнейшему пути.

«Сами люди должны будут сделать выбор между нами, – думала Хэ'энала. – И когда нас выберут, мы, *джанада,* начнем все сначала».

Воспитанная руна, Хэ'энала не хотела пугать своего мужчину, однако она подтвердила самые худшие страхи Та'аны по поводу войны. Никаких больше разговоров об Исааке как о заложнике – он должен пользоваться полным статусом приемного брата.

– *Сипаж,* Шетри, – сказала тогда Хэ'энала, – эта говорила обо всем с Та'аной, и мы-но-не-ты согласились. Исаак хочет оставаться с людьми, которые поют, а эта хочет тебя в мужья. Твоя сестра согласна.

Она смотрела на Шетри, доколе тот не потупил глаза; им овладела дрожь, а сама она как никогда остро ощутила в себе пустоту и физическое желание заполнить ее.

– Дело за твоим согласием, – произнесла Хэ'энала голосом отнюдь не столь уверенным, как ей хотелось бы.

Ему оставалось теперь только привести в порядок свои мысли на к'сане и, когда он сделал это в той мере, в какой сумел, перевести свои слова на руанжу.

– У этого, – произнес он на языке, дурно приспособленном к его возможностям и цели, – нет никакого опыта. Этот всю свою жизнь изучал эпос Сти. У этого есть небольшое имение в десяти днях пути к югу отсюда, то есть было, как говорит сестра этого, там теперь больше ничего нет. Все погибло. Этот не может ничего обещать, даже еды, своей…

Знакомая с потребностью Исаака в молчании для того, чтобы привести свои мысли в порядок, Хэ'энала ждала. И после долгой паузы произнесла:

– Можно позавидовать жизни, посвященной изучению поэзии.

После этого она повернулась и посмотрела на юг, на широкую и ровную равнину, по которой пришла сюда, и попыталась вспомнить все, что произошло с того времени, когда она оставила Труча Сай. Вспомнила людей этой деревни и о том, как она любила их всех; их всепоглощающую приязнь и не знающую границ заботливость; их прекрасную, не знающую предела потребность говорить, прикасаться, наблюдать, заботиться… И, закрыв глаза, спросила себя о том, чего она хочет.

И решила, что хочет жить среди людей, которые поют, которые не тараторят и позволяют Исааку думать. Что хочет жить с этим застенчивым и неловким мужчиной, добрым к Исааку и в будущем хорошим отцом. Что хочет кому-то принадлежать, быть в центре, а не на краю чего-то. Что хочет детей и внуков. И не хочет состариться и умереть, зная, что после ее смерти никого подобного ей не останется.

– Я не вернусь. – Шетри услышал ее слова, однако произнесенные на совершенно неизвестном ему языке. Хэ'энала заговорила снова, и на сей раз он понял ее: – Отец этой однажды сказал ей, что лучше умереть, чем жить в скверне. А я скажу: лучше жить правильно.

Смесь языков, необходимых ей для произнесения такой мысли, вновь озадачила его. И она продолжила:

– Эта сможет прокормить себя и своего брата. И тебя, пока ты будешь учиться.

Он знал, что слова ее справедливы. Она уже приходила в лагерь с дичью; жареное мясо оказалось жестким и волокнистым,

однако остававшиеся в живых домашние слуги были уверены в том, что сделают его вполне съедобным, если получат время на то, чтобы научиться его готовить.

– Эта хочет услышать от тебя обещание: ты никогда больше не будешь есть руна.

Мелочь, казалось бы, пустяк, почти разумный и даже понятный, требующий отказаться от самой основы цивилизации жана'ата просто потому, что этого просит стоящая перед ним необычайная девушка.

– Как тебе угодно, – проговорил он, пытаясь понять, не является ли этот разговор результатом какой-то наркотической иллюзии, и вдруг понял, что дело не в благовонных испарениях Сти, но в благоухании ее тела, в ее близости…

Удивляться было нечему. Если Хэ'энала была именно той, кем считала ее его сестра, значит, она выросла среди руна, и спаривание их для нее не секрет. Но при всем том в то утро под просторным небом, при свидетельстве трех светил, без свадебных гостей, если не считать таковыми ветер и дикие травы, Шетри Лаакс обнаружил, что должен еще раз пересмотреть свою способность к изумлению.

– *Сипаж,* Шетри, идти в Инброкар-город небезопасно, – сказала она попозже, когда, по ее мнению, способность слышать вернулась к нему. – Мы-и-ты-тоже должны идти за горы Гарну. Та'ана согласна. На дальнем севере должны найтись безопасные места.

Лишившийся дара речи, завороженный, опустошенный, обнаженный душой своей, он побежал бы сквозь облака на небо и бросился бы в любое из огненных солнц, скажи она только ему.

– А ты знаешь, кто мы такие? – спросила она. – Эта и ее брат?

– Да, – ответил он.

Она отодвинулась, отчего на Шетри повеяло холодком, и посмотрела ему в глаза.

– Я – учитель, – проговорила Хэ'энала. – А мой брат – вестник.

Он понял чуть больше, чем знакомое слово руанжи – «вестник».

– И какова его весть? – спросил он, понимая, что должен сделать это.

– Уйти, – ответила она. – И жить.

– Мы должны сообщить о себе нашей матери, – сказала Хэ'энала Исааку тем днем. – Этой нужен планшет.

Исаак поднял подбородок, разрешая.

Через аппаратуру «*Магеллана*» они могли услышать любую радиопередачу с поверхности Ракхата и пользоваться всеми

информационными ресурсами корабля, однако определить их местоположение было невозможно. Системы «*Магеллана»* могли только зафиксировать, что сигнал их планшета был принят ретрансляционным спутником, размещенным над континентом. София узнает только то, что они находятся на нем.

Хэ'энала долго думала, пытаясь подобрать слова, которые скажут Софии, что они находятся среди добрых и благих жана'ата и что месть не всегда справедлива. Однако она знала, как люди относятся к тем, кто сотрудничает с *джанада;* и вне зависимости от любых нюансов ее слова будут восприняты как измена.

Ощущая комок в горле, Хэ'энала вышла на связь с «*Магелланом».* Весть ее была настолько важна, что она не решилась говорить, но отстучала одним когтем:

«София, дорогая моя мама, мы ушли из Сада».

Глава 29
Джордано Бруно

2070–2073 годы по земному летоисчислению

– Не вижу здесь никакой проблемы, – проговорил Шон Фейн, выкладывая себе на тарелку порцию тушеного мяса из стоявшей посреди стола кастрюли. – Выведи сигнал на динамики, прибавь громкость. Неужели наш малыш не может выйти из своей норы на прогулку, а?

– Дело не в том, чтобы просто послушать песни. Нужны исследование и анализ, – настаивал на своем Дэнни Железный Конь. – Половина слов мне вообще незнакома, а то, что я понимаю, не лезет ни в какие ворота… Вот, смотри, я сделал все, что мог! Сандос должен помочь нам.

– Я однажды сказал ему, что со времени их полета музыка существенно изменилась. Его эта новость не заинтересовала, – сообщил всем Жосеба, ставя свою тарелку на стол. – Он не желал слушать эти песни еще до нашего отлета.

– Так это было потому, что пел Хлавин Китхери, – задумчиво жуя, проговорил Джон. – Или кто-то другой из его знакомых. Но теперь поют по-другому!

– Однако они, вне сомнения, сохраняют стиль Китхери, – проговорил Карло, наливая себе немного красного вина Ферреджини.

– Да, – согласился Дэнни, – и если Китхери стал теперь сочинять подобным образом, значит, изменилась вся структура их общества…

В дверях кают-компании появился Сандос со шлемом виртуальной реальности под мышкой. Все немедленно умолкли, как бывало всегда, когда он появлялся после долгого отсутствия, причем в неясном настроении.

– Джентльмены, Герион[63] укрощен, – объявил он. – Я успешно совершил на имитаторе полет катера с «*Бруно*» на поверхность Ракхата и обратно.

– Черт меня возьми, – восхитился Франс Вандерхельст.

– Вполне возможный вариант, – согласился Сандос и с деланой скромностью поклонился под одобрительные восклицания, свист и аплодисменты.

– Я и в самом деле не понимаю, зачем ты потратил столько сил на это дело, – проговорил Джон, подошедший вместе с Нико к Эмилио, как два ассистента к герою призового полета, чтобы снять с него перчатки виртуальной реальности и забрать у него

шлем. – То есть меня интересует, насколько труднее тебе пришлось, чем во время игры в бейсбол?

– Я просто не мог представить себе, что именно мне нужно будет сделать. В ментальном плане я почти слеп, – ответил ему Сандос, занимая свое место за столом. – Я даже не понимал, что другие люди способны представлять события визуально, пока не поступил в колледж.

Он кивнул Карло, поднявшему бокал за его здоровье.

– Более того, я совершенно не умею читать карты – когда мне рассказывали, как попасть куда-то, я записывал инструкции в прозе.

Он откинулся на спинку стула с видом довольным, хотя и усталым, и улыбнулся Нико, принесшему для Эмилио миску с кухни.

– В расписании полетов я по-прежнему надежно нахожусь на последнем месте…

– Мягко говоря, – пробормотал сидевший за столом напротив него Джон, явно обрадовавшийся тому, что Эмилио рассмеялся. – Но, быть может, все остальные теперь малость подтянутся!

Послышался негромкий одобрительный ропот, и впервые с начала путешествия вокруг стола воцарилась атмосфера общего согласия, они ели и пили, и беседа сделалась общей. Все они вдруг ощутили в известной мере то, что находятся в одной команде, однако никто не рискнул высказаться по этому поводу, только в самом конце трапезы Нико произнес:

– Так-то оно мне нравится больше.

После этих слов все притихли, как подобало бы за любым обедом, однако тишину нарушил Дэнни Железный Конь следующими словами:

– Послушайте, Сандос, с Ракхата пришла новая песня, над которой я сейчас работаю…

– Не надо, Дэнни! – возразил Джон. – Не будем говорить о работе, хорошо?

Однако Эмилио не нахмурился, и Дэнни понял это как разрешение продолжать.

– Только один отрывок, – продолжил он. – Совершенно необычный, Сандос. Я искренне считаю, что с политической точки зрения мы поняли, что именно подразумевают эти стихи, однако я сделал с ними все, что мог.

– Дэнни… – снова начал Кандотти.

– Джон, когда мне потребуется официальный представитель, я дам тебе знать, – предупредил его Эмилио.

Джон пожал плечами в стиле «я умываю руки». Эмилио продолжил:

– Хорошо, Дэнни. Давайте послушаем.

Легкий и изящный мотив сразу напомнил произведения Моцарта, подкрепленные мощью и воздействием на эмоции симфоний Бетховена. Кроме ведущей партии бас-баритона, голоса ничем не напоминали предыдущие песни: мягкие, сочные альты, рассыпающиеся бриллиантовыми блестками сопрано, вплетенные в такую гармоническую ткань, что у землян перехватило дыхание. А затем их повел один-единственный голос: возвышавшийся, возвышавшийся, увлекавший своей беспомощностью…

– Вот это слово, – подчеркнул голосом Дэнни, когда сопрано возвратилось в хор, как возвращается разбившаяся волна в океан. – В нем ключ. Должен быть. Вы знаете его?

Сандос покачал головой и поднял ладонь, заново прослушав весь отрывок, прежде чем заговорить.

– Еще раз, пожалуйста, – проговорил он, дослушав до конца. А потом: – Еще раз, – уже глубоко задумавшись.

– Нико, будьте добры, принесите мой планшет, – произнес Сандос, когда музыка стихла. – И когда мы получили этот отрывок, Дэнни?

– На прошлой неделе.

– Так, позвольте проверить, правильно ли я понимаю процесс, посредством которого мы получаем эти передачи, – прозаичным тоном проговорил Сандос, когда Нико побрел за компьютером. – После того как эти песни были исполнены на Ракхате, их автоматически зафиксировала аппаратура «*Магеллана»,* закодировала, заархивировала и собрала в пакет, так? И отправила в память, чтобы весь пакет выслали при удобном положении звезд. Через более чем четыре года после отправки «*Магелланом»* этот сигнал дома приняли радиотелескопы. После чего Консорциум Контакт продал информацию иезуитам, вне сомнения потратив какое-то время на переговоры о цене. Дальше информацию изучили, снова запакетировали. И отослали нам, через какое время? Года через два, наверно? И мы сейчас летим на максимальной скорости? – спросил Сандос, поискав взглядом Жирного Франса для подтверждения. – Итак, до того, как пакет на прошлой неделе догнал нас, прошло много времени благодаря релятивистским эффектам. Не знаю, во сколько лет все это сложится, Дэнни. Но новость старая, с бородой… Ах, *grazíe,* Нико.

Какое-то время все они наблюдали за знакомым всем процессом, пока Сандос сверялся со своими файлами, разыскивал похожие корни, способные подтвердить или опровергнуть гипотезу, формировавшуюся в его мозгу.

– Слово это, на мой взгляд, связано с корнем, означающим перемену: *сохраа,* – произнес он наконец. – Первый слог, конечно,

является интенсификатором. Сам термин, похоже, представляет собой поэтический неологизм, но я не знаком с этой конструкцией. Она может оказаться скорее архаичной, чем новой, да? Он соединяет *сохраа* со стволом, предполагающим прорыв наружу или прорыв на свободу: *храмаут.* Единственный раз я слышал его, когда Супаари привел меня в свой двор для того, чтобы показать мне небольшое животное, выбиравшееся из какого-то подобия куколки. – Он посмотрел в глаза Дэнни. – Если я должен предложить свой вариант, скажу, что вижу в этом слове некое подобие эмансипации. Смысл его, должно быть, заключается в радости от освобождения из оков.

Дэниэл Железный Конь ненадолго закрыл глаза, быть может, в молитве. Началось обсуждение, но Дэнни перекрыл всех голосом:

– Но вы согласны, что автором произведения *является* Китхери? Его стиль угадывается и в стихах, и в музыкальной форме?

Сандос кивнул:

– Несомненно.

– А голоса? – настаивал Дэнни. – Кто поет? То есть не кто по имени, а какой вид разумных существ?

– Басы – это, конечно, жана'ата. Мужского пола. Остальные голоса находятся в более высоком регистре, – невозмутимо ответил Сандос.

– *Scuzí,* — вежливо поинтересовался Нико. – Что такое эманси… как там дальше?

– Эмансипация. Это примерно освобождение, уравнение в правах, – объяснил ему Эмилио. – Когда рабов официально освобождают, это называется эмансипацией.

– У руна более высокие голоса, так ведь? – предположил Нико. – Может быть, они стали петь, потому что обрадовались свободе.

Железный Конь смотрел в глаза Эмилио:

– Сандос, а что, если Китхери эмансипировал руна?

Он первым осмелился произнести эти слова вслух. Присутствовавшие в кают-компании выпрямились, моргая, еще раз обдумывая то, что сейчас слышали.

– Боже мой, Эмилио! – воскликнул Джон. – Если руна запели… Если эмансипация, равенство стали темой этой песни…

– Это изменило бы все, – прошептал Шон, а Карло театрально вздохнул.

– Я опоздал! – воскликнул Франс Вандерхельст. – Мои поздравления, Джонни! Вот и твой скрытый смысл!

– Сандос, – аккуратно проговорил Дэнни, – возможно, вам

было назначено вернуться именно по этой причине…

Сандос пресек начинающееся обсуждение обращенным на Дэнни жестким взором:

– Даже если вы правы, а я сомневаюсь в этом по целому ряду причин – лингвистических, политических и теологических, – мое присутствие на Ракхате едва ли потребовалось для этого. – Он посмотрел на табло, показывавшее относительное земное время.

– Я мог бы услышать эту песню в тот момент, когда музыка достигла Земли. Годы назад? Конечно. Примерно в то время, когда мы с Джиной праздновали бы нашу восьмую годовщину? – Он ожег Карло ледяным взглядом.

Пролетело мгновение напряженной тишины.

– Мне жаль разочаровывать Нико и других наиболее романтично настроенных членов экипажа, – продолжил Сандос, – но остальные голоса не кажутся мне принадлежащими руна. Кроме того, поют на высоком к'сане, что если не опровергает высказанную Дэнни гипотезу, то, во всяком случае, не поддерживает ее. Альты постоянно пользуются формами личного местоимения, которых я никогда не слышал. С другой стороны, мне никогда не приходилось разговаривать с женщинами-жана'ата, даже когда я был членом гарема Китхери, поэтому предположу, что это местоимение находится в женской форме и что поют взрослые женщины. Возможно, самые высокие голоса принадлежат детям, однако, скорее всего, это дети жана'ата, а не руна.

– Но даже если он освободил женщин жана'ата… – начал было Дэнни.

– Отец Железный Конь, вижу вашу определенную склонность к необоснованным предположениям, – проговорил Сандос с едкой любезностью, которой они все привыкли бояться. – Почему вы, например, наделяете Китхери способностью затеять какой-то процесс, вместо того чтобы просто отметить определенный факт? Не пытаетесь ли вы найти мотивы для самооправдания в ситуации и в человеке, о котором вам ничего неизвестно?

Дэнни принял этот выпад как пощечину, какой эти слова в сущности и являлись.

– Если бы, – продолжил Сандос, – Хлавин Китхери каким-то образом нес ответственность за изменение статуса таких членов собственного вида – а я даже представить себе не могу, каким образом это могло бы случиться, – я был бы рад за них. Но ему лично я ничего не прощу.

– Однако малое изменение может возмутить систему, – ответил Жосеба, до сих пор увлеченный идеей. – Что, если какие-то ваши слова или действия повлияли на Китхери или одного из

других жана'ата? Это могло бы сделать то, что случилось… – Он умолк, потому что Сандос вдруг поднялся и перешел на другую сторону помещения.

– Чем, Жосеба? Простительным? – спросил Сандос. – Терпимым? Хорошим? Самым лучшим?

– Это могло бы искупить то, что произошло с вами, – негромко предположил Шон Фейн, едва не пошатнувшийся под мимолетным взглядом черных глаз, но заставивший себя продолжать.

– Вот что, ну как мы можем знать, Сандос! – воскликнул он. – Что, если бы засранцы из австрийской приемной комиссии приняли бы молодого Гитлера в художественную школу? Он писал вполне приемлемые пейзажи и архитектурные сюжеты. Возможно, если бы ему удалось получить художественное образование, вся история могла бы стать другой!

– На пару слов, Эмилио! – настоятельно проговорил Джон. – По доброте, по любви, от храбрости…

Сандос стоял на месте, опустив голову и отвернувшись от них.

– Ладно, – рассудительно проговорил он, посмотрев вверх. – Обсуждения ради предположим, что непреднамеренные последствия могут равным образом вести к добру или ко злу. Недостаток вашего предположения в его связи с моим делом заключается в том, что мне ни разу не представилась возможность произнести перед Хлавином Китхери или его клевретами проникновенную проповедь на тему свободы или ценности душ – жана'ата, руна или человеческих.

Он умолк, ожидая с закрытыми глазами. Естественным образом утомленный. Так оно и было.

– Не помню, чтобы мне представилась возможность произнести хотя бы слово. Орал я достаточно много – боюсь, по большей части непроизвольно. – Он вновь умолк, неровно вдохнул и медленно выдохнул, прежде чем поднять взгляд от пола. – И хотя я, конечно, сопротивлялся этим извращенцам изо всех сил, однако сомневаюсь в том, чтобы даже самый симпатизирующий мне наблюдатель квалифицировал этот факт как проявление моей отваги. На память приходит скорее «пример удивительно бесплодного сопротивления».

Он вновь замолчал, аккуратно вздохнул.

– Итак, как вы можете видеть, – спокойно подытожил он, – едва ли существует клочок надежды на то, что кто-то мог бы извлечь просвещающие уроки относительно святости жизни или политической добродетели свободы из… из моей *службы* жана'ата. Кроме того, джентльмены, давайте навсегда оставим эту

тему до самого конца нашего путешествия.

Все присутствующие моргая проводили взглядом Сандоса, оставившего комнату, завершив свое выступление. Никто не обратил внимания на Нико, незамеченным стоявшего в углу, когда он также оставил кают-компанию и направился в свою каюту.

Открыв шкафчик над столом, Нико провел краткую инспекцию своих сокровищ и выудил два твердых цилиндра неравной длины: полтора батона припасенной на черный день генуэзской салями. Положив их на стол, он сел и вдохнул чесночный аромат, серьезно задумавшись… Он прикидывал, сколько осталось, сколько пройдет времени до того, как он сможет купить новый запас, и как именно чувствует себя дон Эмилио, когда у него жутко болит голова. Дарить салями человеку, который просто выблюет лакомство, было бы невероятным расточительством. Тем не менее Нико решил, что любой подарок будет приятен, и дон Эмилио может приберечь ее на потом – когда головная боль пройдет.

Люди часто смеялись над Нико, когда он что-то воспринимал слишком серьезно. Они говорили серьезно, и он воспринимал их слова серьезно, а потом смущался, когда оказывалось, что они шутили. Ему редко удавалось заметить разницу между подобного рода шутками и серьезным разговором.

– Это называется иронией, Нико, – объяснял ему дон Эмилио однажды вечером. – Ирония часто заключается в том, что смысл шутки противоречит смыслу слов. Чтобы понять шутку, надо удивиться, а потом посмеяться разнице между тем, что якобы думает человек, и между тем, что он говорит.

– Значит, это ирония, когда Франс говорит: «Нико, ты умный пацан»?

– Может, и так, но он может так говорить, чтобы посмеяться над тобой, – честно признал Сандос. – Ирония будет, если ты сам в шутку скажешь: «Я умный парень», потому что считаешь себя глупым и многие другие люди так считают. Но ты не глуп, Нико. Ты учишься медленно, но усваиваешь знания основательно. Если ты что-то понял, то понял надежно и не забудешь впредь.

Дон Эмилио всегда говорил серьезно, так что Нико мог расслабиться и не искать в его словах скрытую шутку. Он никогда не смеялся над Нико, охотно тратил на него свое время и помогал ему запомнить иностранные слова.

Подобная доброта, с точки зрения Нико, вполне стоила половину салями.

В данный момент Эмилио Сандос в последнюю очередь нуждался в посетителях, но когда он отреагировал на стук в дверь нелюбезным: «Отвали!» – шагов не послышалось, и он понял, что стучавший намерен ждать ровно столько, сколько потребуется. Он со вздохом отворил дверь и без особого удивления обнаружил за ней в кривом коридоре Нико д'Анжели.

– *Buon gíorno,* Нико, – промолвил он терпеливо. – Боюсь, что сейчас я предпочел бы остаться в одиночестве.

– *Buon giorno,* дон Эмилио, – любезным тоном проговорил Нико. – Боюсь, что у меня очень важное дело.

Эмилио глубоко вздохнул, едва не скривился от острого запаха чеснока, но тем не менее отступил от двери, приглашая Нико войти. И, как было в его обычае, тут же отодвинулся в дальний конец своей крохотной каютки и уселся на постель спиной к переборке. Нико присел на край рабочего кресла, а потом нагнулся вперед, чтобы положить половину батона салями в ногах его койки.

– Дон Эмилио. Я бы хотел сделать вам такой подарок, – произнес он без какого-либо объяснения.

С серьезным выражением на лице, неглубоко дыша, Эмилио произнес:

– Спасибо тебе, Нико, за такую заботу с твоей стороны, однако я больше не ем мяса…

– Я это знаю, дон Эмилио, дон Джанни сказал мне: потому что вам нехорошо оттого, что вы ели младенцев руна. А эта салями была всего лишь свиньей, – напомнил Нико.

Эмилио, невзирая на все обстоятельства, улыбнулся:

– Ты прав, Нико. Это была всего лишь свинья. Спасибо тебе.

– А как сейчас ваша головная боль? – встревожился Нико. – Можете приберечь ее на потом, если вас сейчас уже тошнит.

– Спасибо тебе, Нико. Я принял лекарство, боль прошла, и меня больше не тошнит. – В словах его было больше уверенности, чем в ощущениях: запах чеснока сделался удушающим. Однако для Нико этот подарок явно имел огромное значение, поэтому Эмилио соскользнул с постели и обеими руками принял салями в знак своей полной благодарности за подарок.

– Мне было бы приятно разделить твой подарок с тобой… – произнес он, – у тебя есть нож?

Кивнув, Нико достал карманный нож и застенчиво улыбнулся: событие редкое и удивительно вдохновляющее. Эмилио деловито развернул салями, причем без особого труда, потому что в тот день руки его были в порядке. Нико забрал у него колбасу. Направив лезвие к большому пальцу, он с большой осторожностью отхватил от конца батона два тонких кружка.

И Эмилио обнаружил, что принимает один из них с той же торжественностью, с которой прежде принимал освященную гостию. Это всего лишь свинина, напомнил он себе и по прошествии некоторого времени сумел проглотить мясо.

Нико жевал свой кружок, улыбаясь сальными губами, но наконец вспомнил о том, что давно уже собирался сказать.

– Дон Эмилио, – начал он, – я хочу, чтобы вы освободили меня от греха…

Сандос покачал головой:

– Нико, тебе придется пойти исповедаться к кому-нибудь из священников. Я не имею теперь права принимать исповедь.

– Нет, – возразил Нико, – не как священник. Вы сами должны простить меня. Дон Эмилио, мне очень жаль, что я избивал вас.

Эмилио с облегчением произнес:

– Ты всего лишь делал свое дело.

– Это было скверное дело, – настоятельным тоном произнес Нико. – Простите меня за это.

Никаких ссылок на приказы Карло. Никаких самооправданий.

– Нико, – произнес Эмилио спокойным и официальным тоном, которого требовала ситуация. – Я принимаю твои извинения. Я прощаю тебя за то, что ты избивал меня.

Нико с напряжением произнес:

– За оба раза?

– За оба раза, – подтвердил Эмилио.

Нико воспринял эти слова с торжественной радостью:

– А вашу морскую свинку я отнес к своим сестрам. Дети обещали позаботиться о ней.

– Это хорошо, Нико, – не сразу произнес Эмилио, удивленный тем, насколько утешительно ему было узнать такую новость. – Спасибо тебе за то, что ты так поступил, и особенно за то, что сказал мне сейчас.

Воодушевленный, Нико спросил:

– Дон Эмилио, как вы считаете, чем мы собираемся заняться на этой планете… неужели скверным делом?

– Не знаю, Нико, – признался Эмилио. – Когда я в первый раз оказался там, мы очень хотели быть хорошими и делать правильные поступки, но все пошло прахом. На сей раз нас ведут на Ракхат далеко не самые… чистые мотивы. Но как знать? Быть может, невзирая на все, события обернутся в нашу пользу.

– И это будет ирония, – отметил Нико.

Лицо Эмилио смягчилось, и он посмотрел на своего рослого собеседника с неподдельной симпатией.

– Да, действительно. Это будет ирония. – Он был рад тому, что Нико вовремя остановился. – А ты, Нико? Что ты думаешь?

Что нас ждет внизу… плохое дело?

– Не знаю, дон Эмилио, – серьезным тоном произнес Нико, подражая интонации и самим словам Сандоса, как часто делал теперь. – Думаю, нам придется подождать, сначала опуститься туда и посмотреть, что там творится. Таков мой совет.

Эмилио кивнул:

– Очень разумный совет, Нико.

Однако тот продолжил:

– Я думаю, что тот человек, который делал с вами скверные вещи… этот Китхери? Он может сожалеть об этом так же, как сожалею и я о том, что с вами плохо обходились. Только музыка его великолепна – она даже лучше, чем музыка Верди. Тот, кто пишет такую хорошую музыку, не может быть совершенно плохим. Вот что я думаю.

Мысль эту принять было много труднее, но она вполне могла нести в себе зерно истины… Эмилио встал, давая понять, что разговор закончен, Нико также поднялся на ноги, но не шагнул к двери. Вместо этого он протянул руку, осторожно поднял правую руку Сандоса и, пригнувшись, поцеловал ее. Смутившийся, Эмилио попытался отодвинуться, однако осторожное прикосновение Нико казалось нерушимым.

– Дон Эмилио, – произнес Нико. – Я готов убивать или умирать за вас.

Эмилио, знавший этот код, отвернулся и попытался понять, как нужно отреагировать на это незаслуженное поклонение. Слова эти допускали единственный ответ, и, зажмурив глаза, Сандос попытался понять, сумеет ли произнести эту фразу с той искренностью, которой заслуживал этот человек.

– Спасибо тебе, Нико, – произнес он в итоге. – Я тебя тоже люблю.

Сандос едва заметил, как Нико вышел.

Город Гайжур

2080 год по земному летоисчислению

Многие годы спустя Жосеба Уризарбаррена вспомнит этот детский хорал – и обозначающее эмансипацию слово «к'сана» – во время разговора с дочерью Канчая ВаКашан. Когда Жосеба впервые познакомился с ней, Пуска ВаТруча-Сай принадлежала в городе к числу старейших парламентариев, и он часто находил ее точку зрения самой авторитетной в процессе сборки из отдельных частей истории революции руна, которой занимался вместе с остальными священниками.

– Отдельные вспышки военных действий происходили годами, – сказала ему Пуска, – однако еще в самом начале Фиа провозгласила принцип пассивного сопротивления. В нескольких

городах произошли крупные забастовки. Многие из горожан-руна просто ушли из родных мест, не желая отдаваться в руки отбраковщиков.

– И как реагировало на это правительство? – спросил Жосеба Уризарбаррена.

– Уничтожением деревень, дававших приют городским руна. А вскоре они начали жечь естественные поля *ракар* в среднегорье – чтобы голодом принудить нас к повиновению. – Она умолкла, заново вспоминая, взвешивая оценки. – Баланс нарушился, когда Фиа поняла, что нас уничтожают биологическими методами. Еще ребенком она видела собственными глазами, как земной народ курдов уничтожали болезнями. Когда начались эпидемии, мы подумали, что руна, остававшихся на территории *джанада,* заражают, а потом продают на юг и оставляют, чтобы они заражали всех, кто вступает в контакт с ними.

– Однако рост заболеваемости во время восстания мог объясняться смешением прежде не общавшихся популяций руна, – предположил Жосеба. – Объединением природных очагов-хранилищ инфекции, попаданием людей в незнакомые условия? При совместной работе, скажем, болотных жнецов и городских специалистов – и те и другие заражались местными заболеваниями, против которых у них не было иммунитета, и в конечном итоге только распространяли их…

– Да, – согласилась Пуска, помолчав. – Некоторые из наших ученых так и говорили. Но общее мнение в то время занимало другую позицию… – Она по возможности выпрямилась, поставила уши стоймя. – Нам казалось, что *джанада* не оставили нам другой альтернативы, кроме ответного и беспощадного удара. Люди умирали. Тысячи и тысячи умирали во время моровых поветрий. Мы сражались за свои собственные жизни.

Посмотрев на север, она заставила себя быть объективной:

– И они тоже, наверное.

– *Сипаж,* Пуска, кому-то хотелось бы понять – кто переменился: сами жана'ата, или руна стали воспринимать их по-другому?

Пуска задумалась, а затем перешла к английским местоимениям, как делали теперь многие руна для обозначения строго личной позиции:

– Мое личное представление о *джанада* изменилось, когда я покинула Труча Сай. – Она помолчала какое-то время, глядя в пространство. – Когда мы впервые пришли в Мо'арл… *Сипаж,* Жозей, что мы там увидели! Я каждую ночь, целый сезон, скорбела по убиенным. Там были дороги, вымощенные нашими костями, размолотыми и смешанными с известняком, дамбы

вдоль рек – в три женских роста – целиком из костей. Сапоги из шкур нашей убитой родни – даже руна носили их в городах! А еще мясные лавки… – Она смотрела прямо в глаза Жосеба. – Подносы с языками, подносы с сердцами. Ноги, плечи, ступни, филе с гуляшами! Филейные части, хвосты, локти, колени – выставленные самым аппетитным образом. Домашняя челядь… сами руна приходили туда, чтобы выбрать кусок мяса для своих гостей. Как могли они терпеть Это? – с болью воскликнула она. – Как могли *джанада* заставлять их делать Это?

– Этот не может сказать, – честно признал Жосеба. – Иногда у человека не остается выбора. Иногда возможность выбора просто не приходит нам в голову. Люди могут привыкнуть к чему угодно. – Пуска согласно подняла подбородок, а затем резко опустила хвост, не имея более сил понять, как мог существовать тот исчезнувший мир.

– И все же, – указал Жосеба, – были такие руна, которые остались с жана'ата…

– *Сипаж,* Жозей, ты говоришь о предателях, – с полной убежденностью в собственной правоте произнесла Пуска. – Тебе следует понять это. Такие люди бесстыдно разбогатели, продавая плоть погибших солдат-руна этим *джанада,* готовым сколько угодно платить даже за маленький кусок мяса. Но эти руна известным образом заплатили за свое предательство: в конце концов *джанада* съели и их…

– *Сипаж,* Пуска, кто-то печалится оттого, что приходится продолжать разговор на такую тяжелую тему.

– В извинениях нет нужды. Этой приятно отвечать.

– Но были ведь и такие руна, которые остались с *джанада* даже после войны. Они остаются с ними даже сейчас. – Задавая этот вопрос, он внимательно следил за ней, но Пуска не дрогнула. – Они говорили нам, что любят жана'ата.

– Так случается иногда. Руна – благородный народ, – ответила она. – Мы платим за доброту добротой.

– Ты действительно веришь в то, что эти руна поступали плохо, живя с жана'ата? В то, что они такие же изменники и преступники, как подпольные торговцы мясом руна?

– Не изменники. Простофили. В конце-то концов их все равно съедят. *Джанада* не виноваты в этом. Такими они уродились. Дело в наследственности *джанада*, их природном образе жизни, – спокойно проговорила она.

– *Сипаж,* Пуска, этот хочет понять, как это получается. Ты терпишь расспросы, и этот благодарен тебе за это. На севере говорят, что Хлавин Китхери начал эмансипацию руна…

Тут Пуска впервые разволновалась, поднялась и начала

ходить.

– Эмансипацию! Его эмансипация значила: мы тебя съедим, когда ты станешь постарше! *Джанада* объяснили нам, что мы глупы! Вот она, глупость: Хлавин Китхери лично выходит на бой против войска в две сотни тысяч. Глупо было отказываться от переговоров с нами! Мы предлагали им выполнить простые условия, Жозей! Освободите пленных, и мы оставим север за вами. Хлавин Китхери предпочел бой. Он был безумен, как и многие из тех, кто верил в него.

Она посмотрела ему в глаза:

– *Сипаж,* Жозей, руна делали все для и за *джанада.* А они держали нас в рабстве и кормили впроголодь – так чтобы у нас хватало сил на работу. До тех пор, пока не пришли твои люди и не показали нам, что мы можем сами прокормить себя и есть вволю, они старались, чтобы мы не думали, чтобы были довольны своим рабством. Слушай меня, Жозей! Такого больше не будет. Эти времена ушли навсегда. Теперь мы никогда не станем рабами. Никогда.

Он оставался при своем мнении, но это было непросто: рунао, восставшая в праведном гневе, представляла собой внушительную опасность.

– *Сипаж,* Пуска, – произнес он, когда она заставила себя успокоиться, – ты росла вместе с Хэ'эналой. Что ты о ней думаешь? Она тоже была безумна?

Помолчав, Пуска сказала:

– Эта думала о Хэ'энале. Она не сходила с ума. Но она оставила свой народ и присоединилась к безумцам! Сердце этой плакало. Супаари принадлежал к народу, но Хэ'энала так и не вернулась домой.

– А ты знаешь, куда она отправилась, покинув Труча Сай?

– Она ушла на север. – После неуютной паузы Пуска признала: – Эта думала, что Хэ'энала могла попасть в Инброкар.

– Во время осады? – спросил он.

Пуска утвердительным жестом подняла подбородок.

– Пуска, на что ты надеялась в отношении Хэ'эналы?

– На то, что она вернется домой, – уверенно произнесла Пуска.

– А когда она не вернулась?

Тут Пуска начала раскачиваться и заговорила, наконец отвечая не на вопрос, но собственной совести:

– Все переменили сами *джанада.* Они начали первыми и не оставили нам выбора! *Джанада* научили нас жестокости. – И, не глядя на него, она добавила: – Голодать – ужасная вещь. Эта надеялась на то, что Хэ'энала умрет быстро.

– А когда пал Инброкар, многим ли удалось умереть быстро?

Она отвернулась… однако Пуска ВаТруча-Сай была женщиной отважной, и она еще раз покинула безопасное мнение своего стада.

– Они были для меня словно трава, – сказала она. – Я не считала их.

Глава 30
Город Инброкар

2072 год по земному летоисчислению

– Они уже перед новыми стенами, – сообщила Таксайу, и отголоски ее слов загуляли по каменной глотке ветровой башни посольства.

– А где господин мой муж? – окликнула ее снизу Суукмель Схирот у Ваадаи, глядя вверх, на подол халата Таксайу и вставленные в шлепанцы ступни. – И где Высочайший? Ты видишь их?

– Вон они! – спустя недолгое время произнесла Таксайу, указывая рукой на юг, на место, в котором блеснул панцирь. – На Высочайшем золотая набрюшная броня и такое же охвостье. И да, еще серебряные наручи и поножи. Посланник находится слева от него, он весь в серебре. Они возглавляют боевой отряд, а знать теснится за ними.

– А что противоположная сторона? – спросила Суукмель, посмотрев на свою рунао… «*Кем же она приходится мне теперь?* – спросила она себя. – *Не служанкой более, это уже невозможно. Компаньонкой, пожалуй, и достаточно часто. Союзницей, может быть? Теперь в к'сане нельзя было найти подходящего слова для Таксайу*». – Сколько же их?

«*Многое множество*, – думала с незаконным восторгом Таксайу. – *Нас так много!*» И как описать это женщине, никогда не видевшей ничего, кроме внутренней стороны занавесок своих носилок или каменных стен своего имения? Всю свою жизнь госпожа Суукмель отдавала свой разум тонким переплетениям власти и закона, деликатной паутине политики жана'ата, но сейчас было не до абстракций.

Перед ними находилась физическая мощь.

– Мятежников больше, чем волос на теле, – рискнула Таксайу. – Больше, чем листьев на высоком *мархларе*, моя госпожа: их слишком много, всех не сосчитать.

– Я иду наверх, – объявила Суукмель. Городские слухи утверждали, что система питания радиостанции вышла из строя, и Суукмель изголодалась по информации. Не обращая внимания на протесты Таксайу, она заставила себя подняться по винтовой лестнице, устроенной внутри ветровой башни, чтобы собственными глазами взглянуть на собравшееся множество, однако, оказавшись рядом с Таксайу и приподняв вуаль, пошатнулась.

– Тебе плохо? – воскликнула Таксайу, схватив Суукмель за руки, чтобы та не упала.

– Нет! Да! Я не… – Суукмель уронила обратно вуаль и зажмурила глаза. Все, что находилось от нее дальше, чем половина пиршественного зала, сливалось воедино.

– Расскажи мне, – проговорила Суукмель, становясь понадежнее. Она вновь приподняла свою вуаль. – Расскажи мне, что я вижу. Все плывет в моих глазах.

Таксайу постаралась самым лучшим образом исполнить приказание хозяйки: она назвала известные той ориентиры и знакомые объекты. Дома сделались похожими на игрушечные, а рослые деревья *а'ажа,* создававшие тень в собственном дворе Суукмель, превратились в веточки или саженцы, или их вовсе невозможно было заметить в глупом переплетении контуров и очертаний. Руна стали цветными точками, подобными узелкам на лишенном узора ковре. Рассерженная этим бессмысленным смешением форм, почувствовав головокружение, Суукмель сдалась и спустилась к самому основанию башни, в свое убежище.

Маленькая комнатушка в своих каменных стенах давала последний приют желанному для Суукмель уединению: посольство было набито беженцами. Следуя примеру Хлавина Китхери, Ма Гурах Ваадаи также постарался принять к себе столько людей, сколько мог прокормить, однако терпеть последствия решения мужа приходилось самой Суукмель. Не имевшие существенного значения руна были переведены на мясо для того, чтобы отдалить наступление голода; в городе осталось очень немного домашних слуг, и эти немногие были настолько загружены, что нетрудно было понять, почему многие из них переметнулись к мятежникам. Даже реформы Высочайшего не смогли приготовить женщин жана'ата к жизни в тесноте и к тому же среди незнакомцев. Никто теперь не знал, какой у кого ранг. Сердитые и мелочные ссоры случались не реже, чем дожди, и слишком часто их результатом становились располосованные лица и кровоточащие животы…

– А это, должно быть, иноземка Фиа! – воскликнула Таксайу, простирая руку над каменным парапетом башни.

– В самом деле? – выдохнула Суукмель, возвращаясь на рампу и вытягивая шею вверх. – И на что оно похоже?

– Очень маленькое – как дитя! Как оно может дышать? Носа-то ведь нет никакого! И хвоста тоже. – Таксайу поежилась. – Должно быть, какой-то уродец. Волосы только на части головы. – Внимание Таксайу на короткий миг отвлекла привидевшаяся ей сценка с Высочайшим, имеющим этого уродца.

– Чудище, – подтвердила она, – как всегда говорил господин

наш, посланник.

– А того, другого, ты видишь? – спросила Суукмель. Теперь никто не смел произносить имя изменника – факт существования Супаари ВаГайжура давно был изгнан из памяти, а весь клан его предан смерти. «Сегодня он умрет от руки Хлавина Китхери, – подумала Суукмель. – Руна говорят, что дочери его уже нет в живых, а значит, остается только иноземка Фиа, неспособная жить вечно. А тогда, – подумала Суукмель, – мы оставим мятежникам юг и предоставим их собственной судьбе. Высочайший построит новые города и выставит чужаков из наших владений. Наверное, мы будем бедными и голодными, но тогда вернется время для красоты и культуры, для науки и песни…»

– Эй! Безымянный выходит вперед. – Последовала напряженная пауза. – На нем нет доспеха, – сообщила Таксайу нарочно тихим голосом, чтобы весть эта не взбудоражила тех, кому не положено было ее слышать. Появление на поле без доспеха означало жуткое оскорбление Высочайшему, ибо таким образом бросивший вызов говорил: против тебя мне незачем защищаться.

Раздался боевой гимн, громогласный хор воинов, готовых к смерти или победе – согласно собственному рангу поединщики выходили друг против друга, до тех пор пока какая-либо из сторон не сдавалась.

Сегодня эти приготовления имели чисто церемониальное значение. Только один воин мог выступить за руна, так что предстоял поединок двоих мужей – Высочайшего и безымянного: одобренный всеми, засвидетельствованный всеми, со своим итогом и результатом.

– И тогда все кончится, – прошептала Суукмель, прислонившись к холодному камню своей башни. И попыталась не услышать отчаяния, прозвучавшего в собственном голосе.

– Супаари, на нем панцирь, – проговорила София, находившаяся на противоположной стороне долины, напротив башни Суукмель.

– Но я выхожу без доспеха, значит, и он снимет свой, – проговорил Супаари, глядя на нее серо-голубыми глазами, спокойными, как камни под тихой водой озера. – Только трус выйдет против бросившего ему вызов не с равным вооружением. Китхери нельзя назвать трусом.

– Никакой разницы нет, – проговорила Джалао, вставая рядом с Софией, не скрывая своего пренебрежения к глупому зрелищу. – Выходи в панцире или голым, итог все равно будет одним и тем же.

– Если бы они только отпустили своих руна, нам не пришлось бы делать это! – вскричала Пуска, стоявшая рядом с Джалао. – Они не могут победить. Почему в таком случае они не отпускают своих руна?

Без какого-либо слова или жеста, повинуясь какому-то внутреннем чувству времени, Супаари отошел от них, отправляясь вниз по склону на поле боя.

Дрожащим от гнева голосом Джалао выкрикнула:

– Ты собственными руками губишь себя!

Увидев его спину, Пуска завыла, однако София осадила ее:

– Не зарони в него слабость.

И проводила Супаари на бой одним близоруким глазом.

Предстоял первый за четыре поколения поединок государственного уровня, и потребовались усилия всех оставшихся в Инброкаре живых протоколистов-руна, чтобы правильно организовать его. На сей раз они превзошли себя самих, ощущая, что им представился самый блистательный способ закончить свои жизни.

Начиная с детских лет такие женщины с удовольствием лицезрели своих господ – правильно одетыми, правильно украшенными, с крошечными складочками на широких плечах, со сверкающими, там где надо, самоцветами. И удовлетворению специалистки по протоколу служило знание того, что она приготовила своего господина к схватке так, чтобы оба мужчины не нанесли противнику непреднамеренного оскорбления и не претерпели бы в свой черед напрасной хулы от другого.

Перед войной ко всем таким особам обращались за консультациями, длившимися иногда часами, и советы их принимались. Живые хранительницы генеалогий жана'ата, эти женщины помнили исторические деяния и нынешнюю значимость каждого клана и разумным образом предлагали не раздувать бесполезный конфликт или, наоборот, разогреть диспут, способный послужить вящей славе своих господ. Часто они жили много дольше, чем обычные руна, потому что на воспитание и обучение их преемниц уходило слишком много времени, однако терпеливо переносили старческие болезни и горести, даже зная, что, когда настанет время, их жесткое волокнистое мясо пойдет на съедение жана'ата низшего ранга. Труд их являлся тем основанием, на котором зиждилась вся цивилизация Ракхата.

На людных улицах и в тесных имениях немногих остававшихся у жана'ата городов – где сходилось множество незнакомцев, людей, сведенных вместе судьбой, – совет их стал как никогда ценен! Изголодавшиеся, потерявшиеся, перепуганные

жана'ата готовы были вцепиться в глотку каждому привратнику-руна, не впускавшему их в город. И тогда у ворот встали протоколисты-руна, выслушивавшие повествования о старинных союзах, решавшие, кого впустить. Для защиты Инброкара они выбирали лишь самых лучших из жана'ата, представителей высочайших кланов, а остальных отсылали дальше, на север, – выживать, если смогут.

Теперь, глядя на противоположную сторону равнины, где собралось войско их собственного народа, руна подолгу рассматривали реющие знамена, присматривались к блеску доспехов, к рядам жана'ата, строившимся у реки, готовясь вместе со своими хозяевами созерцать течение битвы. Однако, когда настало время хора претендентов, мятежники не запели, и далекие их возмущенные крики нарушали заявленную господами гармонию своим несогласным жужжанием.

Протоколисты-руна не обращали внимания на оскорбления, сыпавшиеся на них с холма из уст коллег. Они посвятили свою жизнь величественному балету ранга и взаимного уважения. Профессии их вот-вот предстояло уйти в забвение, однако эти женщины оставят юдоль света и движения, твердо зная, что они исполнили свой долг до конца.

За стенами, внутри, более прагматичные люди различным образом готовились к сему дню, потратив на приготовления годы и продолжая готовиться даже теперь. Верность глубоко коренилась в этих руна, возможно в самих венах, и, когда на верность эту отвечали добротой или даже простой порядочностью, такие руна не видели причины покидать сроднившиеся с ними семейства.

Итак, они смотрели на север, гадали, растаял ли уже снег на перевалах, паковали съестные припасы и обменивались безнадежными слухами:

– В горах есть безопасное место.

– У них здесь есть собственный иноземец.

– Они никого не прогоняют от себя.

Отставив мускулистые руки от крепкого тела, Хлавин Китхери ощутил вес облачения – жесткого от золотого шитья, блестевшего драгоценными камнями, – снятого с его плеч. Он не был рослым или молодым, однако в среднем возрасте он добывал свое пропитание охотой, часто боролся для укрепления своего тела и теперь с облегчением и уверенностью вздохнул, когда доспех его расстегнули и аккуратно положили на землю.

Он не обращал внимания на помощников. Напротив, он сконцентрировал свое внимание на поступи, сложении и запахе

мужчины, приближавшегося к нему с юга, вооруженного только тем оружием, которое предоставила ему природа: хваткими ногами; тяжелыми, как молоты, руками; острыми режущими когтями; тяжелым и мощным хвостом; челюстями, наконец, способными вырвать из шеи гортань.

Они не видели друг друга много лет, однако лицо Супаари осталось ему знакомым. Противник имеет преимущество в росте и длине рук, однако заметно состарился, отметил Китхери. Лицо его покрылось седыми пятнами, щеки ввалились, вне сомнения вследствие потери зубов. Он похудел так, что видны ребра. Хвост сделался тонким. Прихрамывает… сковано правое колено, и да – нет легкости в бедре. Грудные мышцы ослаблены длинными шрамами, избороздившими левое плечо.

«Это будет не поединок, а казнь, – подумал Хлавин Китхери. – *Какая жалость, ибо мы с ним одного рода. Мы оба пытались переделать этот мир: превратить его из камня в облако, а наши жизни из костей в мягкий мех. Я выхожу на бой за будущее, за жизни еще не рожденных детей. Он тоже выступает за детей, но он сражается за прошлое – чтобы отомстить, чтобы воздать за старые обиды, чтобы стереть с лица земли память о прежнем позоре. Ни он, ни я не доживем до нового времени, не увидим того, что сотворили, однако элемент трагедии всегда присутствует в хорошей поэме»,* – улыбнулся Китхери. Хотелось бы только знать, кто споет эту песнь.

«Скоро дождь», – подумал он, посмотрев на собиравшиеся на западе грозовые облака… да и напряжение боевых гимнов близилось к высшей точке. Переменился ветер, пахнуло телами руна, стали слышны приближавшиеся шаги противника. «*Заговорит ли он?»* – промчалось в голове Китхери, когда Супаари остановился невдалеке от него. Интересно, что может сказать такой человек в подобное мгновение?

Очевидно, ничего: перед ним практик, а не поэт. Не говоря ни слова, Супаари занял стойку, неловким движением, которое прямо вопияло о больном правом колене. Посему, сохраняя подобное же молчание, Хлавин Китхери с осознанным изяществом шагнул вперед, готовый начать поединок.

Как только Высочайший оказался в пределах досягаемости, Супаари перенес вес на левую ногу и хвост, дернул Китхери за лодыжку, откинулся назад, повалил его на землю и удивительным движением подтащил к себе, так что горло Высочайшего оказалось открытым. Китхери, извернувшись, вырвался на свободу и перекатился по земле, опираясь на хвост, нырнул головой вперед. Едва устояв на ногах, Супаари отдернулся, однако недостаточно быстро. И получил

ошеломляющий удар ниже уха – недостаточный для того, чтобы сбить с ног, но увесистый, так что ему пришлось отойти на несколько мгновений, чтобы прийти в себя.

Став осторожнее, оба бойца, широко расставив руки, кружили друг вокруг друга, не слыша воплей и рева толпы из-за собственного громкого дыхания. Супаари вдруг повернулся на своей здоровой ноге, но вместо того, чтобы выбить дыхание из груди Высочайшего, воспользовался движением для того, чтобы ударить правой пяткой сзади под колено Китхери. Великолепный выпад, наверное, сработал бы, если бы только Супаари сумел устоять на ногах, но утратил свое преимущество, когда оба они повалились на землю, охнув от соприкосновения с нею.

Ухмыляясь, удовлетворенный тем, что поединок не оказался настолько нудным, как он предполагал, Высочайший перекатился и встал, глядя ровным взглядом на своего противника, ощущая, как повинуется тело его воле.

– Ты лучше, чем я ожидал, – без капли иронии сказал он своему несостоявшемуся родственнику, вдовому мужу его сестры. – Тебе не хватит твоих достоинств для победы, но умрешь ты хорошо.

Ответом ему был только резкий красноречивый запах ярости, и следующая атака Супаари едва не стала более эффективной. Высочайший попытался вырваться из начатой хвостом ножной хватки, зажавшей обе его руки, однако не сумел и потому навалился на противника всей тяжестью нижней части своего тела, и оба они повалились на землю, напрягая все силы, задыхаясь. При падении руки Супаари разжались, и Китхери, воспользовавшись возможностью, вывернулся и обхватил руками корпус противника.

Высочайший уже с предельной ясностью видел тонкие жилки в глазах Супаари, их сменили тонкие волоски на оконечности его лица, когда он откинул голову назад, чтобы впиться зубами в горло Китхери. Хлавин Китхери, как завороженный, даже не попытался отстраниться от зубов, вонзившихся в толстую кожу у основания его собственной шеи, но закрыл глаза, впивая всем своим существом этот последний, полностью пережитый им момент. Теперь он ощущал неровное дыхание Супаари, мог бы сказать, что этот человек ел и пил в последний день своей жизни. Прислушиваясь к стуку о землю искавших опору хвостов, Китхери с уверенностью опытного насильника уловил тихие стоны противостоявшего ему тела.

Он изогнулся дугой. Упершись ногами в грудь Супаари, Китхери с воплем высвободился. Он едва заметил боль, когда зубы Супаари разорвали его кожу, но, поднявшись на ноги,

галантно провозгласил:

– Первая кровь претенденту!

Мягкое кружение продолжилось, его прервали три близкие схватки, оставившие обоих задыхаться, с шумом, в крайнем утомлении хватая ртами воздух; оба противника были уже не молоды, и поединок оказался тяжелее и дольше, чем оба они ожидали. Нарушая ритм поединка, уже на исходе собственных сил, Китхери наконец перешел в наступление, использовав свою относительную короткорукость. Когда Супаари приготовился парировать готовящийся удар в ноги, Китхери превратил свое движение в нырок, ударив плечом в грудь Супаари, мимо выставленных для защиты рук. Ответом стало мгновенное, инстинктивное движение: Супаари сомкнул руки за спиной Высочайшего, совершив фатальную ошибку; после чего Китхери мгновенным движением руки вверх закончил поединок. Вскинув руки в экстазе, он пропел, обращаясь к собравшемуся на склоне множеству:

– Вонмите искусству смерти!

Супаари не упал сразу, он даже не посмотрел вниз, на то, что произошло с ним. Он повернулся в сторону и сделал несколько шагов, пока внутренности вытекали на грязную землю из раны в его животе. Какое-то ужасное мгновение Софии казалось, что он споткнется о собственные кишки. Но тут колени его подогнулись. И не поддающиеся подсчету секунды она не смела вздохнуть, не смела наполнить собственные легкие воздухом, чтобы продолжить жизнь без него.

– Он убьет меня, Фиа, – сказал ей голосом столь же холодным, как ветер, несущий чистое прозрачное благоухание горного снега и обетование скорой грозы. – Китхери с детских лет учился воинскому мастерству, и он убьет меня.

В то утро Супаари сидел на земле напротив Софии посреди армии руна, которую с их помощью создала Джалао, к которой теперь присоединились руна Валнброкара, добившиеся свободы и присоединившиеся к осаждавшим. София не стала протестовать против его слов, постаравшись ничего не чувствовать вообще. Это приобретенное давным-давно умение позволило ей выжить в войне, закончившей ее детство, а теперь стало второй натурой, когда война вновь окружила ее собой. В известном смысле Супаари уже оставил ее. В последние годы, занятые войной на разных фронтах, они встречались нечасто. После того как выросли и ушли дети, разговаривать было не о чем, кроме войны.

Супаари владела странная пустота, как если бы каждое новое продвижение руна вырезало некое пространство в его душе, а

каждый их успех и проявление способностей и компетенции навлекали на него еще большее, предельное неуважение среди собственного народа.

– Они больше не нуждаются в нас, – проговорил он однажды с какой-то небесной радостью. – И, наверное, никогда не нуждались.

Поэтому, когда Супаари объявил, что умрет, София просто встала перед ним на колени и протянула к нему руки. Наклонившись вперед, он припал к ней лбом. И снова повторил голосом столь негромким, что звук этот, казалось, доносился к ней из собственной крохотной грудной клетки:

– Он убьет меня, но я почту своей смертью народ.

И теперь одинокая, осиротевшая София, глядя вперед, на распоротое его тело, произнесла:

– Ты славно бился.

Обратив невозмутимое лицо к громоздившимся над нею гороподобным облакам, она услышала плеск и брызги первых капель дождя, но почувствовала их только тогда, когда тихая песнь грозы утонула в пронзительных воплях солдат-руна, вкладывая в эти крики собственное разочарование и тоску, горе и ярость, направленную на этих упрямых *джанада,* до сих пор смевших противиться власти, силе и правосудию руна.

Панцирная пехота потоком, грохоча, ринулась вниз по склону, обтекая Софию, как скалу, оказавшуюся посреди течения реки… Поток этот затопил сперва поле перед воротами столицы, а потом со всей силой ударился в створки главных городских ворот. «*Мясо возмутившееся, мясо взбунтовавшееся, мясо воюющее*, – подумала София. – *Мясо, обретшее свой собственный голос».*

Она долго стояла, наблюдая за происходящим, и наконец сошла с места, начиная собственный путь по утоптанному склону, ощущая резкий аромат поломанных и потоптанных трав; как бы со стороны замечая рев ветра, к которому уже присоединялся победный рык пламени, слишком свирепого для того, чтобы его мог погасить дождь.

Трупы Супаари и Высочайшего находились к ней ближе всех остальных, так как поединок их происходил в центре поля, на виду обеих сторон. И оба тела были равным образом потоптаны и повреждены ногами устремившейся к воротам рати: смерть соединила их.

Будучи слишком маленькой для того, чтобы выпрямить члены Супаари, она не решилась вправить на место его внутренности и потому не сделала ни того ни другого. Сев у его головы, София гладила снова и снова тонкую и мягкую шерстку его щеки… тело

убитого остывало, а она платила, платила и не могла выплатить до конца весь жуткий долг своей любви.

– Дай мне умереть, – с тупой настойчивостью повторяла Суукмель, обращаясь к увлекавшей ее за собой Таксайу. – Дай мне умереть.

– Нет, – всякий раз повторяла ей на это подружка-рунао. – Надо подумать о детях.

– Умереть лучше, – говорила Суукмель.

Однако Таксайу и прочие руна все досаждали, все мучили ее: каждая из них несла на спине младенца жана'ата, тащила за собой ребенка или влекла за собой женщину, являя жестокость в своем желании довести хотя бы этих немногих в безопасное место. И Суукмель крепилась, каждый шаг следовал за другим, как сердцебиение за сердцебиением, и наконец ее пусть и легкое, но непривычное к трудам тело начало сдавать, и она рухнула на землю. Передышка оказалась недолгой. Перед глазами ее появились мягкие детские шлепанцы, истрепанные и окровавленные после форсированного марша по становившейся все более и более каменистой почве. Оцепеневшая от утомления, Суукмель посмотрела вверх и увидела каменное лицо ее приемного сына Рукуея, перворожденного сына Высочайшего, которому всего несколько часов назад было двенадцать лет. Рукуея, чьи жесткие сиреневые глаза видели, как толпа рвала тело сорок восьмого Высочайшего в Инброкаре, в чьей памяти навсегда останется вид горящего города и поля брани, усеянного трупами жана'ата и обильно политого их кровью. Телами учителей, поэтов и рассказчиков; инженеров, географов, натуралистов; атлетов, наделенных высшей красотой и грацией, сама походка которых была шедевром. Философов и архивариусов; финансистов и законоведов. Мужей государственного ума и вдохновенных музыкантов; юношей, мужчин и старцев.

Всех, оставленных истлевать под дождем.

– Мой отец чтил тебя, – безжалостно молвил своей приемной матери Рукуей. – Будь достойна его, женщина. Поднимайся, чтобы жить.

Так она поднялась на ноги и побрела дальше, на север, оставляя на камнях алые отпечатки, рядом со следами двенадцатилетнего мужчины.

И вот по прошествии многих дней после первого заката они увидели монстра. Стоявшее на двух костлявых ногах существо было обнажено и телом своим безволосо, если не считать гривы и

бороды, да еще непонятных клочков шерсти на его теле; в своих руках, над головой, оно держало зонтик, сделанный из потрепанной голубой ткани. Невзирая на удивление при виде столь странного существа, никто из беженцев не вымолвил ни слова. Молчало и чудище.

Оно только стояло, преграждая им путь.

И тут откуда ни возьмись возник жана'ата. Многие руна освободились от паралича и рванулись вперед, чтобы своими телами прикрыть своих подопечных от незнакомца. Однако когда они осознали, что жана'ата не вооружен, а на плечах его едет малое дитя, руна переглянулись в смятении, более не зная, откуда ждать опасности и кому можно доверять.

– Мое имя Шетри Лаакс, – сказал мужчина. – Все вы находитесь здесь потому, что руна предпочли сохранить жизни жана'ата. Посему жена моя, Хэ'энала, и я предлагаем вам пищу и кров до тех пор, пока вы не окрепнете настолько, чтобы самостоятельно принять ваши следующие решения. Это мой шурин Исаак. Как вы видите, он иноземец, однако не представляет никакой опасности для вас. Моя жена познакомит вас с правилами нашего поселения. Если вы согласитесь соблюдать их, мы будем рады принять к себе всех вас, руна и жана'ата, как принимали к себе и других.

Откуда-то из середины кучки утомленных и взволнованных женщин донесся раздраженный голос:

– Твоего шурина! Значит, ты женат на иноземке?..

Но прежде чем Шетри успел ответить, вперед шагнул Рукуей:

– Вижу лицо труса, живущего, когда воители превращаются в прах! – выкрикнул он. – Обоняю запах того, кто годен только на то, чтобы питаться пометом!

– Ах, но мертвецы не едят, а тем более помет, – возразил Шетри с прежней любезностью, не желая затевать ссору с утомленным юношей. Он был прекрасно знаком с агрессивным ужасом, владевшим многими из таких мальчишек, еще не отошедших от смерти отцов, дядьев, братьев и стыдящихся того, что сами они живы. – Увы, господин, но я оказался воином, так и не решившим, чью сторону следует ему принять, к тому же еще и очень неумелым. И посему решил жить, не угрожая ничьей чужой жизни, – проговорил он, посмотрев на Таксайу и прочих руна, прежде чем вновь обратить свой взгляд к мальчику, – и даже своей собственной. Если мое общество будет неприятно тебе, то, поев и отдохнув в моем владении, ты можешь избавить себя от всяческого неудобства, оставив мой дом.

Сбитый с толку мягким приемом, мальчик промолчал. Он также шатался от усталости, и ноги его были разбиты, заметил

Шетри. Но предложить ему какую-то помощь значило нанести оскорбление, и поэтому Шетри просто предложил:

– Позволь мне показать тебе дорогу.

Тут к нему подошла женщина средних лет и прикоснулась к его руке.

– Какой очаровательный ребенок, – проговорила она, рассматривая малышку, сидевшую на плечах Шетри и стараясь, чтобы голос ее не дрогнул. – Какие прекрасные глаза.

– Да, – нейтральным тоном согласился Шетри, понимая, что собеседница его просматривает генеалогические варианты.

Неглубоко вздохнув, она пришла к неизбежному выводу:

– Семейная черта, должно быть унаследованная из рода матери? – спросила она из-за тонкой прежде, но ныне порванной вуали.

– Да, – снова согласился Шетри, готовясь к нападению, а может быть, к ранам.

Но женщина просто обратилась к мальчику, задиравшему Шетри.

– Рукуей, – проговорила она, обращаясь к внутренним резервам достоинства, – похоже, что по воле богов ты попал к… близким родственникам. Жена этого человека наверняка является двоюродной родственницей по линии твоего отца.

Вновь повернувшись к Шетри Лааксу, она приосанилась:

– Мое имя Суукмель Схирот у Ваадаи, а это мой приемный сын Рукуей Китхери.

Изумление на лице Шетри даровало ей мгновение прежнего превосходства, однако Суукмель реально смотрела на жизнь.

– Твое приглашение – знак великой доброты. Мы у тебя в долгу. И мой приемный сын, и я… Нет, – поправила она себя, протянув другую руку Таксайу, – все мы будем благодарны тебе за гостеприимство на тех условиях, которые тебе будет угодно продиктовать.

– Никакого долга и тем более условий, моя госпожа, – проговорил Шетри, с трудом отрывая взгляд от мальчика, в котором он узрел молодую, мужскую версию собственной жены. – Скорее соглашение, если вы захотите остаться у нас.

– Они поют? – спросил Исаак своим ровным и бесцветным голосом, которым разговаривал и который так странно контрастировал с тем высоким и чистым голосом, которым он пел.

Смутившаяся Суукмель посмотрела на Шетри.

– Мой шурин любит музыку, – пояснил, не вдаваясь в подробности, Шетри, понимая, что гостья его слишком устала для дальнейших объяснений.

Однако Суукмель ответила Исааку:

– Рукуей знает множество песен. У него задатки поэта. И воина, – добавила она для того, чтобы приободрить мальчика.

Исаак не смотрел ни на кого.

– Он останется, – такими были его слова.

Глава 31
Долина Н'Жарр

2072 год по земному летоисчислению

Не боязнь показаться трусом или слабаком определяла страстное, жгучее желание Рукуея вернуться на юг и продолжить борьбу. Это был не имеющий ответа вопрос, который он слышал в певучем, полном иронии голосе своего погибшего отца:

– Кому же ты бросишь вызов? Орде руна?

Принадлежи его мать к первому или даже второму рангу, Рукуей мог бы считать себя Предположительно Высочайшим, однако она была всего лишь третьерожденной. Может ли сын наложницы стать бойцом за весь свой народ? У него не было сводных братьев высшего ранга, наследующих титул по праву, не было также дядей, способных стать регентами на то время, пока он будет учиться, если закон передаст наследие ему. «Кто же тогда сейчас является Высочайшим в Инброкаре?» – спрашивал себя Рукуей, более не замечая вокруг себя измученных женщин и детей, или незнакомца с младенцем, или уродца-иноземца, и даже выветренных холмов и ущелий, по лабиринту которых вел своих гостей Шетри Лаакс.

Почерневшие камни, побелевшие кости – краски оставили этот мир, думал Рукуей, не замечая наклонных разорванных слоев: охры, нефрита и кобальта в последних лучах второго заката. Кончился танец, угасла красота, забыты закон и музыка, думал он. Остались лишь дым и голод.

Если не считать усталости, Рукуей был уверен только в одном. Теперь он является старшим мужчиной своего клана, и ответственность за решения лежит на его плечах. Суукмель и прочие женщины и дети дальше идти не могут. «Мы останемся с этими людьми до тех пор, пока госпожа Суукмель не сможет продолжать путь», – думал он, пока его небольшой отряд преодолевал последний *схa'ар,* остававшийся до поселения незнакомцев.

Невозможно было представить себе, куда они пойдут дальше, – само место, куда их вели, невозможно было увидеть. Уже ослепнув, он ощутил, как сильные и добрые руки направили его в место, пахнувшее незнакомыми телами.

Слишком усталый для того, чтобы есть, он мгновенно погрузился в сон, настолько глубокий, что его скорее следовало назвать забытьем, и не просыпался много часов.

А когда проснулся, проснулся не сразу, а постепенно…

Последними проснулись глаза: сперва от пульсирующей боли в ногах, от запаха мази под свежими повязками, от неразборчивого гула голосов и, наконец, от яркого дневного света, проникавшего сквозь грязную ткань потрепанного тента.

Не шевелясь, он прислушивался к разговорам снаружи – неприятной смеси к'сана и руанжи, в которую иногда вклинивались отрывки торговой маланжи и дворцового палкирн'ала. Отвратительная грамматика и корявое произношение немедленно привели его в скверное настроение, еще более ухудшившееся под действием утреннего голода, подобающего созревающему мужчине, только начавшему набирать рост и мускулатуру.

Готовый взорваться, он ощутил движение слева от себя и вскочил, готовый сражаться – невесть с кем, о враге можно было только гадать, ибо весь мир полон врагов и все хорошее исчезло из него. Однако двигалась всего лишь женская ладонь, пододвинувшая к нему грубой работы миску. Он посмотрел на наполнявшую ее отвратительную массу, какое-то подобие желе, а потом перевел взгляд с ладони на предплечье, от предплечья на лицо и заморгал, когда увидел обращенные к нему отцовские глаза, живые и веселые.

Молодая женщина оказалась нагой, без вуали и заметно беременной.

– Ты похож на мою дочь, – сказала она и непринужденно села на землю, ничуть не смущаясь тем, что, кроме них двоих, в шатре никого не было. Она снова чуть подвинула к нему миску.

Он отвернулся, кривясь, с отвращением, и снова услышал ее голос:

– Знакомая тебе жизнь закончилась. Тебе придется теперь жить по-новому. Прежде все решалось за тебя без тебя. Теперь тебе придется выбирать самому.

Говорила она на к'сане, однако произношение ее было испорчено нечеткими гласными руанжи, скрипучим акцентом домашней сельской челяди руна.

– Ты можешь возненавидеть саму необходимость выбора, а можешь научиться ценить его. Однако каждый выбор имеет свои последствия, поэтому выбирай мудро.

Он посмотрел на нее, и она самым неуважительным образом улыбнулась.

– Но в настоящий момент тебе предстоит сделать простой выбор: съесть это жуткое на вид кушанье или остаться очень и очень голодным.

Мальчик выпрямился и, как она знала заранее, протянул руку к миске. В конце концов перед ней был нормальный подросток,

всегда голодный, даже в самых лучших условиях, но теперь умирающий от голода.

Рукуей поднес миску ко рту, незнакомый запах заставил его отдернуться; однако несколькими схожими с рыданием глотками проглотил все содержимое.

– Хорошо, – довольным тоном сказала она, наблюдая за ним.

– Я думал, что эта еда окажется много хуже, – проговорил он, утирая рот тыльной стороной ладони.

– Вот подумай о том, что ты сейчас сказал, – посоветовала она. – По моему опыту, на свете есть очень много вещей, оказавшихся не такими плохими, как я их сначала считала.

Запах гнева наполнил палатку, однако она не стала извиняться за то, что использовала доминирующую форму личного местоимения в его присутствии.

– Здесь каждый из нас делает свой выбор, так что всем нам надлежит научиться быть сувереном самому себе: я думаю, и я решаю. В этом нет оскорбления ни тебе, ни кому-то другому.

Указав рукой на опустошенную миску, она прозаичным тоном проинформировала:

– С солью это блюдо вкуснее, но у нас сейчас здесь нет соли.

– А что это было такое?

– Ты уверен в том, что действительно хочешь знать это? – спросила она, расставив уши, с интересом глядя на него отцовскими глазами.

Поколебавшись, он поднял подбородок.

– Это эмбрионы *кха'ани*, – сказала она ему.

Он ужаснулся, прижал уши к голове, едва удержал рвоту, но только посмотрел в ее глаза и сглотнул.

– Хорошо, – вновь проговорила она. – Ты понял меня? На свете все выбор, даже то, что ты ешь. Особенно то, что ты ешь!

Встав, она обратила к нему лицо – тонкую версию его собственного, – наследственность Китхери явно доминировала в этом поколении, как и в следующем за ним.

– У нас жана'ата не едят руна. В нашем поселке мы не покупаем свою жизнь чужой смертью. Вот так. Выбирай. Будешь ли ты жить за чужой счет или же сделаешь все, что должен, для того чтобы научиться жить другим способом?

И, предоставив ему возможность подумать, она повернулась и вышла из шатра.

У молодого и здорового юноши ноги заживали быстрее, чем у женщин. Через день-другой он уже мог оставлять свой шатер и, хромая, одолевать небольшое расстояние до ближайшего холма, с вершины которого можно было видеть обрывки и осколки

цивилизации. Несколько дней подряд, одинокий и молчаливый, он наблюдал за людьми в этой высокой и холодной долине. Сжигаемый позором, извиваясь от их унижения, он отыскал свою приемную мать и излил на нее всю свою ярость. Она молча слушала Рукуея до тех пор, пока он не выдохся, а потом жестом пригласила его сесть рядом с ней.

– Знаешь, чего мне сейчас не хватает острее всего? – невозмутимо проговорила дама Суукмель Схирот у Ваадаи. – Застольных манер.

Ошеломленный, Рукуей вырвался из объятий и с открытым ртом уставился на нее. Суукмель улыбнулась и снова привлекла мальчика к себе.

– Никто не знает, как правильно есть эту жижу. Я уже три раза пролила на себя это кушанье из яиц *кха'ани*. Разве можно принять достойный вид, когда с головы до ног измазалась ими? Неудивительно, что Хэ'энала ходит здесь голой…

Суукмель сказала это для того, чтобы повеселить Рукуея, абсурдная мысль сработала, однако Таксайу все равно возмутилась.

– Эта личность ходит здесь нагишом, потому что не умеет носить одежду, – фыркнула рунао из своего гнездышка в углу. – Еще бы, ведь ее воспитали в глуши иноземцы и дикие некультурные руна!

Рукуей уже не знал, как правильно реагировать на это неожиданное утверждение, что не помешало ему, однако, высказать собственное мнение.

– Невыносимо видеть, как женщина жана'ата расхаживает по поселку совсем без одежды, – заявил он, – вне зависимости от того, какое скверное воспитание она получила.

– Она говорит, что мы, жана'ата, должны научиться жить собственными силами. Это может потребоваться для того, чтобы мы ощутили себя полностью независимыми от руна, хотя сама она надеется, что связь наша не порвется, и всеми своими силами старается предотвратить такую возможность, – сообщила им Суукмель. Рукуей и Таксайу молча внимали. – Она пытается научиться прясть на ножном станке, однако до сих пор не сумела этого сделать и потому решила ходить голышом, пока не научится…

– Это ж надо такое придумать! – возмутилась Таксайу. – Чтобы жана'ата пряла!

– Потом она говорила еще, что просто не любит одежду, – продолжила Суукмель. – Но понимает, что это смущает всех нас, и не хочет начинать *фиерно*.

– Что еще за *фиерно?* – раздраженным тоном буркнул Рукуей,

чуждое слово *руанжи* вдруг взбесило его. Среди всех непривычных обстоятельств, с которыми ему приходилось сталкиваться среди этих чужаков, более всего его смущало это смешение, эта порча языков. «*Как можно понять смысл, если слова, которыми ты думаешь, лишены порядка и четкости?*» — внутренне возмущался он.

– Я спрашивала ее об этом, – спокойно продолжала говорить Суукмель. – Слово «*фиерно*» означает грозовую тучу, однако вся фраза понимается как то, что устроивший скандал навлекает грозу на все селение.

Рукуей фыркнул.

– Отличный образ, – подсказала Суукмель, зная своего пасынка. – Мне нравится сама идея. Она напоминает мне о господине моем, муже, который всякий раз после очередного скучного совещания метался по двору, как будто в *фиерно*…

Она вдруг умолкла, ощутив, как печаль дождем проливается в ее сердце. Шатер вдруг показался ей тесным и переполненным народом, хотя общество ее разделяли только Таксайу и Рукуей.

– Возможно, прогулка пойдет мне на пользу, – произнесла она.

Таксайу уронила уши, на лице Рукуея читалось сомнение.

– Да, – проговорила тогда Суукмель, теперь уже уверенная в своем намерении, потому что они усомнились в ее мудрости и благопристойности. – Да, я должна пройтись.

– Но как эта Хэ’энала может оказаться моей кузиной? – спросил ее Рукуей по прошествии нескольких утренних трапез, после того как они позавтракали странным и тем не менее не вызывающим отвращения паштетом, которым их кормили в доме Лаакса.

– У моего отца не было ни сестер, ни братьев. И как может быть этот иноземец шурином Шетри?

Она на мгновение смутилась:

– Исаак, бесспорно, существо необычное, но поет он прекрасно, ты согласен со мной?

Перемена темы не осталась незамеченной.

– Неужели я задал такой неловкий вопрос?

– Неловкий? – переспросила Суукмель.

Она понимала, что мгновение это рано или поздно настанет, но, конечно, не могла предвидеть, что это произойдет в такой обстановке. Гордость собственным происхождением не слишком процветала среди лишенных ранга детей наложниц Хлавина, однако Рукуей точно знал своего отца, если не то, что проделал Хлавин для того, чтобы стать Высочайшим в Инброкаре. «Чей

позор открыть ему первым? – спросила она себя. – Его отца или его дяди? Во всей этой истории нет невиновных, кроме детей обоих мужчин: Хэ'эналы и Рукуея».

– А ты не сводишь меня сегодня утром в свое местечко наверху холма? – спросила она непринужденным тоном, поднимаясь с неаккуратно сшитой подушки, тем не менее благоухавшей горным мхом. Суукмель подошла ко входу в свою палатку и остановилась, позволяя глазам привыкнуть к свету, разглядывая при этом красочные очертания, которые первоначально приняла за пестро раскрашенные городские стены, окаймлявшие долину.

Глядя на нее, Рукуей произнес, также вставая:

– Значит ли это, что вопрос мой хуже, чем неловок?

– Надеюсь, что, практикуясь, я все-таки научусь видеть далекие предметы, а не просто воображать их себе, – сказала она, подтверждая его подозрения. – Шетри говорит, что это не городские стены, а горы! Он говорит, что до вершин нужно непрерывно идти целых шесть дней. А далеко ли идти до твоего места?

– Достаточно для того, чтобы оказаться в уединении, – ответил Рукуей.

Покинув палатку, они направились вверх по склону, стараясь не наступать на ненадежные камни, мешавшие подъему. Суукмель боролась с дезориентацией, глядя себе под ноги – не из покорности, но стараясь сфокусировать взгляд на относительно близких предметах. Поднимая то и дело взгляд от земли, она пыталась определить размер объектов и постоянно удивлялась тому, что, скажем, тот из них, который она считала деревом, оказывался при ближнем рассмотрении всего лишь кустом, находившимся ближе к ней, чем она предполагала; или когда, казалось бы, далекое яркое пятнышко, которое, по ее мнению, было плащом идущего далеко впереди путника, вдруг становилось на крыло и исчезало в разреженном горном воздухе.

– Предметы не всегда таковы, какими кажутся, – проговорила она, когда Рукуей подвел ее к поваленному дереву *туна,* чтобы она села. Отдышавшись, Суукмель окинула взглядом долину, пытаясь согласовать картину, открывшуюся ее глазам, с тем, что ей говорили. – Шатры смотрятся очаровательно в таком свете, правда? На солнце они кажутся драгоценными камнями. Что же реально хотелось бы знать? Красота далеких шатров или…

– Скрывающаяся в них нищета, – закончил за нее Рукуей, садясь рядом. – А теперь скажи мне, моя госпожа, какая весть настолько ужасна, что произнести ее можно только в полном уединении.

Она начала с какого-то подобия эпической песни, повествующей о героях и чудовищах, об узилищах и бежавших из тюрем, о триумфах и трагедиях. Она рассказала о сокрушительном постоянстве неизменной традиции, о мире, в котором нет ничего нового, но все решено несчетное количество поколений назад. И попыталась объяснить тоску, рождаемую отсутствием перемен, и страх перед тем, что нечто неожиданное все-таки случится: ужас перед неизвестным и одновременно тайное желание явления его, присутствующее во многих сердцах.

Захваченный возвышенным и романтичным повествованием, Рукуей не сразу сообразил, что имя безымянного – Супаари ВаГайжур; и что изменник этот является его собственным дядей по отцу, мужем его сестры Жхолаа Китхери, родившей ему дочь; которая выросла и носит теперь второго ребенка от Шетри Лаакса; и что у Хэ'эналы такие же глаза, как и его собственные, потому что у них общий дед. Еще больше времени потребовалось ему для того, чтобы принять рассказ Суукмель о том, как Хлавин Китхери взошел в Высочайшие…

– Ты в самом деле говоришь, что мой отец *убил* их? – вскричал Рукуей. – Убил всех до единого? Своих родных? – Вскочив, он отошел в сторону – невысокий, пока долговязый и неуклюжий. Такой еще молодой, подумала Суукмель. Такой молодой…

– Я не верю тебе! – настаивал он, осторожно описывая круг. – Это невозможно. Отец никогда бы…

– Он убил. Он убил их, дорогой! Попытайся его понять! – воскликнула она, пребывая в таком же отчаянии, как и он. – Твой отец был подобен молнии, вспыхнувшей в ночи, – прекрасной, опасной и внезапной. Они заставили его сделать это! Это *они* убивали *его!* Они заперли его за стенами, более высокими, чем эти горы, – проговорила она, махнув рукой в сторону громадных скал, лишь наполовину понятных ей. – Они заткнули ему рот, и он умирал, Рукуей! Он умирал от молчания! Вспомни ту музыку, которую он писал для тебя и других своих детей! Выслушай ее сердцем! И пойми, что она умерла бы в нем, если бы он не…

Рукуей осел на землю, словно дитя, коим в сущности и являлся. Ветер, неустанно продувавший долину, свистел в их ушах, приносил писк и смех малых детей, бегавших друг за другом по деревне, среди палаток, голоса женщин, песни мужчин – обычный повседневный шум деревенской жизни.

Однако, не желая слышать этот жизнеутверждающий шум, он видел со своего расстояния то, чего не видела Суукмель: лишения, нужду, откровенную нищету, даже слов для обозначения которых не существовало в ракхатских языках,

поскольку таких явлений никогда не существовало на этой планете.

– Но как? – воскликнул он. – Как могло дойти до этого!

Подойдя к нему, Суукмель опустилась возле него на колени. Пристыженный и рассерженный, он вырвался из ее объятий и снова поднялся на ноги, все еще опухшие и израненные, и оставил свою приемную мать, даже не посмотрев на нее, ибо был сыном своего отца и ощущал, как крепнет в нем гнев, и не видел того, кого можно было ударить. Шагая по усыпанному щебенкой склону, не обращая внимания на падения, ушибы и новые ссадины, полученные его молодым телом, он шел на голос своей двоюродной сестры, выделявшийся своим произношением посреди небольшой группы руна и жана'ата, невесть зачем запруживавшим небольшую быструю речку, протекавшую посередине долины.

– Не поднимайте эти глыбы! Катите их! – услышал Рукуей ее веселый голос, обращенный к мужу, Шетри, неловко шагавшему со средних размеров камнем в руках. – Смотрите на Софи'алу! Катите!

Перворожденная дочка их занималась общим трудом, пытаясь перекатить небольшой камень, забавно перегнувшись пополам, задирая вверх короткий хвостик, с выражением усердия на крохотном личике.

– Смотрите, как моя радость работает! – проговорила Хэ'энала, голая и пыхтящая, как портовый грузчик. – Хорошая девочка, помогает взрослым!

Разъяренный Рукуей зашел за спину Хэ'эналы, схватил ее за лодыжку и развернул так что она едва не упала.

– Ты – Китхери! – заорал он на нее, на своего отца, на себя самого. – Как ты смеешь позорить себя подобным образом? Ты унижаешь собственного ребенка. Как смеешь ты…

И в мановение ока безразличный работник Шетри Лаакс повалил мальчишку и разорвал бы его глотку, если бы Хэ'энала не остановила его. Взяв мужа за плечи, она отодвинула его в сторону и, опустившись на колени, вопросительно посмотрела на Рукуея глазами, на которые не имела права… глазами, которым не положено было жить.

– Мы с тобой близкие родственники, – оскалился Рукуей, глядя на нее с каменистого бережка, на который упал под тяжестью Шетри. – Тебя родила сестра моего отца!

Лицо ее просветлело, смущенное, но вместе с тем счастливое. И он не хотел уже ничего другого, кроме как разрушить это счастье.

– Мой отец убил твоего, – бросил он ей в лицо с откровенной

жестокостью, – дважды двенадцать дней назад.

Рукуей был восхищен молчанием, рожденным его словами, он был рад тому, что заставил кого-то другого охнуть от утраты, рад был тому, что лицо ее исказила боль.

– Твой отец погиб не один. Равнина Инброкара была завалена трупами, и когда я в последний раз видел своего отца, он лежал рядом с твоим. Убитый такими же, как они! – взвыл он, указуя обвиняющей рукой на обступивших руна. – Ты говорила о выборе, женщина. Так что выбирай! Кто из нас будет умирать за восстановление чести мертвых?

Не было слышно ни звука, кроме их собственного дыхания, стона ветра и дальнего трубного зова какого-то горного животного, нарушающего торжественность мгновения, и тонкого плача Исаака, закружившего на краю толпы.

Приложив руку к животу, Хэ'энала поднялась на ноги, и при полном дневном свете он увидел, что беременность не округлила ее, что перед ним худая и усталая женщина. Напряженным взглядом она обвела жана'ата, решивших остаться в долине Н'Жарр.

– Передо мной тот же самый выбор, что и перед тобой, – сказала она. – Жить или мстить. Предпочитаю жить.

Пристально посмотрев на Рукуея, она указала на каменистую тропу, уходившую на восток, к перевалу между двух гор.

– В той стороне живут подобные тебе, предпочитающие смерть. До них три дня пути по этой тропе. Спросишь племянника моего мужа, Атаанси Эрата. Там едят хорошо, – сказала она, возвышая голос, так чтобы все могли слышать. – Или точнее будет сказать – там едят много. Они во всем выбирают смерть. Они мстят за свои утраты, платят смертью за смерть и умрут в крови, но с полными животами. Тебе будут там рады, кузен. А я почту убитых своей жизнью и еще научу тех, кто захочет внимать тому, что в моем выборе тоже есть своя доблесть.

Плач Исаака превратился в стон, к которому присоединились рыдания осиротевшего жана'ата, мужа и мальчика одновременно. Сидя рядом с ним, Хэ'энала привалилась к Рукуею, тонкой рукой обняла его за плечи и прижала к себе.

– Отцы наши мертвы, – шепнула он плачущему мальчику. – А мы живы. Оставайся со мной живым, кузен. Живи дальше…

Завороженные драмой жители селения смотрели на них, руна раскачивались до тех пор, пока Шетри не прогнал всех. Наконец остались только двое, брат и сестра, а еще Исаак, кружение которого постепенно замедлялось.

Повзрослев и сделавшись более устойчивым к возмущениям повседневности, если их скоро брали под контроль, Исаак не

понял и даже не заметил эмоций, владевших его сестрой и ее кузеном. Однако он сделал все возможное, чтобы внести ясность.

– Мне есть что сказать, – объявил он громким и невыразительным голосом. Исаак не стал смотреть на Рукуея и, безусловно, предпочел бы не приближаться к столь явно непредсказуемой личности, но сказал ему: – Твое дело – учить песни. – Помолчав, он добавил: – И учить им других.

Тишина не была нарушена, и Исаак сумел закончить мысль:

– Однажды я научу тебя одной песне, – сказал он мальчику. – Она еще не готова. Ты можешь уйти отсюда на какое-то время, но возвращайся.

Джордано Бруно

2084 год по земному летоисчислению

– Я оставался с Хэ'эналой и своей приемной матерью, Суукмель, до тех пор, пока мне не исполнилось четырнадцать лет, – расскажет Рукуей Китхери Эмилио Сандосу годы спустя. – Я научился петь с Исааком, и он подчас говорил мне совершенно необычайные вещи. Я привык доверять его… суждению. Очень странным он был человеком, но в итоге он оказался прав: я рожден был для того, чтобы учить песни и учить им других. Почти пять лет я бродил по горам Гарну… потому что должен был услышать и запомнить историю каждого из жана'ата, выжившего в эти последние годы. Я жаждал познакомиться с колыбельными и литературой. Я хотел понять законы и политику, познать поэзию, сохранить малую долю ума и искусства мира, умершего на моих глазах.

– Но в итоге ты вернулся назад в долину, – заметил Сандос. – К Хэ'эналe и Исааку?

– Да.

– И к этому времени Исаак уже был готов к тому, чтобы познакомить тебя с найденной им музыкой?

– Да.

Исаак встретил Рукуея у начала прохода. Как всегда нагой, с тем же потрепанным зонтиком над головой, он не посмотрел на Рукуея, не поздоровался с ним, не стал расспрашивать о его путешествиях. Он просто стоял на его пути.

– Я знаю, почему ты здесь, – сказал наконец Исаак. – Ты пришел для того, чтобы узнать песню. – Он помолчал. – Я нашел музыку. – Помолчал снова. – Но слов для нее пока еще нет.

В голосе его не было эмоций, однако, повинуясь некоему невысказанному внутреннему неудовольствию перед лицом не приведенного к порядку хаоса, Исаак начал кружить, жужжать и размахивать руками.

– Что же не так, Исаак? – спросил Рукуей, уже наученный

жизнью понимать чужую боль.

Вращение внезапно прекратилось, и Исаак покачнулся.

– Музыку невозможно спеть, пока у нее нет слов, – сказал он наконец. – У песен всегда есть слова.

Рукуей, научившийся заботиться о странном брате своей кузины еще до того, как ушел в свое странствие, ощутил потребность успокоить его.

– Я найду эти слова, Исаак, – пообещал он. Обет, данный по юности и неведению, был исполнен в зрелые годы и при полном понимании. Рукуей Китхери никогда не пожалеет о нем.

Глава 32
Джордано Бруно

Октябрь 2078 года по земному летоисчислению

– Посмотрите только на то, что они натворили, – выдохнул Жосеба Уризарбаррена, сперва с восхищением, потом со скорбью, когда начали поступать снимки планеты. – Посмотрите на то, что они сделали!

– Боже мой, – прошептал Джон Кандотти, – как прекрасно…

– Прекрасно! – воскликнул Жосеба, гневным жестом указывая на дисплей. – Сколько же народа умерло для того, чтобы это произошло? – И осекся, опасаясь, что Сандос услышал его слова и принял их на свой счет, однако лингвист был поглощен собственным делом в противоположном конце ходовой рубки, мониторя радиопередачи, которые они могли теперь слушать прямо на радиоволне.

– Жосеба, о чем вы говорите! – разволновался Джон. – Это великолепно! Это… это…

– Это катастрофа! – свирепым тоном проговорил Жосеба, сотрясаясь от бессильной ярости. – Разве вы не видите? Они полностью разрушили экологическую систему. Все переменилось!

Поднявшись на ноги, он в отчаянии отвернулся от дисплеев.

– Агрокультура! – простонал он, пряча лицо в руках. – Еще одна планета повергнута в ад глобальным выращиванием сельскохозяйственных культур…

– А по-моему, приятный видок, – вежливо прокомментировал Нико, обращаясь к Шону Фейну, который, прислоняясь к переборке, следил за тем, как система скан за сканом датирует и копирует многочисленные изображения.

– Так и есть, Нико, – промолвил Шон. – Так и есть.

Сперва нечеткие, а потом все более яркие и красочные изображения Ракхата, освобожденные от туманной дымки и облаков, открыли экипажу корабля «*Джордано Бруно»,* спускавшемуся к поверхности планеты, преображенный мир: бывший райский сад, превращенный в возделанный парк. Изменения оказались наиболее интенсивными в средних широтах северного полушария, где южные города самого большого континента планеты – впервые замеченные сорок лет назад Джимми Куинном, Джорджем Эдвардсом и Марком Робишо – охватывали побережье и реку. Наложение старых и новых изображений по-прежнему позволяло вычленить границы городских центров, однако там, где прежде тянулась нетронутая

саванна, джунгли, топь или горный лес, теперь находились кружевные поля, колоссальные партеры, переплетающиеся наподобие кельтских украшений: земледелие, геометрия, изобразительное мастерство в крупном масштабе.

– Посмотрите внимательно, – процитировал Шон Фейн, вспоминая ученые комментарии двенадцатого столетия к *Книге из Келлса*[64], – и вы проникнете в самое святилище искусства. Вы различите сложные переплетения, настолько деликатные и тонкие, настолько полные узлов и связей, выполненные такими яркими и живыми красками, что вы можете решить, что перед вами работа ангелов, а не людей.

– Чтобы спланировать такие рисунки, они должны были получать изображения со спутников, – заметил прозаичный Франс Вандерхельст. – Не думаю, чтобы это можно было сделать без взгляда сверху.

– Возможно, – проговорил Карло. – Однако многое можно сделать с помощью веревок и вех, а также простых геодезических инструментов… – Склонившись вперед над объемистым плечом Франса, он проследил изгиб горного склона, повторенный затем во многих террасах. – Часть этих рисунков основана на местной геологии.

Карло повернулся к Сандосу, забившемуся в уголок ходовой рубки, забывшему о видеоинформации и все внимание уделявшему радиоболтовне. Карло помахал ему рукой, чтобы привлечь внимание.

– Посмотрите на новые результаты фотосъемки, Сандос. Что скажете по этому поводу? – спросил его Карло, когда Эмилио снял наушники с головы.

Поднявшись на ноги, Сандос со стоном потянулся, прежде чем присоединиться к Дэнни, Шону и Нико, стоявшим возле стены, откуда были видны все экраны.

– Господи Иисусе, – удивился он. – Выходит, что жана'ата в конечном счете решили позволить руна заниматься огородничеством и полеводством.

Какое-то время он смотрел, следя за автоматической сменой кадров, увеличивавших разрешение и показывавших самые интересные участки снимков.

– А как все это выглядит в инфракрасном свете?

Жосеба подошел к пульту смены частот:

– Еще хуже! Посмотрите на тепловую подпись этих городов. – Он извлек для сравнения соответствующую картинку из памяти «*Стеллы Марис*». – Бог мой! Что же это получается? Тридцатипятипроцентный прирост численности населения за два поколения!

– Не преувеличивайте, – проговорил Дэнни, прикинув оценку в уме. – На мой взгляд, тепловой поток в общем увеличился примерно на двадцать девять процентов. И судить по его увеличению о приросте численности населения никак нельзя. Могли произойти изменения в промышленной базе…

– А посмотрите-ка сюда, – предложил Карло. – Повсюду по берегам рек новые селения. И дорог больше, чем раньше. – Следующих рельефу местности, отметил он для себя, не похожих на римские – по прямой линии соединявшие пункт А с пунктом В, – но тем не менее дороги. Пригодные для торговли.

– А по радио есть что-нибудь новенькое? – спросил он у Сандоса. Эмилио покачал головой:

– Торговый спрос и предложение, анализ рынков. Прогнозы погоды, урожай культур, расписания отправки судов. И бесконечные уведомления о собраниях! И все на руанже. – Он со вкусом зевнул. – Мне надо сделать перерыв. Подобные сведения усыпляют меня.

– Но никакой музыки? – поинтересовался Дэнни Железный Конь.

– Ни единой ноты, – подтвердил Эмилио, покидая рубку.

Теперь он проделывал почти всю работу переводчика, однако у Дэнни было более трудное задание. Радиопередачи с Ракхата на «*Магеллан*» и далее на Землю шли десятилетиями, часть их отправлялась на «*Бруно»;* их нужно было согласовывать с теми передачами «*Магеллана*», которые «*Бруно*» перехватил в полете, и теми, которые они слышали теперь.

Голова Эмилио шла кругом от этих перепутанных временны□х последовательностей, однако Дэнни явно справлялся с делом. Содержание передач заметно менялось, на что указывали изменения в словаре, с которым Эмилио знаком не был, и ему оставалось только догадываться о смысле сказанного: по сути дела, они получали несвязанные отрывки. Но при всем том отрывки эти являли вдохновляющую смесь языков и новостей, так что он начинал уже думать, что в этом мире нечто переменилось к лучшему.

Эмилио не понимал, что означает отсутствие к'сана в радиопередачах, еще менее мог судить о том, что вызвало небывалый расцвет сельского хозяйства, и потому, оставив Жосеба и Дэнни спорить о возможном уровне промышленного развития, отправился на кухню за кофе. Он уже наливал себе, когда за его спиной Джон многозначительно кашлянул.

– Спасибо. – Эмилио оглянулся через плечо. – Уже не так плохо, как было раньше, Джон.

– Ну да. Я уже заметил это. Но все равно предпочту случайно

не напугать тебя, если могу сделать это.

Джон не стал входить в тесную комнату и остановился в дверях.

– Никакого ответа на приветствия, как я понимаю. Ты бы сам сказал тогда, так?

– Конечно. – Эмилио повернулся к нему, держа чашку обеими руками. Но заговорил уже голосом и с интонацией Шона: – В том, чтобы ожидать худшего, есть известное благо: когда это худшее случается, ты имеешь право хвастаться своей правотой.

– Она может и не слушать, понимаешь, – проговорил Джон. – Ну, то есть потому, что не ожидает гостей, да? Она может быть еще жива.

– Такое возможно. – *«Мог сдохнуть ее компьютерный планшет. Его могли украсть или потерять. Или же она просто могла перестать пользоваться им. Ладно, смотри правде в лицо*, – сказал себе Эмилио. – *Она мертва».*

– Шансов на то, что София выживет, практически не было, – громко проговорил он, донося кружку с кофе до стола, и тут же опустился в кресло.

Последовавший за ним Джон сел напротив.

– Сейчас ей должно быть более семидесяти лет, я считаю.

Эмилио кивнул.

– То есть примерно на тридцать лет меньше, чем мне, по субъективному самочувствию. – Снова зевнув, он потер глаза рукавом. – Боже, как я устал. Стоило ли тащиться в такую даль для того, чтобы выслушивать отчеты об уборке урожая?

– А странно, правда, – проговорил Джон. – Если бы мы в первый раз услышали всю эту бухгалтерию вместо песен, то могли бы и не прилететь сюда.

Эмилио сполз вниз на стуле, так что голова его оказалась вровень с краем спинки, а подбородок уперся в грудь.

– Но мы здесь, – проговорил он, улыбнувшись иезуитскому «мы», бессознательно произнесенному Джоном. – Возможно, я сумел бы уговорить себя, что расписания отправки барж на самом деле являются молитвой святым.

Эмилио возвел глаза к небу.

– Религия – мечта говорящей бесхвостой обезьяны! Знаешь, что я думаю? – риторически обратился он к себе самому, пытаясь отвлечься от очередной смерти, посетившей его жизнь. – С нами по воле случая происходит всякое дерьмо, мы перелагаем его в нравоучительные рассказы и называем Священным Писанием…

Джон притих, как мышь. Посмотрев на друга, Эмилио увидел его лицо.

– О боже. Прости меня, – сказал он, меняя позу. – Таков

Эмилио Сандос, отрава в человеческом облике! Не слушай меня, Джон. Я устал, у меня плохое настроение и…

– Знаю, – ответил Джон, глубоко вздохнув. – И я готов признать, что тебе принадлежит черный пояс в части боли и страдания, так? Однако на свете устал далеко не ты один, и скверный характер не у тебя одного, наконец, не ты один хотел бы, чтобы София осталась в живых! Постарайся запомнить это!

– Джон, послушай! Еще раз прости, хорошо? – окликнул Эмилио выходящего из помещения Кандотти. – Боже, – вяло прошептал он, оставшись в кают-компании в одиночестве. Опустив локти на стол, положив руки в ортезах по обе стороны кружки, он смотрел на поверхность кофе.

«*Какой сейчас год?* – вдруг подумал он без всякой связи с происходящим. – *Сколько же мне лет, черт побери? Сорок восемь? А может, девяносто восемь? Или все две сотни?»* И не сразу заметил, что лицо его отражается в черном и спокойном зеркале напитка: тощая физиономия, на которой гравировальная игла прожитых трудных лет запечатлела следы перенесенных страданий. Никакие его слова не способны пошатнуть веру Джона – он это знал, но все равно постарался забиться поглубже в кресло, постаравшись съежиться в комок.

– Молодец, парень, – тяжело вздохнул он.

С ненавистью к себе самому, к Джону, к Софии, ко всем, кого он мог представить, он мысленно вернулся к работе, чтобы найти в ней спасение. Он подумал, что, наверное, надо закончить прямое прослушивание радиосигналов – достаточно следить за изменениями языка при более высокой скорости воспроизведения. «*Почему я раньше не подумал об этом?* – удивился он. – *Значит, работаю неэффективно…»*

Мгновение спустя, ощутив резкий кивок головы, он проснулся, заставил себя открыть глаза и увидел перед собой на столе ту же кофейную кружку.

Руки его налились свинцом, он не мог заставить себя взять ее. Да, кофеин уже не действует, подумал он, чуть подвинувшись вверх. Пора обращаться к Карло за волшебными пилюлями.

Он не впервые заставлял себя вести подобный образ жизни; Эмилио давным-давно обнаружил, что способен относительно неплохо функционировать, сократив время ночного сна до трех-четырех часов. Он постоянно чувствовал себя очень скверно, но в этом не было ничего нового. «*Ты умеешь не обращать внимания на плохое самочувствие. Ты привык к рези в глазах, к постоянной тупой головной боли».* Не то чтобы он мог забыть об усталости, о страхе, горе или гневе, замечал он, не то чтобы что-то становилось лучше или легче. Но факт состоял в том, что вопреки

всему он все равно мог работать. «*Ты должен стоять на ногах, должен двигаться…*»

«Потому что если ты на мгновение сядешь, – подумал он, вновь просыпаясь, – если позволишь себе отдохнуть… Ладно, не надо. Ты заставляешь себя работать, потому что иначе войдешь в тот город мертвых, в тот некрополь, который содержится у тебя в голове. Сколько там мертвых…»

…Он пытался исправить ситуацию, вынести трупы. Была ночь, но лунный свет лился со всех сторон, и тела сделались почти что прекрасными. Волосы Энн серебрились в лучах луны. Эбеновые члены младшей сестры мальчишки из племени додот – деликатные, хрупкие, – ее совершенный маленький скелет… очаровательный, но такой печальный, такой печальный… притом что страдания ее завершились, и она находилась у Бога.

Это было самое худшее из того, что он видел во сне. Если Бог – враг, тогда опасность грозит даже мертвым. Все, кого ты любил, должны быть у Него, и Ему не следовало доверять, не следовало любить.

– Все живое умирает, – говорил ему Супаари. – И не есть умерших – пустая трата еды.

Но город вновь горел, запах горелого мяса царил повсюду, и свет не был лунным, это было зарево пожара, и жана'ата были повсюду… мертвые, мертвые, как много мертвецов…

Кто-то тряс его. Он проснулся со всхлипом, ноздри его еще ощущали запах.

– Что? Что такое? – Он сел, растерянный, еще ощущавший только что пережитый ужас. – Что! Черт! Я же не спал! – солгал он, не зная почему. – Что там…

– Эмилио! Проснись! – Стоявший возле него Джон Кандотти ухмылялся во весь рот, лицо его светилось, подобно хеллоуинской тыкве со свечкой внутри. – Ну, спроси меня о том, какую новость я тебе принес!

– О боже, Джон, – простонал Эмилио, оседая назад в кресло. – Иисусе! Не дурачься со мной…

– Она жива! – воскликнул Джон. Эмилио немо смотрел на него. – София жива. Франс десять минут назад связался с ней по радио…

Сандос мгновенно поднялся, протиснулся мимо Джона и устремился на мостик.

– Подожди, подожди, подожди! – воскликнул Джон, хватая проходившего мимо Эмилио за руку. – Расслабься! Она разорвала связь. У нее все в порядке! – проговорил он, сияя, забыв о короткой размолвке. – Мы сказали ей, что ты спишь. Она рассмеялась и сказала: «Типичная для него картина!» Еще она

сказала, что ждала весточки от тебя сорок лет и может подождать еще несколько часов, чтобы мы тебя не будили. Но я знаю, что ты убил бы меня, если бы я этого не сделал, поэтому я тебя и бужу.

– Значит, у нее все в порядке? – спросил Эмилио.

– Явно. Голос довольный.

Эмилио на мгновение привалился к переборке, зажмурив глаза. А затем последовал к радио, предоставив Джону Кандотти следовать за ним с блаженной улыбкой на лице.

Когда Сандос появился на мостике, все уже толпились возле двери, пока Франс второй раз устанавливал связь.

– На каком языке она говорит? – спросил Эмилио.

– В основном на английском, – сообщил Франс, неуклюже пропуская Сандоса к консоли. – Вставляет слова руанжи.

– Сандос? – услышал он, как только сел. Звук ее голоса током встряхнул его: более низкий и скрипучий, чем он помнил, однако по-прежнему прекрасный.

– Мендес! – воскликнул он.

– Сандос! – произнесла она, голос ее дрогнул. – Я думала… что никогда…

Сдерживаемые доселе чувства хлынули сквозь барьеры, казавшиеся обоим непреодолимыми, однако к рыданиям добавились смех, горькие извинения и чистая радость, и, словно время повернулось назад, они заспорили о том, кто первый заплакал.

– Но в любом случае, – проговорил Эмилио, решив предоставить ей победу, – какого черта ты вдруг живая, когда я прочел по тебе кадеш!

– Что ж, очень жаль, но получается, что ты потрудился напрасно…

– Все равно она не имеет силы без миньяна[65], – решительным тоном проговорил он.

– Миньяна… только не говори мне, что ты владеешь теперь и арамейским! И сколько же теперь у тебя языков?

– Примерно семнадцать, кажется. Я получил кое-какое представление об эускаре и научился грубить африканцам.

Затрещали не слишком сильные статические разряды. Во всяком случае, настолько сильные для того, чтобы прогнать безумное ощущение обыкновенного телефонного разговора двух друзей.

– Но арамейского среди них, увы, нет. Я запомнил молитву.

– Жулик! – проговорила она с тем знакомым хрипловатым смешком, в котором теперь не было слез.

Зажмурив глаза, Эмилио постарался не поблагодарить Бога за

то, что смех ее не изменился.

– Итак, благородный идальго, – говорила она, – вы явились на эту планету для того, чтобы спасти меня?

– Конечно же нет, – вознегодовал он, удивленный тем, каким благополучным, каким веселым кажется ее голос. – Просто заглянул на кофеек. Но почему? Разве тебя надо спасать?

– Не надо, я абсолютно уверена в этом. Но от кофе не отказалась бы, – призналась София. – Давно даже не нюхала.

– Что ж, у нас его много, но, боюсь, без кофеина.

Ответом стало полное ужаса молчание.

– Прости, – сказал он печальным тоном. – Со мной не проконсультировались при составлении погрузочной ведомости. – Молчание в трубке приобрело несомненно возмущенные нотки. – Ошибка имела клерикальные корни, – сообщил он ей с неподдельным расстройством. – Мне действительно очень жаль. Прикажу всех казнить, а головы выставим на острых кольях…

Она усмехнулась:

– Ох, Сандос, кажется, я всю жизнь любила тебя.

– Нет, не любила, – ворчливо отозвался он. – Ты возненавидела меня с первого взгляда.

– В самом деле? Что ж, я была дурой. Надеюсь, ты пошутил насчет кофе без кофеина, а? – спросила она с опаской.

– Разве я способен шутить на подобную тему?

– Только зная, что я клюну на розыгрыш. – Помолчав недолго, она заговорила уже с тем спокойным достоинством, которое всегда восхищало в ней Эмилио: – Я рада, что дожила до этого дня и могу снова говорить с тобой. Здесь все переменилось. Руна теперь свободны. Ты был прав, Сандос. Ты был прав во всем. Бог назначил нам прийти сюда.

За спиной его зашевелились, послышались голоса, он ощутил, как Джон стиснул его плечи и свирепым тоном прошептал:

– Ты слышал это, пустая голова? Ты *слышал* это?

Однако в его собственных глазах все расплылось, он понял, что едва способен вздохнуть, и потерял нить разговора до тех пор, пока снова не услышал свое имя.

– А как Исаак? – спросил он.

Молчание было настолько внезапным и таким продолжительным, что, изогнувшись в кресле, Эмилио вопросительно посмотрел на Франса.

– Соединение не прервано, – проинформировал его Вандерхельст.

– София? – произнес он. – В последний раз мы слышали о нем, когда Исаак был еще очень мал. И я не хотел…

– Он ушел от меня уже давно. Исаак был… Он ушел, чтобы жить самостоятельно много лет назад. Хэ'энала последовала за ним, и мы надеялись… Однако ни он, ни она не вернулись. Мы неоднократно пытались найти их, однако война затянулась настолько…

– Война? – переспросил Дэнни, но Сандос уже говорил:

– Все в порядке. Все в порядке, София. Что бы ни случилось…

– Никто не ожидал, что она продлится так долго! Хэ'энала – это… Ох, Сандос, тут все так переплетено. Когда вы собираетесь сесть? Я все тебе расскажу, когда ты доберешься до Галатны…

Слово это стало для него ударом под дых.

– До Галатны? – переспросил Сандос едва слышно.

– Сандос, ты здесь? О боже, – произнесла она, осознав его реакцию. – Я… Я знаю, что происходило здесь с тобой. Но теперь все по-другому! Хлавина Китхери нет в живых. Они оба… Китхери погиб годы назад… – проговорила она слабеющим голосом. Но потом уже твердым тоном произнесла: – Дворец теперь стал музеем. И я живу при нем – как один из исторических экспонатов!

София умолкла, Эмилио попытался подумать, но мысли не шли в голову.

– Сандос? – услышал он ее голос. – Не бойся. Ни одного *джанада* к югу от гор Гарну теперь нет. Мы-и-ты-тоже здесь в безопасности. Честно. Сандос, ты здесь?

– Да, – ответил он, беря себя в руки. – Я здесь.

– Когда вы собираетесь садиться? И сколько вас?

Подняв брови, он повернулся к Карло и спросил:

– Наверное, через неделю?

Карло кивнул.

– Через неделю, София. – Он кашлянул, попытался вложить в голос больше силы. – Нас восьмеро, но пилот корабля останется на борту. Кроме него четверо иезуитов, двое бизнесменов. И я.

Она пропустила намек мимо ушей.

– Вам придется садиться к юго-востоку от Инброкар-города, за садами. Ты уже видел их? Мы зовем эти сады – в честь Марка – робишо! Проводим конкурсы на самый красивый и продуктивный участок, без призов, конечно, чтобы никто не ощутил себя *порай.* Я пришлю за вами эскорт. Здесь безопасно, однако я теперь не слишком хорошо стою на ногах, а найти дорогу через садовые лабиринты может только рунао… И послушай меня! Я слишком долго прожила среди руна! *Сипаж,* Миило! Неужели эта всегда так долго болтала? – спросила она со смехом. Она помолчала, передохнула и неторопливо произнесла: – Эмилио, не жди, что увидишь меня такой, как я была. Теперь я старуха. От меня остались одни руины…

– Как и от всех нас, – проговорил он, приходя в себя. – И если ты руина, – проговорил он негромко, – то руина великолепная, Мендес, нечто вроде Парфенона! Существенно лишь что, что ты жива, благополучна и тебе ничто не грозит.

Сандос понял, что не лукавит с собой. В тот момент для него не существовало ничего более важного.

Глава 33
Ракхат

Октябрь 2078 года по земному летоисчислению

Разговор не закончился: последовало обсуждение торговых вопросов с мягким итальянским голосом, дискуссия относительно координат и маршрута полета с пилотом. Обговорено было место посадки возле реки Пон, а также решение связываться для разрешения вопросов и подтверждения, внесения поправок и уточнений. Наконец неловкое прощание с Сандосом, а потом… она снова оказалась на Ракхате, сама с собой, в тихой комнате, укрывшей ее со всеми воспоминаниями, вдали от шума и разговоров.

Зеркал во Дворце Галатны теперь не водилось. Не имея напоминания о том, что увидит Сандос, София Мендес могла какое-то время представлять себя тридцатипятилетней, с прямой спиной, быстрым умом, ясными глазами и полной надежды. Осталась разве что надежда… Нет, все надежды исполнились. Бывают войны, стоящие всех потраченных сил и купленные справедливостью смерти. И все это имело причину… «Ох, Сандос, – подумала София. – Ты вернулся. Я всегда знала, что ты вернешься…»

(Вернешься.)

«Исаак, – подумала она, затихая. – *Хэ'энала».*

София долго сидела, перебирая в памяти все, что скопилось на душе. Отвага это или глупость, пыталась понять она, вновь открывать свое сердце холоду надежды и снова ждать молчаливо, когда надежда увянет?

«Но как я могу не пытаться?» – спросила она себя. И сделала так.

* * *

– *Прочти это*, – сказал Исаак.

Письмо ожидало его, как и прочие ее мольбы за долгие годы ожидания. Он всегда начинал утро с того, что открывал файл своей матери, потому что должен был открыть его, но никогда не отвечал. Ему нечего было сказать.

Другой человек в более или менее аналогичных обстоятельствах избавил бы сестру от чтения горьких писем, умолявших любимых детей вернуться домой или хотя бы

сообщить своей матери о том, что оба они живы.

Исаак не понимал сердечной боли. Сожалений, печали, разделенной верности.

Как и гнева, разрушенного доверия или измены. Подобные объекты не обладали ясностью. Они требовали ожидания определенной реакции со стороны кого-то, а Исаак подобными предметами не располагал.

Послания Софии всегда были адресованы им обоим, вопреки всему, что происходило в долгие годы, прошедшие после того, как они покинули лес. Прочитав последнее, Хэ'энала аккуратно закрыла планшет.

– Исаак? Ты хочешь вернуться назад?

– Нет. – Он не спросил: куда назад? Это было неважно.

– Наша мать хочет этого. – Хэ'энала помолчала. – Она состарилась, Исаак. И, наверное, скоро умрет.

Тема не представляла для него интереса. Исаак поднес пальцы к глазам и начал складывать из них фигуры. Однако он видел, что Хэ'энала глядит на него даже сквозь его пальцы.

– Я не вернусь, – проговорил он, опуская ладони. – Они не поют.

– Исаак, послушай. Наша мать поет. Твой народ поет. – Немного подождав, она продолжила: – Существуют другие люди твоего народа, Исаак. Они снова прилетели к нам…

Это его заинтересовало.

– Я нашел правильную музыку, – проговорил он не с удивлением, не победным тоном, но невыразительно: дождь проливается из облаков, ночь следует за днем, моя музыка правильная.

– Они могут не остаться здесь, Исаак. Наша мать может захотеть вернуться с ними домой. – Пауза. – Назад в то место, откуда все вы происходите. – Более долгая пауза, для того, чтобы он это услышал. – Исаак, если наша мать решит вернуться на С'емлю, мы никогда больше ее не увидим.

Постучав пальцем по щеке в гладком месте, где не произрастали волосы, он зажужжал.

– Тебе следовало бы хотя бы попрощаться с ней, – настаивала Хэ'энала.

«Следовало бы» ясностью не обладало. Он посмотрел – следовало бы – вверх, но обнаружил там только ответственность перед другими, обязанности. Он не понимал эмоций, для которых нужно было две или более персон. Его эмоции были связаны исключительно с собственным состоянием. Он мог быть разочарован, но разочарован не кем-то. Он мог сердиться, но не на кого-то. Он мог восторгаться, но не чем-то. Ему не хватало

предлогов. Пение разрушало этот шаблон. Он понимал гармонию: петь с кем-то. Этим Хэ'энала объяснила ему брак с Шетри: «мы с ним в гармонии».

Откинув голову на тонкой шее назад, Исаак посмотрел вверх, на ткань тента, изучая картину, образованную солнечным светом, заставлявшим сиять каждый крошечный пиксель между утком и основой. Он отказался перебраться в новый каменный дом, потому что тент был своим, знакомым и ему нравился. Тент шевелился, но не как полог листвы. Посмотрев вниз, он увидел, что Хэ'энала не ушла и потому протянул к ней руку, ожидая момента, когда ладонь его ощутит привычную тяжесть планшета. Тент служил вуалью, которую не мог снять никто. Тент удерживал пыль и опавшую листву, но ничем не мог помочь при сильном дожде. Но при всем том он хранил свои палочки, для того чтобы проверить контур прямоугольника, убедиться в том, что он сохраняет нужные пропорции.

А потом: прикосновение большого пальца к защелке, мягкий щелчок механизма, неизменная геометрия крышки. Жужжание включенного питания, вот засветился экран, вот клавиатура с ее рядами клавиш. Несколько прикосновений к клавишам, несколько слов, и вот она снова, такая же как была, каждая нота совершенна в своей точности. Он подумал: «Я и родился для того, чтобы найти это».

И по-своему остался доволен собой.

Вдова Суукмель Схирот у Ваадаи более не имела твердого мнения относительно того, кто из богов управляет ее жизнью.

В дни молодости она более склонялась к традиционным божествам: суетливым старушкам-богиням, следившим за тем, чтобы солнца не сходили со своих привычных путей, чтобы реки не выходили из берегов, чтобы соблюдался ритм повседневной жизни.

После брака она стала симпатизировать Ингви, властительнице судьбы, и, понимая зло невезения, была благодарна мужу, почитавшему ее. В мирном владении этой богини обитали разные божки: Благополучие, Роскошь, Намерение, Баланс. То есть боги жизненного благополучия. Так что Суукмель разумно пристроила дочерей в соответствии с ее собственными высокими личными стандартами, а также нормами, продиктованными положением зятьев в линии наследования и современной политики. Сама она имела склонность к незаметному продвижению и подлинному довольству.

Затем, в среднем возрасте, ею правил Хаос. Хаос пляшущий.

Хаос поющий. Не богиня, но муж, приславший ей сокровище: жизнь, прожитую с интенсивностью, которая подчас пугала ее, но от которой она не могла, не готова была отказаться. Ее посетила власть. Влияние. Она вкусила восторг запретного, непредсказуемого. Хаос потребовал от нее не смерти Добродетели, но рождения Страсти. Радости. Созидания. Преображения.

«А теперь? Кто же теперь правит мной?» – удивлялась Суукмель, глядя на то, как Хэ'энала вылетела из палатки своего странного брата. Легкий ветерок донес фактическое подтверждение наблюдения: Хэ'энала была в ярости. Не глядя по сторонам, она миновала Суукмель и отправилась за пределы поселка, не сказав никому ни слова, только по пути подцепила коротким изогнутым когтем за лямку большую корзину и забросила ее на плечо.

Какое-то время Суукмель просто следила за молодой женщиной, взбиравшейся по краю оставленной ледником осыпи, – затаив дыхание и надеясь, что Хэ'энала не упадет, ибо и ее равновесие, и силы были подточены четвертой беременностью.

Вздохнув, Суукмель поднялась, чтобы последовать за молодой женщиной, подхватила собственную корзину и плотный кусок парусины, пропитанной воском, грязной и мокрой после недавнего дождя. Пребывая в подобном настроении, Хэ'энала, похоже, привлекала нападения *кха'ани*; Суукмель предпочитала заниматься мародерством под прикрытием куска парусины.

Окружавшие долину Н'Жарр горы изобиловали каменистыми выступами, и скалы эти являлись любимым местом гнездования животных, являвшихся наиболее обильным и доступным из разрешенных источников еды. В конце периода партан, когда дожди ослабевают, *кха'ани* начинают размножаться рано и в ошеломляющих количествах. Взрослых, носящихся и уклоняющихся от любого движения, поймать удавалось редко, однако в сухой сезон их яйцекладки становились легкой добычей – кожаные овальные мешочки с протеином, содержащим внушительную долю жира; источник питания зародышей *кха'ани* годился и в пищу жана'ата, если потреблять их в достаточном количестве.

Диета монотонная и не слишком вкусная, однако адекватная и надежная, которую можно было время от времени разнообразить другой дичью, более достойной этого имени, но и куда более опасной.

– Предупреждаю, – окликнула Хэ'энала, ощутив приближение Суукмель. – Мне не до разговоров.

– Это когда я считала тебя общительной? – спросила

Суукмель, подходя к ней. – К тому же я собираюсь докучать не тебе, а *кха'ани*.

Зацепив кусок парусины когтями, Суукмель энергично взмахнула им, отогнав нескольких взрослых *кха'ани*, и тут же нырнула под него и начала закатывать мешочек за мешочком в свою корзинку в желтом, проникавшем сквозь ткань свете, напевая себе под нос.

– Ну, что я должна теперь делать? – возмущенным тоном промолвила Хэ'энала, одолевая голосом пронзительные крики *кха'ани* и ныряя поближе к Суукмель под ее защитный покров. – Чего же она ожидает? Что мы с Исааком пешком придем в Гайжур? Знаешь, что она сказала? Что все будет прощено. *Она* простит *меня!* Они простят! Как смеет она…

– Ты права. Тебе действительно не до разговоров, – заметила Суукмель, скатывая еще одно гнездо в свою корзинку. – Кого это ты порочишь, если я могу спросить?

– Свою мать!

– Ага.

– Три раза мы начинали переговоры, и три раза наших посланцев убивали, едва заметив на расстоянии шести сотен *чаари* от Гайжура, – вспыхнула Хэ'энала, отправляя в свою корзину еще одно яйцо, не обращая внимания на галдеж и щипки кишевших возле нее *кха'ани*. – И теперь она говорит о доверии! Она говорит о прощении!

– Если ты отправишь в свою корзинку новые яйца, нижние могут лопнуть, – напомнила ей Суукмель, выглядывая из-под своей парусины. Разъяренный *кха'ан* спикировал на нее, но Суукмель только отмахнулась от него, после чего взяла на плечо корзинку и, сделав несколько шагов, оказалась на траве.

Эта крылатая злобная мелочь бдительно защищала собственную территорию, однако видели они не слишком хорошо. «*У всех нас свои слабости*», – подумала Суукмель, сочувствуя родителям своей добычи.

Сев под скупым солнечным светом, Суукмель достала несколько яиц из своей корзинки.

– Иди поешь со мной, девочка, – позвала она Хэ'эналу.

Та постояла какое-то время, став легкой мишенью для *кха'ани*, но наконец перетащила свою корзинку поближе к Суукмель, которая тем временем разминала в руках кожистое яйцо, чтобы полностью перемешать содержимое. На это ушло кое-какое время, однако она научилась делать все аккуратно.

Иначе не получалось. Следовало сжать прочную волокнистую оболочку на одном конце, чтобы яйцо надулось, и проткнуть когтем с другого конца. А затем высосать содержимое, стараясь

не слишком стискивать пустеющий кожистый мешочек, ибо в таком случае альбумин брызнет тебе на лицо.

– Садись и ешь! – велела она, на сей раз более строгим тоном, и передала мешочек Хэ'энале, прежде чем сама приступила к завтраку.

– Суукмель, я пыталась понять ее, – настоятельным тоном проговорила Хэ'энала, как будто старшая подруга возражала ей. – Я пыталась поверить в то, что она не знала о том, что происходило с нами…

– София присутствовала при штурме Инброкара, – напомнила Суукмель.

– А значит, сама видела всю эту бойню, – Хэ'энала проглотила содержимое яйца, не обращая внимания на вкус, – и знает теперь – если не планировала этого с самого начала, – как мало нас осталось!

– Несомненно, – согласилась Суукмель.

Хэ'энала опустилась на землю, опершись на треножник из ног и хвоста, выставив вперед живот.

– И теперь она ждет, что я забуду обо всем этом, забуду про свой народ и приду к ней. Мы своими жизнями оплатили попытки добиться какого-то понимания или минимального согласия в чем-либо!

Протянув руку, Суукмель постаралась осторожно уложить Хэ'энала на землю, головой на колени себе, обвив ее, словно младенца, хвостом.

– Быть может, прав Атаанси, племянник Шетри. С нашей стороны, было глупо питать какие-то надежды…

– Возможно, – согласилась Суукмель.

– Однако страх этот питают набеги Атаанси! Каждый раз, когда его люди убивают рунао, они всем поселком несколько часов едят мясо, пока не насытятся, и Атаанси у них герой…

– И после каждого убитого рунао вся деревня его начинает говорить о том, что о безопасности можно будет говорить только после возобновления войны, – отметила Суукмель.

– Именно! Спутники аэрофотосъемки находятся слишком низко над горизонтом и не видят нас, и поэтому руна не способны нас обнаружить! И однажды они придут сюда, следом за Атаанси или кем-то ему подобным! Я уверена в этом, Суукмель. И если они найдут, то прикончат нас! Я столько раз пыталась объяснить Атаанси, что своими действиями он умножает число наших врагов быстрее, чем мы можем нарожать детей…

– Атаанси попался в сеть собственной политики, деточка. Он не сможет править без поддержки ВаПалкирн, а эти будут защищать традицию любой ценой. – Ноги Суукмель затекли, и,

взяв Хэ'эналу за плечи, она усадила ее, отметив при этом, что бедра Хэ'эналы на поздней стадии этой беременности слишком узки, хвост чересчур тонок, а шерсть потускнела и не лоснится.

– Объективности ради следует отметить, что в долине Атаанси матери питаются хорошо, – мягким тоном произнесла Суукмель, – и регулярно вынашивают здоровых детей.

Хэ'энала с горечью посмотрела вниз, на Н'Жарр, где женщины год от года рожали все меньше и меньше детей, вне зависимости от того, с кем сочетались.

– Если кто-то из наших захочет перебраться туда, пускай идут! – воскликнула она бездумно. – Атаанси будет только рад.

– Вне сомнения, – произнесла Суукмель, наблюдая за тем, как отвага оставляет Хэ'эналу. В последнем году вообще никто не родился, в предыдущем рождений было немного. Софи'ала, будучи крепким ребенком, вполне могла пережить детские годы, однако Хэ'энала потеряла худенького годовичка из-за легочного заболевания, которое Шетри не сумел вылечить своими травами, и родила мертвым еще одного сына.

– Возможно, Атаанси прав, – почти неслышно произнесла Хэ'энала.

– Возможно. И все же, – не без удивления произнесла Суукмель, – мы остаемся с тобой, и некоторые руна остаются с нами.

– Почему? – воскликнула Хэ'энала. – Что, если я ошибаюсь? Что, если все это ошибка?

– Съешь, – произнесла Суукмель, подавая Хэ'энале другое яйцо. – Радуйся обилию и солнышку, когда они посещают нас. – Однако Хэ'энала безвольно уронила руку, подчиняясь владевшим ей рассеянности и растерянности, и не позволяя себе обрадоваться серебристому свету, пробившемуся сквозь расступившиеся плотные северные облака.

– Однажды, очень давно, – сказала ей Суукмель, – господин мой муж спросил Хлавина Китхери, не случалось ли ему опасаться того, что реформы его могут оказаться ошибкой. Высочайший ответил: возможно, но это будет блистательная ошибка.

Хэ'энала встала и подошла к краю скалы, ветерок теребил ее шерсть. Поднявшись, Суукмель подошла к ней.

– Я слышала песни многих богов, девочка. Глупых богов, могущественных богов, капризных богов… богов податливых и тупых. Давно, когда ты впервые пригласила нас в свой дом, дала нам еду и кров и пригласила нас остаться, я запомнила твои слова о том, что все мы – жана'ата, руна и люди – являемся детьми Божьими и наш ранг настолько высок, что любые

различия между нами несущественны, если смотреть в перспективе.

Суукмель окинула взглядом долину, ныне усыпанную каменными домами и полную голосов, высоких и низких, ставшую домом для руна и жана'ата и одного-единственного инородца, которого Хэ'энала называет своим братом.

– Я думала, что это всего лишь песня, спетая иноземцем глупой девочке, способной поверить во всякую чушь. Но Таксайу была дорога мне, а Исаак был дорог тебе, и я хотела услышать эту песню, потому что мечтала попасть в такой мир, в котором жизнь будет определяться не происхождением, и похотью, и отмирающим законом, но любовью и верностью. И в этой долине подобная жизнь возможна. И если надеяться на такой мир ошибочно, то эта ошибка заслуживает названия блистательной.

Хэ'энала опустилась на колени и оперлась рукой о камень, чтобы не согнуться. Плач поначалу был негромок, но они вдвоем оставались на склоне, вдали от тех, кого могла бы смутить слабость вождя. Мгновение располагало к покорности, усталости и тревоге, голоду и ответственности; тоске по далеким родителям и скорби об ушедших детях, ко всему, что могло быть и не случилось.

– Рукуей вернулся домой, – наконец произнесла Хэ'энала едва слышным голосом, уткнувшись лицом в живот Суукмель. – Это нечто. Он видел все и повидал все. Он вернулся сюда. И он остался…

– Сойди со своей горы, сердце мое, – посоветовала ей Суукмель. – Послушай снова музыку Исаака. Вспомни, что ты подумала, в первый раз услышав ее. И пойми, что если все мы дети одного Бога, то однажды должны стать одной семьей.

– А если Бог – всего лишь песня? – спросила одинокая и испуганная Хэ'энала.

Суукмель долго молчала. И наконец произнесла:

– Наша цель от этого не изменится.

– Только послушать их! – шепнула удивленная Тийат ВаАгарди. – Могла бы ты подумать, что *джанада* способны на подобные споры?

– Совсем как в старые дни, – согласилась Кажпин ВаМасна, – только теперь спорят они, а не мы.

Какое-то время послушав пререкания, она легла на спину и принялась разглядывать шествовавшие над долиной облака. Давно прошло то время, когда Кажпин нуждалась в чьем-то согласии для того, чтобы принять решение, – и этот дефект собственного характера ее более не смущал. Она посмотрела на

Тийат:

– Вот что, пусть поговорят до второго восхода, а потом уходим.

Тийат признательно посмотрела на спутницу. Отслужив свое в армии, досыта наевшаяся убийством, Кажпин ВаМасна по собственному желанию отправилась на север, где помогала ВаН'Жарри обоих видов облегчать свою жизнь посредством нападения на торговые караваны руна. Тийат же в прошлые времена принадлежала к числу доместиков, занимая ответственное положение, и пользовалась доверием хозяев, однако до сих пор нередко пряталась в середине стада и восхищалась Кажпин, не унижавшей себя, но ладившей со всеми.

Когда по всему сообществу распространилась весть о прибытии новых иноземцев, Кажпин вместе с Тийат вызвалась сходить на юг и вернуться оттуда в Н'Жарр с человеком, затеяв таким образом бушевавшее до сих пор *фиерно*. Большинству руна дискуссия уже надоела, и они разбрелись на поиски съестного, однако жана'ата признаков консенсуса не обнаруживали.

– Хэ'энала, – говорил Рукуей, – я изучил все отчеты! Да, там есть много такого, чего я не понимаю. Там слишком много слов и идей, в которых я не в состоянии разобраться. Но иноземцы вновь здесь. Они прилетели сюда из-за нашей музыки и вот вернулись опять. Нам надо познакомиться с ними…

– Но что, если все эти разговоры о музыке Бога бессмысленны? – вопросила Хэ'энала, пытаясь не обращать внимания на жужжание Исаака, становившееся все громче и требовательней. – Если мы ошибаемся…

Тийат заговорила впервые…

– Нет, не бессмысленны! Некто думает…

Она умолкла, смутившись, однако молчать в такой ситуации не захотела. Тийат любила ту музыку, которую нашел Исаак; и вообще это была единственная музыка, которую она была способна слушать, и эта музыка преобразила ее.

– Скажу, что мы должны позволить другим иноземцам услышать ее. Отчасти это и их музыка!

– Кроме того, они могут помочь нам и в других вопросах – как честные парламентеры, например, – отметила Суукмель, послужившая своей практичностью двум правительствам. – Они могут вернуться на юг и начать переговоры от нашего имени…

(…Уууннхх…)

– Но зачем, во-первых, им понадобится являться сюда, не говоря уже о том, чтобы помогать нам? – возразила Хэ'энала. – София отравила их ум, настроила против нас! Они будут видеть в нас только убийц, и воров, и…

– Необязательно. – Шетри бросил короткий взгляд на свою коллекцию наркотиков.

Опустив уши, Хэ'энала воскликнула:

– Похитив человека, союзника не приобретешь!

(…Уууууууууннхх…)

– Я побывал повсюду, кроме самого юга, – проговорил Рукуей, стараясь, чтобы его было слышно вопреки поднятому Исааком шуму. – Я должен видеть всех остальных, каждого на собственном месте. И если я должен понять их, мне следует слышать их слова, сказанные свободно…

– К тому же, – заметил Шетри с легкой едкостью в голосе, – Рукуей обладает внушительным опытом в искусстве обмана. Кто способен лгать более убедительно, чем поэт, понуждаемый ко лжи голодом и угрозой смерти?

Хэ'энала остро посмотрела на него, однако не захотела отвлекаться.

– Это безумие, Шетри, – сказала она наконец ровным тоном. – И слишком опасное для тебя и Рукуея. Пусть это сделают Тийат и Кажпин…

(…Уууууууууууууннхх…)

– Два вида разума решат любую задачу лучше, чем один, – заметила Тийат, обводя кроткими глазами собравшихся. – И если два хорошо, – продолжила она, – то три будут еще лучше, так что нам нужно идти за иноземцем.

(…Уууууууууууууннннннхх…)

Желтый свет зажегся на юго-востоке, однако холод не ослабел с восходом второго солнца Ракхата. Кажпин встала, зевнула и потянулась, стряхивая скуку.

– Только держите рты на замке, руки в карманах, а ноги в сапогах, – посоветовала она Шетри и Рукуею. – Если вас разоблачат, мы с Тийат изобразим констеблей, разыскивающих пару ВаХаптаа.

– Кажпин способна врать, как поэт, – серьезным тоном заметила Тийат, схлопотав за эту шпильку шлепок хвостом от подруги.

– Всякую трудность можно использовать для собственной выгоды, – произнесла Суукмель, посмотрев на годовичка-руна, копошившегося у нее на коленях – сына Тийат, ребенка доброго, но настойчивого, когда на пути его оказывалось препятствие. Этот малыш никогда не усомнится в своем праве сказать «я», обращаясь к любому встречному. Он всегда будет считать себя равным любой живой душе, чего все ВаН'Жарри желали своим детям. – Пусть они идут, Хэ'энала. Все будет хорошо. Пусть идут.

Хэ'энала, прижимавшая к себе Софи'алу, ничего не сказала.

«Вот и поединок, – думала она, – между Ингви и Адонаем. Между Судьбой и Провидением, на месте, в котором Судьба правила так давно…»

Она заметила, что Исаак перестал жужжать. Нагой, как всегда, он словно бы никогда не чувствовал холод. Или, может, и чувствовал, но не испытывал к нему интереса. На кратчайший миг он посмотрел Рукуею в глаза.

– Приведите с собой поющего, – таковы были его слова.

Долина Н'Жарр

2085 год по земному летоисчислению

– Шетри, мне кажется, сумел бы сохранить свою анонимность, однако во внешности моего пасынка присутствовали черты подлинного жана'ата, – много лет спустя сказала Суукмель Шону Фейну, вспоминая рассказ Рукуея об этом путешествии. – И в итоге они решили придерживаться легенды, сочиненной Кажпин и называвшей Рукуея сторонником Атаанси Эрата, захваченным во время нападения на деревню.

Шетри они называли охотником за наградой – человеком, продававшим полиции свои способности следопыта в обмен на мясо казненных преступников руна. А сами они вели Рукуея в Гайжур на допрос в расчете на то, что он выдаст место обитания северных налетчиков.

Некоторые из встреченных по пути руна, пользуясь безопасной возможностью, забрасывали плененного врага камнями или ограничивались тем, что выкрикивали оскорбления. Другие предпочитали пнуть; Тийат и Кажпин непринужденно отражали такие попытки, впрочем не проявляя излишнего пыла, который мог бы ненароком раскрыть обман. Прежде чем они добрались до самого северного из судоходных притоков реки Пон и на короткий срок арендовали мощную моторку, Рукуею пришлось узнать вкус собственной крови: прилетевший камень разбил ему губу. Кроме того, за ними на несколько дней увязался старик-рунао. Из чистого любопытства однажды утром они решили подождать его.

– Он сообщил им, что никогда не думал дожить до такой старости, – вспоминала Суукмель. – Рукуей был очень растроган его словами.

– Кости этого болят, – причитал старик. – Дети этого разбрелись по городам. Пусть *джанада* съедят этого! – сказал он Тийат. – Этот устал от одиночества и от боли.

Тийат посмотрела на Кажпин, и обе они повернулись к Рукуею, годами не евшему мяса руна. Кажпин протянула руку и театральным жестом подтолкнула Рукуея вперед по дороге.

– Правильно, – громко согласилась Тийат, отгоняя старца. –

Пусть *джанада* поголодают. – Однако Рукуей посчитал, что не раскроет никакой тайны, если ответит старику:

– Спасибо. Спасибо за предложение… – и вновь споткнулся, получив подзатыльник от Шетри.

– В некоторых местах находились наши подлинные союзники, – сказала Суукмель Шону. – Время от времени люди предлагали нам заночевать под кровом или устраивали на ночь под навесом и рассказывали Рукуею и Шетри о каких-нибудь давно почивших жана'ата, известных своей добротой. Но таких было мало, очень мало. По большей части их встречали безразличием. Иногда с некоторым любопытством, но чаще всего откровенным равнодушием. На моего пасынка этот факт произвел глубокое впечатление: оказалось, что руна в своей среде живут так, как если бы мы вообще не существовали.

– Люди третьего Благочиния подлинно и надежно унаследовали мир, моя госпожа, и потому придерживаются высокого мнения о себе и своей роли. Вы, жана'ата, лишаете их этой иллюзии, – ответил ей Шон. – Поэтому они пытаются изобразить дело так, будто вы никогда не имели никакого значения для них.

«Жана'ата одиноки, – подумал тогда Шон, – *они подобны божкам, чьи сторонники сделались атеистами»*. В своей душе он с неожиданной уверенностью полагал, что более всего уязвляет сердце Бога не восстание, не сомнение, но равнодушие.

– Не ожидайте от них благодарности, – предостерег он Суукмель. – Не ждите даже малейшей признательности! Они никогда более не станут нуждаться в вас, как это было раньше. Пройдет еще сотня лет, и вы, скорее всего, превратитесь в воспоминание. Сама мысль о вас будет наполнять большинство их презрением и памятью о позоре.

– Тогда-то мы и в самом деле канем в забвение, – прошептала Суукмель.

– Возможно, – промолвил ее жесткий собеседник. – Вполне возможно.

– Но если вы не видите никакой надежды для нас, зачем же вы остались здесь? – потребовала она ответа. – Чтобы поприсутствовать при нашей смерти?

Шон едва не произнес в третий раз это слово – *возможно*. Однако вовремя вспомнил своего отца, его глаза, светящиеся чистым и беззаветным весельем, которое Маура Фейн любила и разделяла, качающего головой над очередным позорным примером способности рода людского тупо и бестолково навлекать на себя несчастья.

– Ах, Шон, мальчик мой, – говорил тогда Дэвид Фейн своему

сыну, – только ирландский еврей может оценить полную хреновину такого масштаба!

Какое-то время посмотрев в бледные северные небеса, Шон вспомнил о стране, где жили его собственные предки. Как целибатный иезуит и единственное дитя, он заканчивал свой род. Посмотрев на Суукмель, на ее осунувшееся, посеревшее лицо, он наконец ощутил сочувствие к тем дуракам, которые ожидают обрести честность и разум в этом, а не в следующем мире.

– Отец мой происходил из древнего священнического рода, моя мать была отпрыском старинной владетельной семьи, – сказал он Суукмель. – Роды матери и отца могли пресечься тысячу раз. Тысячу раз они едва не уморили себя сами участием в политических интригах, убежденностью в правоте своей нравственной позиции и смертельным отвращением ко всякого рода компромиссам. Тысячу раз эти семьи могли остаться всего лишь воспоминанием в памяти Бога.

– И тем не менее они живы? – спросила она.

– Были живы, когда я в последний раз к ним заглядывал, – ответил он. – Большего гарантировать не могу.

– Ну, может быть, сумеем и мы, – без особой убежденности произнесла Суукмель.

– Черт, да, может, и сумеете, – пробормотал на английском Шон, вспоминая афоризм Дизраэли: «Понять не могу, почему Бог избрал евреев Своим народом». – Моя высокочтимая и весьма уважаемая госпожа Суукмель, – произнес он на к’сане со странным своим акцентом. – С полной уверенностью я могу сказать только одно: невозможно заранее сказать, кто из нас больше понравится Богу.

Глава 34
Ракхат: посадка на планету

Октябрь 2078 года по земному летоисчислению

Даже в том случае, если Шон Фейн питал какие-то иллюзии относительно того, что жизнь на Ракхате могла принять здравый оборот, он утратил их целиком вплоть до почти полного забвения в часы, предшествовавшие посадке экспедиции «*Джордано Бруно*» на планету.

При всей красоте законов и механизмов химии, физика полета всегда побеждала его, и Шон регулярно ожидал с врожденным пессимизмом, что скептицизм его вот-вот оправдается и несущее его транспортное средство взорвется при соударении с землей. И посему он приберег свою последнюю бутылку виски *Jameson's* для подобной оказии, и посвятил последние часы своего пребывания на «*Бруно*» духовному приготовлению к встрече со своим Господом и Спасителем, мысленно извиняясь перед Ним за душок виски, сопутствовавший его предсмертной молитве.

На первой стадии спуска к планете из космической пустоты доминировали невесомость и холод. Их сменило короткое и благословенное мгновение низкой гравитации и тепла, за которым последовало ощутимое ускорение. Когда они вошли в атмосферу, катер завибрировал, а затем начал брыкаться, как небольшая лодчонка в бурном море.

Алкоголь не помог. Чувствуя позывы к тошноте, с пересохшим ртом, Шон уравновешивал свои переживания в полете, попеременно обращаясь к заступничеству Девы и к простейшему «мать, мать, мать», словно к молитве, – зажмурив глаза, ощущая, как вспотели ладони. И как раз в тот момент, когда уже казалось, что хуже быть не может, они наткнулись на стену возмущенного воздуха, оставленную последней тропической грозой, пересекавшей регион. На кабину обрушилась новая свирепая волна жара, а тело его вступило в сумасшедшую схватку с собственной автономной нервной системой, похолодев от ужаса и взмокнув, чтобы еще более охладиться.

Вот почему первым из экипажа «*Джордано Бруно*» на поверхность планеты Ракхат ступил не Дэниэл Железный Конь, являвшийся главой миссии; не Жосеба Уризарбаррена, эколог, пламенно желавший узреть собственными глазами новый для него мир; не Эмилио Сандос, знавший место посадки и потому способный первым отреагировать на любую опасность; не Джон

Кандотти, считавший своим долгом быть рядом с ним на случай, если тому вдруг станет дурно; не будущий конкистадор Карло Джулиани или его телохранитель Никколо д'Анжели. А патер Шон Фейн, член Общества Иисуса, проскочивший всю очередь на выход и пулей вылетевший из катера сразу, как только открылись двери, на нетвердых ногах сделавший несколько шагов, после чего он самым позорным образом пал на колени и блевал добрые две минуты.

Должно быть, все рассчитывали на менее многозначительное начало пребывания на планете. Шон, во всяком случае, постарался, чтобы первые слова, произнесенные членом их экспедиции, стали обращением к Богу.

– Боже мой, – выдохнул он, когда позывы ослабели, – какая позорная трата доброго напитка.

И только когда Шон сел на корточки, откашлялся, сплюнул и отдышался, все они, забыв про его несчастье, посмотрели вдаль, на высокое плато к югу от Инброкар-города, которое София Мендес рекомендовала им для посадки.

– Я забыл, – шептал Эмилио Сандос, выходя вместе со всеми из жаркого и душного посадочного аппарата, подальше от запаха топлива и блевотины, под дуновение благоуханного ветерка. – Я все забыл.

Они намеревались совершить посадку раньше, сразу после восхода первого из светил Ракхата, до начала парной полуденной жары, однако погода оказалась необычно нестабильной для этого времени года, и налетавшие грозы дважды задерживали посадку.

Наконец Франс усмотрел пробел между дождями, и Карло решил садиться, хотя оказаться на поверхности они должны были около второго заката.

Итак, по случаю они оказались на Ракхате в самое прекрасное время дня этой планеты, когда последние песни послеполуденного хорала дикой природы вещали о своем существовании безразличному миру, опьяненному собственным роскошным бытием. На востоке пейзаж занавешивали серые пелены дождя, однако снизу из-под них выглядывали два солнца, над известняковой стеной, сдерживавшей течение реки Пон, блистательно освещавшие ближние окрестности, заставляя этот расточительный мир сверкать, как полная сокровищ шкатулка пирата: дождевые капли и золотые облака, пышная листва… аметистовая, аквамариновая и изумрудная, испещренная цветками, словно цитринами, рубинами, сапфирами и топазами. Само небо играло оттенками опала: желтыми, розовыми, розовато-лиловыми и лазури облачений Девы Марии.

– Откуда такой запах? – спросил Джон у Эмилио,

останавливаясь возле него.

– Который? – воскликнул Жосеба, забыв о негативном воздействии сельского хозяйства на природу перед лицом томной панорамы лавандовой саванны. Пожизненная работа начиналась в нескольких шагах от того места, на котором он стоял. По земле бегали мелкие позвоночные, воздух кишел летучими тварями, прозрачные крылышки вспыхивали под лучами солнц. Ошеломленный самим объемом информации, Жосеба едва удерживался от того, чтобы разметить вешками квадратный метр и немедленно приступить к исследованиям; ему приходилось сдерживать себя в стремлении – разделять, именовать, познавать.

– Как в парфюмерной лавке! – заявил Нико.

– Но доминирует один запах, – проговорил Джон, подыскивая слова. – Похоже на корицу, только с легким цветочным оттенком.

– Роскошный запах, – согласился Карло. – Я узнаю его – ленты с таким запахом находились среди грузов, полученных Консорциумом Контакт вместе с прочими товарами, погруженными на «*Стеллу Марис»,* когда они посылали Сандоса назад.

Оглядевшись по сторонам, Эмилио подошел к купе невысоких кустов, росших в нескольких шагах от катера. Сорвав похожий на раструб цветок, лепестки которого светились немыслимо алым, сумасшедшим цветом, он протянул его Джону, нагнувшегося к цветку.

– Ага, это тот самый запах, который ощущаю. Как называется этот цветок? – спросил Джон и протянул цветок Шону, попятившемуся, так как еще не совсем пришел в себя.

– *Йасапа*, – ответил Эмилио. – А что значит слово «*йасапа*»?

Джон попытался разложить слово на составляющие.

– *Йасапа…* Из нее можно делать чай! – триумфально проговорил он.

Довольный своим учеником, лингвист кивнул Карло, потянувшемуся к цветку, взял его обеими руками, поднес к лицу и глубоко вздохнул.

– Руна наполняют стеклянный кувшин, заливают их водой, а потом выставляют на солнце – на мой взгляд, получается слишком сладко, – сказал Эмилио, – но они добавляют сладкий лист в любую заварку. Если оставить его надолго, жидкость бродит. Если перегнать, получится нечто вроде бренди.

– Как я и предсказывал! – триумфально воскликнул Карло. – Мы пробыли здесь менее получаса и уже окупили всю экспедицию, – сказал он Сандосу, разглядывая цветок. – Прекрасный цвет… – а потом вдруг чихнул.

– *Crisce sant*[66], – промолвил Нико.

Карло кивнул и попробовал снова:

– А это бренди…

Он умолк, открыв рот, зажмурившись, и на сей раз разразился уже целой автоматной очередью чиханий, причем Нико благословлял каждый миниатюрный взрыв.

– Спасибо тебе, Нико, кажется, уже я благословлен в достаточной мере, – проговорил Карло. – А бренди точно такого же цвета? – сумел он выдавить перед тем, как снова чихнул. – Боже, – воскликнул он наконец. – Неужели я свалюсь с простудой?!

– Это проклятый цветок виноват, – произнес Шон, кривя губу от крепкого аромата.

– Или выхлопные газы двигателя, – предположил Дэнни.

Удивленно покачав головой, Карло попытался продолжить мысль:

– А бренди будет такого же цвета? Спрос окажется колоссальным…

– Только не вовлекайте в это дело иезуитов, – предупредил его Дэнни, когда Карло разразился целой артиллерийской очередью чиханий. – Когда Общество единственный раз затеяло винодельню, оно разорилось. С другой стороны, было бы забавно вступить в нечестивое соревнование с бенедиктинцами…

Карло как будто сдувало ветром, он отступал назад, прикрыв руками странным образом онемевшие губы.

– *Possa sa Vultima!*[67]– выдохнул он, ощущая, как зазудели и заслезились глаза.

– Бросьте цветок, – услышал он голос Шона.

– Уберите его подальше от лица! – скомандовал Сандос.

Карло послушался обоих, однако чихание продолжалось, и глаза его, опухая, превращались в щелочки…

– Ну, ребята, я в последний раз еду с вами в туристическую поездку, – попытался сострить Джон. – Шон блюет, у Карло аллергия на цветы…

– *Падроне*, что-то случилось? – спросил Нико. Не получив ответа, он повернулся к Эмилио и повторил: – Что-то случилось?

И тут все пришло в движение. Эмилио крикнул:

– Неси анафилактический набор! Живо, бегом, Христа ради! Он теряет сознание.

Карло повалился на землю, каждым последующим вздохом пытаясь протолкнуть воздух сквозь быстро сжимавшуюся гортань.

Дэнни бросился к катеру за анафилактическим набором. Эмилио рявкнул на Джона:

– Переверни его на спину! Начинай искусственное дыхание!

Тут Карло начал синеть, и страх Нико превратился в

рыдания. Шон попытался успокоить его, но Эмилио повернулся спиной к горестной картине и, скрестив руки на груди, сделал несколько шагов и только потом оглянулся и увидел, что Джона сменил Жосеба, пытавшийся ритмическими нажатиями перезапустить сердце.

– Дэнни, живо! – выкрикнул Эмилио, когда Железный Конь затормозил и опустился на колени возле безжизненного тела Карло.

– Красный шприц! – напряженным и низким голосом воскликнул Эмилио, следивший за тем, как Железный Конь копается в аптечке. – Да! Этот. Прямо в сердце. Мы теряем его…

Однако еще при этих словах Карло порозовел и начал с трудом дышать уже без помощи Жосеба. Застыв в медленно текущем времени, они безмолвно следили за воздействием эпинефрина.

– Иисусе, – прошептал Джон. – Он был уже мертв.

– Так, – произнес Эмилио, возвращаясь к жизни, – отнесите его в катер и заприте дверь – сейчас он еще находится под воздействием аллергена.

– Нико, – невозмутимым тоном проговорил Шон, – будь хорошим мальчиком и расчисти место на палубе для дона Карло, будь добр.

Всегда готовый повиноваться прямому приказу, Нико, не вытирая слез, бросился открывать дверь грузового люка, пока Джон, Шон и Жосеба несли Карло в укрытие.

– Если его состояние стабилизируется, ничего другого, наверное, и не понадобится, – сообщил Эмилио Дэнни, пока оба они рысили за остальными. – Но если он снова отключится, надо будет попробовать аминофиллин, так?

К этому времени они успели включить все системы катера, фильтры очищали внутренний воздух, и Карло уже приходил в себя.

– …ут вся атмосфера полна пыльцы, пушинок и еще Бог знает чего, – услышал он слова Жосеба. Но Сандос сказал:

– Нет, это должна быть *йасапа.* Анафилактический шок возникает как минимум после двукратного воздействия, а он узнал запах.

Горло еще стискивало, распухшие глаза не открывались, но Карло попытался сесть; чьи-то руки взяли его под мышки, поставили на ноги и довели до полетного кресла. Измученный и растерянный, он прошептал:

– Волнующее переживание.

– Действительно, – согласился Сандос. Карло не видел его, но вполне мог представить, как тот качает головой и серебряные

волосы валятся на черные глаза. – Скажу честно, дон Карло, в списке лиц, которых мне хотелось бы спасти на обеих планетах, ваше имя занимает последнюю строчку. Как вы себя чувствуете?

– Опозоренным, но мне лучше, благодарю вас. – Карло попробовал улыбнуться и был удивлен тем, насколько странной оказалась реакция его опухшего лица. «*Должно быть, я стал теперь похожим на Франса*», – подумал он сразу, как только в голове его прояснилось, и дыхание стало легче. И тут его осенило: – Ваш сон, Сандос! Вы сказали, что меня не было в городе мертвых…

– Да, и мне кажется, что вас не будет и в городе Гайжуре, – сухим тоном промолвил Сандос. – Я отсылаю вас обратно на «*Бруно*». Дэнни будет с вами как медик на тот случай, если с вами приключится новый приступ. Джон будет пилотировать…

– Сандос, я проделал весь этот путь не для того, чтобы…

– …Умереть от анафилактического шока, – закончил за него Эмилио, – чем вы, собственно, совсем недавно занимались. *Йасапа* цветет круглый год. Если хотите, можете попытаться совершить еще одну попытку – может быть, Джон сумеет переделать для этого вакуумкостюм. А пока я советую вам вернуться на материнский корабль. Решение, конечно, остается за вами.

– Хорошо, – проговорил Карло, отнюдь не имевший склонности оспаривать очевидные факты. – Радируйте об изменении планов синьоры Мендес, и пусть Франс займет место удаленного второго пилота. Как вы считаете, на многих ли людей йасаповое бренди может подействовать так же, как на меня цветок? – спросил он. – В таком случае нам придется помещать на каждую продаваемую бутылку предостерегающий ярлык: пейте на свой страх и риск. Возможно, это даже увеличит спрос! Элемент опасности…

– И на вас все равно подадут в суд, – сообщил ему Дэнни. – Я намереваюсь перевести вас в кокпит. Нам нужно снова открыть трюм, но вам ничто не повредит, спереди вы будете в безопасности. Как только мы выгрузим оборудование, вы отправляетесь обратно на «*Бруно*»…

Не так уж далеко от них, к северо-западу, в тени известнякового уступа, небольшая смешанная группа потрясенных путешественников второй раз внимала пронзительному вою, снова доносившемуся с потемневшей равнины.

На сей раз клиновидный механический объект медленно поднялся над землей на языках пламени, почерневший панцирь

его поглощал последний свет заходящего второго солнца. Они молча взирали на катер, поднимавшийся на высоту, достаточную для прямого движения, после чего пилот изменил ориентацию сопел и махнул вперед и вверх, в высоту… и вскоре от него не осталось ни звука, только плеск волн о корпус их лодки и след в небе, еще заметный угасающему зрению жана'ата.

– Пляшут ступни Сти, – выругался во мраке Шетри Лаакс, когда запах продуктов сгорания топлива достиг его ноздрей. – Какая вонь! У этих людей нет носа.

– Так почему же они улетели так быстро? – удивилась Кажпин. – Я думала, что они намеревались подождать здесь провожатых из Гайжура.

– Так что же нам теперь делать? – спросила Тийат. – Возвращаемся назад?

– Тихо! – прошептал Рукуей, наставив уши в сторону места посадки. – Слушайте!

Поначалу слышен был только восстановившийся шум прерий, теперь, когда исчезли шум и вонь иноземной машины, стрекот и жужжание прерии вновь вернулись на свое место.

– Вот! Слышите? – спросил Рукуей. – Они улетели не все!

– И они поют! – прошептала Тийат. – Исаак будет доволен.

– *Сипаж,* Кажпин, умолкни, – строго произнес Шетри. – Мы находимся вверх по ветру от них! Рукуей, а они способны ощущать вкус запаха?

– Не так хорошо, как мы, но тем не менее обладают этой способностью. Быть может, нам следует сделать круг и зайти вниз по ветру от них. – Он уже больше ничего не видел. – Или лучше подождать до утра.

Послышался плеск, а затем скрежет – это Кажпин потащила мелко сидевшую в воде лодку на пологий восточный берег, не дожидаясь согласия остальных.

– А вода теплая! – воскликнула Тийат, соскочившая в воду, чтобы помочь Кажпин вытащить лодку как можно ближе к пню *мархлара*.

– Вы трое следите за радио, – сказала Кажпин Рукуею и Шетри. – Мы сходим и посмотрим, как там и что.

Через несколько мгновений они услышал сверху негромкий голос Тийат:

– Их трое!

– Лазутчица, ступай обратно в лодку! – добродушно съехидничала Кажпин, опускаясь на живот рядом с Тийат. – Их четверо! Видишь? Вон там под навесом сидит ребенок.

– Переводчик? – предположил Шетри, повернувшись на их голоса.

– Нет, они не приводят детей в качестве переводчиков, – проинформировал остальных Рукуей. – По крайней мере, раньше так было. Некоторые взрослые у них малы ростом. – Он обратил свое внимание на радиомонитор, однако отвлекся, уловив обрывки песни. – Этот товар для Исаака. Вы не видите, кто поет?

Разразился другой короткий диспут.

– *Сипаж,* Кажпин, это твоя бабушка винтила *джанада!* Это ты слепая! – поддразнила Тийат. – Поет тот, кто готовит. Последи за ртами! Остальные болтают. А повар… видишь? Его рот остается открытым дольше, когда звучит песня.

Руна с шумом спустились вниз, продолжая спорить. Рукуей, слушавший радио, дал знак молчать.

– Один из них заболел, и его повезли наверх, – сообщил он, когда передача закончилась. – Остальные ждут проводников до Гайжура.

– Итак, здесь их трое взрослых и один ребенок – кем там, не знаю, является этот маленький, – сказала Кажпин, стряхивая сор с колен и залезая назад в лодку. – К востоку отсюда идет черный дождь, но ВаГайжури могут явиться сразу, как только погода прояснится. Скажу так: ждем, пока иноземцы уснут, потом берем певца для Исаака и идем домой.

– Остальные проснутся! – возразила Тийат. – Исаак ведь может видеть ночью, вы это знаете. Они не такие, как *джанада*…

– Тогда захватим всех четверых! Непохоже, что они могут сопротивляться…

– Нет, – твердо сказал Рукуей. – Хэ’энала была права – никого не сделаешь союзником, подкравшись и похитив его.

– Просто пригласим их на завтрак! – снова предложил Шетри. – *Сипаж,* иноземцы, приветствуем вас после долгой дороги! – прошептал он писклявым, характерным для руна фальцетом, отчего Тийат прыснула смешком. – Не присоединитесь ли к нам?

Таким был план Шетри с самого начала, и он был убежден, что все получится.

– Поджарим корень *бетрин* – Исаак его любит, – убеждал он еще в долине. – Добавим несколько зернышек *отхрата* в соус, и они проспят до самой долины Н’Жарр!

– Прислушайтесь к этой песне, – выдохнул Рукуей. После того как самое малое из солнц опустилось за горизонт, ветер переменился и теперь нес к ним слова арии – *Che gelida manina*… [68]

– *Сипаж,* Тийат, что думаешь? – спросил Рукуей. – Есть идеи?

– Скажу так: подождем до утра, чтобы и ты увидел их, – объявила Тийат. – Для того чтобы составлять планы, два разных ума лучше одного.

Что, безусловно, правильно, но все пошло не по плану.

– Синьора, – уверял Софию Карло по прошествии трех дней, – уверяю вас, они находятся в точке рандеву, координаты которой вы передали нам…

– Их *там* нет, – повторила София, оборвав Карло. Голос ее звучал твердо и уверенно, невзирая на огромный грозовой фронт над Гайжуром, благодаря которому в разговор то и дело вмешивались щелчки и свист. – Посланный эскорт сообщает, что они обнаружили место посадки. Синьор Джулиани, мои люди говорят, что в лагере сильно пахнет кровью, но тел там нет.

– О мой бог, – прошептал Джон Кандотти, обхватив себя руками, расхаживавший вдоль мостика. – Я же знал, что нам следовало сразу же вернуться вниз.

– Не паникуй, шеф, – проговорил Дэнни, тем не менее, как все прочие, заново осмысливавший факты. Три дня жуткой непогоды и коротких сообщений от наземной части, что все в порядке в экспедиции, но без подробностей…

– Синьора, всем нашим людям вживлены под кожу датчики GPS, – проговорил Карло, предпринявший этот шаг для того, чтобы избежать участи пропавшей экспедиции Консорциума Контакт. Он проследил за тем, как Франс Вандерхельст выводил на экран показания глобальной позиционной системы. – Пока я говорил, мы проверили позиционные данные, но никаких причин предполагать…

– Что за чертовщина… – проговорил Франс.

Карло коротко выругался.

– Синьора, мы видим все три GPS-датчика в одной точке с координатами места встречи. Однако импланты не пошевелились за шестьдесят восемь часов… Это невозможно. Прошлым вечером мы связывались с ними. Подождите. Четвертый след находится примерно в двухстах сорока километрах к северо-востоку от места посадки.

– Чей датчик еще работает? – напряженным тоном спросила София.

– Сандоса, – сообщил Франс.

Джон застонал, София Мендес буркнула что-то неразборчивое. Карло, все еще изучавший данные GPS, подтвердил:

– Да. Определенно. Сандос начал передвигался на север почти три дня назад.

– Его взяли в заложники. Остальные мертвы… или еще хуже!

– Синьора! Умоляю! Они…

– Почему вы не сопоставили данные GPS с местом отправки

радиосигнала? – возмутилась София. – Тогда можно было понять ситуацию еще несколько дней назад!

– В голову не пришло, – попытался защититься Франс, уже перебиравший материалы в поисках своей возможной ошибки, какого-нибудь намека…

– Еще бы, все было прекрасно!

– Синьора, не надо! Вы следуете собственному предположению, – воскликнул Карло. Ему не в чем было себя винить, однако Мендес перепрыгивала через все, что было сказано. – Высадившаяся группа связывалась с нами вчера вечером!

– И вы говорили со всеми четверыми?

– Да, не сразу, но по очереди.

– Тогда они, очевидно, говорили с вами под принуждением, – отрезала София, явно раздраженная их тугодумием. – А импланты вырезали…

– Синьора, ну как мы могли знать…

– …Почему датчики и не обнаружили никакого движения за три дня. Кто-то сумел заставить Сандоса идти с ними, и они…

– Внизу находится один из лично преданных мне людей, – проговорил Карло, пытаясь притормозить разговор. – Нико приказано в первую очередь оберегать Сандоса. Если бы ему грозала опасность, Нико связался бы со мной.

– В лагере была пролита кровь, – напомнила ему София. – Синьор Джулиани, их захватили в плен. В северных горах прячутся мятежники. Нам пока что не удавалось искоренить их, но теперь… С ними надо *кончать*… – произнесла она, скорее обращаясь к себе самой в гневе, подобном башням грозовых облаков в небе Гайжур, в которых плясали молнии, заставлявшие шипеть и трескаться радиосигнал. – Кончать. С набегами, кражами, враньем. С похищениями, убийствами… Все это теперь кончается. Я поверну свой народ на север и, видит бог, положу этому конец. Синьор Джулиани, я немедленно выступаю с войсками в погоню за ними. Мне нужна постоянная информация о вашем GPS-следе и обо всех радиоконтактах вашего посадочного отряда группы, понятно? Мы настигнем этих сволочей *джанада* в их логове и раз и навсегда прикончим их.

Глава 35
Бассейн реки Пон

Октябрь 2078 года по земному летоисчислению

Эмилио Сандос первым заметил приближающихся пешком к лагерю четверых путников. Все четверо были в балахонах и сапогах городских руна, и причин сомневаться в их принадлежности не существовало.

– У нас гости, – объявил он, выходя навстречу пришлецам, Нико рядом, Шон и Жосеба последовали за ним. Он не боялся. Ведь София неоднократно уверяла его в том, что к югу от гор Гарну живого *джанада* не встретишь, а Нико был вооружен.

Сандос протянул к ним обе руки ладонями вверх на манер руна и уже приготовился ощутить в своей руке некогда так знакомые ему длинные и теплые пальцы руна, но вовремя вспомнил про ортезы и опустил руки.

– Пальцы этого не пригодны для приветствия, и этот просто желает вам всякого блага, – объяснил он. И, посмотрев на Нико, предложил тому: – Поздоровайся с ними, – и с удовольствием услышал, как Нико серьезно и правильно произнес «*Схаллалла кхаери»,* и был таким же образом поприветствован двумя вышедшими вперед руна.

Повернувшись к оцепеневшим Шону и Жосеба, Эмилио улыбнулся:

– Спереди идут две женщины. Двое сзади, возможно, мужчины. Иногда они предпочитают предоставлять дамам возможность отличиться. Поздоровайтесь. – После обмена приветствиями он непринужденно продолжил, как если бы никогда не отлучался с планеты: – Из какого же далека вы пришли?! Мы будем рады разделить с вами трапезу.

Заметив, что двое шедших сзади переглянулись, он пристально посмотрел на них, и у него перехватило дыхание. Меньший из них был не рунао. Человека этого Эмилио Сандос видел в слишком многих кошмарах: мужчина среднего роста, наделенный удивительной красоты фиалковыми глазами, встретившими его взгляд с такой выдержкой и прямотой, что землянину потребовалась вся его сила, чтобы ответить на этот взгляд и не уступить.

«Этого не может быть, – подумал он. – Этот человек не может оказаться тем самым».

– А вы… вы, наверное, сын отца Эмилио Сандоса? – спросил его этот мужчина. Голос оказался другим… звучным, красивым,

но другим. – Я видел его изображение. В архивах…

Услышав слова к'сана и увидев плотоядные зубы жана'ата, открывшиеся, когда Рукуей заговорил, Шон попятился. Нико достал пистолет, однако Жосеба немедленно подошел к нему и сказал:

– Дай-ка сюда.

Сняв оружие с предохранителя, баск с привычной для охотника реакцией повернулся и выстрелил в нечто свиноподобное, хрюкавшее и возившееся в соседних кустах.

Звук выстрела и предсмертный визг всполошили всю местную живность, а ВаРакхати попятились назад и прижали уши к головам. Жосеба вернул пистолет Нико, направившего оружие на только что говорившего жана'ата, приглядывая при этом за всеми остальными – теперь застывшими и явно испуганными. Подойдя к тушке в последовавшем молчании, Жосеба пригнулся и поднял ее за ножку, позволив крови для наглядности вытекать из раны.

– Мы не хотим вам никакого зла, – твердым тоном сказал он. – Но и не позволим вам повредить нам.

– Хорошая формулировка, – тяжело дыша, проговорил Эмилио. В данной ситуации он был согласен с Карло, верившим в воспитательное значение пули.

– Я никому не отец, – проговорил он, пристально глядя на Рукуея. – Я тот, кого вы назвали, то есть Эмилио Сандос. Этот человек, Нико, убьет по моему приказу любого, кто попробует угрожать нам. Это понятно?

Все четверо ВаРакхати жестами подтвердили свое согласие. Ошеломленный Рукуей в растерянности произнес:

– Мой отец знал вас…

– В известном смысле, – холодным тоном произнес Сандос. – Как прикажешь тебя величать? – произнес он на высоком к'сане с задиристой интонацией родовитого аристократа. – Ты перворожденный или второй?

Жана'ата чуть сложил уши и под смущенное молчание остальных произнес:

– Я не имею ранга. Моя мать не была аристократкой. Если угодно: Рукуей Китхери.

– Господь Всемогущий, – выдохнул Шон Фейн. – Китхери?

– Так ты сын Хлавина Китхери? – спросил Сандос, хотя сомнений у него уже не оставалось. Родство с Хлавином было очевидно, к тому же сын поднял подбородок в знак согласия. – Ты лжешь. Или ты бастард, – отрезал Сандос, бросая преднамеренный вызов – пробуя реакцию, нащупывая болевую точку, тем более что Нико находился рядом. – Тот Китхери был рештаром и не имел права рождать сыновей.

Слишком ошеломленный неожиданной ситуацией для того, чтобы отреагировать привычным для себя образом, Рукуей просто уронил хвост, однако тут вперед шагнул третий его спутник, также оказавшийся жана'ата.

– Меня зовут Шетри Лаакс. – Учитывая безусловно мертвого *фройила*, показательно истекавшего кровью в руке другого иноземца, Шетри говорил кротким голосом, однако воспользовался доминантным местоимением, чтобы перейти к спору, на тот случай, если иноземцы намеревались предложить поединок. – Рукуей – кузен моей жены, и я не могу потерпеть оскорбления столь близкому родичу. Он не солгал, и он не бастард, однако песня о его происхождении слишком долга, чтобы пропеть ее. Полагаю, что целям нашим лучше послужит отсутствие дальнейших оскорблений.

Воцарилось неловкое молчание, обе группы ждали реакции Сандоса.

– Гарантирую паритет, – произнес он наконец, тем самым несколько разрядив ситуацию. – Ты говорил о цели, – обратился он к Шетри.

Однако ответил ему Рукуей.

– Я знаю, зачем вы здесь, – произнес он, замечая реакцию: учащенное дыхание, сосредоточенность. – Вы прибыли сюда, чтобы учить наши песни.

– Верно, – согласился невысокий иноземец. – Точнее, так было когда-то.

Умолкнув и распрямившись, он откинул голову назад, чтобы охватить сразу всех взглядом своих маленьких черных и чуждых глаз, не похожих на глаза Исаака, тоже маленьких, но нормального голубого цвета, никогда и ни на кого не смотревшего подобным образом.

– Мы прилетели сюда затем, что поверили в то, что вы поете об истине и о Разуме, который стоит за истиной. Мы хотели узнать, какие красоты открыл вам этот Истинный Разум. Но вы пели не о прекрасном, – проговорил он с оскорбительной мягкостью. – Ваши песни говорили об удовольствии, которое дает не знающая милосердия сила, об удовлетворении, которое получаешь, сокрушив сопротивление, о наслаждении неодолимой силой.

– Все стало другим в эти дни, – сказала рунао. – Мое имя Кажпин, – проговорила она, поднося обе ладони ко лбу. – Теперь подобная власть принадлежит южным руна. Мы, ВаН'Жарри, живем иначе.

– И среди нас живет тот, кто нашел ту музыку, которую вы искали… – начал Рукуей.

– И если вы хотите услышать ее, вам придется пойти с нами, – добавила торопливо Тийат. – Исаак хочет, чтобы вы…

Люди заметно встрепенулись.

– Исаак, – повторил Сандос. – Исаак – иноземное имя. Персона, которую ты упомянул, тоже из иноземцев?

– Да, – ответил Шетри. – Он из ваших, но не такой, как его мать или его сестра…

– Его сестра! – воскликнул Сандос.

– Его сестра и моя жена, имя которой Хэ'энала, чьей приемной матерью была София Мендес у Ку'ин, – продолжил Шетри, невзирая на шум, который вызвало это заявление.

– Ты был знаком с отцом моей кузины, – сказал Рукуей, чтобы ободрить Сандоса и прочих, явно расстроившихся чужеземцев. – Хэ'энала – дочь сестры моего отца и Супаари, по месту жительства именовавшегося ВаГайжур…

– Подозрительное дело… видит бог, – пробормотал Шон.

– Почему же тогда Исаак не пришел сюда вместе с вами? – вопросил он на к'сане. – Почему он не связался со своей матерью? И вообще, жив ли он или вы просто пользуетесь его именем?

Не дожидаясь ответа, Жосеба произнес по-английски:

– Что, если они держат его в качестве заложника? Сандос, что делать, если они пользуются им как…

– Заложником! – воскликнула Кажпин, удивив их своим знанием английского языка. – Это делает Атаанси!

– Мы не берем заложников, – начал Рукуей.

– Нико, – негромко проговорил Сандос, – положи его на землю.

И прежде чем кто-то успел шевельнулся, Рукуей Китхери оказался на земле и, задыхаясь, с круглыми глазами был вынужден рассматривать пистолет, дуло которого Нико с ловкостью профессионала сунул ему в рот.

– Слушай меня, Китхери: если ты устал от жизни, солги мне, – предложил Сандос, опускаясь на колени для того, чтобы прошептать свою угрозу. – Сколько твоих людей сейчас находится здесь? Нико, пусть он заговорит.

– Четверо, – ответил Рукуей, ощущая вкус стали. – Истинно. Только те, которых ты видишь.

– Если их больше, я убью их и тебя – тебя последним. Веришь? – Рукуей поднял подбородок в знак согласия, а дивные глаза его наполнил удовлетворивший Сандоса страх. – Я утверждаю, что ты задерживаешь иноземца Исаака против его воли. Я утверждаю, что ты используешь его, как твой отец использовал меня.

– Эти люди безумны! – воскликнула над ними Тийат.

Отведя взгляд от Рукуея, Сандос выкрикнул:

– Меня интересуют только *его* слова! Говори, Китхери: иноземец Исаак жив?

– Да! Среди ВаН'Жарри Исаак является почитаемой персоной, – в смятении проговорил Рукуей, беспомощно глотая сухим ртом. – Он ушел от южных руна много лет назад по собственному желанию. Он волен уходить от нас и волен оставаться. Но предпочитает оставаться среди нас. Ему нравятся наши песни…

– *Сипаж,* Сандос, мы могли бы взять тебя в заложники сегодня ночью, пока ты спал! – заметила Кажпин, слишком обескураженная этой неожиданной возможностью, чтобы даже качнуться. – А Рукуей решил обойтись с вами честным образом! Отряд из Гайжура вот-вот придет сюда…

– Откуда ты это знаешь? – потребовал ответа Шон, но Кажпин продолжила:

– Это нам-но-не-тебе грозит опасность! Мы не опасны для вас. Мы нуждаемся в вас и можем кое-что предложить взамен, но если нас поймают, то казнят!

Вдохновленный неподвижностью небольшого иноземца, Шетри пригнулся к Сандосу и проговорил:

– Три раза мы, ВаН'Жарри, пытались вступить в контакт с находящимся в Гайжуре правительством, и все три раза наших посланников убивали, едва увидев. Прошу тебя. Послушай. Мы хотим договориться с южанами, однако ВаГайжури не хотят разговаривать с нами, потому что мой племянник Атаанси постоянно совершает набеги на деревни руна, а ответственность за это несем *все* мы!

Он умолк и постарался успокоиться:

– Послушай меня, Сандос. Я беру на себя ответственность. Если мы солжем, если обманем каким-то образом, тогда убей меня, как этого *фройила*. Я буду твоим заложником.

– И мы тоже, – сказала Кажпин, становясь рядом с Тийат.

– Я также подставляю свою шею, – сказал Рукуей Китхери с земли. – Но вам придется прийти к Исааку, ибо сам он к вам не придет. Мы можем отвести вас к нему, однако вам придется довериться нам. Некоторые из нас верят в то, что Исаак постиг музыку Подлинного Разума, которую вы искали, но он не придет сюда для того, чтобы обучить вас ей.

– Ложь, – сказал наконец Сандос. – Вы говорите то, что мы хотим услышать…

– Но откуда нам знать, что вы хотите услышать? – воскликнула Тийат.

Коротко вздохнув, Сандос поднялся на ноги и отошел на

несколько шагов, повернувшись к ним спиной.

– Отпусти его, Нико, – буркнул он, но не стал оборачиваться, не имея более сил на прежнюю позу. Ему было тошно, он нуждался во времени на размышления. – Следите за ними, – бросил он через плечо и отошел в сторону.

Трудно было сказать, какая из групп почувствовала большее облегчение оттого, что Сандос ушел, однако когда эта грозная личность удалилась в лес, все ощутили, что напряженность ослабела.

– Стыдно будет, если мы дадим пропа□сть этому *фройилу*, – заметил Шетри, обратившись к Жосеба Уризарбаррене, как только Сандос оказался за пределами слышимости, и охотник, коим всегда был Жосеба, согласился. Посему развели костерок, фройила выпотрошили и, продев на вертел, пристроили над огнем, а Тийат под охраной принесла из лодки другие припасы. Пока жарились мясо и овощи, Шон, Жосеба и даже Нико усердно расспрашивали и не менее усердно слушали и в итоге пришли к выводу относительно того, что им рассказывали и что из этого следовало. И наконец отправились за Сандосом.

Тот отошел всего на несколько сотен метров и сидел на земле, сгорбившийся и угрюмый.

– Нико, почему ты не следишь за ними, как тебе было сказано? – потребовал он ответа, напустив как можно больше суровости.

– Они не хотят никуда убегать. Они ждут, что мы пойдем с ними, – кротким тоном проговорил Нико. – Дон Эмилио, вот что я думаю: если мы найдем, где живет Исаак, синьора София будет довольна.

Пистолет оставался в его руке, он одним взглядом приглядывал за подопечными – на всякий случай.

– Дон Карло будет знать, где мы находимся, – заметил он, посмотрев на небольшой бугорок на предплечье, под которым располагалась капсула передатчика GPS. – К тому же мы вооружены, а они нет.

– Мы никуда с ними не пойдем. Мы будем ждать здесь высланных Софией провожатых, – ответил Сандос, не поднимаясь с земли.

Посмотрев на Шона, Жосеба сказал:

– Нико, будьте добры, принесите дону Эмилио воды. И, быть может, что-нибудь легкое перекусить?

Кивнув, Нико отправился в сторону лагеря, а Жосеба сел напротив Эмилио.

– Сандос, вы имеете какое-то представление о численности

жана’ата до того, как вы прилетели сюда?

Посмотрев на него тусклым взглядом, Сандос пожал плечами, не обращая внимания на то, что начинался дождь.

– Нет. Не имею. Кроме грубой оценки количества хищников по численности мясного стада руна – примерно три или четыре процента. Наверное, тысяч шестьсот? Но это всего лишь предположение.

Он посмотрел на Жосеба.

– Почему это вас заинтересовало?

Шон и Жосеба обменялись красноречивыми взглядами, и Шон тоже опустился на землю:

– Послушайте, Сандос, эти негодяи, может, и лгут, но вот Рукуей утверждает, что сейчас на всей планете осталось всего полторы тысячи жана’ата. – Сандос вздрогнул, и Шон продолжил: – Руна изгнали их изо всех уголков страны. В основном они разобщены, однако существуют две основные группы по нескольку сотен душ плюс мелкие группки немногих уцелевших, смертельно испуганных и опасающихся вступать в контакт с кем бы то ни было. ВаН’Жарри живут в долине по собственному обычаю. Среди них насчитывается чуть меньше трехсот жана’ата, вместе с ними живут около шести сотен руна.

Жосеба склонился вперед.

– Обыкновенно хищникам для того, чтобы популяция оставалась генетически здоровой, требуется по крайней мере две тысячи экземпляров с двумястами пятьюдесятью размножающимися парами. Даже если Рукуей недооценивает полное число жана’ата, они очень близки к вымиранию, – произнес он шепотом, словно сказать такое в полный голос значило придать предположению полную достоверность. – Если же он переоценивает их число, они уже обречены. – Он посидел молча, погрузившись в размышления. – И это вполне понятно, Сандос. Судя по тому, что мы видели, и по словам Шетри, сейчас жана’ата обитают на абсолютной границе своего экологического диапазона. Даже без учета крушения их цивилизации этот вид находится на пороге гибели.

– Но дело не только в этом, – произнес Шон чуть громче, потому что дождь припустил основательно. – На севере происходит еще кое-что. Мне пришлось спросить дважды, чтобы я мог убедиться, что все правильно понял, но когда я начал расспрашивать, будут ли они есть этого *фройшла*, один из них – тот, который Шетри, – сказал нам, что жана’ата ВаН’Жарри умирают от голода. Потому что не едят руна. – Сандос, прищурясь, посмотрел на него. – И приготовьтесь. Он сказал так, потому что мясо их некошерно. – Сандос вздрогнул, и Шон

поднял руку. – Клянусь в том, что он использовал именно это слово. Очевидно, что жену этого Шетри, Ханалу, или как ее там зовут, воспитывала среди руна на юге София Мендес.

Жосеба продолжил за него:

– В наличии некоторого культурного обмена можно не сомневаться. Шетри говорит, что жена его именует себя «учитель», но, Сандос, при этом она пользуется вполне земным словом «равви». Вполне возможно, что люди эти лгут в отношении того, что не едят руна, но только *посмотрите* на них! Они тощие, шерсть не блестит, у них выпадают зубы…

– Кроме того, они путешествуют вместе с двумя вполне упитанными руна, явно не опасающимися того, что они могут угодить к ним в зубы. – Шон помедлил, прежде чем продолжить: – Сандос, вы слышали этого Китхери? Что ж, думается мне, что эта Ханала может быть того же сорта… Не знаю, что думать, но спрашиваю себя: что, если Моисей был египтянином, воспитанным среди евреев?

Сандос с открытым ртом пытался осознать услышанное.

– Вы это серьезно? – спросил он, и когда Шон утвердительно кивнул, воскликнул: – Бога ради, не надо!

– Именно, – согласился Жосеба и, не шевельнувшись, глянул на Сандоса, насквозь промокшего и поднявшегося на ноги.

– Вы слышите то, что хотели бы услышать! – обвинил Сандос коллег. – Вы используете собственный фольклор для объяснения реалий этой культуры!

– Возможно, – согласился Жосеба, уже сидевший в луже, – но я приехал сюда сразу как эколог и как священник. И я намереваюсь разобраться с этим вопросом. Так что я иду вместе с ними на север, Сандос. Шон также хочет идти. А вы можете остаться здесь вместе с Нико и дожидаться прихода людей Софии. Мы просим об одном: чтобы вы не выдали их. А мы разделим с ними их судьбу…

Подошел Нико, они умолкли, глядя на то, как Сандос пьет воду из фляжки, ест те крохи, которые принес ему Нико, отказавшись далее обсуждать этот бред.

Однако итальянец, обыкновенно тишайший среди всех, хотел что-то сказать.

– Дон Эмилио, один из этих двоих жана видел сон, похожий на ваш кошмар, – произнес он, отводя от глаз прядь мокрых волос. Сандос пристально посмотрел на него, и Нико продолжил: – Ему снится горящий город. Он сам сказал мне. Снится с самого раннего детства, по его словам, но он видел вас в этом городе. В своем сне. Я думаю, что вам стоит поговорить с ним об этом.

По этой причине, после длительных дальнейших расспросов и обсуждения, восемь представителей трех видов разумных существ решили отправиться на север, под покровом тайны и скверной погоды. Они не стали сообщать Карло Джулиани о своем решении с учетом того, что радиопередачи прослушивались правительством Гайжура.

Понимая ту опасность, которой подвергались ВаН'Жарри, все приняли предложение Жосеба, посоветовавшего извлечь GPS-импланты… небольшой порез не причинял особого беспокойства.

Они намеревались путешествовать быстро и не привлекая внимания, однако на все вопросы решили отвечать самым простым образом. Иноземцы – это друзья Фиа. Шетри и Рукуей – наемники ВаХаптаа, которые ведут этих руна и иноземцев к последней твердыне хищников, питавшихся руна с начала времен. Когда станет известно место, придет армия, которая истребит самых последних *джанада*, и даже память о них изгладится навсегда.

ВаН'Жарри полагали, что они выдумали просто убедительную ложь. Но на самом деле ложь эта могла оказаться чистейшей воды истиной.

Нико д'Анжели на самом деле не понял слова Жосеба о минимальном количестве населения, необходимом для возобновления популяции, и вымирании вида и не слишком внимательно отнесся к последующему разговору о революции или религии. Однако Нико очень хорошо запомнил слова, сказанные ему Франсом перед посадкой на планету.

– Нико, я не смогу найти тебя внизу, если ты решишь каким-то образом избавиться от GPS-импланта. Так пропал экипаж «*Магеллана»,* и никто не знает, что с ними случилось, *capisce!* Никогда не избавляйся от него, Нико. Пока этот передатчик находится под твоей кожей, я всегда могу найти тебя.

Итак, пока остальные грузились в лодку и готовились к отплытию, Нико неспешно пришел к выводу о том, что будет лучше, если дон Карло и Франс будут знать, куда они направляются, даже если все остальные так не считают, посему он подобрал один из выброшенных имплантов и сунул его в карман.

Он не хотел ничего плохого.

Глава 36
Центральный Инброкар

Октябрь 2078 года по земному летоисчислению

Сначала они спускались по реке на лодке, жана'ата и люди в грузовом трюме, в то время как их сообщники руна на палубе здоровались с насквозь промокшими пассажирами и экипажами барж, которые обгоняли. Батареи моторки работали столь же бесшумно, как паруса, и пассажиры вели себя так же бесшумно, даже когда их было некому слышать. Время от времени одного из людей осеняло какое-то возражение на какой-либо из заданных прежде вопросов, он излагал свою точку зрения и получал ответ на свои сомнения. ВаН'Жарри также время от времени задавали вопросы, однако тот из них, который более всех остальных стремился как можно больше узнать об иноземцах, также больше всех прочих боялся Сандоса, который почти ничего не говорил по пути до самого города Инброкара. Так что помалкивал и Рукуей.

Не желая выдавать повторным посещением безопасные дома, которые они посещали по дороге на юг, они уже на второй день ушли от реки. Сначала Тийат и Кажпин оставили остальных возле пещеры, расположенной в нескольких *сха'ари* от моста Толяль, а сами отправились дальше, чтобы вернуть моторку слугам арендатора, где Тийат демонстративно принялась отрицать саму возможность возникновения какой-то царапины на корпусе во время их плавания. Наконец Кажпин прекратила спор и с жаром произнесла:

– Это всего лишь деньги! Заплати этой женщине – мы с тобой отыграемся на *ракаре*.

За этим последовала мирная беседа относительно новых плантаций *ракара,* закончившаяся дружелюбными – и громкими – прощаниями, слышными над шумом проливного дождя, когда Тийат и Кажпин отправились в город.

– Ага, это всего лишь деньги, – раздраженным тоном высказалась Тийат, когда на рынке в Толале они выложили последние *бахли* за соль.

– Не беспокойся, – сказала ей Кажпин, когда они оказались на ведущей на северо-восток дороге, где никто не мог их подслушать. – В следующем сезоне подоим караван!

Убедившись в том, что за ними никто не следит, они свернули с дороги и рысцой вернулись обратно на юг.

Без дальнейших приключений воссоединившись возле пещеры со всеми остальными, они расстались с дорогами и

реками и вступили на бесконечный и плавный степной простор.

Периодически останавливаясь, прислушиваясь, принюхиваясь и наблюдая, ВаН'Жарри постепенно убеждались в том, что остались незамеченными.

В самом деле, на этой чудовищно огромной, очаровательной, безлюдной земле немногое указывало на прикосновение человеческого разума или руки. Часами, неспешно и без отдыха шагая, они не видели ничего, кроме невысоких кущ, покрытых лавандовой листвой растений, украшенных колокольчиками цветов, раскачивавшихся на жестких стеблях под ударами теплых, как кровь, капель, и не слышали ничего, кроме барабанной дроби дождя, шлепанья ног и арий Нико.

– Вас его пение не беспокоит? – спросил Сандос у руна. – Этот мог бы попросить Нико перестать петь.

– Меня он не беспокоит, – ответила Кажпин.

– Его музыка не так прекрасна, как музыка Исаака, – заметила Тийат, – но тоже красива.

Иноземцы несли с собой коммуникационное оборудование и периодически отвечали на запросы «*Джордано Бруно*» лаконическими ответами, в которых уже сквозила скука.

– Тут льет как в третьем кругу ада, – однажды сказал Шон. – Какой прогноз на завтрашний день?

– Прояснение, – сообщил Франс.

– Слава за это Богу, – искренне ответил Шон, отключая связь.

Они проснулись рано, их разбудил не удар грома, а сигнал радиотранспондера, звонкий и чистый в промытом дождем утреннем воздухе. Франс Вандерхельст вызывал любого из членов экипажа «*Джордано Бруно*». Ответил, зевая, Шон, на что встревоженный Франс спросил:

– Эй, у вас там внизу все в порядке?

– Все, еж твою, – ответил недовольный Шон, согласно кивая сонному Жосеба, протянувшему руку из-за его спины, чтобы переключить передатчик с режима телефона на громкоговоритель и разговор слышали все остальные.

– Мы потеряли след трех из четырех ваших GPS-имплантов. Что у вас происходит?

Тут все полностью проснулись. Они ожидали вопроса об имплантах, но не в такой форме.

– Трех из четырех? – посмотрел на своих спутников Шон и прочел правду по лицу Нико, розовому в лучах безоблачного рассвета. Простонав, Жосеба уткнул лицо в ладони. Также пробудившиеся ВаН'Жарри начали задавать вопросы, но Сандос прошипел, чтобы они замолчали, когда Шон жестом руки

потребовал тишины.

– Мы получаем сигнал от четырех неподвижных датчиков GPS, три дня находящихся в точке посадки, – говорил Карло. – Еще один находится в двухстах сорока километрах к северо-востоку от этого места. У вас точно все в порядке?

– Да! В полном порядке, черт побери, если не считать того, что вы перебудили всех нас! Может, лучше поговорим попозже? Мне снился совершенно очаровательный сон…

– Так что же происходит у вас с имплантами? – вступил в разговор Джон. – Почему люди Софии не смогли отыскать вас? Еще они сказали, что в лагере пахло кровью. Еще минуту назад мы были уверены в том, что вас убили и съели! Мы только что говорили с Софией, она уверена в том, что Эмилио похитили разбойные жана'ата, и готова послать вам на помощь целое войско! Что все-таки у вас происходит?

Слово «войско» заставило Кажпин сложить уши, вторая ВаН'Жарри заметно занервничала. Театрально зевнув, Шон обвел всех полным отчаяния взглядом и пробурчал:

– Боже! С вами-то что, Кандотти? Все время задаете один и тот же вопрос, я же сказал уже: все в порядке! Кровь была…

Сандос, пытавшийся надеть ортез, остановил его взглядом.

– Подождите, с вами хочет поговорить Сандос, – с облегчением проговорил Шон, передавая тому блок связи.

– Джон, это Эмилио. Передай Софии, что мы с ней когда-то пересмотрели слишком много старых вестернов, – проговорил Сандос, достаточно убедительно изображая непринужденную интонацию. – И кавалерия Штатов может не скакать к нам на выручку! Подожди-ка… Франс может соединить меня непосредственно с ней, хорошо? Я поговорю с ней.

Все ожидали в напряженном молчании, а Сандос отошел чуть подальше и повернулся к спутникам спиной. Впрочем, тихий утренний воздух ничуть не мешал им слушать разговор.

– Мендес? Нет, послушай меня! У нас все хорошо… Боже. Не надо плакать, София! Я жив и здоров. В самом деле… и все в порядке… будь добра, успокойся, хорошо?

Он посмотрел на спутников, скривился и многозначительно покачал головой: никогда не просите женщину успокоиться.

– Нет, София, послушай! Это кровь того *фройшла*, которого застрелил Жосеба! Да, мы зажарили его! Я решил перенести лагерь в сторонку, чтобы запах крови не смущал твоих посланцев… мы там же, неподалеку.

– Если считать от Земли, – пробормотал Жосеба.

– Не знаю, что тебе сказать о том сигнале, который находится на север от места посадки, – проговорил Эмилио.

– И ни разу не солгал, – невольно восхитился Шон.

– Может, импланты бракованные? – предположил уже расхаживавший теперь Сандос. – Или программное обеспечение подвело? – Пауза. – Ну, это теперь безразлично, потому что с нами ничего не случилось, так ведь? Слушай, Мендес, все мы вчера как-то поздно легли, нам надо бы еще малость отдохнуть прежде, чем… Конечно! Да пусть они там же и ждут нас! Идеальный вариант! – воскликнул он, останавливаясь с явным облегчением. – И тебе тоже. Ложись спать… Тогда завтракай! – проговорил он, уже улыбаясь. – Ты-то сама в порядке? Точно? Так что не беспокойся за нас! До связи.

– Христе Боже, – выдохнул Шон, когда Сандос вернулся ко всем остальным и опустился на землю. – Больше за покер вместе с вами не сяду.

Наверху, на корабле, Дэнни пожал плечами. Д. У. Ярброу недаром всегда говорил, что София Мендес способна думать слишком быстро, чем нужно для ее собственного блага.

Однако Франс Вандерхельст смотрел на Карло.

– Импланты в полном порядке.

– Да ну? – вопросил Джон. – Посмотри-ка на экран.

Четвертый след на нем погас.

– Простите меня, дон Эмилио, – повторил Нико, когда Жосеба разбил камнем положенный на камень GPS-транспондер. – Франс сказал мне…

– Все в порядке, Нико, я понимаю тебя. Ты хотел только хорошего, – пробормотал Эмилио при всей разнице в его понимании.

– Значит, войско придет, – произнесла Кажпин. – Они думают, что мы захватили вас в плен…

– И теперь знают, где мы находимся, – сказал Жосеба.

– Однако Сандос купил для нас сколько-то времени, – указал Шон. – Они знают, что с нами все в порядке, что мы находимся поблизости от места рандеву…

Тут лицо его вытянулось в куда большей степени, чем обычно, и он со злостью глянул на останки GPS импланта:

– Е-мое.

Жосеба, еще не выпустивший камень из руки, застыл на месте, а потом зажмурился, понимая, что обман только что был разоблачен. Только сам Сандос мог сказать, что именно он произнес в последующие несколько мгновений, однако смысл его слов был очевиден даже ВаН'Жарри.

– Простите, – проговорил он наконец, побагровев от стыда. – Я слишком поторопился.

– Идите без нас, – предложил Шон ВаН'Жарри. – Мы вернемся назад, встретим эскорт. Они волнуются из-за нас. Как только они поймут, что с нами все в порядке, то сразу успокоятся. А мы можем прикинуть, как нам попасть в Н'Жарр…

– А Инброкар намного дальше от нас? – негромко спросил Сандос у Рукуея.

– Если идти быстро, то можем оказаться там сегодня ко второму восходу.

– Чтобы собрать войско, нужно какое-то время, – сказал Сандос. – Сейчас мы находимся в трех днях пути от места посадки, но им придется идти дольше, потому что весь путь нужно будет преодолевать пешком, так?

– Нет, они могут воспользоваться армейскими транспортными баржами, но этот способ тоже не быстрый, – возразила Кажпин.

Тийат начала качаться.

– Им не потребуется войско – они могут поднять милицию по всей стране. Мы спеклись.

– Простите, – еще раз сказал Нико. – Но… что, если сказать синьоре Софии, что мы идем за ее сыном? Сказать ей еще: не следуйте за нами. Если пойдете следом, сделка будет расторгнута. А если согласитесь, ваш мальчик вернется к вам, никто не потерпит никакого ущерба.

Он оглянулся по сторонам, надеясь, что подобным образом искупил свое прегрешение.

– Может сработать, – проговорил Сандос, подумав. Он даже рассмеялся, но моментально протрезвел, задумчиво поднял вверх подбородок, буквально на глазах отяжелев и постарев, заговорил уже с хрипотцой, присущей Марлону Брандо, воскресшему под лучами ракхатских солнц. – Мы сделаем ей такое предложение, которое она не сможет не принять.

Жосеба посмотрел на Шона, тот пожал плечами и набрал вызов через «*Бруно*». Эмилио взял связное устройство и сразу же оборвал Джона, требовавшего немедленно сообщить ему, какая именно хрень только что произошла с четвертым имплантом.

– Не спрашивай меня, ладно? Просто не спрашивай. Я бегу дополнительную милю, Джон. Ничего больше я сказать тебе не могу. Пусть Франс соединит меня с Софией.

Все ждали, пока Франс соединял его, все еще с ухмылкой, ожидавшего связи с Софией, однако веселье немедленно погасло. Не решаясь угрожать, он начал с обращения к дружбе и доверию, однако уперся в ледяную стену недоверия.

– Ты права, София, – сказал он. – Абсолютно права, однако нас никто ни к чему не принуждает. Послушай меня!

После чего выслушал ее предостережения, мольбы, угрозы, осуждения…

– София, – в конце концов он остановил ее. – Я должен это сделать. Я должен кое-что увидеть собственными глазами. Я прошу тебя об одном: чтобы ты предоставила мне время на решение этой задачи – быть может, пару недель. Прошу тебя. Я никогда ни о чем не просил тебя, София. А теперь прошу об одной вещи, хорошо? Дай мне возможность увидеть это своими глазами…

Спорить с ней было немыслимо; такой возможности София никому не предоставляла. Он повернулся к ВаН'Жарри – на их напряженные, полные тревоги исхудавшие лица – и выслушал бескомпромиссные слова женщины, которую знал много-много лет назад.

– София, ты не оставляешь мне другого выхода, – произнес он наконец с ненавистью к себе самому. – У меня есть все основания думать, что я смогу найти Исаака и вернуть его тебе, но только при условии, что за нами никто не будет следить. Таковы наши условия, Мендес. Это сделка, отойди в сторону, и я сделаю все возможное для того, чтобы вернуть тебе сына.

Закрыв глаза, Эмилио выслушал ее мнение о том, кем он теперь стал. Он не возражал. В основном София была права.

К полудню они преодолели небольшой подъем, с вершины которого открывался вид на просторное, поросшее травой поле, на котором открывался вид на руины Инброкара, растворявшиеся в молочной дымке над жаркими прериями. Какое-то время Эмилио просто молча смотрел на почерневшие руины. Это был не город его мечты, однако обгоревшие ворота казались знакомыми, и, закрыв глаза, он почти сумел представить себе резные каменные стены, некогда создававшие иллюзию безопасности.

– Вы чувствуете запах? – спросил его Рукуей.

– Нет, – произнес Эмилио. – Еще нет.

И вдруг повеяло сладостью: призрачным видением разврата.

– Да. Теперь чувствую, – проговорил он, повернувшись к Китхери, заглянув в его глаза: прекрасные, такие же измученные и усталые, как и его собственные.

– Подождите здесь, – сказал Сандос остальным спутникам и вместе с Рукуеем пошел вниз по пологому склону на поле битвы.

– Мне было двенадцать, – произнес Рукуей, соразмеряя свой шаг с шагом шедшего рядом с ним невысокого человека. – Войне было столько же лет, сколько и мне. В тот день на поле битвы пали тридцать тысяч человек, а за ними полный беженцев город. А еще через год-другой погибла и цивилизация.

Непогода и падальщики превратили в пыль и прах все, кроме самых прочных костей, но эти обломки усыпали землю.

– «Пролияша кровь их яко воду вокруг Иерусалима, и не бе погребаяй»[69], – процитировал Сандос. То тут, то там взгляд их привлекали куски ржавого металла. Нагнувшись, чтобы посмотреть на обломки шлема, Сандос заметил плоский и широкий зуб.

– Руна, – заметил он с некоторым удивлением. – Когда же это они начали носить доспехи?

– Ближе к концу войны, – ответил Рукуей.

– Слышал я, что говорят: с мудростью выбирайте своих врагов, ибо станете едиными с ними, – сказал Сандос, уже ощущая желание извиниться перед молодым человеком за грубость при первой встрече, однако умолк, заметив, как напрягся Рукуей.

– Отец мой был одет в золото и серебро, – негромко произнес жана'ата, направившись к блестящему куску металла. Тонкой работы пряжке, оторванной, втоптанной в грязь, на долгие годы скрывшейся в ней от собирателей трофеев, и каким-то образом оказавшейся на поверхности в последний дождливый сезон. Рукуей нагнулся к ней, чтобы подобрать, но остановил руку, заметив рядом что-то белое. Возможно, крепкую кость большого пальца хватательной ступни. А рядом с ней кусок тяжелой затылочной кости от основания черепа.

– Мы… мы кремируем своих мертвецов, – сказал Рукуей, выпрямляясь и обращая взгляд к руинам, чтобы только не видеть обломки под своими ногами. – И посему, с нашей точки зрения, в известном смысле приемлемо, что многие из наших погибли в пламени пожаров после битвы.

Но это, подумал он. Это…

Механическое жужжание, доносившееся от ладоней чужеземца, вернуло его в настоящее, и Рукуей увидел во плоти то, что прежде могло только сниться ему, – Эмилио Сандоса на поле брани у стен Инброкара. Нагнувшегося к земле, собиравшего куски кости и зубы. Аккуратно подбиравшего каждый малый кусочек кости соединившихся в смерти руна и жана'ата.

Не говоря лишнего слова, Рукуей присоединился к нему в этом деле, а потом на помощь пришли и остальные – Кажпин и Тийат, Шон Фейн и Жосеба Уризарбаррена, Шетри Лаакс молча сносили воедино безымянные останки.

Сняв с себя куртку, Нико расстелил ее на земле, чтобы было куда складывать частицы костей, и скоро тишину нарушила скорбная мелодия *Una furtiva lagrima*[70].

При всей фрагментарности останков, притом что они были

разбросаны по слишком просторному полю, когда самодельная пелена оказалась заполненной, они посчитали свою работу законченной, они перенесли ее внутрь обгорелых стен, где еще ощущался запах пожара. В запах этот они внесли свежую ноту, сложив погребальный костер из обгорелой древесины, позаимствованной из руин бывшего склада, расположенного возле посольства Мала Нжера.

– Яснее всего прочего я помню голос моей младшей сестры, – сообщил всем Рукуей под треск огня. – Все свободнорожденные дети Высочайшего находились в посольстве – должно быть, он прекрасно понимал, чем все кончится, однако надеялся, что дипломатам будет оказано какое-то снисхождение. – Рукуей коротко и жестко усмехнулся наивности собственного отца. – Моя сестра погибла при пожаре. И, пока мы бежали из города, я все слышал ее серебряный голосок: Ру-ку-эййййй…

В тот вечер, когда погас свет, он пел им о ранах, об утратах, о сожалении и о тоске; о том, как крепнет и растет эта боль с каждой новой нанесенной душе раной; и о том, как ослабевают и уходят такая боль и печаль в танце жизни и в присутствии детей.

Посреди этой песни Шетри Лаакс поднялся и слепо побрел в сторону, чтобы как-то ослабить боль, однако, когда он остановился, отойдя от костра на приличное расстояние, услышал за собой шаги иноземца и понял по запаху, что это Сандос.

– Говори, – сказал Сандос, и в голосе его звучала пустота, которую Шетри посчитал необходимым заполнить.

– Он не намеревался причинить мне боль, – прошептал Шетри. – Откуда ему знать? Рукуей считает, что дети – это надежда, но это не так! Они несут ужас. Ребенок – это как ветка, которую можно отломить от тебя… – Шетри умолк, пытаясь успокоить дыхание, вернуть ему спокойный ритм.

– Говори дальше, – снова сказал Сандос.

Шетри повернулся на голос иностранца.

– Жена моя беременна, и я боюсь за нее. Китхери невелики ростом, и Хэ’энала едва не умерла в последних родах – у ребенка была крупная задняя часть, как у всех Лаакс. Хэ’энала молчит о многом. Эта беременность была для нее особенно тяжелой. И я боюсь за нее и за ребенка. Ну и за себя заодно, – признался он. – Сандос, хочешь, я скажу тебе, что сказала мне моя дочь Софи’ала, когда узнала, что ее мать снова беременна? Она спросила: «А этот младенец тоже умрет?» Она уже потеряла двоих младших братьев. И считает, что младенцы должны умирать. И теперь я боюсь.

Он сел прямо там, где стоял, не обращая внимания на грязь и

пепел.

– Некогда я был адептом Сти, – продолжил Шетри. – Третьерожденным и довольным жизнью. И теперь нередко тоскую по тем временам, когда в жизни моей были только тихая вода и заклинания. Но их должны петь вместе сразу шестеро адептов, и я думаю, что все мои собратья давно мертвы и нет единой души, способной выучить наш обряд. Прежде я считал, что мне несказанно повезло в том, что я стал отцом, но теперь… Когда ты любишь так сильно, это просто ужасно. Когда умер мой первый сын…

– Сочувствую твоим утратам, – проговорил Сандос, садясь рядом с ним. – Роды скоро?

– Через несколько дней, кажется. Но в отношении женщин можно ли быть в чем-то уверенным? Может, уже начались или кончились. – Он помолчал. – Мой первый сын умер от легочной болезни. – Он постучал себя кулаком по груди, так чтобы иноземцу было понятнее. – Но второй…

Он умолк.

– Говори же, – негромко сказал иноземец.

– Жрецы Сти известны… были известны своими снадобьями, умением лечить раны и, если нужно, помогать телу побороть болезнь. Я не мог видеть, как умирает Хэ'энала, и потому попытался помочь ей. Некоторые средства снимают боль… – Он не сразу сумел заговорить и с трудом докончил: – Ребенок родился мертвым по моей вине. Я только хотел помочь Хэ'энале.

– Я тоже видел, как умирает дорогое мне дитя. Я сам убил эту девочку, – просто сказал ему Сандос. – Это случилось в результате несчастного стечения обстоятельств, но ответственность все равно лежит на мне.

На востоке блеснула молния, осветив на мгновение лицо чужеземца.

– Так что, – проговорил Шетри полным сочувствия тоном, – ты меня понимаешь.

Оба умолкли, ожидая, пока звук грома докатится до них. Наконец иноземец заговорил негромким, но чистым голосом:

– Шетри, уходя на юг, ты многим рискнул. Чего ты ожидал от нас? Нас всего четверо, мы иноземцы! Чего ты до сих пор хочешь от нас?

– Помощи. Не знаю какой. Может быть… какой-то новой идеи, какого-то способа заставить их выслушать нас! Мы попробовали все, что смогли придумать, но… Сандос, мы теперь не представляем никакой опасности… ни для кого, – воскликнул Шетри, не стыдясь своего отчаяния. – Мы хотели, чтобы вы это увидели, чтобы рассказали это руна! Мы не просим у них ничего.

Только пусть оставят нас в покое! Позволят нам жить. Если бы только мы могли спускаться чуть подальше на юг, где водятся *кранил* и *пийанот*, то, на мой взгляд, вполне могли бы прокормиться без посторонней помощи. Мы научились добывать дикое мясо… мы можем прожить, не забирая жизнь руна. Мы можем научить этому делу людей Атаанси, и тогда они прекратят набеги! Если бы только нам позволили перебраться в более теплое место… если бы мы только смогли досыта накормить своих женщин! Горы убивают нас!

Нико уже пел:

– *Un bel di, vederemo*…[71]

Ночной ветерок уносил мелодию.

– Шетри, послушай. Руна любят своих детей не меньше вас, – произнес Сандос. – Эта война началась с той бойни детей руна, которую устроила милиция жана'ата. Что скажешь на это?

– Отвечу одно: пусть так, но наши дети не виноваты.

После долгого молчания Сандос наконец произнес:

– Я сделаю все, что смогу. Возможно, что моих усилий окажется недостаточно, Шетри, но я попробую.

– Доброе утро, Франс. – Эмилио поздоровался с пилотом таким невозмутимым тоном, словно с момента последнего сеанса связи ничего не произошло. – Мне хотелось бы поговорить с Джоном и Дэнни, если это вас не затруднит.

Голос Джона послышался едва ли не сразу:

– Эмилио! Ты цел и здоров? Где только тебя черти носят…

– Я же говорил, Джон, о той дополнительной миле, которую мне предстоит пройти, – непринужденным тоном продолжил Эмилио. – Если вы с Дэнни готовы спуститься сюда и подбросить меня с друзьями в нужную сторону, я предпочту пролететь ее…

– Не без объяснений, шеф, – проговорил Дэнни Железный Конь.

– Доброе утро, Дэнни. Я сейчас все объясню…

Карло оборвал его:

– Сандос, с меня довольно. Мендес не делится с нами почти никакой информацией, и я чувствую, что она лжет!

– Ах, дон Карло! Надеюсь, что вы сегодня ночью спали лучше меня, – сообщил Сандос, не обращая внимания на полные раздражения восклицания. – Я вынужден просить вас одолжить мне посадочный катер. Боюсь, что никакого дохода посадка не принесет, но, если вам угодно, я могу попросить очень хорошего поэта сочинить о вас эпическую поэму. Дрон не посылайте. Мне нужен пилотируемый катер – с Дэнни и Джоном, – причем совершенно пустой, если не считать ящик патронов и охотничье

ружье Жосеба.

– А на кой вам амуниция? – подозрительным тоном спросил Дэнни.

– Первые принципы, Дэнни: мы намереваемся накормить голодных. Ситуация на планете приняла неожиданный оборот. Согласно нашей информации, на Ракхате осталось всего несколько небольших анклавов, населенных жана'ата, и некоторые из них голодают. По мнению Жосеба, как вид они находятся на грани вымирания.

Дождавшись, пока шум на борту «*Джордано Бруно*» утихнет, он продолжил:

– Так что мы, Жосеба, Шон, ну и я тоже, решили узнать, как обстоят дела на самом деле. Я хочу, чтобы Дэнни и Джон послужили объективными свидетелями. Боюсь, что, оставаясь втроем, мы не сможем более похвастаться какой-либо объективностью.

Франс проговорил:

– Сандос, я зафиксировал место вашей передачи возле чего-то похожего…

– Не называйте координаты, Франс. Нас могут подслушать, – предостерег его Эмилио. – Мне нужен ответ, джентльмены. Лишнего времени у нас нет.

– Эпическую поэму, говорите? – насмешливым тоном произнес Карло. – Что ж, быть может, потом я сумею найти что-нибудь более выгодное. Я пришлю катер, Сандос. Расплатимся на Земле.

– Ох, не искушайте меня, – предостерег его, коротко хохотнув, Эмилио, и все стали готовиться к посадке.

Глава 37
Долина Н'Жарр

Октябрь 2078 года по земному летоисчислению

В ту ночь Хэ'энале приснились два сна. Третий ее ребенок, мертворожденный и не получивший имени, появился в дверях дома, крохотный, как зародыш, но веселый и в шаловливом расположении духа.

– Где ты был? – воскликнула Хэ'энала, едва увидев его. – Вот-вот начнется красный свет! – начала она с любовью отчитывать сына, и младенец ответил:

– Обо мне можешь не беспокоиться!

Привстав, она ощутила напряжение в животе, однако посещение ребенка ободряло, и она вновь провалилась в тяжелый сон, характерный для этой беременности. Во второй раз ей приснился уже другой мертвый малыш, ей пришлось снова пережить последние мгновения жизни Уркиналя, и она, вздрогнув, проснулась под свист и хрип в его крошечных легких.

Суукмель, перебравшаяся к ней после ухода Шетри, немедленно проснулась, подошла к ней при первом свете зари и спросила:

– Пришло время?

– Нет, – шепнула Хэ'энала. – Приснилось.

Она села неизящным, но осторожным рывком, стараясь не разбудить Софи'алу, спавшую в гнездышке рядом. Еще один пасмурный день, отметила она про себя, посмотрев сквозь щели в кладке стен. Из соседних домов не доносилось ни звука.

– Опять приходили дети.

– Тебе нужно повязать ленты на руках, – проговорила Суукмель, улыбнувшись суеверному обычаю.

Однако Хэ'энала поежилась, не столько от зябкого утра, сколько от воспоминания о хрипах в маленькой грудке.

– Жаль, что Шетри ушел. А Ма был рядом с тобой, когда ты рождала дочерей?

– О нет, – произнесла Суукмель, поднявшись на ноги и приступая к утренним хлопотам. – Ма и близко не подошел бы к роженице – это же непристойно. Женщины моей касты всегда пребывали в одиночестве – ну, не совсем, конечно. У нас были руна. Мужчины обыкновенно не имели никакого отношения к женщинам и родам, если не считать причинного события. Кроме того, не могу сказать, что нуждалась в присутствии публики.

– Да мне не публика нужна, а дружеское внимание! –

Хэ'энала изменила позу, опершись спиной о свернутое спальное гнездо мужа. Она чувствовала себя как-то не так, хотя вчера получили от Шетри хорошие новости через «*Бруно*». Он вместе со всеми спутниками был жив и здоров, они обещали прилететь сегодня вместе с иноземцами на удивительном корабле, способном доставить их домой быстро и незаметно. – Я буду рада, если Шетри окажется здесь, даже если он не сумеет стоять рядом во время родов…

Она умолкла, лицо напряглось. «Ну, наконец!» – подумала она, приветствуя волну схватки, прокатившуюся сверху донизу. И когда подняла глаза, Суукмель уже смотрела на нее понимающим взглядом.

– Пока не говори никому, – произнесла Хэ'энала, многозначительно посмотрев на как раз заворочавшуюся Софи'алу. – Мне нужно сочувствие, а не *фиерно*.

– Кушать хочу! – не открывая глаз, заскулила Софи'ала, привычным образом начиная утро в это время года.

– Папа скоро привезет тебе вкусненького, – бодрым тоном проговорила Суукмель, обращаясь к ребенку, и улыбнулась с легкой печалью, когда дивные лавандовые глаза девочки немедленно распахнулись настежь при этой новости. Начали просыпаться соседи, и первые дымки кизячных очагов руна уже тянулись наружу. – Он уже скоро будет здесь, а ты можешь сходить к очагу Биао Тол. И посмотреть, что там готовят.

– Подожди, – окликнула Хэ'энала дочь, когда Софи'ала собралась выбежать из дома, чтобы присоединиться к другим детям, по утрам носившимся по всей деревне, заглядывавшим во все горшки в поисках наиболее обильной или наиболее вкусной пищи.

– *Сипаж*, Софи'ала! Не докучай никому! – Суукмель усмехнулась, однако Хэ'энала повторила: – Она такая! Она ко всем пристает! И мне не нравится, как она помыкает остальными детьми.

– Ты судишь о ней по себе, – сказала Суукмель. – Не притесняй девочку. Для нее естественно пытаться командовать ими.

– Естественно также какать там и тогда, когда это тебе приспичит, – сделала ответный выпад Хэ'энала. – Однако естественное поведение не становится допустимым.

– Но даже детишки руна не слушаются ее! Это хорошая школа, – возразила Суукмель. – Дети растут и крепнут.

Утро прошло за этим своеобразным турниром. Делая собственные выпады и отражая чужие, они постоянно следили за частотой и интенсивностью схваток.

– Теперь они станут чаще и сильнее, – сказала Хэ’энала, когда взошли все три солнца, а самое яркое – белый и плоский диск – повисло над головой, прожигая облака.

– Совсем скоро, – согласилась Суукмель, однако и она встревожилась, увидев, как умолкла свернувшаяся в своем гнезде Хэ’энала, дочь которой к этому времени уже сообразила, что именно происходит, и переключила внимание матери на ребенка и уже начинавших собираться гостей, услышавших встревоженный голосок Софи’алы. И хотя жана’ата решительным образом откланялись, выразив свои наилучшие пожелания, дом скоро наполнился руна, принесшими Хэ’энале свой энтузиазм и поддержку, а всему обществу – угощение, а еще тепло своих тел и взаимной привязанности. Подобно руна, Хэ’энала была уверена в том, что рождение ее ребенка станет причиной для общего праздника, и возможность отвлечься от собственных ощущений утешала ее, так что Суукмель не прогоняла гостей.

Если схватки не стали чаще, они, во всяком случае, сделались сильнее, и Хэ’энала, невзирая на боль, была рада. Посреди бесконечного обсуждения средств, способных помочь роженице, в дом вбежал мальчишка с вестью о том, что катер уже показался над горами, и все скоро услышали оглушительный грохот… комната опустела практически мгновенно, когда толпа отправилась лицезреть удивительное явление.

– Ступай… посмотри, на что все это похоже! – сказала Хэ’энала Суукмель. – И расскажи мне, когда вернешься! Со мной ничего не случится, только пришли Шетри!

– Опять эти приказы, приказы, приказы, – поддразнила ее Суукмель, отправляясь на край долины к посадочной площадке. – Прямо твоя Софи’ала!

Оставшись в одиночестве, Хэ’энала постаралась по возможности передохнуть, удивляясь тому, как рано она устала, хотя роды только что начались. Наконец умолк дальний гул двигателей, на смену ему пришел невнятный шум голосов.

Казалось, прошло несколько месяцев; пока Шетри дошел до нее, несмотря на то что ей хотелось о столь многом расспросить его, но вслух она смогла только произнести:

– Этой холодно.

Бросившись к двери, Шетри позвал на помощь. Вскоре Хэ’энала подняли на ноги и повели, и, время от времени останавливаясь и опускаясь на корточки от боли при новой схватке, она все же сумела дойти до дымивших костров, над которыми на вертелах, шипя, обжаривалось мясо. Улыбнувшись при виде мгновенно начавшегося праздника, она взглядом выискала в толпе иноземцев. Один из них оказался таким же

невысоким, как София, остальные ростом выдались в Исаака, хотя и были лишены его иссохшей, как ветвь, худобы. Темноволосые и светловолосые; бородатые, лысые и с густыми шапками волос. И смешение языков! Высокий к'сан, сельская руанжа и х'инглиш смешивались около кухонных костров, звучали в приветствиях, пожеланиях и рассказах… На такой же смеси разговаривала она сама, Хэ'энала, до знакомства с Шетри.

– Какие они разные! – воскликнула она, ни к кому, собственно, не обращаясь. – Удивительно! Просто чудесно!

Ободренная теплом и перспективой восстановления дружественных отношений с югом, Хэ'энала тяжело опустилась на колени, уверив себя в том, что если когда и рожать ребенка, так это сейчас, когда он появится на свет посреди смеха и света.

И вдруг ощутила резкую боль, заставившую ее вскрикнуть, заставив замолчать всех остальных, так что слышно было только треск огня, дальнее пение *п'ркра*. Чуть отдышавшись, она заставила себя улыбнуться и сухим тоном заверила остальных:

– Я больше не буду!

Общее веселье и разговор постепенно возобновились, однако она ощущала исходящий от Шетри запах тревоги и потому потребовала:

– Расскажи мне о своем путешествии!

Однако он был явно испуган и отправился помогать иноземцам раздавать мясо, отправив Рукуея сидеть рядом с ней, как подобает мужьям-руна. Пришла и Суукмель, а затем и Тийат со своим младшеньким на плечах. Ощущая на своих плечах руки обнявшего ее кузена, Хэ'энала прислонилась спиной к его животу, вытянула ноги и, прижавшись щекой к щеке, принялась слушать длинную импровизированную поэму, сочиненную в ритме неспешной ходьбы. Рассказ чрезвычайно заинтересовал ее, и она увлеченно внимала повествованию и даже посмеялась, когда Рукуей в комическом стиле изобразил свой испуг при встрече с невысоким иноземцем по имени Сандос.

– Невысокие люди бывают удивительно сильными, – едва слышно выдохнула Хэ'энала, зажимая свой внушительный живот между ногами и грудью и радуясь тому, что в своем состоянии способна еще посмеяться.

Услышав свое имя, Сандос присоединился к ним, ограничившись почтительным поклоном, но не подавая руки. Когда с приветствиями было покончено, он сел в месте, откуда можно наблюдать за весельем, – молчаливый, нахохлившийся и чуть покачивавшийся, скрестив руки на груди. Поза Эмилио настолько напоминала ее собственную во время схватки, что Хэ'энала обратилась к нему со следующими словами:

– Забавно, ваш пол совершенно не предполагает беременности.

Недолго посмотрев на нее, он расхохотался – удивившись развеселившим его словам.

– В противном случае нам пришлось бы учреждать новую религию, – ответил он, и если она не поняла всех его слов, улыбка его ей понравилась.

Глаза Сандоса напомнили ей Софию – такие же крохотные и карие, теплые, но не каменные.

– Моя госпожа, какой язык наиболее удобен для вас? – спросил он.

– Руанжа – для чувств. Английский – для наук…

– И шуток, – добавил он.

– К'сан – для политики и поэзии, – продолжила Хэ'энала, позволив волне боли подняться и отступить. – Идиш – для молитвы.

Какое-то время все пятеро наблюдали за тем, как руна поддерживали костры и обжаривали корнеплоды на палочках, после того как наевшиеся жана'ата уступили им место.

– Об этом мы только мечтали, – произнесла Суукмель, улыбнувшись Тийат, после чего пожала сначала лодыжку Рукуея, а потом Хэ'энады.

– Мечтали о чем? – спросил Сандос. – Сытно поесть?

Посмотрев на него, Суукмель усмотрела в его словах иронию и непринужденно произнесла:

– Да, – а затем широко повела рукой. – Но также и это: здесь мы все вместе.

– Мои глаза тоже видят это, – сказала Тийат, посмотрев на спящего сына, а затем на людей, окружавших Хэ'энадлу. – Три разных рода лучше одного!

– Сандос, расскажите мне о каждом из ваших спутников, – произнесла Хэ'энала на языке политики.

Первым он указал на того из них, на черепе которого совсем не было волос, и ответил на языке привязанности и чувства:

– У Джона умные руки, как у руна, и благородное сердце. Посмотрите теперь на лицо, и вы узнаете, как выглядит довольный человек. Этот думает, что самое большое удовольствие Джон получает, помогая другим. Он умеет дружить. – Помедлив, он перешел на к'сан: – Я полагаю, что он не способен солгать.

– А тот, который рядом с ним? – спросила Хэ'энала, посмотрев на Суукмель, также внимательно слушавшую.

Ответил он на идише:

– Его имя Шээн. У него ясное зрение, лишенное сентиментальности. – Сандос помедлил, посмотрел на остальных,

осознав, что только Хэ'энала говорит на идише. И произнес на к'сане: – Иногда необходимо услышать суровую истину. Шээн суров и жесток, словно жана'ата. Но то, что он говорит, всегда важно. – Кивнув в сторону Жосеба, он упростил его имя: – Жозей также все видит ясно, однако он тонок. Когда Жозей говорит, я слушаю его внимательно.

– А черноволосый? – спросила Суукмель, когда очередная схватка заставила Хэ'эналу задохнуться.

Сандос набрал воздуха в грудь и медленно выдохнул.

– Дэнни, – проговорил он, заставив всех ожидать, какой язык Эмилио выберет на сей раз. – Он может оказаться полезным для вас, – проговорил он на к'сане. – По опыту своего собственного народа он знает опасность, угрожающую жана'ата, и очень хочет помочь вам. Однако он человек идеалов и иногда предпочитает их этике.

– Что делает его опасным, – заметила Суукмель.

– Да, – согласился Сандос.

– А тот, который поет? – спросила Хэ'энала. – Как мне кажется, он также похож характером на жана'ата. Он – поэт?

Сандос улыбнулся и продолжил на руанже:

– Нет, Нико не поэт, однако ценит творения поэтов, в чем ему помогает голос. – Посмотрев на Тийат, он проговорил, старательно выбирая слова: – Нико скорее похож на деревенского рунао, которого может увести любой сильный.

Он помолчал, и трое жана'ата обменялись взглядами.

– Нико может быть опасным, но сейчас я ему доверяю. В любом случае он здесь не останется, – сообщил Сандос. – Он член торговой партии, которая пробудет здесь только до тех пор, пока не закончит свои дела на юге. Остальные хотят остаться на планете, чтобы помочь вам и поучиться у вас, если вы позволите это.

– А ты, Сандос? – спросил Рукуей. – Ты улетишь или останешься?

Он не ответил, потому что Хэ'энала закрыла глаза, обхватила живот руками и глухо простонала, что заставило Шетри броситься к ней.

Когда дыхание ее восстановилась, Хэ'энала произнесла:

– Все будет хорошо. Я ничего не боюсь.

Когда свет померк, с ним ослабели и боли, которые теперь происходили как бы в стороне от нее. Ее внимание мерцало, подобно согревавшему ее и освещавшему ночь огню. Тем не менее продолжала вслушиваться в протекавшую вокруг нее беседу, удивляясь голосу Сандоса, такому не похожему на голос Исаака, –

негромкому, недрожащему, но мягкому и музыкальному, возвышавшемуся и опускавшемуся, наделенному плавными каденциями. Хэ'энала успела забыть о том, что люди могут говорить подобным образом, и она опечалилась, оттого что много уже лет не слышала голос Софии.

Прихлынула скорбь о прошлом, а также и о будущем, которого она не узнает, ибо явился личный момент, когда она поняла, что умрет – не в виде неопределенного осознания собственной смертности, но как непосредственная уверенность в том, что смерть не станет медлить, но скоро посетит ее. К собственному удивлению, она уснула, просыпаясь на короткое время при каждом мышечном спазме, при каждом новом пробуждении в этот мир, понимая, что черпает она из уже кончающегося запаса сил. Однажды, полностью проснувшись во тьме, она сказала все остальным:

– Когда я умру, отведите детей к моей маме.

За потрясенным молчанием последовали утешительные уговоры, однако она продолжила:

– Сделайте так, как я сказала. Напомните ей о торге Авраама… и о десяти, ради которых…

Сказав это, она снова провалилась в забвение.

На рассвете ее разбудил рык собственного мужа. Она находилась теперь в теплом доме, укрытая одеялами, подобных которым она не могла даже представить. Не шевельнувшись, она посмотрела в дверь на призрачный ландшафт, прикрытый пеленой тумана.

– Нет, я этого не допущу! – настоятельным тоном проговорил Шетри. – Как вы можете просто *подумать* такое?

– Значит, ты сдаешься? – услышала она требовательный голос иноземца, чей обвиняющий шепот далеко разносился в тихом утреннем воздухе. – Терять сразу обоих необязательно…

– Остановись! – воскликнул Шетри, отворачиваясь от Шээна и зажимая уши.

Зажмурив глаза, Хэ'энала выслушала объяснения Рукуея, рассказывавшего, почему она должна умереть, хотя слова его доносились до ее слуха в клочках и обрывках. – Помочь ничем нельзя… неизбежно… предотвратить будущие страдания… ради большего блага…

Хэ'энала не узнала следующий голос, возможно, это Жозей сказал:

– Здесь нет никакой аномалии, дело в рожденной голодом слабости!

– Шетри, я думаю, что ты прав и Хэ'энала скоро умрет, – ровным тоном проговорил Сандос. – По-моему, Шээн ошибается.

Процедура, которую он предлагает, убьет Хэ'эналу. Среди нас нет специалиста по таким операциям – и мы не знаем, как сделать ее так, чтобы сохранить жизнь матери и ребенка… и, на мой взгляд, Хэ'энала слишком слаба, чтобы выдержать хирургическое вмешательство. Мне жаль. Мне очень, очень жаль. Среди нас случается, что ребенок умирает не сразу после смерти матери. Так что подумай, если ты разрешишь, мы можем попытаться по меньшей мере спасти ребенка.

– Как? – твердым голосом произнесла Хэ'энала. – Как вы спасаете детей?

Силуэт невысокого иноземца мелькнул в дверях, черный на сером фоне, и он опустился около нее на колени, опершись о бедра руками в странных машинках.

– *Сипаж,* Хэ'энала, этот думает, что после того, как ты уйдешь от нас, ребенок будет еще жить какое-то время. Тогда будет необходимо разрезать твой живот и достать из него ребенка.

– Осквернение, – снова прошипел Шетри, возвышаясь над ними обоими во весь свой недюжинный рост. – Нет, нет, нет! Если… Я не хочу никакого ребенка! Не сейчас, не таким образом! Хэ'энала, прошу…

– Спаси, что сможешь, – сказала она. – Послушай меня, Шетри. Спаси, что сможешь!

Однако он все не соглашался, и в спор вступила уже Суукмель, и Софи'ала рыдала, и иноземцы… Тут Хэ'энала вдруг поняла, каково Исааку, когда шум начал глушить ее собственную музыку.

– Шетри, убирайся, – произнесла она изнемогая, не имея более сил терпеть вокруг себя *фиерно*, неспособная более проявлять доброту или такт. – И все вы тоже: оставьте меня одну!

И тем не менее она протянула руку и, зацепив Сандоса когтями, сказала: – А ты… а ты останься…

И когда в комнате остались только они двое, медленно проговорила на языке молитвы:

– Спаси, что сможешь.

И девять битых часов с этого мгновения он исполнял все, что она просила, пытаясь помочь ей любым возможным способом. Убедившись в том, что для ребенка надежда есть, Хэ'энала почувствовала себя лучше, и Эмилио позволил себе понадеяться на то, что она справится с делом самостоятельно. Стыдясь того, что разрешил себе впасть в панику и какое-то время размышлял исключительно о том, как будет извиняться перед Шетри за то, что вконец запугал и так впавшего в панику отца, уже

потерявшего двоих сыновей.

Однако роды продолжались и продолжались. В итоге ее в основном мучила жажда, и он попытался помочь ей пить, однако Хэ'энала уже не могла глотать. Он выскочил из каменного домика, чтобы попросить льда, однако небольшой ледник между двумя вершинами располагался все же слишком далеко. Джон сбегал к катеру, достал из своей упаковки самую мягкую и старую рубашку; свернул угол ее в жгут и передал Эмилио, подавшего ткань Хэ'энале. Она стала сосать из ткани воду, и ее перестало тошнить, так что какое-то время Эмилио только обмакивал ткань в воду и подавал ей, пока она не утолила жажду.

– Этой нравится звук твоего голоса, – не открывая глаза, произнесла Хэ'энала. – Поговори со мной.

– О чем?

– О чем-то незнакомом. О твоем доме. О людях, которых ты оставил дома.

И он рассказал ей о Джине и Селестине, после чего оба немного помолчали, сперва представляя себе шаловливых девиц, потом ожидая, пока пройдет очередная схватка.

– Селестина. Красивое имя, – сказала Хэ'энала, когда боль отступила. – Музыкальное.

– Это имя означает нечто небесное, но этим словом именуется также музыкальный инструмент, составленный из звонких и певучих серебряных колокольчиков, – сказал он. – *Сипаж,* Хэ'энала, как мы назовем этого ребенка?

– Это пусть скажет Шетри. Расскажи о Софии, какой она была молодой.

Когда он замялся, она открыла глаза и сказала:

– Нет, тогда… о трудном не говори! Только о легком, пока не случилось трудное. Что ты любил ребенком?

Ему не хотелось своим рассказом выставить в плохом свете себя и Софию, однако постепенно обнаружил, что описывает Ла Перлу и приятелей своего детства, погружаясь в прежние страсти, страстишки и простые красоты: ощущение мяча в заношенной перчатке, крученую дугу до второй базы. Она поняла очень немногое, однако наслаждение движением ей было знакомо, о чем она и сообщила ему, задыхаясь, короткими фразами.

Он помог ей напиться.

– А теперь расскажи о музыке, – произнесла Хэ'энала, когда сумела это сделать. – Может быть, твой Нико споет?

И, устроившись в луче света, Нико спел: сначала арии, потом неаполитанские любовные песни, религиозные гимны, выученные в сиротском доме.

Умиротворенная, не испытывавшая более жажды, Хэ'энала

еще раз сказала:

– Отведите детей к моей матери, – после чего уснула.

Нико продолжал петь.

Придремал и утомленный Эмилио, проснувшийся под звуки песни, показавшейся ему самой прекрасной среди всех, которые он слышал. Немецкая, решил он, хотя знакомыми ему показались только несколько слов. Не важно, понял он, потрясенный и тихий.

Очаровывала мелодия – чистая и ясная, воспаряющая к небу, словно душа, повинующаяся некоему сокровенному закону…

Все вокруг них внимали, слушали и ВаН'Жарри, дети прижимались к родителям, все понимали, что исход близок. Открыв глаза, Эмилио Сандос увидел последний вздох, откинул одеяла, осмотрел живот, заметил слабое движение и подумал: жив, еще жив. Нико, глядя на него круглыми глазами, подал нож.

И словно откуда-то издали Сандос увидел, как быстро и решительно режут его бесчувственные руки. Часами он боялся этого мгновения, опасаясь, что будет действовать нерешительно или нанесет слишком глубокую рану. Но сейчас его словно осенило безмолвное милосердие. Ощущая себя очищенным от всех прочих дел, он, словно слой за слоем, вскрывал это тело, раскрывавшееся, расцветавшее под его ножом, как красная роза на рассвете, осыпанная капельками росы.

– Вот, – произнес он, наконец вскрывая околоплодный пузырь. – Нико, доставай ребенка.

Рослый неаполитанец повиновался, смуглое лицо его заметно побледнело даже внутри хижины от жуткого хлюпающего звука, с которым он вынул младенца из тела матери. И замер, держа толстыми пальцами хрупкое тело ребенка, как стеклянную вазу.

Стоявший у двери Джон готов был принять младенца, омыть и отнести отцу, однако, увидев неподвижное, покрытое влажной шерсткой тельце, еще курившееся материнским теплом, глянул на небеса и возопил:

– Опять мертвый!

Нико залился слезами, ВаН'Жарри горестно застонали, и все расступились, открывая дорогу Сандосу, который, как безумец, бросился вон из дома, шепча под нос отрицание и возмущение по конкретному адресу:

– Нет, Бог, нет. Только не в *этот* раз.

Выхватив ребенка у Нико, он опустился на землю, положив дитя на предплечья и колени, держа крошечное тело так близко, что ощутил исходящее от ребенка тепло. Ртом своим он отсосал слизистую мембрану от ноздрей и сплюнул, разъяренный и решительный. Поддерживая влажную головку одной увечной рукой, закрыв другой маленькое рыльце, он вновь вдохнул воздух

в рот ребенка: вдохнул осторожно и подождал, еще раз вдохнул осторожно и подождал, и так снова и снова. Наконец он ощутил чужие руки на своих плечах, вывернулся из их хватки и снова занялся делом, пока наконец Джон уже более грубо оторвал его от тельца и проговорил полным слез голосом:

– Остановись, Эмилио! Теперь уже все!

Побежденный, стоя на коленях, он испустил в небо полный отчаяния вопль. И только когда к вырвавшемуся из его груди крику присоединился тонкий голосок… только тогда он понял.

Писк младенца затерялся во взрыве общего удивления и ликования. Ласковые руки руна забрали у него кроху, и Эмилио оставалось только провожать процесс взглядом… как его обмывали, вытирали, пеленали, пеленали снова и снова обматывали домотканой материей и передавали из одних заботливых объятий в другие. Израсходовав весь запас своих сил, он, в окровавленной одежде, осел на том месте, на котором стоял, и долго оставался там, не пытаясь даже пошевелиться. Наконец Эмилио заставил себя подняться на ноги и, пошатнувшись, принялся искать взглядом Шетри Лаакса, опасаясь того, что несчастный отец будет оплакивать жену и проклинать ребенка. Но Шетри уже прижимал малыша к себе, не отрывая от него глаз, забыв обо всем прочем, кроме сына, которого осторожно покачивал, чтобы успокоить.

Отвернувшись, Эмилио Сандос нырнул обратно под каменную крышу хижины, где его ожидал остывающий труп женщины, как и он сам позабытой в общем веселье. «Мы сжигаем своих мертвецов», – сказал ему Рукуей. Когда же это было? Два дня назад? Или три? Так что папа оказался прав, пронеслась в оцепенелом мозгу Эмилио мысль. Копать могилу ему не придется.

При полном отсутствии всяких эмоций он опустился рядом с тем, что только что было Хэ’эналой. Если что и может подтвердить факт существования души, подумал Сандос, так это полная пустота лишившегося ее трупа.

Тут, непрошеный и нежданный, его осенил покой – пробужденный музыкой и смертью и не знающей тени любовью, которую можно почувствовать только при рождении.

Снова ощутил он волну прилива, но на сей раз сопротивлялся ей, как человек, которого течение уносит в море. Опустив лицо на ладони, уткнувшись лбом в механизмы ортезов, он единственный раз во всей своей жизни сознательно искал физической боли, которой он смог бы править, которая сумела бы вытеснить из его памяти то, над чем у него не было власти.

Это оказалось ошибкой. Слезы, рожденные телесной болью,

начали понемногу сочиться из ран души. И он надолго погрузился в забвение, ощущая только свежие раны. Не его тело вскрыто, не его кровь пролита, не его любовь разбита… но он плакал о мертвых, о неисправимых несправедливостях.

О Хэ'энале. Об утрате Шетри и его собственной – о Джине и Селестине и о той жизни, которую они могли бы прожить вместе. О Софии, о Джимми. О Марке и Д.У., об Анне и Джордже. О своих родителях и о брате. О себе самом.

Когда рыдания утихли, он лег рядом с Хэ'эналой, ощущая в себе такую же трупную пустоту.

– Боже мой, боже, – шептал он снова и снова до тех пор, пока изнеможение наконец не овладело им. – Боже.

– Сандос? Простите. – Дэнни помедлил, но затем снова встряхнул его. – Простите пожалуйста, – повторил он, когда Эмилио сел. – Мы ждали столько, сколько могли, но это важно.

Сандос огляделся по сторонам, удивляясь тому, насколько опухли у него веки. Чувство замешательства прошло очень быстро. Тело Хэ'эналаы ночью куда-то унесли, и домик был полон священников.

– Ты как там, жив? – спросил Джон, скривившийся от глупости собственного вопроса, когда Эмилио уклончиво пожал плечами. – Вот, смотри, ты должен это увидеть, – проговорил Джон, передавая Эмилио его собственный планшет. Франс Вандерхельст отправил комплекс файлов в свой корневой каталог, оставив его открытым для Джона.

Случай двойной лояльности, решил Джон, с растущим страхом рассматривая изображения, постепенно соображая, что они означают. Франс, очевидно, какое-то время следил за происходящим, решая, что делать и делать ли что-нибудь вообще. Хороший наемник обладает определенной свободой, и падроне его был Карло, толстяк, очевидно, сделал все, что мог…

– Иисусе, – выдохнул Эмилио, листая изображения. – А вы представляете себе величину этого войска?

– Думаю, в большом полку их более тридцати тысяч, – сказал ему Жосеба. И все присутствовавшие в мозгу Жосеба представления о величественной и совещательной жизни немедленно уступили место отпечаткам современности… времени, когда он увидел перед собой реальное войско, покорившее все известные области Ракхата быстрее и надежнее, чем Александр завоевал свою империю.

– Похоже, что авангард составляет легкая пехота, – проговорил Дэнни, указывая на экран через плечо Сандоса, – за ней тяжелая, на расстоянии двухдневного перехода. И этот снимок был получен четыре дня назад. Видите, насколько ярким

стал этот кадр? Мы видим отблески на металле…

– А вот инфракрасный снимок, на нем видно, что за всеми остальными идет еще одна группа, – проговорил Жосеба. – Посмотрите на следующий кадр.

Рассмотрев его, Сандос поглядел на встревоженные лица.

– Артиллерия, – подтвердил Шон, – и она направляется прямо к нам.

– Но мы же летели выше облаков, а Джон не превышал звуковой барьер! – сказал Эмилио. – Как тогда они могли выследить нас?

Ответил Дэнни:

– Не могу гарантировать, шеф, но могу предложить объяснение. – Эмилио задумался, а затем на мгновение закрыл глаза. – Карло продал нас. Он дал им наши координаты.

– Похоже на то.

Нико остановился около двери.

– Так что синьора может теперь не ждать, пока мы доставим им Исаака, она сама идет за ним…

– Для этого армия ей не нужна, – кислым тоном проговорил Шон, опускаясь рядом с Жосеба.

– Сандос, вы должны узнать еще кое-что, – произнес Дэнни Железный Конь. – Когда вы трое пропали первый раз, София Мендес поклялась, что выследит этих мерзавцев *джанада* и раз и навсегда прикончит их в собственном логове!

– Да. Стремление нетрудно заметить, – промолвил Сандос. Вечный мир, надежные границы и беспечная жизнь для руна… Он потер лицо о предплечья, и все поднялись на ноги. И в этот миг – между каменных стен клетушки, в окружении рослых людей – он ощутил, как пошатнулась реальность, но заставил себя вернуться к настоящему, представлявшемуся достаточно бесперспективным. – Нам следует предупредить ВаН'Жарри. Наверное, им следует эвакуироваться. Перебраться подальше, к поселению, да? Собраться всем в одной долине и приготовиться к обороне?

Дэнни покачал головой:

– Как только сюда прибудет артиллерия, мышь может считать себя в мышеловке.

– Небольшие, несконцентрированные группы труднее обнаружить, – проговорил Жосеба. – Но они могут также умереть от голода или просто под открытым небом.

– Шесть или полдюжины – никакой разницы, – проговорил Джон. – Положение швах.

– Но решать не нам, так ведь? – проговорил Шон. – Мы называем факты, а решают пусть сами ВаН'Жарри.

И когда все прочие так или иначе выразили свое одобрение, он подошел к дверям и кивнул Жосеба.

– Итак, действуем, парень, и распространяем добрые вести.

– Интересно, что готовит для нас Карло? – задумчиво произнес Джон, когда Шон и Жосеба, миновав Нико, отправились дальше.

– Повод для объяснения причин собственной неудачи, – пояснил Эмилио, листая присланные Франсом изображения. – Посмотрите-ка на это. Они принимают груз. Карло намеревается закончить погрузку и отправиться домой. Дрон уже садился в Агарди… что? Уже три раза. – Помолчав, он произнес: – О боже мой.

– Что? – спросил на сей раз испугавшийся Джон. – Что такое Агарди? Завод боеприпасов? Он что…

– Ничуть. Ничего подобного. Винокурни, – негромко произнес Сандос, посмотрев на Дэнни и Джона.

– Винокурни? – отозвался в смятении Джон. – Значит, он грузит…

– Бренди из *йакапа*, – закончил за него Дэнни.

Сандос кивнул, и Дэнни со вздохом покачал головой.

– Так что же тогда выходит? – воскликнул, всплеснув руками, Джон. – Карло продает нас, вкладывается в ракхатский бренди и летит домой более богатым, чем Гейтс! – Разгневанный, он уселся возле противоположной входу стены, вытянув ноги вперед и привалившись спиной к камням.

– И все же, – со всей кротостью заметил Эмилио, – во Вселенной, по всей видимости, присутствует некая толика справедливости.

Он остановился в двери, и солнечный свет за его спиной освещал волосы и прятал выражение лица.

– Понимаете ли, – проговорил Эмилио. – Мне так и не представилась возможность рассказать об этом Карло, но *йакапа*-бренди – это…

Глаза Дэнни округлились. Открыв рот, он помедлил и, едва дыша, с надеждой поинтересовался:

– Неужели дрянь?

– Ну скажи да, – попросил Джон, поднявшись на ноги и подойдя к Дэнни. – Прошу тебя, Эмилио, скажи, что это действительно дрянь! Солги, если нужно, но только скажи мне, что худшей гадости ты не пил во всей своей жизни.

Осунувшийся, блеснув ангельским взором, Сандос проговорил:

– Вкусом своим это зелье более всего похоже… на самое дешевое… хозяйственное мыло.

Если бы его спросили, Эмилио Сандос едва ли смог бы объяснить причину полуистерического хохота, заглушившего горе, страх и отчаяние, однако никто не слушал иезуитов, собравшихся в хижине Хэ'эналы. Когда Эмилио вышел из домика, эвакуация населения долины Н'Жарр уже была в полном разгаре – родители собирали детей, увязывали пожитки, спорили, перекрикивались, принимали внезапные решения, передумывали, пытались не паниковать.

Однако в самом центре этой суеты существовал островок покоя, и он протолкнулся к его середине, каким-то образом ощущая, что в самом центре его окажется Суукмель Схирот у Ваадаи и еще курящийся погребальный костер Хэ'эналы.

Опустившись возле нее на колени, Эмилио произнес:

– Мы навлекли на вас беду, и я прошу прощения за это.

– Вы хотели добра, – ответила она. – Кроме того, вы сохранили для нас одну жизнь.

– Однако сама ты не собираешься, – заметил он.

– Как ты видишь, – невозмутимо проговорила она, игнорируя окружавшую суету.

– Госпожа моя Суукмель, послушай: оставаться здесь более небезопасно.

– Безопасность, – проговорила она, – понятие относительное… – и подняла руку, словно бы для того, чтобы набросить на голову вуаль, но остановилась на середине жеста.

– Я остаюсь, – проговорила она тоном, не допускающим возражений. – Я решила, что, если эта иностранка София явится в Н'Жарр, мне следует поговорить с ней. У нас есть кое-что общее.

Губы ее улыбались, и глаза наполнял интерес.

– А каковы твои планы?

– Примерно такие же, как у тебя, – ответил он. – Я ухожу на юг, чтобы поговорить с Софией.

Глава 38
На дороге в Инброкар

Ноябрь 2078 года по земному летоисчислению

Эмилио не рискнул воспользоваться катером, предпочитая оставить топливо на случай экстренных ситуаций, так что они с Нико вышли на юг пешком. Священники остались в долине Н'Жарр, чтобы по возможности помочь местным, однако Нико и слышать не пожелал, чтобы отпустить его в одиночестве, и Эмилио не стал возражать. Невозможно было представить, что то воинство, которое им предстояло встретить через двенадцать дней, могло устрашиться одного пистолета и решительности, однако Нико неоднократно доказывал свою пользу, и Эмилио был рад его обществу. Тийат и Кажпин вызвались идти вместе с ними, чтобы провести через горные перевалы, извилистые ущелья и предгорья. Согласно плану, им следовало вернуться к руинам Инброкара, а затем пройти еще дальше на юг и где-то там, на дороге, ждать Софию и войско руна.

Ко второму закату Эмилио и Нико успели в кровь разбить колени, а Эмилио стал размышлять над определением степени экстренности ситуации.

Слои, складывавшиеся в горы Гарну, оказались тонкими и хрупкими, иногда накрененными и даже почти вертикальными, ненадежными для пешехода, предательскими и утомительными для ног. Руна располагали для передвижения тремя конечностями, считая хвост, однако подъем был труден всем.

– Ну, как там у тебя дела, Нико? – поинтересовался Эмилио после того, как Тийат и Кажпин в пятый раз помогли его рослому спутнику. – Быть может, нам все-таки стоит вернуться к катеру…

Он остановился, услышав, как за спиной зашуршали камни, и, обернувшись, они увидели высокого нагого мужчину, спускавшегося вниз по осыпи на грязных журавлиных ногах, держа над головой потрепанный голубой зонтик.

– Исаак? – предположил Нико, отряхивая каменную крошку с ладоней и потирая свежие ссадины.

– Да, – согласился Эмилио негромким голосом. – Кем еще может быть здесь этот человек?

Он ожидал увидеть на лице Исаака смесь знакомых ему черт Джимми и Софии. Но, к величайшему удивлению Сандоса, Исаак оказался совсем не ребенком. Должно быть, теперь ему около сорока лет, понял Эмилио. Старше Джимми в день его гибели… Вьющиеся волосы отца перешли к сыну, однако Исаак был темнее,

и рыжина его уже подернулась сединой и сбилась в ломкие и грязные патлы. В сложении его, в длинных птичьих костях угадывалось изящество матери, он помнил и очертания рта, однако никак нельзя было узреть мать в этом грязном чудище, наделенном живыми синими глазами.

– У Исаака свои правила, – спешно проинформировала их Тийат, когда привидение это остановилось в нескольких шагах от них вверх по склону. – Не мешайте ему.

Даже не посмотрев на пришельцев, Исаак как будто бы занялся созерцанием чего-то, расположенного слева от Сандоса.

– Исаак, – осторожно начал Эмилио, – мы идем навстречу твоей матери…

– Я не вернусь, – громким и бесцветным тоном проговорил Исаак. – А какие песни ты знаешь?

Озадаченный Эмилио уже не знал, что сказать, однако за него ответил Нико:

– Я знаю много песен.

– Спой одну.

Тут на мгновение запнулся даже Нико, но с учетом ситуации предложил «*O mio bambino caro*…»[72], беря плавные верхние ноты мягким фальцетом, и повторил арию, когда этого потребовал Исаак. На какое-то время в мире не было иного звука, кроме двух голосов – двух неотшлифованных теноров, безыскусно прекрасных в тесной гармонии. Просиявший Нико уже готов был исполнить «*Questa o quella*», но Исаак сказал:

– Довольно, – и повернулся, чтобы уйти.

Без всякой просодии, отметил про себя Эмилио, припоминая симптомы, которые давно изучал в развивающем лингвистическом курсе. ВаН'Жарри упоминали о странностях в поведении Исаака, однако до сего дня он не понимал, что описывавшиеся ими особенности объяснялись чем-то бо□льшим, чем просто жизнь в одиночестве.

– Исаак, – окликнул его Сандос, прежде чем тот успел отойти, высоко, как цапля, поднимая ноги на острых камнях. – Ты хочешь что-нибудь передать своей матери?

Исаак остановился, однако не стал поворачиваться к ним.

– Я не вернусь, – повторил он. – Она может прийти сюда. – И, помолчав, добавил: – Это все. – И исчез за каменистым выступом.

– Она уже следует сюда, – пробормотала Кажпин.

– Этот их катер слишком вонючий и шумный, – отметила Тийат, возвращаясь к теме, обсуждение которой прервало появление Исаака. – Мы заканчиваем самый трудный участок пути, оставим его за спиной завтра, к третьему закату, – пообещала она.

Когда хребет Гарну остался позади, рельеф сделался ровнее, поднимаясь и опускаясь не более чем на рост рунао. Сапфировые холмы вдалеке потемнели и обрели цвет индиго, ближние окрестности пылали цветками вроде земных фуксий, ослеплявших под лучами солнечного света, и Эмилио начал радоваться тому, что они все же пошли пешком. Ритмичное движение всегда успокаивало его, направляя внимание к сокращениям мускулатуры, к соприкосновению ступней и земли. Он не пытался предугадать аргументы Софии и собственные возражения. Все сложится хорошо, убеждал он себя, час за часом переставляя ноги – одну за другой, словно паломник, шествующий в Иерусалим. Снова и снова: все будет хорошо. Не то чтобы он верил в это – слова Хэ'эналы попросту соответствовали ритму движения.

По пути они часто останавливались попастись – на открытом месте, не опасаясь, что их заметят.

– Если нас арестуют, то все равно доставят к армии, – беспечно поведала практичная Кажпин. – Так что зачем трудиться?

Днем Эмилио почти мог сравняться с подобным фатализмом, однако ночью… он все скитался по обугленным и безлюдным городам сновидений или же расхаживал посреди говорившей собственными языками темноты, дожидаясь рассвета. Потом наконец просыпались все остальные, завтракали остатками от предыдущего ужина. Раз или два Нико удалось добыть какую-то мелкую дичь, но есть мясо, кроме него, было практически некому. Эмилио ел очень мало – как бывало всегда, когда он находился в состоянии нервного напряжения. Без отдыха расхаживая от ночи до того мгновения, когда они трогались в путь, он забывался, погружаясь в этот припев: все будет хорошо. На восьмой день путешествия к югу от гор на горизонте стали вспыхивать огоньки – засверкало оружие. К концу дня под облаком пыли обнаружилась темная толпа – из-за неровностей рельефа показалось войско.

– Мы поравняемся с ними завтра, – сказала Тийат, однако, посмотрев на запад, добавила: – Если только нас не опередит дождь.

В ту ночь все спали плохо и проснулись в душном мареве. Оставив остальных завтракать, Эмилио взошел на невысокий пригорок, чтобы посмотреть на армейский бивак. Первое солнце только карабкалось на небо, и тем не менее жар уже заставлял воздух колыхаться и дрожать, и он обливался по□том. Ну его, подумал Сандос и окликнул спутников:

– Будем ждать здесь.

– Хорошая мысль, – одобрила присоединившаяся к нему Кажпин. – Пусть это они идут к нам!

Утро они провели сидя на этом пригорке. Нико и руна что-то жевали и переговаривались, как зрители в ожидании начала парада. Но когда войско подошло ближе во всем своем множестве, они умолкли, как и Сандос, вслушиваясь в доносящиеся звуки. Трудно было сказать, слышали ли они на самом деле или только воображали все это: топот ног, лязг металла, громкие приказы и разговорчики в строю; грозовые облака уже укрыли западный горизонт полосами черного дождя, и ветер унес в сторону все звуки, кроме самых ближайших.

– Будет сильная гроза, – без особой радости предсказала Тийат, опираясь хвостом, чтобы устоять под свирепыми порывами ветра. Молнии на западе почти не прекращались, освещая подошвы грозовых облаков.

Кажпин тоже встала.

– Дождь падает на всех, – беззаботно произнесла она, добавив затем более зловещую фразу: – Но молния ударяет в некоторых.

Сойдя с пригорка к небольшой низинке, она снова села и, опустив голову, принялась невозмутимо рассматривать ряды солдат и наконец воскликнула:

– Как славно, что на мне сейчас нет доспеха.

– И сколько времени осталось, по-вашему, до дождя? – спросил Нико.

Поглядев на запад, Эмилио пожал плечами:

– Час… Может, и меньше.

– Вы хотите, чтобы я сходил к ним и вызвал синьору Софию?

– Нет, Нико. Спасибо тебе. Подожди здесь, пожалуйста, – сказал Сандос. Подойдя к Тийат и Кажпин, он повторил: – Ждите здесь.

После чего, не оглядываясь назад, неторопливо направился вниз по дороге и, пройдя половину расстояния, остановился: небольшая плоская фигурка, черные с проседью волосы которой трепал ветер.

К этому мгновению авангард остановился, и вскоре ряды расступились, пропуская небольшое занавешенное крытое кресло, которое от бивака принесли четыре руна.

Эмилио попытался приготовиться к встрече с Софией, к ее внешности, ее голосу, но сдался и просто стоял, наблюдая за тем, как четверо носильщиков аккуратно опустили кресло на землю, после чего развернули вокруг кресла нечто вроде временной крытой веранды… Не пропускавшая воду ткань цвета лепестков маргаритки блеснула в свете солнца, сиявшего к востоку от

приближающейся грозы. После небольшой паузы, когда сложной работы складное кресло несли из фургона, раскладывали и ставили перед тентом, наконец шевельнулась лесенка, подвешенная у дверцы кресла. Крошечная ладошка раздвинула занавески и приняла предложенную ей руку в качестве опоры для спуска.

Он ждал, что увидит ее изменившейся, но красивой, и не был разочарован. Борозды шрамов и пустая глазница удивили его, но жесткие солнца Ракхата выточили на лице ее такие тонкие морщины, что оно казалось сотканным из прозрачной ткани; три страшных шрама превратились в три линии среди прочих. Единственный глаз сохранил былую живость и внимательность и как будто бы постоянно оглядывался по сторонам, компенсируя подвижностью сокращение поля зрения. Даже очертания согбенной спины показались ему привлекательными: словно кривая эта выражала любопытство, София как бы нагибалась к какому-то предмету, замеченному ею на земле по пути к креслу. Она села и посмотрела на него почти жеманно. Изящная, как малая пташка, опустив пустые руки на колени, ее поза обладала почти скелетной чистотой – элегантной, бесплотной и неподвижной.

«Да, ты прекрасна, – подумал он, – *пригожа, как Иерусалим, и ужасна, как войско со множеством знамен…»*

– София, – произнес он, протягивая к ней обе руки. Ее ладони не шевельнулись.

– Прошло много времени, – холодным тоном заметила она, когда Сандос шагнул поближе. – Ты мог бы явиться первым делом ко *мне*. – Она посмотрела на него своим единственным глазом, пока он не опустил свои оба. – Ты видел Исаака? – спросила она, когда он сумел снова посмотреть на нее.

– Да, – ответил Сандос.

София чуть напряглась и вздохнула, и он понял, что она была уверена в том, что сын ее давно мертв и имя его самым бессердечным образом используется для того, чтобы заманить еще больше заложников в твердыню *джанада*.

– Исаак благополучен, – начал он.

– Благополучен! – Она коротко усмехнулась. – Не нормален, но, во всяком случае, благополучен. Он с тобой?

– Нет…

– Значит, они держат его в плену.

– Нет, София, ничего подобного! Он среди них в почете…

– Тогда почему его нет здесь, с тобой?

Он помедлил, не желая ранить ее:

– Он… Исаак предпочитает оставаться там, где находится. Он

пригласил тебя к себе.

Сандос умолк, посмотрев мимо нее на войско, ожидавшее за золотым навесом.

– Мы можем доставить тебя к нему, но только тебя одну.

– В этом весь замысел? – спросила она с холодной улыбкой. – Исаак служит наживкой, и они получают меня.

– София, не надо, прошу тебя! – попросил он. – Жана'ата не способны… София, ты все понимаешь неправильно!

– Вот как… неправильно, – негромко проговорила она. – Значит, я понимаю неправильно. Сандос, сколько лет вы пробыли здесь… сколько? Несколько недель, наверно? – спросила она непринужденным тоном, подняв обе брови, в том числе и изуродованную шрамом. – И теперь вы говорите мне, что я ошибаюсь. Постойте! В английском языке есть подходящее слово для этого качества… позвольте подумать… – Она не моргая уставилась на него. – Наглость. Да. Это самое слово. Я почти забыла его. Ты вернулся сюда через сорок лет, потратил почти три недели на изучение ситуации и теперь намереваешься рассказать мне о Ракхате.

Он отказался пугаться.

– Да не обо всем Ракхате. Всего только об одном селении жана'ата, пытающихся не умереть от голода. София, ты понимаешь, что жана'ата почти уничтожены? Конечно, ты хотела не этого…

– Это они сами рассказали тебе? – спросила она, возмущенно фыркнув. – И ты поверил им.

– Черт побери, София, зачем такой тон?! Когда я вижу голодного, то знаю, что ему нужно…

– Ну и что, если они голодают? – отрезала она. – Что мне с того, что каннибалы голодают?

– Ради Христа, София, они не каннибалы!

– И каким еще словом ты хочешь назвать их? – спросила она. – Если они едят руна…

– София, послушай меня…

– Нет, это ты послушай меня, Сандос, – прошипела она. – Почти тридцать лет мы-но-не-ты сражались с врагом, вся культура которого стала чистейшим воплощением самой характерной формы зла – желания лишить человеческого достоинства других людей, превратить их в свою собственность; в своей жизни руна обслуживали *джанада* – они были рабами, подручными, сексуальными игрушками. А в смерти становились сырьем – мясом, шкурами, костями. Сперва поработай, потом на бойню! Но руна – больше чем мясо, Сандос. Они люди, заслужившие свою свободу и вырвавшие ее у тех, кто поколение за поколением

порабощал их… поколение за поколением, понимаешь? Бог захотел, чтобы они освободились. Я помогла им добиться свободы и ни о чем не жалею. Мы воздали жана'ата по справедливости. Они пожали в точности то, что посеяли.

– Так это смерть всех жана'ата угодна Богу? – воскликнул Эмилио. – И Он хочет, чтобы руна превратили планету в бакалейную лавку? Неужели Богу нужна планета, где никто не поет, где все похожи друг на друга? София, здесь более нет места принципу «око за око»…

Звук был подобен выстрелу из ружья, глухому и плоскому, и он ощутил, как на лице его проступает точный и жгучий отпечаток ее ладони.

– Как ты посмел? – прошептала она. – Как ты посмел оставить меня здесь, вернуться сюда – после *всего прошедшего времени* – и начать судить меня!

Сандос стоял отвернувшись, ожидая, пока утихнет ощущение, стараясь сдержать слезы, пытаясь ощутить, каково ей было прожить целых сорок лет в одиночестве и без поддержки, без Джона или Джины, без Винса Джулиани или Эдварда Бера. И всех остальных, кто так или иначе помогал ему.

– Прости, – сказал он наконец. – Прости! Я не знаю, что происходило здесь, и не претендую на то, чтобы понимать то, что тебе пришлось пережить…

– Спасибо тебе. Приятно слышать…

– Только вот что, София, я знаю, что такое быть вещью, – проговорил он, оборвав ее. – Я знаю, каково это, когда тебя стирают из бытия. Я знаю, как себя чувствуешь под ложными обвинениями, Боже, помоги мне! И я знаю свою вину… – Он умолк и отвернулся, но потом посмотрел на нее. – София, я ел мясо руна по той же самой причине, по которой это делали *джанада*: потому что был голоден и хотел жить. И я убивал… я убил Аскаму, София. Я не хотел убить именно ее, но я хотел убить, я хотел, чтобы кто-то умер и меня тем или иным образом *освободили* от этой жизни. Так что теперь ты видишь, – без малейшей радости проговорил он, – я в последнюю очередь имею право кого-то судить! И я согласен с тобой в том, что жана'ата, с которыми ты воевала, получили по делам своим! Но, София… ты не можешь позволить руна перебить их всех до одного! Они заплатили за свои грехи…

– Заплатили за свои грехи, говоришь?! – Не веря ушам своим, она поднялась на ноги, оставила кресло и сделала несколько шагов, согбенная дугой и хромая. – Что же, они покаялись перед тобой, отче? И ты отпустил им грехи, потому что они попросили тебя? – спросила она с презрением на лице. – Знаешь ли,

некоторые грехи невозможно отпустить! Некоторые преступления непростительны…

– Ты думаешь, что я этого не знаю? – выкрикнул он, ощущая в своей груди подобный гнев. – Мне больше никто не исповедуется! Я сложил с себя сан, София. И я явился сюда вовсе не для того, чтобы судить тебя. И даже не для того, чтобы спасать! Я здесь потому, что люди Карло Джулиани избили меня до потери сознания и похитили. Добрую часть полета сюда я провел под наркотиками и хочу сейчас только одного: оказаться дома и отправиться на поиски женщины, на которой едва не женился семнадцать лет назад, если она только жива еще…

Она смотрела ему в глаза, но на сей раз Эмилио выдержал ее взгляд.

– Ты сказала, что знаешь, как обходились со мной в Галатне, София, но не знаешь худшего: я оставил священство, потому что не могу простить то, что случилось со мной в этом дворце. Я не способен простить Супаари за это вот, – проговорил он, показывая ей обе своих руки. – И я не способен простить Хлавина Китхери и думаю, что никогда не прощу. Они научили меня ненависти, София. Правда, смешно? Услышав песни Китхери, мы прилетели сюда, рискуя всем, но готовые возлюбить всякого встречного и научиться от него! А вот когда Хлавин Китхери встретил одного из нас… Он посмотрел на меня и подумал всего лишь… – Задохнувшись от горечи, Эмилио умолк, отшатнулся от нее, но тут же повернулся обратно, содрогаясь всем телом, посмотрел в смущенные глаза и промолвил негромким, пропитанным ненавистью голосом: – Он посмотрел на меня и подумал: «Отлично, такого, как этот, я еще не трахал».

– Это было и кончилось, – побелев, отрезала она.

Однако Эмилио знал, что не кончилось, даже для нее самой, даже по прошествии всех этих лет.

– И тогда ты берешься за работу, – сказала она. – Концентрируешься на своем деле…

– Да, – немедленно и с охотой отозвался Эмилио. – И превращаешь одиночество в добродетель, которую называешь самодостаточностью и уверенностью в себе, так? Уверяешь себя в том, что тебе ничего не нужно и что никто более на земле тебя не интересует и ты никого более не допустишь в свою жизнь…

– Замуровываешь свое прошлое!

– Думаешь, я не пытался? – воскликнул он. – София, я до сих пор таскаю в эту стену камень за камнем, однако ничто более не удерживает их вместе! Даже гнев. Даже ненависть. Я сыт ею по горло, София. Я устал от нее. Она наскучила мне!

Стена дождя находилась всего в нескольких минутах от них,

страшные молнии били совсем рядом, однако он не обращал внимания.

– Я ненавидел Супаари ВаГайжура, Хлавина Китхери и шестнадцать его приятелей, но… похоже, я теперь не способен возненавидеть все это вместе, – прошептал он, бессильно роняя руки. – София, во мне, наверно, уцелел только один островок прежней целостности и чистоты. И, как бы я ни ненавидел отцов, я не способен возненавидеть их детей. И ты тоже не должна ненавидеть, София. Нельзя справедливости ради убивать невиновных.

– Нет, – проговорила она, сгибаясь, прикрывая своим телом собственное сердце. – Здесь невиновных нет.

– А если я найду тебе десятерых, пощадишь ли ты ради них остальных?

– Не будем играть в слова, – сказала она, давая знак носильщикам. Сделав один шаг, он преградил ей путь к креслу.

– Всего несколько дней назад я помог появиться на свет одному ребенку жана'ата, – сказал он непринужденным тоном, преграждая Софии дорогу. – Кесарево сечение. Сделал, как мог. Усилий моих оказалось недостаточно, потому что мать умерла. Но я хочу, чтобы ее ребенок выжил, София. В эти дни я уверен в очень немногом, но одно знаю точно: я хочу, чтобы этот малыш жил!

– Убирайся с моего пути, – шепнула она, – или я позову стражу.

Он не шевельнулся.

– Хочешь, я скажу тебе, как зовут старшую сестру этого младенца? – непринужденным тоном проговорил он. – Софи'ала. Милое имя, правда?

Он видел, как голова ее дернулась, словно от удара, но продолжил без всякой жалости:

– Мать этого малыша носила имя Хэ'энала. Последние слова ее были о тебе. Она сказала: отведите детей к моей матери. Она хотела, чтобы мы с ними пошли на Гайжур! Детским крестовым походом, надо полагать. Я не выполнил ее просьбу. Я отказал ей в исполнении последнего желания, София, потому что боюсь теперь брать на себя ответственность за жизни детей. Однако она была права: эти малыши никого еще не убили и не поработили. Они во всем столь же невинны, как дети ВаКашани, которых убивали на наших глазах.

Начинался дождь, тяжелыми и теплыми, как слезы, каплями. Ветер с шумом рвал полог тента над головами, заглушая слова.

– Я кладу свою голову в качестве гарантии за этих детей и их родителей, София. *Прошу тебя.* Позволь им жить, и все то доброе,

на что они способны, – вся музыка, все стихи, все высокое – будет свидетельствовать в твою честь, – проговорил он уже в отчаянии, принимая ее неподвижность за отказ. – Если они убьют снова, козлом отпущения стану я. Их грех ляжет на мою голову, хорошо? Я останусь здесь, и если они опять убьют, казни меня, но предоставь им еще один шанс.

– Хэ'энала мертва?

Эмилио кивнул, стесняясь слез перед лицом горя Софии.

– Ты хорошо воспитала ее, – проговорил он дрогнувшим голосом. – Она во всех отношениях была удивительной женщиной. Здесь, в горах, она устроила некую разновидность утопии. Наверное, это общество было обречено – как и все утопии. Но она же пыталась! Там, наверху, вместе обитали все три разумных вида, София, – руна, жана'ата, даже Исаак. Она учила их тому, что каждая душа является малым отражением Бога и что убивать плохо, потому что, забирая чужую жизнь, мы при этом теряем и то уникальное откровение о природе Бога, которое она несет.

Он снова умолк, почти не имея сил произнести слова.

– София, один из тех священников, с которыми я прилетел, говорил, что считает твою приемную дочь подобием Моисея для своего народа! Потребовалось сорок лет для того, чтобы выжечь рабство из душ израильтян. Что ж, возможно, жана'ата потребуется сорок лет для того, чтобы вытравить из них память о своем былом господстве!

Увидев ее полный смятения взгляд, он беспомощно пожал плечами.

– Не знаю, София. Шон всегда болтает невесть что. Возможно, Авраам был психом и наследственным шизофреником. А сам Иисус – только безумным евреем, внимавшим голосам. Или, может быть, Бог существует, но Он зол или глуп, отчего с нами происходит столько глупого и скверного! Это ровным счетом ничего *не значит!* – выкрикнул он, пытаясь перекрыть грохот дождя. – Реально ничего не значит. Я не хочу больше ничего слышать о Боге, София. И знаю наверняка только одно: то, что хочу, чтобы малыш Хэ'энала продолжал жить…

Она вышла под дождь. Не знающий пощады грохот его глушил все остальные шумы. И какое-то время замерла под ливнем, внимая его шипению, ощущая его удары согбенной спиной и плечами, чувствуя, как струи его проникают сквозь волосы, омывают руины ее лица.

Когда она вернулась из того места, в котором только что побывала в своей памяти, Эмилио уже ждал ее. Насквозь промокшая и замерзшая, она неторопливо прошествовала к

собственному креслу и приняла предложенную поддержку его руки, чтобы подняться на помост. Добравшись до плетеного сиденья, она осела на него со всей тяжестью, возможной для крошечной женщины.

Свирепый первый натиск грозы миновал, дождь спокойно барабанил по всей окрестности, и какое-то время они только лишь наблюдали за утопавшим в воде ландшафтом. София прикоснулась к его плечу, и Эмилио повернулся к ней. Протянув руку, она ласково прикоснулась к оставленному ею совсем недавно пятну на его лице, а затем отвела в сторону локон некогда черных волос.

– А ты поседел, старина, – проговорила она. – И выглядишь даже хуже, чем я, а я выгляжу ужасно.

Он ответил несколько чопорно, но обведенные красными ободками глаза повеселели:

– Тщеславие не относится к числу моих пороков, мадам, однако я не могу позволить безнаказанно оскорблять меня.

Поза его не указывала на желание уйти.

– Когда-то я любила тебя, – сказала она.

– Знаю. И я тоже любил тебя. Не пытайся уклониться от темы.

– Ты собирался жениться?

– Да. Я сложил сан, София. Потому что покончил с Богом.

– Однако Он не покончил с тобой.

– Очевидно, да, – усталым голосом сказал Эмилио. – Или так, или на меня обрушилась череда неудач воистину космического масштаба.

Подойдя к краю навеса, он посмотрел на дождь.

– Даже сейчас я все думаю: может быть, все это лишь жестокая шутка? И этот младенец, за которого я так волнуюсь? Он может вырасти таким злобным сукиным сыном, что все вокруг пожалеют о том, что он не умер в утробе матери, а я войду в историю Ракхата как Сандос Идиот, спасший жизнь этого монстра!

Опустив по бокам бессильные руки, он усмехнулся абсурдной идее.

– А может, из него получится такой же несчастный шут, старающийся изо всех сил исправлять последствия своих поступков, а не ухудшать их.

Тут, без предупреждения, поза его изменилась. Каким-то образом он сделался выше, масштабнее, и София Мендес услышала прежде любимый техасский говорок Д. У. Ярброу, давно уже почившего священника, столь многому научившего их обоих.

– Миз Мендес, – протянул Эмилио, побежденный, но не

лишившийся чувства юмора. – Вся эта проклятая хрень выжала из меня последние силы.

Выговорившийся и обессилевший, Эмилио опустился на помост возле нее, и они принялись вместе следить за тем, как дождь превращает недавно твердую землю в жидкую кашу. Вскоре она обнаружила, что Сандос уснул, опершись спиной о ножки ее кресла, сложив на коленях изуродованные руки. Ни о чем не думая, она прислушалась к его негромкому храпу и, наверное, заснула бы и сама, если бы ей не помешало внезапное появление промокшего насквозь, чрезвычайно рослого молодого человека с матерчатой шляпой в руке, заглянувшего под навес.

– Синьора? Надеюсь, что все уже улажено и в порядке? – спросил он, не скрывая тревоги.

– А вы кто такой? – спросила она очень негромким голосом, многозначительно посмотрев на Эмилио.

– Меня зовут Никколо д'Анжели. Д'Анжели – это значит «от ангелов», – прошептал молодой великан. – То есть я у них был, прежде чем попасть домой. Туда отнесли меня ангелы.

Она улыбнулась, и он принял это за добрый знак.

– Так, значит, все будет хорошо? – снова спросил он, вступая под навес. – И жана смогут жить у себя, если не станут никому мешать, так?

Она не ответила, и он проговорил:

– И это будет по-честному, я скажу. С доном Эмилио все в порядке? А почему он вот так вот сидит?

– Уснул. Должно быть, потому что очень устал.

– Ему снятся кошмары. Он боится спать.

– Вы его друг?

– Я его телохранитель. Друзья его, кажется, давно мертвы. – Нико задумался с безрадостным выражением на лице. А потом его осенило, и он просветлел: – Вы его друг, и вы не мертвы.

– Пока еще нет, – согласилась София.

Нико шагнул к краю навеса и какое-то время внимательно следил за игрой молний.

– Мне нравятся здешние грозы, – заметил он. – Они напоминают мне последний акт Риголетто.

София подумала, должно быть, мальчик задержался в развитии. Однако своим появлением он предоставил ей паузу для размышлений.

– Мы нашли вашего сына, синьора, – проговорил Нико, снова поворачиваясь к ней. – Он хочет, чтобы вы посетили его, но для этого ему, по-моему, надо сначала одеться. Я что-то сказал не так?

Она утерла единственный глаз.

– Нет.

Улыбнулась и призналась:

– Исаак никогда не любил одежду.

– Он любит песни, – сообщил Нико.

– Да. Да, в самом деле. Исаак всегда любил музыку. – Она выпрямилась настолько, насколько ей позволяло согбенное тело. – Синьор д'Анжели, как вам показался мой сын?

– Тощий, но там, наверху, они все такие, – оживился Нико. – Там была одна леди, так вот она умерла в родах перед тем, как мы вышли навстречу вам. Жосеба считает, что она слишком исхудала и поэтому умерла – ей не хватило сил, чтобы родить. Мы привезли им пищу, однако люди были слишком голодны, ели слишком быстро и не могли удержать в себе еду.

Он заметил расстройство синьоры, но не знал, как понимать его. Повертев шляпу за поля и переложив весь свой внушительный вес с одной ноги на другую, он прищурился и после небольшой паузы спросил:

– Так что нам теперь делать?

София ответила не сразу.

– Не знаю, – честно сказала она. – Мне нужно время, чтобы подумать.

По прошествии нескольких часов, в первые мгновения пробуждения в удивительно удобной постели, Эмилио Сандос решил, что снова оказался в Неаполе.

– Я в порядке, Эд, – собирался сказать он. – Можешь ложиться.

Тут он полностью проснулся и понял, что не брат Эдвард Бер, а София Мендес провела эту ночь рядом с этой постелью, пока он спал.

– Я переговорила с твоими коллегами, находящимися в долине Н'Жарр, – без каких-либо эмоций проговорила она, – и с женщиной по имени Суукмель…

Помолчав, она бесстрастно продолжила:

– Я не правлю руна, Эмилио, что бы ни говорили твои друзья-*джанада*. Однако обладаю кое-каким влиянием. Я сделаю все возможное, чтобы обеспечить свободный проход делегации ВаН'Жарри на переговоры с Парламентом Старейшин. На это уйдет много времени, непросто будет добиться даже того, чтобы вас просто приняли. Старейшины не забыли прежние времена. Есть тут такая женщина по имени Джалао ВаКашан, которую трудно будет убедить. Но я скажу им, что ты и священники – добрые люди и сердца ваши не хотят зла. Ничего большего я

обещать не могу.

Сев, он простонал от боли в суставах и сказал:

– Спасибо тебе.

Дождь унесло прочь, и сквозь занавески проливался солнечный свет.

– А ты, София? Что ты будешь делать?

– Делать? – переспросила она и отвернулась, чтобы, прежде чем ответить, представить себе ухоженные города, оживленную политическую жизнь, зарождающуюся торговлю; празднества и торжества; радостное освоение нового и неизведанного. Подумала о перспективах театра, взрывном расцвете техники, об энергии изобразительного искусства, пошедшего в рост сразу после того, как мертвая рука *джанада* была отнята от жизней руна. Подумала и о Старейшинах руна, которые жили теперь достаточно долго для того, чтобы соединить подлинную мудрость с житейским опытом, и о в чем-то несовершенных младенцах, оставленных жить и уже одаривших свой народ неожиданными благодеянимями.

Конечно, пришлось платить. Одни процветали в новом мире – став свободными в любом смысле слова… другие потеряли опору и не сумели приспособиться. Болезни, слабоволие, неудачи, ссоры; бедность, непостоянство, волнения – все это теперь вошло в жизнь руна. Однако то, чего они уже достигли, достойно было восхищения, и кто знает, чего они еще способны добиться? Только время покажет.

И все это лежит на чаше весов против крошечных кривых коготков и аметистовых глазок, моргающих под ярким солнцем…

В память о Джимми она читала Йейтса, и теперь ей вспомнилась строчка из «*Пенсионера*»: «Я времени плюю в лицо за то, что стал другим…»

– Делать? – вновь спросила она. – Я стара, Сандос. Вся моя жизнь прошла среди руна, и среди них я должна остаться.

Погрузившись в молчание, София долго сидела к Эмилио боком, изуродованной стороной лица, и наконец произнесла:

– Я ни о чем не жалею, но моя роль сыграна.

Глава 39
Долина Н'Жарр

Декабрь 2078 года по земному летоисчислению

После многомесячного заточения на борту «*Джордано Бруно*» Дэниэл Железный Конь воспринимал горы, окружающие Н'Жарр, как соблазнительную реальность и направил свой взор на высокий уступ, расположенный к востоку от поселения, в расчете на в той или иной степени впечатляющий вид. У него не было с собой горного снаряжения, обувь совершенно не годилась для восхождения, и ему пришло в голову, что любое падение в подобной местности могло закончиться только самой изысканной смертью. Однако Дэнни нуждался в одиночестве, причем таком, чтобы только Бог знал, где искать его, и потому ушел на рассвете, никого не известив о своих планах. С того самого мгновения, когда Эмилио Сандос, покинув долину, отправился на встречу с Мендес, Дэнни казалось, что отсутствие этого человека сняло с плеч его тяжкий груз. И теперь, начиная подъем по главному фасу, он ощущал счастье, какого не испытывал целый год. Покой охватил его, внимание было поглощено тонкими тактильными ощущениями поиска опоры. Цепляясь пальцами за трещины в камне, он видел перед собой крепкие запястья дедули Лундберга, надежные, как столбы ворот; чувствовал в своей груди сердце бабули Бовуа, бившееся сильно и ровно даже на ее десятом десятке.

Забавно, подумал Дэнни, как это его дед с бабкой всегда пытались разложить внука по частям, его всегда возмущало их стремление разделить между собой его ДНК, особенно когда семейство отца трагическим тоном известило Дэнни о том, что ему досталась печень лакота. И теперь, наконец, он оказался в таком месте, где все это не имело ни малейшего значения, где он являлся просто землянином. Только тут пришел он к пониманию, что представляет собой не поле брани, которое они намеревались захватить и поделить между собой, но сад, в котором его родные, так или иначе принявшие участие в его появлении на свет, стремились увидеть, как живет и процветет в нем та малая толика, которая досталась ему от них.

Какое-то время он просто наслаждался своей силой и ловкостью, однако высота остается высотой… Выдохшись, Дэнни сдался, не добравшись несколько сотен метров до намеченного карниза, но обнаружив впадину, полную мелких камней, удачным образом покрытых слоем гумуса. Перебравшись в нее, он посидел

какое-то время, изучая очертания покинутого жана'ата поселка – в первую очередь, чтобы понять его общественную структуру, – после чего помолился о благополучии беженцев, оставивших эти края две недели назад. «Как же давно, – понял он, – я в последний раз ощущал себя политологом или священником».

Раздосадованный временем, которое потребовалось, чтобы его дыхание пришло в норму, Дэнни вынужден был признать, что замедляет его движения не одна высота. Вспомнились слова Винченцо Джулиани:

– Вы молоды, отец Железный Конь.

«Но не настолько», – подумал Дэнни, наполняя легкие разреженным горным воздухом и вспоминая Неаполь и тот вечерний сад.

– Вы молоды и потому подвержены грехам молодости. Близорукости и презрению к прагматизму…

Здесь, высоко над долиной, был слышен только шум водопада, находившегося настолько близко, что при перемене ветра он ощущал разлетавшуюся водяную пыль. Оставшись в одиночестве, получив возможность подумать, Дэнни заставил себя успокоиться, представить себе шахматную доску и расположение фигур на ней, оценить всю партию. Не зная этого, он задал себе вопрос, ставший основанием существенной доли карьеры Винченцо Джулиани: «Итак, с кем мне придется работать здесь?»

Ясности не было никакой. Судя по результатам первой миссии, ожидавшая их катастрофа могла прятаться за малейшей ошибкой; в лучшем случае можно было надеяться только на гнилой тупик. Это по словам Сандоса, вдруг понял Дэнни. Но такова политика. Надо найти такое решение, чтобы все игроки получили хотя бы часть того, что им нужно.

Почти не замечая собственных движений, он поднялся и начал карабкаться к карнизу, который наметил своей целью, и к тому моменту, когда добрался до него, решение стало для него столь же очевидным, как откровение, полученное Игнацием Лойолой при реке Кардонер, и настолько притом ясным, что он даже предположил, что Винченцо Джулиани мог предвидеть ситуацию.

Это было невозможно, и все же…

«Ты победил, старый лис, – подумал Дэнни и под внутренний хохот поднялся на карниз и встал подобием колосса, поставленного над долиной. – *Сначала надо будет поговорить с Суукмель,* – подумал Дэнни. – *Потом – с Софией Мендес. Если она согласится, то с Карло. А далее со всеми остальными».*

Ирония того, что он намеревался предложить, буквально

напрашивалась, к тому же, он понимал, что не сумеет дожить до момента, чтобы увидеть результат. Однако это как минимум поможет оттянуть время. А именно во времени и было все дело.

Джон Кандотти сидел на пне посреди разложенных деталей насоса, который пытался починить, когда в конце дня Дэнни уверенным шагом вступил в центр деревни.

– Где тебя черти носили? – воскликнул Джон. – Шон и Жосеба по всем ущельям ищут тебя… и что произошло с твоими коленями…

– Ничего страшного, оступился, – сказал Дэнни. – Который сейчас час на «*Бруно*»?

Удивленный вопросом и деловым настроением Дэнни, Джон пожал плечами:

– Не знаю… причем не первый уже день. – Посмотрев на положение солнц, он прикинул: – Примерно восемь вечера.

– То есть там, на корабле, сейчас только что отужинали? Хорошо. У меня есть для тебя дело. – Дэнни кивнул головой в сторону катера. – Я хочу, чтобы ты связался с Франсом по радио. Скажи ему, чтобы попробовал *йасапа*-бренди.

Джон не шевельнулся, нерешительность читалась на его открытом лице.

– Я мог бы попросить тебя поверить мне, – проговорил Дэнни, глядя на него веселыми глазами, – а мог бы просто приказать тебе делать что сказано.

Выдохнув, Джон положил сальник, с которым возился.

– Наше дело исполнять, не спрашивая зачем, – пробормотал он, следуя за Железным Конем на край долины, где оставался катер.

– Надо полагать, что объяснять ты не хочешь? – спросил он, когда они оказались внутри корабля.

– Вот что, – проговорил Дэнни. – Я мог бы сделать это самостоятельно, но обещаю, что, если поможешь, будет больше веселья. Просто намекни Франсу, что сейчас самое время чего-нибудь выпить после обеда, ладно?

Хмурясь, Джон проговорил:

– Но тогда он все расскажет Карло…

Дэнни ухмыльнулся.

Поджав губы, Джон покачал головой, но все-таки сел за пульт и вызвал «*Джордано Бруно*».

– Джонни! – немедленно отозвался Франс, пожалуй, на самую чуточку излишне приветливо. – Как там дела?

– Мы поняли тебя, Франс, – проговорил Джон, не зная, не прослушивает ли Карло их разговор. – Ситуацией занимается

Сандос. – Кашлянув, он посмотрел на Дэнни, махавшего ему: «продолжай». – Послушай, Франс, ты уже пробовал этот самый бренди?

– И как ты узнал об этом? – настороженно спросил Франс.

– Догадался. Так пробовал или нет?

– Нет.

– Ну, так вот, Дэнни Железный Конь считает, что пришло самое благоприятное время для того, чтобы чуток хлебнуть, – проговорил Джон. – И передать боссу свое мнение об этом зелье.

– Красота, – проговорил Дэнни, после того как Джон отключил сеанс. – А теперь ждем десять минут.

Хватило пяти.

– Рад слышать тебя, Джонни, – начал Карло вполне дружелюбным тоном. – Мне хотелось бы поговорить с Железным Конем, если это возможно. – Поднявшись, Джон поманил Дэнни в кресло у пульта, всем видом своим показывая: «теперь действуй сам».

– Добрый вечер, Карло, – любезно поздоровался Дэнни, ожидая ответа.

– Бизнес есть бизнес, – произнес Карло в порядке сокращенного объяснения. – Никаких обид, надеюсь?

– Какие там обиды? Все будет пучком, – уверенным тоном произнес Дэнни. – Вопрос заключается вот в чем: не хочешь ли ты обсудить сейчас со мной условия? Или ты собираешься снова попытать удачи с Софией Мендес? Должен сказать, что у меня был с ней короткий разговор. Она, похоже, считает, что, заключая с ней последнюю сделку, ты намеренно исказил кое-какие факты. Она даже в какой-то степени вышла из себя. – Одна за другой щелкали мимо тяжеловесные секунды, и лицо Джона Кандотти начало светлеть. – Или ты готов вернуться на Ракхат и вести дела непосредственно с самими руна? – И когда Карло запоздал с ответом, Дэнни посоветовал: – Только не забудь прихватить с собой этот анафилактический набор, при этом тебе придется объяснить какому нибудь рунао, как надо им пользоваться. Твой ход, шеф.

Молчание на «*Бруно*» продлилось недолго.

– Твои условия? – спросил Карло с самообладанием тем более восхитительным, что он, скорее всего, слышал блаженные звуки, исходившие от Джона.

– Ты сгружаешь весь свой товар здесь, в долине Н'Жарр, – начал Дэнни, – и не пытайся надуть меня, поскольку я читал погрузочные ведомости. Мы сохраняем при себе пилотируемый катер и все горючее…

– Катер стоит целое состояние! – запротестовал Карло.

– Так, но когда ты вернешься на Землю, этот самолет станет старше самой дряхлой из всех твоих жен, – проговорил Дэнни, а Джон начал исполнять победный танец, направляя итальянские жесты в небо, куда-то над 32-й параллелью.

– Теперь дальше, – продолжил Дэнни, – мы забираем себе сто процентов продажи кофе, но будем твоими посредниками во всей остальной торговле…

– Чем ты гарантируешь, что не оставишь себе малый катер после того, как я отправлю его вниз с последней партией товара? – подозрительно спросил Карло. – Вы можете оставить меня с полупустым трюмом…

– Чего ты в точности и заслуживаешь, ничтожный сукин сын, – пропел Джон, утирая блаженные слезы с лица.

– Полагаю, что тебе придется поверить мне на слово, шеф, – проговорил Дэнни, роскошным образом протягивая вперед длинные ноги и приготавливаясь к очень приятному завершению дневных дел. – Но если ты считаешь, что кто-то может предложить тебе более выгодные условия…

Подобной возможности у Карло не было, и переговоры начались уже самым серьезным образом.

– Это не шутка? – через несколько дней вскричал Эмилио, когда Тийат, Кажпин и Нико отправились искать что-нибудь съедобное. – Дэнни, резервации стали катастрофой для индейцев.

– Сандос, у нас здесь не Юнайтед Стейтс. И мы не Бюро по делам индейцев, – твердо сказал канадец, – и располагаем историческим опытом…

– Кстати, резервация лучше вымирания, – с ледяной точностью определил Жосеба. – По моей оценке, даже простое повышение ежегодной смертности на десять душ при нынешних темпах прикончит жана'ата за пару поколений. И если выбирать между апартеидом и геноцидом…

– Дэнни прекрасно известно, что любые способы организации системы резервавции ужасны по последствиям, – начал Джон, – так что он может…

– Отчаянные меры для отчаянных времен, – проговорил Шон. – И как бы ни была противна моей душе сегрегация, она позволяет прекратить убийства…

– Погодите, погодите, погодите! – попросил Эмилио, настолько уставший, что в голове его царил туман, и даже мечтавший, чтобы все заговорили по-испански… Вызванная долгой дорогой усталость брала свое, что верно свидетельствовало о предельном утомлении.

Несчетные часы, проведенные им на беговой дорожке, в

известной степени подготовили его к проведенному в дороге месяцу, однако новая встреча с Софией вымотала Сандоса до предела, и он совершенно не рассчитывал на то, что по возвращении его встретят люди, полные новостей и жаждущие его одобрения прямо с момента появления.

– Ну, хорошо, – сказал он наконец, решив, что выдержит еще несколько минут разговора. – Повторите еще раз…

– Я вижу здесь политически независимую территорию, – сказал Дэнни. – Жана'ата уже изолированы здесь – добраться до расположенного на юге правительства для официального решения любого вопроса будет довольно тяжело! Суукмель также считает, что это будет вполне работоспособный вариант. Она уговорила Шетри, и они отправились в путь, чтобы привлечь Атаанси и его сторонников…

«Черт, кто такой этот Атаанси?» – Эмилио вяло удивился. Должно быть, вид у него был дерьмовый, но опять-таки он всегда выглядел хуже некуда, и никто никогда не придавал этому никакого значения.

– Вы говорили об этом с Софией?

– Ну конечно! – воскликнул Джон, едва сдерживавший свою радость. – Несколько дней назад. Так что мы не сидели здесь сложа руки, пока вы там ходили…

– Она сказала, что поддержит идею, – сказал Дэнни, – однако решать будет парламент руна в Гайжуре. На это уйдет время, но…

– Сейчас проблема заключается в том, – проговорил Жосеба, – что надо известить ВаН'Жарри, что армия повернула назад и можно возвращаться домой. Нам следовало бы предусмотреть для этого какой-то сигнал, но никто не подумал об этом вовремя.

Появился Нико с двумя тарелками, полными земной еды, взятой из катера.

– Дон Эмилио, – вставил он. – Думаю, что вы можете сесть. Вы голодны?

Сандос отрицательно покачал головой, но все же опустился на табурет.

– …для того чтобы умножить свое число, им потребуется пища, – говорил Жосеба, – причем в обилии, однако область центральных равнин кишит мясными животными, и руна могут захотеть поставлять им мясо в обмен на кофе или на что-то еще. В конечном счете мы можем найти новый пригодный для одомашнивания вид. – Он даже не заметил, что начал думать в категориях «мы». – Жана'ата считают, что можно добиться того, чтобы *кха'ани* несли яйца круглый год.

– А до тех пор нам придется все время ходить на охоту за крупной добычей, – предположил Джон.

– Я тоже могу помочь с охотой, – предложил свои услуги Нико, не вполне понявший, о чем идет речь, но готовый услужить дону Эмилио и прочим священникам, тем более теперь, когда Карло собрался оставить их.

– Ну, я в этом нимало не сомневаюсь, Нико, – заявил Шон, – но тебе и Сандосу придется в конце концов вернуться домой.

У Нико от изумления отвалилась челюсть, воцарилась полная ожидания тишина. Сандос бросил на Шона резкий взгляд, а затем встал и отошел на несколько шагов в сторону. А потом повернулся к ним с невозмутимым лицом:

– Долог путь до Неаполя, Шон.

– Возможно и так, шеф, но мы уже оплатили Карло ваш обратный билет, – сказал Дэнни. – Мы условились, что он немного подождет, прежде чем стартовать домой. Вы полетите на дроне с последней партией местных товаров.

Джон улыбался во весь рот.

– Мы устроили так, что Франс попробовал глоток этого шампуня из *йасапы*. И Карло вдруг пересмотрел свои деловые планы. Это было удивительно, Эмилио. Дэнни выкроил ВаН'Жарри прекрасную сделку…

Потеряв всякую гибкость, Сандос покачал головой.

– Нет, – произнес он окончательным тоном. – Нико может вернуться домой, но я поручился перед Софией в том, что даю свою голову за жана'ата…

– Боже, она все сказала нам, – проговорил Шон. – Эта женщина чувствовала бы себя в Белфасте как дома! Жесткая, хоть и мелкая ростом, баба, но с ней можно вести дела. Роль козла отпущения, Сандос, я беру на себя, а вы летите домой и пытаетесь найти милую Джину и ее Селестину.

Молчание нарушил Дэнни.

– Вы закончили здесь все дела, шеф, – проговорил он ровным тоном. – Это решено.

– Но дело не только в этом, – добавил разволновавшийся Джон. – Рукуей попросился лететь на Землю вместе с тобой…

– Я попытался отговорить его от этой идеи, – сказал Жосеба. – Им сейчас нужны все брачные пары, однако, оказывается, его еще в детстве охолостили, так что…

Сбитый с толка Сандос нахмурился:

– Но зачем ему это…

– Почему нет? – Шон пожал плечами, не удивляясь новому примеру капризного своеволия. – Он говорит, что должен увидеть Землю собственным глазами.

Это было уж слишком.

– *No puedo pensar,* – пробормотал Эмилио. И, широко открыв

глаза, затряс головой. – Как хотите, а мне нужно поспать.

Дожидаясь Сандоса в хижине иноземцев, Рукуей Китхери расхаживал и расхаживал по клетушке, тщетно борясь с воображением, обремененный возможностью, словно беременная женщина, не знающая, кого родит.

– Улетай вместе с ними, – сказал ему Исаак. И Рукуей услышал в этих словах отголосок собственного желания.

Он боялся, что Сандос откажет ему. Все иноземцы возражали против его намерения, а Сандос более, чем кто-либо, имел причины ненавидеть жана'ата. Но теперь все изменилось, и Рукуей день за днем повторял просьбу, с которой он обратится к почти незнакомому ему человеку, которого уже и не надеялся понять.

Он скажет иноземцу: «Я обнаружил, что поэзия требует некоторой внутренней пустоты, как колокольчик не может зазвенеть без внутренней полости. Пустота ранних лет жизни моего отца создала резонанс его песням. Я ощутил в своем сердце его неугомонность и скрытое честолюбие. А в теле – буйное изобилие, почти сексуальный восторг творения».

Он скажет иноземцу: «Я научился тому, что душевная пустота может сделаться местом, где поселится Истина – даже если ей не будут рады, даже если Истина будет оболгана, если в ней будут сомневаться, если ее не будут понимать и станут открыто сопротивляться».

Он скажет иноземцу: «В пустоте моего сердца открылось место для чужой боли, но не только; я верю в то, что в нем найдется место для чего-то большего – для какой-то большей Истины, которую наследуем все мы, и хочу, чтобы она оросила меня!»

Тут он услышал шаги, увидел Сандоса, огибающего угол хижины, за ним остальных иноземцев, беседовавших о чем-то своем. Преградив иноземцу вход в хижину, Рукуей очертил дугу на перемешанной с галькой земле.

– Послушай меня, Сандос, – начал он, откинув назад голову жестом, предполагавшим вызов. – Я хочу вернуться вместе с тобой на С'емлю. Я хочу научиться вашей поэзии и, быть может, научить вас нашей…

Он умолк, заметив, что краски оставили лицо Сандоса.

– Дон Эмилио нуждается в отдыхе, – твердым тоном проговорил Нико. – Ты сможешь поговорить с ним завтра.

– Я в полном порядке, – произнес Сандос, хотя никто и не спрашивал о состоянии его здоровья. – В полном порядке, – подтвердил он еще раз. Тут колени его подогнулись.

– Это правильно? – осведомилась Кажпин, проходившая мимо с миской веточек в тот самый момент, когда Сандос рухнул на землю. Иноземцы только тупо смотрели на него, и потому она села поесть. Спустя какое-то время она сказала: – Мы обычно сначала ложимся, а потом засыпаем.

Что заставило всех очнуться – кроме Сандоса.

За обмороком без перерыва последовал сон, превратившийся почти в кому, став платой за проведенные в дороге недели, за месяцы предельного напряжения сил, за годы мучений и боли. Он проспал весь тот день и даже часть вечера и проснулся в освещенной одними звездами тьме.

И сразу подумал: «Как странно, музыка никогда еще не снилась мне». Но потом, прислушавшись, понял, что слышит эти звуки не во сне, а наяву, и притом они не имеют никакого подобия в его памяти ни на Ракхате, ни на Земле.

Сандос бесшумно поднялся и, переступая и обходя фигуры спящих, Нико и священников, выбрался под открытое небо, в тихий и спокойный ночной воздух, а потом направился на сверхъестественный звук между каменных стенок домов, освещенных лишь мерцанием звезд Млечного Пути и светом лун. Следуя своей путеводной нити, он вышел на край деревни, к потрепанному шатру. Внутри находился Исаак, согнувшийся практически пополам над древним компьютерным планшетом, поглощенный своей работой, преображенный бессловесной гармонией, столь же невесомой и математически точной, словно снежинки, но обладающей удивительной силой, сразу сокрушающей своей мощью и возвышенной. Это было, подумал Эмилио Сандос, как «при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости»[73], – и когда музыка смолкла, он уже не хотел ничего иного, как услышать ее снова…

– Не мешай. Таково правило, – отрывисто произнес Исаак, и голос его посреди этой ночи казался столь же громким, пресным и некрасивым, сколь целомудренно мелодичной и полной тонких нюансов была только что прозвучавшая музыка. – Руна доводят меня до безумия.

– Да, – согласился Эмилио, когда Исаак смолк. – Они и меня подчас сводят с ума.

Исаак не обратил внимания на его слова.

– Каждый аутист – это своего рода эксперимент, – объявил он своим бесцветным и блеющим голосом. – Никого подобного мне нигде не существует.

Занявшись созерцанием очередной комбинации из своих пальцев, он коротко посмотрел на Сандоса. Не зная, что сказать,

Эмилио произнес:

– Наверное, ты одинок, Исаак?

– Нет. Я таков, какой есть. – Ответ прозвучал уверенно, пусть и бесстрастно. – Я могу почувствовать себя одиноким не более, чем могу вырастить себе хвост. – Исаак забарабанил пальцами по гладкой коже над бородой. – Я знаю, почему люди прилетели сюда, – проговорил он. – Вы прилетели потому, что искали музыку.

Стук замедлился, а потом вовсе прекратился.

– Да, это так, – подтвердил Эмилио, подчиняясь заданному Исааком ритму: словесный импульс продолжительностью в три секунды, а потом пауза в тридцать секунд перед следующим. Более длинная пауза означала: «твоя очередь говорить».

– Мы прилетели сюда из-за песен Хлавина Китхери.

– Не из-за них. – Постукивание возобновилось. – Я умею запоминать всю последовательность ДНК в виде музыки. Ты понимаешь это?

«Нет», – подумал Эмилио, ощущая собственную тупость.

– Значит, ты альтернативно одарен таким умением, – предположил он, пытаясь понять собеседника.

Подняв руку, Исаак начал расправлять прядь волос, снова и снова закручивая эту путаную «веревку» пальцами.

– Я думаю музыкой, – проговорил он наконец.

– Значит, эта музыка была одним из твоих произведений? Это… – Эмилио помедлил. – Это славная музыка, Исаак.

– Я не сочинял ее. Я нашел ее. – Исаак повернулся и с видимым усилием заставил себя целую секунду смотреть в глаза Эмилио, прежде чем разорвать контакт.

– Аденин, цитозин, гуанин, тимин: четыре основания. – Пауза. – Я назначил каждому основанию по три ноты, по одной для каждого вида разумных существ. Двенадцать тонов.

Последовало более продолжительное молчание, и Эмилио понял, что от него ждут вывода. Откуда-то из глубин пришла догадка:

– Так, значит, эта музыка связана с твоими мыслями о ДНК?

Слова пролились потоком:

– Это ДНК людей, жана'ата и руна, проигранная одновременно. – Исаак умолк, собираясь с мыслями. – Существенная часть этой музыки звучит в диссонансе. – Пауза. – Я вспомнил гармоничные части. – Пауза.

– Ты понял? – потребовал ответа Исаак, ошибочно истолковав молчание ошеломленного Сандоса как тупость. – Это музыка Бога. Вы прилетели сюда для того, чтобы я нашел ее. – Слова эти Исаак произнес без смущения, гордости и удивления, как

простой, с его точки зрения, факт. – Я думал, что Бог – это просто сказка, нравившаяся Хэ'энале. Но эта музыка ждала меня.

Прядь его распрямлялась и закручивалась обратно, снова и снова.

– Но без всех трех последовательностей ничего хорошего не получается. – И снова быстрый косой взгляд голубых глаз, так похожих на глаза Джимми. – Никто, кроме меня, не сумел бы найти. Никто, – настойчивым и плоским тоном повторил Исаак. – Теперь ты понимаешь?

Ошеломленный, Эмилио думал: *«Значит, Бог неотступно присутствовал здесь, а я этого не понял».*

– Да, – не сразу проговорил он. – Кажется, я понял теперь. Спасибо тебе.

И явилась немота. Не экстаз, не океан безмятежной ясности, посещавший его когда-то, целую жизнь назад. Просто немота. Наконец сумев заговорить, он спросил:

– Могу ли я поделиться этой музыкой с остальными, Исаак?

– Конечно. В этом весь смысл.

Зевнув, Исаак передал Эмилио планшет.

– Будь осторожен с ним, – сказал он.

Покинув палатку Исаака, он долго стоял в одиночестве, не отводя глаз от неба. Погода на Ракхате всегда самым отвратительным образом непостоянна, и Млечный Путь уступал облакам власть над небом, однако он знал, что, когда прояснится, может посмотреть вверх и без усилий распознать знакомые очертания. Орион, Медведицы, Большая и Малая, Плеяды – случайные очертания, которые люди усмотрели в произвольно разбросанных по небу светящихся точках.

– Надо же: а созвездия здесь точно такие же! – воскликнул он многие годы назад, когда вместе с отцом Исаака впервые увидал звездное небо этой планеты. – Но разве могут не изменяться очертания созвездий?

– Это большая галактика в большой Вселенной, – сказал тогда молодой астроном, улыбаясь неведению лингвиста. – Улетев от Земли всего на четыре и три десятых светового года, мы не видим заметной разницы в расположении звезд. Чтобы заметить ее, нужно улететь много дальше.

«Нет, Джимми, – думал теперь, глядя наверх, Эмилио Сандос. – Этого оказалось достаточно. Каков отец, таков и сын», – подумал он, осознавая, что Джимми Куинн, как и его необычайный сын, открыв неземную музыку, навсегда изменил его личную перспективу. И он был доволен и благодарен им за это.

Первым Эмилио разбудил Джона, и вместе они вышли за край селения, где можно было послушать музыку в уединении; где можно поговорить с глазу на глаз, где Эмилио мог следить за лицом своего друга и видеть на нем отражение собственного изумленного благоговения.

– Боже мой, – выдохнул Джон, когда смолкли последние ноты. – Так вот, значит, зачем…

– Возможно, – проговорил Эмилио. – Не знаю, но тоже так думаю. Да. Думаю, да.

«Ex corde volo, – подумал он. – От всего сердца я хочу, чтобы было именно так…»

Они снова послушали музыку, а затем какое-то время просто внимали ночной тишине Ракхата, так похожей на земную: шелесту листвы под ветерком, писку и шуршанию в ближних кустах, далекому уханью местного филина, негромкому шороху крыльев над головой.

– Когда-то, много лет назад, как раз перед тем, как Джимми Куинн перехватил первый фрагмент музыки Ракхата, – проговорил Эмилио, – мне попалось одно стихотворение:

Не виден путь мой, небеса пусты, Свет звезд сокрыт за мрачной пеленой; Пуст воздух, в нем не шепчет глас живой – Все стихло, лишь едва из темноты Тень звука, отголосок чистоты – Забытой песни, светлой и родной, Что пальцы ангелов сплели в венок[74].

– Да, – негромко проговорил Джон. – Прямо про нас. А кто написал?

– Эдвард Арлингтон Робинсон, – проговорил Эмилио. – Называется «Credo».

– Credo, то есть «Верую», – повторил, улыбаясь, Джон, с чистой душой и чистым взглядом откидываясь назад, сомкнув на колене ладони. – А скажи мне, доктор Сандос, это только название стихотворения или истинный символ веры?

Эмилио посмотрел вниз, посеребренные сединой волосы свалились ему на глаза. Усмехнувшись, он покачал головой.

– Господи, помоги, – произнес он наконец. – Боюсь сказать… а знаешь, наверное, и то и другое.

– Хорошо, – сказал Джон. – Приятно слышать.

Они помолчали какое-то время, погрузившись каждый в собственные думы, но Джон вдруг распрямился, пораженный внезапно пришедшей мыслью:

– В книге Исход есть один отрывок, Бог говорит Моисею: «Лица моего не можно тебе увидеть… но Я покрою тебя рукой Моею, доколе не пройду, и когда отниму руку Мою, ты увидишь

меня сзади…» Помнишь?

Эмилио кивнул, слушая.

– Ну, я всегда видел в этом физическую метафору, – проговорил Джон, – но, знаешь, теперь мне кажется, что речь тут, наверное, о времени. Быть может, Бог таким образом говорит, что нам никогда не удастся сразу понять Его намерения, однако по прошествии времени… мы все поймем. Мы увидим место, где Он был, то есть увидим его спину.

Эмилио невозмутимо смотрел на него.

– Ну, брат моего сердца, – проговорил он наконец. – Скажи, где бы я был сейчас без тебя?

Джон улыбнулся, не скрывая приязни.

– Должно быть, валялся бы мертвецки пьяным в каком-нибудь баре? – предположил он.

– Или уже на том свете. – Эмилио отвернулся, моргая, но когда овладел собой, заговорил ровным голосом: – Твоя дружба в моих глазах является достаточным доказательством существования Бога. Спасибо тебе, Джон. За все.

Джон кивнул раз, а потом другой, словно подтверждая что-то.

– Пойду будить наших, – сказал он.

Кода
Земля

2096 год

Радиоволны снова понесли на Землю музыку Ракхата, и Эмилио Сандоса вновь опередили новости, которые изменят его жизнь.

Задолго до того, как он явился домой, реакция на ДНК-музыку успела принять устоявшиеся формы.

Верующие усматривали в ней чудесное подтверждение бытия Божия и доказательство Божественного Провидения. Скептики называли обманом – ловким трюком, задуманным иезуитами для того, чтобы отвлечь внимание общества от своих предшествовавших неудач. Атеисты в подлинности музыки не сомневались, однако видели в ней ничего не доказывающую случайность – подобную самой Вселенной. Агностики находили музыку великолепной, однако мнения не высказывали, ожидая невесть чего.

Образец был исполнен на Синае и под деревом Будды, на Голгофе и в Мекке; в священных пещерах, у животворящих источников и среди каменных кругов.

Знаки и чудеса всегда подвергались сомнению, и, быть может, они предназначены именно для этого. Когда нет уверенности, вера становится чем-то большим, чем обыкновенное мнение, – надеждой.

Эмилио и сам когда-то читал об удивительном человеке, жившем в Лесото, запомнившем названия всех улиц всех городов Африки. И если такой человек преобразит все эти названия в ноты, сумеет ли он каким-то образом обрести гармонию в адресах? Быть может – если получит достаточно материала, времени и не найдет для себя более интересное занятие. И если такое случится, спрашивал себя Эмилио во время долгого пути домой, станет ли такая музыка менее прекрасной?

В конце концов, как лингвист, он вполне мог допустить, что религия, литература, изобразительное искусство и музыка являются всего лишь побочными эффектами деятельности некой существующей в мозгу структуры, приходящей в мир готовой для того, чтобы извлекать язык из шума, порядок из хаоса. «Наша способность к извлечению смысла запрограммирована так, чтобы раскрываться, как крылья бабочки, выползающей из куколки уже готовой к полету. Сама биология заставляет нас производить смыслы. А если так, – спросил он себя, – умаляет ли она чудо?»

В это время он ощутил, что оказывается совсем рядом с молитвой. «Какова бы ни была истина, – думал он, – да будет она благословенна».

И когда «*Джордано Бруно*» преодолел почти половину пути домой, Нико заметил, что кошмары престали сниться дону Эмилио.

Примерно за шесть месяцев относительного времени до прибытия на Землю Эмилио Сандос полностью сконцентрировал свое внимание на обучении Рукуея английскому языку, стараясь приготовить поэта к тому, что могло ожидать его на Земле. Занятия с ним помогали и самому Эмилио, ему было интересно поставить свой опыт на службу столь чуждому существу. Время поджимало, и Эмилио отказывался слушать перехваченные Франсом передачи с Ракхата, не обращал внимания на ответы Земли. Все будет хорошо, сказал он себе самому, а Вселенная пусть сама позаботится о себе, пока он вкладывает свои силы в одаренного и старательного ученика. Так что, когда Франс Вандерхельст в конце концов причалил «*Бруно*» к орбитальному отелю «Шимацу» над просторами Тихого океана, Эмилио Сандос во многом считал себя вышедшим на покой и поэтому был абсолютно не готов к собственной реакции на письмо, ждавшее его почти четыре десятилетия.

Написанное собственной рукой Джулиани на прекрасной, произведенной из тряпья бумаге, не способной раскрошиться за сорок лет его вынужденного отсутствия, короткое послание гласило:

Мне очень и очень жаль, Эмилио. И все же не стану опускаться до извинения негодяя: дескать, у меня не было другого выхода. Я всего лишь положился на принцип, гласящий: легче молить о прощении, чем спрашивать разрешения. И так как я верю в Бога, то не сомневаюсь в том, что тебе удалось узнать нечто ценное в этом своем путешествии. *Pax Christi*[75].

Винс Джулиани

Средних лет иезуит, вручивший Сандосу это послание, не знал его содержания, однако знал автора и обстоятельства, при которых оно было написано, и потому вполне мог представить себе, что именно сказал в нем давно почивший отец-генерал.

– Так все-таки это ты первым дернул за цепь, проклятый сукин сын! – воскликнул Сандос, подтверждая предположение иезуита. Остальная часть комментария была произнесена от души и при великолепном сочетании красочных эпитетов из нескольких

языков. Завершив свою инвективу, Сандос остался стоять в обтекаемой формы воздушном шлюзе с запиской в пальцах ортеза, опустив обе руки, обмякнув после перенесенного порыва негодования.

– А вы-то кто, прости господи? – осведомился он на английском.

– Патрас Яламбер Таманг, – ответил священник и продолжил на великолепном испанском: – Сам я родом из провинции Непал, однако до недавнего времени преподавал в Колумбии, в Эль Институто Сан Педро Аррупе. В последние пять лет я работал координатором миссии на Ракхат, работал с правительствами, интернациональными агентствами и рядом спонсорских корпораций, чтобы должным образом принять мистера Китхери. И, конечно же, общество будет радо оказать вам любую помощь, которую вам будет угодно принять от нас.

До сих пор полыхавший гневом Сандос тем не менее выслушал рассказ Таманга о шагах, предпринимавшихся ради удобств Рукуея и возвращавшихся домой Сандоса и экипажа «*Джордано Бруно*». Персонал отеля укомплектовали прошедшими тщательный отбор и интенсивное обучение волонтерами, изучавшими историю экспедиций Общества Иисуса на Ракхат и в какой-то мере говорившими на к'сан. Бригада медиков уже была готова приступить к своим обязанностям; путешественникам предстояло пробыть несколько месяцев в карантине, однако для них зарезервировали весь отель, причем в весьма комфортных и разнообразных условиях. В самой середине гостиницы, возле микрогравитационного стадиона, был выделен особый номер для Франса Вандерхельста, где он мог не страдать от одышки. Специалисты эндокринологи ожидали его прибытия; они питали известную надежду на то, что сумеют исправить генетическое повреждение, нарушившее метаболизм его организма. Привезенный Карло Джулиани груз, конечно же, был арестован и ожидал решения таможенных властей. Задержали и самого Джулиани – ему предстояло уладить целый комплекс сложных с юридической точки зрения вопросов, среди которых важное место занимали аспекты намерений Сандоса в отношении его похищения. Старшая сестра синьора Джулиани была извещена о возвращении брата, однако не торопилась с официальным приемом.

С Ракхата приходили самые разные новости. Атаанси Лаакса отстранили от власти, однако его последователи до сих пор отказывались согласиться на жизнь в резервации; Дэнни Железный Конь симпатизировал им, однако продолжал настаивать на переговорах. В 2084 году Н'Жарр посетила какая-то

эпидемия, но теперь жана'ата питались лучше, и смертность оказалась не так высока, как это ожидалась вначале. Джон Кандотти написал о кончине Софии. Шетри Лаакс благоденствовал и женился еще раз. Еще два сына присоединились к тому, которому помог родиться Эмилио, – уже взрослому и отцу одного ребенка. Вторая жена Шетри снова была в положении; они ждали на сей раз девочку. Согласно последней проведенной Шоном переписи, жана'ата теперь насчитывалось почти двадцать шесть сотен душ. Жосеба добавил к переписи анализ, показавший, что если рождаемость, смертность и прочие параметры останутся стабильными, этой цифры хватит для сохранения вида. В год переписи к ВаН'Жарри присоединились еще сорок руна, не просто уравновесив тем самым количество умерших своего вида, но продемонстрировав заметный прирост переселенцев по сравнению с недавними годами.

– А Суукмель еще жива? – спросил Эмилио, понимая, что Рукуей в первую очередь задаст ему именно этот вопрос.

– Да, – ответил Патрас, – во всяком случае, была жива четыре года назад.

– А как сейчас там обстоят дела с музыкой… на Ракхате?

– Спорят о том, нужно ли добавлять к музыке текст, – сообщил ему Патрас. – На мой взгляд, результат предрешен.

– А Исаака спросили?

– Да. Он сказал: с этим обращайтесь к Рукуею. Исаак теперь изучает архивные файлы по южноамериканским нематодам, – сухо проговорил Патрас. – Никто не знает, зачем это ему понадобилось.

Сандос задал еще несколько вопросов, получил столь же подробные ответы и согласился с тем, что ситуация находится под полным контролем.

– Благодарю вас, – сказал обрадованный одобрением Патрас, по правде сказать трудившийся до изнеможения ради того, чтобы привести все в порядок. – Позвольте мне показать вам комнаты, которые мы приготовили для мистера Китхери, – проговорил он и первым отправился с ним по тороидальному коридору.

– Как только вы слегка отдохнете, мать-генерал готова поговорить с вами…

– Простите? – переспросил Сандос, замирая на месте. – Как это – мать-генерал? – Он фыркнул. – Вы шутите…

Патрас, уже прошедший несколько шагов по коридору, повернулся и вопросительно поднял брови.

– Что-то случилось?

Сандос смотрел на него, не веря своим ушам.

– Ну, по правде сказать, да, я пошутил, – промолвил Патрас,

восхищенный тем, что Сандос расхохотался.

– Ну, знаете ли, дразнить стариков некрасиво, – сказал ему Эмилио, когда они продолжили путь. – И сколько же вам пришлось ждать для того, чтобы воспользоваться этой цитатой?

– Пятнадцать лет. Я писал докторскую диссертацию по заданию Университета имени Ганеша Манн Сингхау – по истории миссии, с упором на Ракхат. Темой ее были вы.

И следующие несколько часов они сконцентрировали все свое внимание на процессе знакомства Рукуея с новыми компаньонами и новой обстановкой. За делами личные интересы пришлось отложить в сторону, однако уже перед концом того длинного первого дня Эмилио Сандос сказал Патрасу Яламберу Тамангу:

– Была такая женщина…

Отправили запросы, обыскали базы данных. Джина, очевидно, вышла замуж, изменила фамилию; избегала появляться на людях и вела самый уединенный образ жизни, какой только можно было купить на ее деньги и вынудила соблюдать чужая вина. Оказалось чрезвычайно сложно найти даже минимальные документальные упоминания о ней.

– Мне очень и очень жаль, – сказал ему Патрас через несколько недель. – Она скончалась в прошлом году.

Ариана Фиоре всегда обожала День Всех Святых. Ей нравилось кладбище, уютное и прямолинейное, нравились его чисто выметенные, мощенные камнем дорожки между рядами каменных стенок с погребальными нишами – островок благодати посреди неапольского шума. Сами ниши, устроенные в шесть рядов, к первому ноября сверкали чистотой и под золотыми лучами осеннего солнца, и под серебряной пеленой дождя. Будучи археологом, она привыкла к обществу мертвых и чтила этот порядок, наслаждаясь притом острым запахом хризантем в сочетании с прелой листвой.

Некоторые из ячеек не могли похвалиться особым убранством: возле полированной медной пластины с указанием имени почившего и дат его жизни на какое-то время после смерти выставляли крошечные светильники. Богатые и гордые часто добавляли к этому небольшой экран, включавшийся прикосновением, и Ариане нравилось бродить между рядами, знакомясь с усопшими, выслушивая рассказы об их жизнях, однако она противилась порыву. Со всех сторон до нее доносились негромкие голоса и хруст мелкого гравия под ногами. Время от времени до слуха ее доносилось очередное *poveretto*[76], произносимое с печальным вздохом и опущением цветов в небольшую вазочку при ячейке. Здесь молчаливо признавались

старые привязанности, обязанности, обиды и долги, признавались и отправлялись в долгий ящик на следующий год.

Взрослые сплетничали, дети шалили. Здесь царил дух случайности и соблюдения приличий, так нравившийся Ариане, но кладбище все же не место для проявления откровенного горя.

И поэтому она сразу заметила мужчину, сидевшего на скамейке перед доской Джины, уронив на колени руки в перчатках. Лишь один он на всем кладбище открыто плакал в этот прохладный и солнечный день, слезы скользили по его безмолвному лицу.

Она не имела никакого желания навязывать свое общество этому незнакомцу, она даже не была уверена в том, что он придет в этот день. Первые месяцы его пребывания в карантине представляли собой цирк, вихрь проявлений общественного интереса и приватных приемов – на счету был каждый момент. Ариана долго ждала, однако она была терпелива по натуре. И вот он здесь.

– *Padre?* – проговорила она негромким, но уверенным голосом.

Замкнувшийся в своем горе старик даже не посмотрел на нее.

– Я не священник, мадам, – произнес он сухим голосом, одолевая слезы, – и никому не отец.

– Посмотрите внимательнее, – посоветовала она.

Посмотрев, Эмилио увидел перед собой темноволосую женщину, стоявшую позади детской коляски, сын ее был еще настолько мал, что спал на боку, свернувшись клубком в память о материнском чреве. В последующем молчании он внимательно вглядывался в ее лицо, расплывавшееся и растворявшееся в невысохших слезах, – сложную амальгаму Старого Света и Нового, живых и мертвых. Он рассмеялся, всхлипнул и снова рассмеялся от удивления.

– У тебя улыбка матери, – произнес он наконец, и она от души улыбнулась. – И, боюсь, мой нос. Прости за это.

– Мне нравится мой нос! – вознегодовала она. – И твои глаза. *Мамма* всегда говорила мне, когда я сердилась: «У тебя глаза твоего папы!»

Он рассмеялся, не зная, как правильно реагировать на эти слова.

– И ты часто сердилась на нее?

– Нет, едва ли. Ну, каждому случается рассердиться.

Приняв официальную позу, она произнесла:

– Меня зовут Ариана Фиоре. А вы, как я поняла, Эмилио Сандос?

Теперь он искренне хохотал, забыв про слезы.

– Не верю, не верю собственным глазам, – проговорил он, качая головой. – Просто не могу поверить!

Еще не окончательно овладев собой, он огляделся по сторонам, подвинулся и сказал:

– Пожалуйста, садись. Ты часто приходишь сюда? Послушай! Наверное, со стороны может показаться, что я хочу пригласить тебя в бар! А бары у вас по-прежнему есть?

Они говорили и говорили, полуденное солнце обливало их лица своим золотом. Ариана в самых общих чертах информировала отца о том, что происходило во время его вынужденного отсутствия.

– Селестина работает главным художником сцены в театре Сан Карло, – сказала она. – Пока что она побывала замужем всего четыре раза…

– Четыре раза? Боже мой! – спросил Эмилио, от души удивляясь. – Разве ей не приходило в голову, что аренда всегда выгоднее покупки?

– Именно это я всегда говорила ей! – воскликнула Ариана, которой уже казалось, что человека этого она знает всю свою жизнь. – По правде сказать, – проговорила она, – мне кажется, что она просто успевает расстаться с ними раньше…

– …Чем они успевают бросить ее, – закончил он за Ариану.

Та скривилась, но призналась:

– Такая уж она у нас королева драмы! Ей-богу, она выходит замуж, потому что ей нравятся свадьбы. Видел бы ты, какие приемы она закатывает по таким случаям! Впрочем, наверное, скоро увидишь – она сейчас находится на гастролях с оперной труппой, и такие поездки обыкновенно не сулят ничего хорошего ее очередному мужу. Вот на нашей с Джанпаоло свадьбе присутствовали пятеро друзей и чиновник от магистрата – но через десять лет, в прошлом году, мы действительно с шумом отпраздновали десятую годовщину!

Потревоженный смехом и разговорами, младенец потянулся и пискнул. Умолкнув, они в тишине и покое ожидали, что будет дальше. Когда стало понятно, что ребенок, скорее всего, не проснется, Ариана снова заговорила, на сей раз очень тихо:

– Я забеременела как раз после смерти мамы. Помнишь, что у нас говорят на Новый год?

– *Buonfine, buon principio*, – проговорил Эмилио. – Доброго конца и хорошего начала.

– Да. Я надеялась на то, что родится девочка. То есть получится, как если мама ушла и вернулась. – Она улыбнулась, пожала плечами, прикоснулась к пухлой, покрытой младенческим пушком щечке. – Его зовут Томмазо.

– А как умерла твоя мама? – спросил он наконец.

– Ну, ты знаешь, что она была медсестрой. И когда я пошла в школу, она пошла на работу. Ты прекрасно обеспечил нас, но она хотела приносить пользу.

Эмилио кивнул со спокойным лицом.

– В общем, началась эпидемия – возбудитель до сих пор не найден, хотя болезнь теперь распространилась по всему миру. По какой-то причине наиболее серьезно пострадали от нее немолодые женщины. Ее даже называли в Неаполе «болезнью бабушек», потому что она погубила очень много женщин старшего возраста. Последняя ее осмысленная фраза была такой: «Богу придется многое объяснить мне».

Утерев глаза рукавом плаща, Эмилио рассмеялся:

– Это истинно в стиле Джины.

Потом они долгое время молчали, слушая птичий щебет и разговоры вокруг.

– Конечно, – произнесла наконец Ариана, как если разговор не прерывался, – Бог объяснений не дает. И когда жизнь разбивает вдребезги твое сердце, тебе остается только замести осколки и начать все сначала, так?

Она посмотрела на Томмазо, мирно спавшего в своей коляске. Ощутив необходимость утешения в прикосновении к его теплому тельцу, она наклонилась и осторожно вынула ребенка, поддерживая одной рукой покрытый персиковым пушком затылок, а другой – крохотную попку.

После чего улыбнулась отцу и спросила:

– Хочешь подержать своего внука?

«Снова дети и младенцы, – подумал он. – *Только не это»*.

Однако отказаться не было сил. Посмотрев на свою нежданную дочь и на ее крошечного малыша – такого молочного, морщившегося в не знающем сновидений сне, – он нашел для них место в многолюдном некрополе своего сердца.

– Да, – произнес он наконец, удивленный, покорный и чем-то довольный. – Да. Я очень хочу этого.

Благодарности

Хочу еще раз представить вам несколько моих источников.

Понимание Джоном Кандотти Исхода 33:17–23 взято из Хатам Софер (цитируется по книге Лоуренса Кушнера «Искры под поверхностью»).

Генетик Сусуму Оно в реальной жизни преобразовал генетический код слизи, плесени и мышей в ноты; результаты, как сообщается, чем-то напоминают Баха, хотя гармония в последовательностях еще не обнаружена.

Необыкновенные автобиографии Темпл Грандин и Донны Уильямс были окном в аутизм, как и искренняя и прекрасная книга «Осада» Клары Клэйборн Парк.

Стихотворение, припев которого «Мясо непокорное…», «Контратака» Владислава Шленгеля, цитируется в книге Адины Блады-Швайгер «Ничего больше не помни».

Шон Фейн, как и я, узнал всю нашу химию от Бетти Каплан и из «Воды, льда и камня» Билла Грина, чья проза столь же прозрачно прекрасна, как и Антарктические озера, которые он изучает.

Когда я писала, у меня в голове часто звучали две песни: «Свидетельство» Робби Робертсона и «Beim Schlafengehn» Рихарда Штрауса.

Мора Кирби присутствовала при написании этой книги. Кейт Суини и Дженнифер Такер ежедневно помогали мне во время ее создания и были рядом; они научили меня быть жесткой.

Мэри Дьюинг не только учила меня писать, она также научила меня (и Нико) ценить оперу.

Дэвид Кеннеди, Айтор Эстебан и Роберто Марино помогли с Белфастским английским, эускарским и неаполитанским итальянским.

Моя инстинктивная реакция на критику – прятаться за печью и сосать большой палец; тем не менее следующие люди рассказали, что мне нужно было знать о ранних версиях этой книги, и каждый из них посоветовал, как улучшить ее: Рэй Бако, Мириам Годерих, Томаш и Мария Рыбак, Вивиан Сингер, Марти Коннелл, Элли Д'Аддио, Ричард Дориа – старший, Луиза Дьюинг Дориа, Род Тулонен, Кен Фостер, Кэти Колоннес, Паула Санч, Джудит Рот, Лесли Турек, Делия Шерман и Кевин Баллард.

Одним из огромных и непреходящих преимуществ написания «Птицы малой» была дружба, предложенная мне многими членами Общества Иисуса. Я надеюсь, они простят меня за похищение в этой книге. Винс Джулиани и я знали, что это

паршивый поступок, но мы просто не могли придумать другого способа, чтобы Эмилио вернулся на Ракхат!

Никто не мог бы найти агента более находчивого и хитрого, чем Джейн Дистель, и я так рада, что ее соратница Мириам Годерих уговорила ее взглянуть на «Птицу». Леона Невлер и Дэвид Розенталь совершили первоначальный прыжок веры, благодаря которому стало возможным появление этой книги и «Птицы малой», и я всегда буду им благодарна.

Сотрудники издательства Villard and Ballantine были замечательными, но особая благодарность Брайану Маклендону, чье искусство публициста сочетается с его юмором и стилем, Мэрисью Руччи – за виртуозную редактуру и Деннису Эмброузу – за его жизнерадостное терпение в ожидании последних правок.

Спасибо также продавцам в Random House и в книжных магазинах, продававшим «Птицу», и многим читателям, которые любезно сообщили мне о своей радости оттого, что я отошла от антропологии и взялась за фантастику.

Я знаю, сколь многим я вам всем обязана, и надеюсь, что «Дети Божии» оправдали ваши ожидания.

Наконец, безмерная любовь и благодарность Дону и Даниэлю – моим самым лучшим мужу и сыну, чья поддержка, любовь, терпение и смех питают мою душу. Спасибо, ребята.

Мэри Дориа Рассел

notes

Примечания

1

Дорогая *(итал.)*.

«Пока» и «удачи» (*итал.*).

3

Прошу прощения? *(итал.)*

Что и требовалось доказать *(лат.)*.

5

Дене, или на-дене, – семейство индейских языков Северной Америки, объединяющее атабаскский, тлинкитский и эякский языки.

Во славу Господню *(лат.)*.

Покоящимся с миром *(лат.)*.

8

В Ветхом Завете Иеффай – военачальник и девятый из судей израильских, временем его деятельности считается XII век до нашей эры.

9

Додот – народ, живущий на северо-востоке Уганды.

10

Плач Иеремии, глава 3.

11

Книга Исход, 20:19.

12

Угорь под соусом.

13

«Слеза Христова», сладкое ликерное красное вино.

14

Тортик *(итал.)*.

15

Церковь вечно реформируется! *(лат.)*

16

По всей видимости, имеется в виду Маршалл Салинс (1930–2021) – американский антрополог, член национальной Академии наук.

17

«И сказал Господь Моисею: Разве рука Господня коротка? Ныне ты увидишь, сбудется слово Мое тебе или нет?»

Не путать с цветом ликера шартрез.

19

Большая шишка *(исп.)*.

20

Чокто – один из коренных народов США

21

Блэк-Хилс (Черные холмы) – горы, расположенные в северной части Великих равнин на Среднем Западе США, в юго-западной части штата Южная Дакота и северо-восточной части штата Вайоминг. Название Блэк-Хилс дали индейцы лакота, на их языке Паха-Сапа – «черный холм». Являются святыней для индейских племен лакота и шайеннов.

22

«Шинн Фейн» – национальная ирландская организация, занимавшаяся террористической деятельностью.

23

Прещение – традиционный в Русской церкви общий термин для обозначения того или иного церковного дисциплинарного наказания, предусмотренного церковным правом Православной церкви. *(Прим. ред.)*

24

Гран-Титоны – две напоминающие женские груди горы, расположенные в штате Вайоминг, США.

25

Простите, синьора *(итал.)*.

26

Персонаж низшей мифологии у итальянцев, бродящий по земле ночью в Крещенский сочельник в облике старухи или иногда молодой женщины. Представляет собой своеобразный итальянский аналог Санта-Клауса, хотя визуально схожа с ним только пожилым возрастом. Однако функции обоих персонажей почти идентичны. Ла Бефана – именно так называется в Италии праздник Епифании, он же день Богоявления (Крещения), которым заканчиваются Святки.

27

Полдень *(итал.)*.

28

Сорт сыра *(итал.)*.

29

Джон Донн. Ноктюрн в день св. Люсии.

Ч.Т.Д. – что и требовалось доказать

31

Пи́джин – упрощенный язык, который развивается как средство общения между двумя или более этническими группами, говорящими на неродственных и/или взаимно непонятных языках, но вынужденных более или менее регулярно контактировать друг с другом в силу тех или иных объективных потребностей.

32

Гиллель – наиболее значительный из законоучителей эпохи Второго Храма; основатель фарисейской школы, называвшейся по его имени «Бет-Гиллель».

33

На самом деле Джордано Бруно сожгли не за научные идеи, а как шарлатана, еретика и мага. *(Прим. пер.)*

34

Джеза Нуово – базилика Нового Иисуса, один из красивейших храмов Неаполя.

35

Книга Руфи, 1:16, 17.

36

«Да, никто не спит…» – ария из последнего акта оперы «Турандот» Джакомо Пуччини, одна из самых известных и сложных арий тенорового репертуара.

37

«Меня защищает, меня охраняет сила сильнее…» – каватина Поллиона из оперы «Норма».

38

Педро Аррупе – двадцать восьмой генерал Общества Иисуса и десятый после его восстановления в 1814 году.

39

Кристофер Марло. «Трагическая история доктора Фауста». Пер. Е. Бируковой.

40

Окажите любезность… можно нам минутку наедине? *(итал.)*

41

Хороший пацан… *(итал.)*

42

Каччиаторе – распространенное в США блюдо итальянской кухни: мясо, тушенное в оливковом масле с томатами, грибами, зеленым перцем, луком и специями.

43

Мартелло – береговое оборонительное сооружение в виде круглой башни; ряд таких башен был построен в 1803 году на юго-восточном побережье Англии в связи с возможным вторжением наполеоновских войск.

Респонсум – ответ *(лат.)*.

45

ETA – Euscadi ta Ascatasuna, экстремистская группировка «Баскская родина и свобода», прекратившая активную деятельность в 2018 году.

46

Френсис Хавьер – иначе св. Франциск Ксаверий, 1506–1552, католический святой, миссионер, чудотворец.

47

«Та женщина или эта» *(итал.)*.

48

«Черный лес» («Шварцвальд») – знаменитый на весь мир торт; бисквитные шоколадные коржи пропитываются киршвассером.

49

Пари Паскаля – аргумент в пользу существования Бога и выгоды веры в Него для человека.

50

Пьер-Жан де Смет (1801–1873) – бельгийский иезуит, миссионер.

51

Сверхъестественный женский символ, центральный для верований лакота.

52

Отсылка к книге Дэвида Лоуэнталя «Прошлое – чужая страна».

53

Автором этого афоризма является Джон Эммерих Эдвард Дальберг-Актон, первый барон Актон, английский историк и политик.

54

Чарльз Лоутон (1899–1962) – британский и американский актер и режиссер театра и кино.

55

Джеймс Ловелл (род. 1928) – американский астронавт. Был участником программы «Аполло», участвовал в первой удачной высадке, оставаясь на орбите; летал к Луне еще раз, но так и не высадился на ее поверхность.

56

Пробирный камень – небольшой брусок темного камня, такого как слабометаморфизированный, тонкозернистый, углистый, кремнистый сланец, который используется для определения пробы благородных металлов. Он имеет мелкозернистую поверхность, на которой мягкие металлы, в частности золото, оставляют видимые следы.

57

Эдгардо Мортара (1851–1940) – католический священник еврейского происхождения. В шесть лет был отобран у родителей и воспитан в христианской вере при покровительстве папы Пия IX (графа Мастаи), крупного деятеля Католической церкви, канонизированного Иоанном-Павлом II в лике блаженных. Дело Мортары имело существенный общественный резонанс.

58

Уильям Грин Младший (род. в 1963) – работал в Массачусетском технологическом институте, занимался изучением временной эволюции химических реакций.

59

Импасто – манера писать картины толстыми слоями красок.

60

Ду-воп – вокальный поджанр ритм-н-блюза, представляющий собой гармоничное пение с минимальным музыкальным сопровождением.

61

Такасимы – мелодичные импровизации, предваряющие исполнение классических произведений арабской музыки.

Это уж слишком *(фр.)*.

63

Герион – в греческой мифологии трехтелый великан, убитый Гераклом.

64

Книга из Келлса – рукописная, богато и красочно иллюстрированная книга, созданная ирландскими монахами около 800 года, шедевр средневекового искусства, содержит четыре Евангелия с комментариями.

65

Миньян – минимальный кворум для совершения иудейского богослужения: десять мужчин в возрасте более тринадцати лет и одного дня.

Благослови господи, будь здоров *(итал.)*.

Высшие силы! *(итал.)*

68

«О, маленькие замерзшие ручки…» – ария Родольфо из первого акта оперы Пуччини «Богема».

69

Псалом 78.

70

«Потаенная слеза» – романс Неморино из оперы Доницетти «Любовный напиток».

71

«В один прекрасный день…» – ария Чио-Чио-сан из оперы Пуччини «Госпожа Баттерфляй».

72

«О, мой дорогой папа» – ария для сопрано из оперы Джакомо Пуччини «Джанни Скикки».

73

Книга Иова, 38.

Перевод Анны Бочковой.

С миром во Христе (*лат.*).

Бедняжка *(итал.)*.